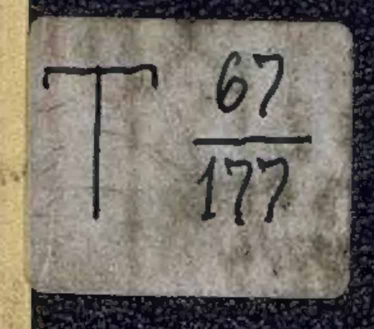

Т 67/177

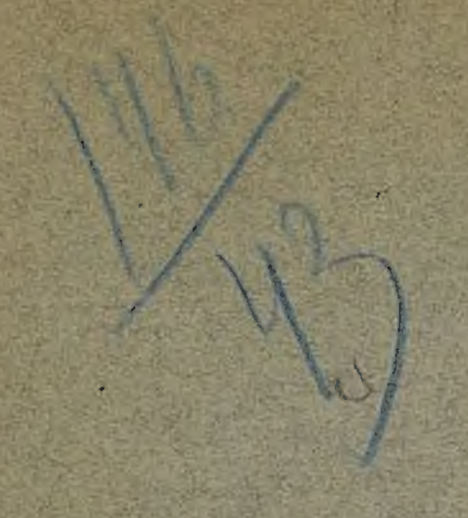
П. Милюковъ

Главныя теченія русской исторической мысли

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ



С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе М. В. АВЕРЬЯНОВА
1913



ТЕКСТЪ И ОБЛОЖКА ПЕЧАТАНЫ ВЪ ТИП. К. Ф. НЕКРАСОВА ВЪ ЯРОСЛАВЛѢ.

П. Милюковъ

ГЛАВНЫЯ ТЕЧЕНІЯ РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе М. В. АВЕРЬЯНОВА
1913

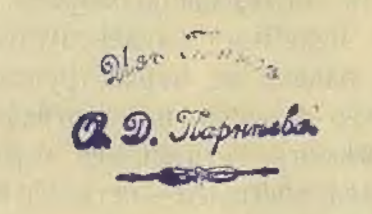
ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Въ основѣ этой книги лежатъ университетскія лекціи, читанныя мною въ Московскомъ университетѣ, въ качествѣ приватъ-доцента, въ 1886—7 учебномъ году. Съ того времени я еще разъ или два возвращался къ этому курсу, перерабатывая и дополняя отдѣльныя части его. При настоящемъ изданіи все содержаніе курса снова подверглось коренной переработкѣ; цѣлые отдѣлы введены были вновь, другіе передѣланы по новымъ, частью архивнымъ матеріаламъ. Насколько измѣнилось послѣ всѣхъ этихъ дополненій и передѣлокъ первоначальное содержаніе курса, можно видѣть изъ сравненія этой книги съ литографированнымъ студенческимъ курсомъ, изданнымъ моими первыми университетскими слушателями. При всѣхъ перемѣнахъ, однако же, общая группировка матеріала, взглядъ на основныя явленія русской исторіографіи и на ихъ послѣдовательную смѣну, наконецъ, отдѣльныя характеристики многихъ направленій и ихъ представителей—остались неизмѣнными. Мало измѣнились и тѣ основныя теоретическія идеи, которыя въ значительной степени обусловили мои представленія объ общемъ ходѣ развитія русской исторической науки. Съ этими представленіями, десять лѣтъ тому назадъ, я приступалъ къ спеціальной работѣ надъ русской исторіей, и изученіе „главныхъ теченій русской исторической мысли“ прежнихъ временъ должно было служить для меня лично средствомъ—отдатъ себѣ сознательный отчетъ въ выбранномъ мною направленіи историческаго изученія. Время шло, однако, и личный отчетъ передъ собой превращался, мало-по-малу, въ средство оправданія передъ публикой и передъ товарищами по спеціальности.

Къ сожалѣнію, личныя обстоятельства не позволяютъ мнѣ довести до конца это сведеніе счетовъ съ прошлымъ русской исторической науки. Принужденный измѣнить и мѣсто, и содержаніе моей преподавательской дѣятельности, я долженъ былъ остановиться какъ разъ на томъ моментѣ русской исторіографіи, отъ котораго ведутъ начало теперь существующія и борющіяся между собою направленія нашей науки. Я нисколько не теряю, однако же, надежды вернуться къ продолженію этого труда, связаннаго для меня со столь-

кими пріятными и грустными воспоминаніями, встрѣтившаго меня въ самомъ началѣ моихъ добровольныхъ занятій съ московскою университетскою молодежью—и проводившаго до конца. Въ ожиданіи, пока условія моей ученой дѣятельности позволятъ мнѣ продолжать изложеніе „главныхъ теченій", я рѣшаюсь выпустить этотъ первый томъ отдѣльно. Текстъ его печатался отдѣльнымъ изданіемъ одновременно съ печатаніемъ статей въ *Русской Мысли*, гостепріимно открывшей мнѣ свои страницы и этимъ давшей возможность внести въ настоящій текстъ нѣсколько новыхъ исправленій. Итакъ,—sine me, liber, ibis in urbem...

Рязань, 1 февраля 1897 г.



ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНІЮ.

Тѣ „личныя обстоятельства“, о которыхъ я упоминалъ въ предисловіи къ первому изданію этой книги, къ сожалѣнію, и теперь, 16 лѣтъ спустя, продолжаютъ препятствовать продолженію и окончанію „Главныхъ теченій“. Въ промежуткѣ книга была переиздана, и второе изданіе вышло изъ продажи уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Настоящее изданіе имѣетъ исключительной цѣлью—удовлетворить потребность книжнаго рынка, на которомъ „Главныя теченія“ сдѣлались библіографической рѣдкостью. Первоначальной моей цѣлью было дополнить это изданіе тѣми статьями, которыя составляютъ естественное продолженіе и хотя бы монографическое развитіе темы „Главныхъ теченій“. Но это значило бы подписать рѣшительный отказъ отъ продолженія книги въ задуманныхъ размѣрахъ. Къ этому я не могъ себя принудить и ограничиваюсь нѣсколькими указаніями особенно любознательному читателю, который захотѣлъ бы ознакомиться съ моими мнѣніями относительно развитія русской исторіографіи, начиная съ 20-хъ годовъ XIX столѣтія. Сжатый очеркъ этой исторіи онъ найдетъ въ моей статьѣ объ „источникахъ русской исторіи и русской исторіографіи“ въ Энциклопедическомъ Словарѣ Брокгауза и Эфрона, ст. „Россія“, 55-й полутомъ, особенно стр. 438—446. Въ частности, роль славянофильства, на которой обрывается первый томъ „Главныхъ теченій“, подробнѣе охарактеризована тамъ же, въ статьѣ „Славянофильство“ (59-й полутомъ, стр. 307—314) и біографіяхъ братьевъ Кирѣевскихъ (полутомъ 29-й, стр. 151 — 153). Общая связь идей представителей историко-юридической школы, Соловьева, Кавелина, Чичерина и Сергѣевича, изложена въ моей вступительной лекціи „Юридическая школа въ русской исторіографіи“ („Русская Мысль“, 1886, VI, стр. 80—92). Въ частности, о Соловьевѣ см. мой біографическій очеркъ въ юбилейномъ сборникѣ Московскаго Археологическаго Общества (тамъ же біографіи Погодина и Костомарова). О значеніи В. О. Ключевскаго въ русской исторіографіи см. мою статью, помѣщенную въ сборникѣ „В. О. Ключевскій, характеристики и воспоминанія“, Москва, 1912, изд. „Научнаго Слова“, стр. 183—217.

С.-Петербургъ, 27 января, 1913.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

[illegible]

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

ЗАМѢТКА.

Въ примѣчаніи подъ *, на стр. 93, указаны *пять* ссылокъ Щербатова на Татищева. Къ нимъ слѣдуетъ прибавить: а) ссылку во II т., стр. 403, на „Собраніе господина Татищева“, тождественную со второй изъ упомянутыхъ пяти (II, 364); б) на стр. 56 того же II тома, гдѣ цитировано изъ Ист. Татищева, гл. VIII, § 5 (о началѣ года съ Сентября), и в) въ III т., стр. 393, гдѣ повторена предыдущая ссылка.

ВВЕДЕНІЕ.

Предлагаемые очерки имѣютъ цѣлью дать общую картину развитія и взаимной смѣны тѣхъ теорій и общихъ взглядовъ, которые осмысливали для предшествовавшихъ поколѣній спеціальную работу надъ русскою исторіей. Ставя себѣ такую задачу, мы тѣмъ самымъ уже принимаемъ, что существуютъ, дѣйствительно, факты, подлежащіе подобному изученію, что развитіе науки русской исторіи не безсмысленно и не случайно, что общее теченіе русской исторіографіи всегда обусловливалось нѣкоторыми основными взглядами, теоріями и системами и всегда находилось въ болѣе или менѣе тѣсной связи съ развитіемъ общаго міровоззрѣнія. Разумѣется, такое общее представленіе о ходѣ развитія русской исторической науки ничего не предрѣшаетъ относительно частностей. Въ отдѣльныхъ случаяхъ слишкомъ часто ученые представители нашей науки не преодолѣвали того естественнаго антагонизма, который существуетъ между работой спеціальнаго изслѣдователя и разработкой общей теоріи, хотя бы того же самаго предмета: очень многіе видные представители русской исторической науки были весьма плохими теоретиками, и очень многіе теоретики совсѣмъ не были спеціальными учеными. Это наблюденіе показываетъ только, что исторія учености не совпадаетъ съ исторіей науки, но оно не можетъ опровергнуть факта существованія внутренней связи между наукой и ученостью. Сознательно или безсознательно, спеціальная работа всегда направлялась какою-нибудь теоріей; пренебреженіе же къ теоріи, если оно само не было результатомъ теоріи,—большею частью сводилось къ тому, что спеціалистъ становился невольнымъ орудіемъ *отжившей* теоріи,—конечно, къ большому ущербу для значенія его ученой работы.

Изъ сказаннаго видно, что не столько ученая работа сама по себѣ, не столько ея положительные результаты, сколько направлявшія ее теоретическія побужденія составятъ предметъ нашихъ послѣдующихъ наблюденій. Но и изъ числа этихъ побужденій мы будемъ останавливаться только на тѣхъ, которыя характеризуютъ „главныя теченія“ русской исторической мысли, т.-е. на тѣхъ только, которыя

толкали эту мысль впередъ, расширяя и углубляя ея главное русло. Не претендуя, такимъ образомъ, ни на какую библіографическую полноту и не имѣя въ виду исчерпать всего содержанія исторіи науки, мы должны будемъ, съ другой стороны, не разъ выходить за предѣлы исторіи науки въ чуждыя ей области: это необходимо потому, что большею частью далеко отъ собственной сферы нашей науки зарождались тѣ идеи и настроенія, которымъ суждено было играть въ этой сферѣ руководящую роль.

Пересмотрѣть съ указанною цѣлью главнѣйшіе факты русской исторіографіи будетъ, какъ кажется, дѣломъ далеко не лишнимъ, особенно въ наше время. Теоретическія воззрѣнія на задачи историческаго изученія такъ быстро развивались во второй половинѣ нашего вѣка, что даже въ болѣе обильныхъ историческихъ литературахъ, чѣмъ наша, теорія далеко обогнала спеціальную разработку историческаго матеріала. Поставить вопросъ несравненно легче, конечно, чѣмъ обработать нужныя для отвѣта на него историческія данныя. Такимъ образомъ, съ новыми вопросами намъ приходится чаще всего обращаться къ старой, наличной литературѣ. Между тѣмъ, у этой литературы есть, такъ сказать, психологія и патологія: она—эта литература—ставила когда-то *свои* вопросы, не похожіе на наши и существенно обусловившіе содержаніе даваемыхъ ею отвѣтовъ. Тѣ, старые, вопросы теперь давно забыты, а отвѣты, на нихъ данные, продолжаютъ циркулировать въ ученомъ обращеніи. Тамъ, гдѣ ученая циркуляція совершается быстро, часто подвергается пересмотру и старый ученый матеріалъ, и сдѣланные изъ него выводы. У насъ эти выводы держатся иногда десятки лѣтъ, пока дождутся своей провѣрки. Такимъ образомъ, нашъ ученый, а тѣмъ болѣе популярно-историческій обиходъ составляется изъ цѣлаго ряда разновременныхъ наслоеній, исторію и происхожденіе которыхъ мы не всегда помнимъ, но которыя одинаково употребляемъ въ дѣло при собственныхъ построеніяхъ. Это—точно истертая отъ употребленія монета на какомъ-нибудь глухомъ варварскомъ рынкѣ: деньги разныхъ временъ и различныхъ націй; всѣ онѣ одинаково идутъ въ оборотъ, но только нумизматъ можетъ опредѣлить по остаткамъ чекана происхожденіе и первоначальную цѣнность каждой.

Нѣчто подобное предстоитъ сдѣлать и историку нашей науки. Разсматривая продукты старой исторической литературы, какъ отслоенія былыхъ моментовъ теоретической мысли, онъ долженъ для каждаго изъ нихъ найти тотъ уголъ зрѣнія, подъ которымъ этотъ продуктъ былъ созданъ, возстановить, такъ сказать, ту былую жизнь, которою жило когда-то каждое изъ этихъ созданій. Возстановляя, такимъ образомъ, эти явленія старой исторической литературы въ ихъ *временномъ* и мѣстномъ значеніи, онъ тѣмъ самымъ лишаетъ ихъ значенія абсолютнаго и, слѣдовательно, освобождаетъ обиходъ

современной мысли отъ множества историческихъ аксіомъ, принятыхъ на вѣру изъ старыхъ историческихъ произведеній. При этомъ, конечно, всегда можетъ возникнуть споръ: одинъ наблюдатель склоненъ будетъ считать отжившимъ и мертвымъ то, что̀ другой объявитъ живымъ и живучимъ: это—вопросъ личной точки зрѣнія каждаго. Но что̀ и при этомъ разногласіи не будетъ подлежать спору и что, можетъ быть, поможетъ значительно сузить предѣлы спора, это сведеніе того или другого частнаго взгляда или спеціальнаго вывода къ тому или другому цѣльному міровоззрѣнію. Именно такого рода сведеніе и должно составлять, съ нашей точки зрѣнія, главнѣйшую задачу историка науки.

Цѣльнаго труда, который бы преслѣдовалъ такую задачу, для русской исторіографіи не существуетъ. Не останавливаясь на болѣе раннихъ попыткахъ изобразить исторію русской исторической науки*), упомянемъ только о двухъ послѣднихъ наиболѣе крупныхъ. *Исторія русскаго самосознанія* покойнаго Кояловича самымъ заглавіемъ обѣщаетъ представить исторію нашей науки на нѣкоторой теоретической подкладкѣ. Но это же самое заглавіе и обличаетъ въ авторѣ одного изъ героевъ той исторіи, которую онъ собрался писать. Только очень давно можно было говорить, что „историкъ по преимуществу есть вѣнецъ народа, ибо въ немъ народъ узнаетъ себя (достигаетъ до своего самопознанія)“**). Наше время не вѣритъ въ такое самонахожденіе и откровеніе духа, отъ вѣка вложеннаго въ народы; слѣдовательно, не повѣритъ и въ то, что исторіографія можетъ быть „исторіей самосознанія“. Можно себѣ представить, что Кояловичъ не сумѣлъ сдѣлаться судьей въ собственномъ дѣлѣ, и вся исторія науки вышла у него обвинительною рѣчью pro domo sua. Дѣятели науки раздѣлились при этомъ на два лагеря—своихъ и чужихъ, и чужіе (нѣмцы-западники) были уличены въ непрерывномъ полуторавѣковомъ заговорѣ противъ русской народности и противъ національнаго самосознанія. Въ 1891 году вышла давно подготовлявшаяся работа кіевскаго профессора В. С. Иконникова: огромный трудъ въ 2,000 страницъ слишкомъ, который, конечно, надолго сдѣлается настольною книгой каждаго занимающагося русскою исторіей. Но въ вышедшихъ частяхъ этого капитальнаго труда содержится пока только обозрѣніе источниковъ и хранилищъ историческаго матеріала; исторія ученой разработки должна войти въ слѣдующую часть сочиненія. Впрочемъ, и помимо этого обстоятельства, предлагаемые очерки сохраняютъ свое право на суще-

---

*) См. о нихъ у В. С. Иконникова: Опытъ русской исторіографіи. Т. I. кн. 1. Кіевъ. 1891 г., стр. 259—269. Т. II. въ двухъ книгахъ, стр. 1955+112, вышелъ тамъ же, 1908.

**) Афоризмъ Погодина въ Моск. Вѣстн. 1827 г., часть VI.

ствованіе, такъ какъ преслѣдуютъ совсѣмъ другія цѣли, чѣмъ монументальный *Опытъ русской исторіографіи* проф. Иконникова.

Намъ остается сказать нѣсколько словъ о тѣхъ хронологическихъ рамкахъ, въ которыхъ мы будемъ слѣдить за „главными теченіями русской исторической мысли". Выдѣляя для изложенія на этотъ разъ только два послѣднія столѣтія въ исторіи нашей науки, мы несомнѣнно поступаемъ произвольно. Исторія вліянія теоретической мысли на историческую разработку начинается, конечно, уже тамъ, гдѣ начинается впервые разработка первыхъ источниковъ: въ глубинѣ среднихъ вѣковъ. Наша средневѣковая философія исторіи есть, несомнѣнно, заимствованная—польская. Образованіе послѣдней начинается еще съ XIII вѣка, съ Кадлубка, а въ XVI вѣкѣ ея результаты употребляются уже для созданія русской національной исторической теоріи.

Однако же, исторіей перенесенія польской теоріи на Русь мы заниматься здѣсь не можемъ, по сложности и спеціальности такой темы. Исторію же образованія русской національной теоріи совершенно обойти намъ будетъ нельзя, и мы къ ней вернемся въ своемъ мѣстѣ.

На пространствѣ двухъ послѣднихъ вѣковъ развитіе русской исторической науки распадается на два періода, рѣзко различные по своимъ основнымъ принципамъ. Первый періодъ мы можемъ назвать періодомъ *практическаго* или *этическаго* пониманія задачъ историка. Характеристическою чертой второго служитъ развитіе представленія объ исторіи, какъ *наукѣ*. Переходъ отъ практическаго къ научному пониманію задачъ исторической науки вызванъ, какъ увидимъ, успѣхами въ развитіи научности на Западѣ. Но можно подмѣтить и въ русской жизни нѣкоторыя перемѣны, сопутствовавшія этому перелому и сдѣлавшія его болѣе быстрымъ и рѣшительнымъ. Мы увидимъ, что въ первый періодъ историческая наука въ Россіи не имѣла постояннаго органа для своей разработки и развивалась преимущественно благодаря любителямъ. Во второй періодъ историческая наука становится университетскою наукой, достояніемъ профессіональныхъ ученыхъ. Конечно, такое дѣленіе стираетъ нѣкоторыя частности. И въ періодъ любительской разработки исторіи съ прикладными цѣлями мы встрѣтимъ, какъ исключеніе, нѣсколькихъ спеціалистовъ-ученыхъ, и въ періодъ научнаго пониманія историческихъ задачъ нѣкоторые любители-знатоки продолжаютъ заниматься русскою исторіей. И любопытно, что и въ первомъ періодѣ спеціалисты отрицаютъ прикладныя задачи историческаго изученія, и во второмъ періодѣ любители продолжаютъ эти задачи преслѣдовать. Но то и другое исключеніе суть частности, не нарушающія общаго характера картины. Въ концѣ-концовъ, и спеціалисты перваго періода подчиняются ходячему утилитарному

взгляду и вытекавшему изъ него построенію русской исторіи, и любители второго періода подчиняютъ свой этическій взглядъ требованію научности или, по крайней мѣрѣ, стараются выразить его въ терминахъ науки.

Если бы понадобилось точно опредѣлить границу между этими двумя періодами русской исторической науки, мы назвали бы 1826—1827 годы. Золотая дворянская молодежь Александровскаго времени, сметенная декабрьскою катастрофой, уступаетъ въ эти годы мѣсто московской университетской молодежи изъ разночинцевъ Николаевскаго времени. Въ 1827 г. встрѣчаемъ впервые въ печати и мысль объ „исторіи, какъ наукѣ"—въ статьѣ *Вѣстника Европы* подъ этимъ заглавіемъ, написанной однимъ забытымъ авторомъ, нѣкіимъ Среднимъ-Камашевымъ. Впрочемъ, въ свое время мы вернемся еще къ болѣе подробному разсмотрѣнію этого любопытнаго момента русской исторіографіи. Употребляя болѣе привычные термины, мы можемъ вести первый періодъ русской исторической науки до Карамзина включительно, второй періодъ—съ Карамзина до нашего времени.

Періодъ первый—до Карамзина.

I. Синопсисъ.

Характеристика *Кіевскаго Синопсиса* должна лежать въ основѣ изложенія русской исторіографіи прошлаго столѣтія. Со времени своего перваго изданія въ 1674 году *Синопсисъ* перепечатывался до 25 разъ *) и дожилъ до нашего столѣтія. Авторъ „предувѣдомленія" къ изданію 1836 г., митрополитъ Евгеній, справедливо указываетъ причину такой огромной популярности *Синопсиса* въ томъ, что „книга сія, по бывшему недостатку другихъ россійской исторіи книгъ печатныхъ, была въ свое время единственною оной учебною книгой." Она была, дѣйствительно, первымъ и единственнымъ печатнымъ учебникомъ русской исторіи до самаго появленія *Краткаго лѣтописца* Ломоносова (1760), такъ какъ написанное въ началѣ XVIII в. (1715) для исправленія недостатковъ „Синопсиса" *Ядро* Манкіева попало въ печать только въ 1770 г. Между тѣмъ, въ 1760 1770-хъ годахъ для тѣхъ главнѣйшихъ изслѣдователей русской исторіи, съ которыми намъ придется имѣть дѣло, учебные годы уже давно прошли. Такимъ образомъ, черезъ школу *Синопсиса* должны были пройти всѣ они, и не будетъ удивительнымъ, если мы найдемъ, что духъ *Синопсиса* царитъ и въ нашей исторіографіи XVIII вѣка, опредѣляетъ вкусы и интересы читателей, служитъ исходною точкой для большинства изслѣдователей, вызываетъ протесты со стороны наиболѣе серьезныхъ изъ нихъ, однимъ словомъ, служитъ какъ бы основнымъ фономъ, на которомъ совершается развитіе исторической науки прошлаго столѣтія. Вопросы, поднятые *Синопсисомъ*, обсуждаются еще Щербатовымъ и Болтинымъ въ концѣ XVIII вѣка.

*) Трижды въ XVI в. въ Кіевѣ (1674, 1678, 1680), около 20 разъ въ XVIII столѣтіи въ Петербургѣ (1714, 1718 и 1736 г., 18 разъ Академіея Наукъ) и три раза въ XIX столѣтіи въ Кіевѣ, по почину митроп. Евгенія (1823, 1836 и 1861).

Составляя, такимъ образомъ, исходный пунктъ исторiографiи прошлаго вѣка, *Синопсисъ*, въ то же время, важенъ для насъ, какъ резюме всего, что̀ дѣлалось въ русской исторiографiи до XVIII столѣтiя. Результатъ этого предыдущаго перiода русской исторiографiи былъ, правда, весьма печаленъ. Историкамъ XVIII вѣка, учившимся по *Синопсису* и проникнутымъ его духомъ, предстояла прежде всего задача—разрушить *Синопсисъ* и вернуть науку назадъ, къ употребленiю первыхъ источниковъ. Дѣло въ томъ, что между этими первыми источниками, древними лѣтописями, и изложенiемъ *Синопсиса* лежали цѣлыхъ пять вѣковъ постепеннаго искаженiя первоисточниковъ. Процессъ этого искаженiя начался съ тѣхъ поръ, какъ польскiе хронисты стали употреблять въ дѣло показанiя русскихъ лѣтописей, продолжался уже систематически, какъ слѣдствiе средневѣковыхъ ученыхъ прiемовъ, употреблявшихся польскими компиляторами XV и XVI вѣковъ, и закончился перенесенiемъ результатовъ этой порчи въ XVI и XVII вѣкахъ опять назадъ, на Русь. Чтобы иллюстрировать этотъ процессъ невольной и сознательной порчи, возьмемъ два примѣра. *Синопсисъ* разсказываетъ очень непрiятное для нацiональнаго самолюбiя и совершенно неизвѣстное русскимъ лѣтописямъ событiе, будто сынъ Мономаха, Ярополкъ Владимiровичъ, былъ захваченъ поляками въ плѣнъ. Какъ возникло это извѣстiе? Въ русскихъ лѣтописяхъ подъ 1122 годомъ говорится, что былъ взятъ въ плѣнъ поляками („ятъ лестью“) Володарь Ростиславичъ. Кадлубекъ, польскiй хронистъ начала XIII в., пересказывая это событiе, назвалъ Володаря Vladarides, т.-е. Володаревичъ. Длугошъ, два вѣка спустя, изъ Володаревича сдѣлалъ Володимировича, т.-е. сына Мономаха, Ярополка; разсказавши одинъ разъ о плѣнѣ Володаря, онъ разсказалъ вторично, какъ объ особомъ событiи, о плѣнѣ Ярополка, разукрасивши, по своему обыкновенiю, этотъ разсказъ разными подробностями. Въ этомъ видѣ разсказъ перешелъ, еще сто лѣтъ спустя, къ польскому компилятору XVI в. Стрыйковскому, а отъ Стрыйковскаго, еще черезъ столѣтiе, попалъ и въ *Синопсисъ* *). Такимъ образомъ, здѣсь новое событiе явилось въ результатѣ цѣлаго ряда невольныхъ недоразумѣнiй. Приведемъ теперь другой примѣръ, въ которомъ новое событiе возникаетъ благодаря ученымъ прiемамъ средневѣковой исторiографiи. Эта исторiографiя очень любила называть новые народы средневѣковой Европы классическими именами: наприм., датчане назывались классическимъ именемъ дакiйцевъ (Daci), Венгрiя—Паннонiей и т. д. Этотъ прiемъ повелъ къ цѣлому ряду ученыхъ комбинацiй между нацiональными преданiями средневѣко-

*) Ср. Zeissberg: „Die polnische Geschichtschreibung des Mittelalters“, 325; на смѣшенiе указалъ еще Болтинъ. Прим. на Леклерка, т. I, стр. 258.

выхъ народовъ и показаніями классическихъ авторовъ. Если ученый хронистъ (въ данномъ случаѣ Кадлубекъ) встрѣчалъ, наприм., древнія преданія о борьбѣ поляковъ съ венграми (т.-е., по его терминологіи, паннонцами), и если онъ находилъ въ своемъ классикѣ, Юстинѣ, что въ Панноніи жили нѣкогда галлы, то онъ съ полною увѣренностью строилъ ученый выводъ, что поляки должны были сражаться въ древности съ галлами (veri simile ac certo certius, cum hac eos gente concertasse), а къ его преемникамъ этотъ выводъ переходилъ уже въ смыслѣ несомнѣнно происшедшаго факта. Такимъ образомъ, древнѣйшая исторія новыхъ народовъ наполнялась событіями, взятыми изъ классическихъ авторовъ. Тотъ же Кадлубекъ называетъ намъ въ числѣ своихъ классическихъ источниковъ *Книгу писемъ Александра (Македонскаго)* и сообщаетъ, конечно, съ помощью такого же умозаключенія, какъ вышеприведенное, что поляки воевали съ Александромъ Македонскимъ. Во время гуситскаго движенія въ одной чешской хроникѣ (1437 г.) является и *Грамота*, данная славянамъ Александромъ и, можетъ быть, восходящая къ тому же самому „liber epistolarum Alexandri". Затѣмъ эта грамота переходитъ въ польскую литературу, а отсюда въ XVII вѣкѣ, черезъ Бѣльскаго и Стрыйковскаго, переносится въ Россію и въ концѣ того же вѣка появляется въ нашемъ *Синопсисѣ*. *)

Подобныя иностранныя новинки принимались на Руси охотнѣе, чѣмъ простой, но полный пробѣловъ и умолчаній разсказъ древней лѣтописи. На Руси искаженный такимъ образомъ историческій разсказъ продолжалъ искажаться и дополняться новыми легендами подъ вліяніемъ политическихъ тенденцій времени. Эти новѣйшіе продукты историческаго творчества вызывали преимущественный интересъ читателей, такъ какъ отвѣчали на вопросы, наиболѣе возбуждавшіе ихъ любопытство, а старая русская лѣтопись вовсе вышла изъ моды.

Слѣдствія этой потери представленія о сравнительной важности источниковъ и бросаются, прежде всего, въ глаза въ *Синопсисѣ*. Разсказъ его преимущественно основанъ на польскихъ компиляторахъ: Длугошѣ, Бѣльскомъ, Кромерѣ, Мѣховскомъ, Стрыйковскомъ; русскія лѣтописи являются только, какъ дополненіе, какъ одинъ изъ источниковъ одинаковаго съ другими достоинства. Такимъ образомъ, полное отсутствіе критики, полное смѣшеніе источниковъ есть первая характерная черта *Синопсиса* и, вмѣстѣ, русской исторіографіи XVIII в. до самаго Шлецера, какъ увидимъ далѣе.

Переходя теперь къ самому содержанію *Синопсиса*, предварительно замѣтимъ, что за его содержаніе отвѣтственъ не неизвѣстный составитель *Синопсиса*, а его единственный источникъ, игуменъ Ми-

---

*) Zeissberg, 63—64, 60. Перволъфъ: „Славяне", т. II, стр. 33, 438; А. Поповъ: „Обзоръ хронографовъ", т. II, стр. 203.

хайловскаго монастыря Θеодосій Сафоновичъ, съ хроники котораго почти цѣликомъ списанъ *Синопсисъ* *). Сафоновичъ составлялъ, прежде всего, не русскую исторію, а исторію Кіева, тщательно выбирая изъ своихъ источниковъ даже мелочи, связанныя съ историческими воспоминаніями древней столицы: построеніе церквей, кончину благотворителей, происхожденіе именъ урочищъ и т. п. Такимъ образомъ, разсказъ *Синопсиса* совпадаетъ съ исторіей Руси только въ кіевскій періодъ, почти вовсе обходя молчаніемъ Владиміръ и Москву и передавая изъ позднѣйшихъ событій, послѣ татарскаго нашествія, только о такихъ, которыя имѣли непосредственное отношеніе къ Кіеву: о судьбѣ Кіевской митрополіи, о присоединеніи Кіева къ Литвѣ, объ обращеніи его въ воеводство. Присоединеніемъ Кіева къ Москвѣ и кончался *Синопсисъ* въ первомъ изданіи; въ двухъ слѣдующихъ кіевскихъ изданіяхъ вполнѣ послѣдовательно было прибавить дальнѣйшія кіевскія событія временъ Θеодора Алексѣевича (чигиринскіе походы).

Такимъ образомъ, первый учебникъ русской исторіи явился на свѣтъ съ довольно случайнымъ содержаніемъ. Однако же, если всмотримся ближе въ процессъ работы Сафоновича, то увидимъ, что въ обработкѣ этого матеріала проявились вовсе не случайныя, а, напротивъ, весьма характерныя черты до-петровской исторіографіи.

Изъ 110 главъ перваго изданія *Синопсиса* первыя 11 посвящены этнографическому введенію. Здѣсь Сафоновичъ вполнѣ связанъ ученостью своего источника, Стрыйковскаго, который, кажется, былъ и единственнымъ его источникомъ, такъ какъ ссылки Сафоновича на другихъ авторовъ, при внимательномъ просмотрѣ, всѣ оказываются сдѣланными у Стрыйковскаго. Что касается самого Стрыйковскаго, этотъ ученый компиляторъ выбралъ свои свѣдѣнія изъ цѣлой библіотеки авторовъ; однихъ латинскихъ можно насчитать между его источниками до сотни, не считая Библіи въ полномъ составѣ и лѣтописей польскихъ, литовскихъ, русскихъ и прусскихъ. Виргилій стоитъ здѣсь рядомъ съ Іезекіилемъ и Апокалипсисомъ; Платонъ и Овидій—съ книгой Бытія и т. д. Что касается пріемовъ этнографическаго изслѣдованія, они отлично резюмированы Шлецеромъ въ слѣдующихъ словахъ: „Прадѣды наши въ младенчествѣ исторической науки имѣли обыкновеніе при изслѣдованіи о происхожденіи народовъ дѣлать два предварительныхъ изысканія: 1) въ

*) О Сафоновичѣ см. Старчевскаго: „Очеркъ литературы русской исторіи до Карамзина", стр. 76—82; о рукописяхъ его въ С.-Петерб. Публ. библіотекѣ и Моск. архивѣ иностр. дѣлъ у Первольфа: „Славяне", стр. 444; о сличеніи текста Сафоновича съ Синопсисомъ (Гизелемъ) въ Перепискѣ митр. Евгенія съ гр. Н. П. Румянцевымъ, вып. I, стр. 34, 35, 37.

какомъ народѣ древнѣйшаго міра скрывается онъ?.. Каждый народъ послѣ столпотворенія обязанъ былъ существовать народомъ и 2) отъ чего произошло названіе народа и что оно значитъ".

На первый вопросъ *Синопсисъ* находилъ отвѣтъ (по Стрыйковскому) въ именахъ *Рошъ*, *Мосохъ* Іезекіилева пророчества. „Мосохъ, шестой сынъ Афета, внукъ Ноевъ", являлся очень удобнымъ прародителемъ „московскихъ народовъ", и Стрыйковскій зналъ даже очень точно, какъ этотъ Мосохъ „по потопѣ лѣта 131 шедши отъ Вавилона съ племенемъ своимъ... надъ берегами Черпаго моря народы Московитовъ отъ своего имени осади" *). На второй вопросъ Стрыйковскій давалъ столь же лестный для національнаго самолюбія отвѣтъ: названіе Россовъ произошло отъ разсѣянія, расширенія: „и тако отъ Мосоха... не токмо Москва, народъ великій, но и вся Русь или Россія вышереченная произыде". Славяне же получили имя „отъ *славныхъ* дѣлесъ своихъ, наипаче же воинскихъ"; этотъ народъ „страшенъ и славенъ всему свѣту бысть, яко всп ветхіи и и достовѣрные лѣтописцы свидѣтельствуютъ"; доказательствомъ этого служитъ упомянутая выше грамата Александра Македонскаго, златомъ писанная па пергаментѣ въ Александріи въ 310 году до Р. Х.; самый текстъ этой граматы извѣстенъ если не *Синопсису*, то хронографамъ.

Итакъ, этнографія *Синопсиса* есть отраженіе ученыхъ теорій средневѣковой польской и, вообще, славянской исторіографіи; самостоятельность Сафоновича въ этой части не идетъ дальше амплификаціи на тему о славянской славѣ. Совсѣмъ иное встрѣтимъ въ слѣдующихъ 63 главахъ (12—74), излагающихъ исторію Кіева до татарскаго нашествія и составляющихъ главную часть *Синопсиса*. Стрыйковскій, конечно, остается и здѣсь главнымъ источникомъ Сафоновича; но послѣдній то сокращаетъ, то дополняетъ его русскими источниками **); и по этимъ измѣненіямъ мы можемъ видѣть,

---

*) Производство славянскихъ народовъ отъ Іафета восходитъ къ первымъ временамъ средневѣковой славянской исторіографіи. Польскій хронистъ Dzierswa (конецъ XII в.) уже связываетъ съ Іафетомъ поляковъ черезъ Іавана—Ивана, сына Іафета; но „Руса" въ числѣ потомковъ Іафета онъ еще не знаетъ. У Baszko (ок. 1295) Янъ получаетъ трехъ сыновей: Чеха, Леха и Руса, но кажется, что сказаніе занесено въ хронику Башко позднѣе, въ XIV вѣкѣ. Въ чешской хроникѣ Пулкавы (вторая половина XVI в.) Чехъ и Лехъ есть, но Руса еще нѣтъ; нѣтъ его и въ сочиненіяхъ, на которыя ссылается Башко, у Martinus Polonus и Isid. Hispalensis. Въ liber ethymologiarum послѣдняго есть зато Мосохъ, принимаемый затѣмъ и Длугошемъ (1480). См. Zeissberg, 76, 103; Первольфъ, II, стр. 104—105, 108—109.

**) Русскій источникъ Сафоновича очень близокъ къ такъ называемой Густынской лѣтописи (П. С. Р. Л., II); Старчевскій указывалъ Ипатьевскую (стр. 76—77), но и Густынская составлена по Ипатьевской, а статьи Синопсиса „своего сочиненія", по мнѣнію Старчевскаго (напр. Объ идо-

что привлекало наибольшее вниманіе составителя. Треть этой части, 21 глава изъ 63 (30—50), занята княженіемъ Владиміра Святого. Конечно, оно и у Стрыйковскаго изложено подробнѣе, но сравнивая тексты Стрыйковскаго и *Синопсиса*, нельзя не замѣтить, что эта часть и самостоятельно обработана Сафоновичемъ. Изъ всѣхъ этихъ главъ ни одна не оставлена составителемъ въ первоначальномъ видѣ. То внесены просто тонкіе, но знаменательные штрихи: Владиміръ названъ великимъ *самодержцемъ* россійскимъ, произведенъ отъ Августа. То уголъ зрѣнія взятъ иной, наприм. язычество разрисовано болѣе мрачными красками; въ болѣе энергичныхъ выраженіяхъ сказано о женолюбіи язычника Владиміра. То значительная часть главы передѣлана по русскимъ источникамъ (сюда относятся цѣлыхъ 10 главъ: объ идолахъ, посольствѣ къ Владиміру, о вѣрѣ, рѣчь философа, посольство отъ Владиміра въ Грецію, сцена крещенія народа, сцена крещенія сыновей Владиміра и молитва его послѣ крещенія, разсказы о Десятинной церкви, о походѣ къ Суздалю и Ростову, наставленіе сыновьямъ о вѣрѣ, преставленіе Владиміра). Наконецъ, иногда цѣлыя главы вставлены новыя (о возвращеніи пословъ изъ Византіи, о томъ, что Россы до Владиміра уже четыре раза крестились, о совершенномъ утвержденіи вѣры и о происхожденіи названія Выдыбичи; сюда же, наконецъ, относится благодареніе Богу отъ всѣхъ Россовъ о неисповѣдимомъ его дарѣ, составляющее заключеніе разсматриваемой части: всего 4 главы). Если по этимъ вставкамъ и передѣлкамъ мы можемъ заключить, что крещеніе Руси составляло центральный интересъ для составителя въ исторіи кіевскаго періода, то, разобравши матеріалъ, употребленный имъ для этихъ дополненій, увидимъ, что то же самое интересовало и публику. Этотъ матеріалъ весь готовъ былъ уже до Сафоновича; самостоятельно у него, можетъ быть, только заключеніе, да не извѣстно изъ другихъ источниковъ мѣстное кіевское преданіе о происхожденіи названія Выдыбичи отъ крика язычниковъ: „выдыбаи, Перунъ", и о построеніи церкви Спаса на мѣстѣ Перунова кумира *). Все остальное и въ сводныхъ компиляціяхъ, вродѣ Густынской лѣтописи Лосицкаго, и даже въ отдѣльныхъ повѣстяхъ, частью восходящихъ къ XVI вѣку, было извѣстно въ русской рукописной литературѣ и помимо *Синопсиса*.

Послѣ Владиміра Святого останавливаетъ вниманіе разсказъ о Владимірѣ Мономахѣ. Разсказавши, по Стрыйковскому, какъ во время

лахъ, стр. 62), оказываются при сличеніи заимствованными именно изъ Густынской лѣтописи. Синопсисъ повторяетъ даже описки Густынской лѣтописи (наприм. въ Паніи вмѣсто Панноніи (П. С., стр. 251, и Син., глава 44). Стрыйковскимъ я пользовался по изданію 1846 г. (Warszawa, т. 2.)

*) См. о мѣстныхъ кіевскихъ преданіяхъ, какъ возможномъ источникѣ Синопсиса, у Максимовича: „Собр. соч.", II, стр. 88.

похода на Кафу Владиміръ Мономахъ пріобрѣлъ отъ кафинскаго старосты царскія регаліи московскихъ царей, составитель считаетъ необходимымъ приложить отъ себя главу „о семъ, откуду россійскіе самодержцы вѣнецъ царскій на себѣ носити начаша“. Подъ этимъ заглавіемъ онъ разсказываетъ также извѣстную по рукописямъ XVI в. повѣсть о присылкѣ регалій Владиміру Мономаху Константиномъ Мономахомъ изъ Византіи. Сафоновичъ уже замѣтилъ, что регаліи не могли быть присланы Константиномъ, умершимъ за полвѣка до Владиміра, и въ его изложеніи регаліи посылаетъ Іоаннъ Комненъ. Къ этой повѣсти о регаліяхъ мы еще будемъ имѣть случай вернуться; теперь намъ важно отмѣтить тенденцію Сафоновича. Сопоставляя два разсказа о происхожденіи царскихъ регалій изъ Кафы и изъ Византіи, онъ, конечно, замѣтилъ ихъ противорѣчіе; если, однако же, онъ это противорѣчіе допустилъ, то, очевидно, не по недосмотру, какъ склоненъ былъ объяснять Соловьевъ *), а вполнѣ намѣренно и сознательно: не рѣшаясь въ данномъ случаѣ отвергнуть свой авторитетъ, Стрыйковскаго, онъ не рѣшился, очевидно, и отступить отъ русскаго мнѣнія, ставшаго почти національнымъ догматомъ для историка его времени. Не даромъ онъ къ термину „князь“ никогда не забываетъ прибавить „благовѣрный“, а вмѣсто „былъ *выбранъ* и посаженъ на столѣ“, поправляетъ: „сѣлъ на престолѣ *отческомъ*“ (гл. 60-я).

Чѣмъ ближе къ нашествію Батыя, тѣмъ польскій источникъ Сафоновича становится скуднѣе кіевскими извѣстіями и тѣмъ разсказъ становится короче и спутаннѣе въ *Синопсисѣ*. Наконецъ, въ самое время нашествія Стрыйковскій окончательно его оставляетъ. Тогда составитель, вставивши отъ себя двѣ главы, изображающія Печерскую лавру во время нашествія, затѣмъ въ третьей главѣ на одной страничкѣ покончиваетъ „съ лѣтами“, въ нихъ же Кіевское княженіе и всея Россіи самодержавствіе подъ татарскимъ пребысть игомъ“. Но и эта страничка занята введеніемъ въ повѣсть о побѣдѣ Димитрія Донского надъ Мамаемъ, къ которой Сафоновичъ и приступаетъ, перескочивши полтора столѣтія. Вслѣдъ за тѣмъ 29 главъ (65—103) посвящены пересказу этой повѣсти. Здѣсь опять русская историческая литература помогла автору: его повѣсть есть вторая изъ трехъ извѣстныхъ передѣлокъ сказанія о Мамаевомъ нашествіи. Первая, короткая, встрѣчается въ нѣкоторыхъ лѣтописяхъ и въ Степенной книгѣ, а третья есть извѣстная Задонщина. Кончается *Синопсисъ*, какъ мы уже говорили, отрывочными свѣдѣніями о судьбѣ кіевской митрополіи и самого Кіева, послѣ присоединенія къ Литвѣ.

Теперь мы можемъ рѣшить, какое впечатлѣніе оставлялъ этотъ первый учебникъ русской исторіи въ своихъ читателяхъ. Ярко освѣ-

---

*) Архивъ ист.-юр. свѣдѣній Калачева, II, I, отд. III, стр. 10.

щено было начало исторіи, и въ немъ всего отчетливѣе выдѣлялось крещеніе Руси. Послѣ Владиміра Святого запоминался Владиміръ Мономахъ съ его регаліями, а затѣмъ такая же связь, какъ между двумя Владимірами, устанавливалась въ памяти читателя между двумя нашествіями: Мамая и Батыя; крѣпко врѣзался въ память торжественный моментъ первой побѣды надъ татарами, для котораго разсказчикъ не пожалѣлъ красокъ. Выводовъ, цѣльнаго взгляда, системы русской исторіи тутъ еще нѣтъ; но въ памяти читателя остаются четыре имени и четыре картины: двѣ мрачныя—язычество и татарское нашествіе; двѣ торжественныя—крещеніе и Куликовская побѣда. И по объему эти отдѣлы составляютъ цѣлую половину книги. Затѣмъ, у обыкновеннаго читателя оставалось неясное воспоминаніе о путаницѣ именъ въ остальной половинѣ: этнографическихъ именъ въ началѣ, княжескихъ именъ въ серединѣ, именъ намѣстниковъ кіевскихъ въ концѣ; этотъ матеріалъ не стоялъ ни въ какой общей связи и забывался самъ собой, какъ ни для чего непригодный.

Но гдѣ кончался интересъ обыкновеннаго читателя, тамъ начинался интересъ любителя. Разобраться среди всѣхъ этихъ Роксалановъ, Сарматовъ, Цимбровъ, Козаровъ, возстановить генеалогію Россовъ, Мосоховъ становится соблазнительною задачей для учености, усидчивости или трудолюбія. При сличеніи съ русскими лѣтописями открывались другіе спорные вопросы: тамъ нѣтъ того, что говоритъ *Синопсисъ* о плѣнѣ Ярополка, есть противорѣчія, наприм., въ разсказѣ о регаліяхъ, не ясно, что такое „города" Щековица и Хоревица, зачѣмъ собственно Владиміръ ходилъ въ Корсунь и гдѣ именно онъ принялъ крещеніе и т. д., и т. д. Всѣ эти сомнительные вопросы приводили къ одному—къ необходимости сличить *Синопсисъ* съ русскими лѣтописями. Но для этого необходимо было привести сперва въ извѣстность, что такое русскія лѣтописи. Петръ Великій наткнулся въ Кёнигсбергѣ на Радзивиловскій списокъ лѣтописи и велѣлъ списать его, полагая, что нашелъ нѣчто единственное въ своемъ родѣ, а такихъ списковъ десятки лежали въ монастырскихъ библіотекахъ Россіи и масса ходила по рукамъ любителей-начетчиковъ. Далѣе, *Синопсисъ* давалъ исторію Кіева; исторію Владиміра и Москвы, неизвѣстную польскимъ источникамъ, можно было почерпнуть опять-таки изъ тѣхъ же русскихъ лѣтописей... Итакъ, разысканіе лѣтописей, сличеніе ихъ показаній вотъ первый шагъ, который необходимо было сдѣлать для начала знакомства съ русскою исторіей.

Такимъ образомъ, только ставши на уровень историческихъ знаній, представляемый *Синопсисомъ*, можно себѣ уяснить, въ чемъ состояли насущныя потребности исторіографіи того времени. Манкіевъ, авторъ *Ядра россійской исторіи*, первый, еще въ 1715 году,

взялся помочь дѣлу. Его честолюбіе, правда, не шло далеко; онъ хотѣлъ только исправить два самые существенные недостатка *Синопсиса:* его преимущественное пользованіе польскими источниками и его ограниченіе Кіевомъ. Оставаясь большею частью вѣренъ Стрыйковскому относительно кіевскаго періода, Манкіевъ ввелъ исторію сѣвера по русскимъ источникамъ. Но его книга вышла только въ 1770 году. Хотя она имѣла въ теченіе XVIII вѣка четыре изданія и представляла большія преимущества передъ *Синопсисомъ*, тѣмъ не менѣе, уже въ моментъ своего появленія, она была, въ сущности, далеко опережена развитіемъ исторіографіи, на которое по этой причинѣ и не имѣла никакого вліянія. Поэтому мы вправѣ оставить въ сторонѣ эту попытку, какъ не входящую въ исторію науки, и обратиться прямо къ ея настоящимъ двигателямъ *).

---

*) Болѣе подробную характеристику Ядра Манкіева см. въ цитованной выше статьѣ Соловьева.

II. Историки XVIII столѣтія.

I.

Вмѣсто введенія къ характеристикѣ историковъ прошлаго столѣтія, всего умѣстнѣе будетъ выяснить одно обстоятельство, хотя ничего общаго съ наукой не имѣвшее, но, тѣмъ не менѣе, оказавшее рѣшительное вліяніе на исторіографію XVIII вѣка. Разсматривая *Синопсисъ*, мы могли замѣтить, что содержаніе его вскрываетъ двѣ тенденціи читавшей его публики: *православную* (крещеніе) и *національную* (Куликовская битва). У историковъ XVIII столѣтія къ этимъ двумъ тенденціямъ присоединяется третья—государственная, *монархическая*. Занятый Кіевомъ и написанный вскорѣ по его присоединеніи *Синопсисъ* хотя и не остался совершенно внѣ сферы вліянія московскаго самодержавія, но это вліяніе дѣйствовало на него косвенно, посредствомъ употребленныхъ въ дѣло составителемъ московскихъ историческихъ источниковъ. Историки XVIII в. находятся уже подъ прямымъ вліяніемъ московской государственной идеи; въ результатѣ этого вліянія выясняется въ теченіе вѣка цѣлое, связное, каноническое представленіе объ общемъ ходѣ русской исторіи,—представленіе, корни котораго мы впослѣдствіи найдемъ глубоко запрятанными въ исторіи московской государственности. Такому характеру исторіографіи соотвѣтствуетъ и самый характеръ ея дѣятелей. Архивы и казенныя книгохранилища, неизвѣстные и для самихъ завѣдывавшихъ ими, разумѣется, были закрыты для любознательности частныхъ лицъ. Всѣ крупные изслѣдователи XVIII в. суть, прежде всего, люди съ оффиціальнымъ положеніемъ, извѣстные правительству и по его порученію занятые изученіемъ русской исторіи. Это—астраханскій губернаторъ и тайный совѣтникъ Василій Никитичъ Татищевъ, начинающій свои ученыя работы по порученію Брюса и подъ покровительствомъ самого Петра; это—его сіятельство, тайный совѣтникъ, сенаторъ и камммеръ-коллегіи президентъ, князь Михаилъ Михайловичъ Щербатовъ, рекомендованный Екате-

ринѣ Миллеромъ для сочиненія русской исторіи *), занимавшійся подъ ея покровительствомъ и ей посвятившій свой трудъ, или это— членъ военной коллегіи, генералъ-майоръ Иванъ Никитичъ Болтинъ, выправлявшій работы Екатерины по русской исторіи и на ея счетъ, а, можетъ быть, и по спеціальному заказу Потемкина **), напечатавшій свои примѣчанія на Леклерка; или россійскій исторіографъ и дѣйствительный статскій совѣтникъ Ѳедоръ Ивановичъ Миллеръ, или другой, болѣе знаменитый исторіографъ, послѣ Миллера носившій этотъ оффиціальный титулъ, и тоже издавшій на правительственныя средства свою исторію. Одиноко стоитъ между ними крестьянскій сынъ и просто статскій совѣтникъ Ломоносовъ, писавшій свою исторію, однако же, тоже по оффиціальному порученію ***).

Такимъ образомъ, занятія русскою исторіей въ XVIII вѣкѣ есть своего рода оффиціальная служба. Поэтому нѣмецъ не иначе можетъ быть русскимъ историкомъ, какъ принявши подданство; и изъ трехъ знаменитыхъ нѣмцевъ, занимавшихся въ прошломъ вѣкѣ нашею исторіей, одинъ (Байеръ) не былъ русскимъ историкомъ, а оріенталистомъ; другой ушелъ изъ русской службы именно вслѣдствіе несовмѣстимости ея съ его представленіями о роли историка (Шлецеръ) и только третій, самый дюжинный (Миллеръ), согласился на обрусѣніе; но и этому далеко не сразу далось представленіе о томъ, что̀ такое государственная тайна, и какъ широки ея границы въ вопросахъ древней русской исторіи. Существовало, дѣйствительно, строгое различеніе между фактами и документами, относящимися къ русской исторіи и *не* относящимися къ ней. Въ 1749—50 гг. произведенъ былъ разборъ бумагъ бывшей походной канцеляріи кн. Меньшикова, и сенатскимъ опредѣленіемъ положено: тѣ изъ нихъ, „которыя подлежатъ тайнѣ, отдать въ кабинетъ, а другія, *приличныя къ сочиненію исторіи*, въ десіансъ-академію“. Такимъ образомъ, далеко не всякій фактъ былъ „приличенъ къ сочиненію исторіи“. Сомнѣваться въ томъ, что апостолъ Андрей крестилъ славянъ, было неприлично: это значило, какъ довелось узнать Татище-

*) Такъ, по крайней мѣрѣ, слышалъ Погодинъ отъ Малиновскаго, преемника Миллера по управленію архивомъ иностр. коллегіи: „Щербатова рекомендовалъ Екатеринѣ Миллеръ, отказавшійся писать исторію за старостью“ (Барсуковъ: „Погодинъ“, т. I, стр. 256).

**) См. Сухомлинова: „Ист. Россійск. академіи“, т. V, стр. 85.

***) Вотъ сценка, рисующая соціальное положеніе Ломоносова среди другихъ историковъ. По заказу его превосходительства В. Н. Татищева, Ломоносовъ написалъ для него посвященіе Петру Ѳедоровичу, и Татищевъ послалъ ему 10 рублей въ подарокъ: „онъ имъ очень доволенъ и въ слѣдующій понедѣльникъ будетъ самъ благодарить за то“ (Пекарскій: „Доп. свѣд. для біогр. Ломоносова“). А вотъ соціальное положеніе нѣмца-историка: тотъ же Ломоносовъ кричитъ на Шлецера, какъ начальникъ (Автобіогр. Шлецера, стр. 201).

ву, „опровергать православную вѣру и законъ". Производить руссовъ не отъ Руса, а отъ норманновъ, было неприлично: это значило представлять русскихъ „подлымъ народомъ" и „опускать случай къ похвалѣ славянскаго народа". Даже просто печатать лѣтопись оказывалось неприличнымъ, потому что „находится не малое число въ оной лѣтописи лжебасней, чудесъ и церковныхъ вещей, которыя никакого имовѣрства не только недостойны, но и противны регламенту академическому, въ которомъ именно запрещается академикамъ и профессорамъ мѣшаться въ дѣла, касающіяся до закона". Даже въ занятіяхъ родословными могли оказаться такія же затрудненія: могло оказаться, что „нѣкоторые роды по прямой линіи отъ Рюрика происходятъ", а съ другой стороны приходилось „Высочайшую фамилію простою дворянскою (Кобылины) писать", и изслѣдователь—въ данномъ случаѣ Миллеръ—попадалъ въ область государственной тайны. Конечно, обстоятельства мѣнялись въ теченіе вѣка; нужна была огласка, скандалъ, чтобы сдѣлать ученое мнѣніе подозрительнымъ; но при малѣйшемъ недоброжелательствѣ къ изслѣдователю такое обвиненіе всегда могло возникнуть. Эта атмосфера у людей практическихъ должна была создать извѣстную привычку приноровляться, предупреждать возможность нападенія, приспособляясь къ оффиціальной догмѣ: такъ и Татищевъ поступился своими сомнѣніями по поводу апостола Андрея, и Миллеръ—своими доказательствами норманнства Руси. Отмѣтивъ это общее условіе, при которомъ приходилось работать всѣмъ изслѣдователямъ прошлаго вѣка, перейдемъ къ характеристикѣ отдѣльныхъ дѣятелей.

Знакомство съ изслѣдователями русской исторіи XVIII вѣка мы начнемъ съ сообщенія тѣхъ свѣдѣній, которыя характеризуютъ какъ личность ихъ, такъ и условія обстановки, среди которой имъ приходилось дѣйствовать. При этомъ русскихъ и нѣмецкихъ изслѣдователей мы будемъ разсматривать отдѣльно другъ отъ друга. Ознакомившись съ личностями изслѣдователей, мы перейдемъ затѣмъ къ изученію результатовъ ихъ ученой работы и будемъ группировать ихъ при этомъ въ томъ порядкѣ, какой потребуется сущностью дѣла. Такимъ образомъ, намъ можно будетъ соединить удобства обоихъ порядковъ изложенія: при отдѣльныхъ характеристикахъ лучше будутъ оттѣнены основныя типичныя черты каждаго изслѣдователя, а при систематическомъ изображеніи ихъ выводовъ—отчетливѣе представится доля заслугъ каждаго въ движеніи науки и взаимныя вліянія ихъ другъ на друга *).

---

*) Сравнительная хронологія русскихъ и нѣмецкихъ изслѣдователей XVIII в.: въ 1750 г. Татищевъ умеръ 64-хъ лѣтъ отъ роду (род. 1686); сорокалѣтній Ломоносовъ началъ заниматься русскою исторіей, и 45-ти-лѣтній Миллеръ потерпѣлъ отъ него нападеніе за академическую рѣчь о проис-

II.

Четыре русскихъ историка: Татищевъ, Ломоносовъ, Щербатовъ и Болтинъ могутъ служить характерными представителями четырехъ различныхъ типовъ, созданныхъ русскимъ просвѣщеніемъ прошлаго вѣка. Начало вѣка занято бурною эпохой Петра. Типъ петровскихъ дѣльцовъ давно отмѣченъ и охарактеризованъ въ нашей исторической литературѣ. Выросшіе въ обстановкѣ московской Руси и сразу выброшенные въ водоворотъ реформъ, они не имѣли ни времени, ни возможности пройти правильную теоретическую школу, которая подготовила бы ихъ по-европейски къ насажденію европейской цивилизаціи. Вынужденные схватывать кое-какъ, на-лету, обрывки знаній изъ всѣхъ возможныхъ отраслей науки и искусства, куда только ни толкалъ ихъ нуждавшійся въ людяхъ преобразователь,— эти люди волей-неволей должны были усвоить себѣ сноровку—во всякой области знанія вылавливать сразу практически-нужное, непосредственно-полезное для немедленнаго приложенія къ дѣлу. Имъ некогда было сантиментальничать съ наукой и просвѣщеніемъ. Татищевъ хорошо выразилъ ихъ взглядъ на европейскую культуру, раздѣливъ всѣ „науки" по ихъ отношенію къ домашнему и государственному обиходу на двѣ различныя категоріи: это были, съ одной стороны, науки *нужныя* или, по крайней мѣрѣ, *полезныя*: съ другой стороны, науки *щегольскія*. Что просвѣщеніе смягчаетъ сердца, или что искусство облагораживаетъ души,—подобныя мысли оставались чуждыми этому поколѣнію, которое цѣнило одно знаніе, а въ знаніи—одинъ его практическій результатъ.

Татищевъ—одинъ изъ наиболѣе типичныхъ представителей Петровской эпохи. Вѣчно дѣятельный, мастеръ окинуть однимъ взглядомъ цѣлую область знанія и уйти изъ нея не съ пустыми руками, будь это артиллерія, фортификація или минералогія, геологія или географія, исторія; всегда дѣловой, пишетъ ли онъ объ измѣненіи монетной системы, или объ усмиреніи киргизовъ въ Оренбургской губерніи, или объ Іоакимовой лѣтописи; всегда точный, начиная съ записи на какой-нибудь грамматикѣ: „1720 года, октября въ 21-й день, въ Кунгурѣ по сей грамматикѣ началъ учиться по-французски артиллеріи капитанъ Василій Никит. сынъ Татищевъ, отъ рожденія своего 34-хъ лѣтъ, 6 мѣсяцевъ и 2-хъ дней",--начиная съ этой

хожденіи Руссовъ. Щербатовъ въ этотъ годъ 17-ти лѣтъ служилъ въ унтеръ-офицерскихъ чинахъ въ лейбъ-гвардіи Семеновскомъ полку, а Болтинъ съ Шлецеромъ—оба 15-ти лѣтъ—кончали ученье, одинъ дома, другой въ школѣ. Байеръ (род. 1693) умеръ на 12 лѣтъ раньше Татищева. Короче, Байеръ—современникъ Татищева, Миллеръ—Ломоносова, Шлецеръ—Болтина и Щербатова: первые дѣйствовали въ началѣ, вторые въ серединѣ и третьи въ концѣ столѣтія.

записи и кончая лѣтописнымъ сводомъ; практическій и разсчетливый, прозаическій, безъ капли поэзіи въ натурѣ,—такимъ представляется намъ первый русскій историкъ. Нужно только вспомнить, какъ въ послѣдній день жизни, предсказавши свою кончину, онъ отправляется указать мѣсто для своей могилы и составляетъ меню для своего похороннаго обѣда.

Утилитаризмъ—таково міровоззрѣніе, наиболѣе подходящее для подобной натуры; и у насъ есть свѣдѣнія, что Татищевъ былъ сознательнымъ и послѣдовательнымъ утилитаристомъ. Свое міровоззрѣніе онъ изложилъ въ недавно напечатанномъ *Разговорѣ двухъ пріятелей о пользѣ наукъ и училищъ*. Отчетливость и стройность воззрѣній, изложенныхъ въ *Разговорѣ*, были бы изумительны и необъяснимы, если бы мы не знали, что все основное содержаніе своихъ теорій Татищевъ заимствовалъ изъ произведеній современной ему заграничной литературы. Основною идеей, заимствованною имъ для своего міровоззрѣнія, была модная въ то время идея естественнаго права, естественной морали, естественной религіи. Посредниками при усвоеніи этой идеи были для Татищева, во-первыхъ, самъ знаменитый основатель теоріи естественнаго права, Самуилъ Пуфендорфъ, и, во-вторыхъ, одинъ протестантскій богословъ, Вальхъ, *Философскій лексиконъ* котораго послужилъ главнымъ литературнымъ источникомъ татищевскаго „Разговора“ *).

По усвоенной Татищевымъ теоріи, „естественный законъ“ человѣческой природы состоитъ въ томъ, что мы назвали бы теперь закономъ самосохраненія: въ стремленіи къ собственному благополучію или пользѣ. „Закону божественному“ этотъ естественный законъ нисколько не противорѣчитъ и не можетъ противорѣчить, такъ какъ и самъ онъ, само это „желаніе къ благополучію въ человѣкѣ, безпрекословно, отъ Бога вкоренено есть“. Согласно традиціонной классификаціи христіанской морали, стремленіе къ благополучію сводится къ тремъ основнымъ склонностямъ души: „любочестію“ (Ehrgeiz), „любоимѣнію“ (Geldgeiz) и „плотоугодію“ (Wollust). Сами по себѣ эти склонности ни добродѣтельны, ни порочны; но такъ какъ, благодаря испорченности нашей природы, страсть при ихъ удовлетвореніи одерживаетъ обыкновенно верхъ

---

*) Журн. Мин. Нар. Просв. 1886, іюнь, статья Н. А. Попова. Самый „Разговоръ“ см. въ Чт. Общ. Ист. и Др. Р. 1887 г., I. Лексикономъ Вальха мы пользовались во 2 мъ изданіи (Philosophisches Lexicon hgb. v. Johann Georg Walch. Lpz., 1733); первое изданіе было въ 1726 году. Особенно многочисленны и иногда буквальны заимствованія изъ Вальха въ первой, психологической, части Разговора. Между прочимъ, изъ Вальха взято и приведенное выше дѣленіе наукъ (Phil. Lex, s. v. Studieren, 2474 стр.: nöthige, nützliche, eitle и unnützliche Wissenschaften).

надъ разумомъ, то и сами стремленія превращаются въ пороки. Тѣ же стремленія, однако, при „разумномъ самолюбіи“ могутъ сдѣлаться основой добродѣтелей: надобно только, чтобы чувствомъ руководилъ разумъ. При такомъ руководствѣ человѣкъ удовлетворяетъ своимъ потребностямъ съ благоразумною умѣренностью, безъ „избыточества“ и безъ „недостатка“. Разумное удовлетвореніе потребностей и есть добродѣтель или, что то же, соблюденіе естественнаго закона; напротивъ, излишнее „избыточество“ или „воздержаніе“ есть грѣхъ, нарушеніе закона, неизмѣнно ведущее за собой и „естественное наказаніе“. Любовь къ самому себѣ лежитъ, такимъ образомъ, въ основѣ человѣческой морали. Но, разумно понятая, эта любовь не есть себялюбіе, такъ какъ она включаетъ и любовь къ другимъ. „Зане человѣкъ по естеству желаетъ быть благополученъ, къ благополучію же нашему нужна намъ любовь и помощь другихъ“, то поэтому и „должны мы любовь къ другимъ *заимодательно* изъявлять“. По той же причинѣ, „желая благополучіе мое всегда пріумножить, а вѣдая, что ни отъ кого болѣе, какъ отъ Бога, получить могу, -отъ любви разумной къ *себѣ* долженъ и заимодательно или предварительно Бога любить“ *).

Высшая цѣль или „истинное благополучіе“, достигаемое съ помощью „разумнаго самолюбія“, заключается въ полномъ равновѣсіи душевныхъ силъ, въ „спокойности души и совѣсти“. Для достиженія этой цѣли „нужно человѣку прилежать, чтобъ умъ надъ волей властвовалъ“, а для того, чтобъ доставить преобладаніе уму, надо развить его природныя силы наукой **). Такимъ образомъ, „главная наука есть, чтобы человѣкъ могъ себя познать“. Изъ этого основного принципа развивается затѣмъ цѣлая система „нужныхъ“ для человѣка наукъ, обнимающая, какъ „тѣлесное“ (медицина, экономія) такъ „политическое“ (законоученіе) и „душевное“ (логика, богословіе) самопознаніе ***).

Какъ видимъ, общее міровоззрѣніе Татищева находится въ полнѣйшей гармоніи съ практическими задачами времени и съ прозаическимъ складомъ его натуры. По широтѣ основной идеи, это міровоззрѣніе должно было сдѣлать Татищева воспріимчивымъ ко всевозможнымъ родамъ знаній и сообщить, въ то же время, всѣмъ его занятіямъ характеръ непосредственной связи съ жизнью и дѣйстви-

---

*) Разговоръ двухъ пріятелей, стр. 4—5, 15-26, 29, 129, 133—134. Walch. „Phil. Lex.“, s. vv. Eigenliebe, Gesetz der Natur, Güter des Menschen, Neigungen des Gemüths, Wille des Menschen, Liebe gegen andere, Liebe gegen Gott, Thier.

**) Разговоръ, стр. 9, 15, 16, 65, 131; Walch., s. vv. Seelenbeschaffenheit, Vernunft, Judicium.

***) Разговоръ, стр. 2—3, 5, 75—78; Walch. Erkenntniss sein selbst, Studieren.

тельностью. Если Татищевъ не всегда воспроизводитъ нападки своихъ иностранныхъ источниковъ на чистую ученость, на науку и знаніе, служащія сами себѣ цѣлью, то это только потому, что такого рода ученость гораздо менѣе ему извѣстна, чѣмъ европейскимъ защитникамъ реальныхъ знаній противъ средневѣковой формальной науки. Но достаточно прочесть въ *Разговорѣ двухъ пріятелей* нападки Татищева на преподаваніе „риторики, философіи и богословія“ въ старой московской славяно-греко-латинской академіи, чтобъ увидѣть, что онъ вполнѣ раздѣляетъ и презрѣніе къ „пустымъ словамъ“ этихъ „болѣе вралей, нежели реторовъ“, къ „пустымъ и не всегда правильнымъ силлогизмамъ“ ихъ формальной логики,—и симпатіи къ „новой физикѣ“ Декарта и Мальбранша, къ изученію естественнаго права по „книгамъ Гроціевымъ и Пуфендорфовымъ, которыя за лучшихъ во всей Европѣ почитаются“, и вообще къ пріобрѣтенію реальныхъ знаній историческихъ, географическихъ, медицинскихъ и т. д. *)

Всѣ отмѣченныя особенности своихъ воззрѣній Татищевъ перенесъ и въ область своихъ спеціальныхъ историческихъ изслѣдованій. Послѣ всего сказаннаго нѣтъ надобности прибавлять, что занятія русскою исторіей, прежде всего, не были для него спеціальностью, а необходимою составною частью его міровоззрѣнія, сводившагося для него, какъ мы видѣли, къ „самопознанію“. Но къ этому теоретическому побужденію съ 1719 года прибавилось и практическое, такъ какъ въ этомъ году Брюсъ убѣдилъ Татищева взять на себя составленіе русской географіи и исторіи, порученное ему Петромъ. „Хотя я,—говоритъ Татищевъ,— для скудости способныхъ къ тому наукъ и необходимо нужныхъ извѣстій осмѣлиться не находилъ себя въ состояніи“, однако же, „ему яко командиру и благодѣтелю отказаться не могъ, оное въ 1719 году отъ него принялъ и мня, что географія гораздо легче, нежели исторія сочинить, тотчасъ же по предписанному отъ него плану оную началъ“ **). Такое начало, конечно, всего болѣе соотвѣтствовало и практическимъ побужденіямъ Брюса, „примѣтившаго“, по словамъ Татищева, „что за недостаткомъ обстоятельной россійской географіи и ландкартъ... не малый государству вредъ приключался“. Но, принявшись за разработку русской географіи, Татищевъ „въ самомъ началѣ увидѣлъ“, что современной географіи нельзя составить безъ точныхъ (геодезическихъ) свѣдѣній, а для древней географіи необ-

---

*) Разговоръ, стр. 116—117. Ср. стр. 11 объ историкахъ у которыхъ „память“ преобладаетъ надъ „смысломъ“.

**) Рукописное „предъизвѣщеніе“ въ рк. Академіи Наукъ. См. Сенигова: „Историко-критическія изслѣдованія о новгородскихъ лѣтописяхъ и о россійской исторіи В. Н. Татищева“ (Чтенія Общ. Ист. и Др. 1887 г., IV, стр. 209).

ходимо знать древнюю исторію. Подготовительныя работы геодезистовъ, по представленію Брюса, и начались въ 1721 году; въ томъ же году заведены были сношенія съ астрономами и картографами — братьями Делилями. Для древней же географіи Татищевъ сталъ, „за недостаткомъ на русскомъ языкѣ“ необходимыхъ пособій, собирать иностранныя книги и подыскивать переводчиковъ. Надо прибавить, что къ 1719 г. Татищевъ успѣлъ уже три раза побывать за границей и собралъ довольно значительную библіотеку. Но всѣ эти книги оказались мало пригодными для его цѣлей; историческіе и географическіе словари (Буддея, Бейля, Мартиньера и др.) были полны пробѣловъ и ошибокъ во всемъ, что касалось Россіи; книги снабжены недостаточными указателями, и „для того многаго сыскать не можно; а всѣ книги читать времени не достанетъ“; многія книги напечатаны на языкахъ, недоступныхъ Татищеву, знавшему только нѣмецкій и польскій; переводы же на польскій и нѣмецкій часто неисправны; по содержанію свѣдѣнія часто заимствованы изъ русскихъ источниковъ. Послѣднее обстоятельство побудило уже Брюса обратиться къ русскимъ матеріаламъ, „искать русской древней именуемой Несторовой лѣтописи“, которую Брюсъ и нашелъ въ библіотекѣ Петра и отдалъ Татищеву. Взявъ ее, разсказываетъ намъ самъ Татищевъ, я ее скоро списалъ и думалъ, что лучше ея и не надобно; но, будучи посланъ въ 1720 году въ Сибирь для устройства горныхъ заводовъ, „вскорѣ нашелъ другую того же Нестора лѣтопись“, оказавшуюся несходной съ имѣвшимся у него спискомъ. Эта разница текстовъ заставила Татищева искать другихъ списковъ и заняться ихъ сличеніемъ. Такимъ образомъ, ощупью Татищевъ добрался до главной своей задачи составленія лѣтописнаго свода; занявшись ею, онъ, „оставя географію совсѣмъ, сталъ наиболѣе о собраніи исторіи прилѣжать“,—тѣмъ болѣе, что географическія работы перешли со второй половины 1720-хъ годовъ въ надежныя руки Делилей и Ив. Кириллова. Вмѣстѣ съ этой перемѣной цѣли начатаго труда, свой первый отдѣлъ—сводъ иностранныхъ источниковъ, вслѣдствіе практическихъ затрудненій, указанныхъ выше, и вслѣдствіе недостатка переводчиковъ, Татищевъ рѣшилъ сократить; въ печатномъ изданіи этотъ отдѣлъ составляетъ двѣ части перваго тома *Исторіи россійской*. Центромъ тяжести сдѣлался, такимъ образомъ, сводъ русскихъ и, главнымъ образомъ, лѣтописныхъ источниковъ. При составленіи этого свода Татищевъ, опять-таки, руководился требованіями времени. Первоначально онъ хотѣлъ дать историческое сочиненіе: „началъ, по его словамъ, *историческимъ порядкомъ*, сводя изъ разныхъ лѣтъ къ одному дѣлу, и нарѣчіемъ такимъ, какъ нынѣ наиболѣе въ книгахъ употребляемо, сочинять“. Но затѣмъ, „разсудя, что у насъ изъ древнихъ манускриптовъ... до днесь ни одинъ не напечатанъ“, что всѣ списки лѣ-

тописей разнятся одииъ отъ другого, что большая часть ихъ находится въ частныхъ рукахъ, „часто изъ рукъ въ руки переходятъ и сыскать послѣ неудобно“, такъ что „ни на который, кромѣ находящихся въ постоянной государственной книгохранительницѣ и въ монастыряхъ, сослаться нельзя“, что, поэтому, мѣнять въ нихъ „нарѣчія и порядка“ нельзя, не рискуя подорвать довѣрія къ точности пересказа,—по всѣмъ этимъ причинамъ Татищевъ „разсудилъ за лучшее писать тѣмъ порядкомъ и нарѣчіемъ, каковые въ древнихъ находятся, собирая изъ всѣхъ полнѣйшее и обстоятельнѣйшее въ порядокъ лѣтъ, какъ они написали, не перемѣняя, ни убавливая изъ нихъ ничего“. Черезъ двадцать лѣтъ послѣ начала работы этотъ трудъ былъ законченъ; въ 1739 году Татищевъ привезъ свою рукопись въ Петербургъ и передалъ ее Академіи Наукъ на храненіе *). Но и послѣ того онъ не переставалъ работать надъ своею „исторіей“. Такъ, онъ внесъ въ нее новые источники, и въ томъ числѣ знаменитую Іоакимовскую лѣтопись. Но, главное, не встрѣтивъ сочувствія къ своему труду въ Петербургской академіи и подвергшись въ столицѣ даже нареканіямъ за свое религіозное и политическое вольнодумство, Татищевъ сталъ склоняться къ мысли перевести свою исторію на иностранный языкъ и издать гдѣ-нибудь за границей; онъ даже пробовалъ завести переговоры объ этомъ съ лондонскимъ королевскимъ обществомъ. Для этой цѣли онъ рѣшился перередактировать весь текстъ „исторіи“: замѣнить непонятныя выраженія болѣе вразумительными, внести поясненія темныхъ мѣстъ,—словомъ, говоря его словами, „всю ее въ настоящее нарѣчіе преложить“ и „отъ разныхъ русскихъ исторій, яко Степенныхъ, Хронографовъ, Миней и Прологовъ изъяснить“. Надъ этою второю редакціей и надъ продолженіемъ „исторіи“ Татищевъ продолжалъ работать до самой смерти, не успѣвъ, все-таки, довести свой трудъ до предположеннаго конца и успѣвъ снабдить „примѣ-

*) Исторія Татищевскаго труда разсказана имъ самимъ въ „Предъизвѣщеніи“ къ Исторіи россійской и въ главѣ о географіи вообще и о русской (1, стр. 507—510). Для дополненій см. Новыя извѣстія о В. Н. Татищевѣ (прил. къ VI т. Зап. Акад. Наукъ) П. Пекарскаго, гдѣ напечатанъ, между прочимъ, каталогъ библіотеки Татищева. Списокъ источниковъ Татищева составленъ г. Сениговымъ, Ист.-крит. изслѣдованія etc., стр. 170—193. Къ сожалѣнію, авторъ не пытается выдѣлить источники, непосредственно извѣстные самому Татищеву, отъ такихъ, ссылки на которые заимствованы имъ изъ сочиненій второй руки: такимъ образомъ, вся ученость Байера, изслѣдованія котораго переведены въ Исторіи россійской, Стрыйковскаго и др., смѣшаны съ ученостью Татищева, хотя отдѣлить то и другое было весьма нетрудно. О первоначальной редакціи 1739 г. см. у г. Сенигова, стр. 207 и слѣд. О ходѣ географическихъ работъ послѣ Петра, см. Свенске: „Матеріалы для исторіи составленія атласа Росс. Имперіи 1745 г.“ (прил. къ IX т. Зап. Ак. Наукъ).

чаніями“ только часть изготовленнаго текста (до 1238 г.). Послѣ смерти Татищева подлинныя рукописи его труда, за исключеніемъ нѣсколькихъ черновиковъ, погибли при пожарѣ его села, Грибанова, и *Исторія* была напечатана по спискамъ 2-й редакціи *).

Къ оцѣнкѣ научныхъ пріемовъ Татищева въ его „Исторіи“ намъ еще предстоитъ вернуться; теперь прибавимъ только, что, возникшая изъ жизненныхъ потребностей, эта исторія не составляла для автора главной жизненной задачи; ей онъ могъ посвятить только время, свободное отъ служебныхъ обязанностей; при частыхъ перемѣнахъ мѣста службы и рода служебной дѣятельности, такого времени у него оставалось, навѣрное, немного. Только что

---

*) На сношенія съ лонд. обществомъ указалъ, кажется, впервые Шлецеръ. Nord. Geschichte 224. На связь новой редакціи съ мыслью о переводѣ Исторіи указано въ „Предъизвѣщеніи“. Двѣ части перваго тома изданы Миллеромъ въ Москвѣ въ 1768 и 1769 гг. подъ заглавіемъ: Исторія Россійская съ самыхъ древнѣйшихъ временъ неусыпными трудами черезъ тридцать лѣтъ собранная и описанная покойнымъ тайнымъ совѣтникомъ и астраханскимъ губернаторомъ В. Н. Татищевымъ. Второй томъ изданъ въ 1773 г.; третій – въ 1774 г. имъ же; всѣ три--по списку, подаренному сыномъ Татищева Московскому университету, а два послѣдніе—еще и по другому, болѣе исправному. Сличеніе печатнаго текста съ рукописями, хранящимися въ Моск. архивѣ мин. иностр. дѣлъ, произведенное г. Сениговымъ (стр. 237—262), показало, что неисправности списковъ, по которымъ печаталась Исторія, не такъ значительны, какъ думали, и что Миллеръ сдѣлалъ изданіе вполнѣ добросовѣстно, вопреки мнѣнію предыдущихъ историковъ. Печатаніе четвертаго тома (съ 1237 года) Миллеръ задержалъ, по его словамъ, вслѣдствіе повышенія типографскихъ цѣнъ въ Спб. академической и московской университетской типографіяхъ. Въ 1783 г. Екатерина II разрѣшила напечатать этотъ томъ въ одной изъ частныхъ типографій въ Петербургѣ, на свой счетъ. Первые листы успѣлъ прокорректировать еще самъ Миллеръ, въ томъ же году умершій; но въ свѣтъ вышла книга только въ началѣ 1784 г. (Пекарскій, стр. 49—53, 64—66). Наконецъ, пятый томъ (съ 1462 года) былъ найденъ въ 1843 г. Погодинымъ въ числѣ его собственныхъ рукописей и изданъ Обществомъ исторіи и древностей россійскихъ въ 1848 г. Какъ видно изъ текста этого тома, Татищевъ привелъ въ порядокъ свой матеріалъ до времени смерти Василія III; далѣе заготовленъ былъ, но не проредактированъ окончательно матеріалъ для царствованія Ивана Грознаго до 1558 года; остальныя 26 лѣтъ этого царствованія Татищевъ предполагалъ изложить по хранившемуся въ его библіотекѣ Житію царя Іоанна II, которое онъ приписывалъ митр. Макарію; повидимому, этотъ самый экземпляръ, размѣченный редакторскими помѣтками, попалъ потомъ въ число рукописей Румянцевскаго музея (Востоковъ, Опис., 362 стр.). Для времени Ѳеодора Ивановича онъ помѣстилъ житіе Ѳеодора, написанное патр. Іовомъ (напечатано въ V т. Исторіи). Наконецъ, и для дальнѣйшаго времени смуты и XVII в. встрѣчаемъ въ его библіотекѣ историческіе матеріалы (Пекарскій, стр. 58–60). Впрочемъ, дальше 1613 г. Татищевъ не думалъ идти, оставляя послѣдующее время „инымъ для сочиненія“ (Предъизв. XXII). Часть подготовительныхъ работъ Татищева хранится въ портфеляхъ Миллера, №№ 46 и 150, часть 14 (исторія Шуйскаго).

получивъ упомянутое выше порученіе „сочинять обстоятельную россійскую географію съ ландкартами", Татищевъ былъ отправленъ на Уралъ и о собираніи географическихъ свѣдѣній, по его собственнымъ словамъ, „болѣе не мыслилъ". Съ 1720 по начало 1722 г. онъ дѣятельно занимался устройствомъ уральскихъ горныхъ заводовъ; половину 1722 г. потерялъ въ разъѣздахъ (въ Москву, Петербургъ и обратно на Уралъ), оправдываясь отъ обвиненій заводчика Демидова; затѣмъ до конца 1723 г. онъ опять объѣзжаетъ заводы, устраиваетъ школы, производитъ слѣдствіе о безпорядкахъ, ведетъ дѣловую переписку и т. д. Въ концѣ 1723 г. онъ уже опять ѣдетъ въ Петербургъ и поступаетъ въ Сибирскій бергъ-амтъ. Вѣроятно, это было сравнительно удобное время для работы. Въ это время (1724 г.), по понужденію Петра, напомнившаго Татищеву о его проектахъ относительно русскаго „землемѣрія", Татищевъ, дѣйствительно, снова принимается за собираніе книгъ („особенно до географіи принадлежащихъ исторій") и подыскиваніе переводчиковъ. Съ декабря 1724 по апрѣль 1726 г. мы видимъ Татищева въ Швеціи, исполняющимъ деликатное дипломатическое порученіе. Здѣсь онъ успѣваетъ завести знакомство со шведскими учеными, заказываетъ секретарю „коллегіи древностей" Біорнеру выборку изъ скандинавскихъ источниковъ и усваиваетъ его ученое мнѣніе о приходѣ руссовъ въ Новгородъ изъ Финляндіи. Съ 1727 по 1734 г. Татищевъ - членъ монетной конторы. Можно было бы думать, что его ученая работа сильно подвинулась за эти годы, но онъ самъ сообщаетъ намъ, что за все это время, оставивъ послѣ смерти Петра занятія географіей, онъ и для составленія исторіи „времени не имѣлъ", такъ что, за исключеніемъ покупки книгъ и знакомствъ съ учеными въ Швеціи, „все сіе время какъ географія, такъ и исторія лежали туне". Съ весны 1734 г. Татищева опять назначаютъ главнымъ начальникомъ заводовъ въ Перми и Сибири, и опять начинаются для него постоянные разъѣзды и административныя хлопоты. Однако же, здѣсь онъ находитъ время „паки приняться за начатый трудъ", и о быстромъ ходѣ работы свидѣтельствуютъ, помимо разсылки вопросныхъ бланковъ и геодезистовъ по городамъ и провинціямъ Сибирской губерніи,—„нѣсколько главъ" сибирской географіи, посланныя въ академію въ 1736 г. и лично доставленныя туда же въ 1739 г. ландкарты Сибири и первая редакція *Россійской исторіи*. Надо прибавить, что съ 1737 г. Татищевъ изъ Екатеринбурга и съ Урала былъ назначенъ на только что устраивавшуюся тогда военную окраину, въ непостроенный еще Оренбургъ, въ тылу котораго продолжали волноваться башкиры, а впереди котораго приходилось возиться съ покорившимися на половину киргизами и калмыками, дѣйствуя на нихъ поперемѣнно то „лаской", то „жесточью", какъ выражались наши администраторы

XVII вѣка. Въ 1739 г. Татищевъ является въ Петербургъ съ объясненіями по поводу своей дипломатіи и съ рукописью своей Исторіи въ первоначальной редакціи. Вмѣсто наградъ, на него сыплются жалобы и обвиненія, не совсѣмъ неосновательныя; его отставляютъ отъ службы, лишаютъ чиновъ, сажаютъ даже въ крѣпость. Этимъ неожиданнымъ гоненіемъ Татищевъ былъ обязанъ личному нерасположенію къ нему Бирона; вскорѣ послѣ паденія Бирона правительство такъ же быстро, даже не исполнивъ надъ Татищевымъ судебнаго приговора, возвращаетъ ему прежнее положеніе и немедленно посылаетъ его въ Царицынъ успокаивать калмыковъ. Съ осени 1741 г. Татищевъ вступаетъ въ управленіе Астраханскою губерніей и остается тамъ, погруженный въ хлопоты по внутренней администраціи и по сношеніямъ съ инородцами, до 1745 г.; продолжая здѣсь работы надъ исторіей, онъ не забываетъ слѣдить и за съемками и составленіемъ ландкартъ. Въ 1745 г., по новымъ жалобамъ, Татищевъ былъ опять отставленъ и посланъ, для излѣченія болѣзни, въ деревню, гдѣ и прожилъ послѣдніе 5 лѣтъ своей жизни. За это время, оставивъ всѣ другія занятія, онъ отдался исключительно исторіи *). Припоминая весь этотъ послужной списокъ перваго русскаго историка, мы видимъ, что изъ тѣхъ „тридцати лѣтъ", въ теченіе которыхъ, согласно заглавію Миллера, составлялась *Исторія россійская*, надо сдѣлать значительные вычеты. Татищевъ не имѣлъ бы времени сдѣлаться спеціальнымъ ученымъ по русской исторіи, если бы даже и имѣлъ для этого надлежащую предварительную подготовку. За то, въ его историческихъ работахъ, какъ мы не разъ замѣчали, нельзя не цѣнить одного: жизненнаго отношенія къ вопросамъ науки и связанной съ этимъ широты ученаго кругозора. Неподготовленный ни къ какому спеціальному отдѣлу, Татищевъ тѣмъ свободнѣе схватываетъ цѣлое и всюду вноситъ въ объясненія прошлаго свой личный житейскій опытъ: какой-нибудь хорошо знакомый ему обычай судейской практики или свѣжее воспоминаніе о нравахъ того XVII вѣка, концу котораго принадлежитъ его дѣтство и юность, даютъ ему возможность понять жизненный смыслъ нашего московскаго законодательства; личное знакомство съ инородцами уясняетъ ему, какъ увидимъ, нашу древнюю этнографію, а въ ихъ живомъ языкѣ онъ ищетъ объясненія древнихъ именъ и географическихъ названій. Эта-то связь настоящаго съ прошлымъ объясняетъ намъ, почему самыя тяжелыя занятія по службѣ не только не отвлекаютъ Татищева отъ его основной задачи, но, на-

---

*) Біографическія свѣдѣнія о Татищевѣ см. у Н. А. Попова: „Татищевъ и его время", М., 1861 г., и К. Н. Бестужева-Рюмина: „Біографіи и характеристики". Спб., 1882. О службѣ въ Оренбургѣ см. также В. Н. Витевскаго: „И. И. Неплюевъ и Оренб. край до 1758 г." Казань, вып. 1—3, 1889—91.

противъ, расширяютъ и углубляютъ пониманіе имъ этой задачи. Здѣсь, конечно, надо искать и секрета того равномѣрнаго вниманія и одинаковаго усердія, съ какими Татищевъ хлопочетъ и о собираніи русскихъ лѣтописей, и о выборкѣ изъ сѣверныхъ писателей, и о переводѣ изъ классиковъ всего, относящагося къ Россіи, и объ учрежденіи училища восточныхъ языковъ для подготовки къ занятіямъ русской исторіей, и о геодезическихъ съемкахъ для географическаго атласа: все это одинаково необходимо, потому что все это одинаково служитъ для объясненія единаго жизненнаго итога, въ которомъ сливаются географія, и этнографія, прошлое и настоящее.

Какъ Татищевъ весь вылился въ своемъ трудѣ, такъ, наоборотъ, Ломоносова въ его *Древней россійской исторіи* мы вовсе не узнаемъ. Другое время—другіе люди, или, точнѣе, и прежніе люди должны служить для новаго употребленія. Петровскій типъ просвѣщеннаго человѣка, дѣльца и практика, былъ слишкомъ тяжелъ и грубъ для времени Елизаветы. Императрица и ея окружающіе были, правда, не менѣе, если только не болѣе, далеки отъ цивилизующаго вліянія западной школы и литературы; но они съ охотой перенимали красивыя декораціи западной культуры и усвоивали себѣ европейскія увеселенія. Веселиться во время Петра—значило напиться до безчувствія въ наполненной табачнымъ дымомъ комнатѣ; веселиться во время Елизаветы—значило, подъ опасеніемъ денежнаго штрафа, присутствовать на придворномъ спектаклѣ. Вино и табакъ уступили мѣсто картамъ и театру, баламъ и маскарадамъ. Дворъ Елизаветы представлялъ одно изъ тѣхъ неуклюжихъ и неудачныхъ подражаній версальскому, какими полна была Европа въ срединѣ XVIII вѣка. Дворецъ въ стилѣ поздняго ренессанса, со штукатурными подражаніями мрамору, при дворцѣ паркъ, въ паркѣ пруды и фонтаны, „люстгаузы", декоративно-аляповатые Аполлоны и Венеры, во дворцѣ неумолкаемый праздникъ съ замысловатыми эмблематическими и миѳологическими затѣями,—все это было обязательно для послѣдняго владѣтельнаго князька Германской имперіи. При этомъ придворномъ праздникѣ полагался по штату и литераторъ, какъ необходимая аксессуарная принадлежность придворнаго торжества. Литератору заказывали на этотъ случай оду или трагедію въ придворно-классическомъ вкусѣ; трагедія вызывала скуку, ода была непонятна; за то все было въ порядкѣ, какъ полагалось по новому чину оффиціальнаго веселья.

Въ этотъ обязательный обиходъ придворно-классической цивилизаціи входила по необходимости и русская исторія, и внести ее въ эту сферу было оффиціально приказано тому же придворному литератору: Ломоносовъ долженъ былъ писать русскую исторію, какъ онъ написалъ *Темиру и Селима*. Конечно, къ исполненію

этого заказа онъ не былъ вовсе подготовленъ; конечно, эта работа отвлекала его отъ его любимыхъ занятій. Но не въ подготовкѣ было и дѣло; дѣло было въ томъ, чтобы „видѣть россійскую исторію, его штилемъ написанную". Другими словами, Ломоносовъ долженъ былъ сдѣлать русскую исторію достойною вниманія высшаго общества; для этого нужно было только украсить старую матерію новыми пріемами изложенія, пріодѣть русскую исторію въ приличный времени ложно-классическій костюмъ. „Посему всякъ, кто увидитъ въ россійскихъ преданіяхъ равныя дѣла и героевъ, греческимъ и римскимъ подобныхъ, унижать насъ предъ оными причины имѣть не будетъ; но только вину полагать долженъ на бывшій нашъ недостатокъ въ искусствѣ, каковыми греческіе и латинскіе писатели своихъ героевъ въ полной славѣ предали вѣчности". Такимъ образомъ, на *искусство*, на языкъ обращено преимущественное вниманіе въ *Древней россійской исторіи*, первая (и единственная) часть которой вышла въ 1766 году, уже по смерти автора *). Весь почти разсказъ идетъ кадансированною прозой.

*) Ходъ составленія „исторіи" виденъ изъ собственныхъ отчетовъ Ломоносова (Пекарскій: „Ист. акад. наукъ", II). Въ 1751 г. онъ „читалъ книги для собранія матерій къ сочиненію россійской исторіи: Нестора, законы Ярославли, большой лѣтописецъ, Татищева первый томъ, Кромера, Вейселя, Гелмольда, Арнольда и другія, изъ которыхъ бралъ нужныя эксцепты, или выписки и примѣчанія, всѣхъ числомъ 653 статьи на 15 листахъ" (стр. 466). Въ 1752 г. „для собранія матеріаловъ въ россійской исторіи читалъ Кранца, Преторія, Мураторія, Іорнанда, Прокопія, Павла Дьякона, Зонара, Өеофана исповѣдника и Леона грамматика и иныхъ эксцептовъ нужныхъ на трехъ листахъ въ 161 статьѣ (стр. 488). Въ 1753 г. 1) „Записки изъ упомянутыхъ прежде авторовъ приводилъ подъ статьи числами". 2) „Читалъ россійскіе академическіе лѣтописцы безъ записокъ, чтобы общее понятіе имѣть пространно о дѣяніяхъ россійскихъ" (стр. 508). Въ 1754 г. „сочиненъ опытъ исторіи словенскаго народа до Рюрика: дедикація, вступленіе,—глава I, О старобытныхъ жителяхъ въ Россіи; глава II, О величествѣ и поколѣніяхъ россійскаго народа; глава III, О древности словенскаго народа, всего 8 листовъ" (стр. 543). Въ 1755 г. „сдѣланъ опытъ описаніямъ владѣнія первыхъ великихъ князей россійскихъ, Рюрика, Олега, Игоря. Въ томъ же году составлено похвальное слово Петру" (стр. 569). Въ 1756 году „собранные мною въ нынѣшнемъ году россійскіе историческіе манускрипты для моей библіотеки, пятнадцать книгъ, сличалъ между собою для наблюденія сходствъ въ дѣяніяхъ россійскихъ" (стр. 591). Въ 1757 г. Ломоносовъ дѣлалъ для Вольтера экстракты о самозванцахъ, царствованіяхъ Михаила, Алексѣя и Өедора и о стрѣлецкихъ бунтахъ" (стр. 618). Съ сентября 1758 г. началось печатаніе Исторіи, но къ 1763 г. было напечатано только три листа. Съ 1763 г. печатаніе пошло скорѣе, и Ломоносовъ обѣщалъ въ первомъ томѣ помѣстить событія до Ивана III; но представленная имъ рукопись кончалась смертью Ярослава Мудраго. Послѣ донесенія фактора академической типографіи (черезъ полтора года по смерти Л.), что оригинала болѣе не имѣется, напечатанная часть (до 1054 г.) была выпущена въ продажу (стр. 642, 791—792). Какъ видно изъ этихъ свѣдѣній, подготовка и печатаніе Исторіи шли крайне медленно.

„Уже съ восхожденіемъ зари городъ отворяется; выходятъ съ отмѣнною бодростью и скоростью за благонадежнымъ своимъ предводителемъ и государемъ полки россійскіе безъ остатку полыми вездѣ къ непріятелю воротами, которыя по Святославлю повелѣнію за ними затворены и т. д. Или: „уже его (Владиміра) обращенное сердце жаждетъ какъ елень на водные источники святаго крещенія; однако, помня свое и предковъ въ военномъ мужествѣ преимущество надъ греками, желаніе свое унамѣрился прикрыть важнымъ предпріятіемъ: дабы греческіе цари и греки не стали величаться ради россійской уклонности въ прошеніи крещенія". Не слышатся ли уже въ этой размѣренной прозѣ знаменитые дактили Карамзина?

Впрочемъ, до Карамзина у Ломоносова оказались и другіе послѣдователи, пошедшіе гораздо дальше его самого по пути литературной разработки исторіи: Эминъ и Елагинъ. Эминъ, полякъ-католикъ, принявшій въ Турціи магометанство, а въ Россіи православіе, ровесникъ Болтина (р. 1735 г.), исколесившій всю Европу и явившійся въ 1761 г. въ Петербургъ, на службу въ сухопутный шляхетскій корпусъ (потомъ онъ служилъ переводчикомъ въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ), къ 1767–9 гг. успѣлъ уже сочинить и напечатать свою *Россійскую исторію*. Въ исторіи онъ остается авантюристомъ смѣлымъ и беззастѣнчивымъ, ссылается на несуществующіе источники и развязно бранитъ не только такихъ изслѣдователей, какъ Байеръ, но даже и самого Нестора *). По образцу древнихъ, Эминъ влагаетъ въ уста своихъ героевъ цѣлыя рѣчи, о чемъ и предупреждаетъ читателя: „Долженъ я всѣхъ увѣдомить, – говоритъ онъ, —что многія рѣчи, которыя въ сей исторіи разныя говорятъ лица, выдуманы, наприм., рѣчь, которую говоритъ Гостомыслъ мятущемуся народу... Но если Гостомыслъ оной не говорилъ, то по малой мѣрѣ долженъ былъ говорить что-нибудь тому подобное, чтобы взволновавшійся, гордый и ничего не разсуждающій народъ могъ усмирить... Можетъ статься, Гостомыслова рѣчь была важнѣе и гораздо трогательнѣе той, которая въ сей книгѣ изображена; но я, соображаясь съ тогдашнимъ временемъ, въ которое краснорѣчія или, лучше сказать, *протяженнаго и пухлаго стиля*

---

*) Біографическія свѣдѣнія объ Эминѣ см. въ Словарѣ митр. Евгенія, I. стр. 214—225, и у Старчевскаго: „Очеркъ исторической дѣятельности въ Россіи до Карамзина", стр. 178—188. Сочиненіе доведено до 1213 года и издано Академіей Наукъ въ 3-хъ томахъ (1767–1769) подъ длиннымъ заглавіемъ: Россійская исторія, жизни всѣхъ древнихъ отъ самаго начала Россіи государей, всѣ великія и вѣчной достойныя памяти императора Петра Великаго дѣйствія, его наслѣдницъ и наслѣдниковъ ему послѣдованія и описаніе въ сѣверѣ златаго вѣка во время царствованія Екатерины Великой въ себѣ заключающая.

не знали, старался говорить языкомъ каждаго человѣка состоянію сроднымъ“. Эминъ полагаетъ даже, что именно эта манера изложенія „необходимо нужна для того, чтобы можно было исторію различить отъ сказки“, ибо ея „свойство состоитъ въ томъ, дабы не только человѣческое любопытство увѣдомлять о прошедшихъ дѣлахъ, но и важностью рѣчей и разными полезными разсужденіями научать тѣхъ, кои довольнаго просвѣщенія не имѣютъ“. Точно такихъ же взглядовъ на исторію, какъ на художественное произведеніе, цѣлью котораго должно быть назиданіе, держится другой представитель того же направленія, Елагинъ, екатерининскій вельможа и масонъ, авторъ *Опыта любопытнаго и политическаго о государствѣ россійскомъ повѣствованія* *). Елагинъ посвящаетъ свой трудъ „премудрости“ и старается „украшать сочиненіе свое подражаніемъ“ древнимъ образцамъ. „Пухлый стиль“ въ его разсказѣ продолжаетъ прогрессировать. Чтобы наглядно показать, до чего довело это употребленіе литературныхъ пріемовъ Ломоносова и его послѣдователей, приведемъ нѣсколько примѣровъ. Извѣстенъ разсказъ лѣтописи о мести Ольги древлянамъ, которыхъ она предварительно напоила до-пьяна, а потомъ велѣла избить. „Яко упишася деревляне,—говорится въ лѣтописи,—повелѣ (Ольга) отрокамъ своимъ идти на ня, а сама отъиде кромѣ и повелѣ дружинѣ своей сѣчи деревляне“. Теперь посмотримъ, что дѣлаютъ изъ этой фразы лѣтописи Ломоносовъ и Эминъ:

Ломоносовъ. Веселящимся и даже до отягощенія упившимся древлянамъ казалось, что уже въ Кіевѣ повелѣваютъ всѣмъ странамъ россійскимъ; и въ буйствѣ поносили Игоря передъ супругой его всякими хульными словами. Внезапно избранные проводники Ольгины, по данному знаку, съ обнаженнымъ оружіемъ ударили на пьяныхъ; надежду и наглость ихъ пресѣкли смертью...

Эминъ. Яко разъяренные львы которые, долго время не имѣя пищи, нашедъ какого-либо звѣря, въ малыя онаго терзаютъ частицы; такъ кіевцы, долгое время слушая древлянъ, поносящихъ бывшаго ихъ государя имя и за то отмстить времени ожидая, съ чрезмѣрною на нихъ бросились яростію и въ мельчайшія мечами своими ихъ разсѣкали частицы. Ольга, паки взошедъ на могилу своего супруга, прослезясь, сіи молвила слова: „пріими, любезный супругъ, сію жертву и не думай, что она послѣдняя. Сколько силъ моихъ будетъ, стараться не премину о конечномъ убійцевъ твоихъ разореніи“.

---

*) „Опытъ“ составленъ въ 1789 г., но напечатанъ только въ 1803 г., послѣ смерти автора († 1796). См. у митр. Евгенія I, стр. 211—214, и Старчевскаго, стр. 190—194 (Старчевскій повторяетъ, впрочемъ, свѣдѣнія Евгенія и объ Эминѣ, и о Елагинѣ).

Или возьмемъ другой примѣръ, не менѣе яркій:

Ломоносовъ. Для вящшаго ободренія своихъ войскъ (Ольга) пріемлетъ въ участіе сына своего Святослава, младостію и бодростію процвѣтающаго... и какъ обоихъ сторонъ полки сошлись къ сраженію, Святославъ кинулъ копье въ непріятеля и пробилъ тѣмъ коня сквозь уши... Великаго стремленія войскъ Ольгиныхъ и Святославлихъ не стерпѣвъ, древляне устремились въ бѣгство; оставшіеся отъ посѣченія меча россійскаго въ городахъ своихъ затворились.

Елагинъ. Святославъ, подобно юному льву, первое стадо овецъ гонящему, летаетъ по рядамъ вражіимъ и лютая смерть предъ пѣнящимся въ ярости конемъ его паритъ. Все падаетъ отъ мышцъ его размаховъ. Кони и всадники супостатъ пораженныхъ бугристый творятъ за нимъ помостъ; а противостоящихъ ему ни броня, ни отважность, ни самый бѣгъ отъ смертоносныхъ его ударовъ не спасаютъ... (Непріятели бѣгутъ); одни тѣснятся во врата и затворяются въ стѣнахъ, другіе остаются за рвомъ и въ жертву смерти на бранномъ предаются полѣ; а прочіе всѣ разными путями въ разные грады свои удаляются.

А въ лѣтописи вся эта сцена изъ Иліады описана въ коротенькой фразѣ, въ которой говорится, что копье, брошенное ребенкомъ Святославомъ, скользнуло между ушей лошади и ударило ей въ ноги: „снемшемася обѣма полкома на скупь, суну копьемъ Святославъ на деревляны, и копье летѣ сквозѣ (между) уши коневи и удари въ ноги коневи, бѣ бо дѣтескъ... И побѣдиша деревляны, деревляне же побѣгоша и затворишася въ градѣхъ своихъ“.

Реторическое направленіе, какъ назвалъ его С. М. Соловьевъ, явилось въ нашей исторіографіи результатомъ приложенія къ области исторіи ложно-классическихъ теорій; въ этомъ смыслѣ оно было типичнымъ продуктомъ времени Елизаветы. При Екатеринѣ II это направленіе уже отживало свой вѣкъ; не только Елагинъ, но и Эминъ († 1770) уже не характеризуютъ господствующаго настроенія современной имъ исторіографіи. Чтобы найти главное теченіе исторической мысли временъ Екатерины II, мы должны обратиться къ сочиненіямъ Болтина и Щербатова.

Ко времени Екатерины II назрѣваетъ новая метаморфоза русскаго литературнаго типа. Литераторъ-ремесленникъ, поставщикъ придворныхъ издѣлій, замѣняется литераторомъ-любителемъ. Эта перемѣна сопровождается измѣненіемъ въ самомъ составѣ модной литературы. За ложно-классическою литературой придворнаго версальскаго быта эпохи Людовика XIV проникаетъ въ Россію политическая и философская просвѣтительная литература парижскихъ салоновъ—эпохи Людовика XV. Академическія разсужденія о литературномъ слогѣ уступаютъ мѣсто жгучимъ вопросамъ религіи, философіи и политики; апостолы европейскаго отрицанія, научнаго, религіознаго и политическаго, становятся и у насъ законодателями

общественнаго мнѣнія. Можно даже прослѣдить въ настроеніи этого общественнаго мнѣнія у насъ то же самое crescendo, которое съ такимъ неподражаемымъ искусствомъ отмѣтилъ Тэнъ относительно интеллигентнаго общества до-революціонной Франціи. И у насъ Монтескье и Вольтеръ смѣняются Руссо и Гельвеціемъ; и у насъ отрицаніе изъ легкаго аристократическаго скептицизма переходитъ мало-по-малу въ страстную революціонную проповѣдь. Но для нашихъ цѣлей намъ нѣтъ надобности слѣдить за крайними демократическими и матеріалистическими увлеченіями новымъ міровоззрѣніемъ. Оба наши русскіе историка времени Екатерины, достигшіе тридцатилѣтняго возраста уже въ первые годы ея царствованія, не подвергались опасности сдѣлаться ни якобинцами, ни атеистами. Извѣстно, что даже поколѣніе болѣе молодое, чѣмъ они, пережило увлеченіе Гельвеціемъ, только какъ тяжкую болѣзнь, и спѣшило успокоить встревоженную совѣсть раскаяніемъ и переходомъ отъ невѣрія и кощунства къ „доказательствамъ бытія Божія“ и „разсужденіямъ о злоупотребленіи разума новыми писателями“ *). Однако же, вліянію болѣе умѣренныхъ писателей просвѣтительной литературы Щербатовъ и Болтинъ подверглись въ весьма значительной степени. Читая сочиненія Щербатова, мы на каждомъ шагу наталкиваемся на слѣды этихъ вліяній и на болѣе или менѣе близкія заимствованія. Въ *Разныхъ разсужденіяхъ о правленіи* онъ полными руками черпаетъ изъ *Духа законовъ*, въ *Размышленіяхъ о смертной казни* одна изъ любимыхъ темъ просвѣтительной литературы, — полемизируетъ съ Беккаріа, въ *Размышленіяхъ о смертномъ часѣ* онъ становится, хотя условно, на точку зрѣнія человѣка, отрицающаго безсмертіе и признающаго, что, умирая, мы „изъ бытія въ небытіе переходимъ“; еще въ одномъ сочиненіи признаетъ, что, согласно „всѣмъ естественнымъ и народнымъ правамъ“, по прекращеніи династіи „народъ вступаетъ въ первобытныя

---

*) Подъ первымъ заглавіемъ фонъ-Визинъ перевелъ отрывки изъ книги Кларка, раскаявшись въ своихъ атеистическихъ увлеченіяхъ; составленіемъ же „разсужденій“ Лопухинъ, впослѣдствіи масонъ, хотѣлъ загладить свой грѣхъ - переводъ заключенія (code de la nature) изъ книги Гольбаха Système de la Nature,—переводъ, надо прибавить, немедленно сожженный авторомъ (Его записки въ Чтен. Общ. Ист. и Др. 1860 г., II, стр. 14). Даже крайніе радикалы Екатерининскаго времени, Ушаковъ и Радищевъ, не рѣшались согласиться съ французскими матеріалистами и сенсуалистами: Ушаковъ (Письма о разумѣ) полемизируетъ противъ Гельвеція; Радищевъ въ разныхъ мѣстахъ своихъ сочиненій высказываетъ противорѣчивыя мнѣнія по вопросу о безсмертіи души и колеблется между деизмомъ и критицизмомъ съ одной стороны и французскими философами съ другой (т. I, стр. 198; т. II: о человѣкѣ, его смертности и безсмертіи, особенно стр. 149, 153, 166, 169, и т. III, стр., 44, 46, 47; т. IV, стр. 14).

свои права“ и т. д. Связь Болтина съ французскою литературой указывается постоянно имъ самимъ въ его цитатахъ *).

Въ содержанiи усвоенныхъ воззрѣнiй обоихъ историковъ можно найти много общаго; но, несмотря на все это общее, между взглядами обоихъ существуетъ коренное и глубокое различiе. По отношенiю къ тогдашней русской жизни и образованности это различiе можно было бы характеризовать, какъ противуположность двухъ общественныхъ типовъ: „вольтерiанца“ и „стародума“. Для современниковъ, опасавшихся, какъ бы „новое просвѣщенiе“ не повело къ „поврежденiю нравовъ“,—выборъ между этими типами сводился къ рѣшенiю спора о томъ, что лучше: развитой умъ или добрая нравственность? Съ этой точки зрѣнiя, конечно, и Щербатовъ, и Болтинъ одинаково были „стародумами“. Авторъ знаменитаго памфлета *О поврежденiи нравовъ въ Россiи* точно также требовалъ для Россiи „*нравственнаго* просвѣщенiя“ **), какъ и его глубокомысленный противникъ. Но этической стороной дѣла, противуположенiемъ ума и сердца не исчерпывалось различiе между нашими вольтерiанцами и стародумами. Различiе было и шире и глубже; оно сводилось къ различiю двухъ мiровоззрѣнiй, одинаково заимствованныхъ изъ французскаго источника. Вѣкъ рацiонализма, вѣкъ фанатической вѣры въ могущество разума, въ возможность пересоздать человѣческiй родъ путемъ правильнаго воспитанiя и хорошихъ законовъ,—этотъ вѣкъ создалъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и основы современной науки, старался свести самыя различныя области знанiя къ единому принципу механическаго мiровоззрѣнiя. Но рацiонализмъ исходилъ изъ сознанiя свободы, тогда какъ научное мiровоззрѣнiе всюду проводило принципъ обусловленности, закономѣрности. Союзниками эти два мiровоззрѣнiя, научное и рацiоналистическое, могли чувствовать себя только потому, что—и только до тѣхъ поръ, пока—продолжалась ихъ совмѣстная борьба противъ преданiя и внѣшняго авторитета. При иныхъ условiяхъ они должны были оказаться непримиримыми противниками.

Въ приложенiи къ исторiи, рацiоналистическая точка зрѣнiя есть

---

*) Названныя сочиненiя Щербатова, см. въ Чтенiяхъ Общ. Ист. и Др. 1860 г., т. I. Цитаты Болтина собраны въ Исторiи россiйской академiи г. Сухомлинова, т. V, стр. 135—164. Весьма значительную часть ихъ Болтинъ взялъ изъ словаря Бейля, не всегда указывая на этотъ источникъ; но, за вычетомъ всѣхъ сколько-нибудь сомнительныхъ случаевъ, несомнѣнно прямое и близкое знакомство съ самимъ словаремъ Бейля (который Болтинъ даже переводилъ), съ Руссо, Монтескье, Вольтеромъ (особенно Essai sur les moeurs), съ Рейналемъ и Мерсье.

**) Статья Щербатова подъ заглавiемъ: Статистика въ разсужденiи Россiи. Чтенiя Общ. Ист. и Др. 1859 г., т. III, стр. 95. Сочиненiе О поврежденiи нравовъ напечатано въ Русской Старинѣ 1870 г., т. II и III.

по преимуществу индивидуалистическая. Личность, болѣе или менѣе свободная является съ этой точки зрѣнія творцомъ исторіи. Ходъ событій объясняется, какъ результатъ сознательной дѣятельности личности,—изъ игры страстей, изъ политическихъ и иныхъ разсчетовъ, изъ силы, хитрости, обмана,—словомъ, изъ дѣйствія личной воли на волю массы, съ одной стороны, и изъ подчиненія этой массовой воли,—по глупости, по суевѣрію и инымъ мотивамъ,—съ другой стороны. Въ подборѣ такого рода объясненій и заключается *прагматизмъ* историка. Цѣль прагматическаго разсказа считается достигнутою, если историческое событіе сведено къ дѣйствію личной воли, и если это дѣйствіе объяснено изъ обычнаго механизма человѣческой души. Прагматизмъ сводитъ, такимъ образомъ, историческое объясненіе къ психологической мотивировкѣ. Спеціальную особенность прагматизма XVIII вѣка составляетъ то обстоятельство, что для психологической мотивировки берутся преимущественно своекорыстныя побужденія человѣческой натуры, и что эти побужденія приписываются одинаково всѣмъ временамъ и народамъ, такъ что объясненіе выходитъ совершенно лишеннымъ мѣстнаго колорита и исторической перспективы. Всѣ указанныя черты раціоналистическаго прагматизма XVIII в. мы встрѣчаемъ въ изложеніи Щербатова. „Хотя, конечно, должность всякаго государя есть—наиболѣе всего пользу и спокойствіе своихъ народовъ наблюдать; но, къ несчастію рода человѣческаго, исторія свѣта намъ часто показываетъ, что благо государства былъ только видъ, прямая же причина дѣяній—или славолюбіе, или собственное какое пристрастіе государей". Такъ формулируетъ Щербатовъ одно изъ общихъ положеній своей исторической теоріи. А вотъ примѣръ примѣненія этой теоріи къ отдѣльнымъ фактамъ. По извѣстному разсказу лѣтописи, императоръ византійскій сватается за семидесятилѣтнюю Ольгу. Позднѣйшій историкъ-критикъ, усомнившись въ этомъ фактѣ, будетъ опровергать его или на основаніи внутренней невѣроятности, какъ фактъ, не соотвѣтствующій ни положенію дѣйствующихъ лицъ, ни ихъ возрасту,—или на основаніи сопоставленія съ противорѣчивыми фактами византійской исторіи (императоръ былъ уже женатъ). Для историка-прагматика сомнѣнія въ фактѣ не существуетъ; является только затрудненіе въ подборѣ психологической мотивировки. „Мню, что всего болѣе воспламенилось сердце императора,—такъ выходитъ изъ затрудненія Щербатовъ, - тѣмъ, что, взявъ ее себѣ въ жену, мнилъ наслѣдствомъ и всю пространную Россію имѣть или, по крайней мѣрѣ, заключить союзъ и дружбу съ сыномъ Ольги, Святославомъ. Политическіе виды, конечно, могутъ и престарѣлому лицу красоту придать, которыхъ не разумѣя, мню, тогдашніе писатели къ красотѣ Ольгиной приписали то, что единственно политика императора греческаго

была". Приведемъ другой примѣръ, прагматическое объясненіе болѣе крупнаго историческаго явленія—покоренія Руси монголами. Причину этого явленія Щербатовъ находитъ въ „духѣ неумѣренной набожности". Оно произошло потому, что наши предки „переставали имѣть попеченіе о томъ, что мірскимъ и тлѣннымъ называли, но единственно стремились къ вѣчной жизни, якобы и самое защищеніе себя было противуборство волѣ Господней, и якобы защищеніе отечества не должность была христіанскаго закона. Монахи же и духовный полъ сіи мысли паче утверждали, и, вкрадшись въ мірское правленіе..., твердость и великодушіе отовсюду прогнали, а на мѣсто того духъ монашескій вселился. Разсмотря сіи причины, неудивительно есть, что татары толь легко могли Россію покорить".

Совсѣмъ на другихъ основныхъ мысляхъ строится историческое міровоззрѣніе Болтина. Мы уже противуположили его міровоззрѣніе Щербатовскому, какъ научное, основанное на идеѣ закономѣрности,—идеалистическому, основанному на идеѣ свободной личности. Въ приложеніи къ историческимъ явленіямъ идея закономѣрности развилась въ XVIII в. въ формѣ ученія о вліяніи *климата*, какъ совокупности всѣхъ естественныхъ условій исторической жизни. Созданное еще въ XVI вѣкѣ Боденомъ, въ его Methodus ad facilem historiarum cognitionem, ученіе о климатѣ было принято, какъ извѣстно, Монтескье. Болтину оно было извѣстно изъ обоихъ источниковъ *). Въ русскомъ обществѣ знакомство съ *Духомъ законовъ* было довольно распространено; любопытно, что и самое ученіе Бодена стало извѣстнымъ русской публикѣ изъ французской передѣлки, переведенной на русскій языкъ въ 1794 г. подъ названіемъ: *Физика исторіи или всеобщія разсужденія о первоначальныхъ причинахъ тѣлеснаго сложенія и природнаго характера народовъ* **). Какъ видно изъ самаго заглавія, *Физика исторіи* имѣетъ цѣлью поставить „природный характеръ" и „тѣлесное сложеніе" различныхъ народовъ въ связь съ физическими условіями ихъ жизни. „Жизненные духи находятся,—по этой теоріи, почти во всегдашней зависимости отъ различныхъ качествъ крови и желчи, въ которыхъ они, такъ сказать, плаваютъ"; качества крови и желчи зависятъ отъ свойства принимаемой пищи, а пища соотвѣтствуетъ „умѣренію (температурѣ) воздуха и размѣряется по тепломѣру той страны, въ которой имѣемъ наше пребываніе". Та-

---

*) Если только можно заключить о непосредственномъ знакомствѣ Б. съ книжкой Бодена изъ Прим. на Леклерка II. стр. 490. Изъ статьи о Боденѣ въ словарѣ Бейля эта ссылка не заимствована.

**) Москва, 1794 г., стр. II+268+I. Переводчикъ, скрывшій свое имя подъ буквами И. Г., посвятилъ книжку графу Алексѣю Триг. Орлову.

кимъ образомъ, различные „темпераменты, нравы и склонности" разныхъ странъ сводятся къ различію въ ихъ климатѣ *).

„И такъ, вліяніе климата можно ли принять за такую причину, которая столь же необходима въ своихъ слѣдствіяхъ, какъ и слѣпа въ своемъ началѣ"? Другими словами, не вытекаетъ ли роковымъ образомъ „народное умоначертаніе" изъ физическихъ условій исторической жизни? „Безъ сомнѣнія,—отвѣчаетъ намъ авторъ *Физики исторіи*,—безъ сомнѣнія, ежели только (вліяніе физическихъ условій) не умѣряется или не усовершенствоваетcя гражданскими и до вѣры касающимися законами". „Сколь бы сильно ни было вліяніе физическихъ причинъ на сложеніе и нравы человѣка, но владычество законовъ имѣетъ несравненно большую предъ ними силу. Воля, будучи по существу своему свободна въ своихъ дѣйствіяхъ, не можетъ быть рабски принуждаема къ удовлетворенію всѣхъ пожеланій, внушаемыхъ ей натурою". „Догматы религіи" и „власть гражданскихъ законовъ" даютъ достаточную силу разуму для побѣды надъ чувствомъ. „Многіе законодатели, исправивъ народное правленіе, содѣйствовали къ умноженію человѣческаго рода и дали жизнь новымъ душамъ: слѣдовательно, и сила законовъ можетъ равномѣрно (какъ и сила религіи) преимуществовать надъ физическими вліяніями" **).

Всѣ эти разсужденія, которыми авторъ XVIII вѣка старается согласовать теорію Бодена съ нравственностью, вводятъ насъ въ самую суть спора, возникшаго между представителями научнаго и раціоналистическаго толкованія исторіи и лучше всего характеризующаго разницу двухъ міровоззрѣній. „Нравы происходятъ отъ воспитанія, а воспитаніе зависитъ отъ началъ или формы правленія",—говоритъ историкъ-раціоналистъ Леклеркъ; буквально то же самое повторяетъ, прямо по Монтескьё, и нашъ Щербатовъ ***). Болтинъ, представитель научнаго міровоззрѣнія, съ этимъ не можетъ согласиться. Упомянувъ о двухъ крайнихъ мнѣніяхъ, одно изъ которыхъ „всѣ перемѣны въ людяхъ и государствахъ" выводило изъ климата, а другое, „напротивъ, все отъ него отняло", Болтинъ заявляетъ, что онъ послѣдуетъ тѣмъ, „кои держатся среднія дороги, то-есть кои хотя и полагаютъ климатъ первенственною причиной въ устроеніи и образованіи человѣковъ, однакожъ, и другихъ содѣйствующихъ ему причинъ не отрицаютъ". Въ дальнѣйшемъ разсужденіи, однако, Болтинъ доказываетъ, что это—причины „второ-

---

*) Физика исторіи, стр. 31—32, 141—142, 29.

**) Тамъ же, стр. 34, 264, 268.

***) Чтенія 1860 г., т. I, о правленіи, стр. 43: „ничто болѣе дѣйствія не имѣетъ надъ нравами человѣческими, какъ воспитаніе, и... воспитаніе разнствуетъ по разнымъ родамъ правленія". Ср. Esprit des Lois, IV, 1.

степенныя", „не имѣющія толикія силы, чтобы могли дѣйствіе климата вовсе пресѣчь...; они только ослабляютъ дѣйствіе его, а не уничтожаютъ"; въ результатѣ своихъ разсужденій онъ приходитъ къ тому выводу, „что главное вліяніе въ человѣческіе нравы, въ качества сердца и души имѣетъ климатъ; прочія же побочныя обстоятельства, яко форма правленія, воспитаніе и проч., частію токмо содѣйствуютъ ему или... дѣйствіямъ его препятіе творятъ *).

И такъ, „нравы" создаются естественными условіями исторической жизни. Сознательная дѣятельность человѣческой воли можетъ только до нѣкоторой степени видоизмѣнить дѣйствіе этихъ условій, но не можетъ парализовать его вовсе. Если такъ, то надо заключить, что и „просвѣщеніе" не можетъ имѣть большого вліянія на „нравы". Полагать, „что добродѣтели зависятъ отъ просвѣщенія, и что наши предки, будучи меньше насъ просвѣщены, были насъ порочнѣе", или, наоборотъ, соглашаться съ противуположнымъ мнѣніемъ Руссо, что просвѣщеніе есть „корень всего зла" и „главная причина растлѣнія нашего сердца и поврежденія нашихъ нравовъ",—одинаково значитъ преувеличивать силу „просвѣщенія" и игнорировать силу естественныхъ законовъ, „обижать природу", какъ выразился Болтинъ. Просвѣщеніе не создаетъ ни добродѣтелей, ни пороковъ; „держась середины, можно за неопровергаемое правило поставить, что ни добродѣтели отъ просвѣщенія, ни пороки отъ простоты нравовъ не зависятъ". Природа человѣческая всегда остается одной и той же; „добродѣтели и пороки суть всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ" **).

Исходя изъ этой аксіомы, этого „неопровергаемаго правила", Болтинъ, естественно, долженъ отрицательно отнестись къ психологическимъ мотивировкамъ событій у историковъ-раціоналистовъ. Встрѣтивъ объясненіе, подобное приведенному выше объясненію татарскаго ига Щербатовымъ, Болтинъ не могъ не возразить, что религіозное міровоззрѣніе среднихъ вѣковъ не могло измѣнить народнаго характера. „О неумѣренной набожности или, приличнѣе, о грубомъ суевѣріи князей сего времени,—говоритъ онъ***),—нѣтъ никакого сумнѣнія; но вопросъ настоитъ: можетъ ли суевѣріе и невѣжество привести въ слабость и малодушіе народъ, по природѣ и воспитанію храбрый?" Еще менѣе можетъ согласиться Болтинъ съ раціоналистическимъ взглядомъ на роль средневѣковаго духовенства, какъ сознательныхъ обманщиковъ народа. „Монахи и попы, —говоритъ его противникъ Леклеркъ,—находя свои выгоды, чтобы

---

*) Примѣчанія на Леклерка, т. I, § II (стр. 5—11).

**) Примѣчанія на Щербатова, т. II, стр. 82—83.

***) Примѣчанія на Щербатова, т. II, стр. 478. Невысокое мнѣніе о набожности древней Руси Болтинъ вполнѣ раздѣляетъ съ Татищевымъ.

народы оставались во мракѣ невѣжества, удерживали ихъ въ грубыхъ суевѣріяхъ". Болтинъ возражаетъ: „Воображая глубочайшее невѣжество тогдашняго нашего духовенства, никакъ не можно бы, казалось, повѣрить, чтобъ они для своихъ выгодъ умѣли или хотѣли удерживать народъ въ грубыхъ суевѣріяхъ; понеже потребно нѣкоторое просвѣщеніе, чтобы изъ невѣжества другихъ извлекать свою пользу" *).

Какъ видимъ, точка зрѣнія Болтина, устраняя изъ исторіи личныя объясненія и отыскивая въ основѣ событій дѣйствіе однихъ и тѣхъ же, повсюду одинаковыхъ законовъ „природы", стоитъ гораздо ближе къ реальному и органическому пониманію историческаго процесса, чѣмъ прагматизмъ и раціонализмъ его противника, Щербатова. Отмѣтивъ эту разницу въ основныхъ взглядахъ обоихъ историковъ, перейдемъ теперь къ общей характеристикѣ ихъ спеціальной исторической работы.

Въ біографическихъ условіяхъ ученой дѣятельности Болтина и Щербатова можно отмѣтить много общаго. Оба принадлежали къ очень зажиточному дворянству; оба воспитывались дома и тамъ же получили первоначальное образованіе,—вѣроятно, такое же, какое получали обыкновенно помѣщичьи дѣти въ деревенской усальбѣ, т.-е. очень плохое **). Оба старались затѣмъ пополнить пробѣлы первоначальнаго образованія самостоятельнымъ чтеніемъ, т.-е. были, что называется, самоучками. Наконецъ, оба начали свою карьеру съ обязательной для знатнаго дворянства службы въ гвардіи и оба вышли въ отставку, когда законъ о вольности дворянства сдѣлалъ это возможнымъ ***). Очевидно, ни тотъ, ни другой не имѣли къ военной службѣ внутренняго влеченія. Перейдя на гражданскую службу, тотъ и другой занимали должности, требовавшія спеціальныхъ познаній политико-экономическихъ и финансовыхъ. Болтинъ сдѣлался директоромъ пограничной таможни въ Васильковѣ (Кіев-

---

*) Примѣчанія на Леклерка, т. II, стр. 248.

**) Явившись 16 лѣтъ въ Петербургъ, Болтинъ показалъ (очевидно, сообразно манифесту 31 декабря 1736 г., установившему правила дворянскихъ смотровъ), что онъ учился дома, „своимъ коштомъ, ариѳметикѣ и по-французски". О геометріи, „основательное" знаніе которой требовалось на этомъ смотрѣ манифестомъ 1736 г., Болтинъ не упоминаетъ. Правомъ дальнѣйшей отсрочки до 20 лѣтъ, для обученія географіи, фортификаціи и исторіи Болтинъ, стало быть, тоже не воспользовался, что и вполнѣ понятно, такъ какъ его домашняя жизнь, при вотчимѣ, заставлявшемъ его участвовать въ попойкахъ, была, очевидно, непривлекательна. Сухомлиновъ: „Ист. росс. акад.", т. V, стр. 66-67. Полн. Собр. Закон., № 7142.

***) Щербатовъ получилъ отставку 29 марта 1762 г., т. е. немедленно послѣ манифеста 18 февраля 1762 г., Болтинъ прослужилъ до 1768 г.; въ своемъ прошеніи объ отставкѣ онъ мотивируетъ ее „частыми болѣзненными припадками". Сухомлиновъ, стр. 360.

ской губ.); пробывъ въ этомъ званіи 10 лѣтъ (1769—1779 г.), онъ былъ переведенъ, по протекціи Потемкина, своего бывшаго товарища по гвардейской службѣ, въ главную таможенную канцелярію. Но это учрежденіе вскорѣ закрылось (24 октября 1780 г.), и Болтинъ былъ опредѣленъ прокуроромъ военной коллегіи (15 марта 1781 г.). На службѣ военной коллегіи, сперва въ званіи прокурора, а съ 1788 г. члена коллегіи, Болтинъ и оставался до самой смерти; и здѣсь ему давали, помимо прокурорской службы, порученія административно-финансоваго характера: одно время онъ ревизовалъ дѣла главной провіантской канцеляріи, въ званіи члена завѣдывалъ денежною казной, въ годъ присоединенія Крыма сопровождалъ Потемкина въ его поѣздкѣ на югъ и „исправлялъ по приказанію его разныя порученности", касавшіяся, вѣроятно, главнымъ образомъ, „утвержденія порядка и благоустройства въ Крымской области" путемъ поднятія ея матеріальнаго благосостоянія *). Къ этому слѣдуетъ прибавить, что Болтинъ и лично занимался коммерческими предпріятіями въ довольно значительныхъ размѣрахъ.

Щербатовъ по службѣ имѣлъ еще болѣе возможности ознакомиться съ современнымъ положеніемъ Россіи. Въ 1768 г. онъ былъ опредѣленъ присутствовать въ комиссіи о коммерціи; черезъ десять лѣтъ сдѣлался президентомъ каммеръ-коллегіи и въ томъ же году (1778) опредѣленъ присутствовать въ экспедиціи винокуренныхъ заводовъ; въ слѣдующемъ году (1779) онъ назначенъ былъ присутствовать въ сенатѣ. Его знакомство съ русскою дѣйствительностью не ограничивалось, однако, обязательными столкновеніями съ нею въ качествѣ члена всѣхъ этихъ государственныхъ учрежденій. Онъ старался расширить и объединить эти практическія знанія съ помощью спеціальнаго теоретическаго изученія. Уже въ 1776 1777 г., т.-е. до президентства въ каммеръ-коллегіи, онъ составляетъ замѣчательную для того времени работу по статистикѣ Россіи, первый опытъ этого рода въ русской литературѣ, если не считать Кирилова. Подъ „статистикой" Щербатовъ разумѣетъ то, что разумѣли подъ ней Ахенвалль и его послѣдователи, т.-е. государствовѣдѣніе въ широкомъ смыслѣ. Можно думать, что такое пониманіе статистики, созданное въ Германіи и господствовавшее тогда въ Европѣ, усвоено было у насъ въ 60-хъ годахъ XVIII вѣка при посредствѣ Бюшинга и Шлецера, впервые въ Петербургѣ преподававшаго статистику сыновьямъ гр. Кир. Разумовскаго**). Согласно

*) Таковы, по крайней мѣрѣ, были намѣренія Потемкина. Сухомлиновъ, стр. 82—83.

**) О „воспитательномъ институтѣ Разумовскаго" см. въ автобіографіи Шлецера (Сборн. отдѣленія р. яз. и слов., т. XIII, стр. 100 и слѣд.) Вернувшись за границу, Шлецеръ руководилъ занятіями русскихъ студентовъ въ Геттингенѣ, между прочимъ и у Ахенвалля (ibid., 330, 382, 386).

пониманію школы Ахенвалля, *Статистика въ разсужденіи Россіи*, какъ назвалъ Щербатовъ свой обзоръ, должна была заключать слѣдующія рубрики: 1) пространство, 2) границы, 3) плодородіе (экономическое описаніе Россіи по губерніямъ), 4) многонародіе (статистика населенія), 5) вѣра, 6) правленіе (описаніе центральныхъ и областныхъ учрежденій), 7) сила, 8) доходы, 9) торговля, 10) мануфактуры, 11) характеръ народный, 12) расположеніе къ ней сосѣдей. Къ сожалѣнію, въ уцѣлѣвшей до насъ части рукописи сохранился текстъ только первыхъ шести рубрикъ.

Въ послѣдующіе годы интересъ Щербатова къ камеральнымъ знаніямъ не только не слабѣетъ, но, напротивъ, ведетъ къ еще болѣе глубокому спеціальному изученію. Такъ, по поводу голода 1787 г. Щербатовъ изслѣдуетъ его причины и предлагаетъ мѣры помощи, основанныя на приблизительномъ разсчетѣ, сколько могутъ дать хлѣба не пострадавшія отъ урожая губерніи, и на точныхъ свѣдѣніяхъ о размѣрахъ и стоимости русскаго винокуренія. Въ качествѣ постоянныхъ мѣръ „для обновленія упадшаго у насъ земледѣлія“, онъ предлагаетъ „продать всѣ государственныя и экономическія земли дворянамъ“ и учредить коллегію земледѣлія, подробный планъ дѣятельности которой онъ тутъ же и набрасываетъ. Въ слѣдующемъ 1788 г. Щербатовъ продолжаетъ изучать „состояніе Россіи въ отношеніи денегъ и хлѣба“, излагаетъ исторію кредитныхъ денегъ въ Россіи и подвергаетъ рѣзкой критикѣ банковую политику правительства. „Монета нѣсть товаръ, но знакъ вещей,— говоритъ онъ,—а потому уменьшить настоящую цѣну монеты—сеесть возвысить цѣну на вещи, а потому другой прибыли отъ сего не произойдетъ, какъ умноженіе цифровъ въ счетахъ“.

Послѣ всего сказаннаго не будетъ удивительно, что и занятія исторіей Щербатовъ, какъ и Татищевъ, считаетъ прежде всего средствомъ для расширенія личнаго опыта, для лучшаго пониманія жизни и дѣйствительности, такъ сказать, вспомогательнымъ средствомъ отчизновѣдѣнія. По собственнымъ словамъ его, онъ писалъ свою исторію „болѣе для собственнаго своего удовольствія, дабы чрезъ оную научиться познать состояніе Россіи“. И, однако, эти самыя слова вызвали у Болтина ироническую отповѣдь: „Не видно, —пишетъ Болтинъ въ 1789 г.,—чтобы въ намѣреніи своемъ, состоящемъ въ томъ единственно, чтобъ, писавъ исторію, научиться познать состояніе Россіи, понынѣ онъ стяжалъ желаемый успѣхъ; и сожалѣтельно, что такое намѣреніе не ранѣе онъ принялъ, нежели

Матеріалы для лекцій по статистикѣ доставлялись Шлецеру изъ разныхъ государственныхъ учрежденій черезъ посредство Тауберта, „знакомаго съ большею частью президентовъ и членовъ государственной коллегіи“ (ibid. стр. 121 и слѣд.).

началъ ее писать, ибо, занятъ будучи столь многими трудами, едва ли достанетъ время на сіе нужное для пишущаго исторію познаніе. Въ недостаткѣ-жъ онаго позволительно усумниться о исправности писаннаго имъ, ибо дѣянія историческія весьма тѣсно сопряжены съ познаніемъ той страны, въ которой они происходили; равнымъ образомъ, и то подвержено сумнѣнію, чтобъ исторія такая, которыя сочинитель не имѣлъ онаго познанія, могла послужить помощію для тѣхъ, кои впредь исторію нашего отечества писать предпримутъ"*).

Мы знаемъ, однако же, что у Щербатова доставало времени на познаніе современной ему Россіи. Если ужъ пришлось бы сравнивать степень знакомства съ современностью обоихъ историковъ, то скорѣе Болтинъ, насколько мы его знаемъ по его сочиненіямъ, долженъ бы былъ уступить Щербатову пальму первенства. И при всемъ томъ, въ обвиненіяхъ Болтина нельзя не признать большой доли правды. Щербатовъ имѣлъ хорошія спеціальныя знанія, но не умѣлъ организовать ихъ, не умѣлъ или не имѣлъ случая свести ихъ въ одну цѣльную систему, въ которой, дѣйствительно, прошлое и настоящее стояли бы въ тѣсной связи. Не одинъ случай, конечно, а также и личныя особенности обоихъ привели къ тому, что въ то время, какъ одинъ неутомимо работалъ надъ грудой сырого матеріала, не имѣя ни силъ, ни возможности надъ нимъ возвыситься, другой, съ гораздо менѣе значительнымъ научнымъ багажомъ, сдѣлался представителемъ перваго цѣльнаго, органическаго взгляда на русскую исторію.

Сообщеніе Малиновскаго, что Щербатовъ былъ рекомендованъ Екатеринѣ II Миллеромъ для составленія исторіи **), помогаетъ намъ опредѣлить время, съ котораго Щербатовъ принялся за свой историческій трудъ. Всего вѣроятнѣе, эта рекомендація могла быть сдѣлана весной 1767 года. Весь этотъ годъ Екатерина прожила въ

---

*) Отвѣтъ Болтина на письмо кн. Щербатова, стр. 147—150.

**) О роли Миллера говоритъ самъ Щербатовъ: „Онъ не токмо мнѣ вложилъ охоту къ познанію исторіи отечества моего, но увидя мое прилежаніе, и побудилъ меня къ сочиненію оной". Ист. росс., т. I, предисловіе. О роли Екатерины см. тамъ же, т. III, предисл.: „Я ея милосердіемъ въ трудѣ семъ одобренъ; ея щедротами отверсты мнѣ государственные книгохранительницы и архивы". Въ портфеляхъ Миллера сохранилось около 50 писемъ Щербатова. О русской исторіи впервые говорится въ письмѣ отъ 1766 г. 29 авг., съ которымъ Щ. возвращаетъ Миллеру Нестора. Если можно поставить въ связь съ этимъ возвращеніемъ другое письмо безъ даты, гдѣ Щ. проситъ дать ему Нестора „на нѣкоторое время", то надо будетъ заключить, что уже въ 1766 г. Щ. работалъ надъ началомъ своей исторіи: въ этомъ письмѣ безъ даты онъ выражается: je me remets à mon ouvrage .. dans le règne d'Изяславъ les noms propres sont extrêmement corrompus dans mes manuscrits.

Москвѣ, слѣдя за дѣятельностью комиссіи для составленія новаго уложенія. Къ Миллеру, два года передъ тѣмъ переѣхавшему въ Москву, она была особенно милостива; семь разъ призывала, по его словамъ, для ученыхъ бесѣдъ, открыла ему архивы разряднаго и сибирскаго приказовъ и назначила его депутатомъ въ комиссію объ уложеніи *). По той же комиссіи она должна была познакомиться лично съ кн. Щербатовымъ, который присутствовалъ въ комиссіи въ качествѣ депутата отъ ярославскаго дворянства. Въ духѣ даннаго ему избирателями наказа, Щербатовъ энергично отстаивалъ въ комиссіи дворянскіе интересы и боролся, опираясь на значительную партію, съ мнѣніями либеральныхъ депутатовъ **).

Показавъ, по его собственнымъ словамъ, „охоту къ познанію россійской исторіи", Щербатовъ „черезъ сіе" получилъ отъ императрицы разрѣшеніе „брать потребные мнѣ (для сочиненія сей исторіи) списки изъ патріаршей и типографической библіотекъ". Поскольку дѣло шло о подборѣ лѣтописныхъ списковъ, обѣ эти библіотеки, дѣйствительно, были главнымъ хранилищемъ: еще со времени Петра въ нихъ собраны были списки лѣтописей, присланные по указу изъ разныхъ монастырей. Выбравъ четыре списка патріаршей библіотеки, восемь списковъ типографской и присоединивъ къ нимъ семь списковъ собственныхъ, Щербатовъ пріобрѣлъ солидное основаніе для изложенія древнѣйшаго періода русской исторіи. О томъ, что, кромѣ „охоты",—для изученія лѣтописей нужна еще и нѣкоторая предварительная подготовка, въ то время немногіе думали. Щербатовъ сознавалъ только свою неподготовленность для разработки *доисторическаго* періода, и то только „за незнаніемъ своимъ ученыхъ языковъ". Такъ какъ языкъ лѣтописи, казалось, былъ свой, знакомый, то здѣсь Щербатовъ храбро принялся за историческое изложеніе. Дѣло пошло быстро: начавши работу не раньше 1766–67 года, въ срединѣ 1769 г. онъ уже дописалъ два первые тома *Исторіи*, (напечатаны въ 1770–71 г.) и дошелъ, такимъ образомъ, до татарскаго нашествія, до 1237 г. ***). Чтобъ оцѣнить всю поспѣшность этой работы, надо принять въ разсчетъ, что съ 1768 года Щербатовъ опять началъ служить и, кромѣ того, получилъ отъ Екатерины порученіе разобрать кабинетныя бумаги Петра Великаго; надо также прибавить, что съ

---

*) Пекарскій: „Ист. акад. наукъ", I, стр. 396.

**) О дѣятельномъ участіи Щербатова въ засѣданіяхъ комиссіи и о его партійной роли свидѣтельствуютъ протоколы засѣданій и собственныя заявленія Щербатова, напечатанныя въ Сб. Ист. Общ. тт. IV, VIII, XXXII, XXXVI. Наказъ ярославскаго дворянства см. въ т. IV, стр. 297–313. Любопытно сопоставить съ этими данными „Примѣчанія" Щербатова „на манифестъ" 1785 г., напеч. въ Чтен. О. Ист. 1871 г., IV, смѣсь.

***) Портф. Миллера, 546, письмо отъ 15 іюня 1769 г.

1769 г. начинается его усиленная издательская дѣятельность: въ этомъ году онъ печатаетъ по списку патріаршей библіотеки *Царственную книгу*; въ 1770 г. издаетъ, по повелѣнію Екатерины II, самый эффектный документъ кабинетнаго архива, *Исторію свейской войны*, собственноручно исправленную Петромъ Великимъ. Въ 1771 г. издана *Лѣтопись о многихъ мятежахъ;* въ 1772 г.—*Царственный лѣтописецъ*, полученный изъ библіотеки князя Голицына и признанный Щербатовымъ за начало *Царственной книги*. Изданіе *Лѣтописца* Щербатовъ мотивируетъ тѣмъ, что „медленность, происходимая отъ разныхъ подлежащихъ учинить изысканій, принуждаетъ меня медлительнѣе быть, нежели бы я хотѣлъ, въ изданіи полнаго моего труда Россійской исторіи: то между симъ временемъ я за нужное почитаю издавать въ печать достойнѣйшія примѣчанія россійскіе лѣтописцы *) Причина этой „медленности" заключалась въ томъ, что для времени послѣ татарскаго нашествія къ лѣтописнымъ источникамъ присоединялись источники архивные, и необходимо было, прежде чѣмъ идти дальше, ознакомиться съ ихъ содержаніемъ. Для этой цѣли Щербатовъ получилъ (22 янв. 1770 г.) разрѣшеніе пользоваться документами московскаго архива иностранной коллегіи, гдѣ хранились духовныя и договорныя грамоты князей, начиная съ половины XIII вѣка, и памятники нашихъ дипломатическихъ сношеній, начиная съ послѣдней четверти XV вѣка.

Къ разработкѣ этихъ документовъ Щербатовымъ мы вернемся впослѣдствіи; теперь замѣтимъ только, что и эта разработка шла чрезвычайно быстро: третій томъ былъ написанъ къ срединѣ 1772 г. (напечатанъ 1774), четвертый къ 1774 (напечатанъ 1781 **).

Издавая 3-й томъ, Щербатовъ совершенно основательно замѣтилъ, что допущеніе въ архивъ иностранной коллегіи „наиболѣ послужило мнѣ ко украшенію сочиняемыя мною исторіи". Дѣйствительно, некритическій пересказъ лѣтописей, сдѣланный безъ всякой предварительной подготовки, какимъ были первые два тома, —мало подвигалъ впередъ историческую науку послѣ лѣтописнаго свода Татищева. Но введеніе въ историческій разсказъ архивнаго матеріала, все болѣе и болѣе обильнаго, дало исторіи Щербатова исключительное положеніе среди историческихъ трудовъ прошлаго столѣтія ***).

---

*) Предисловіе къ Царств. лѣтописцу. Опроверженіе мнѣнія кн. Щербатова и послѣдующихъ изслѣдователей объ отношеніи Цар. лѣт. къ Цар. книгѣ см. въ интересной брошюрѣ А. Е. Прѣснякова „Царственная книга, ея составъ и происхожденіе". Спб. 1893 г., стр. 20--27.

**) Письма къ Миллеру отъ 11 іюня 1772, 29 ноября 1773.

***) Обработка дальнѣйшихъ томовъ исторіи продолжалась до самой смерти Щербатова: послѣдніе томы, 14-й и 15-й, въ которыхъ исторія доведена была до 1610 г., до сверженія Шуйскаго, изданы въ свѣтъ уже послѣ смерти автора, въ 1791 г.

Это былъ уже не сводный текстъ лѣтописи, какъ *Россійская исторія* Татищева, не литературное произведеніе на мотивы русской исторіи Ломоносова и его послѣдователей, не учебная книга по русской исторіи, какъ *Краткій льтописецъ* Ломоносова или *Ядро* Манкіева;—это былъ первый опытъ связнаго и полнаго прагматическаго изложенія русской исторіи, основанный на всѣхъ главнѣйшихъ источникахъ, сохранившихся отъ нашего прошлаго. Онъ оставался единственнымъ опытомъ вплоть до Карамзина, а чѣмъ обязанъ Карамзинъ Щербатову,—мы еще увидимъ. У современниковъ исторія Щербатова, однако же, пріобрѣла дурную репутацію. Ее считали сухой и скучной; и, конечно, она была написана не для большой публики. Что гораздо хуже,—ее считали некритичной и полной ошибокъ; это было справедливо относительно первыхъ томовъ, на которые обрушилась критика; но, какъ общая оцѣнка всѣхъ 15-ти томовъ,—такой отзывъ не можетъ считаться справедливымъ. Наконецъ, ее считали не продуманной, не проникнутой общею идеей; и это было совершенно справедливо, такъ какъ раціоналистическіе пріемы толкованія событій по самому своему свойству оставались слишкомъ внѣшними и не могли дать внутренней связи изложенію. Но можно поставить вопросъ, въ какой степени эта особенность труда Щербатова зависѣла отъ личныхъ свойствъ историка, и въ какой степени она вытекала изъ самыхъ свойствъ поставленной задачи. Екатерина II прямо рѣшала вопросъ въ первомъ смыслѣ, находя, что „голова его не была создана для этой работы" *). Навѣрное, такъ думалъ и литературный противникъ Щербатова, Болтинъ; но ему должны были быть ясны и другія причины, которыми неудача *Русской исторіи* объяснялась и помимо личныхъ особенностей Щербатова. „Весьма тѣ ошибаются, —говорилъ Болтинъ по поводу Леклерка,—кои думаютъ, что всякой тотъ, кто, по случаю, могъ достать нѣсколько древнихъ лѣтописей и собрать довольное количество историческихъ припасовъ, можетъ сдѣлаться историкомъ; многаго ему не достаетъ, если кромѣ сихъ ничего больше не имѣетъ. Припасы необходимы, но необходимо также и умѣнье располагать оными" **). Необходимо, другими словами, владѣть матеріаломъ, чтобы дать историческому разсказу литературную форму; а чтобы овладѣть матеріаломъ, необходима его предварительная ученая разработка. Пока эта разработка не произведена,—писать „исторію" преждевременно.

Нигдѣ не высказанная прямо, эта точка зрѣнія рѣшительно опредѣлила, однако же, характеръ собственной ученой дѣятельности Болтина. Вся его ученая работа сводится къ предварительной раз-

*) Иконниковъ: „Опытъ русской исторіографіи", I, кн. 2, CCLXVIII
**) Примѣч. на Леклерка, I, стр. 269.

работкѣ историческаго матеріала, причемъ результаты этой разработки Болтинъ никогда не рѣшается свести въ законченное цѣлое. Его излюбленная форма изложенія—это или форма словаря, или форма „критическихъ примѣчаній" къ чужому тексту, или форма комментарія къ историческому памятнику. Большая свобода формы даетъ и большую свободу работѣ изслѣдователя. Не стѣсняя себя никакими опредѣленными сроками, не ставя даже себѣ въ началѣ занятій никакой опредѣленной темы, Болтинъ исподволь накопляетъ матеріалъ, постепенно, по мѣрѣ чтенія, дѣлаетъ выписки изъ прочитаннаго. Такимъ образомъ, совершенно незамѣтно составляется ученый арсеналъ, изъ котораго можно черпать свѣдѣнія и справки по всякому представляющемуся случаю. Ученость Болтина выростаетъ, такъ сказать, органически изъ его любознательности; этимъ и объясняется тотъ характеръ цѣльности, жизненности, продуманности, какими отличается ученый обиходъ Болтина. Этимъ же, надо прибавить, объясняется и его сравнительная несложность. „Мелочи" допускаются въ этотъ обиходъ лишь какъ средство сдѣлать „крупный" выводъ или избѣжать „крупной погрѣшности" *).

Вѣроятно, та же постепенность, съ какой наростала ученость Болтина, мѣшаетъ намъ уяснить себѣ, какъ и когда онъ пріобрѣлъ свои историческія знанія. Свѣдѣнія, сообщаемыя объ этомъ въ рукописномъ словарѣ сенатора Казадаева, приходится оставить въ сторонѣ, какъ сомнительныя или безусловно невѣрныя **). Остаются только собственныя показанія Болтина о его „привычкѣ отъ юности, читая всякую книгу, замѣчать и выписывать достойныя примѣчанія мѣста" и о „выпискахъ, учиненныхъ *черезъ многія лѣта*, изъ древнихъ лѣтописей, грамотъ и другихъ сочиненій" ***).

---

*) Прим. на Щербатова, II, стр. 375, 380.

**) „Вступая въ службу л.-г. въ конный полкъ, продолжалъ заниматься ученіемъ, постоянно слушалъ лекціи въ академической гимназіи и сухопутномъ кадетскомъ корпусѣ. По любви къ отечественному слову коротко познакомился съ знаменитыми нашими писателями, Ломоносовымъ и Сумароковымъ; искалъ бесѣды съ учеными; о древностяхъ россійскихъ разсуждалъ съ Миллеромъ и Тредіаковскимъ; прочелъ все, на отечественномъ, латинскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ лучшія творенія о географіи и исторіи, древней и новѣйшей... (оставивъ службу въ 1779 г.), совершенно предался любимому своему предмету—изысканію и изслѣдованію россійской исторіи. Два года употребилъ онъ на путешествіе по Россіи, особенно по южнымъ ея предѣламъ: посѣщалъ монастыри, хранилища многихъ историческихъ сокровищъ, рылся въ архивахъ, тщательно стараясь дѣлать вездѣ розысканія, относящіяся къ отечественной исторіи и географіи". Сухомлиновъ: „Ист. росс. акад." V, 325—326. Какъ мы видѣли, Б. учился дома; о пребываніи его въ корпусѣ и гимназіи никакихъ данныхъ нѣтъ; послѣ оставленія мѣста директора васильковской таможни Б. служилъ въ Петербургѣ и ѣздилъ въ эти годы только лѣтомъ 1781 г. въ Сарепту для лѣченія.

***) Сухомлиновъ, стр. 87—88. Послѣднее показаніе относится къ году смерти Болтина (1792 г.).

Судя по результатамъ, подготовительныя работы Болтина производились, главнымъ образомъ, въ двухъ направленiяхъ. Съ одной стороны, онъ собиралъ матерiалы для исторiи языка: эти матерiалы, – „слова, выписанныя изъ многихъ книгъ церковныхъ, яко плоды долговременныхъ трудовъ своихъ",—Болтинъ въ 1784–1786 гг. передалъ въ россiйскую академiю, членомъ которой сдѣлался со времени ея открытiя, съ 21 октября 1783 года, вмѣстѣ съ Потемкинымъ *). Съ другой стороны, онъ составлялъ терминологическiй и историко-географическiй словарь для древняго перiода русской исторiи. Копiя съ этого словаря, считавшагося до сихъ поръ погибшимъ вмѣстѣ съ другими рукописями Болтина, въ 1812 г., въ пожарѣ библiотеки Мусина-Пушкина,—только что отыскалась въ рукописяхъ библiотеки московскаго общества исторiи и древностей россiйскихъ **). Благодаря этой находкѣ, мы можемъ теперь представить себѣ гораздо яснѣе, чѣмъ это возможно было до сихъ поръ, ходъ подготовительной исторической работы Болтина. Какъ оказывается, Словарь составленъ *исключительно* по исторiи Татищева, на которую дѣлаются при каждомъ словѣ точныя ссылки. Иногда Болтинъ передаетъ своими словами и въ своей группировкѣ свѣдѣнiя Татищева, иногда онъ переноситъ къ себѣ текстъ Татищева буквально, иногда просто выписываетъ заинтересовавшее его слово со ссылкой на соотвѣтствующее мѣсто исторiи Татищева, наприм. „ересь, (примѣчанiе) 374". „Клязьма, р. II, 167", „погостъ, что значитъ у Т. пр. 127" и т. д. Какъ видимъ, выписки Болтина не ограничиваются географическимъ матерiаломъ; онъ выписываетъ и любопытный для него терминъ или слово (дворянинъ, волость, подвойскiй, запросъ и т. д.) и любопытную рубрику (законъ, народъ, науки), подъ которой Татищевъ сообщаетъ какое-нибудь интересное для него свѣдѣнiе или по поводу которой дѣлаетъ собственное разсужденiе. Словомъ, мы видимъ передъ собой внимательнаго и добросовѣстнаго ученика, составляющаго къ преподавательскому тексту нѣчто среднее между конспектомъ и указателемъ. Очень рѣдко Болтинъ позволяетъ себѣ не согласиться со взглядомъ Татищева (наприм. о мѣстоположенiи Корсуни); большая часть вы-

---

*) Сухомлиновъ, стр. 275.

**) Словарь географическiй всѣмъ городамъ, рѣкамъ и урочищамъ, кои воспоминаются въ лѣтописи Несторовой. Сочин. г. Болтина fol. 60 листовъ, съ пропускомъ между 56 и 57 листомъ. Начинается съ буквы А, прерывается на сл. „Скови". Въ словарѣ, приложенномъ къ Историческому изслѣдованiю о мѣстности Тмутараканскаго княжества Мусина-Пушкина, заимствованiя изъ Болтина, по сличенiю съ рк. Общ. ист., оказываются болѣе значительными, чѣмъ указано авторомъ, Все историко-географическое содержанiе словаря Болтина за ничтожными исключенiями, напечатано въ „Словарѣ географическомъ Щекатова", начиная со 2-го тома этого Словаря.

писаннаго матеріала усвоивается вполнѣ; почти весь онъ будетъ пущенъ въ дѣло въ послѣдующихъ сочиненіяхъ Болтина.

Такимъ образомъ, словарь дѣлаетъ несомнѣннымъ то, о чемъ мы и безъ его помощи могли бы догадаться. Секретъ безспорнаго и огромнаго вліянія Татищева на Болтина заключается въ томъ, что Болтинъ по Татищеву выучился русской исторіи. Когда же происходилъ этотъ процессъ выучки, заложившій основаніе всей послѣдующей ученой дѣятельности Болтина по древней исторіи? Словарь составленъ по второму и третьему тому исторіи Татищева, т.-е. не ранѣе 1774 г., когда изданъ 3-й томъ, и не позже 1784 г., когда появился на свѣтъ четвертый, съ которымъ Болтинъ своевременно познакомился *), но которымъ уже не воспользовался для словаря. Далѣе Болтинъ пользуется въ словарѣ тѣмъ знаніемъ топографіи кіевской Руси, какое могла ему дать десятилѣтняя служба въ Васильковѣ **), но о мѣстностяхъ, лежащихъ на востокъ отъ Днѣпра, говоритъ уже какъ о „сей сторонѣ“ (московской), т.-е. пишетъ словарь *не* въ Васильковѣ, слѣд. послѣ 1779 года. Любопытно также, что, говоря о мѣстоположеніи Корсуни, Болтинъ еще не упоминаетъ въ словарѣ о своемъ посѣщеніи развалинъ Херсонеса въ 1784 г., о чемъ упомянуто въ примѣчаніяхъ на Леклерка ***). Итакъ, всего вѣроятнѣе, что внимательное изученіе Болтинымъ Татищева относится къ 1779—1783 гг. Если такъ, то ученикъ, стало быть, былъ взрослый: Болтину въ это время было 45—50 лѣтъ. Таковъ былъ, слѣдовательно, ученый багажъ Болтина къ тому моменту, когда начала выходить въ свѣтъ исторія Леклерка, которой суждено было положить начало ученой славѣ нашего историка.

Шеститомная Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie ancienne et moderne Леклерка, доведенная до смерти Елизаветы, печаталась въ 1783-1792 гг. Авторъ, бывшій домовый врачъ гетмана Кир. Разумовскаго, затѣмъ директоръ наукъ шляхетскаго корпуса, профессоръ и совѣтникъ академіи искусствъ, даже почетный членъ академіи наукъ по протекціи Разумовскаго, весьма плодовитый писатель по самымъ разнообразнымъ отраслямъ знанія, находился въ Россіи въ 1759 и 1769—75 гг. Задумавъ уже тогда писать о русской исторіи, онъ обратился къ члену коллегіи иностранныхъ дѣлъ и главному судьѣ ма-

*) Прим. на Леклерка, I, стр. 296.

**) „Городъ сей (Красный) по близости Василева, и мню, что тутъ былъ, гдѣ и нынѣ на рѣчкѣ Вѣтѣ между Кіева и Василева, виденъ великій валъ, немалое пространство окружающій, на мѣстѣ высокомъ, скатистомъ и ровномъ, на берегу Вѣты съ лѣвой стороны подлѣ самой дороги, ѣдучи отъ Кіева“. Срав. Щекатовъ, III, стр 846.

***) I, 87.

стерской оружейной конторы, Мих. Гр. Собакину, который, съ помощью двухъ подвѣдомственныхъ чиновниковъ, сдѣлалъ для Леклерка обширныя извлеченія изъ рукописей различныхъ архивовъ (коллегіи иностранныхъ дѣлъ и дворцоваго?) и синодальной библіотеки и перевелъ эти извлеченія на французскій языкъ. Затѣмъ, онъ представился князю Щербатову, какъ будущій сочинитель русской исторіи, и отъ него получилъ „точное резюме національной исторіи“ отъ Рюрика до Ѳедора Ивановича, проспектъ для исторіи русскаго законодательства и матеріалы по исторіи искусствъ и исторіи дворянства въ Россіи. Наконецъ, онъ очень сильно воспользовался *Опытомъ историческаго словаря о россійскихъ писателяхъ* Новикова (изд. въ 1772 г.). Съ помощью этихъ и нѣкоторыхъ другихъ русскихъ источниковъ, а также французской компиляціи Левека, составленной по Щербатову, Леклеркъ и написалъ свою „исторію древней и новой Россіи“, введя въ нее также и свои личныя наблюденія, сдѣланныя въ Россіи. Весь этотъ матеріалъ онъ подвергнулъ двойной порчѣ: во-первыхъ, благодаря своему полному или, что еще хуже, почти полному незнанію русскаго языка; во-вторыхъ, благодаря тѣмъ литературнымъ пріемамъ, которые онъ серьезно считалъ новымъ способомъ писать исторію. Разумѣется, о „древней и новой Россіи“ французскій писатель говорилъ снисходительно и свысока, какъ истинный представитель передовой націи; надо, впрочемъ, прибавить, что онъ и собственному правительству временъ революціи не стѣснялся читать уроки политической мудрости *). Россія для Леклерка—страна невѣжества и деспотизма; народъ пребываетъ въ состояніи варварства, рабства и суевѣрія. „Государи могутъ все, что хотятъ, когда они благое въ виду имѣютъ; довольно имъ только пожелать, чтобъ ихъ государство было цвѣтущимъ, а народы блаженными“; но до сихъ поръ они желали только держать народъ, для собственнаго спокойствія, въ состояніи первобытной дикости и угнетенія. Въ результатѣ, въ Россіи нѣтъ достаточныхъ побужденій къ размноженію народонаселенія; количество жителей не соотвѣтствуетъ громадности страны, и всѣ средства народа истощаются на потребности внѣшней защиты.

Задѣтый за живое въ своемъ патріотическомъ чувствѣ, Болтинъ принялся, „по мѣрѣ чтенія“, дѣлать письменныя замѣчанія на сочиненіе Леклерка. Возраженія на первые 5 томовъ, вышедшіе въ 1783-1785 гг., были готовы въ 1786 году. Черезъ два года, при посредствѣ Потемкина, Болтинъ издалъ ихъ въ двухъ томахъ, на собственныя средства императрицы, которую исторія Леклерка должна была такъ же затронуть, какъ затронуло ее *Путешествіе* аббата

*) Біографическія и библіографическія данныя о Леклеркѣ см. у Сухомлинова: „И. р. ак., т. V, стр. 110-128, и прилож., стр. 377-394.

Шаппа. Для своихъ полемическихъ цѣлей Болтинъ не думалъ предпринимать какихъ-нибудь новыхъ спеціальныхъ изученій; онъ просто мобилизировалъ свой наличный запасъ свѣдѣній и отмѣчалъ, по его собственнымъ словамъ, „только тѣ (ошибки Леклерка), кои при простомъ чтеніи съ памятью моею встрѣчалися *).“ Главный арсеналъ, выдвинутый Болтинымъ противъ Леклерка, это были его многочисленныя выписки изъ словаря Бейля, изъ Вольтера, Мерсье и др. Навѣрное, болѣе половины „примѣчаній“ заняты этой выставкой иностранной учености Болтина. Изъ другой, меньшей половины, справки, относящіяся къ древней русской исторіи, занимають очень малую долю. Митр. Евгеній былъ совершенно правъ, говоря, что въ этой части „примѣчаній“ Болтинъ „ничего не сказалъ ни новаго, ни лишняго предъ Татищевымъ, но онъ сблизилъ подъ одинъ взглядъ многія такія замѣчанія, которыя у Татищева разсѣяны по разнымъ мѣстамъ“. Въ сущности, это было продолженіе той же работы, какую мы видѣли въ *Словарѣ*. Тамъ, гдѣ Болтинъ хотѣлъ дать болѣе обстоятельную справку, онъ присоединялъ къ Татищеву два тогда напечатанные лѣтописные текста: Несторову лѣтопись по Кенигсбергскому и по Никоновскому списку; изрѣдка онъ прибавлялъ къ этимъ тремъ текстамъ справку въ своемъ собственномъ рукописномъ экземплярѣ лѣтописи **). Но суть дѣла отъ этого не мѣняется: основой всѣхъ свѣдѣній Болтина по древне-русской исторіи продолжаетъ оставаться Татищевъ. Послѣ татарскаго нашествія, т.-е. того періода, который былъ обстоятельно изученъ Болтинымъ по 2 и 3 томамъ Татищева, историческія свѣдѣнія, а вмѣстѣ и поправки Болтина къ Леклерку замѣтно оскудѣваютъ. Онъ, наприм., думаетъ, что стоглавый соборъ собранъ былъ Иваномъ IV въ 1542 году. Главное вниманіе Болтина въ XVI и XVII вв. обращено на памятники законодательства: Судебникъ съ дополнительными статьями и Уложеніе. Припомнимъ, что первый приготовленъ былъ къ изданію и комментированъ тѣмъ же Татищевымъ: комментаріями этими Болтинъ и пользуется очень широко ***). Что же касается Уложенія, оно во времена Болтина лежало въ основѣ дѣйствующей юридической практики; слѣдовательно, знакомство съ нимъ не было дѣломъ одной только ученой любознательности. Далѣе, по отношенію къ новому періоду, знакомство Болтина съ источниками становится вполнѣ отрывочнымъ и случайнымъ. Книжка Шафирова о причинахъ сѣверной войны, анекдоты Штелина, записки Манштейна

---

*) Прим. на Леклерка, I, стр. 243; ср. II, стр. 481.

**) Прим. на Лекл., I, стр. 57, 61, 70, 83, 88, 91—92, 93, 94, 244, 249, 250.

***) I, стр. 306, 318, 321, 313 337, 457—477; II, стр. 432, 441, 442, 443—444. Другія заимствованія изъ Татищева, см. I, стр. 130, 252, 296, 314, 450, 509; II, стр. 48, 51—52, 401—402, 475—476.

—вотъ почти всѣ источники Болтина для исторіи событій XVIII в. Документальное изученіе событій, характернымъ для Болтина образомъ, замѣняется здѣсь живою традиціей. Одинъ старикъ разсказалъ ему, тридцать лѣтъ тому назадъ, о битвѣ подъ Нарвою; старыя барыни, въѣзжія къ царицѣ Прасковьѣ Ѳедоровнѣ, передавали ему про одного юродиваго при дворѣ Анны Ивановны; отъ близкаго свойственника жены онъ „изустно слышалъ" объ ужасахъ Бироновщины, и онъ описываетъ эти ужасы такими тацитовскими красками, что прежній владѣлецъ моего экземпляра *Примѣчаній*, читавшій книгу въ началѣ вѣка, не могъ не приписать на поляхъ: „хоть около правды, но уже слишкомъ". Въ какой степени эти „изустные слухи" и личныя воспоминанія первенствуютъ у Болтина передъ изученіемъ источниковъ, видно изъ того, что, ссылаясь на упомянутаго старика по вопросу, сколько было русскихъ войскъ подъ Нарвой, Болтинъ и не думаетъ сдѣлать самой простой справки объ этомъ въ основномъ, оффиціальномъ источникѣ, *Журналѣ Петра Великаго*, изданномъ еще въ 1770 г. Щербатовымъ. Точно также, разбирая свѣдѣнія Леклерка о русскихъ писателяхъ, Болтинъ и не подозрѣваетъ о заимствованіи этихъ свѣдѣній изъ словаря Новикова, изданнаго въ 1772 г. Оба первостепенной важности источника остаются ему совершенно неизвѣстными *).

Такимъ образомъ, опредѣляя свою роль въ „Республикѣ письменъ", Болтинъ не изъ одной скромности могъ назвать себя, „хотя и не приносящимъ ей пользы, яко пчела, но пользующимся трудами прочихъ, яко трутень" **). Не въ „пчелиныхъ" свойствахъ, однако же, слѣдуетъ искать значенія *Примѣчаній на Леклерка*. Значеніе это заключается, во-первыхъ, въ общей точкѣ зрѣнія Болтина на историческія явленія; во-вторыхъ, въ приложеніи этой точки зрѣнія къ объясненію русскаго историческаго процесса. Общая точка зрѣнія Болтина была по существу противуположна раціонализму Леклерка. Тамъ, гдѣ Леклеркъ ограничивается отрицаніемъ, Бол-

---

*) I, стр. 527—528; II, стр. 73, 467—468, 470, 505; ср. также о причинахъ отступленія Апраксина, „извѣстныхъ всему свѣту", I, стр. 286; о содержаніи писемъ Шетарди о Елизаветѣ, „извѣстномъ всѣмъ", II, стр. 535; о уничтоженіи сѣчи, „памятномъ всѣмъ", I, стр. 346. Любопытный примѣръ предпочтенія живой традиціи источникамъ см. въ Отвѣтѣ Болтина Щербатову, стр. 75—76: „весьма сумнительно, чтобы Татищевъ могъ въ семъ сказаніи (о званіи думныхъ дворянъ) сдѣлать ошибку, ибо при Петрѣ Великомъ былъ уже онъ въ совершенныхъ лѣтахъ и, слѣдовательно, могъ довольно наслышаться о семъ отъ такихъ людей, кои сами были въ думныхъ дворянахъ и коихъ согласное ему сказаніе безъ сумнѣнія вящшую довѣренность заслуживаетъ, нежели чье-либо заключеніе, сдѣланное изъ краткихъ и темныхъ словъ книгъ разрядныхъ".

**) Ibid., II, стр. 151—152.

тинъ ищетъ положительнаго объясненія; гдѣ Леклеркъ находитъ одно отсутствіе или злоупотребленіе разума, Болтинъ предполагаетъ дѣйствіе историческаго закона. Дѣйствіе это всегда и вездѣ одинаково: „правила природы повсюду суть единообразны“; „во всѣхъ временахъ и во всѣхъ мѣстахъ человѣки, находясь въ одинакихъ обстоятельствахъ, имѣли одинакіе нравы, сходныя мнѣнія и являлись подъ одинакимъ видомъ“. Поэтому нельзя характеризовать русскій народъ какъ какое-то исключеніе изъ всего человѣчества. Если русскій народъ и одержимъ пороками, то „не больше какъ и другіе народы“. Это не значитъ, однако же, чтобы Россія была вполнѣ сходна съ другими народами Европы; напротивъ, она „ни въ чемъ на нихъ непохожа“. Несходство это есть естественное послѣдствіе особенностей какъ „физическихъ мѣстоположеній“ Россіи, такъ и ея исторіи. Физическія, т.-е. географическія, климатическія и почвенныя условія обусловили разницу въ плотности населенія между различными частями Россіи и поставили предѣлъ увеличенію плотности въ наиболѣе населенныхъ частяхъ ея. Тѣ же условія создали отличія и въ „нравахъ“, въ складѣ народнаго характера. Ходъ русской исторіи вліялъ въ томъ же направленіи: раздробленіе на части и татарское иго задержали увеличеніе народонаселенія; то же самое „раздѣленіе народа на удѣльныя княженія“ произвело „различіе въ нравахъ, обычаяхъ и богочтеніи“. Но въ Россіи этой внутренней областной розни было гораздо менѣе, чѣмъ на Западѣ; менѣе было и „такихъ чувствительныхъ и скорыхъ перемѣнъ“, какъ въ Европѣ; „нравы, платье, языкъ, названія людей и странъ остались тѣ же, какіе были прежде, исключая малыя нѣкоторыя перемѣны въ общежительныхъ обрядахъ, повѣрьяхъ и въ нѣсколькихъ словахъ языка, кои мы заимствовали отъ татаръ“. Послѣ объединенія Руси „и нравы, и обычаи сдѣлались почти сходными“, „народочисліе“ стало быстро увеличиваться. Съ перемѣнами въ условіяхъ жизни измѣнятся и нравы; нужно только „терпѣніе и время“. Леклеркъ думаетъ, правда, что это время можно сократить съ помощью мудраго законодательства; но, по мнѣнію Болтина, „не должно вводить насиліемъ перемѣнъ въ народныхъ началахъ и образѣ умствованія ихъ, а оставлять времени и обстоятельствамъ ихъ произвести“. „Удобнѣе законъ сообразить нравамъ, чѣмъ нравы законамъ,—повторяетъ онъ въ другомъ мѣстѣ:—послѣдняго безъ насилія сдѣлать не можно“. Такимъ образомъ, „исправляя обычаи и нравы, должно быть весьма осторожну“. „Дѣлая перемѣны или вводя новости, нужно наблюдать, чтобы оныя соотвѣтственны были нравамъ, обычаямъ, времени, мѣстоположенію, обстоятельствамъ, а паче климату; владычество его есть главнѣйшее изъ всѣхъ: всякое предписаніе, узаконеніе, устраняющееся его законовъ, будетъ безполезно, тщетно, вредно“. Такъ, напримѣръ, „примѣчено многими,

что съ тѣхъ поръ, какъ стали мы устраняться обычаевъ нашихъ предковъ и начали жить, сообразуясь иностраннымъ, сдѣлалися мы слабѣе, чаще подвержены стали быть болѣзненнымъ припадкамъ" и стали менѣе долговѣчными. „Главными тому причинами,—заканчиваетъ Болтинъ эту иллюстрацію,—полагаю уничтоженіе обычая ходить въ бани и введеніе французской поварни" *).

Какъ видимъ, Болтинъ дѣлаетъ изъ своей схемы не совсѣмъ осторожное практическое употребленіе. Но нельзя не признать, что по самому своему свойству эта схема, признававшая непрерывность традиціи и единство „нравовъ" на всемъ протяженіи русской исторіи, была какъ нельзя болѣе удобна для составленія перваго цѣльнаго взгляда на русскую исторію. Она была цѣнна уже тѣмъ, что заставляла историка обращать преимущественное вниманіе на факты внутренней исторіи, и въ фактахъ внутренней исторіи искать преемственности, внутренней связи. Основнымъ фактомъ внутренней исторіи, доступнымъ наблюденію тогдашняго историка, была прежде всего исторія законодательства. Всѣ данныя для такой исторіи были подготовлены Татищевымъ, но Болтинъ соединилъ ихъ въ одно цѣлое съ помощью своей идеи—зависимости „законовъ" отъ „нравовъ". „Нравы" народа оставались одинаковыми до раздробленія на удѣлы; слѣдовательно, и законы должны были быть одни и тѣ же на всемъ протяженіи исторической жизни, и до, и послѣ Ярослава. Такимъ образомъ, Русская Правда есть исконное право древнихъ руссовъ, нѣсколько видоизмѣненное только при сліяніи руссовъ со славянами, такъ какъ по „несходству нравовъ" тѣхъ и другихъ пришлось приспособлять другъ къ другу и ихъ „законы". Затѣмъ „по мѣрѣ измѣны нравовъ должно было перемѣнять и законы. Тѣ законы, кои при единоначальствѣ были приличны, стали быть по раздѣленіи на удѣлы, а паче и подъ игомъ варваровъ, ненужными, неудобными". Поэтому появились новые удѣльные законы, въ каждомъ удѣлѣ различные. Этотъ второй періодъ въ исторіи законодательства продолжался до возстановленія единодержавія. Послѣ этого возстановленія Иванъ III и Василій III дѣлали новыя попытки издать новые законы; но попытки эти не удались, такъ какъ не успѣла еще сгладиться разница нравовъ, произведенная удѣльнымъ періодомъ. „Нельзя было согласить законовъ, не соглася прежде нравовъ, мнѣній и пользъ: время одно могло безъ насильства произвести сію перемѣну". „Время" это, „благопріятное" для перемѣны, наступило при Иванѣ IV, „понеже почти всѣ уже удѣлы присоединены были къ единодержавію"; поэтому-то и удалось ему исправленіе стараго *Судебника*, который Болтинъ счи-

---

*) Примѣчанія на Леклерка, II, стр. 162, 423, 242, 153, 160 141, 159, 295, 316; I, стр. 316; II, стр. 355, 339, 370.

таетъ тожественнымъ съ *Русскою Правдой* или, точнѣе, тожественнымъ съ тѣмъ древнимъ правомъ, изъ котораго *Русская Правда* сохранила отрывки. Такимъ образомъ, единство законовъ было возстановлено съ возстановленіемъ единства нравовъ. И позднѣе, съ изданіемъ Уложенія, непрерывная юридическая традиція продолжала сохраняться. Конечно, „прибыли нужды, прибавлены и законы"; но, возстановленное въ *Судебникѣ*, древнее русское право „даже и по сочиненіи *Уложенія* не было отрѣшено, ибо и въ немъ во многихъ мѣстахъ ссылка дѣлается на *Судебникъ* и прежніе уставы". Въ значительной степени, старое право было, однако же, „отрѣшено", вопреки схемѣ Болтина; недовольный этимъ онъ постоянно подчеркиваетъ, что измѣненныя и отмѣненныя статьи „по прежнимъ законамъ были лучше учреждены, разсмотрительнѣе и благоразсуднѣе уложены, обстоятельнѣе и яснѣе истолкованы, нежели въ *Уложеньѣ*" *).

Зная и общую схему Болтина, и опытъ приложенія ея къ русской исторіи, мы теперь лучше поймемъ, почему такъ неравномѣрно распредѣляется интересъ Болтина къ различнымъ сторонамъ историческаго изученія. Мы видѣли, какъ непростительно небрежно онъ относился къ ознакомленію съ внѣшней исторіей новой Россіи и съ исторіей новой литературы. Тѣ и другія явленія казались ему, очевидно, слишкомъ случайными, слишкомъ единичными съ точки зрѣнія его общей схемы. Напротивъ, гдѣ являлась возможность изучать постоянныя, устойчивыя явленія, или гдѣ можно было прослѣдить одинъ изъ органическихъ процессовъ исторіи,—любознательность Болтина беретъ верхъ надъ его диллетантизмомъ, онъ хлопочетъ о собираніи матеріаловъ, совершенно независимо отъ Леклерка и отъ необходимости возражать ему; онъ добываетъ справки, забирается для этого даже въ свой архивъ—военной коллегіи. Таковы его историко-статистическія, историко-этнографическія и историко-географическія работы, его этюды по спеціальной исторіи, преимущественно по исторіи крестьянства, разбросанные среди двухъ томовъ *Примѣчаній на Леклерка*. По статистикѣ населенія онъ добываетъ цифры подушныхъ переписей, болѣе детальныя цифры по отдѣльнымъ намѣстничествамъ, справляется о количествѣ людей, взятыхъ въ рекруты за цѣлое столѣтіе, вычисляетъ общее количество народонаселенія. По этнографіи онъ даетъ списки древняго и новаго населенія Россіи и Сибири. По географіи онъ составляетъ описаніе намѣстничествъ, даетъ общій очеркъ физической географіи Россіи и Сибири, набрасываетъ въ общихъ чертахъ ходъ русскихъ завоеваній и колонизаціи, наконецъ, не мо-

---

*) Примѣчанія на Леклерка, I, стр. 311-319, 322, 326, 450, 453, 323, 327, 466.

жетъ устоять передъ соблазномъ выписать, кстати или некстати, полное описаніе древней татарской дороги на Русь по „Книгѣ большого чертежа". По соціальной исторіи онъ пишетъ цѣлый рядъ любопытнѣйшихъ экскурсовъ по исторіи развитія крѣпостного права, по современному хозяйственному и юридическому положенію крестьянства и т. д. Заразъ и къ этнографіи, и къ географіи, и къ соціальной исторіи относятся значительные по объему отдѣлы, посвященные исторіи казачества и Малороссіи. Во всѣхъ этихъ этюдахъ и экскурсахъ онъ постоянно исходитъ отъ современности и постоянно къ ней возвращается. Эта связь настоящаго съ прошлымъ въ изученіяхъ Болтина, его постоянные переходы отъ добытаго спеціальною научною работою къ тому, что получено путемъ живой исторической традиціи, что „извѣстно всѣмъ" современникамъ,—связь, трудно расчленимая, и переходы, часто совершенно неуловимые, должны предостеречь насъ отъ слишкомъ поспѣшныхъ заключеній о томъ, какую роль во всей этой работѣ играло его личное творчество. Очень многое изъ высказанныхъ имъ мнѣній высказывалось давно и помимо Болтина, и даже въ литературной формѣ. Ограничиваясь одними сочиненіями Щербатова, можно было бы указать рядъ пунктовъ, по которымъ оба литературные противника держались однихъ и тѣхъ же мнѣній, не потому, что эти мнѣнія составляли общій умственный обиходъ мыслящихъ людей того времени. Такимъ образомъ, далеко не все то, что Болтинъ первый сказалъ печатно,—онъ первый и выдумалъ.

Какъ бы то ни было, собранные въ одинъ фокусъ екатерининскаго стародумства, всѣ эти историческіе объясненія и выводы сообщили *Примѣчаніямъ на Леклерка* значеніе крупнаго общественнаго событія,—независимо отъ количества потраченной на нихъ кабинетной ученой работы. Не писавши исторіи, Болтинъ сразу сталъ первымъ русскимъ историкомъ и занялъ мѣсто, никогда никому не принадлежавшее,—не то что философа русской исторіи, но, во всякомъ случаѣ, человѣка, впервые думавшаго надъ русской исторіей и впервые понявшаго ее, какъ живой и цѣльный органическій процессъ.

Въ числѣ пособій, оставленныхъ въ сторонѣ Болтинымъ, находилась и исторія Щербатова. „Начавъ дѣлать возраженія на Леклерка,—писалъ онъ позднѣе, не имѣлъ я при себѣ исторіи Щербатова; и хотя бы могъ ее испросить у пріятелей моихъ на подержаніе, но я не признавалъ ее необходимою для моей работы, имѣя у себя Нестора, Татищева, одну старинную лѣтопись и Левека; да и справки дѣлалъ я рѣдко съ русскими книгами... Возражая мѣста, находимыя мною несправедливыми и сумнительными въ исторіи Леклерковой, не входило мнѣ въ голову, что я, противорѣча имъ, воспротиворѣчу и князю Щербатову... Словомъ сказать, кончилъ я

мои примѣчанія на Леклерка, не заглянувъ ни единожды въ его исторію, и для того ни въ одномъ мѣстѣ на нее не ссылался... упомянулъ же единожды имя его при означеніи ошибки его въ словѣ „гребля“ по памяти, читавъ прежде его исторію“. Къ этому упоминанію надо, впрочемъ, прибавить два другихъ, не оставляющихъ сомнѣнія въ томъ, что Болтинъ и тогда считалъ Щербатова источникомъ многихъ ошибокъ Левека и Леклерка *). Вызванный этими намеками, кн. Щербатовъ въ слѣдующемъ же году по выходѣ *Примѣчаній на Леклерка* напечаталъ „Письмо къ одному пріятелю, въ оправданіе на нѣкоторыя сокрытыя и явныя охуленія, учиненныя его исторіи отъ г. г.-м. Болтина“. Болтинъ въ томъ же (1789) году издалъ свой *Отвѣтъ*, въ которомъ, указавши уже прямо нѣкоторыя ошибки Щербатовской исторіи, намекнулъ, что будетъ продолжать разборъ ея. Къ этому разбору онъ и приступилъ немедленно; въ 1792 г. онъ представилъ уже свои новыя „примѣчанія“ черезъ Мусина-Пушкина императрицѣ Екатеринѣ II. Щербатовъ, въ свою очередь, не выдержалъ: давши еще въ *Письмѣ* обѣщаніе не продолжать полемику, онъ, однако, написалъ толстый томъ „Примѣчаній на отвѣтъ“ Болтина. Полемикѣ такъ и не суждено было кончиться при жизни авторовъ. Щербатовъ умеръ въ 1790 г., Болтинъ въ 1792 г.; примѣчанія обоихъ были напечатаны уже послѣ ихъ смерти: Щербатовскія (анонимно) въ 1792 г., Болтинскія—въ 1793—94 гг. въ двухъ томахъ. Воспользоваться „примѣчаніями“ Щербатова Болтинъ уже не успѣлъ.

Критическія примѣчанія Болтина на первые два тома исторіи Щербатова имѣютъ совсѣмъ другое значеніе, чѣмъ *Примѣчанія на Леклерка*. Исторія Леклерка дала ему поводъ высказать свое общее міровоззрѣніе и общій взглядъ на прошлое и настоящее Россіи. Критика Щербатова служитъ ему поводомъ для дальнѣйшаго спеціальнаго изученія домонгольскаго періода русской исторіи, который и раньше былъ ему наиболѣе извѣстенъ. Всѣ возраженія Болтина противъ Щербатова можно свести къ двумъ категоріямъ. Съ одной стороны, онъ пускаетъ въ дѣло свои спеціальныя свѣдѣнія по исторической географіи и исторической этнографіи древней Руси и на каждомъ шагу показываетъ полнѣйшее незнакомство Щербатова съ этими вспомогательными дисциплинами. Щербатовъ смѣшиваетъ Владиміръ Волынскій съ Владиміромъ Суздальскимъ и большую часть событій, относящихся къ первому, относитъ ко второму; точно также, онъ мѣшаетъ Переяславль южный съ Переяслав-

*) Отвѣтъ Болтина, стр. 63-64, прим. I, стр. 265-266, 272 (объ „ошибкахъ и недостаткахъ, встрѣчающихся въ писателяхъ нынѣшнихъ, кои г. Левеку были путеводителями“ и „кои заимствовалъ онъ, Леклеркъ, отъ другихъ по-неволѣ“), 280.

лемъ-Залѣсскимъ, Литву съ Польшей, вятичей передвигаетъ съ верховьевъ Оки на Вятку, народъ зимеголовъ превращаетъ въ собственное имя какого-то „Зимегора", а изъ племени сосоловъ дѣлаетъ нарицательное существительное „соль"; не имѣетъ никакого понятія о границахъ Руси и отдѣльныхъ княженій и т. д. Съ другой стороны, онъ доказываетъ неумѣнье Щербатова читать лѣтописи, происходящее отъ незнакомства съ лѣтописнымъ языкомъ и терминологіей, и неумѣнье выбирать между лѣтописными извѣстіями и варіантами, происходящее отъ недостатка критики. Щербатовъ слово „стягъ" превращаетъ въ „стогъ", изъ словъ „вежа" и „стрѣленъ" дѣлаетъ собственныя имена, „идти по немъ" (т.-е. противъ него) переводитъ „идти на помощь къ нему", изъ одного князя дѣлаетъ пятерыхъ и т. д. Въ общемъ, Болтинъ доказалъ, дѣйствительно, что кн. Щербатовъ „предпріялъ быть историкомъ, не читавъ прежде исторіи", что первые томы его исторіи показываютъ „крайнее небреженіе и невниманіе, незнаніе исторіи, географіи и русскаго языка". Но чтобы быть справедливымъ, надо прибавить, что и самъ Болтинъ гипотезамъ Щербатова противупоставлялъ иногда собственныя гипотезы, еще болѣе далекія отъ истины: такъ, отвергая пріуроченіе Тмутаракани къ Азову, конечно, невѣрное, онъ упорно настаивалъ на отождествленіи Тмутаракани сперва съ Рязанью, гдѣ искалъ ее и Татищевъ, потомъ съ однимъ городищемъ на Ворсклѣ; нападая на почти вѣрное чтеніе лѣтописи „Шеренскъ", онъ предлагалъ замѣнить его небывалымъ городомъ „Ршенескомъ", заимствованнымъ у Татищева, и т. д. Еще чаще постигаютъ его неудачи, когда онъ принимается критиковать Щербатовское пользованіе лѣтописями. Мы видѣли, что Щербатовъ составляетъ свой текстъ по значительному количеству рукописныхъ списковъ, преимущественно изъ синодальной и патріаршей библіотекъ, и, какъ и слѣдовало, совершенно независимо отъ свода Татищева. Для Болтина Татищевскій сводъ остается основнымъ источникомъ свѣдѣній; нѣсколько разъ онъ повторяетъ одно и то же утвержденіе: „не примѣчено, чтобъ онъ (Татищевъ) единое слово, не только рѣчь или цѣлое бытіе, отъ себя къ тексту повѣствованія гдѣ прибавилъ, но токмо исправлялъ погрѣшности и пополнялъ упущенія изъ другихъ лѣтописей; свои-жъ мнѣнія и разсужденія писалъ въ примѣчаніяхъ, а потому и повѣствованіе его достойно есть совершенныя довѣренности" *). Такъ ли это на самомъ дѣлѣ, мы еще увидимъ впослѣдствіи; теперь замѣтимъ только, что и самъ Болтинъ долженъ былъ нѣсколько разъ предположить, что Татищевъ вводилъ въ текстъ „свои догадки", „направляемъ будучи внимательнымъ разсужденіемъ" **). Эти догадки Болтину случается противупостав-

---

*) Отвѣтъ Болтина, стр. 62; примѣч. на Щерб. II, стр. 128, 187, 326.
**) Отвѣтъ, стр. 20; прим. на Щерб., II. стр. 308.

лять тексту Щербатова, какъ подлинныя свидѣтельства „нашихъ лѣтописей“ *). Тамъ, гдѣ справка съ Татищевымъ разрѣшаетъ недоумѣніе, вызванное чтеніемъ Щербатовской исторіи, Болтинъ обыкновенно этою справкой и ограничивается. Если необходимо дальнѣйшее сличеніе текстовъ, Болтинъ обращается къ печатнымъ изданіямъ кенигсбергскаго и никоновскаго списковъ; наконецъ, послѣдній его рессурсъ, къ которому онъ прибѣгаетъ, когда уже спеціально заинтересуется какимъ-нибудь отдѣльнымъ мѣстомъ,—это справки въ рукописныхъ спискахъ его собственной библіотеки. Если и послѣ всѣхъ этихъ справокъ Болтинъ находитъ у Щербатова что-нибудь лишнее или противорѣчащее извѣстнымъ ему спискамъ лѣтописи, онъ уже безъ дальнѣйшихъ колебаній обвиняетъ Щербатова въ выдумкахъ, искаженіяхъ и т. д. Такимъ образомъ, ему случается обозвать „бредомъ“, „сказками“ „баснями“ и т. п. самыя достовѣрныя и подчасъ очень интересныя данныя древнѣйшей новгородской лѣтописи, воскресенскаго списка и другихъ, неизвѣстныхъ ему, но извѣстныхъ Щербатову лѣтописныхъ текстовъ **). Насколько недостаточны бываютъ его ученыя средства, когда онъ пытается возстановить исторію лѣтописнаго текста, лучше всего видно изъ того самаго параграфа *Примѣчаній*, который перепечатанъ М. И. Сухомлиновымъ, какъ образецъ Болтинской критики: фактъ, что въ Переяславлѣ была митрополія (по Болтину „пустота не стоющая возраженія“), признается за несомнѣнный новѣйшими историками церкви, а сообщающая объ этомъ фраза, прибавленная, по мнѣнію Болтина, позднѣйшими переписчиками, находится въ древнѣйшихъ спискахъ лѣтописи***).

Въ послѣдній годъ жизни Болтина напечатанъ былъ текстъ *Русской Правды* съ его переводомъ и комментаріями; въ томъ же году, по порученію Екатерины II, Болтинъ написалъ примѣчанія на ея драму „историческое представленіе изъ жизни Рюрика****). Объ

*) Наприм., примѣч. на Щерб. II, стр. 29, объ убіеніи Глѣба въ Заволочьѣ Е м ь ю. Что Емь жила въ Заволочьѣ (на Сѣв. Двинѣ), это ошибочное предположеніе Татищева, внесенное имъ въ свой сводъ.

**) Наприм., прим. на Щерб. II, стр. 105—7, и Лавр. s. a; 160—161, 353—354 и П о л н. с о б р. р. л ѣ т. III, стр. 20; 427 и П. с. р. л. III, стр 37; 429 и П. с. л. VI, стр. 127; 431, 441, и П. с. л. VII, стр. 130; 458 и П. с. л. I, стр. 196, III, стр. 48, VII, 138; 472 и П. с. л. I, стр. 221; III, стр. 50. Сюда же слѣдуетъ отнести и ту „зимнюю стужу“ при осадѣ лѣтомъ Торческа, на которую трижды нападалъ Болтинъ, про источникъ которой забылъ и самъ Щербатовъ, между тѣмъ какъ этимъ источникомъ были, очевидно, слова лѣтописи: „зимою оцѣпляеми“.

***) Г о л у б и н с к і й: „Ист. р. церкви“, I, стр. 285—286, 565. Лавр. s. a. 1089. По Голубинскому и „строеніе банное“ есть настоящая баня, а не баптистерій, ibid., стр. 565—566.

****) По свѣдѣніямъ А. Ѳ. Бычкова, Екатерина обращалась къ Болтину также за объясненіями темныхъ мѣстъ лѣтописей для своихъ З а п и с о к ъ

работы, точно такъ же какъ и *Примѣчанія на Щербатова*, показываютъ, что въ послѣдніе годы жизни Болтинъ все болѣе углублялся въ изученіе древняго періода русской исторіи. Успѣхи этого изученія не трудно отмѣтить, если сравнить объясненія Болтина къ *Русской Правдѣ*, какія онъ давалъ въ *Примѣчаніяхъ на Леклерка*, съ тѣми, которыя онъ составилъ для изданія 1792 года; эти успѣхи видны также изъ все большей и большей самостоятельности, съ какою онъ началъ относиться къ мнѣніямъ Татищева *). Къ сожалѣнію, болѣе цѣльныхъ плодовъ отъ этой поздней спеціализаціи Болтину не пришлось дождаться; здоровье его въ эти послѣдніе годы очень мѣшало его занятіямъ. Болтинъ умеръ, не успѣвъ подвести итога своей спеціальной работѣ; и если бы даже онъ прожилъ долѣе, мы получили бы этотъ итогъ не въ видѣ какой-нибудь цѣльной исторической работы по древней исторіи, а въ видѣ осуществленія его завѣтной мечты: составить словарь, первое начало котораго было положено „выписками для уразумѣнія древнихъ лѣтописей, съ изъясненіемъ древнихъ словъ, изъ употребленія вышедшихъ, и географическихъ мѣстъ, упоминаемыхъ въ лѣтописяхъ“: такъ обозначаетъ митр. Евгеній содержаніе извѣстнаго намъ *Словаря географическаго* (1772—1783 гг.). Въ послѣдніе годы жизни планъ этого словаря расширился, и словарь раздѣлился на два. Съ одной стороны, Болтинъ принялся за составленіе *географическаго* словаря, или „историческаго и географическаго описанія намѣстничествъ“, матеріалы для котораго, по распоряженію Екате-

---

касательно россійской исторіи (вѣроятно, для отдѣльнаго изданія, 1787—95 гг., а не для изданія въ Собесѣдникѣ любителей росс. слова 1783—84 гг.?) Сб. Р. Ист. Общ. XIII, стр. X. Любопытно сопоставить съ этимъ одно обстоятельство: въ примѣчаніяхъ на Леклерка Болтинъ дѣлаетъ выгодную характеристику князя Константина Всеволодовича; въ прим. на Щербатова онъ повторяетъ эту характеристику съ прибавкой: „Одно только мнѣ не нравится въ семъ государѣ, что онъ упражнялся въ сочиненіи книгъ, ибо упражненіе такое для государя неприлично, ниже для забавы, дабы со временемъ не обратилося въ пристрастіе“. II, 423. Неужели Болтинъ рѣшился бы написать эти строки въ текстѣ, поднесенномъ государынѣ, послѣ того, какъ получалъ и исполнялъ ея порученія по ученой части? Разъясненія относительно участія Болтина въ Запискахъ должны заключаться въ черновыхъ матеріалахъ для этихъ Записокъ, хранящихся въ госуд. архивѣ. Иконниковъ, I, стр. 773.

*) Такъ „вирника“ онъ уже не считаетъ болѣе „помѣщикомъ“, какъ въ прим. на Лекл. I, 232, а „уголовнымъ судьей, производившимъ слѣдствіе и судъ объ убійствѣ“. Изслѣдованіе о „гривнѣ“ сдѣлано гораздо обстоятельнѣе, чѣмъ въ прим. на Лекл. I, стр. 62—63. Мнѣнія Татищева исправляются нѣсколько разъ: при объясненіи словъ: гридня, ключь, куна, рѣзъ, тіунъ, ябетникъ (см. эти слова въ I т. Указателя законовъ Максимовича, оглавленіе, въ которомъ перепечатаны примѣчанія Болтина къ Р. П.).

рины, доставлялись ему изъ губерній. Какъ видно изъ *Примѣчаній на Леклерка*, нѣкоторые матеріалы этого рода онъ получилъ уже къ 1786 г. *). Съ другой стороны, онъ предложилъ россійской академіи планъ изданія *толковаго* словаря русскаго языка, въ которомъ бы находилось „не только о всѣхъ вещахъ, тѣми рѣченіями означаемыхъ, достаточное истолкованіе, т.-е. касательно *словъ* и рѣченій, извѣщеніе объ ихъ происхожденіи, знаменованіи, употребленіи и проч.; касательно *вещей*, тѣми рѣченіями означаемыхъ, — описаніе о ихъ природѣ, свойствѣ, образѣ составленія ихъ, разнствія другихъ тождеродныхъ и проч.". Такъ какъ академія отказалась отъ выполненія этого плана, то онъ, повидимому, принялся за осуществленіе его самъ: въ его рукописяхъ найдена была готовою буква *А* „толковаго словесно-россійскаго словаря" и матеріалы для его продолженія. Географическій словарь также остановился въ самомъ началѣ.

По старой привычкѣ, установившейся еще съ прошлаго вѣка, сравненіе между двумя современниками и противниками, Болтинымъ и Щербатовымъ, всегда дѣлалось не въ пользу послѣдняго. Можетъ быть, таково было, дѣйствительно, впечатлѣніе, произведенное на современниковъ личностями обоихъ историковъ; конечно, это впечатлѣніе могло только закрѣпиться исходомъ литературнаго поединка, въ которомъ всѣ преимущества были на сторонѣ нападающаго. Личнаго впечатлѣнія современниковъ мы не можемъ, конечно, провѣрить и должны до извѣстной степени ему довѣрять, тѣмъ болѣе, что преимущества ума и таланта Болтина доказываются его литературными произведеніями. По отношенію къ общимъ историческимъ взглядамъ эти преимущества ставятъ Болтина, безусловно, внѣ всякаго сравненія съ Щербатовымъ. Но однихъ этихъ преимуществъ мало для побѣды въ спеціальной ученой полемикѣ, и здѣсь побѣда далеко не была такою полной, какъ казалось современникамъ и многимъ изъ позднѣйшихъ изслѣдователей. Разрушить дѣло Щербатова или повести его дальше нельзя было, не овладѣвъ всѣмъ его матеріаломъ, а мы видѣли, какъ было далеко въ этомъ отношеніи Болтину до Щербатова. И даже поскольку критика Болтина дѣйствительно разрушала исторію Щербатова, она,

---

*) Описаніе „историческое, географическое и статистическое" составлялось по слѣдующему плану (митр. Евгеній, Словарь свѣт. пис.): „древнее и нынѣшнее состояніе народовъ и городовъ, мѣстоположеніе, границы, нравы, обычаи и суевѣрія, число жителей, ихъ промыслы, почвы, земли, рѣки, озера, произрастенія, государственные доходы, выгоды и недостатки". Болтинъ успѣлъ составить описаніе Владимірскаго, Кіевскаго и Черниговскаго намѣстничествъ; содержаніе этихъ описаній можно отчасти возстановить, сопоставляя цитаты изъ нихъ у Мусина-Пушкина (Истор. изсл. о Тмутарак. княж., VIII, XXXII, XXXIX, LVIII, LXXI, LXXII) съ соотв. статьями геогр. словаря Щекатова.

въ большинствѣ случаевъ, не вела изслѣдованія дальше, а возвращала его къ результатамъ, давно уже достигнутымъ Татищевымъ. Собственная изслѣдовательская работа Болтина начата была слишкомъ поздно, продолжалась слишкомъ короткое время и—для этого промежутка времени слишкомъ разбрасывалась въ разныя стороны, чтобы дать сколько-нибудь крупные результаты. Безспорно видное мѣсто принадлежитъ Болтину въ исторіи русской исторической *мысли*; но и здѣсь необходимо сдѣлать оговорки. При всей своей оригинальности, мысль Болтина двигалась, въ сущности, какъ это увидимъ, въ традиціонныхъ рамкахъ исторической теоріи XVIII в. Въ ней было очень много своеобразнаго, характернаго для настроенія времени и кружка, къ которому принадлежалъ Болтинъ; но все это своеобразное умерло вмѣстѣ съ авторомъ и съ вѣкомъ, создавшимъ его убѣжденія. Отъ Болтина нельзя вести никакой школы, никакого историческаго направленія; его историческая дѣятельность не создала никакого переворота въ ходѣ русской исторіографіи, а скорѣе сама была отголоскомъ того подъема научныхъ и теоретическихъ требованій, который становится замѣтнымъ къ концу столѣтія. Самое драгоцѣнное свойство, дававшее основной тонъ его ученой работѣ—чутье реальности, широкое пониманіе явленій общественной и политической жизни, живая связь съ исторической традиціей и внесеніе опыта государственной дѣятельности въ изученіе прошлаго, словомъ, все то, что расширяло изслѣдовательскій кругозоръ нашихъ историковъ-любителей прошлаго вѣка,—все это скоро послѣ Болтина должно было надолго исчезнуть изъ ученаго оборота нашей исторіографіи. Перечитывая теперь, когда научный реализмъ снова сдѣлался лозунгомъ историческаго изученія, эти страницы, покрытыя столѣтнею пылью, иногда съ удивленіемъ замѣчаешь, что между ними и нами гораздо меньше разстоянія, чѣмъ между нами и гораздо болѣе близкими къ намъ предшественниками. И это совершенно понятно: подъ тяжеловѣсными, устарѣвшими фразами историковъ XVIII в. мы чувствуемъ біеніе настоящей жизни, надолго изгнанной изъ сферы историческаго изученія ихъ преемниками и замѣненной школьнымъ пониманіемъ исторіи; водворить вновь эту жизнь, какъ необходимый и единственно-возможный предметъ научнаго анализа составляетъ нашу теперешнюю задачу. Но что же дѣлали въ промежуткѣ наши предшественники? Какую задачу они выполняли? На эти вопросы мы поищемъ отвѣта впослѣдствіи.

III

Со столбовой дороги русскаго просвѣщенія мы должны перейти теперь въ одинъ темный, захолустный уголокъ его, съ довольно

спертою и затхлою атмосферой. Здѣсь намъ не придется болѣе слѣдить за постепеннымъ разливомъ — въ ширину и въ глубину — главнаго теченія русской общественной мысли. Взамѣнъ прямого и послѣдовательнаго движенія впередъ мы встрѣтимъ тутъ царство домашнихъ дрязгъ и сплетенъ, подкоповъ и интригъ. Такимъ образомъ приходится говорить о русской академіи наукъ прошлаго вѣка.

Академія открывалась въ 1726 году при самыхъ благопріятныхъ предзнаменованіяхъ. Лучшіе европейскіе ученые пріѣхали въ Петербургъ, заключивъ съ академіей пятилѣтніе контракты. Дворъ былъ очень любезенъ съ академиками; вельможи ласкали ихъ и посѣщали академію въ торжественныхъ случаяхъ. Скоро, однако же, положеніе дѣлъ совершенно перемѣнилось. Не только сіятельные господа, но и самъ президентъ академіи, Блументростъ, бывшій лейбъ-медикъ Петра, сталъ держать себя на недоступной высотѣ. Въ администрацію онъ вовсе не вмѣшивался, и единственнымъ лицомъ, черезъ которое шло все управленіе и дѣла, сдѣлался библіотекарь Шумахеръ, исполнявшій секретарскія обязанности, человѣкъ ловкій и самолюбивый. Академики были, конечно, недовольны, что всею академіей правитъ секретарь, и видѣли въ этомъ униженіе для себя. Шумахеръ, съ своей стороны, вымещалъ имъ за ихъ раздраженіе противъ него наушничествомъ Блументросту и подводилъ европейскія знаменитости подъ непріятности и выговоры начальства. Разумѣется, ученые не выдержали. Послѣ неудачной попытки бороться съ Шумахеромъ, Германнъ и Бильфингеръ—главный противникъ Шумахера—уѣхали по окончаніи перваго пятилѣтія (1730 г.). Вскорѣ за ними послѣдовалъ и Бернулли. Въ томъ же году (1733) и Миллеръ бѣжалъ въ сибирскую экспедицію „для избѣжанія его (Шумахера) преслѣдованій". Другой русскій историкъ, Байеръ, выхлопоталъ увольненіе, отослалъ уже свою библіотеку въ Кенигсбергъ, но умеръ (1738 г.), не успѣвши уѣхать. Наконецъ, и Эйлеръ, вѣчно погруженный въ свои выкладки и не мѣшавшійся въ борьбу, уѣхалъ, прослуживши третье пятилѣтіе (1741 г.), въ Берлинъ, къ Фридриху Великому. Причина всѣхъ этихъ отъѣздовъ коротко и рѣзко выражена Ломоносовымъ: „затѣмъ, что пріобыкли быть всегда при наукахъ и, не навыкнувъ разносить по знатнымъ домамъ поклоновъ, не могли сыскать себѣ защищенія" *).

Дальнѣйшая исторія академіи представляетъ ту же борьбу партій, въ которой нѣмцы соединялись только тогда, когда приходилось дѣйствовать противъ русскихъ, въ другое же время дѣлились

*) Пекарскій: „Исторія академіи наукъ". Его же: „Дополнительныя свѣдѣнія для біографіи Ломоносова". Зап. Акад. Наукъ, VIII, кн, 2. Соловьевъ: „Ист. Россіи", XX, стр. 235 и слѣд.

на партіи за и противъ Шумахера и его зятя и преемника Тауберта. „Таубертъ!—восклицаетъ Шлецеръ въ своей автобіографіи,—грудь моя вздымается отъ глубочайшей благодарности всякій разъ, какъ я пишу это имя...“, и тутъ же прибавляетъ: „тонкій и ловкій придворный, крайне честолюбивый и во что бы то ни стало желающій выдвинуться блестящими предпріятіями и dicier, hic est!“.

Такова обстановка, въ которой предстояло дѣйствовать тремъ знаменитымъ изслѣдователямъ нашей исторіи—Байеру, Миллеру и Шлецеру. Перейдемъ теперь къ общей характеристикѣ ихъ личностей и произведеній.

Байеръ, знаменитый оріенталистъ, представляетъ истинный типъ германскаго ученаго-спеціалиста. Въ школѣ онъ уже говоритъ свободно по-латыни, въ университетѣ (Кенигсбергскомъ) изучаетъ семитическіе языки и китайскій, двадцати лѣтъ пишетъ диссертацію *О словахъ Христа: или, или, лима савахтани*, двадцати двухъ—уже читаетъ лекціи по классическимъ авторамъ. Благодаря своей необыкновенной усидчивости, Байеръ успѣлъ накопить огромный запасъ знаній по Востоку. Своими силами онъ настолько изучилъ китайскій языкъ, что могъ свободно объясняться съ прибывшею въ Петербургъ китайскою депутаціей; обладалъ солидными свѣдѣніями по манчжурской и монгольской литературамъ; изучилъ санскритскій языкъ съ помощью находившагося въ Петербургѣ индійца Сонгбара. Статьи по всѣмъ этимъ отдѣламъ знанія составляютъ значительную часть всѣхъ его произведеній, печатавшихся въ латинскихъ *Комментаріяхъ Петербургской Академіи*. Но еще важнѣе для насъ отмѣтить, что, находясь еще въ Германіи, Байеръ осилилъ весь Corpus scriptorum bysantinorum и изучилъ средневѣковыхъ и сѣверныхъ писателей, заложивъ, такимъ образомъ, прочное основаніе для будущей своей разработки древнѣйшаго періода русской исторіи. *).

Со своею школой, со своими огромными свѣдѣніями, со своимъ безспорнымъ критическимъ чутьемъ, Байеръ лишенъ былъ, однако, одного условія для успѣшности занятій русскою исторіей. Онъ не зналъ русскаго языка и не старался ему научиться. Шлецеръ находилъ это непонятнымъ; на дѣлѣ это было весьма характернымъ послѣдствіемъ тогдашняго взгляда на ученость. Калмыки, китайцы были для Байера объектомъ ученаго изслѣдованія, потому что тутъ пахло древностью и неизвѣстностью. Русскій же языкъ никакъ не могъ ему представиться достойнымъ предметомъ ученаго изученія, такъ какъ выходилъ изъ его ученаго кругозора. Припомнимъ, что

---

*) Біографія Байера, см. у Пекарскаго: «Исторія акад. наукъ», I. Кромѣ указанныхъ тамъ источниковъ, ср. автобіографію Б. въ портфеляхъ Миллера, № 421 (арх. иностр. дѣлъ).

даже средневѣковая исторія считалась недостаточно достойнымъ сюжетомъ для исторической науки того времени, знавшей только свои origines да своихъ классиковъ. Ученый, который вздумалъ бы заниматься болѣе близкими временами, рисковалъ уронить свою ученую репутацію. Тогдашняя наука, создавшаяся на толкованіи классической древности, не имѣла и пріемовъ *) для этихъ иныхъ временъ и иного характера источниковъ; даже тогдашнее реалистическое направленіе стремленіе замѣнить чисто-литературное и грамматическое изученіе источниковъ собственно историческимъ—выработалось въ той же сферѣ классической и библейской герменевтики и археологіи (Михаэлисъ, Гейне). Байеръ въ этомъ отношеніи вѣрный представитель учености своего времени. Его изслѣдованія по русской исторіи не выходятъ за предѣлы IX вѣка, погружаясь началомъ во мракъ киммерійскій и скиѳскій. Такимъ образомъ, главнѣйшую для него часть работы: исторію киммерійцевъ (Commentarii, t. II, III) и скиѳовъ, начиная ab origine et priscis sebidus (Comm., I), продолжая Скиѳіей при Геродотѣ (ibid.), отсюда до Александра Великаго (t. III), затѣмъ во время Митридата (t. V),—Байеръ могъ сдѣлать, совсѣмъ не касаясь русскихъ источниковъ. Другой рядъ изслѣдованій: о варягахъ (t. IV), о руссахъ (ихъ origines, t. VIII, первый походъ на Константинополь, t. VI), о русской географіи въ IX в. (t. IX и X), также могъ быть написанъ преимущественно по византійскимъ и скандинавскимъ источникамъ. Русская лѣтопись была извѣстна Байеру въ латинскомъ переводѣ, а свои толкованія русскихъ словъ онъ заимствовалъ отъ Тредьяковскаго. „Удивляться надобно,—замѣчаетъ по этому поводу Миллеръ,—что тотъ, который передавалъ ему неосновательныя словопроизводства и объясненія именъ, сильнѣе всѣхъ оспаривалъ эти словопроизводства". Дѣйствительно, Тредьяковскій опровергалъ впослѣдствіи Байера съ патріотической точки зрѣнія въ своихъ нелѣпыхъ *Трехъ разсужденіяхъ* **). Однако, и съ помощью такого несовер-

---

*) Ср. Автобіографію Шлецера, стр. 105

**) Три разсужденія о трехъ главнѣйшихъ древностяхъ россійскихъ, а именно: I. О первенствѣ словенскаго языка передъ тевтоническимъ. II. О первоначаліи россовъ. III. О варягахъ русскихъ словенскаго званія, рода и языка—изданы послѣ смерти автора, въ 1773 г. Въ экземплярѣ Комментаріевъ, принадлежащемъ библіотекѣ моск. духовной академіи, находятся на поляхъ (т. VIII и IX) рукописныя помѣтки, подписанныя иниціалами Тредьяковскаго (В. Т); нѣкоторыя изъ нихъ повторяются и въ Трехъ разсужденіяхъ. Напримѣръ: „me vocat amicum suum (ex Astracan); ego illum monui tum temporis, quod fuit anno 1730"; или „plurimum debeo memoriae b. auctoris; en me iterum vocat amicum suum et non ignarum linguae slavicae. Ego tamen explicui illi: 1⁰ островыйный прагъ (acuticolle limen), 2⁰ островный прагъ (insulare) limen. Sed auc ori propter interpretationem imperatoris

шеннаго пособія, какъ словопроизводства Тредьяковскаго, Байеру удалось опредѣлить значеніе славянскихъ названій днѣпровскихъ пороговъ у Константина Багрянороднаго.

Не забудемъ, что весь перечисленный рядъ изслѣдованій Байера написанъ въ промежуткѣ 12 лѣтъ, проведенныхъ имъ въ Россіи (1726—1738), и что мы не упоминали еще о статьяхъ его по нумизматикѣ и античному искусству, о его огромномъ китайскомъ лексиконѣ, о *Введеніи въ древнюю исторію*, написанномъ для Петра II. Затронутые имъ сюжеты Байеръ исчерпалъ при этомъ настолько, что, наприм., по варяжскому вопросу еще Гедеоновъ пользуется его указаніями и соображеніями; его главныя доказательства норманнизма до сихъ поръ остаются классическими. Затѣмъ, врядъ ли послѣ него кто-нибудь, кромѣ Стриттера, былъ такъ близко знакомъ съ Corpus bysantinorum. Татищевъ и Шлецеръ, эти альфа и омега русской исторической учености прошлаго вѣка, не нашли ничего лучшаго, какъ перевести его главныя работы по древней русской исторіи въ своихъ сочиненіяхъ (1-й томъ *Россійской исторіи* и Nordische Geschichte): самое большее, что могъ сдѣлать Шлецеръ, это—снабдить извлеченіе изъ Байера нѣкоторыми частичными возраженіями и поправками.

Въ Миллерѣ не находимъ ничего общаго съ Байеромъ, кромѣ нѣмецкаго прилежанія. Гимназистъ, едва пробывшій годъ въ Лейпцигскомъ университетѣ, двадцатилѣтній юноша, сдѣланный преподавателемъ латинскаго языка, исторіи и географіи при академической гимназіи, Миллеръ не выработалъ въ себѣ никакой склонности къ какой-либо опредѣленной спеціальности. Пріѣзжая (въ концѣ 1725 г.) въ Россію, онъ имѣлъ въ виду не столько науку, сколько службу. Съ истинно-бюргерскою наивностью и простодушіемъ онъ самъ разсказываетъ намъ свои тогдашніе планы на жизнь. Въ первые годы говоритъ онъ,—„я болѣе прилежалъ... къ свѣдѣніямъ, требуемымъ отъ библіотекаря, разсчитывая сдѣлаться зятемъ Шумахера и наслѣдникомъ его должности“. Имѣя въ виду этотъ чистосердечный

---

placuit secunda sententia“. Или: „dixi auctori, hoc significare вольный прагъ,.. 2º волненный прагъ, scil. fuctuosum limen. Sed auctori placuit secunda iterum expositio“. Ср. Три разсужденія, стр. 253, 255. На стр. 149 Трехъ разсужденій Тредьяковскій прямо приписываетъ эти „приписанія своея руки на полѣ въ печатной книгѣ“ „нѣкоему изъ пріятелей моихъ“, но изъ сопоставленія цитированныхъ мѣстъ видно, что они принадлежатъ ему самому. Возраженія Трехъ разсужденій противъ Байера см. на стр. 5, 20, 71, 74, 117, 123—125, 134—140, 143, 149, 154, 162, 164, 174—178, 179, 194—196, 199, 204—205, 207—210, 237, 242—263. Весь почти матеріалъ и критическій аппаратъ „разсужденій“ почерпнуты Тредьяковскимъ у того же Байера. И приведенныя выше толкованія Тредьяковскаго, не принятыя Байеромъ, послѣдній зналъ и помимо Тредьяковскаго—изъ Бандури и Шеттгена.

разсказъ, мы найдемъ, что Ломоносовъ очень правдоподобно изобразилъ роль Миллера въ первые годы его академической службы въ слѣдующихъ словахъ: „Шумахеръ, для укрѣпленія себѣ присвоенной власти, приласкалъ на помочь студента Миллера... ибо усмотрѣлъ, что оный Миллеръ, какъ еще молодой студентъ и недалекой въ наукахъ надежды, примется охотно за одно съ нимъ ремесло, въ надеждѣ скорѣйшаго полученія чести, въ чемъ Шумахеръ и не обманулся, ибо сей студентъ, ходя по профессорамъ, переносилъ другъ про друга оскорбительныя вѣсти и тѣмъ привелъ ихъ въ немалыя ссоры, которымъ ихъ несогласіемъ Шумахеръ весьма воспользовался, представляя ихъ у президента смѣшными и неугомонными *).

Но такое фаворитство Миллера у Шумахера продолжалось не долго. По несовсѣмъ яснымъ причинамъ Шумахеръ скоро охладѣлъ къ Миллеру. „Тогда“,— говоритъ намъ опять самъ Миллеръ,— „у меня исчезла надежда сдѣлаться его зятемъ... Я счелъ нужнымъ проложить другой ученый путь—это была русская исторія... г. Байеръ подкрѣплялъ меня въ этомъ предпріятіи“. Какъ видимъ, „предпріятіе“ заняться русской исторіей было вызвано у Миллера не столько учеными, сколько практическими соображеніями. Вскорѣ послѣ такого рѣшенія Миллеру представился еще исходъ: ѣхать съ Берингомъ въ Сибирскую экспедицію (1733 г.). „Я былъ этому радъ,— говоритъ Миллеръ, - потому что такимъ образомъ освобождался на долгое время отъ неурядицы въ академіи и, удаленный отъ ненависти и вражды, могъ наслаждаться покоемъ, завися только отъ самого себя“. Итакъ, и при этомъ выборѣ Миллеромъ руководили соображенія чисто личнаго свойства. Рѣшившись ѣхать въ Сибирь, онъ врядъ ли предчувствовалъ, что эта поѣздка будетъ имѣть огромное значеніе для всей его ученой будущности. „Безъ этихъ странствій,—признается онъ самъ впослѣдствіи,— мнѣ было бы трудно добыть пріобрѣтенныя мною знанія“ **).

Дѣйствительно, если случай,—размолвка съ Шумахеромъ,— толкнулъ Миллера на русскую исторію, то такой же случай, поѣздка въ Сибирь, открылъ ему возможность познакомиться съ источниками для русской исторіи, притомъ, источниками совершенно новаго

---

*) Соловьевъ: „Исторія Россіи“, т. XX, стр. 241. Остальныя біографическія свѣдѣнія о Миллерѣ см. у Пекарскаго въ „Исторіи академіи наукъ“, т. I

**) Что сдѣлалъ Миллеръ для изученія русской исторіи передъ сибирской поѣздкой, видно изъ сохранившихся въ его портфеляхъ бумагъ до 1735 г. (Арх. иностр. дѣлъ, № 150, т. X). Здѣсь находимъ Meine erste Excerpte für die Russische Historie vor der Reise nach Sibirien, приведенныя въ порядокъ на 209 листахъ. Рядомъ съ выписками изъ иностранныхъ источниковъ, византійскихъ, сѣверныхъ и др., о древней исторіи, здѣсь встрѣчаемъ матеріалы для біографіи дѣятелей царствованія Петра I.

рода. До того времени лѣтописи были центромъ историческаго изученія. Миллеръ натолкнулся на *акты*, и передъ нимъ впервые открылось безбрежное море архивныхъ источниковъ русской исторіи, о которомъ пересказчики лѣтописей не имѣли до тѣхъ поръ никакого понятія. Вмѣстѣ съ этимъ открытіемъ и центръ тяжести въ изученіи русской исторіи долженъ былъ передвинуться изъ глубокой древности въ XVI—XVIII столѣтіе.

Конечно, это былъ случай, что Миллеру пришлось разбирать содержаніе сибирскихъ архивовъ. Но нельзя не признать, что случаемъ этимъ Миллеръ воспользовался превосходно. Самые недостатки его, какъ ученаго, - отсутствіе строгой школы и серьезной ученой подготовки,—послужили въ этомъ случаѣ къ пользѣ дѣла. Лишенный учености, онъ былъ зато свободенъ и отъ того педантизма, который съужалъ кругозоръ большинства настоящихъ ученыхъ того времени и заставлялъ ихъ ограничивать предѣлы научнаго изученія древнѣйшею исторіей. Очутившись передъ необозримыми грудами сырья, разработка котораго требовала больше усидчивости и терпѣнія, чѣмъ критическаго чутья и искусныхъ методическихъ пріемовъ, онъ не отвернулся отъ него, сумѣлъ оцѣнить огромное значеніе этого матеріала для исторической науки и, отложивъ въ сторону ученую брезгливость, усердно принялся за его изученіе,—за выписки и простую копировку *).—Въ результатѣ, изъ десятилѣтней поѣздки по Сибири (1733 1743 гг.) Миллеръ привезъ тридцать фоліантовъ актовъ, списанныхъ въ разныхъ сибирскихъ архивахъ и до сихъ поръ печатаемыхъ археографической комиссіей. Но эти фоліанты и составленная на основаніи собраннаго матеріала *Сибирская исторія*, первая исторія завоеванія и колонизаціи края, далеко не исчерпываютъ всего, что вывезъ Миллеръ изъ Сибири. Не менѣе важно, чѣмъ то и другое, было то новое представленіе объ изученіи русской исторіи, съ которымъ Миллеръ оттуда вернулся. Вскорѣ по возвращеніи онъ дѣлаетъ представленіе объ учрежденіи при академіи историческаго департамента для сочиненія исторіи и географіи Россійской имперіи. Необходимость такого учрежденія сама собой вытекала для Миллера изъ его новой классификаціи источниковъ русской исторіи. Если трудно было составить сводъ изъ однѣхъ лѣтописей, то обработать акты и другіе архивные матеріалы было, очевидно, совершенно невозможно одному человѣку. По предложенію Миллера, департаментъ долженъ былъ состоять изъ исторіографа, двухъ адъюнктовъ, изъ которыхъ одинъ для разъѣздовъ по провинціальнымъ архивамъ, двухъ переводчиковъ и двухъ переписчиковъ. Помѣщаться онъ долженъ былъ непремѣнно въ

*) Въ недавнее время Н. Н. Оглоблинъ указывалъ на ошибки въ копіяхъ Миллера. Библіографъ, 1891 г.

Москвѣ. Еще не бывавши ни разу ни въ одномъ изъ московскихъ архивовъ, Миллеръ уже по своему знакомству съ областными архивами, долженъ былъ имѣть понятіе о первостепенной важности архивныхъ хранилищъ древней столицы. Прежде всего, слѣдовало, по его мнѣнію, „освѣдомиться, гдѣ изъ прежде бывшаго Разряду и Посольскаго приказу архивы нынѣ находятся, потому что они къ сочиненію исторіи весьма важны будутъ". Вотъ первая мысль объ ученой разработкѣ двухъ главныхъ московскихъ архивовъ - министерства юстиціи и министерства иностранныхъ дѣлъ.

Предложеніе Миллера было отвергнуто, опять таки, благодаря Шумахеру, который видѣлъ тутъ желаніе ускользнуть изъ-подъ его власти. Но очень скоро послѣ того, 10 ноября 1747 года, съ Миллеромъ былъ заключенъ новый контрактъ, въ силу котораго онъ назначался „исторіографомъ" и обязывался сочинять „генеральную россійскую исторію". Обѣщано было ему, по окончаніи имъ *Сибирской исторіи*, устроить и „департаментъ" при академіи „по плану, который имъ самимъ сочиненъ быть имѣетъ и въ канцеляріи апробованъ". Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ (29 января 1748 г.) Миллеръ совершилъ, наконецъ, шагъ, передъ которымъ долго колебался: принялъ русское подданство. За два дня передъ этимъ былъ учрежденъ и историческій департаментъ при академіи, но подчиненъ двойному контролю академической канцеляріи и особаго „историческаго собранія" академиковъ; оба эти учрежденія тормозили всячески ученую дѣятельность Миллера.

Намъ нѣтъ надобности, впрочемъ, разсказывать исторію всѣхъ преслѣдованій, которымъ подвергался Миллеръ послѣ того, какъ закабалилъ себя въ русское подданство. Достаточно будетъ сказать, что среди всѣхъ встрѣченныхъ имъ непріятностей онъ не потерялъ окончательно изъ вида своей главной ученой задачи. Двадцать два года спустя послѣ возвращенія изъ Сибири, ему удалось, наконецъ, осуществить свою давнишнюю мечту – переѣхать въ Москву, поближе къ московскимъ архивамъ. „Прилично исторіографу жить въ Москвѣ, для способности архивовъ",—повторялъ онъ за два года до смерти свою мысль, высказанную имъ впервые чуть не сорокъ лѣтъ раньше. Правда, первое мѣсто, полученное имъ въ Москвѣ, была должность надзирателя Воспитательнаго дома, но, перебираясь на это мѣсто въ 1765 году, онъ уже имѣлъ въ виду словесное предложеніе вице-канцлера Ал. Мих. Голицына назначить его хранителемъ архива коллегіи иностранныхъ дѣлъ. Едва устроившись въ Москвѣ, онъ поспѣшилъ напомнить Голицыну объ этомъ предложеніи, „столь соотвѣтствующемъ моимъ склонностямъ и цѣли моихъ занятій". „Моею единственною цѣлью, писалъ онъ въ другомъ письмѣ къ Голицыну (9 янв. 1766 г.),—было (при хлопотахъ о мѣстѣ въ архивѣ) оказать значительную услугу государству, кото-

рому я служу болѣе 40 лѣтъ. Я посвятилъ себя преимущественно обрабатыванію русской исторіи,—занятіе, которое мнѣ пришлось оставить, но отъ котораго отказаться мнѣ слишкомъ трудно. Если мною воспользуются для архива, я льщу себя надеждой вернуться къ этому занятію и, такимъ образомъ, потрудиться для академіи, отъ которой я получаю содержаніе". *). Наконецъ, 27 марта 1766 года назначеніе Миллера начальникомъ архива состоялось, и онъ былъ у цѣли, давно намѣченной. Но за долгіе годы ожиданія Миллеръ успѣлъ значительно присмирѣть и состарѣться. Пріѣхавъ въ Россію безъ серьезной ученой подготовки, онъ позабылъ въ Россіи и то, что зналъ до пріѣзда. Шлецеръ въ 1760-хъ годахъ нашелъ Миллера, какъ онъ говорилъ, „на цѣлые тридцать лѣтъ отставшимъ отъ литературы". То же самое подтверждаетъ и самъ Миллеръ. Когда въ 1750 году въ наказаніе его заставляли читать лекціи, онъ откровенно признался: „къ лекціямъ потребна нѣкоторая привычка, а къ историческимъ особливо—изустное знаніе или память всѣмъ приключеніямъ съ начала свѣта по наши времена. Я же оную привычку не имѣю, потому что черезъ 18 лѣтъ, какъ въ Сибирь былъ отправленъ, никакихъ лекцій не давывалъ, и книгъ иностранныхъ историческихъ, кромѣ касающихся до Россійскаго государства, не читывалъ, по которымъ бы я могъ обновлять память вышереченнымъ историческимъ приключеніямъ; но только я упражнялся въ обстоятельномъ описаніи всея Сибири и въ познаніи россійской исторіи и всего внутренняго Россіи и пограничныхъ съ Сибирью азіатскихъ державъ состоянія, пріуготовляя себя тѣмъ къ исполненію должности россійскаго исторіографа". Отъ исполненія этой должности Миллеръ не отказывался и теперь, поступая въ архивъ; по крайней мѣрѣ, въ письмѣ къ Голицыну онъ обѣщаетъ, между прочимъ: „наконецъ, я не упущу случая (ne négligerai) воспользоваться архивомъ для всего, что касается исторіи Россіи, и въ этомъ отношеніи буду руководиться образцомъ лучшихъ историковъ, пользовавшихся подобными же преимуществами". Но это обѣщаніе стоитъ послѣднимъ въ ряду другихъ, и по самой формѣ видно, что Миллеръ не особенно на немъ настаиваетъ. Начинать въ шестьдесятъ лѣтъ писать русскую исторію, вѣроятно, казалось ему уже слишкомъ поздно. Въ письмѣ къ своему начальнику по Воспитательному дому, Бецкому, онъ выражаетъ искреннее свое настроеніе, говоря, что мѣсто въ архивѣ „обезпечитъ мнѣ покой на старости" и „дастъ возможность передать потомству знанія, пріобрѣтенныя въ Россіи въ теченіе сорока лѣтъ". Ближайшею цѣлью Миллера и

---

*) Эти и другія детали, не находящіяся въ біографіи Пекарскаго (Ист. акад. наукъ), взяты изъ портфелей Миллера, преимущественно изъ № 389, частей I и II.

становится теперь, съ одной стороны, „давать наставленія нѣсколькимъ молодымъ людямъ... для продолженія изслѣдованій послѣ моей смерти", съ другой—„устраивать архивъ, приводить его въ порядокъ и сдѣлать его полезнымъ для политики и исторіи". При такомъ настроеніи естественно, что писаніе исторіи, когда-то бывшее главною цѣлью Миллера, онъ могъ передать теперь Щербатову. Рекомендуя въ 1767 г. Щербатова вмѣсто себя Екатеринѣ, онъ этимъ формально снималъ съ себя обязанность, налагавшуюся на него званіемъ „исторіографа", и посвящалъ себя исключительно архиву.

Судьба, однако, удѣлила Миллеру еще цѣлыхъ семнадцать лѣтъ для подготовительной разработки архивнаго матеріала. За это время онъ, дѣйствительно, подготовилъ себѣ преемниковъ въ архивѣ: Мартина Соколовскаго, кончившаго въ московскомъ университетѣ, и Ник. Ник. Бантыша-Каменскаго, перешедшаго въ московскій университетъ изъ кіевской и московской духовныхъ академій. Заставъ обоихъ въ архивѣ уже при своемъ вступленіи туда, онъ мечталъ— и дѣлалъ объ этомъ предложенія—раздѣлить между ними управленіе архивомъ послѣ своей смерти. На должность же исторіографа онъ прочилъ послѣ себя Стриттера, переведеннаго къ нему въ помощники, по его просьбѣ, изъ академіи (въ 1779 г.) и занявшаго послѣ него его мѣсто въ архивѣ. Но, подготовляя „молодыхъ людей", пунктуальный и неутомимый въ работѣ Миллеръ и самъ не сидѣлъ безъ дѣла: онъ постоянно пополнялъ свою коллекцію копій и экстрактовъ изъ архивныхъ документовъ, хранящихся до сихъ поръ въ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ подъ названіемъ „портфелей Миллера". Жертвуя ихъ при жизни, вмѣстѣ съ библіотекой, въ собственность архива, Миллеръ такъ опредѣлялъ ихъ назначеніе и содержаніе: „Изъ сихъ (портфелей) ни одного листа потеряться не должно. Многое сочинено и записано мною для будущаго употребленія; иное списано по моему указанію изъ разряднаго архива и съ находящихся въ партикулярныхъ домахъ книгъ и записокъ". Родословная исторія князей и императорскаго дома „особливымъ тщаніемъ у меня описана..." „Географическое описаніе Россійской имперіи, къ коему я въ Сибири путешествуя собственными примѣчаніями основаніе положилъ, пріумножено многими послѣ того и понынѣ со всѣхъ сторонъ мнѣ сообщенными и у меня списыванными планами и ландкартами"... „Послѣднее обогащеніе моей библіотеки чинилъ я списываніемъ важнѣйшихъ писемъ своеручныхъ Петра Великаго въ 13 томахъ, содержащихся въ нашемъ архивѣ, и приведеніемъ оныхъ въ порядокъ по годамъ и числамъ" *).

---

*) О содержаніи „портфелей Миллера" наиболѣе обстоятельныя свѣдѣнія до сихъ поръ были даны въ печати С. М. Соловьевымъ, въ статьѣ:

Tel homme, telle oeuvre. Сопоставляя личность Миллера и плоды его ученой работы, нельзя не найти полнѣйшаго соотвѣтствія между тѣмъ и другимъ. За эту безконечную работу собиранія, часто граничившую съ механическою работой списыванія, не могъ бы взяться настоящій ученый, въ родѣ Байера. Здѣсь необходимъ былъ чернорабочій,—здоровый, сильный чернорабочій, отъ котораго ничего не нужно, кромѣ усердія и здраваго смысла. Рабочею силой Миллера не мало злоупотребляли; и съ другой стороны, ему пришлось вынести не мало нападеній за это качество его ученой работы, необходимо вытекавшее изъ самаго рода работы. Такъ, академики находили, что его *Сибирская исторія* есть груда выписокъ; ему запретили даже цитировать акты въ продолженіи этой исторіи. Враги Миллера не останавливались даже передъ утвержденіемъ, что въ Сибири онъ не сдѣлалъ ничего, чего не могъ бы сдѣлать простой писецъ. На злоупотребленіе своею рабочею силой Миллеръ жалуется еще въ 1764 г.: „Текущихъ дѣлъ такъ много,—пишетъ онъ Соймонову *), что едва оныхъ сносить могу. Ваше превосходительство едва себѣ представите, что и реестры полугодовые къ *(Ежемѣсячнымъ) Сочиненіямъ* за неимѣніемъ никакой помощи я же сочиняю. Просилъ я не токмо президента, но и самую всемилостивѣйшую государыню, чтобы секретарскую должность съ меня снять и издаваніе *Ежем. Соч.* (къ коимъ, однакожь, матеріи пода-

---

Герардъ-Фридрихъ Миллеръ (Современникъ 1854, т. XLVII отд. 2). Содержаніе это можетъ быть сведено къ слѣдующимъ главнымъ составнымъ частямъ: 1) Сибирскія бумаги: сюда относятся записки о путешествіи по Сибири и Камчаткѣ, географическіе и этнографическіе матеріалы, архивные документы, вывезенные изъ сибирскихъ архивовъ, и т. д. Сюда присоединимъ и выписки изъ Сибирскаго архива (въ Москвѣ) № 133. Это—наиболѣе обширный отдѣлъ портфелей (№№ 477—545). 2) Матеріалы для географіи, этнографіи и статистики Россіи и сосѣднихъ странъ (№№ 343, 344, 347—349, 357, 359—360, 362—363, 365, 391, 393, 395); сюда относятся также дополненія къ Лексикону Полунина (367—370). 3) Родословныя и матеріалы для исторіи дворянства (№№ 130, 138, 155, 159, 168, 279, 284, 285, 386 387, 388, частью 127). 4) Матеріалы для русской исторіи: сюда относятся выписки изъ лѣтописей до Алексѣя Михайловича (№№ 21 и 23), исторія царя Ѳеодора Алексѣевича (№ 53), матеріалы для исторіи царствованія Петра I и слѣдующихъ государей (№№ 55, 65, 83, 119, 139, 140, 144, 151, 152), наконецъ, матеріалы для біографіи дѣятелей XVII—XVIII в. (№№ 240, 241, 243—247). 5) Матеріалы для церковной исторіи (№№ 184, 185, 199). 6) Матеріалы для исторіи дипломатіи (№№ 298, 229, 300, частью 127). 7) Матеріалы для личной исторіи Миллера: его переписка (№ 546), его сочиненія (повсюду разсѣянныя, но особенно въ №№ 47, 48, 53, 149, 150, 250, 503) и его дѣятельность въ академіи, архивѣ и другихъ учрежденіяхъ (248, 249, 389, 390. 394, 407, 409, 410, 412). Весь этотъ богатый матеріалъ почти вовсе еще не тронутъ.

*) Пекарскій: „Редакторъ, сотрудники и цензура въ русскомъ журналѣ 1755—64 годовъ“ (разумѣются Ежемѣсячныя Сочиненія, издававшіяся Миллеромъ). Зап. Акад. Наукъ. XII.

вать я обѣщалъ) приказать другому, дабы мнѣ упражняться въ одной исторіи и географіи россійской. Но не могъ я получить желаемое, истощая силы свои по большей части на дѣла, которыя многіе другіе исправлять могли, а самое важное за тѣмъ остается".

Не нужно, однако, думать слишкомъ низко о Миллерѣ. Это былъ человѣкъ съ умомъ и съ душой. Надо прочесть характеристику Шлецера, чтобы составить себѣ о немъ правильное представленіе, какъ о человѣкѣ. Всегда ясный, оживленный, неутомимый въ работѣ и пунктуальный, съ годами болѣе требовательный и вспыльчивый, не разочарованный, несмотря на всѣ свои неудачи, но примирившійся со своимъ новымъ отечествомъ и съ требованіями новой обстановки, въ 70 лѣтъ онъ почти тотъ же, какимъ былъ въ 50, „сохранилъ свѣжесть и способность къ работѣ" *). Нельзя не оцѣнить всего этого, хотя, конечно, такими не бываютъ люди, которые живутъ нервами.

Въ Байерѣ мы видѣли колоссальную ученость, ограниченную ученымъ кругозоромъ его времени; въ Миллерѣ—колоссальное трудолюбіе, не сопровождавшееся ученостью. Шлецеръ имѣетъ несравненно большее значеніе въ развитіи исторической мысли, какъ реформаторъ самаго взгляда на ученость и науку, и намъ, прежде всего, необходимо познакомиться съ нимъ въ этомъ общемъ его значеніи.

„Плохъ тотъ историкъ, который не путешествовалъ" **); въ этомъ изреченіи выразилось все характерное Шлецеровскаго взгляда на науку. Мы уже говорили о томъ, что для предыдущаго періода европейской исторіографіи исторія была предметомъ чистой учености, и имѣли случай видѣть, какъ необыкновенно было для ученаго историка заниматься явленіями, сколько-нибудь близкими къ окружавшей его дѣйствительности. Шлецеръ сильною рукой вывелъ исторію изъ этого заколдованнаго круга, осмѣялъ ученость, которая сама себѣ служила цѣлью, и поставилъ ей реальную, практическую задачу—познаніе жизни. Исторію онъ первый понялъ, какъ изученіе государственной, культурной, религіозной жизни и сблизилъ ее со статистикой, географіей, политикой и другими отраслями реальныхъ знаній. „Исторія безъ политики, — выразился онъ въ одномъ мѣстѣ,—создаетъ только монастырскія хроники да dissertationes criticas". Однимъ словомъ, „то, что Болинброкъ сдѣлалъ для исторіи въ Англіи, Вольтеръ во Франціи, то сдѣлалъ для нея Шлецеръ въ Германіи", — именно, показалъ, что знаніе жизни не менѣе нужно

*) Соловьевъ: „Гер.-Фр. Миллеръ", Современникъ 1854, октябрь, стр. 149.

**) Wesendonck: „Die Begründung der neueren deutschen Geschichtschreibung durch Gatterer und Schlözer", Lpz., 1876, 81.

историку, чѣмъ книжная премудрость, и что разумный и образованный общественный дѣятель во многихъ отношеніяхъ глубже и яснѣе пойметъ смыслъ явленій отдаленнаго прошлаго, чѣмъ кабинетный ученый *).

Чтобы вполнѣ понять, какимъ переворотомъ былъ подобный взглядъ для исторической науки того времени, намъ надо отрѣшиться на минуту отъ тѣхъ высшихъ требованій, съ какими мы обращаемся теперь къ исторіи, какъ къ наукѣ. Нужно представить себѣ, чѣмъ былъ учебникъ и ученое сочиненіе по исторіи въ XVII в. и въ первую половину XVIII в. на западѣ Европы. Единственною связующею идеей, сообщавшею нѣкоторое единство историческому матеріалу, была идея богословская: знаменитая средневѣковая идея четырехъ монархій. При распредѣленіи всемірной исторіи между четырьмя монархіями Даніилова пророчества, вся исторія Европы приходилась на долю послѣдней, четвертой монархіи, именно Римской. Греція исчезала вовсе въ этой схемѣ, средніе вѣка тоже. Хронологія всемірно-историческихъ событій велась, разумѣется, отъ сотворенія міра. Дѣленій на періоды по внутреннимъ признакамъ не было и въ поминѣ. Такимъ образомъ, богословская философія исторіи оставляла въ сторонѣ исторію германской и славянской Европы, такъ сказать, не предвидѣла этой исторіи и не оставила для нея мѣста въ своей всемірно-исторической схемѣ. За отсутствіемъ какой бы то ни было руководящей идеи, кромѣ этой богословской, и въ изслѣдованіяхъ по исторіи отдѣльныхъ государствъ не встрѣчалось иной связующей мысли, кромѣ узко-національной, патріотической. Конечно, ни та, ни другая идея, ни національная, ни богословская, не могли связать факты въ одно органическое цѣлое. Историческій разсказъ въ обширномъ объемѣ представлялъ груду непереваренныхъ и мелочныхъ событій, безъ всякой критики источниковъ, безъ всякаго выдѣленія важнаго и не важнаго. Объемистые компендіумы преспокойно насчитывали двадцать восемь римскихъ царей, начиная съ Януса, и сообщали самыя обстоятельныя свѣдѣнія объ обжорствѣ тиранна Діонисія. Въ краткомъ же объемѣ, въ историческомъ учебникѣ, гдѣ поневолѣ приходилось выбирать и группировать факты для цѣлей лучшаго запоминанія, средствами къ такому запоминанію служили чисто-внѣшніе искусственные пріемы. Чтобы сколько-нибудь объединить факты и облегчить ихъ усвоеніе, учебники пускались на хитрости, изъ которыхъ одна превосходила другую. Одинъ, наприм., изображалъ въ рисункахъ построеніе Карѳагена, законодательство Ликурга, гибель Ниневіи и Сарданапала, на одномъ листѣ, чтобъ этимъ обозначить одновременность этихъ событій. Другой ухитрялся даже рисовать собственныя имена: Ге-

*) Wesendonck, 152, 188.

беръ представлялся въ видѣ рычага (Heber), Белъ—въ видѣ топора (Beil); Моисей (Moses) лежалъ на мхѣ (Moos), Valerianus говорилъ сыну vale и ѣхалъ (ritt) на anus. Рядъ учебниковъ былъ изложенъ въ вопросахъ и отвѣтахъ; такой историческій катехизисъ Гильмара Кураса (1751 г.) еще въ тридцатыхъ годахъ употреблялся въ нашихъ пансіонахъ: тамъ спрашивается, наприм., „какой императоръ былъ такъ благочестивъ, что клялся только своею бородой?—Оттонъ Великій“.

Въ эту-то безобразную массу сырого матеріала Гаттереръ и Шлецеръ ввели двѣ руководящихъ идеи, обѣ, впрочемъ, переходнаго, временнаго свойства. По содержанію это была идея всемірной исторіи, по методу идея исторической критики. Противуположность этихъ идей съ предыдущимъ состояніемъ исторіографіи видна уже изъ сказаннаго выше; намъ нужно только указать ихъ отношеніе къ воззрѣніямъ послѣдующей исторіографіи: тогда переходный характеръ обѣихъ идей выяснится самъ собою.

Огромное преимущество всемірно-исторической точки зрѣнія Шлецера сравнительно съ теоріей четырехъ монархій заключалось въ несравненно большей гибкости его схемы,—въ большей приспособляемости ея къ конкретному матеріалу. Не связанный необходимостью слѣдить за судьбой богословской идеи въ мірѣ и опредѣлять степень богоизбранности того или другого народа въ дѣлѣ осуществленія этой идеи, Шлецеръ не дѣлалъ различія въ историческомъ достоинствѣ разныхъ націй. Всемірная исторія обнимаетъ для него „всѣ народы міра. Безъ отечества, безъ національной гордости распространяется она на всѣ страны, гдѣ только живутъ обществами люди, и широкимъ взглядомъ обозрѣваетъ всю сцену, на которой когда-либо игрались роли. Всякая часть свѣта для нея равна другой. Не четыре монархіи, выдѣленныя изъ тридцати другихъ, не народъ Божій, не греки или римляне занимаютъ ее по преимуществу. Она съ равнымъ интересомъ переходитъ отъ Гоанго къ Нилу, отъ Тибра къ Вислѣ“.

Легко замѣтить, что, разрушая старую теорію четырехъ монархій, взглядъ Шлецера направлялся также и противъ другой отличительной черты старой исторіографіи: противъ изученія національной исторіи съ националистической точки зрѣнія. Противъ узкой всемірно-исторической схемы, точно такъ же, какъ и противъ національной исключительности, Шлецеръ одинаково выдвигаетъ свой принципъ научнаго безразличія, при которомъ *весь* человѣческій матеріалъ становится достояніемъ исторической и общественной науки и изучается *только* въ интересахъ знанія, въ интересахъ науки. Тотъ же самый принципъ научнаго безразличія показываетъ намъ, однако же, что всемірно-историческая точка зрѣнія Шлецера была совсѣмъ не той, которая возобладала въ исторіографіи скоро послѣ него. Безу-

словно уравнивая права всѣхъ народовъ на ученое вниманіе историка, Шлецеръ былъ далекъ отъ аристократическаго взгляда гегеліанства, замыкающаго историческую жизнь человѣчества въ рядъ избранныхъ народовъ. Для статистика и реалиста Шлецера отвлеченная идея всемірной исторіи не могла заслонить, отодвинуть на заднiй планъ непосредственнаго даннаго отдѣльной національности. И самый взглядъ на національность у Шлецера рѣзко противуположенъ взгляду послѣдующаго поколѣнія. Трезвый и разсудочный, онъ остался вѣренъ раціоналистическому духу XVIII в. Его историческая философія, какъ и критицизмъ Канта, выходятъ изъ понятія личности, и развитіе въ исторіи представляется ему не въ видѣ обнаруженія національнаго духа, національной идеи, а въ видѣ успѣховъ, достигаемыхъ болѣе или менѣе энергическою дѣятельностью законодателя и политика для улучшенія общественнаго благосостоянія — преимущественно въ сферѣ матеріальной культуры *). Государство и церковь и для него представляются благодѣтельными изобрѣтеніями общественной политики. Національность и у него играетъ роль сырого, мертваго матеріала, на которомъ работаетъ законодатель **) и совершается историческій ходъ. Не можетъ быть большей противуположности, какъ между этимъ воззрѣніемъ и взглядами послѣдующаго поколѣнія, по которымъ національность сама двигаетъ исторію развитіемъ присущей ей внутренней жизни и силы. Часто упрекали Шлецера за это игнорированіе народной психологіи. Но не слѣдуетъ забывать, что ученіе о народномъ духѣ долгое время и послѣ Шлецера носило субъективный, этическій характеръ. Протестуя противъ національнаго субъективизма во имя принципа научнаго безразличія, Шлецеръ могъ бы, конечно, взглянуть и на субъективные элементы національности, какъ на объектъ для научно-психологическаго изслѣдованія. Если, вмѣсто этого онъ предпочелъ игнорировать существованіе субъективныхъ элементовъ, это достаточно объясняется, какъ мы видѣли, его раціоналистическимъ міровоззрѣніемъ. Зато, съ другой стороны, намъ, пережившимъ и раціоналистическое, и романтическое міровоззрѣніе, всемірно-историческая точка зрѣнія Шлецера, не потерявшая еще подъ собой этнографической почвы, во многомъ ближе и понятнѣе, чѣмъ та же точка зрѣнія, превратившая реальныя явленія въ идеи, предметъ изслѣдованія — въ предметъ сочувствія и содѣйствія въ рукахъ нѣмецкихъ романтиковъ. Но чего, дѣй-

---

*) О связи между раціонализмомъ и всемірно-историческою точкой зрѣнія Шлецера (и даже еще Шлоссера) см. также замѣчанія Ottokar Lorenz: „Die Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen und Aufgaben". Berl. 1886, стр. 29 и слѣд.

**) Ср. въ Несторѣ (I, стр. НЕ): „Такова участь бѣднаго человѣчества, что его, какъ упрямаго ребенка, должно поневолѣ приводить къ счастію, т.-е. къ достиженію своего назначенія".

ствительно, нѣтъ въ теоріяхъ Шлецера, и что, какъ увидимъ, дала намъ романтическая исторіографія, это — идеи закономѣрности, совершенно чуждой Шлецеровскому раціонализму. Личная воля и мысль этого раціоналистическаго взгляда стоятъ гораздо дальше отъ идеи закономѣрности, чѣмъ стихійная воля и мысль романтиковъ національности.

Такимъ образомъ, идея всемірной исторіи, какъ ее понималъ Шлецеръ, съ одной стороны, представляетъ переходъ отъ схемы четырехъ монархій къ современному представленію о національной исторіи, независимой отъ какого бы то ни было всемірно-историческаго схематизма; съ другой стороны, она подготовляетъ переходъ отъ практическаго пониманія идеи національности къ научному. Такую же промежуточную роль пришлось сыграть и другой идеѣ, введенной Гаттереромъ и Шлецеромъ въ историческую науку,—идеѣ исторической критики. Отъ наивной компиляціи источниковъ эта идея была переходомъ къ современному пониманію научнаго метода.

Наивная вѣра во все, что сообщаетъ источникъ, вытекла изъ общаго начала новой европейской науки,—изъ благоговѣйнаго изученія классическихъ авторовъ. Если заглянуть въ ученыя сочиненія знаменитыхъ филологовъ XVI и XVII столѣтій, можно поразиться тѣмъ, до какой степени они свято вѣрятъ въ каждую строку, принадлежащую классику, будь это Тацитъ или Валерій Максимъ, Цезарь или Ливій, сообщай онъ фактъ или мысль, грамматическое правило или нравственную сентенцію. При такомъ взглядѣ, само собою разумѣется, что древняя исторія излагалась словами древнихъ авторовъ; много-много, если ученый компиляторъ позволялъ себѣ усомниться въ непосредственномъ участіи какого-нибудь языческаго бога въ ходѣ событій, и, наприм., Рея Сильвія рождала своихъ близнецовъ не отъ бога Марса, а отъ солдата *). Критика изслѣдователя, во всякомъ случаѣ, не шла дальше содержанія разсказа, передаваемаго древнимъ авторомъ; критиковать самого автора никому не приходило въ голову. Такимъ образомъ, при нѣсколькихъ различныхъ показаніяхъ у компилятора не было никакихъ основаній предпочесть одинъ варіантъ другому, кромѣ здраваго смысла, и не оставалось никакой возможности возстановить фактъ, какъ онъ былъ въ дѣйствительности. Можно себѣ представить, что при такомъ положеніи критики было настоящимъ открытіемъ примѣненіе новаго критическаго пріема: разбирать не самый разсказъ, а его источникъ, и изъ положенія, тенденціи, степени освѣдомленности разсказчика выводить вѣроятность разсказываемаго. Такимъ образомъ устанавливалась объективная

---

*) Wesendonck, 29.

мѣрка для взвѣшиванія сравнительной цѣны противорѣчивыхъ показаній, и становилось возможнымъ возстановленіе факта, по крайней мѣрѣ, въ наиболѣе вѣроятномъ видѣ.

Итакъ, возстановленіе факта—вотъ послѣдняя цѣль исторической критики. Но и эта цѣль рисуется въ отдаленномъ будущемъ современникамъ Шлецера. Самъ онъ различаетъ три періода разработки историческаго матеріала, соотвѣтственно тремъ функціямъ историка. Прежде всего, долженъ явиться Geschichts s a m m l e r, цѣль котораго—собрать матеріалы и расположить ихъ въ порядкѣ, удобномъ для изслѣдованія. Затѣмъ его смѣнитъ Geschichts f o r s c h e r, который долженъ заняться обработкой подготовленнаго матеріала, т.-е., во-первыхъ, провѣркой его подлинности („низшая критика"), и во-вторыхъ, оцѣнкой его достовѣрности („высшая критика"). Наконецъ, въ идеалѣ, въ будущемъ придетъ Geschichts e r z ä h l e r, который изъ провѣренныхъ низшею и высшею критикой данныхъ составитъ историческій разсказъ. Для современной эпохи, по Шлецеру, время историческаго разсказа еще не наступило.

По этой классификаціи мы можемъ составить себѣ понятіе объ отношеніи Шлецеровскихъ идеаловъ къ идеаламъ нашего времени. Уже въ слѣдующемъ за Шлецеромъ поколѣніи, которое отчасти засталъ самъ онъ, задачи историка нѣсколько перестановились. Роль „историческаго изслѣдователя" была отодвинута на задній планъ передъ ролью „разсказчика". Историческій разсказъ сдѣлался ближайшею цѣлью, а вмѣстѣ съ тѣмъ поднялись безконечные споры о роли художественнаго чувства въ разсказчикѣ. Такъ какъ существованія этого элемента, эстетическаго и художественнаго, и даже необходимости его для живости разсказа нельзя было отрицать, то возникалъ неразрѣшимый споръ о границахъ субъективнаго творчества, о роли субъективнаго творчества въ разсказѣ, о реальномъ и идеальномъ (или формальномъ) элементѣ историческаго разсказа. Понятно также и отношеніе этого поколѣнія къ нашему. Ихъ послѣдняя цѣль—историческій разсказъ; наша—соціологическій законъ. Ихъ работа кончается возстановленіемъ факта; наша, напротивъ, только начинается надъ фактомъ уже возстановленнымъ. Естественно, что для насъ теряетъ значеніе и споръ старой школы о роли субъективизма, конечно, неизбѣжнаго въ разсказѣ, но непонятнаго въ логической операціи, подготовляющей открытіе закона. Историческій разсказъ, дѣйствительно, пересталъ быть для насъ идеальною цѣлью историка, какою онъ былъ для прошедшей генераціи. Эта генерація требовала художественнаго описанія отъ своихъ историковъ; мы требуемъ только научнаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ и Geschichtsforscher снова получаетъ для насъ все свое подготовительное значеніе, и непосредственно послѣ него начинается работа соціолога. Конечно, послѣдняя задача нашего времени—открытіе закона—остается такимъ же

идеаломъ, какъ историческій разсказъ для времени Шлецера; конечно, нашъ научный методъ, смѣнившій методъ исторической критики, остается столь же мало выработаннымъ для приложенія къ изученію явленій соціальнаго міра, какъ высшая и низшая критика Шлецера; и вопросъ о субъективизмѣ возникаетъ вновь въ менѣе наивной и болѣе трудной формѣ — вопроса о томъ, что такое самое понятіе „закона" въ приложеніи къ явленіямъ міра нравственнаго, и какъ связать этотъ міръ съ міромъ физическимъ; а границы историческаго изслѣдованія и научнаго соціологическаго обобщенія также сливаются, какъ Forschung и Erzählung Шлецеровскаго времени.

Для нашихъ цѣлей намъ нѣтъ надобности разсказывать всю богатую событіями жизнь Шлецера. Его пребываніе въ Россіи составляетъ только одинъ—и самый непріятный для Шлецера—эпизодъ его одиссеи, продолжавшійся не болѣе четырехъ лѣтъ *). Шлецеръ воспитался въ школѣ библейской герменевтики Михаэлиса въ Геттингенѣ. Проникнувшись реалистическимъ направленіемъ, введеннымъ его учителемъ въ изученіе богословскихъ наукъ, Шлецеръ и тему своей работы выбралъ въ духѣ этого направленія. Онъ задумалъ большую работу *О животныхъ Библіи со стороны естественно-исторической* и т. д. Для изученія библейскихъ реалій необходимо было путешествіе въ Палестину. Востокомъ бредилъ тогда ученый міръ, и Шлецеръ, рѣшившись осуществить идею объ этомъ путешествіи, со всею энергіей своего характера принялся къ нему готовиться. Для этой цѣли онъ пріобрѣталъ всевозможныя свѣдѣнія: по ботаникѣ и медицинѣ, по арабскому языку и бухгалтеріи. Для этой же цѣли онъ добылъ отъ Михаэлиса рекомендацію къ Миллеру въ Петербургъ, гдѣ онъ надѣялся скопить необходимыя для путешествія средства, а можетъ быть найти и удобный случай для переѣзда на Востокъ.

Такимъ образомъ, случай забросилъ Шлецера въ Россію. Но разъ онъ былъ здѣсь, со свойственною ему настойчивостью онъ принялся эксплуатировать эту случайность. Русскіе источники для исторіи сѣвера, столь необходимой въ системѣ всемірной исторіи, въ Европѣ были почти совершенно неизвѣстны. Русская исторія за границей продолжала до второй половины XVIII в. составляться по разсказамъ путешественниковъ, отъ Герберштейна до Петрея; только благодаря отрывкамъ изъ лѣтописи, напечатаннымъ Миллеромъ въ его же Sammlung russischer Geschichte, западные ученые полу-

*) Автобіографія Шлецера (обнимающая время пребыванія въ Россіи 1761—65) издана въ русскомъ переводѣ, съ приложеніемъ писемъ, сочиненій и другихъ документовъ, упоминаемыхъ въ ней или ее поясняющихъ, въ Сборн. отд. русск. языка и словесности Имп. акад. наукъ Т. XIII (Спб., 1875 г.).

чили нѣкоторую возможность судить о содержаніи русскихъ лѣтописей *). Этого было достаточно, чтобы раздразнить ученое любопытство, но слишкомъ мало, чтобы удовлетворить его. Шлецеръ ѣхалъ въ Россію съ мыслью — найти, наконецъ, и изучить въ подлинникѣ этотъ неприступный первоисточникъ русской исторіи — русскія лѣтописи. „Столько иностранцевъ, — говоритъ онъ въ своей автобіографіи,—требовали изданія этихъ лѣтописей и обѣщали себѣ отъ нихъ, совершенно основательно, огромнаго расширенія свѣдѣній о всей сѣверной исторіи... Въ близкой перспективѣ я видѣлъ передъ собой нетронутую жатву, къ которой никто, кромѣ меня, не могъ прикоснуться въ ближайшемъ будущемъ. Правда, сперва предстояло расчистить дикое поле, работать въ потѣ лица; но тѣмъ лучше, тѣмъ больше чести! Быть первымъ издателемъ, первымъ толкователемъ лѣтописей народа, перваго въ Европѣ по численности, силѣ, могуществу, — развѣ это было маловажное дѣло?"... „Я говорю,— прибавляетъ Шлецеръ, — о 1752, а не 1800 годѣ. Тогда очищать источники, сравнивать списки, поправлять акты, толковать ἅπαξ λεγόμενα было очереднымъ дѣломъ; тогда *изслѣдователи* исторіи, критики, даже собиратели варіантовъ играли первую роль среди историковъ; слово было за ними; кропатели исторій стояли на заднемъ планѣ. Намъ и не снилось, что ихъ внуки присвоятъ себѣ исключительную честь и имя историческихъ мыслителей **)".

И какъ легко было занять первое мѣсто среди мѣстныхъ спеціалистовъ! „Что это былъ за народъ, — люди, выдававшіе себя за то, чѣмъ я хотѣлъ быть,—русскіе изслѣдователи исторіи! Объ иностранной исторіи они ровно ничего не знали; объ исторической критикѣ, о вспомогательныхъ наукахъ исторіи — еще меньше; древнихъ ученыхъ языковъ они не понимали, точно такъ же, какъ и новыхъ; про византійскіе и монгольскіе источники и не слыхивали и т. д. О такихъ *историкахъ* иностранецъ не имѣетъ даже понятія. Но лѣтъ сорокъ назадъ встрѣчались кое-гдѣ и въ Германіи школьные учителя или даже ремесленники, прилежно читавшіе городскія и областныя лѣтописи и правильно понимавшіе ихъ содержаніе, хотя и не знавшіе, жилъ ли Лютеръ до или послѣ Карла Великаго. Въ такомъ родѣ были тогда безъ исключенія всѣ читатели лѣтописей въ Россіи". Такимъ образомъ, занятія русскою исторіей могли, казалось, дать подготовленному спеціалисту легкую и богатую наживу. „Не надо быть ни геніемъ, ни ученымъ критикомъ; довольно просто умѣть по-русски и быть прилежнымъ, и въ короткое время можно

---

*) См., наприм., нѣмецкій переводъ англійской исторіи Россіи, подъ редакціей и съ предисловіемъ Землера „Uebersetzung der Allgem. Welthistorie", XXIX. Halle, 1765.

**) См. Автобіогр.; стр. 45—47. Ср. Probe russischer Annalen, стр. 139—140.

было угостить публику квартантами и разсчитывать на похвалу и благодарность... Годъ, много два можно пожертвовать, чтобы, въ худшемъ случаѣ, узнанное въ Россіи обратить въ деньги въ Германіи", и на эти деньги отправиться въ желанное путешествіе на Востокъ.

Такъ представлялъ себѣ Шлецеръ смыслъ своего пребыванія въ Россіи. Но Миллеръ выписывалъ его изъ Германіи совсѣмъ съ другими цѣлями. Ему нуженъ былъ ученый помощникъ,—какого впослѣдствіи онъ нашелъ въ Стриттерѣ,—для разработки собранныхъ имъ матеріаловъ по русской исторіи. Шлецеръ пріѣхалъ, помѣстился въ домѣ Миллера и, преслѣдуя свои цѣли, немедленно засѣлъ за русскій языкъ. Черезъ два мѣсяца онъ уже переводилъ указы, черезъ три мѣсяца читалъ первые печатные листы лѣтописи по кенигсбергскому списку. Первое, что узналъ Шлецеръ изъ первыхъ строкъ источника, къ которому онъ стремился съ такою жадностью, было перечисленіе странъ, подѣленныхъ между потомствомъ Ноя. На разборѣ этихъ первыхъ строкъ онъ немедленно создалъ свою теорію. „Я сейчасъ же предположилъ, пишетъ онъ,—что все это мѣсто выписано изъ византійцевъ, и, прежде чѣмъ я разобрался въ немъ, мнѣ бросилось въ глаза нѣсколько очень грубыхъ искаженій въ названіяхъ странъ, наприм., Ватрь, вм. Бактрія; Ѳивулии, вм. Thebais, Lybia; Оніа, вм. Іонія, и т. п. Я бросился съ своими открытіями къ Миллеру. Тотъ былъ въ восторгѣ". Впрочемъ, восторгъ этотъ былъ совсѣмъ не ученаго характера. Лѣтопись печаталась его личнымъ врагомъ, Таубертомъ; его не послушались, когда онъ предлагалъ прежде печатанія сличить нѣсколько списковъ „для избѣжанія грубѣйшихъ описокъ переписчиковъ". Достали другой списокъ (Полетики); тамъ, дѣйствительно, нѣкоторыя имена читались правильнѣе, наприм., „Ѳива и Лювия". Гипотеза объ искаженіи лѣтописнаго текста переписчиками была, такимъ образомъ, готова и доказана. Задача изслѣдователя опредѣлялась теперь сама собою: возстановить чистый текстъ лѣтописи путемъ сличенія списковъ и устраненія неправильныхъ разночтеній. Дальше вернемся къ оцѣнкѣ этой гипотезы; теперь намъ важно только отмѣтить, какъ явилась она въ головѣ Шлецера. Первое впечатлѣніе рѣшило взглядъ Шлецера; въ концѣ жизни, сочиняя своего знаменитаго *Нестора*, онъ будетъ задаваться тою же самою задачей посредствомъ сличенія варіантовъ возстановить *очищеннаго* Нестора.

Между тѣмъ, дальнѣйшія занятія Шлецера шли своимъ порядкомъ. Въ слѣдующій годъ по пріѣздѣ въ Россію (1762) онъ переписалъ для себя огромный русско-латинскій лексиконъ Кондратовича, сдѣлалъ конспектъ лѣтописи съ нѣмецкаго перевода Адама Селлія,-такъ какъ для него „Татищевъ былъ еще груденъ"—составилъ генеалогическія таблицы. Замѣтивъ, „что въ русскихъ хроникахъ все по-византійски, Шлецеръ еще черезъ годъ (1763) принялся за ви-

зантійскихъ хронистовъ, Пахимера, потомъ Константина Багрянороднаго съ примѣчаніями Рейске. Тождество византійской и русской церковной терминологіи (наприм., „черноризецъ“, „схима“) натолкнуло его на употребленіе словаря Дюканжа (glossarium mediae graecitatis): „какъ удивлялся я, находя здѣсь массу словъ, которыхъ дотолѣ никто не искалъ въ Константинополѣ!“

Но въ то время, какъ Шлецеръ крѣпко хватался за все, къ чему его приводила собственная ученая работа, и лихорадочно занимался, возбуждаемый своими ежедневными открытіями, Миллеръ замѣтилъ, что далъ промахъ. Ему нуженъ былъ ученикъ, который бы, какъ и самъ Миллеръ, всего себя отдалъ работѣ и Россіи, а явился къ нему мастеръ, съ самостоятельнымъ взглядомъ на то, что надо дѣлать въ русской исторіи, и съ несравненно болѣе обширною и болѣе свѣжею ученостью, чѣмъ самъ Миллеръ. Въ то же время, Миллеръ не могъ не замѣтить, что молодой ученый преслѣдуетъ въ занятіяхъ свои собственныя цѣли; что онъ работаетъ, во-первыхъ, для своей славы, во-вторыхъ, для Германіи. Еще незадолго передъ пріѣздомъ Шлецера Миллеръ подвергся очень въ то время опаснымъ обвиненіямъ—въ сношеніяхъ и въ передачѣ свѣдѣній ученому иностранцу, уѣхавшему изъ Россіи, географу Делилю. Онъ былъ даже за это временно разжалованъ изъ профессоровъ въ адъюнкты. Естественно, что теперь онъ испугался возможности повторенія подобной исторіи. Получивъ отъ Шлецера рѣшительный отказъ закабалить себя въ русскую службу, Миллеръ сталъ съ нимъ очень сдержанъ. Въ письмахъ къ Михаэлису онъ открыто выражалъ свои опасенія, какъ бы Шлецеръ не напечаталъ русской исторіи за границей. Заставши разъ Шлецера за его обычною работой,—эксцерпированія изъ бумагъ, выпрошенныхъ у Миллера,—Миллеръ не могъ удержаться, чтобы не выразить своего страха: „Боже мой, вы *все* списываете!“

Съ другой стороны, и Шлецеръ былъ недоволенъ. Конечно, онъ пріѣхалъ въ Петербургъ на условіяхъ домашняго учителя. Но онъ былъ уже извѣстный ученый; въ Россіи онъ чувствовалъ себя *первымъ* ученымъ послѣ покойнаго Байера. И вдругъ ему предлагали— не профессуру даже, а простое адъюнктство съ 300 руб. жалованья и съ обязательствомъ прослужить въ Россіи не менѣе пяти лѣтъ, издѣваясь, въ то же время, надъ его проектомъ восточнаго путешествія, какъ надъ воздушнымъ замкомъ.

Замѣтивъ, что Миллеръ не намѣренъ помогать ему пристроиться, услышавъ отъ него даже прямые намеки, что онъ можетъ ѣхать назадъ, въ Германію, Шлецеръ сблизился съ врагомъ Миллера, Таубертомъ. Черезъ Тауберта ему удалось выхлопотать себѣ адъюнктство безъ назначенія срока. Этимъ онъ, конечно, окончательно разорвалъ съ Миллеромъ.

Для Шлецера образъ дѣйствій Миллера былъ непонятенъ; онъ

могъ объяснить себѣ этотъ образъ дѣйствій только ученою завистью и боязнью соперничества. Но мы можемъ взглянуть на дѣло проще. Миллеръ просто охранялъ свою безопасность. Такъ какъ Шлецеръ не могъ искренно посвятить себя русской службѣ, то Миллеръ предпочиталъ его скорѣйшее удаленіе и болѣе всего боялся скомпрометировать себя доставленіемъ ему какихъ-нибудь свѣдѣній. Основательность этихъ опасеній вполнѣ и оправдалась на Таубертѣ, менѣе осторожномъ, можетъ быть, потому что болѣе сильномъ. Когда для академиковъ сдѣлалось ясно, что Шлецеръ не останется въ Россіи, Тауберту причинили не мало хлопотъ толки о томъ, что Шлецеръ увозитъ съ собой за границу важный историческій матеріалъ, полученный отъ Тауберта. Надо прочесть у самого Шлецера разсказъ о томъ, какъ старались отобрать у него эти предполагаемыя государственныя тайны или обязать его не публиковать ихъ за границей. Только благодаря личному вмѣшательству императрицы дѣло кончилось благополучно, и Шлецеръ получилъ свой заграничный паспортъ, а вмѣстѣ съ нимъ и льготныя условія службы при академіи.

Мы остановились на отношеніяхъ Миллера и Шлецера, какъ на другомъ капитальномъ фактѣ, который, рядомъ съ первыми впечатлѣніями лѣтописи, опредѣлилъ направленіе работъ Шлецера. У Миллера, какъ мы знаемъ, лежали сокровища архивныхъ документовъ. Въ началѣ знакомства онъ разсчитывалъ обработать ихъ съ помощью Шлецера. „Посмотрите,—говорилъ онъ не разъ, вводя Шлецера въ свой кабинетъ и указывая на цѣлую стѣну, заставленную рукописями,—здѣсь хватитъ работы и на меня, и на васъ, и на десятокъ другихъ людей на всю жизнь“. Теперь, когда Миллеръ узналъ, что Шлецеръ не хочетъ обязывать себя даже и на пять лѣтъ, разумѣется, о разработкѣ рукописныхъ матеріаловъ не было и помина. Шлецеръ не получилъ отъ Миллера ни одного дѣльнаго указанія, ни одного клочка бумаги послѣ того, какъ ихъ отношенія разстроились. При своей самоувѣренности и увлеченіи лѣтописями, онъ склоненъ былъ, какъ будто, не замѣчать образовавшагося отсюда пробѣла. А, между тѣмъ, въ первомъ своемъ трудѣ—*Образецъ русскихъ лѣтописей* (1768 г.) онъ принужденъ былъ сознаться: „о русскихъ *актахъ* (Urkunden) я ничего не знаю... но если только мнѣ вѣрно сообщили, древнѣйшій актъ, до сихъ поръ найденный, принадлежитъ Андрею Боголюбскому, который умеръ въ 1158 году (sic). Слѣдовательно, до этого времени за лѣтописями остается честь быть единственнымъ главнымъ источникомъ русской исторіи“ *).

Это одностороннее представленіе объ источникахъ русской исторіи любопытнымъ образомъ отразилось на планѣ ученой обработки, предложенномъ Шлецеромъ академіи въ 1764 г. Интересно сравнить

*) Probe russischer Annalen стр. 179. Срав. Nordische Geschichte (1771 г.), стр. 223.

этотъ планъ съ проектомъ, за двадцать лѣтъ передъ тѣмъ (1744 г.) поданнымъ Миллеромъ (см. выше). Какъ въ проектѣ Миллера средоточіемъ работы является изученіе актовъ, такъ для Шлецера изученіе русскихъ источниковъ сводится къ studium annalium. Въ рубрику Monumenta domestica онъ вводитъ „преимущественно лѣтописи", и затѣмъ, въ качествѣ дополненія къ нимъ, предлагаются прямо Monumenta extraria—иностранные источники. Для Миллера, чтобы составить русскую исторію, представлялось необходимымъ создать цѣлое спеціальное учрежденіе, историческій департаментъ. Шлецеръ брался сдѣлать это дѣло одинъ, въ двадцатилѣтній срокъ *).

Такъ опредѣлился кругъ свѣдѣній и интересовъ Шлецера въ области русской исторіи. Естественно, что въ предѣлахъ этихъ свѣдѣній вниманіе Шлецера останавливалось преимущественно на древнѣйшемъ періодѣ русской исторіи, къ которому относился и сдѣланный имъ нѣмецкій конспектъ лѣтописи.

Какъ только Шлецеръ вернулся въ Германію, онъ поспѣшилъ издать не разъ упоминавшееся выше сочиненіе Probe russischer Annalen (1768), въ которомъ сдѣлалъ предварительныя сообщенія о результатахъ своихъ петербургскихъ занятій надъ лѣтописью. Очевидно, одною изъ главныхъ цѣлей изданія этой книжки было обезпечить за собой ученый пріоритетъ. Вслѣдъ за тѣмъ, Шлецеръ работалъ надъ порученнымъ ему „введеніемъ въ сѣверную исторію", составившимъ одинъ изъ дополнительныхъ томовъ къ переводу обширной *Всемірной исторіи*. Большая часть этого тома, вышедшаго въ 1771 г., состоитъ изъ переводныхъ статей; самому Шлецеру принадлежатъ подборъ и примѣчанія къ нимъ, а также общій историко-этнографическій очеркъ сѣвера **). Для болѣе глубокой разработки русской лѣтописи нужно было потратить не мало дополнительнаго труда и времени; отвлекаемый другими работами, Шлецеръ вернулся къ *Нестору* уже на закатѣ своихъ дней (1802—1809 гг.). О значеніи этой работы намъ не разъ еще придется говорить впослѣдствіи.

---

*) Сборн. отд. русск. языка и слов., XIII, приложеніе къ автобіографіи, стр. 290—298.

**) Fortsetzung der Allgemeinen Welthistorie XXXI Theil, цитируемая также подъ заглавіемъ: Allgemeine Nordische Geschichte. Halle, 1771, стр. 636. Въ составъ ея вошли: вступительная статья Шёнинга О невѣдѣніи грековъ и римлянъ относительно географіи и исторіи сѣвера, Историко-этнографическій очеркъ Шлецера, Исторія славянъ 495—1222 гг. по византійцамъ Стриттера, Этнографическій очеркъ азіатскаго сѣвера—по сибирской исторіи Фишера, Описаніе Финскаго сѣвера по Шёнингу, Описаніе русскаго сѣвера X вѣка—по Байеру, О путешествіяхъ скандинавовъ—по Ире и Эриксену, О скандинавскихъ письменахъ—по Ире.

III. Итоги исторической работы XVIII столѣтія.

I.

Покончивъ съ общею характеристикой историковъ прошлаго столѣтія, мы переходимъ теперь къ обзору итоговъ ихъ ученой работы. Само собою разумѣется, что мы не имѣемъ здѣсь возможности подробно излагать, что сдѣлали историки XVIII вѣка по каждому отдѣльному затронутому ими вопросу; но въ этомъ для нашихъ цѣлей нѣтъ и никакой надобности. Въ своемъ изложеніи мы ограничимся сопоставленіемъ добытаго исторіографіей XVIII вѣка по тремъ наиболѣе существеннымъ пунктамъ: мы разсмотримъ, что сдѣлала эта исторіографія, во-первыхъ, для разработки этнографическаго матеріала, во-вторыхъ, для разработки лѣтописей и, въ-третьихъ, для разработки актовъ. Познакомившись съ итогами спеціальной исторической работы по этимъ тремъ пунктамъ, мы подведемъ затѣмъ итоги и общимъ взглядамъ историковъ XVIII в. на цѣли, пріемы и общіе результаты изученія русской исторіи.

Мы выдѣляемъ въ особую рубрику вопросы исторической этнографіи потому, что вопросы эти въ изслѣдовательской работѣ прошлаго вѣка занимали очень видное мѣсто; у нѣкоторыхъ писателей разработкой этнографическо-географическихъ вопросовъ даже вполнѣ, или почти вполнѣ, исчерпывается содержаніе ихъ работъ. И самые пріемы рѣшенія этихъ вопросовъ въ высшей степени характерны для движенія исторіографіи XVIII столѣтія.

Общій смыслъ этого движенія заключается въ протестѣ противъ извѣстной намъ средневѣковой этнографіи *Синопсиса*, противъ возведенія современныхъ народовъ къ библейскому времени путемъ насильственнаго толкованія именъ по созвучію или по смыслу. Историческая этнографія должна была стать на болѣе твердое основаніе, чѣмъ невѣжественныя этимологіи собственныхъ именъ. Почииъ въ этомъ дѣлѣ, безспорно, принадлежитъ Байеру. Онъ первый попытался указать на самый источникъ безграничнаго этнографическаго хаоса у древнихъ писателей. *Эфоръ*, распредѣливши свое изложеніе по четыремъ странамъ свѣта, къ каждой странѣ

пріурочилъ названіе одного какого-нибудь выдающагося народа. Такимъ образомъ, жители Сѣвера получили названіе *скиѳовъ*, жители Запада—*кельтовъ*, Юга—*эѳіоповъ*, Востока—*индовъ*. Этнографическія имена получили, такимъ образомъ, условный, чисто-географическій смыслъ, и, однако же, продолжали употребляться въ смыслѣ этнографическомъ: отъ этого неосторожнаго употребленія терминовъ и произошла вся путаница. Масса народовъ самаго разнообразнаго происхожденія получила отъ сожительства въ одной странѣ имя скиѳовъ. Съ теченіемъ времени это единство географическаго названія было принято за единство племенное,- единство происхожденія. „Такимъ образомъ, дѣянія киммерійцевъ смѣшались со скиѳскими, скиѳскія съ сарматскими, русскими, гуннскими, татарскими“*). Мы спокойно употребляемъ термины: американцы, сибиряки; но, конечно, никому не придетъ въ голову говорить объ американскомъ или сибирскомъ языкѣ, или племени, такъ какъ существуетъ цѣлый міръ совершенно независимыхъ другъ отъ друга американскихъ и сибирскихъ языковъ и племенъ**). Точно такое же значеніе, географическое, а не этнографическое, долженъ имѣть и терминъ „скиѳы“. Если такъ, то не только генеалогіи отъ Мосоха должны были теперь прекратиться, но изслѣдователь получалъ право не повѣрить даже византійцу (въ данномъ случаѣ, продолжателю Ѳеофана), когда тотъ утверждалъ, что „Русь народъ скиѳскій“. Этому свидѣтельству можно было теперь противупоставить византійское же разъясненіе (Анастасія Синаита): „Скиѳіей древніе привыкли называть всю сѣверную полосу, гдѣ живутъ и готы, и даны“ ***).

Если непрерывность названія не свидѣтельствовала, стало быть, о непрерывности пребыванія одного и того же племени въ странѣ, которую привыкли обозначать этимъ названіемъ, то отсюда самъ собой слѣдовалъ выводъ, что исторію русскаго племени нельзя начинать изслѣдованіями о скиѳахъ или даже о киммерійцахъ за

---

*) Commentarii academiae petropolitanae, 1728, t. I. Ephorus in quarto historiarum libro orbem terrarum inter Scythas, Indos, Aethiopas et Celtas divisit... Video igitur Ephorum, cum locorum positus per certa capita distribuere et explicare constitueret, insigniorum nomina gentium vastioribus spatiis adhibuisse... Igitur tot tamque diversae stirpis gentes non modo intra communem quamdam regionem definitae, unum omnes Scytharum nomen his auctoribus subierunt, sed etiam ab illa regionis apellatione in eandem nationem sunt conflatae. Перепечатано въ Bayeri Opuscula, Halae, 1770, 61.

**) Это сравненіе принадлежитъ Миллеру и Шлецеру, вполнѣ принявшимъ мысль Байера, что скиѳы, сарматы и т. д. суть названія географическія, а не этнографическія. О народахъ издревле въ Россіи обитавшихъ, статья Миллера, написанная въ 1766 г. и изданная въ переводѣ Долинскаго въ Спб., 1788 г., стр. 2. Schlözer „Nordische Geschichte“, стр. 211, 289. Несторъ, I. стр. 422—23.

***) Байеръ въ Comment. acad., t. VIII, 1741 г., origines russicae.

1000 лѣтъ до Дарія. Origines russicae подвигались несравненно ближе къ намъ, чѣмъ тѣ времена, которыми по преимуществу занимался самъ Байеръ. Этотъ выводъ въ самой эффектной формѣ былъ сдѣланъ Шлецеромъ. „Сѣверъ до своего открытія неизвѣстенъ», таково одно изъ его основныхъ положеній. «Странствующій Геродотъ слышалъ отъ скиѳовъ о такихъ вещахъ, которыя случались у нихъ за 1000 лѣтъ до нашествія Дарія: камчадальскія сказки не лучше этихъ скиѳскихъ, (но) не такъ безстыдны, чтобы означать столѣтія". „Сколько мнѣ извѣстно, --заканчиваетъ иронически Шлецеръ, онѣ не удостоились еще глубокомысленнаго изысканія ни одного ученаго въ запискахъ какой-нибудь академіи наукъ; не будемъ заниматься и ребячествомъ древнихъ дикихъ, и ребячествомъ новооткрытыхъ дикихъ". „Русская исторія начинается отъ пришествія Рюрика, въ половинѣ IX столѣтія"; до этого же времени возможно только географическо-этнографическое вступленіе въ исторію,—изысканія о финнахъ, руссахъ, славянахъ (съ VI столѣтія послѣ Р. Х.) *).

Изъ русскихъ историковъ одинъ Болтинъ усвоилъ себѣ вполнѣ сознательно этотъ окончательный результатъ работы нѣмецкихъ изслѣдователей. „Рюриково пришествіе,—говоритъ онъ въ примѣчаніяхъ на Щербатова **),—есть эпоха зачатія русскаго народа... Происхожденіе племенъ подобно рѣкамъ: нѣсколько источниковъ стекшихся составляютъ рѣчку" (ср. colluvies gentium Шлецера) и т. д. „Въ разсужденіи всѣхъ сихъ обстоятельствъ далѣе Рюрика возводить нашу исторію и терять время въ тщетныхъ розысканіяхъ и разбирательствахъ вещей, для насъ не принадлежащихъ, есть не меньше трудно, сколь и безполезно: не знаемъ даже и того, когда славяне сюда пришли и съ которой стороны, тѣмъ менѣе о дѣяніяхъ ихъ".

Остальные русскіе изслѣдователи шли своею дорогой. Татищевъ принялъ изслѣдованія Байера цѣликомъ въ свой вступительный томъ, посвященный этнографическому и географическому введенію ***); но помимо нихъ онъ преслѣдовалъ свои собственныя цѣли. Исторія должна была объяснить ему дѣйствительность; вотъ почему, вмѣсто того, чтобъ искать связи древнихъ народовъ съ народами

---

*) Несторъ, I, введеніе, § 14 и прибавл. III (стр. 417 и слѣд.). Nordische Geschichte, стр. 5, 257.

**) I, стр. 125—126.

***) Исторія Росс., I. 1, стр. 177—213: „изъ Константина Порфирогенита о Руси и близкихъ къ ней предѣлахъ и народахъ, собранное Сигфридомъ". I. 2; „изъ книгъ сѣверныхъ писателей, сочиненіе Сигфрида Берера", стр. 225—260. „Прибавленіе изъ 2 части комментаріевъ ак., сочиненное Ѳеофиломъ Сигфридъ Байеромъ о Киммерахъ". Стр. 334—345. „Ѳеофила Сигфрида Байера о варягахъ", стр. 393—424.

доисторическаго времени, онъ предпочелъ отыскать ихъ связь съ народами настоящаго и сдѣлалъ смѣлую попытку дать этимъ древнимъ народамъ мѣсто въ современномъ этнографическомъ составѣ Россіи. Въ книжныхъ терминахъ онъ искалъ и нашелъ своихъ старыхъ знакомыхъ, киргизовъ и башкиръ, съ которыми пришлось ему столько возиться по дѣламъ службы. Два главныхъ имени, всего чаще повторявшихся въ классическихъ авторахъ и ученыхъ изслѣдованіяхъ, которыя подбиралъ и переводилъ Татищевъ для своей исторіи, были *скиѳы* и *сарматы.* Двѣ главныя группы русскихъ инородцевъ были *татары* и *финны.* И такъ, скиѳы—это то же, что татары: къ тому же тѣ и другіе—кочевники. Сарматы же—это финны; терминъ „сарматскій языкъ" вмѣсто „финскій" становится обычнымъ въ употребленіи Татищева. Что же касается самихъ славянъ, здѣсь его Іоакимова лѣтопись открыла ему древнее имя ихъ—*амазоны.* По принципу старинной этнографіи имя это должно имѣть тотъ же смыслъ, какъ и „славяне"; Татищевъ не затрудняется найти и это тождество смысла. Дѣло въ томъ, что „амазоны" терминъ испорченный изъ „алазоны", а алазоны прямой переводъ на греческій языкъ слова „славяне" (отъ славы): точнѣе хвастуны *). Такимъ образомъ, этнографическая классификація была готова: скиѳы, сарматы, амазоны или татары, финны, славяне. При всей произвольности, въ ней было одно несомнѣнное достоинство: эта классификація была первою попыткой дать книжнымъ терминамъ реальный смыслъ. Недостатковъ, разумѣется, въ ней было масса, и самыхъ капитальныхъ. Между татарами и финнами эта классификація не указывала единства расы; затѣмъ вся классификація была сдвинута на востокъ, къ Азіи, къ мѣстамъ, лично знакомымъ Татищеву; вслѣдствіе этого на западѣ пропали литовскія племена (голяды, семгола, летты, жмудь, пруссы, ятвяги). Восточные славяне лѣтописи (сѣверяне, кривичи, дреговичи, вятичи, уличи) очутились, такъ же какъ и литовцы, среди финновъ—сарматъ. Наконецъ, эта исключительность финскаго элемента на сѣверѣ Россіи какъ нельзя лучше гармонировала съ выведеніемъ и руссовъ (- -сарматовъ) изъ Финляндіи.

Ломоносовъ съ Щербатовымъ здѣсь представляютъ мутную струю въ исторіографіи XVIII в.: первый—вслѣдствіе патріотическо-панегирическаго направленія, второй—вслѣдствіе невѣжества въ вопросахъ древней исторіи. Ломоносовъ уступаетъ скиѳовъ Байеру, отожествляя ихъ съ чудью; но сарматовъ онъ рѣшительно причисляетъ къ славянамъ. Онъ пользуется также ошибкой Татищева, смѣшеніемъ литвы съ финнами, чтобы, въ противуположность ему, прямо отожествить и литву съ славянами. Сдѣлавъ литву славянами,

*) Исторія, т. I, 31, 42, 425.

онъ оттуда, отъ пруссовъ, выводитъ и *славянскую* династію Рюрика. Извѣстно также, что, опровергая Байера и Миллера, Ломоносовъ сталъ на точку зрѣнія Синопсиса въ вопросѣ о происхожденіи руссовъ, которыхъ онъ считалъ также славянами и отожествлялъ съ южными роксаланами и западными пруссами *). О Щербатовѣ нечего и говорить: еще меньше знакомый съ этнографіей, чѣмъ съ географіей Россіи, не будучи въ состояніи оріентироваться среди извѣстій древнихъ писателей, онъ просто излагаетъ эти извѣстія по французскимъ руководствамъ. Закончивъ это изложеніе, онъ тутъ же чистосердечно признается, что самъ не могъ въ немъ добраться до смысла. Все въ собранныхъ имъ свѣдѣніяхъ, по его словамъ, „толь смутно и безпорядочно, что изъ сего никакого слѣдствія исторіи сочинить невозможно“ **). Противъ этого безполезнаго пересказа, мы видѣли, возстаетъ Болтинъ, какъ не относящагося къ русской исторіи. Надо, впрочемъ, прибавить, что въ своемъ послѣднемъ произведеніи, *Примѣчаніяхъ на отвѣтъ Г. М. Болтина*, Щербатовъ является въ историко-этнографическихъ вопросахъ гораздо болѣе свѣдущимъ и часто болѣе осторожнымъ, чѣмъ Болтинъ. Относясь самостоятельно къ мнѣніямъ Татищева, онъ не соглашается сарматовъ считать финнами, указываетъ на ихъ происхожденіе изъ Азіи и отъ нихъ выводитъ славянъ. Финновъ же (чудь) онъ сближаетъ, подобно Байеру и Ломоносову, со скиѳами. Тюрко-татарскіе народы онъ отдѣляетъ и отъ сарматъ-славянъ и отъ скиѳовъ-чуди. Наконецъ, руссовъ онъ считаетъ безспорно норманнами и отказывается отъ сопоставленія ихъ съ роксаланами ***). Что касается этнографическихъ взглядовъ самого Болтина, то, зная его зависимость отъ Татищева, мы не будемъ искать у него чего-либо новаго. Онъ вполнѣ принимаетъ какъ классификацію, такъ и самую терминологію Татищева, оправдывая и въ этомъ случаѣ шутливую эпиграмму, приспособленную къ нему Щербатовымъ ****).

„Когда Татищевой не стало ужь отрады,
Пропалъ писатель сей, какъ Троя безъ Паллады“.

*) Опроверженія Ломоносова на извѣстную рѣчь Миллера см. у П е к а р с к а г о: „Ист. ак. наукъ“. Въ существованіи южной Руси, независимой отъ варяговъ-норманновъ, былъ, впрочемъ, убѣжденъ и Баиеръ. Сомнѣваясь, чтобъ руссы жили на Днѣпрѣ уже при апостолѣ Андреѣ, Байеръ, однако, доказываетъ, что они были здѣсь р а н ь ш е Рюрика, и с л ѣ д о в а т е л ь н о не были норманнами. Имя Руси онъ сперва (de orig. Scytharum) производилъ отъ R h a (Волги), а потомъ отъ разсѣянія (Origines Russicae): superiores seu boreales slavi, tum geticis reliquiis, tum Fennis permixti, et reges sibi imposuerunt e Getico corpore, et ab hoc dispersione nomen Rossicum.

**) И с т о р і я Щ е р б а т о в а, т. I (2 изд.), стр. 87.

***) П р и м ѣ ч а н і я н а о т в ѣ т ъ, стр. 210—368, 548—567.

****) П р и м ѣ ч а н і я н а о т в ѣ т ъ, стр. 165.

Между тѣмъ, во время Болтина уже существовала иная классификація, опиравшаяся, подобно татищевской, на современную этнографію и даже построенная, въ концѣ концовъ, на данныхъ, собранныхъ Татищевымъ, но несравненно болѣе научная: классификація Шлецера. Основой этой классификаціи послужила не одинаковость мѣста, занимавшагося древними и новыми народами, не сходство ихъ названій или легенды объ общихъ родоначальникахъ, а *языкъ*. „Основное правило Лейбница, замѣчаетъ Шлецеръ въ своей автобіографіи, отыскивать origines populorum по ихъ языкамъ давно мнѣ было извѣстно“ *). Классификація Шлецера и была первою попыткой примѣнить въ области русской этнографіи этотъ лингвистическій принципъ. „Да позволено будетъ мнѣ,—писалъ онъ уже въ Probe russischer Annalen) **),—ввести въ исторію народовъ языкъ величайшаго изъ естествоиспытателей. Я не вижу лучшаго средства устранить путаницу древнѣйшей и средней исторіи и объяснить темныя мѣста въ нихъ, какъ нѣкоторая Systema populorum, in classes et ordines, genera et species redactorum. Возможность существуетъ. Какъ Линней дѣлитъ животныхъ по зубамъ, а растенія по тычинкамъ, такъ историкъ долженъ бы былъ классифицировать народы по языкамъ“.

Къ счастью для Шлецера, нѣкоторый запасъ матеріала для лингвистическихъ сопоставленій онъ нашелъ готовымъ. Татищевъ черезъ воеводъ сибирскихъ городовъ составилъ сборникъ словъ различныхъ сибирскихъ инородцевъ. Часть этого словаря попала въ руки академика Фишера, который въ свою очередь передалъ его Шлецеру, сперва для его личнаго пользованія, а затѣмъ въ даръ Геттингенскому историческому институту. „Изъ этого словаря,—разсказываетъ намъ Шлецеръ,—я первый составилъ классификацію всѣхъ русскихъ племенъ, которая изъ моей Probe russischer Annalen и Nordische Geschichte перешла къ большой публикѣ и съ тѣхъ поръ была принимаема всѣми писателями внутри и внѣ Россіи безъ всякихъ существенныхъ видоизмѣненій (mit nicht einer wesentlichen Veränderung)“ ***). Дѣйствительно, вплоть до настоящаго времени сохраняется установленное Шлецеромъ дѣ-

*) Сборникъ отд. р. слов., т. XIII, стр. 171. Миллеръ въ сочиненіи О народахъ принимаетъ этотъ принципъ, надо думать, не безъ вліянія Шлецера.

**) Стр. 72.

***) Пекарскій: „Ист. ак.“, т. I. стр. 631—632. Сб. т. XIII, стр. 171—172. Цѣлыя сотни словъ приводятся Шлецеромъ въ доказательство этой классификаціи въ Nordische Geschichte, стр. 297—300, 308—315, 402. 418. 422—424, 431—433. Миллеръ, независимо отъ Татищева и Фишера, также составилъ свой словарь сибирскихъ нарѣчій и также пользовался имъ для установленія классификаціи народовъ. См. портфели Миллера № 513 (словарь) и № 365, 2 (вопросы о коренныхъ языкахъ).

леніе урало-алтайской расы на пять группъ: финскую, татарскую (тюркскую), монгольскую, тунгузскую (или манджурскую) и самоѣдскую *). Почти тѣми же остаются и шлецеровскія подраздѣленія этихъ группъ. Кромѣ правильной классификаціи урало-алтайскихъ племенъ Шлецеръ далъ съ помощью своихъ пріемовъ и еще одно важное исправленіе: онъ первый поставилъ литовцевъ на то мѣсто, ближайшее къ славянамъ, какое они занимаютъ въ современной классификаціи. „Я тщательно изучилъ этотъ языкъ,—такъ разсказываетъ онъ объ этомъ въ Probe r. Ann. **).—Грамматика его, т.-е. склоненіе, спряженіе и флексированіе,—славянская; изъ коренныхъ словъ болѣе половины тоже чисто-славянскія; но четвертая часть—очевидные остатки праязыка, изъ котораго развились греческій, латинскій и нѣмецкій. Остальная четверть происхожденія мнѣ въ настоящее время неизвѣстнаго (можетъ быть, финскаго)".

Нельзя не видѣть, что между этими взглядами, предвосхитившими выводы сравнительнаго языкознанія, и этнографіей Синопсиса лежитъ огромное разстояніе, пройденное нашею исторіографіей только съ помощью иностранныхъ ученыхъ и, можетъ быть, именно поэтому,—пройденное, какъ не разъ показывалъ опытъ послѣдующаго времени, далеко не безвозвратно и не окончательно.

Переходимъ къ исторіи обработки лѣтописей въ XVIII вѣкѣ. Татищевъ въ началѣ, Щербатовъ и Шлецеръ въ концѣ вѣка являются здѣсь главными дѣятелями.

Вопросъ о пользованіи лѣтописями Татищевымъ много разъ поднимался и до сихъ поръ не получилъ окончательнаго разрѣшенія. Въ послѣднее время, однако же, г. Сениговъ если не рѣшилъ, то, во всякомъ случаѣ, собралъ матеріалы для удовлетворительнаго рѣшенія вопроса. Чтобы защитить Татищева отъ обвиненій въ недобросовѣстности и въ умышленной фальсификаціи лѣтописныхъ текстовъ, г. Сениговъ предпринялъ самое кропотливое буквальное сличеніе печатной исторіи съ рукописями ея въ редакціяхъ 1739 и 1749 гг. и съ лѣтописями ***). Оказалось, что въ основу своего текста Татищевъ положилъ Кенигсбергскій списокъ и пополнялъ его изъ другихъ лѣтописныхъ списковъ, тщательно выписывая всѣ варіанты. Добросовѣстность Татищева безусловно доказана г. Сениговымъ для тѣхъ, въ глазахъ которыхъ она еще нуждалась въ доказательствахъ. Но, кромѣ вопроса о добросовѣстности, существуетъ еще вопросъ о достовѣрности Татищева, т.-е. о возможности поло-

---

*) Probe russischer Annalen, стр. 101—124. Вмѣсто самоѣдской, встрѣчаемъ здѣсь терминъ „скиѳской или неизвѣстныхъ" народовъ; но названіе „самоѣдской" принялъ уже самъ Шлецеръ въ Nordische Geschichte, стр. 292—300.

**) Стр. 112—113.

***) Чтенія въ Общ. Ист. и Др. Р. 1887 г., IV.

житься на него въ тѣхъ, довольно многочисленныхъ случаяхъ, когда свидѣтельства его свода являются единственными намъ извѣстными и не подтверждаются ни однимъ изъ существующихъ списковъ лѣтописи. По вопросу о достовѣрности тотъ же изслѣдователь собралъ, повидимому, самъ того не подозрѣвая, обильный матеріалъ, свидѣтельствующій противъ Татищева. Сопоставляя наблюденія, сдѣланныя г. Сениговымъ, можно придти къ заключенію, что Татищевъ не ограничивался въ своей работѣ простымъ составленіемъ своднаго текста, а вводилъ въ этотъ текстъ свои поправки, дополненія и толкованія. Такъ, онъ 1) исправляетъ, и не всегда удачно, собственныя имена *); 2) переводитъ ихъ на свой языкъ **); 3) подставляетъ свои толкованія и поправки ***); 4) пополняетъ извѣстія лѣтописи своими толкованіями ****); 5) составляетъ извѣстія, подобныя лѣтописнымъ, изъ данныхъ, которыя кажутся ему достовѣрными: напримѣръ, изъ возраста князей во время ихъ смерти — заключаетъ о годѣ ихъ рожденія и вставляетъ извѣстія объ этихъ рожденіяхъ въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ. Иногда такія скомбинированныя самимъ Татищевымъ извѣстія бываютъ и еще сложнѣе. Напримѣръ, подъ 6543 годомъ находимъ извѣстіе *****): „просиша новгородцы (Ярослава), да дастъ имъ грамоту, како судити и дань даяти; иже *первая* (т.-е. прежняя) имъ не укромна; онъ же *повелѣ сыновомъ своимъ* Изяславу и Святославу созвати люди предніи отъ кіевлянъ, новгородцовъ и иныхъ городовъ, написавъ даде има грамоты, како судити и дани давати, заповѣдая по всѣмъ градомъ тако ходити и не преступати". Всего этого извѣстія мы не найдемъ ни въ какихъ лѣтописяхъ; Татищевъ просто внесъ въ лѣтопись свое предположеніе, основанное на (ошибочномъ, по нашему мнѣнію) толкованіи извѣстной статьи *Русской Правды* ******)

---

*) Напримѣръ, вмѣсто „Вручей" онъ ставитъ «Обручъ»; вм. «Рши» — «Орши», вм. «Неятинъ» — „Снятинъ", что совсѣмъ не одно и то же. Сениговъ стр. 219—221.

**) Пруси — Боруси; Огаряне — Срацыне, ibid., стр. 283.

***) Вм. Ладогу—городъ старый Ладогу; вм. Угріи бѣліи—Угри великіе; вм. Черніи Болгаре—Черніи, или Болгаре; вм. Бѣлбережи—Бѣловежи; вм. въ Суду—въ Скутарѣхъ; вм. Нѣмизѣ—Нѣмоню; вм. черезъ лѣсъ—черезъ рѣку Лесію, стр. 287.

****) Напримѣръ, объ убійствѣ Глѣба въ Еми, которая, по его предположенію, должна была жить въ мѣстѣ убійства, въ Заволочьѣ; о заселеніи суздальскаго края—венграми, стр. 293—299.

*****) Сениговъ, стр. 395.

******) „По Ярославѣ же паки совкупившеся сынове" и т. д. Слово паки давало основаніе предполагать, что и при жизни Ярослава его сыновья собирались на законодательный съѣздъ. Такъ понимали это мѣсто и многіе позднѣйшіе изслѣдователи. Ср. Исторію Татищева, прим. 225 и 240. (т. II).

Объясняя себѣ такое произвольное обращеніе Татищева съ текстомъ лѣтописи, мы прежде всего должны помнить, что редакція 1749 года и не претендовала быть точнымъ воспроизведеніемъ лѣтописнаго текста, это, по показанію самого Татищева, текстъ переложенный на современное нарѣчіе и изъясненный съ помощью другихъ источниковъ *). Однако же, одного этого объясненія недостаточно. *Первая* редакція *Исторіи* (1739 г.) не предназначалась для перевода на иностранный языкъ и была составлена на „нарѣчіи древнемъ"; и однако же и тамъ, хотя въ меньшей степени, можно встрѣтить тѣ же пріемы Татищева **). Причина подобнаго обращенія съ лѣтописью должна была заключаться въ самомъ представленіи Татищева о задачахъ и пріемахъ историческаго труда,—въ томъ, что самая разница между источникомъ и изслѣдованіемъ была для него, какъ скоро увидимъ, не совсѣмъ ясна. Ученые пріемы Татищева при разработкѣ лѣтописей, въ сущности, немногимъ отличались отъ пріемовъ неизвѣстныхъ намъ составителей древнихъ лѣтописныхъ сводовъ. Преслѣдуя ту же цѣль съ тѣми же средствами—дать наиболѣе полный сборникъ историческихъ фактовъ, безъ предварительной критики и сравнительной оцѣнки разныхъ источниковъ и почти безъ указаній, откуда что взято ***),—Татищевъ представилъ намъ въ своей исторіи не исторію, и даже не предварительную ученую разработку матеріала для будущей исторіи, а ту же лѣтопись въ новомъ *Татищевскомъ* сводѣ. Такимъ образомъ, послѣдующимъ изслѣдователямъ она не могла пригодиться ни для какого ученаго употребленія, если только не приходилось смотрѣть на нее какъ на первоисточникъ; а въ этомъ случаѣ и возникали безконечные споры о добросовѣстности и достовѣрности Татищева.

---

*) Пріемы передачи первой редакціи на современное нарѣчіе выясняются изъ матеріаловъ, собранныхъ Сениговымъ, стр. 262 — 307 400—435.

**) Сениговъ, стр. 211 237. Къ сожалѣнію, наиболѣе важную часть своей работы, разысканіе источниковъ добавочныхъ извѣстій Татищева, г. Сениговъ произвелъ наименѣе обстоятельно. Онъ не далъ себѣ даже труда поискать этихъ источниковъ въ произведеніяхъ, указываемыхъ самимъ Татищевымъ. Фактъ знакомства Т. со Стрыйковскимъ онъ прямо отрицаетъ, хотя заимствованія изъ Стрыйковскаго указываются самимъ Т. (II, прим. 245, ср. прим. 285 и стр. 330 331, 395, 387 труда г. Сенигова). Сходство нѣкоторыхъ мѣстъ Т. съ лѣтописью Львова, по нашему мнѣнію, можетъ объясняться тѣмъ, что Львовъ заимствовалъ ихъ изъ Татищева (стр. 308—310). Сходныя мѣста съ другими лѣтописными списками указаны слишкомъ суммарно (313—316). Упоминаніе о Гостомыслѣ имѣется не только въ Воскр. лѣт., а также въ Синопсисѣ.

***) Въ своихъ „примѣчаніяхъ" Татищевъ дѣлаетъ исключеніе только для тѣхъ извѣстій, которыя взяты изъ польскихъ источниковъ; а какому изъ его 15 списковъ принадлежатъ введенные имъ въ текстъ варіанты,—объ этомъ сообщается въ „примѣчаніяхъ" очень рѣдко.

Дальнѣйшую обработку лѣтописей, во всякомъ случаѣ, приходилось производить сызнова, по подлиннымъ спискамъ и помимо Татищева, пользуясь его текстомъ и примѣчаніями, только какъ вспомогательными средствами для толкованія лѣтописи.

Не эти методическія соображенія были, однако же, причиной того, что Щербатовъ произвелъ свою работу надъ собранными имъ лѣтописными списками совершенно независимо отъ Татищева. Несомнѣнно, это произошло просто потому, что Щербатовъ не принадлежалъ къ числу счастливцевъ, имѣвшихъ возможность пользоваться *Исторіей Татищева* въ рукописи, а печатное изданіе сдѣлано было какъ разъ въ то время, когда собственная работа Щербатова надъ до-татарскимъ періодомъ уже оканчивалась (1769). Любопытно, что Миллеръ, знакомый съ рукописями Татищева, ничего, повидимому, не сдѣлалъ для того, чтобы познакомить съ ними Щербатова; и даже свое печатное изданіе перваго тома *Россійской Исторіи*, вышедшаго въ 1768 году, собрался послать Щербатову только въ 1773 году *). Между тѣмъ, если бы Щербатовъ своевременно ознакомился съ Татищевскимъ пересказомъ лѣтописи и съ его историко-географическими и этнографическими толкованіями,—это, конечно, спасло бы его отъ массы промаховъ и ошибокъ, на которыя потомъ, по Татищеву же, указалъ ему Болтинъ **).

---

*) Щербатовъ благодаритъ Миллера за присылку перваго тома Татищева въ письмѣ отъ 25 февраля 1773 г. (Портфели Миллера, № 546, IX). На другіе печатные источники и сочиненія, Кенигсбергскій и Никоновскій списки лѣтописи, Синопсисъ, Ядро, краткій лѣтописецъ Ломоносова и Скиѳскую исторію Лызлова, на статьи въ Ежемѣс. сочиненіяхъ Щербатовъ дѣлаетъ постоянныя ссылки въ примѣчаніяхъ. На исторію же Ломоносова находимъ только одну (I, 253 стр. 2 изд.), а на Татищева только 5 ссылокъ въ обоихъ первыхъ томахъ; притомъ одна изъ нихъ—на его изданіе Судебника (II, 536), въ другой—ссылка на „собраніе господина Татищева" прямо дѣлается по примѣчанію на стр. 268, 1 тома Библіотеки Россійской (изданіе Кенигсбергскаго списка), II, 364; въ трехъ же остальныхъ Щербатовъ ссылается на „предъизвѣщеніе" Татищева: одна изъ этихъ ссылокъ тоже сдѣлана по другому источнику: „г. Татищевъ, коего разсужденія означены въ первой части, гл. IV въ предъизвѣщеніи его къ Р. ист."; потомъ прибавлена здѣсь и точная ссылка на печатное изданіе I, стр. 34 (I, 187). Въ двухъ остальныхъ мѣстахъ ссылка на „предъизвѣщеніе" сдѣлана глухо, и очевидно, тоже по другому источнику (II, 7, 378). Такимъ образомъ, выраженіе Щербатова въ предисловіи (XIV), что онъ „елико возможно было удалялся охулять предшествующихъ Россійской исторіи писателей, В. Н. Татищева и г. Ломоносова" и что, расходясь съ ними во мнѣніяхъ, онъ сохраняетъ „почтеніе" къ нимъ и „ихъ сочиненіямъ",—не должно вводить въ заблужденіе, будто Щербатовъ зналъ, дѣйствительно, исторію Татищева.

**) „Да и самъ кн. Щербатовъ довольно ясно показуетъ, что есть ли бы тогда была напечатана книга г. Татищева, онъ многое бы могъ изъ нея занять для улучшенія своей исторіи". Примѣчанія (Щербатова) на отвѣтъ г.-м. Болтина, стр. 118, 99, 216; ср. его Письмо къ нѣкоему пріятелю, стр. 9.

Несмотря на всѣ крупные промахи, въ которыхъ уличилъ Щербатова Болтинъ, и на совершенную неподготовленность его къ занятіямъ лѣтописью, исторія Щербатова все же представляетъ въ двухъ отношеніяхъ шагъ впередъ въ обработкѣ лѣтописей сравнительно съ исторіей Татищева. Во-первыхъ, Щербатовъ ввелъ въ ученый оборотъ новые и очень важные списки лѣтописи: онъ нашелъ и сумѣлъ оцѣнить синодальный списокъ новгородской лѣтописи (XIII—XIV ст.), и до сихъ поръ остающійся самымъ древнимъ изъ всѣхъ извѣстныхъ; онъ же первый воспользовался воскресенскимъ сводомъ, царственною книгой и другими списками синодальной и типографской библіотекъ. Во-вторыхъ, въ исторіи Щербатова встрѣчаемъ впервые правильное ученое пользованіе лѣтописями. Онъ не сливаетъ показаній разныхъ списковъ въ одинъ сводный текстъ; составляя исторію, а не лѣтопись, онъ поневолѣ отличаетъ свой текстъ отъ текста источниковъ и всѣ данныя, введенныя въ текстъ, подкрѣпляетъ точными ссылками на печатныя изданія и рукописи *). Но если отъ этой разницы въ формѣ обращенія съ источниками перейдемъ къ оцѣнкѣ того, какъ пользуется источниками Щербатовъ, то не только не найдемъ большой разницы съ Татищевымъ, но, напротивъ, часто должны будемъ отдать послѣднему преимущество въ критическомъ тактѣ. Сравнительная цѣна древняго списка лѣтописи и позднѣйшаго свода, русскаго источника и польскаго, лѣтописи и *Синопсиса*—далеко не всегда ясна Щербатову. Польскимъ „просвѣщеннымъ“ писателямъ онъ не прочь иногда отдать преимущество передъ „нашими монахами“; и даже *Синопсисъ*, „хотя его сравнять съ почтенными польскими сочинителями и не можно“, все же нельзя, по мнѣнію Щербатова, признать „лишеннымъ всякаго благоразумія“: его составляли не „неученые“ монахи, „понеже въ Кіевѣ науки гораздо прежде зачали быть извѣстны, нежели внутри Россіи“ **). И такъ, несмотря на всѣ успѣхи исторіографіи въ XVIII в., русскій изслѣдователь на исходѣ столѣтія все еще продолжалъ смѣшивать первоисточникъ съ ученой обработкой и, даже переставъ смотрѣть на исторію какъ на лѣтопись, продолжалъ считать лѣтопись—своего рода исторіей, требующей отъ составителя „просвѣщенія“ и „благоразумія“. Чтобы провести между тѣмъ и другимъ, между лѣтописнымъ первоисточникомъ и его болѣе или менѣе ученою обработкой, рѣзкую критическую черту, чтобъ установить твердую мѣрку для сравнительной оцѣнки источниковъ,

*) Самъ Щербатовъ видитъ въ этомъ свое преимущество передъ Татищевымъ, см. его Письмо, стр. 84, и Примѣч. на отвѣтъ, стр. 161.

**) Примѣч. на отвѣтъ, стр. 117, 129.

нуженъ былъ человѣкъ, прошедшій европейскую школу критики. Это дѣло суждено было сдѣлать Шлецеру.

Въ извѣстной книгѣ Кояловича мы встрѣчаемъ, однако, неожиданное утвержденіе, что Шлецеръ „взялъ въ основу" своей „постановки" вопроса о разработкѣ лѣтописей „чужую работу,—именно Татищева" *). Нечего и говорить, что такое утвержденіе совершенно не соотвѣтствуетъ истинѣ. Все значеніе своей постановки Шлецеръ какъ разъ видѣлъ именно въ томъ, что она *противуположна* татищевской. Татищевъ ставилъ своей задачей *сводъ всѣхъ* лѣтописныхъ извѣстій; Шлецеръ, напротивъ, утверждалъ, что такая задача нелѣпа, что нанизанными такимъ образомъ данными нельзя пользоваться, что своду необходимо должна предшествовать критическая оцѣнка разныхъ лѣтописныхъ списковъ и разныхъ сообщаемыхъ только нѣкоторыми изъ нихъ извѣстій; потому что не всякое данное извѣстіе любого лѣтописнаго сборника равноцѣнно всякому другому. Такимъ образомъ, не сводъ, а *выборъ*, не всякихъ, а только *критически провѣренныхъ* извѣстій ставилъ себѣ цѣлью Шлецеръ **).

Достиженіе этой цѣли чрезвычайно упрощалось въ глазахъ Шлецера тѣмъ обстоятельствомъ, что выборъ критически провѣренныхъ извѣстій лѣтописи для него равнялся возстановленію первоначальнаго текста лѣтописи. Онъ раздѣлялъ въ этомъ отношеніи заблужденіе Татищева, что лѣтопись есть литературное произведеніе одного лица, сперва Нестора, потомъ его продолжателей. Съ этой точки зрѣнія, вопросъ, сколько было у Нестора продолжателей, и гдѣ кончилъ каждый изъ нихъ,—былъ чрезвычайно важенъ и возбудилъ оживленные споры въ ученой литературѣ. И съ этой точки зрѣнія критическое изданіе лѣтописи должно было представляться совершенно такою же задачей, какъ критическое изданіе библіи или какого-нибудь классическаго автора. Приступая къ дѣлу „à la Михаэлисъ" ***), Шлецеръ этимъ самымъ предрѣшалъ, что всѣ разночтенія списковъ должны быть устранены изъ „очищеннаго Нестора", какъ ошибки переписчиковъ. „Масса варіантовъ въ русскихъ лѣтописяхъ,—говоритъ онъ въ Probe russ. Annalen,—происходитъ изъ трехъ обычныхъ источниковъ: они произведены частью умышленно, частью по небрежности, частью по невѣжеству". „Важное положеніе, изъ котораго вытекаетъ десятокъ другихъ, часто зави-

---

*) Кояловичъ: „Исторія русскаго самосознанія", стр. 123.

**) Несторъ, I, XIX: „хотѣлось мнѣ издать очищеннаго Нестора, а не своднаго". Ср. ib. 413: „Сводъ Нестора можетъ сдѣлать и неученый человѣкъ, если только будетъ имѣть непреоборимое прилежаніе... Такой сводъ я очень отличаю отъ очищеннаго Нестора, котораго изъ свода можетъ составить одинъ только искусный въ исторіи человѣкъ".

***) Автобіографія, стр. 61—62.

ситъ отъ одного словечка. Отъ этого словечка, слѣдовательно, для историка зависитъ все. Положимъ, оно стоитъ въ одной лѣтописи, а въ шести другихъ его нѣтъ: долженъ ли я ему вѣрить? Если оно принадлежитъ лѣтописцу,—я построю на немъ цѣлую систему. Если оно принадлежитъ только переписчику..., то положеніе падаетъ само собой"*).

Для русскихъ изслѣдователей лѣтописи, болѣе знакомыхъ съ количествомъ и значительностью варіантовъ различныхъ лѣтописныхъ списковъ, подобная задача,—возстановленія первоначальнаго Нестора,—не могла возникнуть, хотя они и вѣрили въ его существованіе. Дѣло въ томъ, что они не могли бы никоимъ образомъ объяснить варіантовъ одними искаженіями переписчиковъ. У Щербатова встрѣчаемъ для этихъ варіантовъ иное, и болѣе близкое къ современному, объясненіе. „Лѣтописецъ Несторовъ", по его мнѣнію, „отъ самыхъ первыхъ временъ его сочиненія былъ сыскиваемъ всѣми любящими исторію; онъ списками своими разсѣялся по всѣмъ областямъ россійскимъ, и *вездѣ почти вмѣщали въ него обстоятельства и дѣянія всѣхъ странъ, гдѣ его переписывали.* Отъ сего произошли лѣтописцы новгородскій, псковскій и прочіе, въ которыхъ находятся не въ важныхъ дѣлахъ малыя разницы, но главныя приключенія есть одинаки". „И нѣтъ невозможности, прибавляетъ однако же Щербатовъ,—чтобы между великаго числа таковыхъ лѣтописцевъ не нашелся таковой, который и прибавокъ не имѣетъ, хотя еще сего и не примѣтили" **).

*) Probe r. Annalen, стр. 194—209. Опасность подобнаго пріема наглядно доказывается иллюстраціей самого Шлецера, въ его „Мысляхъ о способѣ обработки русской исторіи", поданныхъ Академіи въ 1764 г. (Сборн. отд. р. я. XIII, прил., стр. 294); „Я нахожу, наприм., въ законахъ Ярослава слово колбягъ" теперь вполнѣ объясненное: финскіе жители мѣстности по р. Колпи въ Бѣжецкой Пятинѣ; скандинавскіе источники называютъ ихъ Кильфингами, Kilfingar, а византійскіе—Κουλπίγγοσ); „я изслѣдую его значеніе, истощаюсь въ догадкахъ и, наконецъ, нахожу, что это слово не Ярослава, а небрежнаго переписчика, и въ другихъ спискахъ нахожу другое, понятное слово". Мы видѣли, что такимъ образомъ онъ нашелъ въ спискѣ Полетики „Ѳива и Лювіа" вм. „Ѳивулии". Однако, надо замѣтить, что даже и такія очевидныя искаженія—не всегда должны считаться ошибками переписчика и подвергаться исправленію. Такъ, Шлецеръ,—и даже еще археографическая комиссія въ изданіи Лавр. списка, 1872 г.,—поправили безсмысленное выраженіе „часть всячьская страны"—„на часть Азійскыя страны"—Шлецеръ по догадкѣ, а арх. ком. на основаніи греческаго текста Амартола (μέρος τι Ἀσίας). А оказывается, что „всяческыя страны" стоитъ уже въ славянскомъ текстѣ Амартола (рк. м. дух. акад.); слѣдовательно, перенесено въ лѣтопись уже въ безсмысленномъ видѣ. Стоитъ принять поправку Шлецера, и мы сами лишимъ себя возможности съ помощью этой ошибки открыть непосредственный источникъ составителя Повѣсти временныхъ лѣтъ.

**) Примѣчанія на отвѣтъ, стр. 60, 86.

Знакомый преимущественно съ началомъ лѣтописи, наиболѣе однообразнымъ, Шлецеръ не предвидѣлъ трудностей своего предпріятія и смѣло принялся за дѣло. Вскорѣ, однако же, сличеніе варіантовъ должно было его убѣдить, что не всѣ они объясняются ошибками переписчиковъ. „Я увидѣлъ при сличеніи, что ошибся“, замѣчаетъ онъ уже въ 1768 г. *). Это наблюденіе не остановило, впрочемъ, Шлецера. Никоновскій, воскресенскій списки скоро могли быть признаны имъ за *своды*; но относительно древнѣйшихъ списковъ ошибка продолжала существовать. „Я надѣюсь,—утверждалъ все-таки Шлецеръ,—открыть въ какой-нибудь рукописи подлиннаго Нестора; но если бъ онъ и оказался безвозвратно потеряннымъ, то потеря могла бы еще быть восполнена. Рукописей существуетъ невѣроятное множество; онѣ измѣнены весьма не одинаково; нѣкоторыя очень древни. Нельзя ли изъ всѣхъ вмѣстѣ, посредствомъ сличенія и критики, собрать disjecti membra Nestoris? Нельзя ли возродить его такъ же, какъ недавно возрождены были г. Гоммелемъ изъ остатковъ римскіе юристы?“

Съ этою смутною надеждой принялся Шлецеръ двадцать лѣтъ спустя за своего „Нестора“. За двадцатилѣтній промежутокъ онъ успѣлъ такъ основательно позабыть текстъ лѣтописи, что, наприм., отвергая въ первомъ томѣ (VIII гл.) сказку объ основаніи Кіева тремя братьями и относя ея происхожденіе ко времени, когда Кіевъ былъ столицей, онъ и не подозрѣвалъ, что во второмъ томѣ (II гл.) ему встрѣтится въ самой лѣтописи мѣсто, гдѣ кіевляне разсказываютъ эту сказку Аскольду и Диру. „Неужели сказка эта такъ стара?—замѣчаетъ онъ при этомъ.—Я думалъ, что она вышла только тогда, когда Олегъ сдѣлалъ Кіевъ престольнымъ городомъ“. Точно также, уже издавая два первые тома и разобравши договоръ Олега съ греками, онъ не зналъ еще хорошенько содержанія Игорева договора. Это показываетъ, что, составляя въ Германіи текстъ „Нестора“, онъ работалъ по тѣмъ же параллельнымъ выпискамъ изъ разныхъ списковъ, которые составилъ еще въ Россіи **).

Такимъ образомъ, невозможность очищеннаго текста выяснилась только во время самой работы. Уже при разсказѣ о взятіи Кіева Олегомъ, Шлецеръ долженъ былъ признаться въ томъ, что нельзя ссылаться на „Нестора“, даже на Нестора по такой-то рукописи,—а прямо на самую рукопись: „ибо и по сію пору не знаемъ мы совершенно, что принадлежитъ точно Нестору, а не его писцамъ-поддѣльщикамъ. Съ какою тщательностью и трудомъ ни употреблялъ я критику, чтобы вытащить изъ кучи-писцовъ Несторово настоящее вступленіе въ русскую исторію, но все еще не рѣшилъ этимъ важ-

*) Probe russ. Annalen, стр. 201.
**) Probe russ. Annalen, стр. 180—182.

ной задачи возстановить чистаго Нестора,—и *не могъ рѣшить ее*". Въ наше время понятно, почему Шлецеръ, дѣйствительно, не могъ рѣшить этой задачи. Чистаго Нестора не существовало: наши списки суть уже сборники частью изъ различныхъ, частью изъ однихъ и тѣхъ же составныхъ частей въ разныхъ сочетаніяхъ и съ разною степенью полноты. Такимъ образомъ, возстановлять пришлось бы не лѣтопись, а ея первоначальные источники, что невозможно; возможно только возстановить текстъ нашихъ редакцій. Шлецеръ не знаетъ этой причины неудачи и повторяетъ свою: „у меня было слишкомъ мало списковъ" *). А напомнимъ, что выписки Шлецера не шли дальше 1054 г., такъ что если гдѣ-нибудь можно было найти приблизительно одинаковый текстъ, такъ именно въ этихъ начальныхъ частяхъ лѣтописи,—въ *Повѣсти временныхъ лѣтъ*, которою „составители сборниковъ постоянно пользуются не какъ источникомъ, а какъ готовымъ началомъ для своихъ трудовъ" **). Миллеръ, который зналъ *всю* лѣтопись по спискамъ, былъ осторожнѣе. Онъ давалъ совѣтъ при изданіяхъ лѣтописей „лучшій списокъ напечатать безъ измѣненій, а изъ другихъ привести варіанты",—съ точнымъ обозначеніемъ, откуда они взяты. Этому совѣту и послѣдовала археографическая комиссія во второмъ изданіи, послѣ того какъ попытка слить всѣ тексты начальной лѣтописи въ одинъ потерпѣла въ первомъ изданіи совершенную неудачу ***).

Итакъ, критическая обработка лѣтописи не удалась XVIII вѣку, потому что обработка Татищева и даже Щербатова не была критическою, а Шлецеръ, со всею своею эрудиціей и критическимъ чутьемъ, пошелъ по ложной дорогѣ. Не достигнувъ главной цѣли своей работы, онъ все же установилъ въ общихъ чертахъ критическую оцѣнку русскихъ лѣтописныхъ источниковъ; съ вліяніемъ этой оцѣнки намъ еще придется встрѣтиться.

Какъ въ обработкѣ лѣтописей Татищевъ и Шлецеръ, такъ въ обработкѣ актовъ Миллеръ и Щербатовъ были главными дѣятелями исторіографіи прошлаго вѣка. Издательская дѣятельность Миллера начинается съ публикаціи нѣмецкаго сборника Sammlung russischer Geschichte ****), къ которому съ 1755 года присоединяется редактированіе академическаго журнала *Ежемѣсячныя Со-*

---

*) Несторъ II, гл. IV.

**) Бѣляевъ: „Временникъ общ. ист. и др." V, стр. 23.

***) Идея—раздѣлить текстъ лѣтописи на „начальный", „средній"—была идеей, уцѣлѣвшей отъ Шлецера.

****) Первый томъ и половина второго S. R. G. вышли въ 1732—37 гг. (всего 9 выпусковъ). Затѣмъ изданіе было возобновлено въ 1758 г. и продолжалось до 1764 г., т.-е. до переѣзда Миллера въ Москву. Всѣхъ вышло въ свѣтъ 9 томовъ, каждый изъ 6-ти выпусковъ, отдѣльныхъ или соединенныхъ.

ченія *). Ученыя статьи обоихъ изданій въ значительной степени общія **). Съ переѣздомъ Миллера въ Москву (1765 г.) изданіе *Ежемѣсячныхъ Сочиненій* прекращается, и издательская дѣятельность Миллера принимаетъ новый характеръ, специализируясь на архивномъ матеріалѣ. Собственно говоря, матеріалъ этотъ подлежалъ храненію въ величайшей тайнѣ; самая пустая справка въ архивѣ могла быть сдѣлана не иначе, какъ съ особаго разрѣшенія иностранной коллегіи. Для того, чтобы матеріаламъ архива открыть доступъ въ печать, нужно было случиться особымъ обстоятельствамъ. Такимъ обстоятельствомъ, давшимъ толчокъ къ изданію архивныхъ документовъ, сдѣлалось изданіе Щербатовымъ его исторіи.

Убѣждая Щербатова заняться русскою исторіей, Миллеръ, какъ мы видѣли, совсѣмъ не спѣшилъ знакомить его съ ея источниками. Совершенно самостоятельно Щербатовъ занялся лѣтописями; такъ же самостоятельно онъ дошелъ и до мысли о необходимости заняться актами архива. 15 іюня 1769 года онъ писалъ объ этомъ Миллеру: ***) „Вотъ я и у конца второго тома своей исторіи, доведенной до смерти в. к. Юрія Всеволодовича и до нашествія Батыя. Мнѣ предстоитъ, слѣдовательно, перейти къ новому періоду русской исторіи, гдѣ мнѣ могутъ пригодиться ввѣренные вамъ архивы. Я знаю, конечно, что вы мнѣ не можете сообщить ничего безъ спеціальнаго разрѣшенія, которое я надѣюсь получить, когда понадобится. Пока я прошу васъ объ одной услугѣ, въ чемъ, я думаю, нѣтъ ничего секретнаго: именно сообщить мнѣ, съ котораго года начинаются наши архивы, чтобы мнѣ не пришлось просить о томъ, чего не существуетъ". Прождавъ напрасно цѣлый мѣсяцъ отвѣта и повторивъ просьбу, Щербатовъ получилъ отъ Миллера, повидимому, уклончивое письмо,—по крайней мѣрѣ, онъ на него отвѣчаетъ слѣдующее: „Я очень хорошо понимаю всю силу резоновъ, которые вы приводите въ своемъ письмѣ, но я, все-таки, думаю, что можно

---

*) О Ежемѣсячныхъ Сочиненіяхъ см. В. А. Милютина: „Очерки русской журналистики" въ Современникѣ 1851 г., тт. XXV, XXVI. П. Пекарскаго: „Редакторъ, сотрудники и цензура въ русскомъ журналѣ 1755—1764 годовъ". Спб., 1867 г. Указатель статей Ежемѣс. Соч. см. у Неустроева: „Историческое разысканіе о русскихъ повременныхъ изданіяхъ и сборникахъ за 1703—1802 гг.". Спб., 1875 г.

**) Такъ, здѣсь и тамъ помѣщены работы Миллера о торгахъ сибирскихъ и продолженіе сибирской исторіи, опытъ новѣйшей исторіи Россіи, о странахъ, при р. Амурѣ лежащихъ, описаніе морскихъ путешествій по Ледовитому и Восточному морю, извѣстіе о ландкартахъ, касающихся до Росс. государства, краткое извѣстіе о началѣ Новгорода, о запорожскихъ казакахъ, ихъ началѣ и происхожденіи, роспись провинціямъ, описаніе черемисовъ, чувашей и вотяковъ, работа Соймонова о Каспійскомъ морѣ, записки Гербера о народахъ и земляхъ на западъ отъ Каспійскаго моря и т. д.

***) Дальнѣйшія подробности взяты изъ портфелей Миллера.

принять мѣры, чтобы архивъ не понесъ никакой потери"; и онъ предлагаетъ списывать для него копіи съ нужныхъ документовъ, какіе онъ укажетъ и какіе Миллеръ найдетъ „сколько-нибудь полезными для исторіи". По минованіи надобности (черезъ 7—8 дней), онъ будетъ эти копіи возвращать. „Car enfin, monsieur, такъ кончаетъ Щербатовъ это письмо,— vous êtes trop raisonnable pour vouloir, qu'en écrivant l'histoire de mon pays je laisse échapper l'occasion de profiter des archives". 22 января 1770 года Щербатовъ добылъ отъ Екатерины формальное приказаніе Миллеру—давать ему копіи, „которыя помянутой князь *для меня* (императрицы) требовать будетъ". Послѣ этого Миллеръ уже не могъ отказать Щербатову въ документахъ, но заставилъ его дать для переписки своего человѣка. Переписка, вѣроятно, началась еще до разрѣшенія, такъ какъ 25 янв. 1770 года Щербатовъ уже представлялъ императрицѣ духовныя грамоты великихъ князей для напечатанія на счетъ кабинета. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ заказываетъ копіи съ грамотъ Дмитрія Донского и, „замѣтивъ, что въ описи нѣтъ документовъ, касающихся внѣшнихъ сношеній Россіи съ иностранными государствами", спрашиваетъ, составлена ли эта опись, и проситъ о ея присылкѣ, постоянно упоминая, что все это предназначается для представленія государынѣ. Этимъ способомъ онъ отнималъ у Миллера всякую возможность сопротивленія. Къ концу 1772 и началу 1773 г. всѣ 218 нумеровъ грамотъ великихъ князей архива иностранной коллегіи были скопированы и пересланы Щербатову. Теперь наступила очередь новаго разряда источниковъ „Я работаю теперь надъ четвертымъ томомъ, —писалъ Щербатовъ отъ 17 декабря 1772 г.,—и пишу исторію царствованія великаго князя Василія Дмитріевича". Въ виду приближенія царствованія Ивана Васильевича, предстояло ознакомленіе съ дипломатическими документами и статейными списками посольствъ. Щербатовъ проситъ нанять для этого переписчика, „такъ какъ вы слишкомъ свѣдущи, м. г., чтобы не видѣть, что невозможно писать исторію этого царя, не будучи снабженнымъ этими матеріалами, и я не пожалѣю издержекъ на это, хотя приказаніе императрицы, казалось бы, освобождаетъ меня" отъ необходимости *заказывать* копіи. Миллеръ счелъ, очевидно, болѣе удобнымъ не понять послѣдняго намека, и отъ 13 февраля 1773 г. Щербатовъ снова пишетъ ему: „вы предлагаете мнѣ сдѣлать извлеченіе изъ статейныхъ списковъ; признаюсь вамъ, они мнѣ были бы очень нужны, но я долженъ признаться вамъ также, м. г., что я не намѣренъ входить въ значительныя издержки, тѣмъ болѣе, что меня не особенно хорошо вознаграждаютъ за всѣ мои труды, уже подорвавшіе мое здоровье. Я подумаю, однако, о томъ, что дѣлать, и поговорю съ государыней, такъ какъ, въ самомъ дѣлѣ, если я буду писать

исторію Ивана Васильевича, которая должна составить пятый томъ моей исторіи, эти документы мнѣ будутъ совершенно необходимы". Наконецъ, послѣ переговоровъ съ гр. Н. И. Панинымъ, исходъ былъ найденъ; 22 декабря 1775 г. былъ посланъ Миллеру новый указъ о Щербатовѣ: „Нынѣ онъ, кн. Щ., имѣя также надобность и въ разныхъ хранящихся въ архивѣ статейныхъ спискахъ и тому подобныхъ древнихъ сочиненіяхъ для сдѣланія изъ нихъ нѣкоторыхъ справокъ и выписокъ къ составленію сочиняемой имъ исторіи, желаетъ ихъ взять къ себѣ. И какъ они въ разсужденіи ихъ пространства и обширности признаются быть неудобными къ списанію съ нихъ копій, то и надлежитъ вамъ требуемыя имъ помянутыя книги отдать ему въ оригиналахъ, съ обстоятельнымъ и потребнымъ ихъ описаніемъ и перенумерованіемъ всѣхъ ихъ страницъ подъ собственную его росписку, съ прописаніемъ въ ней, притомъ, условія, чтобъ онъ, к. Щ., возвращалъ ихъ къ вамъ одну за другой, какъ скоро онъ въ которой изъ нихъ болѣе надобности предвидѣть не будетъ". Получивъ это разрѣшеніе, Щербатовъ немедленно выписалъ себѣ всѣ первые нумера документовъ архива, заключающихъ наши древнѣйшія дипломатическія сношенія съ разными государствами и начинающихся съ послѣдней четверти XV столѣтія *). Съ этимъ обиліемъ матеріала и при такомъ способѣ ихъ доставки, естественно, Щербатовъ пересталъ нуждаться въ посредничествѣ Миллера, чѣмъ, вѣроятно, и объясняется, что съ этихъ поръ прекращается переписка его съ Миллеромъ, давшая намъ возможность присутствовать при первыхъ шагахъ ученой разработки нашихъ архивовъ.

Само собою разумѣется, что Щербатовъ воспользовался полученными изъ архива документами для своей *Исторіи* и, такимъ образомъ, впервые ввелъ въ ученый оборотъ всѣ главнѣйшіе источники для внѣшней исторіи древняго періода. Но за эксплуатаціей этихъ источниковъ естественно возникалъ вопросъ объ ихъ изданіи. Издавая въ свѣтъ III-й томъ (1774 г.), Щербатовъ выражался объ этомъ слѣдующимъ образомъ: „Не отважился я ихъ вмѣщать самымъ подлинникомъ, ибо *сіе бы было дипломатическое собраніе*, которое достойно быть особливо напечатано, да и то съ самыхъ подлинниковъ (мы знаемъ, что подлинники Щ. началъ получать только съ 1776 г.), и слѣдственно *принадлежитъ тому, кто въ храненіи своемъ тѣ подлинныя грамоты имѣетъ*". Очевидно, лишивъ Миллера преимущества первому сообщить публикѣ о матеріалахъ

*) Именно первые №№ польскаго, прусскаго, турецкаго двора и греческихъ духовныхъ особъ, №№ 1 и 2 цесарскаго двора, №№ 1—5 дѣлъ крымскихъ и ногайскихъ. Эти и предыдущія свѣдѣнія см. въ портфеляхъ Миллера № 389, I и II, и № 546, IX.

архива, онъ не хотѣлъ лишать его права быть первымъ издателемъ ихъ. Въ бумагахъ Миллера сохраняется предложенie объ изданiи „дипломатическаго корпуса", помѣченное еще 1760 годомъ. Поступая въ архивъ въ 1766 г., онъ возобновилъ это предложенie, помѣстивъ его въ числѣ обѣщанiй, данныхъ вице-канцлеру Голицыну *). Приведенный выше намекъ Щербатова показываетъ, что по поводу разработки архивныхъ актовъ для *Исторiи* объ этомъ предложенiи вспомнили или, можетъ быть, напомнилъ и самъ Миллеръ, которому Щербатовъ еще въ 1769 году обѣщалъ „ничего не дѣлать, не посовѣтовавшись съ нимъ". Предложенiю на этотъ разъ (т.-е. когда Щербатовъ дошелъ до времени, къ которому относились первые дипломатическiе документы) данъ былъ ходъ, и 28 января 1779 г. Миллеру было „повелѣно поручить, чтобы для россiйской исторiи старались вы учинить собранie всѣхъ россiйскихъ древнихъ и новыхъ публичныхъ трактатовъ, конвенцiй и прочихъ подобныхъ тому актовъ, по примѣру Дюмонова дипломатическаго корпуса". 3 мая 1779 г. Миллеръ доносилъ, что по указу 28 января „тотчасъ вступилъ я въ сie преполезное дѣло...; но, чувствуя при томъ умножающуюся отъ старости во мнѣ слабость и опасаясь, чтобы рокъ не постигъ меня прежде, нежели в. в. изволите увидѣть въ семъ родѣ довольный плодъ трудовъ моихъ, за должность нахожу в. и. в. всеподданнѣйше просить опредѣлить въ помощники Стриттера съ званiемъ адъюнкта или экстраординарнаго профессора...; онъ можетъ остаться послѣ меня исторiографомъ". Екатерина согласилась, и 5 ноября 1779 г. Стриттеръ явился уже въ архивъ, гдѣ, впрочемъ, на первый разъ получилъ порученie описать библiотеку Миллера, жертвуемую въ архивъ. Однако, и составленie „дипломатическаго корпуса" шло своимъ чередомъ: 20 апрѣля 1780 года Миллеръ представилъ императрицѣ „начало собранiя трактатовъ",- сношенiя съ цесарскимъ дворомъ (1486—1519 гг.). За ними послѣдовало въ iюлѣ того же года „дипломатическое собранie дѣлъ между россiйскимъ и польскимъ дворами, выбранное краткимъ перечнемъ изъ польскихъ статейныхъ списковъ

---

*) См. выше. „Я предполагаю,— писалъ онъ Голицыну (конецъ 1765 г.), —что будетъ приказано составить собранie трактатовъ, конвенцiй, союзныхъ договоровъ и другихъ оффицiальныхъ актовъ, заключенныхъ между Россiей и иностранными державами, для употребленiя тѣхъ, которые предназначаются въ министры (qui sont destinés au ministère). Если будетъ угодно, я присоединю къ каждому документу этого собранiя историческое введенie и примѣчанiя, въ которыхъ объясню все, что нуждается въ объясненiяхъ. Можетъ быть, было бы также хорошо издать записки посольствъ древнихъ временъ, какъ это обыкновенно дѣлается во многихъ странахъ (зачеркнуто: это сокровища для исторiи и еще болѣе для образованiя молодыхъ политиковъ)" и т. д. Въ письмѣ къ Голицыну отъ 9 янв. 1766 г. Миллеръ возвращается къ предложенiю составить un corps diplomatique.

и столбцовъ" Н. Н. Бантышъ-Каменскимъ, а 18 марта 1781 г. Миллеръ послалъ новое „собраніе между россійскимъ и первымъ герцогомъ прусскимъ и слѣдующихъ по немъ курфурстовъ бранденбургскихъ дворами трактаты и переписки" (1517 — 1701 гг.). Наконецъ, 12 мая 1782 года онъ отправляетъ въ Петербургъ „новый опытъ дипломатическаго корпуса, содержащій дѣла между россійскимъ и датскимъ дворами, по примѣру прежнихъ сочиненный", и обѣщаетъ закончить весь корпусъ въ пять лѣтъ, „хотя меня уже и на свѣтѣ не будетъ". Предчувствіе не обмануло Миллера: въ слѣдующемъ году онъ умеръ, успѣвъ, однако, передъ смертью выхлопотать указъ (14 янв. 1783 г.): „для печатанія сочиняемаго по указу нашему отъ 28 янв. 1779 г. собранія древнихъ и новыхъ трактатовъ..., тако-жъ и прочаго, что до россійской исторіи касается, повелѣваемъ завести въ Москвѣ при архивѣ... особую типографію"*) въ вѣдѣніи Миллера. Со смертью Миллера устройство типографіи остановилось совсѣмъ, и печатаніе „дипломатическаго корпуса" затянулось на много времени.

Такимъ образомъ, Миллеру не пришлось увидѣть въ печати своего „дипломатическаго собранія". Способъ печатанія архивныхъ документовъ онъ имѣлъ, однако же, и другой, и, притомъ, раньше разрѣшенія проекта „дипломатическаго собранія". Способъ этотъ, какъ и только что упомянутый, былъ имъ выбранъ вмѣстѣ съ Щербатовымъ и разрѣшенъ императрицей.

Въ 1773 г. Новиковъ началъ издавать *Древнюю Россійскую Вивліоѳику*; императрица помогала этому изданію и деньгами, и матеріалами **). Щербатовъ, ближайшій въ тѣ годы исполнитель ея распоряженій по отношенію къ русской исторіи ***), принялъ съ самаго начала изданія живѣйшее участіе въ Вивліоѳикѣ. Уже въ первомъ томѣ ея (іюнь) напечатаны ярлыки ордынскихъ царей митрополитамъ, несомнѣнно сообщенные Щербатовымъ, такъ какъ онъ ихъ нашелъ въ Патріаршей библіотекѣ въ Москвѣ ****). Содержаніе второго тома почти сплошь заимствовано изъ архива иностранной коллегіи, и значительная часть этого содержанія была въ то время у кн. Щербатова въ копіяхъ. Мы видѣли, что онъ стѣснялся печа-

---

*) Миллеръ мечталъ напечатать въ этой типографіи, между прочимъ, den ganzen Tatischeff.

**) Лонгиновъ: „Новиковъ и московскіе мартинисты". М., 1867 г., стр. 37—38. Роспись содержанія Вивліоѳики см. у Неустроева: „Истор. изысканіе", стр. 185 и слѣд.

***) Vous savez, М-г,—пишетъ онъ Миллеру 24 фев. 1774 г.,— quel confiance Sa Majesté daigne avoir pour moi dans les matières, qui regardent les antiquités de Russie.

****) Въ книгѣ № 555, см. предисловіе къ III тому Исторіи. Такимъ образомъ разрѣшается недоумѣніе Григорьева: „Россія и Азія", стр. 170.

тать эти документы „подлинникомъ“, предоставляя сдѣлать это Миллеру по оригиналамъ. Вѣроятно, по этой причинѣ, во второй части Вивліоѳики помѣщены были не самыя грамоты, а только „росписи“ и „выписки“ изъ нихъ. Обойти Миллера оказывалось неудобнымъ, и 26 октября 1773 года ему было послано повелѣніе императрицы „о сообщеніи г. Новикову копій съ посольствъ, разныхъ обрядовъ и другихъ достопамятныхъ и любопытныхъ вещей“. Съ третьяго тома (1774) матеріалъ Вивліоѳики доставляется, такимъ образомъ, Щербатовымъ и Миллеромъ: первый печатаетъ собраніе грамотъ изъ Патріаршей библіотеки, второй сообщаетъ матеріалы для біографіи В. В. Голицына. Такой же двоякій характеръ имѣетъ и содержаніе 4 и 5 тома; а съ 6 тома Миллеръ начинаетъ печатать уже „подлинникомъ“ тѣ грамоты, роспись и выдержки изъ которыхъ раньше помѣщены были Щербатовымъ. Остальныя четыре части перваго изданія Вивліоѳики наполнены матеріалами этого и иного рода, сообщенными Миллеромъ (7—10 томъ, 1775 г.).

Такимъ образомъ, обработка важнѣйшихъ документовъ архива иностранной коллегіи и ихъ изданіе шли рука объ руку; первое вызывало второе. Послѣ смерти Миллера Щербатовъ уже отъ своего имени издавалъ дальнѣйшіе извѣстные ему документы архива. Такъ, во второмъ изданіи Вивліоѳики (1788—91) онъ началъ издавать статейные списки; а затѣмъ, при дальнѣйшемъ изданіи своей исторіи, прямо сталъ печатать документы, преимущественно дипломатическіе, и извлеченія изъ нихъ въ приложеніяхъ *).

Благодаря исторіи Щербатова и *Вивліоѳикѣ* Новикова, русская историческая наука овладѣла такими первостепенными источниками, какъ духовныя и договорныя грамоты князей, памятники дипломатическихъ сношеній и статейные списки посольствъ. Съ помощью этихъ и другихъ подобныхъ источниковъ впервые являлась возможность основать историческое изложеніе не на однихъ лѣтописныхъ пересказахъ событій, а также на источникахъ первой руки, на актахъ. Эманципируя исторію отъ лѣтописи, акты давали вмѣстѣ съ тѣмъ возможность распространить историческое изученіе на позднѣйшія эпохи, гдѣ показанія лѣтописи оскудѣвали или прекращались вовсе. Первый, кто понялъ значеніе актовъ, какъ историческаго источника,—Миллеръ, естественно, долженъ былъ сдѣлаться и первымъ историкомъ новаго времени. Такъ и понималъ Миллеръ свою задачу исторіографа, рѣшившись начать тамъ, гдѣ думалъ кончить

---

*) Приложенія эти составляютъ три цѣлыхъ тома изъ 15-ти (т. IV, 3; т. V, 4; т. VII, 3) и занимаютъ значительное мѣсто въ четырехъ другихъ (т. III, стр. 483—514; т. V, I, стр. 487—555; т. VI, 2, стр. 119—296; т. VII, 1, стр. 281—342). Дальнѣйшія свѣдѣнія объ изданіи архивныхъ документовъ въ XVIII столѣтіи см. у Иконникова: „Опытъ русской исторіографіи“, т. I, 1, стр. 112—131, 290—293, 296—297, 398—399.

Татищевъ, т.-е. съ конца XVI вѣка. Но ему не удалось осуществить своего намѣренія; первый *Опытъ новѣйшей исторіи Россіи* вызвалъ нареканія, отбившія у автора всякую охоту повторять подобные опыты. Ломоносовъ находилъ, что Миллеръ нарочно занимается „самой мрачной частью россійской исторіи"—временами Годунова и самозванцевъ, чтобъ отыскать „пятна на одеждѣ россійскаго тѣла" и сообщить иностранцамъ худыя понятія „о нашей славѣ" *). *Новѣйшая исторія* такъ и кончилась на смерти царя Бориса; Миллеръ боялся печатать ея продолженіе, хотя въ портфеляхъ его и были собраны для нея матеріалы **).

Но если нельзя было писать исторіи XVII и XVIII в., то все же можно было издавать для нея матеріалы. Особенно работали въ этомъ отношеніи Щербатовъ и Миллеръ надъ временемъ Петра. Миллеръ составилъ собраніе писемъ Петра по матеріаламъ архива; Щербатовъ сдѣлалъ то же по болѣе богатому матеріалу кабинета Петра (теперь въ государств. архивѣ мин. иностр. дѣлъ). Издавъ изъ кабинетныхъ бумагъ исторію свейской войны (*Журналъ Петра Великаго*), съ присоединеніемъ оправдательныхъ документовъ, почерпнутыхъ изъ архива Миллера, Щербатовъ задумалъ изданіе всѣхъ писемъ Петра, въ 5 или 6 томахъ, „съ примѣчаніями объ обстоятельствахъ, при которыхъ эти письма были писаны, и съ исторіей всѣхъ тѣхъ, къ кому они были адресованы" ***). Изданіе это было уже начато, и первые листы отпечатаны ****); но, вѣроятно, отчасти за недосугомъ императрицы, которая непремѣнно хотѣла сама просматривать всѣ листы, предпріятіе до конца доведено не было и возобновлено было только въ наше время.

Итакъ, по обстоятельствамъ времени, разработка русской исторіи въ прошломъ вѣкѣ вышла неполная; до конца вѣка *Ядро* Манкіева оставалось единственнымъ историческимъ разсказомъ, доведеннымъ до XVIII столѣтія. По причинамъ другого рода эта обработка вышла въ то же время односторонней. Употреблены были въ дѣло только матеріалы архива иностранной коллегіи, наиболѣе важные для составленія внѣшней исторіи Россіи. Вопросъ о разработкѣ ученымъ образомъ *внутренней* исторіи Россіи еще не былъ поставленъ въ очередь. Мы видѣли, что человѣкъ, наиболѣе приблизившійся къ пониманію внутренней исторіи, Болтинъ, былъ въ то же время человѣкомъ наиболѣе чуждымъ ученой разработкѣ ея;

*) Пекарскій: „Редакторъ, сотрудники и цензура въ русскомъ журналѣ", стр. 52—56.

**) Особенно см. №№ 21, 23, 35, 55, 65, 139, 140, 151, 152.

***) Письмо къ Миллеру отъ 19. авг. 1773 г.

****) При письмѣ отъ 14 марта 1774 г. Щербатовъ посылалъ Миллеру нѣсколько отпечатанныхъ листовъ писемъ Петра Великаго.

онъ отказывался понимать, что можетъ дать изученіе источниковъ— больше того, что давала ему живая традиція.

Естественно, что и важность разработки матеріала другихъ московскихъ архивовъ была понятна въ прошломъ вѣкѣ немногимъ. Эту важность понималъ, или скорѣе предчувствовалъ Миллеръ, и онъ сдѣлалъ все возможное, чтобы овладѣть содержаніемъ и этихъ архивовъ. Едва переселившись въ Москву, онъ добываетъ (1767 г., 28 сент.) разрѣшеніе кн. А. Вяземскаго: „ежели колл. сов. Миллеръ придетъ когда въ сенатской разрядной архивъ и пожелаетъ тамо смотрѣть хранящіяся дѣла, ему дозволять". Незадолго до смерти (3 дек. 1782 г.), по поводу учрежденія при сенатѣ новаго архива—старыхъ дѣлъ, онъ хлопочетъ о передачѣ изъ него въ архивъ иностранной коллегіи—грамотъ упраздненной коллегіи экономіи, „поелику оныя для исторіи Россійской имперіи... необходимо нужны" *). А, между тѣмъ, историческое значеніе этихъ грамотъ, составляющихъ единственное въ своемъ родѣ собраніе монастырскихъ актовъ XIV и XV в. (не говоря о послѣдующемъ времени), и въ наше время сознается слишкомъ немногими **).

Изъ грамотъ коллегіи экономіи ничего, впрочемъ, не успѣло попасть въ портфели Миллера, и изъ матеріаловъ разряднаго архива попало сравнительно немногое. Однако же, и то немногое, чѣмъ воспользовался Миллеръ, сдѣлалось крупнымъ вкладомъ въ изученіе нашей внутренней исторіи. Достаточно сказать, что изученіе разрядныхъ книгъ дало возможность впервые установить составныя части, „чины" нашего служилаго сословія, и легло въ основу миллеровскихъ работъ по исторіи русскаго дворянства, а обширныя выписки изъ записныхъ книгъ разряднаго (и посольскаго) приказа послужили необходимымъ матеріаломъ для составленія превосходной статьи о старинныхъ московскихъ приказахъ (20-й т. *Вивліоѳики*). Во всякомъ случаѣ, упомянутыя работы составляютъ блестящее исключеніе и настолько отличаются отъ общаго характера исторической литературы того времени, что скорѣе всего вызываютъ удивленіе, какъ могли подобныя работы явиться въ XVIII столѣтіи. Изученіе подспудной ученой работы, оставшейся въ рукописяхъ и портфеляхъ, можетъ, конечно, ослабить это удивленіе, но не мо-

---

*) Портфели № 389, т. I и II. На мѣстѣ точекъ прибавлено въ подлинникѣ (очевидно, для большей внушительности просьбы): „паче же для дипломатическаго корпуса". Оба архива, разрядный и старыхъ дѣлъ, соединены въ теперешнемъ архивѣ министерства юстиціи.

**) Описаніе грамотъ XIV и XV вв. (неполное) сдѣлано г. Мейчикомъ въ 4 томѣ „Описанія документовъ и бумагъ, хранящихся въ московскомъ архивѣ мин. юстиціи". Значительное количество правыхъ грамотъ изъ этого собранія напечатано А. П. Ѳедотовымъ-Чеховскимъ въ его Актахъ, относящихся до гражданской расправы древней Россіи. 2 тома, Кіевъ, 1860—63, безъ указанія источника.

жетъ измѣнить общаго впечатлѣнія, производимаго итогами спеціальной ученой работы прошлаго вѣка.

II.

Переходимъ теперь къ характеристикѣ общихъ историческихъ взглядовъ изслѣдователей XVIII столѣтія. Поскольку эти общіе взгляды вытекали изъ различныхъ современныхъ теоретическихъ міровоззрѣній, мы уже старались поставить ихъ въ связь съ послѣдними. Мы видѣли тѣсную связь татищевскихъ взглядовъ съ утилитаризмомъ и теоріей естественнаго права, связь историческихъ взглядовъ Ломоносова—съ ложно-классическими теоріями, взглядовъ Щербатова и Болтина съ противуположными другъ другу міровоззрѣніями просвѣтительной литературы: раціоналистическимъ и научнымъ. Мы поставили также ученые пріемы Байера въ связь съ направленіемъ учености его времени и новые взгляды Шлецера съ реформой современной ему науки. Такимъ образомъ, все основное содержаніе общихъ историческихъ взглядовъ можно считать достаточно разъясненнымъ. Намъ остается здѣсь только выяснить ближайшее отношеніе этихъ взглядовъ къ пріемамъ и результатамъ исторической работы прошлаго вѣка. Для этой цѣли мы познакомимся, прежде всего, съ тѣмъ, какъ формулировали задачу историческаго изученія различные изслѣдователи XVIII столѣтія. Затѣмъ мы остановимся на пріемахъ ихъ собственной исторической работы. Наконецъ, мы посмотримъ, какой слагался у нихъ въ результатѣ этой работы взглядъ на общій ходъ русской исторіи.

Задачу историческаго изученія *русскіе* изслѣдователи отечественной исторіи понимали очень просто и однообразно. Значеніе исторіи для всѣхъ нихъ одинаково заключается въ ея назидательности. Но въ частностяхъ каждый развиваетъ эту тему по-своему, со свойственными его личности и времени характерными чертами. Утилитаристъ Татищевъ, разумѣется, указываетъ на *пользу* исторіи для людей всѣхъ званій: для богослова и юриста, дипломата и генерала, даже для медика. Польза эта для него вытекаетъ сама собой изъ его общаго критерія полезности всякаго знанія: изъ важности исторіи для „самопознанія" *). Исторія, въ широкомъ смыслѣ, есть расширеніе личнаго опыта съ помощью воспоминанія объ опытѣ прошедшаго. Она полезна, слѣдовательно,—даже необходима для самопознанія, какъ всякій опытъ, свой или чужой; „ово отъ своихъ собственныхъ, ово отъ другихъ людей дѣлъ учитъ—о добрѣ прилежать и зла остерегаться" **). Даже наказаніе порока и торжество

---

*) Ср. выше стр. 19—22.

**) Такъ, напримѣръ, поясняетъ Татищевъ, воспоминаніе о рыбакѣ, л.-

добродѣтели должны, по Татищеву, изображаться въ исторіи съ тою же цѣлью утилитарнаго вывода. „Въ исторіи не токмо нравы, поступки и дѣла, но изъ того происходящія приключенія описуются,—яко мудрымъ, правосуднымъ, милостивымъ, храбрымъ, постояннымъ и вѣрнымъ—честь, слава и благополучіе, а порочнымъ, несмысленнымъ, лихоимцамъ, скупымъ, робкимъ, превратнымъ и невѣрнымъ—безчестіе, поношеніе и оскорбленіе вѣчное послѣдуютъ: *изъ котораго всякъ обучаться можетъ, чтобъ первое, колико возможно, пріобрѣсти, а другаго избѣжать*" *).

Совсѣмъ иначе разсуждаетъ Ломоносовъ. Повторивъ за Татищевымъ, что исторія „даетъ государямъ примѣры правленія, подданнымъ—повиновенія, воинамъ мужества, судіямъ—правосудія, младымъ—старыхъ разумъ" **), — Ломоносовъ выдвигаетъ и другія задачи исторіи, болѣе свойственныя ея панегирическому направленію. Задачи эти сливаются у него съ задачами торжественной оды: исторія славословитъ героевъ. „Велико есть дѣло,—говоритъ онъ, смертными и преходящими трудами дать безсмертіе множеству народа, соблюсти похвальныхъ дѣлъ достойную славу", и затѣмъ продолжаетъ, совсѣмъ по-гораціевски: „мраморъ и металлъ... стоятъ на одномъ мѣстѣ неподвижно и ветхостію разрушаются. Исторія, повсюду распространяясь... стихій строгость и грызеніе древности презираетъ". Если Татищевъ готовъ даже торжество добродѣтели въ исторіи цѣнить лишь какъ доказательство выгодности быть нравственнымъ, то Ломоносовъ, наоборотъ, самую пользу, извлекаемую изъ исторіи, склоненъ представлять себѣ въ видѣ нравственнаго воздѣйствія на чувство читателя. „Когда вымышленныя повѣствованія производятъ движенія въ сердцахъ человѣческихъ, то правдивая ли исторія побуждать къ похвальнымъ дѣламъ не имѣетъ силы, особливо-жь та, которая изображаетъ дѣла праотцевъ нашихъ?"

Раціоналистъ Щербатовъ выступаетъ съ новою варіаціей на ту же тему, на этотъ разъ прямо изъ Юма. „Обыкновеннѣйшая связь въ происшествіяхъ есть та, которая происходитъ отъ причинъ и дѣйствій. Съ сею помощью намъ историкъ изображаетъ послѣдствія дѣяній въ ихъ естественномъ порядкѣ, восходитъ до тайныхъ пружинъ и до причинъ сокровенныхъ ***) и выводитъ наиотдаленнѣйшія слѣдствія... Наука причинъ есть приключающая наиболѣе удовольствія разуму; она же обильнѣйшая есть въ полезныхъ наставле-

---

вящемъ рыбу, побуждаетъ меня „равномѣрно о такомъ же пріобрѣтеніи прилежать"; или, при воспоминаніи о казненномъ злодѣѣ, „меня, конечно, страхъ отъ такого дѣла, подверженнаго погибели, удерживать будетъ". Ист. Р. I, предъизвѣщеніе, III.

*) Ib., VI—VII.

**) Ист. Р. 4.

***) Ср. выше характеристику прагматизма Щербатова стр. 35—36.

ніяхъ, понеже она единая чинитъ насъ властелинами приключеній и даетъ нѣкоторую власть надъ будущими временами". Итакъ, исторія полезна не какъ сборникъ примѣровъ для подражанія или избѣжанія, а какъ „наука причинъ", выясняющая внутреннюю связь явленій и дающая этимъ возможность научнаго предвидѣнія. Прикладное значеніе исторіи, какъ видимъ, формулировано здѣсь настолько тонко, что подъ нимъ не отказался бы подписаться и современный соціологъ. Но русскій изслѣдователь, опредѣляя задачу историческаго изученія, все же продолжаетъ переносить центръ тяжести на выясненіе *прикладной* задачи исторіи, а опредѣленіемъ собственно *научной* задачи (прагматическій разсказъ) пользуется какъ средствомъ.

Другой, и рѣзко различный, мотивъ слышимъ постоянно въ сужденіяхъ объ исторіи нѣмецкихъ изслѣдователей. Научная задача историческаго изслѣдованія представляется имъ, обыкновенно, прежде всего, какъ цѣль сама по себѣ, независимо отъ практическаго приложенія. Не поученіе, не нравственное назиданіе или практическую пользу должна приносить исторія; основная или важнѣйшая цѣль ея - открытіе истины. Даже Миллеръ, самый русскій изъ нѣмецкихъ историковъ, вполнѣ усвоившій утилитарный взглядъ на исторію, рядомъ съ нимъ совершенно опредѣленно проводитъ точку зрѣнія профессіональной нѣмецкой науки, чуждую русскимъ историкамъ-любителямъ. „Историкъ долженъ казаться безъ отечества, безъ вѣры, безъ государя",—такъ выражаетъ Миллеръ этотъ взглядъ, и тотчасъ же спѣшитъ прибавить: „я не требую, чтобы историкъ разсказывалъ все, что онъ знаетъ, ни также все, что истинно, потому что есть вещи, которыхъ нельзя разсказывать и которыя могутъ быть мало любопытны, чтобы раскрывать ихъ передъ публикой; но все, что историкъ говоритъ, должно быть истинно, и никогда не долженъ онъ давать поводъ къ возбужденію къ себѣ подозрѣнія въ лести" *).

Такимъ образомъ, и дѣлая уступки положенію русской оффиціальной науки, Миллеръ продолжаетъ отстаивать европейскій взглядъ на науку отъ господствовавшаго въ его время панегирическаго направленія. Шлецеръ, пріѣхавшій въ Россію тогда, когда направленіе это уже отживало свой вѣкъ, и не ставшій къ русской оффиціальной наукѣ въ оффиціальныя отношенія, проводитъ нѣмецкій взглядъ еще настойчивѣе и съ еще большею свободой. Польза исторіи и ему, сблизившему исторію съ жизнью, хорошо понятна, но къ наивному утилитаризму русскихъ изслѣдователей онъ можетъ отнестись только насмѣшливо. „Пріятно было смотрѣть,—говоритъ онъ по поводу оживленія издательской дѣятельности въ 1770—1790-хъ

*) Ист. ак. наукъ, I, 381.

годахъ, какъ эти люди радовались и не могли наглядѣться на вновь открытый міръ. Нѣмецкому читателю казалось, какъ будто онъ перенесся въ XVI вѣкъ своей словесности. Издатели въ своихъ предисловіяхъ безпрестанно повторяли очень старую истину, что исторія, а особливо отечественная, есть нѣчто весьма полезное" *). Для самого Шлецера „первый законъ исторіи—не говорить ничего ложнаго. Лучше не знать, чѣмъ быть обманутымъ" **). Съ этой точки зрѣнія онъ горячо защищаетъ самостоятельность историка и независимость исторіи отъ всѣхъ постороннихъ точекъ зрѣнія: отъ правительственной и религіозной цензуры, отъ панегирическихъ цѣлей и патріотическихъ увлеченій. „Худо понимаемая любовь къ отечеству подавляетъ всякое критическое и безпристрастное обрабатываніе исторіи... и дѣлается смѣшною". Что касается религіи, она никогда не можетъ оказаться въ противорѣчіи съ исторіей; но религія не то, что церковь. „Не часто ли случалось, что въ нѣкоторыхъ вѣроисповѣданіяхъ непросвѣщенные люди, собравъ, особливо во мракѣ средняго вѣка, множество ложныхъ положеній, глупыхъ бредней и глупыхъ чудесъ, выдавали ихъ за религію? Пусть исторія исправляетъ ту должность безбоязненно, пусть отдѣлитъ она церковныя положенія отъ ученія религіи, истинныя происшествія отъ выдуманныхъ, сокроетъ всѣ чудеса или упомянетъ о нихъ только тогда, когда они произведутъ какое важное дѣйствіе между простодушнымъ народомъ, который имъ повѣритъ... Не спорю, что съ народною вѣрой, какъ и вообще съ народными заблужденіями, слѣдуетъ обходиться деликатно; но это можно сдѣлать, не жертвуя слѣпо истиной и здравымъ разсудкомъ" ***).

Мы не могли привести мнѣній Байера рядомъ съ Миллеромъ и Шлецеромъ, потому что онъ не формулируетъ этихъ мнѣній, а прилагаетъ ихъ на практикѣ. Но и Байеръ выбираетъ своимъ девизомъ все ту же основную аксіому свободной европейской науки: ignorare malim, quam decipi ****).

По отношенію къ религіи русскіе изслѣдователи, съ легкой руки Татищева, рано заняли болѣе или менѣе независимое положеніе. И самъ Татищевъ, и Болтинъ, и Щербатовъ одинаково отрицательно относятся къ элементу чудеснаго въ исторіи *****). Это не мѣшаетъ

*) Несторъ, I, 525. См. дѣйствительно предисловія Щербатова къ Царств. книгѣ, къ Царств. лѣтописцу, къ Лѣтописи о многихъ мятежахъ.

**) Probe rus. Annalen, 51: Prima lex historiae, ne quid falsi dicat. Ich will lieber unwissend sein als betrogen werden.

***) Несторъ, I, 430—432.

****) Comm. ac. petropol. VIII, Origines Russicae.

*****) Въ Разговорѣ двухъ пріятелей Татищевъ, подобно Шлецеру, различаетъ религію и церковь; церковные законы для него „уже

имъ, однако же, въ другихъ отношеніяхъ продолжать настаивать на прикладномъ значеніи историческаго изученія. Ко взгляду, что знаніе само по себѣ должно быть цѣлью науки, приближается только Болтинъ. „Давно уже сказано, — встрѣчаетъ онъ у Леклерка, что историкъ не долженъ имѣть ни отечества, ни родственниковъ, ни друзей. Если бы сіе правило было справедливо, то осталися бы историки въ классѣ людей самыхъ презрительныхъ: человѣкъ безъ отечества, безъ родины, безъ друзей не самый ли есть нещастливѣйшій и гнуснѣйшій изъ тварей?“ Болтинъ считаетъ долгомъ протестовать противъ такого вывода. „Сказанное правило,—говоритъ онъ,—что историкъ не долженъ имѣть ни родственниковъ, ни друзей, имѣетъ смыслъ такой, что историкъ не долженъ укрывать и превращать истину бытій, по пристрастію къ своему отечеству, къ сродникамъ, къ друзьямъ своимъ, но всегда и про всѣхъ говоритъ правду, безъ всякаго лицепріятія. Таковые историки не могли бы быть ни презрѣнны, ни гнусны, но, напротивъ, достохвальны и достопочтенны“. Любопытнымъ образомъ, однако же, Болтинъ спѣшитъ, высказавши это положеніе, прибавить къ нему ту же оговорку, какъ выше Миллеръ: „Если-жъ говорить правду настоитъ опасность... то лучше умолчать; благовременное молчаніе ни порицанію, ни пересудамъ не подвергаетъ; лгать же ни въ пользу друга, ни во вредъ непріятеля не позволяется“ *). Такъ опредѣлялись границы свободы науки въ глазахъ наиболѣе передового изъ ея, если не оффиціальныхъ, то оффиціозныхъ представителей.

Такимъ образомъ, къ высказанному во „введеніи“ обобщенію, что XVIII вѣкъ есть вѣкъ практическаго взгляда на исторію и что только нѣмецкіе спеціалисты-историки составляютъ изъ этого правила нѣкоторое исключеніе, мы можемъ прибавить теперь нѣсколько индивидуальныхъ чертъ. Взглядъ на прикладное значеніе исторіи мѣняется, смотря по личности историка и по усвоенному имъ міровоззрѣнію; у одного это значеніе сводится къ непосредственной пользѣ примѣра, у другого—къ пользѣ нравственнаго назиданія, у третьяго къ пользѣ познанія причинъ. Въ концѣ столѣтія этотъ

суть не божескіе, но самоизвольные человѣческіе“ и, слѣдовательно, „оставлены на разсужденіе собственное человѣка“ (стр. 143—144, ср. 49—52). Болтинъ хвалитъ исключеніе Татищевымъ чудесъ изъ его свода и говоритъ, по частному случаю: „если сказанному чуду повѣрить... то не останется уже ни малыя свободы разуму къ разсужденію, все будетъ возможнымъ и естественнымъ“. Прим. на Щерб., II, 320, ср. ibid. 188, 419, 303—304 („Татищевъ, не будучи охотникъ до чудеснаго, иначе сіе бытіе предлагаетъ“), 260—261. Щербатовъ оставлялъ чудеса въ своемъ текстѣ, конечно, только вслѣдствіе своего формальнаго отношенія къ своему источнику, содержаніе котораго желалъ передать въ возможно полномъ видѣ.

*) Примѣчанія на Леклерка, II, стр. 120—121; ср. I, стр. 278.

взглядъ приспособляется къ научному взгляду, какъ у Щербатова въ формулѣ Юма, или даже переходитъ въ него, какъ въ органическомъ взглядѣ Болтина и въ защищаемой имъ нѣмецкой формулѣ.

Въ такомъ же контрастѣ стоятъ въ началѣ столѣтія взгляды нѣмецкихъ и русскихъ изслѣдователей на пріемы историческаго изученія, и этотъ контрастъ къ концу вѣка точно также сглаживается, уступая мѣсто новымъ критическимъ требованіямъ. Лучшимъ показателемъ этой перемѣны служитъ измѣненіе въ отношеніи изслѣдователя къ источнику.

Между тѣмъ какъ Байеръ владѣлъ всѣми пріемами классической критики, такъ что даже самъ Шлецеръ отчаивался когда-либо съ нимъ сравняться *), Татищеву, какъ мы видѣли, даже самая разница между источникомъ и изслѣдованіемъ остается непонятна. Русскими „исторіями", предшествовавшими его исторіи, онъ считаетъ и Нестора, и *Степенную книгу*, и хронографы. Съ этой точки зрѣнія, было весьма послѣдовательно сдѣлать то возраженіе, которое предвидитъ себѣ Татищевъ: „яко бы мы *древнихъ* исторій довольно имѣемъ, переправлять оныя нѣтъ нужды"; да притомъ же исторіи прошлаго „вновь лучше и полнѣе прежнихъ сочинить не можно, развѣ отъ себя что вымышлять"; слѣдовательно, нѣтъ никакой ни возможности, ни надобности писать новую „исторію древнихъ временъ" **). Смѣшивая источникъ съ ученою разработкой его, Татищевъ, собственно, самъ внутренно согласенъ съ этимъ наивнымъ возраженіемъ, обличающимъ въ немъ одного изъ тѣхъ „читателей лѣтописи, о которыхъ говоритъ Шлецеръ. Дѣйствительно, „все *новосочиненное* о древности правымъ назвать не можно", такъ какъ не можетъ же исторія выдумать новыхъ фактовъ. И Татищевъ спасается отъ своего сомнѣнія, вложеннаго въ уста возражателя, очень рискованнымъ способомъ. Исторія не можетъ создать новыхъ фактовъ, но она можетъ открыть ихъ вновь, открывши новые источники историческихъ свѣдѣній. „Когда благосклонный читатель увидитъ дополнки, изъясненія и доказательства отъ такихъ древнихъ писателей, о которыхъ онъ прежде не думалъ, чтобъ въ такомъ отъ насъ отдаленіи о насъ или нашихъ предкахъ писали... то онъ подлинно повѣритъ, что еще прилежному рачителю и другихъ потребныхъ къ тому языкахъ искусному, болѣе сего обрѣсти, изъяснить и дополнить можно... слѣдственно сей мой трудъ... въ продерзость мнѣ не поставитъ". И такъ, главное значеніе труда Татищева читатель долженъ былъ видѣть не въ обработкѣ лѣтописей, а въ подборѣ мѣстъ изъ древнихъ писателей, занимающемъ большую часть перваго тома *Исторіи*; и вообще, весь прогрессъ историче-

---

*) Автобіографія, стр. 70.

**) Предъизвѣщеніе, XV

ской науки могъ заключаться съ этой точки зрѣнія только въ накопленіи новыхъ свѣдѣній *). Этотъ наивный взглядъ Татищева на источники и на отношеніе къ нимъ его собственной *Исторіи* былъ причиной того капитальнаго недостатка его труда, о которомъ мы уже говорили: составивши добросовѣстнѣйшій сводъ лѣтописныхъ извѣстій, онъ сдѣлалъ его негоднымъ для ученаго употребленія тѣмъ, что выбросилъ ссылки, ввелъ въ текстъ безъ всякихъ оговорокъ собственныя соображенія и въ завершеніе всего—перевелъ его на современный языкъ.

При чисто литературныхъ пріемахъ Ломоносова нѣтъ надобности останавливаться на его отношеніи къ источникамъ. Что касается Щербатова, мы видѣли у него значительный шагъ впередъ сравнительно съ Татищевымъ. Онъ пишетъ исторію, а не лѣтопись, онъ отдѣляетъ свой разсказъ отъ источниковъ, дѣлаетъ на нихъ точныя указанія, издаетъ ихъ въ приложеніяхъ. Но, съ другой стороны, онъ все еще не можетъ вполнѣ отдѣлаться отъ стараго смѣшенія исторіи съ лѣтописью. Указывая точно свои источники, онъ, какъ мы видѣли, все еще не умѣетъ опредѣлить ихъ сравнительнаго достоинства и цѣнить ихъ по степени „просвѣщенія“ ихъ составителей... Отдѣливши историческое изложеніе отъ лѣтописнаго текста, онъ все еще не рѣшается дѣлать свободнаго выбора данныхъ и послушно слѣдуетъ за источникомъ, вызывая этимъ постоянныя нападенія Болтина. „Въ слѣдующій годъ, записываетъ, напримѣръ, Щербатовъ,—приключилась смерть князю половецкому, но о имени его неизвѣстно“. „Историкъ нашъ, замѣчаетъ Болтинъ по этому поводу,—въ точности переписывая лѣтописи, не хотѣлъ пропустить и сего обстоятельства, ни мало къ исторіи нашей не принадлежащаго... Въ числѣ прочихъ способностей для историка нужныхъ, и сія не изъ послѣднихъ есть, чтобъ умѣть дѣлать разборъ веществамъ“. Татищевъ, вносившій въ свой сводъ всѣ мелочи, „извиняется тѣмъ, что онъ не исторію писалъ, а лѣтопись, слѣдственно, и не долженъ былъ ничего исключать обрѣтаемаго въ тѣхъ спискахъ, съ которыхъ онъ списывалъ“. Что же касается исторіи, „не имѣетъ она нужды въ такихъ мелочахъ“; „союзъ дѣяній и происшествій, причины ихъ слѣдствія видѣть нужно, но подобныя мелочи лѣтописцу токмо употреблять прилично, а не историку“ **). Дѣйствительно собственныя работы Болтина представляютъ намъ новый шагъ впередъ сравнительно съ Щербатовымъ. Уже по самой своей формѣ онѣ совершенно отдѣляются отъ источника и часто переходятъ въ самостоятельное изслѣдованіе, подчиняющее

---

*) Ср. отзывъ Шлецера въ его Автобіографіи, стр. 53.

**) Составлено изъ нѣкоторыхъ мѣстъ Прим. на Щерб., II, стр 35—36, 295—296, 375, 217; также стр. 36, стр. 457.

источникъ поставленному вопросу. Нужно, впрочемъ, прибавить, что когда форма *Исторіи* не стѣсняла Щербатова, и онъ могъ задаться цѣлью самостоятельнаго изслѣдованія, какъ, наприм., во многихъ мѣстахъ своихъ посмертныхъ *Примѣчаній на отвѣтъ* Болтина. Съ другой стороны, нельзя не замѣтить, что форма общей *Русской исторіи* и до сихъ поръ осталась роковой для русскихъ изслѣдователей: ни одинъ изъ общихъ историковъ Россіи не избѣжалъ до сихъ поръ, въ большей или меньшей степени, грѣха - преобладанія ассоціацій „по смежности" надъ ассоціаціями „по сходству".

Итакъ, отъ смѣшенія источника съ ученою обработкой русская исторіографія XVIII в. очень постепенно перешла къ пересказу источника, и только къ концу вѣка научилась относиться къ нему вполнѣ свободно. Переводъ источника, изложеніе источника и изслѣдованіе вопроса по источнику—таковы три стадіи, послѣдовательно пройденныя нашею исторической наукой прошлаго вѣка. Я говорю здѣсь о *русской* исторической наукѣ, такъ какъ критическіе пріемы европейской науки за весь вѣкъ оставались для нашихъ изслѣдователей недосягаемыми образцами, и *ихъ* внутреннее развитіе совершилось слишкомъ далеко отъ элементарной методической выучки русскихъ работниковъ науки, чтобъ имѣть на русскую науку непосредственное вліяніе. Какъ бы то ни было, эта выучка въ теченіе вѣка все же нѣсколько сократила разстояніе, отдѣлявшее европейскихъ спеціалистовъ отъ русскихъ „читателей лѣтописей".

Если во взглядахъ на задачи исторической науки и на пріемы историческаго изслѣдованія мы могли замѣтить и большой контрастъ между русскими и нѣмецкими изслѣдователями, и значительное вліяніе послѣднихъ на первыхъ, то въ общихъ результатахъ изученія русской исторіи, въ представленіяхъ объ общемъ ходѣ ея найдемъ нѣчто совершенно противуположное. Вмѣсто контраста встрѣтимъ полнѣйшее сходство: вмѣсто вліянія нѣмцевъ на русскихъ, должны будемъ предположить вліяніе русскихъ на нѣмцевъ. Нѣмецкіе изслѣдователи нашли готовую схему русской исторіи и, не имѣя своей собственной, вполнѣ ей подчинились. Была ли она выработана самими русскими изслѣдователями, или же и они нашли ее готовой, и гдѣ именно, объ этомъ рѣчь впереди. На этотъ разъ мы познакомимся только съ самою схемой.

Нельзя не отмѣтить, что схема эта является вполнѣ, во всѣхъ своихъ важнѣйшихъ частяхъ, выработанной уже у Татищева. По его представленію, русская исторія дѣлится на три періода. Первый періодъ начинается съ „пришествія славянъ въ Русь изъ Вандаліи" и кончается смертью Мстислава, сына Мономаха (1132 г.). Во все это время Россія была наслѣдственною монархіей, управляемою „единовластными государями". Русская династія началась еще „славянскими государями" до Рюрика: „когда же оное колѣно мужеска рода пре-

сѣклось (Татищевъ разумѣетъ Гостомысла), то по женскому варяжскій Рюрикъ *наслѣдственно и по завѣщанію* престолъ русскій пріявъ, наипаче *самовластіе утвердилъ, которое до кончины Мстислава Петра ненарушимо содержалось*... и наслѣдіе престола шло порядкомъ первородства или по опредѣленію государя". За все это время „государство въ славѣ, чести и богатствѣ непрестанно процвѣтало и въ силѣ умножалось." Во второй періодъ, продолжавшійся отъ смерти Мстислава до вокняженія Ивана III (1462 г.), „князи раздѣлились и сдѣлалась аристократія или паче расчлененное тѣло". Причиной этого раздѣленія было „междоусобіе наслѣдниковъ", которые, „бывши прежде подъ властью, такъ усилились, что великаго князя за равнаго себѣ почитать стали и ему ничто болѣе, какъ титулъ къ преимуществу остался, а силы никакой не имѣли". Это „несогласіе" и вытекавшее изъ него „безсиліе" повели къ цѣлому ряду пагубныхъ послѣдствій. Прежде всего они дали „свободный способъ татарамъ, нашедшимъ все разорить и подъ власть свою покорить". Затѣмъ, пользуясь тѣмъ, что „самодержавство, сила и честь русскихъ государей угасла", начали отлагаться окраины, прежде покорныя. Литовскіе князья, покоренные въ первый періодъ, и „бывшіе въ подданствѣ", теперь „не токмо подданства и послушанія великимъ князьямъ отреклись, но многія княженія русскія, едино за другимъ, овладавъ, стали великими князьями литовскими и русскими писаться". Съ другой стороны, и „Новградъ, Плесковъ и Полоцкъ, учиня собственныя демократическія правительства, такожъ власть великихъ князей уничтожили". Съ Ивана III начинается третій періодъ русской исторіи. „Іоаннъ Великій, опровергнувъ власть татарскую, *паки совершенную монархію возставилъ* и о наслѣдіи престола единому сыну учиня законъ, соборомъ утвердилъ". Другихъ братьевъ онъ отдалъ „въ полную власть и судъ великаго князя или царя, черезъ что въ краткое время сила и честь государя умножились". Прикладная цѣль схемы ясна. „Изъ сего всякъ можетъ видѣть, сколько монаршеское правленіе государству нашему прочихъ полезнѣе, чрезъ которое богатство, сила и слава государства умножается, а черезъ прочія умаляется и гибнетъ" *).

Итакъ, „исторія древняго правительства русскаго" дѣлится на три періода: періодъ наслѣдственной монархіи, періодъ раздробленія, „безпорядочной" аристократіи съ его послѣдствіями: татарскимъ игомъ, усиленіемъ Литвы и развитіемъ сѣверныхъ республикъ, и, наконецъ, періодъ возстановленія наслѣдственной монархіи. Правда, государи третьяго періода носили царскій титулъ, а государи перваго—великокняжескій; но власть великихъ князей не уступала власти царской, и царскаго титула князья кіевскіе не принимали

*) Р. И. I, стр. 541—545. Разговоръ, стр. 138.

только потому, что не хотѣли. „Хотя императоры константинопольскіе, особливо Алексѣй Комнинъ, по тѣсному союзу и ближнему свойству, Владиміру II прислалъ корону, скипетръ, державу и сосудъ помазанія, которые всѣ, кромѣ короны, и до днесь хранятся, а притомъ писалъ его василеусъ или царь, *но онъ сего титула не пріялъ, поставляя великій князь равенъ оному*" (I, стр. 540).

На эту схему нашъ панегиристъ надѣваетъ ложно-классическую тогу. Выразивши мысль, что въ россійской исторіи находятся „равныя дѣла греческимъ и римскимъ", Ломоносовъ въ доказательство проводитъ полную параллель между русскою и римскою исторіей. „Сіе уравненіе,—говоритъ онъ,—предлагаю по причинѣ нѣкотораго общаго подобія въ порядкѣ дѣяній россійскихъ съ римскими, гдѣ нахожу владѣніе первыхъ королей соотвѣтствующее числомъ лѣтъ государей самодержавству первыхъ самовластныхъ великихъ князей россійскихъ; гражданское въ Римѣ правленіе подобно раздѣленію нашему на разныя княженія и на вольные городы, нѣкоторымъ образомъ гражданскую власть составляющему; потомъ единоначальство кесарей представляю согласнымъ самодержавству государей московскихъ". Сравненіе представляло, однако, нѣкоторое неудобство: республиканскій періодъ, сопоставленный съ раздробленіемъ Руси, представлялся самою блестящею порой въ исторіи Рима, а эпоха „кесарей" временемъ упадка. Литературному уподобленію это, впрочемъ, не мѣшаетъ, а только даетъ матеріалъ для новой литературной фигуры контраста. „*Одно* примѣчаю несходство, что Римское государство гражданскимъ владѣніемъ возвысилось, самодержавствомъ пришло въ упадокъ. Напротивъ того, разномысленною вольностью Россія едва не дошла до крайняго разрушенія; самодержавствомъ какъ съ начала усилилась, такъ и послѣ несчастливыхъ временъ умножилась, укрѣпилась, прославилась". Не мѣшаетъ это „несходство" и ораторскому заключенію: „благонадежное имѣемъ увѣреніе о благосостояніи нашего отечества, видя въ единоначальномъ владѣніи залогъ нашего блаженства, *доказаннаго толь многими и толь великими примѣрами*" и т. д. *). Какъ видимъ, Ломононосовъ такъ занятъ формой, что забываетъ привести ее въ гармонію съ содержаніемъ.

Что касается Болтина, онъ и здѣсь вполнѣ повторяетъ Татищева. Прямо на него ссылается онъ въ разсказѣ о регаліяхъ и о томъ, какъ Владиміръ добровольно отказался отъ царскаго титула. Древнее правленіе и онъ склоненъ, съ нѣкоторыми поправками, о которыхъ будемъ говорить сейчасъ, считать монархическимъ. О причинѣ татарскаго ига онъ выражается: „по моему мнѣнію, главнѣйшая и едва ли не единственная причина была столь скорому и удобному

---

*) Др. росс. исторія, стр. 3.

завоеванію татарами Россіи раздѣленіе Россіи на толикія части и изъ того проистекшее несоюзство, зависть и ненавидѣніе между князей; не имѣлъ ни одинъ изъ нихъ въ виду общія пользы" и т. д. *).

Теперь послушаемъ нѣмцевъ, не Байера, который не занимался составленіемъ общихъ схемъ, а Миллера и Шлецера. Кругъ идей ихъ все тотъ же, какой мы видѣли у Татищева и Ломоносова; часто это даже тѣ же самыя выраженія. Вотъ нѣсколько фразъ изъ *Опыта новѣйшей русской исторіи* Миллера: „Исторія государства подобна картинѣ, которая имѣетъ свои тѣни, даже необходимыя для того, чтобъ тѣмъ ярче выступало свѣтлое, возвышенное. Никогда мы не оцѣнили бы вполнѣ заслугъ тѣхъ великихъ монарховъ, которые снова соединили подъ одною державой раздробленное на множество удѣловъ Русское государство, освободили отъ подданства томившееся подъ чужимъ игомъ отечество, если бы не предшествовала этому великая государственная ошибка, что отцы старались подѣлить государство между дѣтьми, и если бы именно это раздробленіе и междоусобія князей не открыли дороги татарамъ". Это объясненіе хода русской исторіи изъ „великой государственной ошибки", сперва совершенной, потомъ исправленной, перешло цѣликомъ и къ Шлецеру. Вотъ въ какихъ словахъ, напоминающихъ Ломоносова, пересказываетъ онъ нашу схему. „Свободнымъ выборомъ въ лицѣ Рюрика (объ этомъ отступленіи отъ схемы см. ниже) основано государство. Полтораста лѣтъ прошло, пока оно получило нѣкоторую прочность (опять отступленіе); судьба послала ему 7 правителей, каждый изъ которыхъ содѣйствовалъ развитію молодого государства, и при которыхъ оно достигло могущества, какъ Римъ, при своихъ 7 короляхъ. Но едва оно достигло этой степени, какъ раздѣлы Владиміровы и Ярославовы низвергли его въ прежнюю слабость, такъ что, въ концѣ концовъ, оно сдѣлалось добычей татарскихъ ордъ, пріученныхъ Чингисъ-ханомъ къ побѣдамъ. Больше 200 лѣтъ томилось оно подъ игомъ этихъ варваровъ. Наконецъ, явился великій человѣкъ, который отмстилъ за сѣверъ, освободилъ свой подавленный народъ, и страхъ своего оружія распространилъ до столицъ своихъ тирановъ. Тогда возстало государство, поклонявшееся прежде ханамъ; въ творческихъ рукахъ Ивана создалась могучая монархія... Россія переходила отъ завоеванія къ завоеванію" и т. д. **).

---

*) Прим. на Леклерка I, стр. 251, 58. Прим. на Щерб. II, стр. 474—479.

**) Probe russischer Annalen, 89—96. Про Владиміра Великаго здѣсь говорится: „этотъ великій государь, одною рукой давая счастье новому государству, другою повергалъ его въ печальное разореніе; его любовь къ отечеству превосходила его политическій смыслъ: онъ раз-

Такимъ образомъ, въ общей схемѣ русской исторіи мы не видимъ такихъ измѣненій къ концу вѣка, какія видѣли во взглядахъ на задачи и пріемы историческаго изученія. И оффиціозный характеръ занятій русскою исторіей, и направленіе изученія преимущественно на внѣшнюю исторію, и соотвѣтственный характеръ и размѣръ захваченнаго изученіемъ матеріала,— все это не давало возможности изслѣдователямъ выйти изъ заколдованнаго круга старой схемы и придти къ какому-нибудь болѣе глубокому представленію объ общемъ ходѣ русскаго историческаго процесса. Самое глубокое, что было по этому поводу придумано въ прошломъ вѣкѣ, это были, несомнѣнно, теоріи Болтина. Эти теоріи впервые устанавливали нѣкоторое внутреннее единство и связь русской исторіи. Но какою же цѣной было получено это представленіе о единствѣ исторіи? Цѣной установленія гипотетическаго единства. неизмѣнности русскихъ нравовъ и русскаго законодательства на всемъ протяженіи исторіи вплоть до Петра Великаго. Болтинъ признавалъ, правда, нѣкоторыя измѣненія — нѣкоторую смѣну фазисовъ, въ исторіи нравовъ и законодательства; но онъ выводилъ эти фазисы не изъ внутренняго процесса развитія, а изъ различія періодовъ той же самой извѣстной намъ исторической схемы. Соотвѣтственно періодамъ нашей схемы онъ устанавливалъ три фазиса въ исторіи „законовъ" и обусловливающихъ ихъ „нравовъ": фазисъ первоначальнаго единства нравовъ и законовъ, затѣмъ ихъ разъединенія въ удѣльномъ періодѣ и, наконецъ, ихъ новаго сліянія въ возсоединенной монархіи. Движущій принципъ этихъ историческихъ измѣненій взятъ былъ, слѣдовательно, извнѣ и не только вытекалъ изъ внутренней сущности русской исторической жизни, но скорѣе. какъ бы нарушалъ ея правильное, единообразное теченіе. Однимъ словомъ, единственная органическая теорія нашего прошлаго, существовавшая въ прошломъ вѣкѣ. основывалась на отрицаніи самаго принципа внутренней. органической эволюціи русскаго общества. Въ своемъ схематизмѣ она подчинилась, стало быть, той же господствовавшей схемѣ русскаго историческаго процесса.

Однако же, при всей наблюдаемой нами неизмѣнности общей схемы, въ подробностяхъ ея мы встрѣчаемъ къ концу вѣка одно измѣненіе, на которое тѣмъ необходимѣе обратить вниманіе. Измѣненіе это, какъ можно было видѣть уже изъ словъ Шлецера, касается, начала русской исторіи. Изображеніе начала русской исторіи было, дѣйствительно, самымъ слабымъ мѣстомъ извѣ-

---

дѣлилъ.." и т. д. „и уничтожилъ этимъ могущество государства". Ту же схему, усовершенствованную для мнемоническихъ цѣлей, мы находимъ въ извѣстномъ дѣленіи Шлецера: Russia nascens (862—1015 150 лѣтъ), Russia divisa (1015—1216—200 лѣтъ), Russia oppressa (1216 1462 250 лѣтъ), Russia victrix (1462—1762=300 лѣтъ).

стной намъ схемы. Въ этомъ изображенiи историческiя явленiя теряли историческую перспективу и окрашивались въ одинъ цвѣтъ; князья кiевскаго перiода, начиная съ самого Рюрика или еще раньше, разсматривались съ точки зрѣнiя царскаго перiода русской исторiи. Это были единодержавные и самодержавные монархи, обладавшiе уже въ самомъ началѣ исторiи огромнымъ государствомъ съ точно опредѣленными границами и наслѣдовавшiе другъ другу съ незапамятныхъ временъ по строго установленнымъ правиламъ престолонаслѣдiя. Противъ этихъ чертъ схемы, извѣстныхъ намъ изъ Татищева и еще болѣе утрированныхъ Ломоносовымъ, и вооружаются изслѣдователи второй половины столѣтiя.

Исходною точкой татищевской схемы было, какъ мы видѣли, мнѣнiе, что Рюрикъ получилъ власть по наслѣдству отъ славянскихъ князей черезъ послѣдняго въ ихъ родѣ Гостомысла. Такимъ образомъ, норманнская династiя получала характеръ легитимности, гармонировавшiй съ ея предполагавшимся монархическимъ характеромъ. Миллеръ первый возсталъ противъ этого мнимаго родства и представилъ появленiе князей на Руси совсѣмъ въ иномъ освѣщенiи. Какимъ образомъ, спрашиваетъ Миллеръ, для успокоенiя *внутреннихъ* смутъ новгородцы могли обратиться къ только что выгнанному племени, когда достаточно было для *этой* цѣли выбрать кого-нибудь изъ своей среды? Очевидно, цѣль призванiя была другая: „новгородцы были *внѣшними* врагами окружены, противу которыхъ имъ помощь и защита были потребны. Изгнанные варяги паки явились съ укрѣпленною рукой“, въ качествѣ защитниковъ. Внѣшними непрiятелями, опасными для новгородцевъ, были, по Миллеру, бiармiйцы, лифляндцы, эстляндцы, варяги. Противъ нихъ и были построены на окраинахъ три укрѣпленныхъ за́мка, въ которыхъ поселились Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ *). Шлецеръ повторяетъ это мнѣнiе въ своемъ *Несторѣ*. „Они (новгородцы) не искали государя, самодержца въ настоящемъ смыслѣ,—говоритъ онъ. Люди, мало понимавшiе, что значитъ король, не могли вдругъ и добровольно перемѣнитъ гражданское свое право на монархическое. Они искали только защитниковъ, предводителей, оберегателей границъ (исл. Landvärnarmann) на случай прихода новыхъ грабителей. Посему условились они съ тремя, которыхъ, однако, изъ предосторожности не впустили въ главное свое мѣсто, но расположили по тремъ крѣпостямъ, наиболѣе нуждавшимся въ защитѣ“ **).

Болтинъ существованiе Гостомысла также признаетъ лишь

---

*) О народахъ, издревле въ Россiи обитавшихъ, стр. 103, 104, переводъ Долинскаго.

**) Т.-е. Ладога—отъ другихъ варяговъ, Бѣлоозеро—отъ бiармiйцевъ, Изборскъ—отъ латышей. Несторъ, т. I, стр 305 309, 337.

условно; родство его съ Рюрикомъ считаетъ проблематическимъ и призваніе трехъ братьевъ представляетъ совершенно по-миллеровски. „По обстоятельствамъ можно заключить, возражаетъ онъ Щербатову, что власти самодержавныя симъ князьямъ не дано... ихъ главная была должность охранять границы и начальствовать войсками. Въ прочемъ все правленіе государственное находилось въ рукахъ посадника, тысяцкаго и бояръ, составлявшихъ верховный совѣтъ, а важныя дѣла, яко объявить войну, заключить миръ, наложить подати... зависѣли отъ опредѣленій всего народа" *). Шлецеръ въ этомъ выводѣ отмѣчаетъ только одну ошибку; „въ младенчествѣ державъ, — говоритъ онъ, — никто не помышлялъ объ опредѣленномъ государственномъ правѣ, никому не приходило на умъ отличать границы между властью князя и правами народа" **).

Такимъ образомъ, въ связи съ вопросомъ о характерѣ первоначальной княжеской власти самъ собой возникалъ болѣе общій вопросъ—о характерѣ всего первоначальнаго быта вообще. „Сравнивъ тогдашнее состояніе могущества и величества славянскаго съ нынѣшнимъ,—заявлялъ по этому поводу Ломоносовъ, едва чувствительное нахожу въ нихъ приращеніе... Безъ сомнѣнія, заключить можно, что величество славянскихъ народовъ, вообще считая, стоитъ близъ тысячи лѣтъ почти на одной мѣрѣ" ***) Противъ такого воззрѣнія историки второй половины столѣтія считали необходимымъ протестовать во имя исторической перспективы. Но, протестуя одинаково противъ преувеличеннаго взгляда татищевско-ломоносовской схемы на древнее „величество" русскихъ, противники этой схемы сами не могли согласиться другъ съ другомъ относительно степени просвѣщенности древней Руси и раскололись по этому вопросу на два враждебные лагеря. Часто называли и называютъ эти два лагеря—одинъ русскимъ, другой нѣмецкимъ. Взглядъ, по которому древняя Русь стояла на сравнительно высокой степени развитія, считаютъ специфически русскимъ, а мнѣніе о первоначальной дикости и неразвитости русскаго быта—специфически нѣмецкимъ. Едва ли, однако же, такое представленіе не есть запоздалый отголосокъ того патріотическаго раздраженія, которое вызвано было послѣднимъ мнѣніемъ среди нѣкоторыхъ русскихъ изслѣдователей. Можетъ быть, такъ

---

*) Прим. на Щерб. т. I, стр. 176, ср. т. II, стр. 305, и т. I, стр. 231, гдѣ Болтинъ приходитъ къ тому же выводу, что первымъ князьямъ не дано самодержавной власти, на основаніи договоровъ съ греками, заключенныхъ отъ лица не только великаго князя, но и другихъ князей и бояръ.

**) Несторъ, т. III, стр 110. „Полудикіе еще люди жили подъ демократическимъ или, лучше, ни подъ какимъ правленіемъ" (т. I, гл. II). Шлецеръ смѣется и надъ представленіемъ, будто у „морскихъ разбойниковъ" могло существовать правильное престолонаслѣдіе (т. II, гл. I).

***) Др. росс. ист., стр. 8—9.

представлялось дѣло и потому, что самый выдающійся изъ русскихъ изслѣдователей, Болтинъ, стоялъ на сторонѣ „русскаго“ мнѣнія о высокой культурѣ древней Руси, а самый крупный изъ нѣмецкихъ изслѣдователей, Шлецеръ,—на сторонѣ „нѣмецкаго“ мнѣнія о низкой культурѣ. Достаточно, однако, вспомнить ихъ противниковъ, вызвавшихъ и того и другого на полемику по этому вопросу, чтобы рѣшить, что ни въ одномъ мнѣніи не было ничего специфически русскаго или нѣмецкаго. „Русскій“ взглядъ Болтина развитъ былъ имъ въ полемикѣ съ русскимъ изслѣдователемъ Щербатовымъ, стоявшимъ на точкѣ зрѣнія Шлецера. „Нѣмецкій“ взлядъ Шлецера столкнулся съ теоріями нѣмца Шторха, защищавшаго взгляды, шедшіе гораздо дальше болтинскихъ. Такимъ образомъ, Болтинъ подаетъ здѣсь руку Шторху, а Шлецеръ—Щербатову. И всѣ четверо одинаково рѣшительно возражаютъ противъ крайностей татищевско-ломоносовской схемы.

Въ противуположность этой схемѣ Щербатовъ объявилъ, что начало русской исторіи должно было застать населеніе въ состояніи дикости. Но, развивая свое представленіе объ этой дикости, онъ пересолилъ и изобразилъ древнихъ жителей Россіи „кочевымъ народомъ“ *). Болтинъ уже въ *Примѣчаніяхъ на Леклерка* протестовалъ противъ такого представленія: несомнѣнно, руссы „жили въ обществѣ, имѣли города, правленіе, промыслы, торговлю, сообщеніе съ сосѣдними народами, письмо“ и т. д.; славяне принесли имъ и „законы“ **). Но, при всемъ томъ, Болтинъ далекъ отъ представленія о древнемъ „могуществѣ и величествѣ“ Россіи. Тому же Щербатову онъ возражаетъ, когда тотъ удерживаетъ ломоносовскія представленія объ обширныхъ размѣрахъ Россіи въ началѣ ея исторіи. „Границы древнихъ руссовъ въ то время, какъ исторія наша начинается, не простирались ни до Молдавіи, ни до Бѣлаго моря, ни до Дону, а до Вислы и никогда“. Точно также онъ не имѣетъ и преувеличенныхъ понятій о высотѣ древней русской цивилизаціи. „Образъ жизни, правленія, чиностоянія, воспитанія, судопроизводства тогдашняго вѣка русскихъ таковъ точно былъ,—замѣчаетъ онъ,—каковъ первобытныхъ германцевъ, британцевъ, франковъ и всѣхъ вообще народовъ при первоначальномъ ихъ со-

---

*) Росс. ист., т. I, стр. 11: „Хотя въ Россіи прежде крещенія ея и были грады, но оные были яко пристанищи, а въ протчемъ народъ, а особливо знатнѣйшіе люди, упражнялся въ войнѣ и въ набѣгахъ, по большей части въ поляхъ, переходя съ мѣста на мѣсто, жилъ“. Впослѣдствіи, въ Примѣчаніяхъ на отвѣтъ Болтина, Щербатовъ, не отказываясь отъ своихъ представленій, старался растолковать это мѣсто въ примирительномъ смыслѣ. признавъ, кромѣ „градовъ“, и существованіе „законовъ“, „ибо и кочевое общество безъ нѣкіихъ условій жить въ обществѣ не можетъ“, и торговлю, мореплаваніе. Стр. 567—570.

**) Т. I, стр. 73; т. II, стр. 108—112, 306—308.

вокупленіи въ общества“ *). Если развиваемыя здѣсь понятія не вполнѣ опредѣленны, то нужно помнить, что опредѣленныхъ представленій о первобытной культурѣ и не имѣла тогдашняя наука.

Шлецеръ въ своихъ представленіяхъ о древней русской культурѣ исходилъ точно также изъ критики ломоносовскаго воззрѣнія. По мнѣнію Шлецера, Ломоносовъ „совершенно исказилъ точку зрѣнія на средневѣковую русскую исторію. По его изображенію можно было бы подумать, что Россія въ теченіе всего этого времени была единствомъ, единымъ государствомъ; но она была такъ же раздроблена на княжества, какъ Франція, и еще болѣе, чѣмъ Германія. Не было могущественнаго великаго князя, который бы могъ объединить цѣлое: этотъ великій князь былъ въ родѣ короля Иль-де-Франса, о которомъ графы Шампанскій и Тулузскій ничего и не знали“ **). Но, развивая собственную точку зрѣнія, Шлецеръ, подобно Щербатову, впалъ въ крайность. Вотъ какими красками изображалъ онъ древнее состояніе Россіи: „Конечно, люди тутъ были, Богъ знаетъ, съ которыхъ поръ и откуда, но люди безъ правленія, жившіе подобно звѣрямъ и птицамъ, которые наполняли ихъ лѣса“. „Кто знаетъ, долго ли бы еще пробыли они въ этомъ состояніи блаженной для получеловѣка безчувственности, если бы около этого времени не напала на нихъ шайка разбойниковъ... Тутъ только они начали разсуждать и приняли мѣры для доставленія себѣ внѣшней защиты и внутренняго спокойствія (именно призвали норманновъ). Несмотря, однако же, на это, люди сіи, все еще отдѣленные отъ просвѣщенныхъ народовъ, могли долго оставаться въ глубокомъ невѣжествѣ. Ибо просвѣщеніе, занесенное въ эту пустыню норманнами, было не лучше того, какое лѣтъ 120 тому назадъ европейскіе козаки принесли къ камчадаламъ“ ***). Только византійское вліяніе и христіанство дали толчокъ къ просвѣщенію Руси.

Естественно, что при такомъ взглядѣ многія явленія древней русской исторіи представлялись Шлецеру непонятными и невѣроятными. Отвергая какое бы то ни было промышленное развитіе древней Руси, онъ не признаетъ существованія въ то время металлическихъ денегъ и останавливается въ полнѣйшемъ недоумѣніи передъ походами князей въ Константинополь и договорами ихъ съ Византіей. Зачѣмъ было такъ часто ѣздить норманнамъ въ Константинополь, спрашиваетъ онъ, не допуская мысли о торговлѣ, — развѣ для прінсканія службы? Понятно, что и смыслъ торговыхъ договоровъ остается для него совершенно непонятнымъ послѣ того, какъ онъ рѣшился не замѣчать въ нихъ главнаго—торговли. Весь второй и третій томъ *Нестора* проходитъ въ колебаніяхъ и сомнѣ-

*) Прим. на Щерб., т. I, стр. 55; Прим. на Лекл., т. II, стр 308.

**) Автобіографія, стр. 56.

***) Несторъ, I, стр. 419—420; II, стр. 180.

ніяхъ относительно ихъ подлинности“, а въ приложеніи къ сочиненію Шлецеръ словами Добровскаго объявляетъ ихъ „дѣйствительно подложными“ и принимаетъ мнѣніе, что поддѣлка совершена въ XIII—XIV столѣтіи *).

Ошибочные выводы Шлецера вытекали изъ ошибочныхъ посылокъ. Такъ какъ древняя Русь находилась на низкой ступени развитія, — разсуждалъ онъ, — то, слѣдовательно, въ ней не могло существовать торговли. Болтинъ за двадцать лѣтъ до изданія *Нестора* разсуждалъ наоборотъ и гораздо правильнѣе. Такъ какъ торговля на Руси существовала въ глубокой древности, то, стало быть, уже тогдашняя Русь достигла нѣкоторой степени развитія **). На этой, мысли о значеніи древней русской торговли экономистъ Шторхъ, учитель Александра I, основалъ цѣлую теорію ***). Приведя свидѣтельства о древне-русской торговлѣ, онъ задается вопросомъ: чѣмъ же можно было торговать въ этихъ странахъ? Хлѣбъ, мѣха, рыба, воскъ и медъ, — словомъ, туземные продукты, конечно, не могли составить предмета такихъ обширныхъ торговыхъ спекуляцій, о какихъ у насъ имѣются свѣдѣнія. Шторхъ разрѣшаетъ загадку признаніемъ, что торговля имѣла, главнымъ образомъ, транзитный характеръ. Россія, по его мнѣнію, вѣроятно, еще со временъ классической древности, была кратчайшимъ торговымъ путемъ для индійскихъ и вообще восточныхъ товаровъ—изъ Чернаго моря въ Балтійское. Только съ VIII и XI вѣковъ итальянскіе города начали завязывать прямыя сношенія съ Константинополемъ и Малою Азіей; но и тогда вся *сѣверная* Европа продолжала снабжаться восточными продуктами изъ Балтійскаго моря. Торговля эта была въ рукахъ норманновъ съ одной стороны, понтійскихъ грековъ—съ другой. Но мало-по-малу въ нее начали втягиваться и славянскія племена, жившія по великому водному пути „изъ варягъ въ греки“. „Первымъ благодѣтельнымъ послѣдствіемъ“ этой торговли было построеніе городовъ, „обязанныхъ, можетъ быть, исключительно ей и своимъ возникновеніемъ, и своимъ процвѣтаніемъ“. „Кіевъ и Новгородъ сдѣлались скоро складочными мѣстами для левантской торговли; въ обоихъ уже съ древнѣйшихъ временъ ихъ существованія поселились иностранные купцы“. Далѣе „эта же торговля вызвала второй, несравненно болѣе важный переворотъ, благодаря которому Россія получила прочную политическую организацію. Предпріимчивый духъ

---

*) Несторъ, II, стр. 751—759; III, стр. 90, 208—210, 685—686.

**) Примѣчанія на Леклерка, II, стр. 108, 112; Примѣчанія на Щербатова, I, стр. 200. Изъ лѣтописнаго разсказа о хитрости Олега, выдавшаго себя и дружину за купцовъ, какъ замѣтилъ еще Болтинъ, „два обстоятельства важныя открываются: 1) что руссы съ греками издревле вели торговлю и 2) что гости почитались въ числѣ людей знатныхъ“.

***) Его прямой источникъ, впрочемъ, Фишеръ: „Исторія торговли“.

норманновъ, ихъ торговыя связи съ славянами и частыя поѣздки черезъ Россію положили основаніе знаменитому союзу, подчинившему великій, многочисленный народъ кучкѣ чужеземцевъ". Объяснивъ торговлей и происхожденіе городовъ, и появленіе первыхъ князей, Шторхъ отмѣчаетъ затѣмъ и ту важную роль, которую продолжаетъ играть торговля въ дѣятельности послѣднихъ. „Рюрикъ нашелъ свой народъ уже обладающимъ значительною и выгодною торговлей", заведенною въ немалой степени, благодаря усиліямъ его земляковъ. Старанія первыхъ князей сообщили этой торговлѣ дальнѣйшее развитіе. Для характеристики ихъ дѣятельности въ этомъ направленіи Шторхъ сопоставляетъ данныя лѣтописей и византійскихъ писателей, передаетъ извѣстный разсказъ Константина Багрянороднаго о ежегодныхъ торговыхъ караванахъ, направляющихся Днѣпромъ и Чернымъ моремъ въ Константинополь, разсказываетъ о военныхъ походахъ князей на Византію и подчеркиваетъ торговый характеръ договоровъ съ греками. Борьбу князей съ южными кочевниками, хазарами и печенѣгами онъ объясняетъ необходимостью охранять интересы русской торговли, а изъ желанія расширить ея размѣры выводитъ завоевательные планы князей на Черномъ и Каспійскомъ моряхъ, въ Крыму и на Кавказѣ *).

Теорія Шторха, получившая въ наши дни блестящее развитіе и обставленная остроумною ученою аргументаціей, естественно, должна была вызвать противорѣчіе Шлецера. Для него эта теорія есть „не только не ученая, но и уродливая мысль, которая, конечно, опровергла бы все, что до сихъ поръ думали о древней Россіи... (именно), что тогда люди, обитавшіе по ту и по сю сторону Балтійскаго моря, жили подобно ирокезамъ и алгонкинцамъ, не имѣя особенныхъ товаровъ, просвѣщенія, правленія, денегъ, грамоты; вслѣдствіе чего, навѣрное, не въ состояніи были производить остъиндскій торгъ вышеписаннымъ образомъ" **).

Можетъ быть, полемическій жаръ, съ которымъ Болтинъ опровергалъ представленіе Леклерка и Щербатова о первобытной дикости, а Шлецеръ—представленія Шторха о древнемъ просвѣщеніи Руси, былъ самою главною причиной, почему эти воззрѣнія, въ сущности, вовсе не исключавшія другъ друга, часто понимались и во время самыхъ споровъ, и еще болѣе въ послѣдующее время, какъ абсолютно противуположныя и несовмѣстимыя. Конечно, представители мнѣнія о варварствѣ древней Руси доходили въ полемикѣ до крайностей, легко, впрочемъ, объяснимыхъ при зачаточномъ

---

*) Heinr. Storch; „Historisch-statistisches Gemälde des deutschen Reichs am Ende des achtzehnten Jahrhunderts". IV Theil. Leipzig, 1800, стр. 48—100.

**) Несторъ, I, стр. 388—390. Шлецеръ негодуетъ, что Шторхъ „отвергаетъ теоретическія доказательства" и ссылается на (мнимые, по Шлецеру) факты.

тогда состоянiи знанiй о первобытной культурѣ. Но, съ другой стороны, защитники древней культуры вовсе не предрѣшали вопроса о ея высотѣ. Какъ мы видѣли, Болтинъ готовъ считать культурное развитiе древней Руси весьма слабымъ. Точно также и Шторхъ всю свою теорiю строилъ на *транзитномъ* характерѣ древнѣйшей торговли, признавая, что собственное промышленное развитiе славяно-литовскихъ племенъ было слишкомъ незначительно, чтобы вызвать появленiе *активной* торговли въ ихъ средѣ. Торговля является у него, такимъ образомъ, внѣшнею организующею и цивилизующею силой, а вовсе не продуктомъ туземнаго внутренняго развитiя. Это обстоятельство проводило, конечно, рѣзкую черту между его ученiемъ и сходными, по внѣшнему виду, утвержденiями Ломоносова, что „великiй Новгородъ, Ладога, Смоленскъ, Кiевъ, Полоцкъ паче прочихъ городовъ процвѣтали силою и купечествомъ, которое изъ Днѣпра по Черному морю, изъ южной Двины и изъ Невы по Варяжскому въ дальныя государства простиралось и состояло въ товарахъ разнаго рода и цѣны великой“. Противъ татищевско-ломоносовскаго взгляда направлены были одинаково усилiя всѣхъ изслѣдователей, и нельзя не признать, что по отношенiю къ первому перiоду русской исторiи старая схема была совершенно поколеблена къ концу столѣтiя. Начало исторiи и Болтинымъ, и Шлецеромъ понималось уже какъ совершенно непохожее на правильное монархическое устройство съ наслѣдственною передачей власти. Разница между ними вовсе не такъ велика, какъ ихъ общее отличiе отъ стараго взгляда. Однако же, какъ я уже говорилъ, впослѣдствiи эта второстепенная разница была выдвинута на первый планъ, какъ различiе русскаго и нѣмецкаго взгляда на русскую исторiю. Съ славянофильской стороны новый взглядъ былъ осужденъ, какъ специфически-нѣмецкiй. Въ своей статьѣ о Шлецерѣ А. Поповъ старался отдѣльныя положенiя Шлецера вытянуть въ систему съ „заранѣе обдуманнымъ намѣренiемъ“. По мнѣнiю Попова, самаго яркаго представителя взгляда, о которомъ идетъ рѣчь, Шлецеру нужно было перекроить русскую исторiю на европейскiй ладъ; съ этою, цѣлью онъ приступилъ методически къ ея искаженiю *). Для того, чтобы русская исторiя была похожа на западную, по А. Попову Шлецеру необходимо было принять мнѣнiе, что государство создано на Руси нѣмцами, что оно возникло путемъ завоеванiя, что изъ завоеванiя вышелъ у насъ, какъ на Западѣ, феодализмъ. По мнѣнiю Попова, и самый языкъ русскiй, какъ и названiе Руси, Шле-

*) А. Поповъ весьма наивно видитъ признанiе этой обдуманности замысла—сочинить исторiю—въ невинныхъ словахъ Шлецера: „die alte russische Geschichte könne noch nicht studirt, sondern müsse erst e r s c h a f f e n werden“ (т.-е. въ смыслѣ предварительнаго собиранiя матерiала). „Шлецеръ. Разсужденiе о русской исторiографiи“, въ М о с к. С б о р н и к ѣ 1847 г. и отдѣльно, стр. 74. Ср. А в т о б i о г р. Шлецера, стр. 188 и прил., стр. 290.

церъ долженъ былъ вывести отъ нѣмцевъ. Въ доказательство, что онъ именно такъ и поступаетъ, Поповъ напоминаетъ о русской грамматикѣ Шлецера, въ которой авторъ „послѣдовательно съ этою мыслью всѣ корни русскихъ словъ выводитъ изъ языковъ германскихъ“ *). Къ счастью для читателя, въ примѣчаніи приведены и подлинныя слова Шлецера: „ich handelte die Verwandschaft des russischen mit dem deutschen l a t e i n i s c h e n und g r i e c h i s c h e n u. s. w. **) Другими словами, Шлецеръ былъ убѣжденъ въ общемъ происхожденіи этихъ языковъ и въ существованіи праязыка. Таковы были тѣ „глупыя пакости“, которыя, по выраженію Ломоносова, могла „наколобродить въ россійскихъ древностяхъ такая въ нихъ допущенная скотина“.

Въ томъ же родѣ и другія обвиненія А. Попова. Въ концѣ-концовъ, разумѣется, у самого Шлецера есть масса мѣстъ, опровергающихъ представленіе Попова объ его системѣ. Вопросъ о томъ, основалось ли русское государство путемъ завоеванія или добровольнаго призванія, для Шлецера вовсе не существененъ; до завоеванія онъ самъ принимаетъ добровольное призваніе, а завоеваніе разсматриваетъ какъ актъ произвола князя, призваннаго въ Ладогу и захотѣвшаго овладѣть Новгородомъ (послѣ возстанія Вадима). Вліяніе норманновъ самъ Шлецеръ считаетъ ничтожнымъ и самихъ норманновъ -разбойниками, немногимъ превосходившими въ культурномъ отношеніи подчинившіяся имъ племена. Но Поповъ тутъ-то и торжествуетъ. Не обращая вниманія на то, что, подобныя заявленія Шлецера можно найти во *всѣхъ* частяхъ *Нестора* и даже въ сочиненіяхъ болѣе раннихъ ***), Поповъ смотритъ на нихъ, какъ на невольныя отступленія Шлецера отъ принятой системы въ послѣдней половинѣ сочиненія, какъ на необходимую уступку положительнымъ свидѣтельствамъ источниковъ и патріотическому настроенію русскихъ читателей *Нестора*. Такимъ образомъ, Шлецеръ обвиняется, въ сущности, въ томъ, что его мнѣнія не подходятъ подъ приписанную ему Поповымъ систему.

На этомъ мы можемъ покончить съ подведеніемъ итоговъ исто-

---

*) И въ этомъ случаѣ обвиненія послѣдующаго писателя являются отголоскомъ впечатлѣнія, произведеннаго на современниковъ. См. въ А в т о б і о г р а ф і и разсказъ о возраженіяхъ Ломоносова и Эмина и о переполохѣ, произведенномъ въ аристократическихъ домахъ производствомъ слова „князь“ отъ „knecht“, стр. 229 230. Самый корнесловъ Шлецера, см. стр. 448—476.

**) Надо прибавить, что предшествующія слова цитаты о сравненіи русскаго языка: „mit seinen vielen verwandten Dialekten“, не поняты Поповымъ. Рѣчь идетъ здѣсь о сравненіи съ с л а в я н с к и м и н а р ѣ ч і я м и, какъ видно по ссылкѣ Шлецера въ его текстѣ на стр. 118 той же А в т о б і о г р а ф і и (108 русск. пер.). П о п о в ъ, стр. 63—64.

***) См., наприм., въ P r o b e r u s s. A n n a l e n, 89—90: „Durch Freiheit und Wahl war dieser Staat in Rurik's Person gegründet worden“.

рической работы XVIII вѣка. Мы разсмотрѣли, какъ шло въ XVIII столѣтіи спеціальное изученіе этнографическихъ данныхъ, лѣтописей и актовъ. Затѣмъ мы сопоставили общіе взгляды историковъ XVIII вѣка на задачи историка, на пріемы историческаго изученія, на общій ходъ русской исторіи. Во всѣхъ этихъ отношеніяхъ мы нашли очень большое различіе между началомъ и концомъ столѣтія. Практическій, утилитарно-націоналистическій взглядъ на задачи исторіи, наивное смѣшеніе источника съ изслѣдованіемъ и наивное представленіе начала исторіи въ терминахъ современности отличають начало вѣка. Со всѣмъ этимъ вполнѣ гармонируетъ произвольная этнографическая классификація, некритическая передача всѣхъ лѣтописныхъ варіантовъ въ одномъ сводномъ изложеніи, сливающемъ исторію и лѣтопись, и ограниченіе историческаго изученія лѣтописнымъ матеріаломъ. Но черезъ все это проходитъ одна черта, обѣщающая будущность: это стремленіе къ реальному пониманію прошлаго, къ объясненію его изъ настоящаго и обратно. Эта черта связываетъ первую половину вѣка со второю половиной, гдѣ вся картина мѣняется. Не слава и не польза, а знаніе истины становится задачей историка. Мѣсто изложенія источника все болѣе занимаетъ основанное на источникѣ изслѣдованіе. Въ старый схематизмъ русской исторіи вводятся серьезныя измѣненія по отношенію къ началу исторической схемы. Начало это освобождается отъ патріотическихъ преувеличеній и модернизаціи. Состояніе спеціальнаго изученія соотвѣтствуетъ этому повышенію научныхъ требованій и развитію научнаго взгляда. Въ этнографіи вырабатывается научная лингвистическая классификація. Въ изученіе лѣтописей вводятся научно-критическіе пріемы, и въ первый разъ основная лѣтопись, позднѣйшій сводъ и польская компиляція, Несторъ, Никонъ и Стрыйковскій получаютъ сравнительную критическую оцѣнку. Наконецъ, ученый кругозоръ расширяется введеніемъ въ изученіе новаго актоваго матеріала: вмѣстѣ съ этимъ является возможность научной разработки болѣе позднихъ эпохъ, и вниманіе изслѣдователя впервые начинаетъ останавливаться на внутренней исторіи Россіи.

Въ ряду всѣхъ этихъ явленій, характеризующихъ быстрый ростъ исторической мысли и знанія прошлаго вѣка, только одно явленіе представляетъ рѣзкій диссонансъ. Я разумѣю продолжателей ломоносовскаго реторическаго направленія съ ихъ литературными взглядами на задачи историка. Однако же, это направленіе стояло совершенно одиноко; передовые дѣятели науки или игнорировали его, или относились къ нему съ осужденіемъ. Кто могъ думать тогда, что литературный взглядъ на исторію не только переживетъ XVIII вѣкъ, но и будетъ увѣковѣченъ для потомства въ сочиненіи, соединившемъ крупный литературный талантъ съ самостоятельною переработкой сырого историческаго матеріала?

IV. Карамзинъ и его современники.

I.

Съ Карамзинымъ мы переходимъ изъ допотопнаго міра русской исторіографіи прошлаго вѣка,—міра мало кому извѣстнаго и мало кому интереснаго, -въ другую область, гдѣ все знакомо, гдѣ еще до нашихъ временъ сохранилась живая устная традиція. Трудъ Карамзина стоитъ на рубежѣ двухъ эпохъ нашей исторіографіи, и это обстоятельство необходимо прежде всего принять въ разсчетъ при его оцѣнкѣ. Въ какой степени рубежъ этотъ проведенъ самимъ исторіографомъ и въ какой степени *Исторія государства Россійскаго* сама по себѣ составила эпоху въ русской исторіографіи, это мы увидимъ впослѣдствіи. Теперь замѣтимъ только, что независимо отъ достоинствъ и недостатковъ карамзинской *Исторіи*, это условіе перспективы до сихъ поръ оказывало на наше мнѣніе о ней весьма существенное вліяніе. Съ одной стороны, мы радикально позабыли, что было до Карамзина. Съ другой стороны, старѣйшіе изъ насъ сами еще по Карамзину выучились русской исторіи. Такимъ образомъ, забывъ о связи *Исторіи государства Россійскаго* съ предъидущимъ періодомъ и помня только связь ея съ послѣдующимъ, мы привыкли думать, что у Карамзина не было учителей, а были только ученики. Вотъ почему Карамзинъ сдѣлался для нѣсколькихъ поколѣній Петромъ Великимъ, а его исторія—Америкой нашей исторіографіи. И вотъ почему во всей массѣ написаннаго объ *Исторіи государства Россійскаго* такъ мало матеріаловъ для спокойной критической оцѣнки.

Съ самаго своего появленія трудъ Карамзина сдѣлался предметомъ нескончаемой полемики. Яблоко раздора между карамзинистами, съ одной стороны, шишковистами и „либералистами" съ другой,—потомъ, при имп. Николаѣ, знамя „положительнаго" направленія противъ отрицательнаго и „скептическаго",—русскаго противъ нѣмецкаго, *Исторія государства Россійскаго* поочередно служила предметомъ панегирика и эпиграммы. Въ критикѣ не было недостатка; много было и справедливаго высказано за и противъ;

но попытка указать *Исторіи* Карамзина мѣсто въ исторіографіи была сдѣлана не ранѣе пятидесятыхъ годовъ; С. М. Соловьевъ своими статьями *) впервые ввелъ *Исторію государства Россійскаго* въ рядъ другихъ явленій исторіографіи. Но не слѣдуетъ забывать, что Соловьевъ еще ученикъ Погодина, „рукоположеннаго" въ историки Карамзинымъ, и что статьи эти писались имъ въ промежуткѣ между двумя погодинскими панегириками исторіографу **). Осторожно накопляя матеріалы для критической оцѣнки, Соловьевъ не рѣшается еще сдѣлать изъ нихъ окончательнаго вывода.

Несправедливая оцѣнка того, что сдѣлано предшествовавшею исторіографіей, составляетъ естественное вступленіе къ легендѣ о „египетской пирамидѣ, исполинскомъ трудѣ Карамзина", о „недосягаемомъ величіи *Исторіи государства Россійскаго*, этой единственной исторіи въ полномъ смыслѣ слова, какую только имѣетъ Русская земля" ***). Мы узнаемъ, что до Карамзина для русской исторіи почти ничего не было сдѣлано. Лѣтописи не были изданы и изслѣдованы. Акты и статейные списки лежали въ архивахъ, неизвѣстные и неописанные. Иностранные источники—лѣтописи (кромѣ греческихъ) и путешествія—не принимались въ соображеніе. Съ иностранными изслѣдованіями по русской исторіи никто не справлялся. Вспомогательныя науки исторіи (древняя географія, хронологія, генеалогія, нумизматика, археологія) отсутствовали; наконецъ, „ни одна часть исторіи не была обработана,—ни исторія церкви, ни исторія права, ни исторія словесности, торговли, обычаевъ". Эта эффектная картина до-карамзинскаго хаоса иллюстрируется затѣмъ частными примѣрами. Такихъ-то двухъ князей, такіе-то два города, такіе-то два народа до Карамзина путали, считали за одинъ, такія-то слова рукописи не поняли и передѣлали въ собственныя имена и т. д. ****)

Изъ всего сказаннаго въ предыдущихъ главахъ видно, что мы не можемъ согласиться съ такою характеристикой. Факты и наблю-

---

*) Прекрасныя статьи С. М. Соловьева печатались въ Отечественныхъ Запискахъ (1853 г., № 10; 1854 г., №№ 2, 5; 1855 г., №№ 4, 5; 1856 г., № 4) и, къ сожалѣнію, не вышли отдѣльнымъ изданіемъ.

**) Разумѣю Историческое похвальное слово Карамзину при открытіи ему памятника въ Симбирскѣ авг. 23-го 1845 г. (отдѣльно: М., 1845 г., и въ Москвитянинѣ 1846 г., I) и капитальный трудъ Погодина, изданный въ 2-хъ частяхъ, въ 1866 году, подъ заглавіемъ: Н. М. Карамзинъ по его сочиненіямъ, письмамъ и отзывамъ современниковъ. Въ дальнѣйшихъ краткихъ цитатахъ будетъ разумѣться послѣдняя біографія Карамзина.

***) Погодинъ, II, стр. 185. Бестужевъ-Рюминъ: „Біографіи и характеристики". Спб., 1882 г., стр. 206.

****) Погодинъ, II, стр. 24—25. Бестужевъ-Рюминъ, стр. 209—211.

денія, приведенные раньше, складываются въ характеристику совсѣмъ иного рода. Конечно, занятіе лѣтописями не представляло во времена Карамзина такихъ удобствъ, какъ теперь, когда мы имѣемъ изданія археографической комиссіи. Но все же къ его времени издано было немало списковъ. Изъ 21-го списка, которыми пользовался Шлецеръ для своего *Нестора*, только 9 было рукописныхъ. Татищеву, дѣйствительно, пришлось работать тогда, когда ни одинъ списокъ не былъ еще напечатанъ; при тѣхъ же условіяхъ и Щербатовъ началъ составленіе своей исторіи, такъ какъ изданіе лѣтописей началось не раньше 1767 года *).

Невѣрно и то что изданными въ XVIII вѣкѣ лѣтописями нельзя было пользоваться. Изданіе Радзивиловскаго списка, приводимое обыкновенно въ примѣръ искаженія лѣтописей ихъ издателями, прежде всего, было не такъ худо, какъ это утверждаютъ со словъ Шлецера **). Во всякомъ случаѣ это и единственный примѣръ. Многими другими лѣтописями мы и до сихъ поръ пользуемся въ изданіяхъ прошлаго вѣка, какъ бы ни разнились взгляды этихъ издателей на условія ученаго изданія отъ нашихъ современныхъ воззрѣній. Если же говорить объ издательскихъ пріемахъ Баркова, то почему не вспомнить и про ученика Шлецера, Башилова, изданія котораго заслужили одобреніе знаменитаго родоначальника историко-критической школы?

Итакъ, по отношенію къ пользованію лѣтописями Карамзинъ имѣлъ огромное преимущество передъ своими предшественниками. Онъ не только имѣлъ въ своемъ распоряженіи печатныя изданія лѣтописей, но могъ воспользоваться и тою предварительною разработкой лѣтописнаго матеріала, какую нашелъ у своихъ предшественниковъ, Татищева и Щербатова: у него былъ въ рукахъ и комментированный сводъ лѣтописныхъ извѣстій, и основанное на нихъ историческое изложеніе. Что касается актовъ и статейныхъ списковъ,—не только они не лежали безъ употребленія въ архивахъ, но имѣлась уже цѣлая исторія (Щербатова), по нимъ составленная; имѣлись и изданія нѣкоторой части ихъ въ подлинникѣ-въ приложеніяхъ къ исторіи Щербатова, *Вивліоѳикѣ*, а къ концу

---

*) Объ исторіи печатанія лѣтописей въ XVIII в. см. Иконникова: „Опытъ русской исторіографіи", т. I, стр. 112—116.

**) Рѣзкость отзывовъ Шлецера извѣстна. Его мнѣнію въ этомъ случаѣ необходимо противопоставить мнѣнія Перевощикова („О русскихъ лѣтописяхъ по 1240 г.) и особенно Д. А. Полѣнова („Библіогр. обозр. русскихъ лѣтописей", стр. 25), по авторитетному заявленію котораго, въ изданіи Баркова „текстъ Кенигсбергской лѣтописи переданъ довольно вѣрно, исключая пропусковъ.. Если же и найдутся противъ нея ошибки или несходства, то онѣ, въ сущности, маловажны и по количеству незначительны". Ср. также русскій переводъ автобіографіи Шлецера (Сб. отд. р. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ, т. XIII), стр. 63, прим. 1.

составленія карамзинской исторіи—и въ румянцевскомъ собраніи грамотъ и договоровъ. Конечно, это не освобождало отъ обязанности еще разъ пересмотрѣть рукописные подлинники и столбцы архива иностранной коллегіи; но перечитывать ихъ, имѣя подъ руками подробное изложеніе и получая весь матеріалъ къ себѣ на домъ, было, конечно, гораздо легче, чѣмъ впервые доискиваться этого матеріала и приводить его въ извѣстность во время самой работы, какъ приходилось дѣлать Щербатову. Наконецъ, иностранные источники и изслѣдованія о древнѣйшемъ періодѣ русской исторіи были, какъ мы знаемъ, не только приняты во вниманіе, но и напечатаны въ извлеченіяхъ Татищевымъ. Предшественники Карамзина не имѣли только подъ руками такой вспомогательной работы, какую получилъ исторіографъ въ Memoriae populorum Стриттера; они не могли имѣть также и тѣхъ новыхъ данныхъ, которыми обогатила древнѣйшую нашу исторію дѣятельность Румянцевскаго кружка. Нѣкоторыя средневѣковыя путешествія и сказанія иностранцевъ также уже Щербатовымъ были употреблены въ дѣло; правда, что въ этомъ отношеніи *Исторія государства Россійскаго* дала очень много новаго. Что касается спеціальной иностранной литературы о Россіи, то она только и появляться начала во второй половинѣ XVIII вѣка и, конечно, своевременно становилась извѣстна русскимъ спеціалистамъ при посредствѣ тѣхъ нѣмецкихъ изслѣдователей русской исторіи, которые, главнымъ образомъ, и составляли эту литературу. Помимо нея,—т. е. изслѣдованій Байера, Миллера и Шлецера, не съ Трейеромъ же или съ другими антиками Селліева каталога нужно было знакомиться русскимъ изслѣдователямъ *). Остается замѣчаніе о неразработанности вспомогательныхъ наукъ ко времени Карамзина. Съ нимъ нельзя не согласиться, но нельзя не прибавить также, что рѣзкой перемѣны въ состояніи этихъ наукъ мы не видимъ и много времени спустя послѣ Карамзина; множество цѣнныхъ замѣтокъ по всѣмъ этимъ наукамъ разсѣяно въ примѣчаніяхъ Карамзина, и, все-таки, родоначальникомъ русской исторической географіи, мы должны считать Байера и Татищева, родоначальникомъ русской генеалогіи—Миллера и Щербатова; другія же вспомогательныя науки и до, и послѣ Карамзина, нѣкоторыя даже до нашего времени, остаются въ зачаточномъ состояніи.

---

*) Адамъ Селлій, умершій монахомъ въ Александро Невской лаврѣ, оставилъ рукописный переводъ на латинскій языкъ русской лѣтописи и каталогъ иностранныхъ сочиненій о русской исторіи, напечатанный въ Ревелѣ въ 1736 г. подъ названіемъ: Schediasma literarium de scriptoribus qui historiam politico-ecclesiasticam Rossiae scriptis illustrarunt. Русскій переводъ издалъ въ Москвѣ 1815 г. (Каталогъ писателей и т. д., Главное содержаніе каталога, составляютъ, впрочемъ, не ученыя сочиненія о Россіи, а сказанія иностранцевъ

Такимъ образомъ, если всмотримся внимательнѣе въ приведенную выше характеристику результатовъ до-карамзинской исторіографіи,—характеристику, ставшую какъ бы обязательнымъ вступленіемъ къ оцѣнкѣ карамзинской исторіи и даже перешедшую изъ ученыхъ сочиненій въ учебники *), содержаніе ея распадается на три части. Въ одной—результаты до-карамзинской исторіографіи оцѣнены слишкомъ низко сравнительно съ дѣйствительностью. Въ другой—указаны такіе пробѣлы этой исторіографіи, которые не могутъ считаться заполненными не только Карамзинымъ, но и позднѣйшими изслѣдователями. Наконецъ, въ третьей научный уровень XVIII вѣка охарактеризованъ примѣрами случайными или спускающимися ниже уровня. Такихъ промаховъ, какіе встрѣчаются въ первыхъ томахъ щербатовской исторіи или въ иныхъ изданіяхъ прошлаго вѣка, можно было бы отыскать сколько угодно въ изслѣдованіяхъ и изданіяхъ нынѣшняго столѣтія **). Но никому не придетъ въ голову на основаніи отдѣльныхъ ошибокъ составлять заключеніе объ общемъ состояніи науки настоящаго времени.

Стремясь доказать больше, чѣмъ можно, разбираемая характеристика не доказываетъ ничего, и вопросъ о томъ, что внесено новаго въ русскую историческую науку *Исторіей государства Россійскаго*, остается открытымъ. Не имѣя возможности, въ предѣлахъ нашей задачи, рѣшать этотъ вопросъ во всей его полнотѣ и опредѣлять, что сдѣлалъ Карамзинъ для детальнаго изученія спеціальныхъ историческихъ вопросовъ, мы остановимся только на одной сторонѣ дѣла: на опредѣленіи того, что новаго внесено исторіей Карамзина въ общее движеніе русской исторіографіи. Мы начнемъ при этомъ съ обзора внѣшней исторіи карамзинскаго труда и познакомимся съ самымъ процессомъ работы исторіографа. Это дастъ намъ возможность опредѣлить степень ученой зависимости Карамзина отъ его предшественниковъ. Затѣмъ мы разсмотримъ подробно отношеніе Карамзина къ тѣмъ же предшественникамъ по тремъ уже употреблявшимся выше, общимъ рубрикамъ: по отношенію къ общему взгляду на задачи историка, на пріемы историческаго изслѣдованія и на общій ходъ русской исторіи. Мы попытаемся при этомъ случаѣ отвѣтить на поставленный ранѣе вопросъ: откуда произошла русская историческая схема, принятая Карамзинымъ и его предшественниками? Наконецъ, мы разсмотримъ, что дѣлала русская историческая наука въ то время, когда Карамзинъ писалъ свою

---

*) См. Галахова: „Исторія русской словесности", изд. 2-е, II, 92 (выписано изъ цитированной статьи К. Н. Бестужева-Рюмина).

**) Любопытный перечень промаховъ въ изданіяхъ ученыхъ обществъ и отдѣльныхъ лицъ находимъ, напримѣръ, въ брошюрѣ Н. П. Лихачева, къ сожалѣнію, не вышедшей въ свѣтъ: „По поводу трудовъ ярославской губернской архивной комиссіи". Спб., 1893 г., стр. 34.

исторію, и въ какое отношеніе стали представители этой науки къ труду Карамзина, когда исторія появилась въ свѣтъ. Всѣмъ этимъ опредѣлится отношеніе *Исторіи государства Россійскаго* какъ къ предыдущему, такъ и къ послѣдующему движенію русской исторической мысли.

II.

Личность Карамзина и положеніе его въ русской литературѣ слишкомъ извѣстны, чтобы останавливаться на нихъ здѣсь. Мы не будемъ слѣдить за постепеннымъ развитіемъ нравственнаго и умственнаго облика писателя. Мы возьмемъ его уже готовымъ, сформировавшимся, въ той порѣ его жизни, когда на исходѣ четвертаго десятка (1803 г.—37 лѣтъ), съ репутаціей знаменитаго писателя и популярнаго журналиста, онъ останавливается окончательно на мысли посвятить остатокъ жизни русской исторіи и обращается къ правительству съ просьбой обезпечить ему казенное содержаніе на это время сочиненія исторіи (28 сентября 1803 года).

Но легенда преслѣдуетъ насъ и въ этомъ моментѣ біографіи Карамзина. Приступивши въ началѣ (февраль) 1804 года къ занятіямъ, Карамзинъ въ годъ дошелъ до Рюрика (мартъ 1805), а въ два года до смерти Владиміра (мартъ 1806), и съ такою же быстротой продолжалъ работу до 1816 года, когда были изданы первые восемь томовъ его исторіи. Конечно, быстрота чудесная, если забыть, чѣмъ Карамзинъ былъ обязанъ своимъ предшественникамъ; и вотъ, „чтобы сколько-нибудь объяснить уразумѣніе чуда—сотворенія осьми томовъ исторіи въ 12 лѣтъ“ *), легенда вводитъ десятилѣтній подготовительный періодъ (1793—1803 гг.). Дѣло въ томъ, что въ 1793 году Карамзинъ напечаталъ, заканчивая изданіе своего *Московскаго журнала*: „Въ тишинѣ уединенія я стану разбирать архивы древнихъ литературъ, которыя (въ чемъ признаюсь охотно) не такъ мнѣ извѣстны, какъ новыя; буду учиться, буду пользоваться сокровищами древности, *чтобы послѣ приняться за такой трудъ, который бы могъ остаться памятникомъ души и сердца моего*, если не для потомства (о чемъ и думать не смѣю), то, по крайней мѣрѣ, для малочисленныхъ друзей моихъ и пріятелей“. По мнѣнію Погодина, „мѣсто, напечатанное курсивомъ, показываетъ ясно, что Карамзинъ задумывалъ уже тогда русскую исторію... Въ эти десять лѣтъ... Карамзинъ вѣрно занимался приготовленіемъ къ будущему труду, то-есть читалъ лѣтописи и прочія сочиненія, сюда относящіяся“ **). Трудно, однако же, видѣть въ цити-

*) Погодинъ, I., стр. 215.
**) Погодинъ, I, стр. 115.

рованной фразѣ Карамзина то, что хотѣлъ вывести изъ нея Погодинъ. По прямому смыслу этой фразы, Карамзинъ погрузился въ сокровища древнихъ литературъ, чтобы извлечь изъ нихъ „памятникъ души и сердца своего“: и по его письмамъ того времени очень хорошо видно, что это были за сокровища, и какой трудъ хотѣлъ онъ изъ нихъ извлечь. „Перевожу лучшія мѣста изъ лучшихъ иностранныхъ авторовъ древнихъ и новыхъ, –пишетъ Карамзинъ въ одномъ изъ этихъ писемъ, — греки, римляне, французы, нѣмцы, англичане, итальянцы, — вотъ мой магазинъ, въ которомъ роюсь каждое утро часа по три! Мнѣ надобно переводить для кошелька моего“ *). Плодомъ этихъ занятій и явился въ 1798 г. *Пантеонъ иностранной словесности*. Что же касается русской исторіи, за все это время Карамзинъ написалъ по просьбѣ редактора Spectateur du Nord очень плохую статью о русской литературѣ, невѣжественныя мѣста которой подчеркнулъ Шлецеръ въ своемъ *Несторѣ*, не зная имени автора **), да еще мечталъ написать похвальное слово Петру Великому и набросалъ даже нѣсколько „мыслей“ для него. Здѣсь на первомъ мѣстѣ стоитъ реторическое введеніе: „чтобы искусство Фидіаса тѣмъ болѣе поразило насъ, взглянемъ на безобразный кусокъ мрамора: вотъ изъ чего сотворилъ онъ Юпитера Олимпійскаго! Что была Россія?“ Въ концѣ отрывка набросано предполагавшееся заключеніе: „Могу ли не воспламеняться любовью къ отечеству, представляя себѣ Петра? — мѣста, гдѣ онъ ходилъ; рощи, имъ насажденныя...“ Разумѣется, самому Карамзину было ясно, что однѣхъ этихъ мыслей мало для предположеннаго сочиненія, и самъ онъ сознается, что эта задача для него непосильна: она „требуетъ, по его словамъ, чтобы я мѣсяца три посвятилъ на чтеніе русской исторіи и Голикова ***): *едва ли возможное для меня дѣло*. А тамъ еще сколько надобно размышленія! Не довольно одного риторства“ и т. д. ****).

Только въ 1797 г. является у Карамзина мысль о занятіяхъ исторіей, но не русской. „Начну съ Джиллиса; потомъ буду читать Фергусона, Гиббона, Робертсона,- читать со вниманіемъ и дѣлать выписки, а тамъ примусь за древнихъ авторовъ, особливо за Плутарха“. И только въ 1800 г. встрѣчаемъ свѣдѣнія о занятіяхъ русскою исторіей. „Я по уши влѣзъ въ русскую исторію: сплю и вижу

---

*) Письма къ Дмитріеву (1797—98 гг.), № 81; ср. № 76: „я нынѣ весь въ итальянскомъ языкѣ: сплю и вижу Метастазія“, или № 86: „я перевелъ нѣсколько рѣчей изъ Демосѳена“ и т. д.

**) Несторъ, I, стр. 383.

***) По мнѣнію Кояловича (159), это значитъ, что Карамзинъ „собирался изучать исторію Голикова о Петрѣ“, и, слѣдовательно, „углублялся въ русскую исторію“.

****) Погодинъ, I, стр. 277.

Никона съ Несторомъ". Дѣйствительно, въ журналѣ Карамзина, *Вѣстникъ Европы*, мы находимъ въ 1802 и 1803 гг. нѣсколько историческихъ статей, —точнѣе, нѣсколько „случаевъ и характеровъ въ Россійской исторіи, которые могутъ быть предметомъ художествъ" (такъ озаглавлена одна изъ этихъ статей). Сюда относятся: рѣчь Алексѣя Михайловича на Красной площади послѣ бунта, почерпнутая, вмѣстѣ съ разсказомъ о бунтѣ, изъ Олеарія, извѣстіе о Мароѣ посадницѣ, заимствованное изъ житія св. Зосимы, историческія воспоминанія, связанныя съ окрестностями Москвы и съ дорогой въ Троицкую лавру, и т. д. Есть нападеніе на одно частное мнѣніе Шлецера, которое Карамзинъ великодушно прощаетъ „сему ученому иностранцу". Такимъ образомъ, въ своемъ прошеніи Муравьеву о правительственной субсидіи Карамзинъ могъ сказать, что „съ нѣкотораго времени" мысль „сочинять русскую исторію занимаетъ всю душу" его.

18 февраля 1804 г. Карамзинъ раздѣлался съ журналомъ и сталъ, наконецъ, заниматься „единственно тѣмъ, что имѣетъ отношеніе къ исторіи". Черезъ шесть мѣсяцевъ первыя двѣ главы *Исторіи* были уже написаны; черезъ шесть лѣтъ Карамзинъ думалъ дойти до Романовыхъ и полагалъ, что труднѣйшее сдѣлано *). Въ чемъ состояло это „труднѣйшее"?

По примѣру Щербатова, Карамзинъ начиналъ свой трудъ исторіей страны до славянъ: исторіей скиѳовъ и сарматовъ, не пытаясь —точно такъ же, какъ его предшественникъ пріурочить эти древнія племена ни къ какой этнографической классификаціи и принимая мнѣнія Байера и его послѣдователей, что термины эти суть чисто географическіе. Древняя географія Маннерта, Nordische Geschichte Шлецера, выписки изъ византійцевъ Штриттера и сочиненіе Тунмана **) были его главными источниками. Вслѣдъ за ними онъ начиналъ исторію славянъ съ VI в., принималъ норманство варяговъ и Руси, наконецъ, предлагалъ „свое" мнѣніе о томъ, что Несторова хронологія призванія князей произвольна, потому что варяги не могли въ три года (859 862) овладѣть страной, быть изгнаны и призваны снова. При этомъ ни въ текстѣ, ни въ примѣчаніяхъ Карамзинъ не упоминаетъ, что эти разсужденія принадлежать не ему, а Шлецеру и Миллеру ***). Эта черта, замѣтимъ кстати, будетъ сопровождать насъ черезъ всю *Исторію государ-*

*) Погодинъ, II, стр. 4—16, 24, 29.

**) О пользованіи Тунманомъ еще Погодинъ замѣтилъ, что сообщенія Карамзина „о козарахъ есть совершенное сокращеніе Тунмана. И ни слова объ этомъ въ примѣчаніяхъ. Гдѣ у Тунмана нѣтъ ссылки, тамъ нѣтъ и у Карамзина". Барсуковъ: „Жизнь и труды Погодина", I, стр. 244.

***) Ср. Миллера: „О народахъ, издревле въ Россіи обитавшихъ", перев. Долинскаго, стр. 102.

ства Россійскаго. Карамзинъ почти никогда не называетъ своихъ посредниковъ между собственною работой и сырымъ матеріаломъ: впечатлѣніе работы, при этомъ умолчаніи, получается, дѣйствительно, грандіозное. „Надлежало сообразить все, написанное греками и римлянами о нашихъ странахъ, отъ Геродота до Амміана Марцеллина; все написанное византійскими историками о славянахъ и другихъ народахъ, которыхъ исторія имѣетъ нѣкоторое отношеніе къ россійской"; такъ описываетъ свой трудъ самъ Карамзинъ Муравьеву. Для шести мѣсяцевъ, дѣйствительно, „трудъ и подвигъ геркулесовскій" *), и даже невозможный, если бы Карамзину пришлось читать подлинники древнихъ авторовъ и выбирать самому мѣста изъ Corpus scriptorum byzantinorum; если бы „все написанное греками и римлянами отъ Геродота до Амміана Марцеллина" не было переведено уже у Татищева, а „все написанное византійскими историками о славянахъ и другихъ народахъ" не было извлечено въ Memoriae populorum Стриттера и еще разъ извлечено, для большей доступности, изъ этихъ Memoriae въ четырехъ маленькихъ томикахъ, изданныхъ по-русски **).

Третья глава, равная по объему первымъ двумъ и посвященная „характеру физическому и нравственному славянъ русскихъ", писалась также полгода, хотя должна была стоить автору еще меньшихъ усилій. Большая часть ея есть вольная передача классическихъ мѣстъ византійцевъ (собранныхъ во 2-мъ томѣ Стриттера),— латинскихъ хроникъ (Гельмольда, Адальберта Бременскаго, Саксона Грамматика) и начальной лѣтописи. Только отдѣлъ о языческой религіи славянъ потребовалъ бо́льшаго употребленія спеціальныхъ русскихъ источниковъ ***); впрочемъ, мы не можемъ отдѣлить здѣсь того, что входило въ кругъ первоначальныхъ свѣдѣній исторіографа и что вставлено имъ позднѣе. Какъ пользуется и здѣсь Карамзинъ своими предшественниками, видно будетъ изъ двухъ примѣровъ, наиболѣе яркихъ, хотя далеко не единственныхъ: „Хотя лѣтописецъ нашъ,—замѣчаетъ Карамзинъ,—не говоритъ о томъ, но россійскіе славяне, конечно, имѣли властителей съ правами, ограниченными народною пользой и древними обыкновеніями вольности. Въ договорѣ Олега съ греками въ 911 году упоминается уже о великихъ боярахъ русскихъ". Мы знаемъ, что это употреб-

---

*) Погодинъ, II, стр. 29.

**) „Извѣстія византійскихъ историковъ, объясняющія Россійскую исторію древнихъ временъ и переселенія народовъ"; собраны и хронологическимъ порядкомъ расположены Иваномъ Штриттеромъ. Спб., 1770—71 г.

***) Житіе Константина Муромскаго (изъ библіотеки Мусина-Пушкина), св. Владиміра (въ Минеѣ) и Новгородская лѣтопись (изъ архива иностранной коллегіи).

леніе сдѣлано было изъ свидѣтельства Олегова договора уже Болтинымъ, котораго Карамзинъ здѣсь и повторяетъ, не дѣлая на него ссылки. Приведемъ другой примѣръ. Въ іюнѣ 1806 года Карамзинъ пишетъ брату: „Я недавно сражался на бумагѣ съ Добнеромъ. Какими пустыми доводами хотѣлъ онъ утвердить древность буквъ глаголическихъ!“ Дѣйствительно, въ примѣчаніи 266-мъ находимъ возраженіе противъ мнѣнія Добнера, что глаголица древнѣе кириллицы; но возраженія эти почти всѣ взяты изъ шлецеровскаго *Нестора* (т. II, гл. X). Въ изображеніи быта и правленія славянъ Карамзинъ держится средины между Болтинымъ и Шлецеромъ: въ его замѣткахъ для исторіи *) рядомъ стоитъ болтинская мысль, что славяне „не были дикари, какъ пишетъ Несторъ: земледѣльцы, города“,—и шлецеровская мысль: „что такое города? неподвижные станы для войска: ихъ первая причина не торговля и гражданственность“. Обѣ мысли отлично мирятся другъ съ другомъ, но это не мѣшаетъ намъ заключить, что къ ихъ примиренію авторъ пришелъ путемъ разумнаго эклектизма, а не путемъ самостоятельнаго изученія.

Наконецъ, Карамзинъ былъ передъ началомъ историческаго разсказа. Начало это во всей русской исторіи было пунктомъ наиболѣе обработаннымъ. Относительно него существовали примѣчанія Татищева, къ нему относилась полемика Болтина съ Щербатовымъ; ему, наконецъ, были посвящены три тома подробнѣйшаго разбора Шлецера. Кромѣ всего этого, Карамзину удалось сдѣлать драгоцѣнную находку: онъ натолкнулся на два древнѣйшихъ списка лѣтописи: Лаврентьевскій, хранившійся у Мусина-Пушкина, и Троицкій, взятый изъ библіотеки московской духовной академіи и въ 1812 году сгорѣвшій.

Положеніе Карамзина относительно всѣхъ названныхъ изслѣдователей опредѣлилось, какъ только онъ приступилъ къ составленію разсказа. Шлецеръ подавлялъ его своимъ матеріаломъ и критическими пріемами. Читая первый томъ *Исторіи государства Россійскаго* параллельно съ *Несторомъ*, нельзя не замѣтить, что кругъ вопросовъ, возбуждаемыхъ Карамзинымъ по поводу историческаго матеріала, существенно обусловленъ вопросами, разсмотрѣнными у Шлецера. Даже тамъ, гдѣ Карамзинъ не соглашается съ нимъ, онъ всегда оперируетъ съ помощью шлецеровскихъ же данныхъ; часто изъ такихъ данныхъ составляется у него цѣлое примѣчаніе, въ которомъ, однако, нѣтъ ссылки на Шлецера **). Отъ Шлецера Карам-

---

*) Погодинъ, II, стр. 37.

**) Особенно ярки эти заимствованія въ примѣчаніяхъ 378—381, гдѣ разсматривается спорный вопросъ: крестилась ли Ольга въ Константинополѣ. На основаніи того, что Константинъ Багрянородный молчитъ о крещеніи Ольги, Геснеръ сомнѣвался въ фактѣ крещенія, а Тунманъ прямо

зинъ освобождается только тамъ, гдѣ къ мнѣніямъ Шлецера существуетъ поправка другого нѣмца-спеціалиста по русскимъ древностямъ Круга; или тамъ, гдѣ Шлецера вводитъ въ заблужденіе недостаточное знакомство съ русскимъ языкомъ *); или, наконецъ, тамъ, гдѣ Шлецеру приходится выбирать между различными чтеніями лѣтописныхъ списковъ: обладая такими хорошими текстами лѣтописи, какіе представляютъ Лаврентьевскій и Троицкій, Карамзинъ могъ разрѣшать такіе спорные случаи безъ всякихъ ученыхъ разсужденій,— просто на основаніи авторитета лучшихъ рукописей. По терминологіи Шлецера, это значило, что Карамзинъ обладаетъ „чистымъ" Несторомъ и, слѣдовательно, освобожденъ отъ необходимости „возстановлять" его. Не забудемъ, что у самого Шлецера былъ только одинъ хорошій лѣтописный текстъ по Кенигсбергскому списку, а изъ Ипатьевскаго только выписки до смерти Рюрика, сдѣланныя для него Башиловымъ.

Карамзинъ подчинился Шлецеру и во взглядѣ на Іоакимовскую лѣтопись, какъ на ученый вымыселъ Татищева. Эта лѣтопись и сармато-скиѳская классификація Татищева возстановили противъ него Карамзина съ первыхъ шаговъ его спеціальныхъ занятій. Къ поклоннику Татищева, Болтину, Карамзинъ точно также относится несочувственно. Хотя онъ и обѣщаетъ въ одномъ изъ писемъ „не оскорблять памяти" обоихъ, отмѣчая ихъ „грубыя ошибки" **), но обѣщаніе это врядъ ли можно считать выполненнымъ. Молча попоправляя Щербатова тамъ, гдѣ Болтинъ правъ въ своей критикѣ, Карамзинъ систематически преслѣдуетъ въ своихъ примѣчаніяхъ и Болтина, и Татищева, гдѣ только представляется для этого удобный случай ***). Къ Щербатову, по причинамъ, уважительнымъ по самому существу дѣла, Карамзинъ относится болѣе сочувственно. Есть всѣ основанія думать, что Щербатовъ былъ для Карамзина такимъ же основнымъ источникомъ свѣдѣній по русской исторіи, какимъ былъ для Болтина, какъ мы видѣли раньше, Татищевъ. Въ первомъ

отрицалъ его. Оба, конечно, отлично знаютъ, что существуютъ свидѣтельства Кедрина и продолжателя Регинона, подтверждающія крещеніе Ольги. Карамзинъ возражаетъ на ихъ сомнѣнія простыми ссылками на эти источники, ссылками, отъ нихъ же узнанными. Молчаніе Константина, описавшаго пріемъ Ольги и не упомянувшаго о крещеніи, Карамзинъ объясняетъ тѣмъ, что сочиненіе Константина De caerimoniis aulae посвящено исключительно описанію придворныхъ пріемовъ. Объясненіе это принадлежитъ Шлецеру, отъ котораго Карамзинъ узналъ и о самомъ спорѣ; но на Шлецера нѣтъ во всѣхъ этихъ примѣчаніяхъ ни одной ссылки.

*) Наприм. Шлецеръ не понимаетъ, что такое „мовь" или „слебное".

**) Погодинъ, т. II, стр. 32.

***) Наприм., во II томѣ прим. 122—123 Болтинъ не названъ. Сводъ возраженій противъ Болтина можно найти у Сухомлинова въ „Исторіи россійской академіи", V, стр. 265—269.

томѣ вліяніе Щербатова стушевывается, въ виду богатства спеціальной литературы; но тѣмъ яснѣе выступаетъ это вліяніе, по мѣрѣ оскудѣнія исторической литературы, въ слѣдующихъ томахъ *Исторіи*.

Первый томъ былъ готовъ еще черезъ годъ послѣ составленія первыхъ трехъ главъ. Мы нарочно остановились на немъ подробнѣе. Это былъ, дѣйствительно, самый тяжелый томъ для Карамзина: наиболѣе подготовленный предшествовавшими изслѣдователями и самого Карамзина заставшій наименѣе подготовленнымъ. Дальше дѣло становилось легче: литература, какъ мы сказали, быстро оскудѣвала, и подъ конецъ Карамзинъ оставался одинъ со своимъ Щербатовымъ и съ своими сырыми матеріалами, къ употребленію которыхъ онъ успѣлъ пріучиться. Объ отношеніи Карамзина къ источникамъ рѣчь будетъ идти далѣе; здѣсь намъ остается познакомиться съ отношеніемъ его къ Щербатову.

Уже Соловьевъ показалъ вполнѣ убѣдительно, что отношеніе это было отношеніемъ зависимости. Намъ остается только нѣсколько дополнить и систематизировать его наблюденія.

Вліяніе щербатовской исторіи не ослабѣваетъ до самаго конца *Исторіи государства Россійскаго*. Конечно, Карамзинъ самостоятельно изучаетъ свои источники, но и тутъ Щербатовъ указываетъ ему, гдѣ, когда и что надо изучать. Новгородскія грамоты, княжескіе договоры и завѣщанія, присоединяющіеся къ лѣтописямъ съ половины XIII вѣка, статейные списки посольствъ, присоединяющіеся съ конца XV в., показанія родословныхъ и разрядныхъ книгъ, — всѣ эти источники уже разставлены по мѣстамъ и употреблены въ дѣло Щербатовымъ. Но не только въ указаніяхъ на источники помогаетъ Карамзину Щербатовъ; еще сильнѣе обнаруживается его вліяніе въ самомъ разсказѣ. Часто порядокъ изложенія Щербатова принимается и Карамзинымъ; еще чаще Карамзинъ принимаетъ отдѣльныя толкованія и предположенія Щербатова, его поправки и объясненія какихъ-нибудь генеалогій или недостающихъ событій. Разумѣется, нерѣдко встрѣчаемъ и поправки Карамзинымъ Щербатова. Степень вліянія щербатовскаго разсказа на карамзинскій, конечно, вполнѣ можетъ быть выяснена только разборомъ цѣлыхъ частей *Исторіи государства Россійскаго*, какой и сдѣланъ въ статьяхъ Соловьева. Но и статьи эти не могутъ еще дать полнаго впечатлѣнія о характерѣ вліянія Щербатова: нужно самому сличить страница за страницей эти параллельныя изложенія, чтобы почувствовать, какъ повсюду, въ началѣ, въ серединѣ, въ концѣ сочиненія, на каждой страницѣ Карамзинъ имѣетъ въ виду Щербатова. Видно, что томъ щербатовской исторіи всегда лежалъ на письменномъ столѣ исторіографа и давалъ ему постоянно готовую нить для разсказа и тему для разсужденія; и часто Карамзину остава-

лось только передѣлать ссылку и сдѣлать соотвѣтственную выписку изъ источника. Въ результатѣ пересказа и передѣлки тяжеловѣсныя, неуклюжія фразы Щербатова превращаются въ блестящіе, закругленные и отточенные періоды Карамзина; но очень часто настоящій смыслъ и заднія мысли этихъ красивыхъ періодовъ мы поймемъ только тогда, когда будемъ имѣть передъ глазами параллельное изложеніе Щербатова.

Для большей наглядности приведемъ здѣсь одно мѣсто Карамзина съ текстомъ Щербатова en regard.

Щербатовъ, т. III, стр. 355.

Тогда какъ таковыя дѣла въ областяхъ новгородскихъ происходили, князь Александръ (Михайловичъ) пребывалъ въ Твери, гдѣ вскорѣ новыя ему огорченія отъ неудовольствія на него тверскихъ бояръ учинились, которые и отъѣхали отъ него въ Москву къ великому князу Іоанну (Калитѣ). Лѣтописатели наши ни мало не повѣствуютъ о причинахъ сего неудовольствія, и трудно безъ всякихъ знаковъ поступка сего князя, —его ли оправдать, или бояръ обвинить. Тако не въ утвержденіе, но токмо яко догадку нужную для связи дѣяній и проницанія тайныхъ причинъ дѣлъ, осмѣлюсь предложить, что долговременное пребываніе князя Александра во Псковѣ и оказуемая къ нему вѣрность отъ псковитянъ, можетъ быть, склонила его и по пріѣздѣ въ Тверь взять многихъ псковскихъ бояръ съ собою и правленіе имъ препоручить; яко и точно обрѣтаемъ, что онъ учинилъ съ пріѣзжимъ къ нему нѣмцемъ Долемъ, который бояриномъ въ Твери былъ..., а не легко есть сыновьямъ отечества зрѣть пришлецовъ мѣста ихъ въ правленіи занимать, что, можетъ статься, и огорчило бояръ тверскихъ; ибо точно помянуто, что тверскіе бояре отъ него отъѣхали. Самый сей отъѣздъ боярскій требуетъ изъясненія, какимъ образомъ они могли покинуть своего природнаго князя и отъѣхать къ другому: хотя въ лѣтописцахъ и не обрѣтается изъясненія о семъ, но мню, что съ основаніемъ могу приложить ко изъясненію сего найденное о правѣ бояръ въ грамотѣ духовной в. к. Іоанна Даниловичa

Карамзинъ, т. IV, стр. 235.

Въ сіе время многіе бояре тверскіе, недовольные своимъ государемъ, переѣхали въ Москву съ семействами и слугами, что было тогда не безчестною измѣной, но дѣломъ весьма обыкновеннымъ. Произвольно вступая въ службу князя великаго или удѣльнаго, бояринъ всегда могъ оставить оную, возвративъ ему земли и села, отъ него полученныя (304). Вѣроятно, что Александръ, бывъ долгое время внѣ отчизны, возвратился туда съ новыми любимцами, коимъ старые вельможи завидовали: напримѣръ, мы знаемъ, что къ нему выѣхалъ изъ Курляндіи во Псковъ какой-то знаменитый нѣмецъ, именемъ Доль, и сдѣлался первостепеннымъ чиновникомъ двора его. Сіе могло быть достаточнымъ побужденіемъ для тверскихъ бояръ искать службы въ Москвѣ, гдѣ они, безъ сомнѣнія, не старались успокоить великаго князя въ разсужденіи мнимыхъ или дѣйствительныхъ замысловъ несчастнаго Александра Михайловича.

—

Прим. 304. Сія свобода бояръ доказывается слѣдующими мѣстами, находящимися въ духовной Іоанна Даниловича и договорной Дмитрія Ивановича... (см. ниже или Древн. Росс. Вивл., I, стр. 56 и 57): „1) далъ есмь“ и т. д. (та же цитата, что у Щербатова); „2) а который бояринъ поѣдетъ изъ кормленья отъ тобе или ко мнѣ...“ и т. д.

ча *), что тогда князья давали земли и помѣстья своимъ служителямъ, за которыя они обязаны были имъ служить, оставляя же сіи помѣстья, обязанность оставляли. Рѣдко кто въ неудовольствіи своемъ можетъ въ границахъ умѣренности остаться; тако и сіи бояре... чаятельно не оставили усугубить причинъ, которыя ихъ понудили оставить Тверь, а, можетъ статься, дабы выслужиться передъ великимъ княземъ, сказывали на князя Александра что противное князю Іоанну Даниловичу; по крайней мѣрѣ, изъ послѣдующаго его поступка то можно заключить.

Мы нарочно выбрали это мѣсто, потому что оно представляетъ не простой разсказъ, а рядъ сопоставленій и соображеній на основаніи разныхъ источниковъ (лѣтопись, родословная, духовная). Заимствовавъ всѣ эти соображенія отъ Щербатова, Карамзинъ послѣдовалъ ему на этотъ разъ дальше, чѣмъ слѣдовало. Право отъѣзда бояръ доказывается не приведеннымъ у Щербатова мѣстомъ завѣщанія Калиты (которое относится къ дворцовой службѣ и къ помѣстному владѣнію), а постоянною формулой договорныхъ грамотъ: „боярамъ и слугамъ межъ насъ вольнымъ воля" **). Вотчинъ своихъ при отъѣздѣ бояре не теряли. Нельзя не замѣтить также, что Щербатовъ рѣзче подчеркиваетъ предположительный характеръ своихъ толкованій, чѣмъ Карамзинъ, пересказывающій ихъ отъ своего имени. Въ приведенномъ мѣстѣ Карамзина эта разница между показаніемъ источника и толкованіемъ изслѣдователя еще удерживается посредствомъ выраженій „вѣроятно" и „безъ сомнѣнія". Въ другихъ случаяхъ она совсѣмъ исчезаетъ. Вотъ, наприм., случай, гдѣ прагматическая мотивировка Щербатова у Карамзина дѣлается мотивировкой самихъ дѣйствующихъ лицъ. Дядя и племянникъ, Василій Ярославичъ и Дмитрій Александровичъ, добиваются новгородскаго стола.

Щербатовъ, III, стр. 126.

Важно было князьямъ россійскимъ, кому на престолѣ сего великаго и

Карамзинъ, IV, стр. 121

И Василій, и Димитрій Александровичъ желали присвоить себѣ Нов-

*) Иностр. коллегіи архивы № 2. Сей князь, чиня распредѣленіе о своихъ вотчинахъ, между прочимъ, пишетъ слѣдующее: „а что есть купилъ село въ Ростовѣ Богородичное, а далъ есть Борису Воркову, иже имать сыну моему которому служитися, да будетъ за нимъ; не иметъ ли служити,—дѣтямъ моимъ село, а не ему."

**) Соловьевъ: „Н. М. Карамзинъ", Отечественныя Записки, 1885 г., № 4, стр. 111.

богатаго града сидѣть... Можно сказать, что оба сіи князя имѣли право требовать сего престола: князь Василій по учиненному имъ благодѣянію, когда онъ отвратилъ татаръ брату своему Ярополку противъ Новгорода помогать, а князь Димитрій по оказаннымъ услугамъ отцомъ его княземъ Александромъ Невскимъ и по знаемости его самого новгородцами.

городъ, избыточный, сильный и менѣе другихъ областей угнетенный игомъ татарскимъ. Димитрій надѣялся на славу мужества, изъявленнаго имъ въ битвѣ Раковорской и еще болѣе на память отца, героя Невскаго, а Василій—за услугу, недавно оказанную имъ въ Ордѣ Новгороду.

Приведемъ еще небольшой примѣръ, чтобы дать понятіе о томъ, какъ Щербатовъ помогаетъ иногда Карамзину даже въ простыхъ переходахъ отъ одного предмета къ другому.

Щербатовъ, III, стр. 173.

Я на нѣсколько времени оставлю сихъ князей, пребывающихъ уже во взаимной недовѣренности и изготовляющихся ко брани,—дабы помянуть о бывшихъ печальныхъ приключеніяхъ въ Курскомъ и Рыльскомъ княженіяхъ.

Карамзинъ, IV, стр. 136.

Увидимъ, что Андрей, стараяся доказывать великому князю свое раскаяніе и миролюбіе, дѣйствовалъ какъ лицемѣръ; но прежде описанія его новыхъ злодѣйствъ изобразимъ тогдашнія бѣдствія области Курской.

Повторяемъ, для того, чтобы сдѣлать вполнѣ яснымъ, насколько Щербатовъ облегчалъ Карамзину и предварительное изученіе источниковъ, и составленіе самаго изложенія, нужно было бы по страницамъ сдѣлать сличеніе всей *Исторіи государства Россійскаго*.

При такихъ условіяхъ составленіе исторіи должно было пойти быстро послѣ перваго тома, стоившаго Карамзину, какъ мы видѣли, двухъ лѣтъ. Второй и третій томъ были написаны оба въ такой же срокъ (1806—1808 гг.), причемъ еще весь 1807 годъ „работа была не спора отъ безпокойства душевнаго". „Года черезъ 3 4 дойду до Романовыхъ", предполагалъ Карамзинъ въ 1808 году и, вѣроятно, ошибся бы немногимъ, если бы въ слѣдующемъ году, кончивъ уже четвертый томъ, не нашелъ Волынской (Ипатьевской) лѣтописи, которая заставила его цѣлый годъ потратить на исправленіе написаннаго и на выписки изъ этой лѣтописи, раньше извѣстной только по самому началу и совершенно измѣнявшей исторію южной Руси. По этой причинѣ составленіе 5 тома затянулось на два года (до осени 1811 г.). Зато шестой томъ, правленіе Ивана III, готовъ былъ въ одну зиму. Но, опять, двѣнадцатый годъ, истребившій библіотеку Карамзина, задержалъ его еще на годъ до лѣта 1813 года. Въ теченіе слѣдующаго года (1813 14) готовъ былъ 7 томъ, княженіе Василія III, еще въ годъ (осень 1814—осень 1815 г.) поспѣлъ и 8—исторія Ивана Грознаго до эпохи казней. Въ началѣ 1816 года Карамзинъ уже ѣхалъ въ Петербургъ издавать свои восемь томовъ.

Не будемъ слѣдить далѣе за внѣшнею исторіей карамзинскаго труда, такъ какъ „чудо“ погодинское кажется теперь достаточно разъясненнымъ. Дальнѣйшія разъясненія получимъ, если обратимся къ болѣе подробному разбору положенія Карамзина относительно предшествовавшей исторіографіи въ томъ, что касается методическихъ пріемовъ и общихъ историческихъ взглядовъ.

III.

Въ исторіографіи XVIII вѣка мы встрѣтили два различные взгляда на задачи историческаго изученія. Русскіе изслѣдователи ставили главною цѣлью исторіи—принесеніе пользы, нѣмецкіе изслѣдователи—достиженіе истины. Къ концу столѣтія тотъ и другой взглядъ сблизились и существовали совмѣстно у такихъ изслѣдователей, какъ Щербатовъ и Болтинъ, Миллеръ и Шлецеръ. Карамзину, конечно, обѣ точки зрѣнія хорошо извѣстны, и онъ постоянно твердитъ о необходимости, чтобы исторія была истинна и достовѣрна. „Если мы захотимъ соображать исторію съ пользою народнаго тщеславія,—выражается онъ, то она утратитъ главное свое достоинство—истину, и будетъ скучнымъ романомъ“. Мы и увидимъ, что Карамзинъ со всѣмъ усердіемъ добивался истины—въ своихъ примѣчаніяхъ. Но это была невольная дань тому состоянію, въ какое привели нѣмцы русскую историческую науку,— „тягостная жертва, приносимая достовѣрности“, какъ выразился Карамзинъ въ предисловіи къ И. Г. Р. и какъ онъ всегда выражался о своихъ „примѣчаніяхъ“. Главный нервъ его работы лежалъ не здѣсь; чтобы понять историческій идеалъ Карамзина, необходимо обратиться къ тексту И. Г. Р. *Зачѣмъ* и *какъ* онъ будетъ писать исторію,—это Карамзинъ зналъ еще задолго до того, когда рѣшился сдѣлаться русскимъ историкомъ; и написавши свою исторію, онъ остался при прежнемъ взглядѣ. „Тацитъ, Юмъ, Робертсонъ, Гиббонъ—вотъ образцы“, пишетъ Карамзинъ еще въ 1790 году, въ Парижѣ. „Говорятъ, что наша исторія сама по себѣ менѣе другихъ занимательна: не думаю; нуженъ только умъ, вкусъ, талантъ. *Можно выбрать, одушевить, раскрасить*; и читатель удивится, какъ изъ Нестора, Никона и проч. могло выйти нѣчто привлекательное, сильное, достойное вниманія не только русскихъ, но и чужестранцевъ. Родословныя князей, ихъ ссоры, междоусобія, набѣги половцевъ не очень любопытны, соглашаюсь; но зачѣмъ наполнять ими цѣлые тома? Что не важно, то сократить, но всѣ черты, которыя означаютъ свойство народа русскаго, *характеръ нашихъ древнихъ героевъ*, отмѣнныхъ людей, *происшествія дѣйствительно любопытныя описать живо, разительно.* У насъ былъ свой Карлъ Великій—Владиміръ, свой Людовикъ XI царь Іоаннъ, свой Кромвель— Году-

новъ, и еще такой государь, которому нигдѣ не было подобныхъ —Петръ Великій. Время ихъ правленія составляетъ важнѣйшія эпохи въ нашей исторіи, и даже въ исторіи человѣчества: его-то надобно представить въ живописи, а прочее можно обрисовать, но такъ, какъ дѣлалъ свои рисунки Рафаэль или Микель-Анджело."

Итакъ, не историческое изученіе, не разработка сырого матеріала исторіи, а художественный пересказъ данныхъ уже извѣстныхъ—вотъ та заманчивая задача, которая рисуется въ воображеніи будущаго историка. Изъ наличнаго историческаго матеріала—иное сократить, иное раскрасить; выкинуть неблагодарную путаницу событій и остановиться на благодарныхъ эпизодахъ и характерахъ,—все это одушевить чувствомъ; исторія русская можетъ быть незанимательной, но что художественное произведеніе на мотивы русской исторіи, составленное по этому рецепту, непремѣнно будетъ занимательно, за это ручаются умъ, вкусъ и талантъ художника. „Нѣтъ предмета столь бѣднаго, чтобы искусство уже не могло въ немъ ознаменовать *себя* пріятнымъ для ума образомъ", повторяетъ Карамзинъ ту же мысль въ своемъ предисловіи. Подъ „бѣднымъ предметомъ" надо разумѣть здѣсь русскую исторію, а пріятно ознаменуетъ себя въ этомъ предметѣ—*Исторія государства Россійскаго.*

Мы имѣемъ всѣ основанія думать, что, и сдѣлавшись самъ историкомъ, Карамзинъ не измѣнилъ своихъ взглядовъ на задачи историческаго произведенія. Едва начавши свои подготовительныя занятія, онъ спѣшитъ уже набросать мысли для будущаго предисловія. Значеніе исторіи резюмировано здѣсь подъ тремя рубриками: 1) „Любопытство знать, отъ чего мы, какъ, -судьбу предковъ", etc. 2) „Учитъ благоразумію". 3) „Даетъ бодрость сравненіемъ" *). За этими идеями, напоминающими намъ Татищева, слѣдуютъ наброски звучныхъ фразъ, по-французски: „Le charme, attaché à l'histoire ancienne, semblable à celui, qui nous fait regarder avec intérêt ces anciens monuments... c'est le domaine de la Poésie"... Видно, что не мысль важна для Карамзина въ этихъ отрывкахъ, слишкомъ неконченныхъ, чтобы выражать какую-либо мысль, а образное сравненіе, красиво выраженное. И вотъ, всѣ двѣнадцать лѣтъ, пока исторіографъ пишетъ свои первые восемь томовъ, эти картинныя фразы не выходятъ изъ его головы, пока не укладываются, наконецъ, блистательными рядами въ его знаменитомъ предисловіи. „Я ободрялъ себя мыслію, что въ повѣствованіи о временахъ отдаленныхъ есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображенія: тамъ источ-

---

*) Эта фраза, написанная въ первые годы XIX столѣтія, доказываетъ, между прочимъ, шаткость психологической манеры С. М. Соловьева. Встрѣчая эту мысль въ предисловіи къ И. Г. Р., Соловьевъ приписываетъ ее впечатлѣнію, произведенному на Карамзина наполеоновскими переворотами, и видитъ въ ней какую-то особенность XIX вѣка.

ники поэзіи! Взоръ нашъ, въ созерцаніи великаго пространства, не стремится ли обыкновенно мимо всего близкаго, яснаго—къ концу горизонта, гдѣ густѣютъ, меркнутъ тѣни и начинается непроницаемость". Такъ, даже изъ скудости матеріала историкъ предлагалъ читателю извлекать эстетическое наслажденіе.

Есть, впрочемъ, еще два аргумента, которыми Карамзинъ, опять еще за 12 лѣтъ, готовится рекомендовать вниманію читателя русскую древность. „Vous voulez lire l'histoire? Eh bien, c'est faire un long voyage,—et voir aussi des plaines arides" *). Но если ни обращеніе къ фантазіи, ни обращеніе къ серьезности не подѣйствуетъ на читателя,—у Карамзина есть въ запасѣ патріотическое оправданіе неитереснаго въ исторіи. „Хвастливость авторскаго краснорѣчія и нѣга читателей осудятъ ли на вѣчное забвеніе дѣла и судьбу нашихъ предковъ? Иноземцы могутъ пропустить скучное для нихъ въ нашей *древней* исторіи; но добрые россіяне не обязаны ли имѣть болѣе терпѣнія, слѣдуя правилу государственной нравственности, которая ставитъ уваженіе къ предкамъ въ достоинство гражданину образованному". И эта тирада предисловія находитъ свою параллель въ набросках, сдѣланныхъ за 12 лѣтъ раньше. „Народъ, презиравшій свою исторію, презрителенъ, ибо легкомысленъ; предки были не хуже его" **).

При всемъ разнообразіи этихъ аргументовъ, цѣль ихъ, какъ видимъ, одна и та же. Исторія должна быть занимательна: по соображеніямъ утилитарнымъ, по соображеніямъ эстетическимъ, по соображеніямъ патріотическимъ, -какъ бы то ни было, но исторія должна быть занимательна. Вотъ основная идея, неотвязно преслѣдующая историографа. Разумѣется, самъ онъ сдѣлаетъ все возможное и употребитъ всѣ средства для осуществленія этой задачи: сократитъ, раскраситъ, оживитъ патріотизмомъ. Не совершивъ еще никакихъ грѣховъ противъ исторической достовѣрности, онъ въ тѣхъ же набросках уже примѣриваетъ позу кающагося грѣшника. „Знаю, намъ нужно безпристрастіе историка: простите, я не всегда могъ скрыть любовь къ отечеству". И эта мысль, правда, въ болѣе сдержанной формѣ, оживаетъ, какъ извѣстно, въ предисловіи. „Чувство: *мы*, *наше*—оживляетъ повѣствованіе... любовь къ отечеству даетъ... кисти жаръ, силу, прелесть. Гдѣ нѣтъ любви, нѣтъ и души".

Такой взглядъ на задачи исторіи самъ по себѣ обѣщаетъ намъ Ломоносовское или Эминское употребленіе историческаго матеріала. Уберется ли историографъ отъ подобныхъ послѣдствій?

---

*) Ср. въ Предисловіи: „Исторія—не романъ, и міръ—не садъ, гдѣ все должно быть пріятно... сколько песковъ безплодныхъ... Однако-жъ, путешествіе вообще любезно" и т. д.

**) Погодинъ, т. II, стр. 32—33.

Прежде всего нельзя не замѣтить, что только съ XVI вѣка матеріалъ представляется въ достаточномъ изобиліи, чтобы позволить историку сколько-нибудь художественное изображеніе. Оставимъ пока эту часть исторіи въ сторонѣ и посмотримъ, какъ поступалъ Карамзинъ при изображеніи предыдущаго періода. „До сихъ поръ (т.-е. до XVI в.),—признается онъ самъ,—я только хитрилъ и мудрилъ, выпутываясь изъ трудностей. Вижу за собой песчаную степь африканскую“ *).

Какъ Карамзинъ „выпутывался“ до XVI столѣтія,—видно изъ самой *Исторіи государства Россійскаго.* Главную помощь оказывалъ языкъ. Можно бы составить интересный каталогъ эпитетовъ, которыми Карамзинъ старается обрисовать толпу князей, какъ двѣ капли воды похожихъ другъ на друга, и путаницу ихъ дѣйствій, утомительно-однообразныхъ. „Добрый, благодѣтельный, жестокій, нѣжный, безчеловѣчный, знаменитый, несчастный, счастливый, печальный, юный, храбрый, хитрый, благоразумный, осторожный“ и т. д.—всѣ эти прилагательныя такъ и мелькаютъ въ разсказѣ, облегчая чтеніе, но не оставляя, все-таки, никакого прочнаго впечатлѣнія и даже обезличивая черты, дѣйствительно характерныя. „Отмстилъ, утѣшился, негодовалъ, ревновалъ, спѣшилъ, страшился“ – налагаютъ такую же печать однообразія и на дѣйствія. Въ построеніи фразъ встрѣчаемъ ту же, болѣе или менѣе невинную, манеру украшать фактическія данныя лѣтописей. „Усердные москвитяне были обрадованы счастливымъ возвращеніемъ своего князя“; „никто не могъ безъ умиленія видѣть, сколь Димитрій предпочитаетъ безопасность народную своей собственной,—и любовь общая къ нему удвоилась въ сердцахъ благодарныхъ“; „сей государь великодушный могъ ли быть счастливъ и веселъ въ тогдашнихъ обстоятельствахъ Россіи“; „изумленные рѣшительною волей—господствовать единодержавно, они жаловались, но повиновались“. Всѣ эти украшенія рѣчи, свидѣтельствующія о литературныхъ вкусахъ эпохи, становятся, однако, уже совсѣмъ не невинными, когда воздѣйствуютъ на самое содержаніе разсказа. Возьмемъ одинъ примѣръ. Въ 1364 году былъ въ Москвѣ пожаръ. Въ 1367 году построенъ каменный Кремль. Въ 1365 году мурза Тагай выжегъ Рязань. Въ 1367 году князь нижегородскій Дмитрій Константиновичъ разбилъ Булатъ-Темира. Въ 1364 году. новгородская вольница грабила по Волгѣ, и Дмитрій Донской объявилъ свой гнѣвъ новогородцамъ. Какъ передать занимательнымъ для читателя образомъ весь этотъ рядъ одиночныхъ, разновременныхъ и другъ отъ друга независимыхъ фактовъ? Карамзинъ достигаетъ этого, находя между ними связь и составляя изъ нихъ нѣчто цѣлое. Пожаръ показалъ ненадежность деревянныхъ укрѣпленій; поэтому рѣшили построить ка-

---

*) Погодинъ, т. II, стр. 87.

менныя. Это было нужно и для *будущаго* освобожденія отъ татарскаго ига (о которомъ еще никто тогда не думалъ). Но могли ли *татары* „простить" Москвѣ эту „великодушную смѣлость"? Нѣтъ, мурза (правда, совсѣмъ независимый отъ Золотой орды) сжегъ Рязань (правда, совершенно независимую отъ Москвы), но потомъ былъ разбитъ. *Тоже* былъ разбитъ другой хищникъ монгольскій. Эти побѣды предвозвѣщали важнѣйшія (освобожденіе); но *предварительно нужно было* великому князю усмирить *внутреннихъ* враговъ—новогородцевъ. Такимъ образомъ, за неимѣніемъ причинной связи между событіями, Карамзинъ придумываетъ свою связь, *стилистическую*; читателю, положившемуся на Карамзина, эта связь могла бы показаться причинной, если бы весь разсказъ не былъ разсчитанъ на быстрое, легкое чтеніе, послѣ котораго никакого воспоминанія обо всей этой искусственно-нанизанной нити событій, все равно, не останется.

Помимо стилистической связи событій, у Карамзина есть и другой литературный пріемъ, не менѣе вредящій научному достоинству изложенія. Это – его психологическая мотивировка дѣйствій. Щербатовъ, мы видѣли, тоже любитъ психологическую мотивировку, хотя и отдѣляетъ ее отъ строго-фактическаго изложенія; но любимые мотивы обоихъ историковъ такъ же различны, какъ раціонализмъ Щербатова и сантиментализмъ Карамзина. Герои Щербатовской исторіи дѣйствуютъ преимущественно изъ политическихъ видовъ. Герои *Исторіи государства Россійскаго* руководятся въ своихъ дѣйствіяхъ „нѣжною чувствительностью". Вотъ, для примѣра, разсказъ обоихъ историковъ о томъ, почему Борисъ не хотѣлъ дѣйствовать противъ Святополка Окаяннаго.

Щербатовъ:

„Борисъ, страшась неустройствъ, которыя могутъ отъ междоусобныя войны произойтить, и почитая старѣйшаго себѣ брата, имъ на сіе отвѣтствовалъ, что онъ никогда не вооружится на своего брата, котораго вмѣсто отца намѣренъ почитать. Таковымъ отвѣтомъ доброжелательныя его войска, бывъ приведены въ уныніе и опасаясь, чтобы должайшее пребываніе съ нимъ—отъ Святополка имъ не вмѣнилось въ преступленіе, его оставя разошлись...; однако Святополкъ, зная всенародную любовь къ Борису, послалъ къ нему нарочно объявить, что онъ желаетъ съ нимъ быть въ братской дружбѣ" и т. д.

Карамзинъ:

Борисъ отвѣтствовалъ: могу ли поднять руку на брата старѣйшаго; онъ долженъ быть мнѣ вторымъ отцомъ. Сія нѣжная чувствительность казалась воинамъ малодушіемъ: оставивъ князя мягкосердечнаго, они пошли къ тому, кто властолюбіемъ своимъ заслуживалъ въ ихъ глазахъ право властвовать Но Святополкъ имѣлъ только дерзость злодѣя. Онъ послалъ увѣрить Бориса въ любви своей" и т. д.

Какъ видимъ, дѣйствія Бориса, войска и Святополка у Щербатова представляются дѣломъ простого разсчета: Борисъ боится междоусобной войны, войско боится гнѣва Святополка, Святополкъ боится народной любви къ Борису. У Карамзина тѣ же дѣйствія являются слѣдствіемъ душевныхъ движеній: братней нѣжности, уваженія къ силѣ, трусливости Святополка. Въ источникѣ обоихъ—въ лѣтописи—нѣтъ ни той, ни другой мотивировки *). Но даже тамъ, гдѣ источникъ даетъ мотивировку, Карамзинъ предпочитаетъ иногда замѣнить ее своею, болѣе соотвѣтствующею его литературной манерѣ. По лѣтописи, князь Дмитрій Константиновичъ Суздальскій старается отнять у младшаго брата Нижегородское княженіе; во время борьбы онъ получаетъ изъ Орды ярлыкъ на великое княженіе Владимірское, но поступаетъ къ Дмитрію Донскому съ тѣмъ, чтобы получить отъ послѣдняго помощь противъ Нижняго-Новгорода **). Такъ и изложено было у Щербатова. По Карамзину Дмитрій Константиновичъ отказывается отъ Владимірскаго стола, „видя слабость свою" и „предпочитая дружбу Дмитрія (Донского) милости" хана,—безъ всякихъ опредѣленныхъ разсчетовъ; а затѣмъ освобождается Нижегородскій столъ, и изъ „благодарности" Дмитрій помогаетъ Суздальскому князю занять его. Такимъ образомъ, отказъ Дмитрія Суздальскаго и помощь ему Дмитрія Московскаго, два факта, связанные въ источникѣ причинною связью, у Карамзина связываются только стилистическимъ оборотомъ съ сантиментально-психологическою мотивировкою: „умѣренность, вынужденная обстоятельствами (т.-е. отказъ отъ великаго княженія), не есть добродѣтель; однакожь, Дмитрій Іоанновичъ изъявилъ ему за то благодарность". Даже прямо формальныя, юридическія выраженія княжескихъ договоровъ, въ которыхъ слабѣйшій обѣщается обыкновенно „держать великое княженье честно и грозно", а сильнѣйшій обязуется держать слабѣйшаго „въ братствѣ, безъ обиды", у Карамзина превращаются въ обязательства младшаго „уважать", а старшаго „любить" своего контрагента.

Стилистическою связью событій и сантиментально-психологическою мотивировкой не исчерпываются, однако же, литературно-художе-

---

*) Лавр. лѣт. подъ 1015 г.: „онъ же (Борисъ) рече: не буди ми възняти руки на брата своего старѣйшаго; аще и отець ми умре, то сь ми буди въ отца мѣсто. И се слышавше вои, разъидошася отъ него... Святополкъ же, исполнився беззаконья, каиновъ смыслъ пріимъ, посылая къ Борису, глаголаше: „яко съ тобою хочю любовь имѣти"..., а льстя подъ нимь, како бы и погубити".

**) „Онъ же (Дм. К.) не восхотѣ (воспользоваться ярлыкомъ), и поступися великаго княженія володимерскаго великому князю Дмитрею Ивановичю Московскому, а испросилъ у него силу къ Новгороду къ Нижнему на своего меньшаго брата" (который раньше „не поступися ему княженія новгородскаго"). Соловьевъ въ Соврем. 1855 г., № 4, отд. II, стр. 115.

ственные пріемы Карамзинскаго изложенія. Предметомъ исторической живописи, вопреки скудости источниковъ, служатъ у Карамзина и въ первой части его исторіи — и положенія, и характеры. Мы не встрѣчаемъ здѣсь, конечно, вымышленныхъ рѣчей à la Ѳукидидъ или Ливій, какія встрѣчали у Эмина. Карамзинъ хорошо знаетъ, что историку „нельзя прибавить ни одной черты къ извѣстному, нельзя вопрошать мертвыхъ; говоримъ, что предали намъ современники: молчимъ, если они умолчали, или справедливая критика заградитъ уста легкомысленному историку, обязанному представлять единственно то, что сохранилось отъ вѣковъ въ лѣтописяхъ, въ архивахъ". „Мы не можемъ нынѣ,—прямо заявляетъ Карамзинъ въ своемъ предисловіи,—витійствовать въ исторіи... Самая прекрасная выдуманная рѣчь безобразитъ исторію, посвященную не славѣ писателя, не удовольствію читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истинѣ, которая уже сама дѣлается источникомъ удовольствія и пользы".

Уже то, что мы знаемъ, показываетъ, что эта profession de foi не всегда выдерживалась исторіографомъ. Но мы знаемъ еще не все. Сравните, наприм., съ только что цитированными заявленіями Карамзина нарисованную имъ картину смерти Александра Невскаго: „Истощивъ силы душевныя и тѣлесныя въ ревностномъ служеніи отечеству,—передъ концомъ своимъ онъ думалъ уже единственно о Богѣ: постригся, принялъ схиму, и слыша горестный плачъ вокругъ себя, тихимъ голосомъ, но еще съ изъявленіемъ нѣжной чувствительности, сказалъ добрымъ слугамъ: удалитесь и не сокрушайте души моей жалостію! Они всѣ готовы были лечь съ нимъ во гробъ, любивъ его всегда, -по собственному выраженію одного изъ нихъ,— гораздо болѣе, нежели отца роднаго". Откуда взяты краски для этой картины и эти „собственныя выраженія"? Формально Карамзинъ правъ, все это есть въ источникѣ, но въ такомъ источникѣ, изъ котораго никакой историкъ, и даже самъ Карамзинъ, не рѣшился бы взять этихъ данныхъ, если бы они не понадобились для его художественныхъ цѣлей. Въ древнемъ житіи Александра Невскаго, написанномъ „самовидцемъ возраста его", человѣкомъ близко къ нему стоявшимъ, мы встрѣчаемъ только короткое лирическое отступленіе автора передъ описаніемъ кончины князя; картину же самой кончины Карамзинъ заимствовалъ изъ позднѣйшей передѣлки житія (въ XVI вѣкѣ), помѣщенной въ *Степенной Книгѣ* *). Точно также на-

*) „О горе тебѣ, бѣдный человѣче, восклицаетъ авторъ XIII столѣтія (П. С. Р. Л. V, 5),—како можеши написати кончину господина своего! Како же не упадетъ ти зѣници вкупѣ со слезами? Како же не урвется сердце твое отъ коренія? Отца бо оставити человѣкъ можетъ, а добра господина не мощно оставити; аще бы лзѣ—и въ гробъ бы лѣзлъ съ нимъ!" Эти безыскусственныя выраженія чувства, вырвавшіяся у автора XIII в. вопреки

ходимъ у Карамзина цѣлую страницу самаго раздирающаго описанія положенія Россіи послѣ Батыева нашествія, собственными словами „нашихъ лѣтописцевъ"; а эти лѣтописи оказываются опять—*Степенной Книгой*, той самой, которая даже святую Ольгу заставляетъ длинной и трогательной рѣчью защищать свою дѣвическую честь отъ покушеній Игоря. Щербатовъ въ обоихъ упомянутыхъ случаяхъ оказался осторожнѣе Карамзина: ни тотъ, ни другой разсказъ не помѣщены у него въ текстѣ, хотя ссылки на *Степенную Книгу* и сдѣланы въ примѣчаніяхъ.

Попытки изображать историческіе характеры ведутъ Карамзина къ такому же неосторожному пользованію источниками. Такъ, напримѣръ, онъ самъ отвергаетъ позднѣйшее украшенное сказаніе о Куликовской битвѣ и принимаетъ сказаніе современное событію; и, однако же, характеръ Олега Рязанскаго, обрисованный у исторіографа самыми черными красками, изображается въ духѣ отвергнутаго источника. Въ цѣлый рядъ противорѣчій себѣ и источникамъ вводитъ Карамзина изображеніе характера Василія Темнаго *). Но едва ли не самую злую шутку сыграла надъ Карамзинымъ его литературная манера при изображеніи характера Ивана Грознаго. Историческій матеріалъ становился здѣсь богаче, и Карамзинъ заранѣе предвкушалъ обильную жатву. „Какой славный характеръ для исторической живописи, — пишетъ онъ, оканчивая княженіе Василія III,— „жаль, если выдамъ исторію безъ сего любопытнаго царствованія; тогда она будетъ, какъ павлинъ безъ хвоста".

Опасенія Карамзина не сбылись, и первые 8 томовъ *Исторіи* выпущены были съ „павлиньимъ хвостомъ" или, точнѣе, съ половиной его, такъ какъ восьмой томъ прерывался на серединѣ правленія Грознаго. „Это сравненіе (съ павлиньимъ хвостомъ),—замѣчаетъ С. М. Соловьевъ,—разоблачаетъ передъ нами образъ воззрѣнія писателя на предметъ...; такое сравненіе не могло появиться даромъ, безъ причины. Сравниваемые предметы одинаково поразили сравнивающаго удивительнымъ сочетаніемъ блестящихъ цвѣтовъ; пораж

агіографическому стилю позднѣйшихъ житій, авторъ XVI вѣка замѣняетъ слѣдующею реторикой: „Ужасно бѣ видѣти, яко въ толицѣ множествѣ народа не обрѣсти человѣка, не испустивша слезъ, но вси со воскицаніемъ рыдающе глаголаху: увы намъ, драгій господине нашъ! Уже къ тому не имамы видѣти красоты лица твоего, ни сладкихъ твоихъ словесъ насладитися. Кому прибѣгнемъ и кто ны ущедритъ? Не имутъ бо чада отъ родителя такова блага пріяти, яко же мы отъ тебе воспріимахомъ, сладчайшій наю господине! Онъ же зѣло стужився, повелѣ всѣмъ скоро отъити, да не молву, рече, дѣюще, сокрушаютъ ми душу". (Степ. Кн. I, стр. 372—373). О редакціяхъ житія Александра Невскаго см. Ключевскаго: „Древнерусскія житія святыхъ", стр. 66—71, 238—240.

*) Противорѣчія эти указаны С. М. Соловьевымъ. От. Зап. 1855 г., № 4, стр. 127—131.

ный этимъ блескомъ, писатель истощилъ свое искусство, чтобы передать его во всей полнотѣ читателю, удержать эту яркость, ослѣпляющую зрѣніе, желая соблюсти всю силу внѣшняго впечатлѣнія. Понятно, почему Карамзинъ, принимая авторитетъ Курбскаго, однако, отступаетъ отъ извѣстій послѣдняго при описаніи блестящихъ событій первой половины царствованія Іоаннова, старается смягчить, переиначить эти показанія. Юный монархъ совершаетъ великіе подвиги: мудрецъ въ собраніи архіереевъ и бояръ, указующій на злоупотребленія и на средства исправить ихъ; герой на полѣ ратномъ, ведущій войско подъ стѣны враждебнаго города и сокрушающій ихъ разумными распоряженіями и личною храбростью — вотъ Іоаннъ! Для красоты описанія это лицо необходимо, и необходимо именно въ такомъ положеніи, въ какомъ выставляютъ его лѣтописи, а не въ такомъ, въ какомъ видимъ его у Курбскаго. Если бы Карамзинъ принялъ представленіе Курбскаго, что всѣ эти подвиги совершены не Іоанномъ, а руководителями его..., то что было бы съ картиною?“ *).

Дѣйствительно, припомнимъ изображеніе Курбскаго. Порожденіе беззаконнаго брака, съ дѣтства развращенный и испорченный воспитаніемъ, потомъ на короткое время какъ будто загипнотизированный сильною волей Сильвестра, насильно обращенный на путь добродѣтели; наконецъ, снова свихнувшійся на прежнюю, привычную колею и окончательно предавшійся оргіямъ гнѣва и разврата, такимъ рисуетъ Грознаго царя посвященный въ его интимную жизнь „синклитъ“. Сопоставимъ это съ изображеніемъ Карамзина: „Сей монархъ, озаренный славой, до восторга любимый отечествомъ, завоеватель враждебнаго царства, умиритель своего, великодушный во всѣхъ чувствахъ, во всѣхъ намѣреніяхъ, мудрый правитель, законодатель, имѣлъ только двадцать два года отъ рожденія: явленіе рѣдкое въ исторіи государствъ! Казалось, что Богъ хотѣлъ въ Іоаннѣ удивить Россію и человѣчество примѣромъ какого-то совершенства, великости и счастія на тронѣ“.

Кто же будетъ судьей между показаніемъ современника и исторической оцѣнкой Карамзина? Уже Погодинъ обратилъ вниманіе на то, что судьей въ данномъ случаѣ является самъ Грозный и что онъ безповоротно рѣшаетъ дѣло въ пользу показаній Курбскаго **). Про излишества царя въ дѣтствѣ и послѣ ссоры съ Сильвестромъ мы знаемъ достаточно изъ другихъ источниковъ; про добродѣтели, внушенныя царю совѣтниками въ промежуточномъ періодѣ, говоритъ намъ самъ Грозный въ своихъ письмахъ къ Курбскому: „Подъ

---

*) Соловьевъ. Отеч. Зап. 1856 г., № 4, стр. 340.

**) Погодинъ: „Историко-критическіе отрывки“. Статьи „О характерѣ Іоанна Грознаго“ (написаны еще въ 1825 году).

предлогомъ душевной пользы вы овладѣли моею волей, вы пугали меня дѣтскими страшилами, вы обращались со мною какъ съ младенцемъ, вы лишили меня воли даже въ подробностяхъ моей домашней жизни, въ одеждѣ и снѣ, въ отправленіи моихъ религіозныхъ обязанностей, вы хотѣли сами править царствомъ, а мнѣ оставили только титулъ; *словомъ* я былъ государь, а *дѣломъ* ничѣмъ не владѣлъ и былъ нисколько не лучше раба". Эти и десятки подобныхъ выраженій на каждой страницѣ пестрятъ въ посланіяхъ царя. Грозный не останавливается даже надъ развѣнчаніемъ самого себя въ дѣлахъ, принесшихъ наиболѣе славы его царствованію. Всѣ помнятъ блестящую картину взятія Казани, нарисованную Карамзинымъ. Самъ царь, величественный, спокойный, составляетъ у историка центральную фигуру картины. „Вы меня, какъ плѣнника, везли сквозь землю невѣрныхъ,—жалуется въ дѣйствительности самъ царь— какъ только меня сохранилъ Всевышній!" Курбскій и *Царственная книга* въ одинъ голосъ подтверждаютъ это настроеніе Грознаго подъ Казанью. Іоаннъ прячется, по этимъ показаніямъ, въ церкви; напрасно убѣждаютъ его совѣтники показаться войску: „се, государь, время тебѣ ѣхати...; великое время царю ѣхати". У царя же „не токмо лицо измѣняшеся, но и сердце сокрушися". Наконецъ, приближенные его, „хотяща, не хотяща, за бразды коня взявъ", выводятъ къ войску и ставятъ у царской хоругви.

Мы не будемъ останавливаться на томъ, какъ во всѣхъ частностяхъ Карамзинъ примиряетъ показанія источниковъ съ своимъ представленіемъ о характерѣ Іоанна. По мѣрѣ удаленія отъ первыхъ годовъ царствованія Грознаго, примиреніе это становится все болѣе и болѣе труднымъ; и если оно не сдѣлалось окончательно невозможнымъ, то только потому, что Карамзинъ во-время остановилъ свой разсказъ въ VIII томѣ Исторіи. Еще Погодинъ замѣтилъ, что исторіографъ „отложилъ все дурное объ Іоаннѣ до смерти Анастасіи, до IX тома, между тѣмъ, какъ очень многое уже случилось, представляющее Іоанна совсѣмъ съ другой стороны". Несомнѣнно, Карамзинъ зналъ, что его ожидаетъ въ IX томѣ; еще не докончивъ VIII тома, онъ пишетъ въ одномъ письмѣ, что въ слѣдующемъ томѣ ему придется изображать „злодѣйства Іоанновы". Но эти злодѣйства представлялись ему только новымъ благодарнымъ сюжетомъ для исторической живописи; и, принявшись за этотъ сюжетъ, исторіографъ съ такимъ же усердіемъ нарисовалъ намъ Іоанна—тирана, съ какимъ изобразилъ раньше Іоанна—героя добродѣтели. „До появленія въ свѣтъ IX тома *Исторіи Государства Россійскаго*, у насъ признавали Іоанна государемъ великимъ,—говоритъ Устряловъ,—видѣли въ немъ завоевателя трехъ царствъ и еще болѣе— мудраго попечительнаго законодателя... Это мнѣніе поколебалъ Карамзинъ, который объявилъ торжественно, что Іоаннъ въ послѣд-

ніе годы своего правленія не уступалъ ни Людовику XI, ни Калигулѣ" *). Въ этихъ словахъ впечатлѣніе, произведенное IX томомъ, изображено очень вѣрно; но историку слѣдовало добавить, что мнѣніе, поколебленное Карамзинымъ,—было его собственное мнѣніе. Отказаться отъ ранѣе созданной картины Карамзинъ, конечно, не хотѣлъ; согласить съ нею новое изображеніе характера Іоанна—уже не могъ **) „Свидѣтельства добра и зла", по его словамъ, были „равно убѣдительны и неопровержимы"; и ему оставалось признать фактъ коренной перемѣны въ характерѣ Іоанна и предоставить объясненіе этого факта читателямъ. „Несмотря на всѣ умозрительныя изъясненія, характеръ Іоанна, героя добродѣтели въ юности, неистоваго кровопійцы въ лѣтахъ мужества и старости есть для ума загадка".

Намъ остается прибавить, что загадка эта, причинившая столько хлопотъ послѣдующимъ изслѣдователямъ, - должна найти свое объясненіе исключительно въ пріемахъ „исторической живописи" исторіографа. Подобно большинству представителей одинаковаго съ нимъ литературнаго направленія, авторъ *Натальи боярской дочери* только и умѣлъ писать „неистовыхъ кровопійцъ" или „героевъ добродѣтели". Для людей живыхъ, обыкновенныхъ, не было красокъ на этой палитрѣ, не было подходящихъ эпитетовъ въ этомъ литературномъ арсеналѣ. Пока историкъ изображалъ намъ Олега Рязанскаго какимъ-то исчадіемъ ада, - вина еще могла быть сложена на недостатокъ источниковъ. Когда, уже при большемъ запасѣ данныхъ, Карамзинъ задумалъ представить Василія Темнаго классическимъ трусомъ и видѣть у него трусость на всякомъ шагу, тутъ еще можно было объяснить неудачу увлеченіемъ художника. Но когда та же неудача повторилась при полномъ свѣтѣ исторіи, когда живая фигура Іоанна, какой она является у Курбскаго и въ его собственныхъ письмахъ, превратилась подъ перомъ Карамзина въ героя мелодрамы или въ театральнаго злодѣя, дальнѣйшихъ сомнѣній быть уже не можетъ. Не только художественныя задачи, преслѣдовавшіяся исторіографомъ, портили исторію; недостатокъ художественнаго чутья и особенности художественной манеры портили также и достиженіе художественныхъ задачъ автора.

Познакомившись съ тѣмъ, что унаслѣдовалъ Карамзинъ отъ русскаго панегирическаго и моралистическо-живописательнаго направленія, обратимся теперь къ тому, чѣмъ онъ обязанъ нѣмецкому направленію, усвоенному и русскими историками конца прошлаго

---

*) Сочиненія Курбскаго, изд. 3-е, XXXV.

**) Или, по мнѣнію Соловьева, тоже не хотѣлъ, чтобы не лишить себя возможности живописать ужасы казней и не пропустить этого новаго случая, удобнаго для „исторической живописи" (От. Зап. 1856 г., № 4, 433—4).

столѣтія: отъ „Исторіи“ обратимся къ „примѣчаніямъ“. Въ текстѣ исторіи, какъ мы видѣли, достовѣрность и точность въ передачѣ источниковъ слишкомъ часто приносятся въ жертву картинности изображенія и изяществу слога. Но по тексту, въ виду литературно-художественной задачи, поставленной авторомъ, нельзя еще составить вполнѣ опредѣленнаго понятія о томъ, какъ относится историкъ къ своимъ источникамъ. Всю подготовительную работу Карамзинъ отнесъ въ свои „Примѣчанія“, и къ нимъ мы должны обратиться, чтобы оцѣнить его, какъ критика и ученаго.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что Карамзинъ приступилъ къ своему историческому труду безъ предварительной спеціально-исторической подготовки. Тѣмъ, чѣмъ онъ сталъ, какъ критикъ и ученый, онъ сдѣлался уже во время самой работы; и, конечно, первенствующая роль въ этой выучкѣ принадлежала нѣмецкой школѣ. На первыхъ же порахъ, какъ мы видѣли, Карамзинъ столкнулся съ авторитетомъ Шлецера, ученые пріемы котораго должны были оказать на него самое рѣшительное вліяніе. Можно прослѣдить, какъ совершенствуются техническіе пріемы Карамзина подъ вліяніемъ нѣмецкаго образца, шагъ за шагомъ контролирующаго его собственную работу. Въ самомъ началѣ занятій Карамзинъ, напримѣръ, записываетъ для памяти, какъ могъ бы записать Татищевъ: „въ Архангелогородскомъ лѣтописцѣ есть украшенія и догадки; однакожь онъ достоинъ вниманія и показываетъ умъ и знанія историческія. Какъ хорошо объ Олегѣ!“ Въ исторіи мы, дѣйствительно, находимъ это мѣсто объ Олегѣ, понравившееся Карамзину въ Архангелогородскомъ лѣтописцѣ. Но оно находится здѣсь не въ текстѣ, а въ „Примѣчаніяхъ“, и выставляется образчикомъ позднѣйшаго искаженія лѣтописей *). Если, такимъ образомъ, Карамзинъ рѣшился обойтись безъ этой картины въ своей исторической живописи, то причину этого надо искать во вліяніи Шлецера: въ своемъ Несторѣ Шлецеръ заявилъ, что эти подробности архангелогородскаго лѣтописца составляютъ простую прикрасу разсказчика **).

Окончивъ I-й томъ исторіи, Карамзинъ писалъ Муравьеву, что „не боится болѣе ферулы Шлецера“. Еще черезъ четыре года (1810) онъ отзывался о „Несторѣ“ уже слѣдующимъ образомъ: „Изъясненія и переводъ текста весьма плохи и часто смѣшны.

---

*) Ист. Г. Р., пр. 292: „Арх. Лѣт. придумалъ разныя обстоятельства. „Князь русскій стоялъ на берегу Днѣпра въ шатрахъ разноцвѣтныхъ. Старѣйшины кривичей, видя ихъ, съ удивленіемъ спросили: кто является намъ въ такой славѣ? Князь или царь? Тогда Олегъ вышелъ изъ шатра, держа на рукахъ Игоря, и сказалъ имъ: се Игорь, князь русскій: и кривичи нарекли его своимъ государемъ“. Такъ въ новѣйшія времена украшали простыя Несторовы сказанія“.

**) Несторъ, II, глава III.

Старикъ не зналъ хорошо ни языка лѣтописей, ни ихъ содержанія далѣе Нестора; а выписки изъ иностранныхъ лѣтописцевъ не новость для ученыхъ". Очевидно, такая смѣна отзывовъ свидѣтельствуетъ о томъ, что критическое воспитаніе Карамзина завершилось,—что онъ сталъ на собственныя ноги и эманципировался отъ Шлецера. Исторіографъ забылъ только, что первые нетвердые шаги на поприщѣ критики онъ сдѣлалъ подъ „ферулой" того же Шлецера *) и что „старикъ" въ совершенствѣ обладалъ качествами, которыхъ недоставало исторіографу: онъ прошелъ настоящую ученую школу и твердо зналъ, зачѣмъ онъ занимается исторіей и чего въ ней ищетъ. Взгляды самого Карамзина на задачи исторіи намъ достаточно извѣстны, такъ же какъ и столкновеніе этихъ взглядовъ съ задачами исторической критики. Мы знаемъ также, что въ позднѣйшихъ временахъ, гдѣ Шлецеръ переставалъ налагать свое veto на фантазію разсказчика,—Карамзинъ не стѣснялся пользоваться картинами *Степенной Книги*, столь же фантастическими, какъ отвергнутый имъ разсказъ Архангелогородской лѣтописи. Выучка, слѣдовательно, была неполная.

Отношеніе Карамзина къ другимъ предшественникамъ, конечно, было еще болѣе свободное. Мы говорили о томъ, какъ онъ враждебно относится къ Татищеву и Болтину и какъ тщательно отмѣчаетъ ихъ ошибки; къ отдѣлу ошибокъ или, вѣрнѣе, просто выдумокъ Татищева онъ прямо относитъ всѣ извѣстія татищевскаго свода, источникъ которыхъ ему неизвѣстенъ. Къ Щербатову по мѣрѣ развитія своего разсказа онъ тоже начинаетъ относиться критически. Впрочемъ, онъ рѣдко снисходитъ до полемики и почти всегда ограничивается однимъ пренебрежительнымъ упоминаніемъ о толкованіяхъ Щербатова, съ которыми несогласенъ. Даже на Миллера онъ начинаетъ рѣзко нападать, найдя неизвѣстные ему источники сибирской исторіи. Надо прибавить, что въ большинствѣ случаевъ Карамзинъ бываетъ вполнѣ правъ; но, независимо отъ степени основательности его критическихъ нападокъ, нельзя не отмѣтить ихъ тонъ, который дѣлаетъ музыку.

Во всякомъ случаѣ, не критика составляетъ самую сильную сторону *Примѣчаній* къ *И. Г. Р.* Если эти *Примѣчанія* оставляютъ вообще несравненно болѣе выгодное впечатлѣніе, чѣмъ самый текстъ *Исторіи*, то это обьясняется не столько критическимъ талантомъ

---

*) Еще митр. Евгеній замѣтилъ по поводу отношенія Карамзина къ Шлецеру: „пусть сороки на него (Шлецера) щекочатъ, какъ на медвѣдя въ лѣсу; онъ важенъ и въ своей берлогѣ. Щиплетъ его иногда и Карамзинъ, но какъ блоха; а самъ сплошь его замѣчаніями дышетъ въ своей исторіи, не сказывая, откуда напился крови". Русскій Архивъ, 1889 г., стр. 165; письмо къ Анастасевичу отъ 13 янв. 1819 г.

автора, сколько его ученостью. Въ этомъ отношенiи надо отдать справедливость исторiографу: онъ усердно хлопоталъ о подборѣ новыхъ историческихъ матерiаловъ, въ значительной степени обновилъ фактическое обоснованiе разсказа и надолго сдѣлалъ свою *Исторiю* необходимою для всякаго изслѣдователя хрестоматiей источниковъ русской исторiи. Особенно чувствуются эти преимущества *Примѣчанiй* при сравненiи ихъ съ тѣмъ самымъ сочиненiемъ, которому Карамзинъ такъ много обязанъ былъ при составленiи текста, съ исторiей Шербатова. Не говоримъ уже о томъ, что вся иностранная литература, относящаяся къ началу русской исторiи, является у Карамзина совершенно обновленной: мы замѣтили раньше, что эта литература, сколько-нибудь компетентная, только и появляется со второй половины XVIII вѣка; и мы знаемъ также, какъ облегчено было Карамзину знакомство и съ литературой, и съ источниками русскихъ origines *). Но далѣе, первые шаги въ области фактическаго разсказа должны были быть сдѣланы на основанiи русскихъ лѣтописныхъ источниковъ. Щербатовъ основалъ свое изложенiе болѣе чѣмъ на тридцати спискахъ лѣтописей, добрая половина которыхъ была имъ заимствована изъ патрiаршей (синодальной) и типографской библiотекъ въ Москвѣ, а около четверти нашлось въ его собственной библiотекѣ. Изъ всего этого множества списковъ наиболѣе надежными были, однако же, только два: одинъ уже напечатанный въ *Библiотекѣ Россiйской* (такъ назыв. кенигсбергскiй списокъ Суздальскаго лѣтописнаго свода), другой, найденный Щербатовымъ въ патрiаршей библiотекѣ, — Новгородскiй сводъ въ древнѣйшемъ, такъ называемомъ синодальномъ спискѣ **). Ко времени Карамзина и эта лѣтопись была напечатана ***). Но, кромѣ этихъ двухъ списковъ, Карамзину удалось найти два лучшихъ списка Суздальскаго свода (упомянутые выше Пушкинскiй—онъ же Лаврентьевскiй—и Троицкiй, въ 1812 году сгорѣвшiй), и два списка южной лѣтописи, ранѣе извѣстной только по началу: Ипатьевскiй и Хлѣбниковскiй ****).

---

*) Главнѣйшiе труды въ литературѣ: Гебгарди, Антонъ, Тунманъ, сочиненiя Шлецера и нѣмцевъ — современниковъ Карамзина, работавшихъ въ Россiи: Круга, Лерберга, Френа.

**) Самъ Щербатовъ вполнѣ сознавалъ преимущества этихъ списковъ (Исторiя Россiи, т. II, стр. 223, 292, 303, 461).

***) Въ Продолженiи древней россiйской Вивлiоѳики, т. I, и въ Москвѣ, въ 1781, изд. синод. типогр. Впослѣдствiи, этотъ списокъ изданъ археографической комиссiей въ III т. Полн. Собр. Русск. Лѣтоп. и въ новомъ изданiи отдѣльно, а начало его также и фотолитографически.

****) Первую половину Хлѣбниковскаго списка (до 1200 г.) Карамзинъ назвалъ „кiевской“ лѣтописью, вторую—„волынской“. Кар. III, прим. 113 и П. С. Р. Л. II, стр. VII и 155. Лаврентьевскiй и Ипатьевскiй изданы въ П. С. Р. Л. I—II; во 2-мъ изданiи отдѣльно и, наконецъ, начало ихъ—посредствомъ свѣтопечати.

Большая часть лѣтописей Щербатова послѣ находокъ Карамзина окончательно теряла значенiе для древнѣйшаго перiода: ссылки на синодальные и типографскiе списки съ полнымъ основанiемъ могли быть замѣнены обширными выписками изъ вновь открытыхъ текстовъ, представлявшихъ крупную ученую новинку. Но для позднѣйшаго времени и второстепенные списки были важны. Рукописи, употребленныя въ дѣло Щербатовымъ, ко времени Карамзина были сосредоточены въ Синодальной библiотекѣ*). Туда и обратился Карамзинъ со своими поисками: не знаемъ, все ли онъ нашелъ, чѣмъ воспользовался Щербатовъ**), но, несомнѣнно, онъ впервые наткнулся въ синодальномъ книгохранилищѣ на множество первостепенныхъ по важности матерiаловъ, о существованiи которыхъ Щербатовъ не имѣлъ никакого понятiя. Такъ, Карамзинъ первый воспользовался синодальною рукописью Кормчей книги (XIII столѣтiя), изъ которой извлекъ такiе важные памятники, какъ церковный уставъ Владимiра Святого („подложный", по мнѣнiю Карамзина), уставъ Новгородскаго князя Святослава 1137 г., древнѣйшiй списокъ Русской Правды, вопросы Кирика Нифонту, правила митр. Iоанна и Кирилла***). Не меньшую услугу, чѣмъ Синодальная библiотека, оказало Карамзину собранiе рукописей Мусина-Пушкина. Кромѣ уже изданныхъ Мусинымъ—*Слова о полку Игоревѣ* и *Поученiя Мономаха*, кромѣ упоминавшагося не разъ Пушкинскаго (=Лаврентьевскаго) списка лѣтописи, Карамзинъ досталъ у Мусина нѣсколько

---

*) Послѣ довольно неудачной попытки издать синодальныя и типографскiя лѣтописи (1778 г.), типографскiя рукописи были переданы въ Синодальную библiотеку (1786 г.). Исторiя изданiя разсказана Д. Полѣновымъ по подлиннымъ документамъ (Зап. акад. наукъ, IV, 2, о лѣтописяхъ изданныхъ отъ синода). Очевидно, самая мысль объ изданiи синодальныхъ и типографскихъ лѣтописей вызвана была появленiемъ въ свѣтъ первыхъ томовъ Щербатовской исторiи (1770, 1771, 1774 гг.).

**) По реестру, составленному въ 1778 году, изъ 11 списковъ, эксплуатированныхъ Щербатовымъ, было на лицо въ Типографской библiотекѣ только 8 (№№ 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14; см. стр. 175—6 статьи Полѣнова; Щербатовъ цитируетъ ихъ подъ №№ 46, 50, 52, 54 fol.; 55 59, 60 и 46 in 4⁰. Изъ нихъ только № 55 былъ напечатанъ въ 1784 году подъ названiемъ „Лѣтописца, который служитъ продолженiемъ Несторов. лѣтоп.". Изъ синодальныхъ, извѣстныхъ Щербатову, изданъ былъ древнѣйшiй Новгородскiй списокъ № 509, напечатанный также по другому списку въ Продолженiи Древн. Вивлiоѳики). Начиная съ V тома исторiи Карамзинъ цитируетъ довольно много синодальныхъ лѣтописей, именно №№ 46, 87, 90, 270, 318, 348, 351, 356, 364 и 365, изъ котораго дѣлаетъ значительныя выписки. Опредѣлить отношенiе этихъ рукописей какъ къ извѣстнымъ Щербатову, такъ и къ хранящимся теперь въ Синод. библ. невозможно безъ спецiальнаго изученiя.

***) Всѣ эти документы, за исключенiемъ вопросовъ Кирика, напечатаны были, впрочемъ, по той же рукописи еще до выхода въ свѣтъ Исторiи госуд. Росс., въ 1-мъ томѣ Русскихъ достопамятностей, изд. Общ. ист. и др. р. М., 1815 г.

житій (св. Владиміра, Константина Муромскаго), лѣтописей (особенно лѣт. Засѣцкаго, въ которой нашелся такъ наз. Карамзинскій списокъ Русской правды), наконецъ, списокъ договора Смоленска съ Готландомъ 1230 г.

Послѣ татарскаго нашествія характеръ источниковъ русской исторіи нѣсколько мѣняется. Лѣтописи, конечно, продолжаютъ оставаться основнымъ источникомъ вплоть до княженія Ивана III; и составъ лѣтописнаго матеріала какъ у Щербатова, такъ и у Карамзина остается прежній *). Но рядомъ съ лѣтописями появляются грамоты. Щербатовъ воспользовался, какъ мы знаемъ, тѣми важнѣйшими изъ грамотъ, которыя хранились въ московскомъ архивѣ министерства иностр. дѣлъ **); къ нимъ онъ присоединилъ нѣсколько ханскихъ ярлыковъ, найденныхъ имъ въ одной рукописи Синодальной библіотеки. Карамзинъ засталъ всѣ эти документы уже напечатанными ***); тѣмъ не менѣе, изъ нихъ, какъ и изъ печатныхъ лѣтописей, онъ дѣлаетъ выписки, а иногда и сообщаетъ полный текстъ, особенно если ему удалось найти новый списокъ документа ****). Но и здѣсь къ наличному матеріалу Карамзинъ дѣлаетъ весьма существенныя добавленія. Нѣсколько важныхъ грамотъ даютъ ему рукописи Синодальной библіотеки *****). Отъ Мусина-Пушкина онъ получаетъ драгоцѣнное собраніе Двинскихъ грамотъ, въ составѣ которыхъ оказываются Двинская уставная грамота 1397 г., Новгородская судная, извѣстная грамота о черномъ борѣ 1437 г., договоръ кн. Ивана Можайскаго съ кн. Ив. Ярославичевымъ 1462 г., договоръ Дмитрія Донского съ новгородцами. Но, кромѣ этихъ прежнихъ источниковъ своихъ находокъ, Карамзинъ пользуется и новыми. Цѣлый рядъ важнѣйшихъ документовъ онъ получаетъ, благодаря канцлеру Н. П. Румянцеву, изъ кенигсбергскаго архива:

---

*) Щербатовъ: т. III и IV, ч. 1 и 3 (изданы въ 1774—84 году). Карамзинъ: т. IV и V. Вновь присоединяется у Карамзина — Псковская лѣтопись, извѣстная ему въ четырехъ спискахъ (И. Г. Р., изд. Эйнерлинга, I, XVI, прим. 1).

**) Грамоты новгородскія №№ 1—12; грамоты великихъ князей №№ 1—7, 9, 11—15, 17—22, 25, 27, 29—58, 61—67, 70—76. Въ приложеніяхъ (IV, ч. 3) пересказывается содержаніе грамотъ; печатать ихъ текста Щербатовъ, какъ мы видѣли, не могъ, предоставляя право изданія подлинниковъ Миллеру.

***) Въ Росс. Вивліо*θ*., I и VI томы, въ Собр. грамотъ и догов., т. I.

****) Наприм., Ярлыкъ Узбека изъ Воскресенской лѣтописи („Ростовской архивской",- коллегіи иностр. дѣлъ,—по терминологіи Карамзина), копія съ договора Михаила Тверского съ Василіемъ I (V, прим. 183).

*****) Церковный уставъ 1390 г. изъ харатейной рук. № 216; грамота митрополита Алексія на Червленый Яръ изъ сборника № 473; весьма важный сборникъ № 164: Посланіе россійскихъ митрополитовъ.

грамоты галицкихъ князей, договоръ Свидригайло съ орденомъ 1402 г. и др. Публичная библіотека, Іосифовъ Волоколамскій монастырь и нѣкоторыя другія учрежденія и лица также доставляютъ не мало интересныхъ документовъ.

Иностранная литература и источники являются въ этихъ томахъ *И. Г. Р.* тоже въ значительно обновленномъ и дополненномъ составѣ. Только, кажется, источники для исторіи скандинавовъ и тюрковъ остаются тѣ же, какъ у Щербатова: тотъ же Далинъ и Маллетъ, тотъ же Дегинь и Абульгази. Зато вмѣсто Флери для исторіи церкви является Райнальдъ; вмѣсто Солиньяка и Дефонтена— Нарушевичъ для исторіи Польши; кромѣ компилятора Стрыйковскаго, единственно извѣстнаго Щербатову, появляется у Карамзина и Кадлубекъ и Богуфалъ, и Длугошъ древнѣйшіе хронисты. Точно также, сверхъ лифляндской хроники Арндта, исторіографъ пользуется Дуисбургомъ, Кранцемъ и Кельхомъ. Наконецъ, начинаютъ появляться и сказанія иностранцевъ о Россіи. Щербатовъ знаетъ только Плано-Карпини; Рубруквисъ ему извѣстенъ только по сочиненію Рычкова. Карамзинъ пользуется обоими въ подлинникахъ и знаетъ, кромѣ нихъ, еще Барбаро и Шильтбергера.

Въ третій разъ измѣняется составъ историческихъ источниковъ со времени Ивана III *). Къ лѣтописямъ и грамотамъ великихъ князей **) Щербатовъ присоединяетъ памятники дипломатическихъ сношеній, хранящіеся въ архивѣ мин. иностр. дѣлъ ***). Цѣлый рядъ грамотъ, извлеченныхъ изъ „Статейныхъ списковъ", напечатанъ Щербатовымъ, на этотъ разъ уже въ подлинникѣ, въ приложеніяхъ. Карамзинъ далъ новыя выдержки и тексты изъ того же источника ****) Двинскія грамоты и документы кенигсбергскаго

---

*) Щербатовъ, т. IV, ч. 2 и 3 (изданы въ 1783 и 1784 гг.). Карамзинъ, т. VI и VII.

**) Щербатовъ цитируетъ и пересказываетъ въ приложеніяхъ №№ 78—88, 91—95, 99—118, 120-132, 137—138, 143—144, 148, 150, 155, 157—158, 161 162, 169. Въ пересказъ онъ все болѣе вставляетъ все болѣе подлинныхъ выраженій, а къ концу начинаетъ печатать сплошь подлинный текстъ грамотъ (№№ 157, 162, 169).

***) Цитируются дѣла Татарскія (№№ 1—3), Крымскія (№ 1), Цесарскія (№№ 1—2), Польскія (№ 1), прусскаго магистра и переписка съ греческимъ духовенствомъ.

****) Тѣ и другія выдержки должны, конечно, потерять значеніе послѣ напечатанія всего матеріала дипломатическихъ сношеній XVI в. Но изданіе этихъ памятниковъ, начатое Г. Ѳ. Карповымъ, еще и въ наше время не закончено. Изданы до сихъ поръ сношенія съ Польско-Литовскимъ государствомъ за 1487—1571 гг. (Памятники дипл. снош. древн. Россіи въ Сб. И. Общ., т. XXXV, LIX и LXI), съ Прусскимъ орденомъ за 1516—1520 гг. (т. LIII), съ Крымской и Ногайской ордами и съ Турціей за 1474—1505 гг. (т. XLI). О другихъ изданіяхъ см. у Иконникова, 399—400 и XLIII—VIII.

архива даютъ Карамзину, попрежнему, возможность обогатить актовый матеріалъ весьма важными новинками; наприм., изъ Двинскихъ грамотъ онъ печатаетъ договоры новгородцевъ съ Казиміромъ и съ Иваномъ III (1471 г.). Очень важныя данныя для церковной исторіи даютъ ему рукописи Синодальной библіотеки, Іосифова монастыря и Троицкой лавры *). Для исторіи законодательства, кромѣ *Судебника* Ивана IV, извѣстнаго и Щербатову, ему удается воспользоваться для второго изданія только что найденнымъ въ 1817 году *Судебникомъ* Ивана III. Разрядныя и родословныя книги, хорошо изученныя Щербатовымъ, извѣстны Карамзину въ другихъ, иногда очень любопытныхъ спискахъ. Оба они пользуются и послужнымъ спискомъ бояръ, изданнымъ въ *Опытѣ трудовъ вол. р. собр.* Но что особенно увеличиваетъ ученые рессурсы Карамзина въ этой части исторіи, это—сказанія иностранцевъ. Щербатову „Герберштейнъ" извѣстенъ только по дѣлу о его посольствѣ въ архивѣ иностр. коллегіи; Контарини онъ знаетъ только по статьѣ о Венеціи въ *Атласѣ историческомъ*, а „Павла Жова"—по цитатѣ изъ словаря Морери. Карамзинъ знакомъ съ франкфуртскимъ сборникомъ иностранцевъ, писавшихъ о Россіи **). Герберштейнъ, Павелъ Іовій, Гваньини, Одерборнъ извѣстны ему по этому изданію, Контарини—по изданію Бержерона.

За время царствованія Ивана Грознаго ***) основнымъ источникомъ продолжаютъ оставаться грамоты и статейные списки архива иностранной коллегіи ****). Карамзинъ присоединяетъ къ нимъ, попрежнему, документы, полученные изъ кенигсбергскаго архива; кромѣ того, онъ пользуется выписками изъ ватиканскаго архива, сдѣланными Альбертранди *****): канцлеръ Румянцевъ снабжаетъ

---

*) Кромѣ древнѣйшихъ служебныхъ книгъ, упоминаемыхъ въ предыдущихъ томахъ, сюда относятся сочиненія Максима Грека въ рук. Тр. лавры, свѣдѣнія о соборѣ 1503 года въ Синод. рук. № 79, о Виленскомъ соборѣ въ Синод. рук. № 87; рукописи Синод. библ. № 347 и Іосифова монастыря № 666, дѣло Максима Грека въ рук. Арх. ин. колл., церковный кругъ Геннадія и друг.

**) Rerum Moscoviticarum auctores varii. Francof., 1600.

***) Щербатовъ, т. V, ч. 1—4 (изданы въ 1786—89 гг.). Карамзинъ, VIII и IX томы.

****) Щербатовъ цитируетъ и печатаетъ извлеченія изъ грамотъ №№ 188—194, 198, 201—204, 208—211; изъ статейныхъ списковъ, хранящихся въ дѣлахъ Польскихъ, №№ 6, 7, 9—15; Крымскихъ №№ 11—15; Шведскихъ—№№ 2 и 3; Татарскихъ—№ 14; Датскихъ—№ 2; Турецкихъ—№ 2; Цесарскихъ—№№ 3 и 5; Англійскихъ—№ 1; Ногайскихъ—№ 2. Для Карамзина ср. указатель Строева подъ этими словами (и кромѣ того дѣла Папскія).

*****) Изданы вмѣстѣ съ другими выписками изъ иностр. архивовъ въ 1841—42 гг. А. И. Тургеневымъ, который и познакомилъ съ ними Карамзина (Historica Russiae monumenta или Акты историч. относящ. къ Россіи и т. д. Два тома).

его также нѣкоторыми актами мекленбургскаго архива и Британскаго музея. Къ извѣстной уже Щербатову перепискѣ Грознаго съ Курбскимъ исторіографъ присоединяетъ знаменитые „синодики“ Грознаго и его письмо въ Бѣлозерскій монастырь. Въ дополненіе къ изданной Щербатовымъ *Царственной книгѣ* Карамзинъ пользуется Синодальною рукописью № 270, которую онъ называетъ ея „продолженіемъ“ *), весьма важной лѣтописью Александро-Невской лавры **), а также другими лѣтописями и хронографами частныхъ лицъ и Синодальной библіотеки. Для исторіи завоеванія Сибири, изложенной у Щербатова по Миллеру и Фишеру, Карамзинъ впервые употребляетъ въ дѣло т. наз. строгановскую лѣтопись, указанную ему Спасскимъ (издана въ 1821 г.). По обыкновенію, вновь появляются въ *Исторіи государства Россійскаго* памятники важные для церковной исторіи: *Стоглавъ*, свѣдѣнія о соборѣ 1554 года противъ московскихъ еретиковъ, объ обиходѣ Іосифова монастыря и др. Наконецъ, и въ этомъ отдѣлѣ впервые входятъ въ ученый оборотъ сказанія иностранцевъ. Щербатовъ въ своемъ пятомъ томѣ знаетъ только сборникъ „Гарклюйта“ во французскомъ переводѣ и сообщаетъ оттуда одну грамоту царя Ивана Васильевича къ Эдварду VI. Карамзинъ пользуется оригинальнымъ изданіемъ Гаклюйта и извлекаетъ оттуда свѣдѣнія о Ченслерѣ, Баусѣ, Ленѣ, Дженкинсонѣ. Помимо Гаклюйтовскаго собранія Щербатову извѣстны одни *Комментаріи* Поссевина; Карамзинъ присоединяетъ, кромѣ раньше названныхъ, Бреденбаха (Historia belli Livonici), Таубе и Крузе, тогда еще не изданныхъ и полученныхъ имъ въ 1811 г. въ рукописи изъ кенигсбергскаго архива, Гейденштейна, Перштейна (Кобенцеля), Ульфельда, Горсея, Маржерета и Петрея.

Обращаемся къ исторіи Россіи со времени Ѳедора Ивановича до междуцарствія, на которомъ остановились оба историка ***). Матеріалъ, заимствованный изъ дипломатическихъ документовъ, опять одинаковъ у того и другого ****). Главныя лѣтописи смут-

*) Щербатовъ употребляетъ въ дѣло, кромѣ прежнихъ, также лѣтопись Синодальной библіотеки № 80. Было бы любопытно выяснить, была ли она извѣстна Карамзину.

**) Изданы въ Русской исторической библіотекѣ, т. III.

***) Щербатовъ—т. VI, ч. 1 и 2 (изд. 1790 г.) и т. VII, ч. 1—3 (изд. 1790—1791 гг.)—остановился на изложеніи Шуйскаго; Карамзинъ (т. X—XII), какъ извѣстно, довелъ разсказъ до смерти Ляпунова.

****) Щербатовъ цитируетъ и печатаетъ въ извлеченіяхъ въ этихъ томахъ: дѣла Польскія, стат. списки №№ 15, 17—21, 24—27; 1605 г., пріѣздъ гонца Бычинскаго, 1608 г., вязка 1; списокъ съ перемирія съ Олесницкимъ, № 4; 1609 г. 28 февраля, списокъ съ записи Юрія Боя; 1610 г. марта 5, № 1, присяга ржев. и зубцов. воеводъ Сигизмунду. Дѣла Цесарскія, стат. сп. №№ 5 и 6; 1599 г., посольство Ae. Власьева; 1601 г., отправленіе Власьева и пріѣздъ Шеля; 1602 г., № 1. Дѣла Англійскія,

наго времени—*Новый лѣтописецъ*, *Лѣтопись о мятежахъ*, *Палицынъ*, нѣкоторые хронографы—уже извѣстны Щербатову. Карамзинъ дополняетъ ихъ нѣсколькими повѣстями, нѣсколькими любопытными списками хронографа, такъ называемою рукописью Филарета. Важнымъ пособіемъ для исторіи этого періода былъ для Щербатова *Опытъ новѣйшей исторіи* Миллера, начало котораго было напечатано въ *Ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ* (1761 года), а продолженіе хранилось въ архивѣ въ рукописи иностран. коллегіи. Руководимый Миллеромъ, Щербатовъ начинаетъ шире пользоваться иностранцами, чѣмъ мы это видѣли ранѣе. Перенося въ свою *Исторію* иногда цѣлыя страницы Миллеровскаго труда, онъ передаетъ и его цитаты *); нѣкоторыми изъ нихъ онъ заинтересовывается и достаетъ самыя цитированныя сочиненія. Такимъ образомъ, Щербатовъ пользуется въ VII томѣ Маржеретомъ, Страленбергомъ, де-Ту, книжкой подъ заглавіемъ Relation curieuse de l'état présent de la Russie **). Однако, Карамзинъ и здѣсь далеко превосходитъ его знакомствомъ съ иностранцами. Кромѣ названныхъ выше, онъ знаетъ еще Бера, полученнаго имъ отъ Румянцева, Горсея (Coronation), Шиля, Мильтона, Паерле, Маскѣвича и другихъ; значительный польскій матеріалъ даютъ ему изданія Нарушевича и Нѣмцевича, а также выписки Альбергранди (дневники Олесницкаго и Гонсѣвскаго, описаніе событій 1604 9 неизвѣстнаго автора).

Разумѣется, во всемъ этомъ сравнительномъ перечнѣ источниковъ Щербатова и Карамзина мы старались обратить вниманіе только на самое главное. Чтобы показать, въ какой степени „Примѣчанія“ Карамзина обновили запасъ научнаго матеріала по русской исторіи, и сдѣланныхъ указаній совершенно достаточно. Если текстъ „Исторіи государства Россійскаго“, приноровленный къ литературнымъ вкусамъ большой публики, пріобрѣлъ автору непрочную

стат. сп. № 1; 1598 г., связки; 1599 г., связки—пріѣздъ д-ра Тим. Виллиса; 1600 г., столбцы, связка № 4; 1603 г., связка № 3 (пріѣздъ Ѳомы Шмита). Дѣла Турецкія, стат. сп. №№ 2 и 3. Дѣла Шведскія, стат. сп. №№ 4—6; 1598 г., переписка о размѣнѣ плѣнныхъ; 1609 г., пріѣздъ и отпускъ посланныхъ отъ Делагарди. Дѣла Крымскія, стат. сп. № 16. Дѣла Татарскія, стат. сп. № 16. Дѣла Персидскія, стат. сп. № 1. Дѣла Грузинскія, стат. сп. № 1; 1601 г., столбецъ посольства Ив. Нащокина. Дѣла Датскія, 1601 г., связка № 3; 1602 г., связки №№ 1—2; пріѣздъ датск. королевича. Дѣла съ Ганзой, 1603 г., связка № 1, пріѣздъ пословъ вольныхъ городовъ. Дѣла съ греч. духов., № 3. Грамоты Разстриги, №№ 1—5, 9, 14—15, 17—20, 22—23, 27, 31, 33, 34, 37. Одинъ документъ (инструкція папы Комулею) списанъ въ Римѣ и доставленъ Щербатову по повелѣнію Екатерины II.

*) Характеръ пользованія текстомъ и цитатами виденъ изъ VII, I, 267, 56, 277; II, 3, 14, 37.

**) Петрея и два другія сочиненія: La légende de la vie et de la mort de Demetrius и The Russian impostor,—онъ, кажется, знаетъ только по цитатамъ Миллера.

славу среди почитателей его повѣстей, то „Примѣчанія“, по понятной теперь для насъ причинѣ, сохранили надолго огромное значеніе для спеціалистовъ *). Пожаръ двѣнадцатаго года увѣковѣчилъ это значеніе „Примѣчаній“ для тѣхъ памятниковъ, оригиналы которыхъ погибли въ этомъ пожарѣ, между тѣмъ какъ текстъ „Исторіи“ давно уже потерялъ всякій интересъ, кромѣ историческаго.

Намъ остается разсмотрѣть взгляды Карамзина на общій ходъ русской исторіи. Найдя, что даже наиболѣе дисциплинированные и наиболѣе положительные изслѣдователи прошлаго вѣка были безсильны противъ ходячаго взгляда, мы уже не будемъ ожидать отъ Карамзина чего-либо новаго въ этомъ отношеніи. Его взглядъ вполнѣ воспроизводитъ извѣстные намъ взгляды предшественниковъ. Карамзинъ, какъ мы видѣли, вообще находится подъ вліяніемъ Шлецера, нѣсколько измѣнившаго традиціонную схему русской исторіи. Но въ этомъ случаѣ Карамзинъ, насколько только возможно, возвращается къ схематизму Ломоносова. Несомнѣнно для него только одно: именно, что призванные князья были норманны. Затѣмъ, слѣдуя Шлецеру, а не вопреки ему, какъ утверждали патріотическіе поклонники Карамзина, исторіографъ принимаетъ мнѣніе, что Русское государство возникло свободно,—призваніемъ, а не завоеваніемъ. Связь со Шлецеромъ видна будетъ изъ слѣдующаго сопоставленія:

Шлецеръ. Несторъ. II, стр. 159—160.	Карамзинъ, I, IV глава.
Большая часть великихъ державъ въ свѣтѣ составилась завоеваніемъ или неволею... Но русская держава возникла совсѣмъ иначе. Пять народовъ..., каждый добровольно **)... вступаютъ между собою въ союзъ и, по взаимному согласію, избираютъ себѣ начальниковъ изъ 6-го народа.	Начало россійской исторіи представляетъ намъ удивительный и едва ли не безпримѣрный въ лѣтописяхъ случай: славяне добровольно уничтожаютъ свое древнее народное правленіе и требуютъ государей отъ варяговъ, которые были ихъ непріятелями. Вездѣ мечъ сильныхъ или хитрость честолюбивыхъ вводили самовластіе (ибо народы хотѣли законовъ, но боялись неволи); въ Россіи оно утвердилось съ общаго согласія гражданъ.

---

*) Постепенное изданіе памятниковъ, отчасти обогнавшее даже выходъ въ свѣтъ „Исторіи Г. Р.“, должно было лишить и „Примѣчанія“ большей части ихъ научнаго значенія, такъ какъ главное ихъ содержаніе состоитъ въ выдержкахъ изъ первоисточниковъ, а критическій элементъ почти отсутствуетъ. Если, тѣмъ не менѣе, „Примѣчанія“ сохранили свое значеніе до нашего времени, то это свидѣтельствуетъ только о слабости издательской дѣятельности по русской исторіи. До какой степени историческая наука медленно овладѣваетъ историческимъ матеріаломъ, употребленнымъ въ дѣло Карамзинымъ, видно уже изъ того, что мы до сихъ поръ не собрались пріурочить цитаты Карамзина къ нынѣ существующему изданному и неизданному матеріалу.

**) Курсивъ въ подлинникѣ.

По мнѣнію Шлецера, только послѣ возстанія Вадима Рюрикъ явился въ Новгородѣ уже не въ качествѣ добровольно призваннаго князя, а въ качествѣ завоевателя, и въ это время онъ основалъ феодальную систему. И въ этомъ видѣли разницу во взглядахъ между Шлецеромъ и Карамзинымъ, который, будто бы, не признавалъ въ русской исторіи ни завоеванія, ни феодализма. Однако же, то и другое,—и завоеваніе и феодальная система,—есть у Карамзина, только они запрятаны у него въ одной неясной фразѣ: „Рюрикъ, принявъ единовластіе, отдалъ въ управленіе знаменитымъ единоземцамъ своимъ, кромѣ Бѣлоозера, Полоцкъ, Ростовъ и Муромъ, имъ или братьями его *завоеванные*, какъ надо думать. Такимъ образомъ... утвердилась... система феодальная“ и т. д.

Принимая Шлецеровскую мысль о феодальномъ устройствѣ древнѣйшей Руси, Карамзинъ принимаетъ также и Болтинскую идею о томъ, что первые государи не были самодержавны. Этимъ, однако, и ограничиваются уступки его воззрѣніямъ, поколебавшимъ Ломоносовско-Татищевскую схему русской исторіи. На общій выводъ эти уступки не оказываютъ никакого вліянія. Вслѣдъ за Татищевымъ и Ломоносовымъ Карамзинъ повторяетъ: „отечество наше обязано величіемъ своимъ счастливому введенію монархической власти“. Такимъ образомъ, дальнѣйшую мысль Болтина и нѣмецкихъ изслѣдователей, что варяги явились не какъ государи, а какъ защитники страны отъ сосѣдей, Карамзинъ рѣшительно отвергаетъ *). Точно также не соглашается онъ и назвать Россію въ первомъ періодѣ—рождающеюся, какъ предлагалъ Шлецеръ. „Вѣкъ Владиміра былъ уже вѣкомъ могущества и славы, а не рожденія“. Какъ неохотно отказывается Карамзинъ отъ старой схемы, видно изъ слѣдующихъ частныхъ случаевъ. Въ началѣ нашей исторіи существовало два одинаково сомнительныхъ преданія: о Гостомыслѣ, который призвалъ князей, и о Вадимѣ, который взбунтовалъ Новгородъ противъ княжеской власти. Шлецеръ безусловно отвергалъ существованіе Гостомысла; а преданіе о Вадимѣ считалъ вѣроятнымъ и выпущеннымъ изъ лѣтописей московской политикой **). Карамзинъ, не высвободившійся еще изъ подъ „ферулы“ учителя, до извѣстной степени готовъ признать и извѣстіе о Гостомыслѣ „сомнительнымъ“ и возстаніе Вадима „вѣроятнымъ“. Но въ выраженіяхъ его въ томъ

---

*) I, прим. 276.

**) „Очень легко станется, что это выпущено съ умысломъ трусливыми переписчиками. Часто случается, что политика сильныхъ или робкихъ вторгается въ область критики, вырываетъ цѣлые листы изъ лѣтописей и приказываетъ вставлять другія слова“. Предположеніе Шлецера поддержалъ впослѣдствіи Янишъ въ своей статьѣ о Новгор. лѣтописи и ея московской передѣлкѣ (Чтенія Общ. Ист. и Др. 1874, II), но встрѣтилъ возраженія со стороны г. Сенигова.

и другомъ случаѣ ясно видно желаніе, чтобы читатель думалъ какъ разъ наоборотъ. „Древняя лѣтопись не упоминаетъ о семъ благоразумномъ совѣтникѣ,—говоритъ онъ по поводу Гостомысла, но ежели преданіе истинно, то Гостомыслъ достоинъ славы и безсмертія въ нашей исторіи". А про Вадима говорится вотъ въ какихъ выраженіяхъ: „сіе извѣстіе, не будучи основано на древнихъ сказаніяхъ Нестора, кажется одною догадкою и вымысломъ". Такъ колеблются критическіе вѣсы исторіографа, смотря по тому, въ какую сторону долженъ склониться приговоръ *за* или *противъ* традиціи.

Даже традиціоннаго года основанія государства Карамзинъ не хочетъ уступить. Принявши мнѣніе Шлецера, что хронологія Нестора вымышлена, и согласившись съ нимъ, что даты 859—862 невѣроятны, Карамзинъ приходитъ, однако, къ неожиданному результату. „Какъ *доказать*, что древній лѣтописецъ ошибся и что Рюрикъ пришелъ ранѣе 862 года", спрашиваетъ онъ, и рѣшаетъ начинать исторію государства Россійскаго съ 862 года *).

Такимъ образомъ, несмотря на то, что Карамзинъ, повидимому, принимаетъ Шлецеровскія мнѣнія о происхожденіи Русскаго государства,—отъ этихъ мнѣній послѣ всѣхъ оговорокъ и добавленій остается весьма немного, и изъ-за Шлецеровскихъ тезисовъ ясно проглядываютъ всѣ основныя черты отвергнутой Шлецеромъ Ломоносовской схемы: величіе перваго періода русской исторіи, основанное на монархической власти первыхъ князей, даже и съ правильнымъ престолонаслѣдіемъ, потому что Олегъ признается Карамзинымъ за правителя, „опекуна" Игоря.

Въ дальнѣйшихъ частяхъ тожество схемы Карамзина съ традиціонной схемой XVIII столѣтія выступаетъ уже безъ всякой маскировки. Ходъ послѣдующей исторіи объясняется, какъ и у предшественниковъ, обычаемъ княжескихъ раздѣловъ.

Шлецеръ, III, гл. VII. „Святославъ начинаетъ пагубный раздѣлъ Россіи". „Онъ первый подалъ пагубный примѣръ раздѣловъ, кои цѣлыя 500 лѣтъ держали Россію въ изнеможеніи, бѣдствіи и нуждѣ".

Шлецеръ. Probe russ. Annalen (ср. Ломоносова). (При семи первыхъ властителяхъ Русское государство) достигло могущества и величія, какъ Римъ при своихъ семи царяхъ. Но едва оно достигло этой степени, какъ раздѣлы Владиміровы и

Карамзинъ: „И такъ Свіеславъ первый ввелъ обыкновеніе давать сыновьямъ особенные удѣлы примѣръ несчастный, бывшій виною всѣхъ бѣдствій Россіи".

„Древняя Россія погребла съ Ярославомъ свое могущество и благоденствіе. Основанная, возвеличенная единовластіемъ, она утратила силу, блескъ и гражданское счастіе, будучи снова раздробленною на малыя части. Владиміръ исправилъ ошибку Святослава, Ярославъ—Владимірову; на-

*) I, прим. 120.

Ярославовы низвергли его въ прежнюю слабость, такъ что въ концѣ-концовъ оно сдѣлалось добычей татарскихъ ордъ и т. д. (болѣе, чѣмъ на 200 лѣтъ).	слѣдники ихъ... не умѣли соединить частей въ одно цѣлое, и государство, шагнувъ, такъ сказать, въ одинъ вѣкъ отъ колыбели своей до величія,—слабѣло и разрушалось болѣе 300 лѣтъ".

Сходная вообще со взглядами историковъ XVIII вѣка, философія исторіи Карамзина однако и въ этомъ періодѣ представляетъ особенности, спеціально сближающія ее съ Ломоносовской. Припомнимъ справедливый упрекъ Шлецера Ломоносову, что въ его изображеніи Русь въ теченіе всей исторіи сохраняетъ характеръ единаго государства. Въ изложеніи Карамзина событія удѣльнаго періода точно такъ же изображаются, какъ будто бы на Руси было только одно великое княженіе; поэтому московскій князь оказывается иногда отвѣтственнымъ за событія, происходящія въ совершенно независимой отъ Москвы области.

Эта точка зрѣнія служила весьма удобнымъ средствомъ, чтобы расположить русскую исторію въ видѣ одной линіи, на которой Москва являлась естественнымъ продолженіемъ Кіева. Возвышеніе Москвы представляется, такимъ образомъ, Карамзину, какъ нѣчто необходимое въ общемъ ходѣ русской исторіи,—такъ сказать, провиденціальное. Не выдвинь татары Москвы,—по его мнѣнію, Россія была бы раздѣлена татарами: „тогда мы утратили бы и государственное бытіе и вѣру, которая спаслась Москвою". Сохраненіе государственности и вѣры есть, стало быть, спеціальная заслуга Москвы; а возвышеніе Москвы—личная заслуга московскихъ государей. Вначалѣ московскіе государи стремятся къ этой цѣли даже безсознательно; и пока они служатъ только орудіями въ рукахъ Божіихъ,—историкъ-моралистъ не хочетъ оправдывать ихъ безнравственной политики. „Судъ исторіи не извинитъ и самаго счастливаго злодѣйства,—говорится про Ивана Калиту,—ибо отъ человѣка зависитъ только дѣло, а слѣдствіе—отъ Бога". Но вотъ является уже сознательный исполнитель божественныхъ предначертаній, великій Иванъ III—и нравственный „судъ исторіи"—умолкаетъ. Иванъ III „принадлежитъ къ числу весьма немногихъ государей, избираемыхъ Провидѣніемъ рѣшать надолго судьбу народовъ, онъ есть герой не только россійской, но и всемірной исторіи". Вотъ, наконецъ, передъ нами философія исторіи болѣе глубокая, чѣмъ все, что мы до сихъ поръ видѣли. Итакъ, не можемъ ли мы причислить Карамзина къ историкамъ-провиденціалистамъ, въ родѣ Боссюэта или Лорана? Отнюдь нѣтъ. Наведенный самымъ теченіемъ историческихъ событій на иную философію исторіи, чѣмъ его морально-реторическая,—Карамзинъ спѣшитъ остановиться на порогѣ, не рѣшаясь проникнуть въ святилище. „Не теряясь въ сомнительныхъ умствованіяхъ метафизики, не дерзая опредѣлять внѣшнихъ намѣреній божества, вни-

мательный наблюдатель видитъ счастливыя и бѣдственныя эпохи въ лѣтописяхъ гражданскаго общества, *какое-то согласное теченіе мірскихъ случаевъ къ единой цѣли или связь между оными для произведенія какого-нибудь главнаго дѣйствія, измѣняющаго состояніе рода человѣческаго*". Подчеркнутыя слова, кажется, самыя философскія во всей Исторіи государства Россійскаго, но они и единственныя. Сопоставивъ вѣкъ Ивана III съ вѣкомъ возстановленія монархіи и просвѣщенія на Западѣ, Карамзинъ на этомъ сопоставленіи и останавливается. Философія Провидѣнія нужна ему не для начертанія какой-нибудь общей схемы всемірно-историческаго развитія, не для пріуроченія къ этой схемѣ русскаго историческаго процесса. Секреты Провидѣнія такъ и останутся для него секретами; но нравственное чувство моралиста будетъ удовлетворено мыслью о предопредѣленности совершившагося, а эстетическое чувство художника найдетъ себѣ пищу въ созерцаніи перспективъ неясныхъ, но „заманчивыхъ для воображенія".

IV.

Мы только что видѣли, что историческая схема Карамзина есть, въ сущности, та же схема, которая намъ извѣстна изъ исторіографіи XVIII вѣка. Въ основѣ этой схемы лежало объясненіе хода исторіи изъ личныхъ пріемовъ княжеской политики. Воля князей повергла Россію въ пучину гибели, и та же воля вознесла ее на верхъ величія. Изъ этого основного принципа съ логической послѣдовательностью развивалась цѣлая система русской исторіи. Періодъ первоначальнаго единства и могущества въ Кіевѣ; затѣмъ ошибочныя распоряженія князей о раздѣлѣ; ослабленіе и раздробленіе Руси, какъ послѣдствіе раздѣловъ; татарское иго, независимость Литвы и сѣверныхъ республикъ, какъ послѣдствія ослабленія и раздробленія; наконецъ, отмѣна раздѣловъ и, какъ слѣдствіе отмѣны, объединеніе и усиленіе Россіи, сверженіе ига, уничтоженіе республикъ и подчиненіе литовской Руси:—таковы послѣдовательныя звенья этой цѣпи, необыкновенно плотно сомкнутыя между собою. Когда же и гдѣ сложилось такое пониманіе смысла русской исторіи, являющееся готовымъ въ XVIII вѣкѣ и съ такимъ постоянствомъ раздѣляемое всѣми историками до Карамзина включительно?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, намъ надо оставить на время исторіографію XVIII в. и обратиться къ XV и XVI столѣтіямъ. Здѣсь мы найдемъ и реальную надобность въ разбираемой философіи исторіи и реальную обстановку, объясняющую ея происхожденіе. Теоретическое достоинство нашей схемы, конечно, не выиграетъ отъ такого объясненія; но мы по крайней мѣрѣ увидимъ, что было время, когда эта схема имѣла большое практическое значеніе и вытекала, казалось, изъ опыта самой жизни.

Княженіе Ивана III даетъ намъ ту обстановку, въ которой самъ собой долженъ былъ сложиться разсматриваемый взглядъ на русское прошлое. Всѣ первые тридцать лѣтъ этого княженія заняты были борьбой съ удѣльнымъ порядкомъ, и нѣтъ никакого сомнѣнія, что побѣда надъ братьями и другими княжескими линіями вполнѣ сознательно представлялась Ивану III ступенью къ освобожденію отъ татарскаго ига. Раздробленіе Руси и татарщина -- таковы были тѣ главные враги, съ которыми ему приходилось бороться, и не нужно было быть философомъ, чтобы понять, что оба врага находятся въ тѣсномъ союзѣ и другъ друга усиливаютъ. Въ 1491 году Иванъ схватилъ въ Москвѣ брата Андрея и присоединилъ его удѣлъ. Митрополитъ просилъ великаго князя освободить брата и, по разсказамъ, получилъ слѣдующій отвѣтъ: „Жаль мнѣ очень брата, и я не хочу погубить его... но освободить его не могу... (иначе) когда я умру, то онъ будетъ искать великаго княженія надъ внукомъ моимъ, и если самъ не добудетъ, то смутитъ дѣтей моихъ, и станутъ они воевать другъ съ другомъ, а татары будутъ русскую землю губить, жечь и плѣнить, и дань опять наложатъ, и кровь христіанская опять будетъ литься, какъ прежде, и всѣ мои труды останутся напрасны, и вы будете снова рабами татаръ" *). Можетъ быть, именно такихъ словъ и не говорилъ Иванъ III, но вотъ слова, которыя онъ дѣйствительно велѣлъ говорить своей дочери, женѣ литовскаго князя Александра: эти слова записаны въ современномъ дипломатическомъ документѣ **): „Отецъ твой, госпоже, велѣлъ тебѣ говорити: сказывалъ ми Борисъ Кутузовъ..., что еси говорила съ ними, что князь велики да и панове думаютъ, а хотятъ Жыдимонту (брату Александра) дать въ литовскомъ въ великомъ княжествѣ Кіевъ да и иные городы. Ино, дочи, слыхалъ язъ, каково было нестроенье въ Литовской землѣ, коли было государей много. А и въ нашей землѣ, слыхала еси, каково было нестроенье при моемъ отцѣ; а опослѣ отца моего, каковы были дѣла и мнѣ съ братьею, надѣюся, слыхала еси, а иное и сама помнишь. И только Жыдимонтъ будетъ въ литовской землѣ,—ино вашему которому добру быти? И язъ приказываю то къ тебѣ того для, что еси дѣтя наше, и что ся не потому ваше дѣло начнетъ дѣлатись, и мнѣ того жаль". Такъ, личный опытъ подкрѣплялся для Ивана III опытомъ прошлаго. То и другое приводило къ извѣстному намъ объясненію татарщины изъ „великой государственной ошибки" -княжескихъ раздѣловъ. Для человѣка, посвятившаго всю жизнь на уничтоженіе послѣдствій этой ошибки, связь раздробленія и татарскаго ига должна была сдѣлаться аксіо-

---

*) Соловьевъ, V, стр. 67.

**) Сборникъ Русск. Истор. Общества, т. XXXV, изд. 2-е, стр. 224.

мой. Такимъ образомъ, изъ результатовъ текущей политики создавалось само собой историческое объясненіе.

Но это еще далеко не все. Опытъ прошедшаго привелъ къ одной исторической теоріи: изъ политики князей было объяснено раздробленіе Руси и татарщина. Задачи будущаго, политическіе идеалы московскихъ дипломатовъ XV вѣка создали другую теорію. Покончивъ съ удѣлами и ордой въ первое тридцатилѣтіе, правительство Ивана III поставило на очередь новую задачу: присоединеніе единоплеменной и единовѣрной южной Руси, находившейся въ литовскихъ рукахъ. Здѣсь уже не политика объясняла исторію, а, напротивъ, исторія употреблялась, какъ одно изъ орудій политики. Мимо періода раздробленія Руси наши дипломаты обращались къ тому времени, когда спорная южная Русь была достояніемъ Рюрикова дома. Московскій великій князь представлялся прямымъ наслѣдникомъ кіевскаго и предъявлялъ на кіевскую Русь свои историческія права.

Притязанія Москвы на „всю Русь" заявлялись, правда, русскими дипломатами осторожно и не сразу, но съ такою настойчивостью и послѣдовательностью, которыя были бы невозможны безъ заранѣе обдуманной системы. Когда (въ 1492 г.) начались первые отъѣзды служилыхъ пограничныхъ князей отъ Литвы къ Москвѣ,—въ отъѣздахъ этихъ не было ничего незаконнаго: еще съ 1449 году заключенъ былъ Василіемъ Темнымъ договоръ съ Казимиромъ, по которому отъѣзды не воспрещались. И однако же, москвичи, оправдывая княжескіе отъѣзды, не думаютъ ссылаться на договоръ Василія Темнаго, а указываютъ на историческія права московскаго князя: „напередъ сего нашему отцу и нашимъ преднимъ великимъ князьямъ тѣ князи служили съ своими вотчинами" *). Уже въ слѣдующемъ 1493 году Иванъ III открыто принимаетъ титулъ, соотвѣтствующій его притязаніямъ: „государь *всея* Руси"; и государь литовской Руси тщетно протестуетъ противъ этого нововведенія. „Государь нашъ,— отвѣчаютъ ему москвичи, ничего высокаго не писалъ, ни новины никоторыя не вставилъ. Чѣмъ его Богъ подаровалъ отъ дѣдъ и прадѣдъ, отъ начала правой есть уроженецъ государь всея Руси" **). Прошло десять лѣтъ. Новая война успѣла начаться и кончиться; черниговская и сѣверская области были заняты русскими войсками. Иванъ Васильевичъ продолжалъ утверждать, что отнятыя у Литвы земли—„наша вотчина". Московскіе дипломаты прибавляли къ этому: „ино и не то одно—наша вотчина, кои волости и городы нынѣ за нами; и вся русская земля, Божьею волею, изъ старины отъ нашихъ прародителей наша вотчина". А за этимъ послѣдовало еще

*) Сб. И. О б щ. XXXV, № 1, ср. №№ 8, 12.
**) Ibid., № 22.

болѣе откровенное разъясненіе (1504 г.): „Вся русская земля - Кіевъ и Смоленскъ и иные городы отъ нашихъ прародителей наша вотчина, и онъ бы (король) намъ русскіе земли всеѣ—Кіева, Смоленска *и иныхъ* городовъ... поступился“ *). Какіе это „иные городы“,—объ этомъ заявлено было уже послѣ Ивана: „Кіевъ, Полтескъ, Витебскъ„—и опять-таки „иные городы“ (1517). Такимъ образомъ расширяя свою програму дальше всякихъ предѣловъ непосредственно осуществимаго и предоставляя себѣ возможность при первомъ удобномъ случаѣ расширить ее еще больше, московскіе дипломаты поставили русской политикѣ цѣли, которыя удалось осуществить только черезъ два съ половиной столѣтія. Для насъ важно отмѣтить, что этимъ путемъ вводилась въ общее сознаніе другая историческая аксіома, на которой основывались московскія претензіи: идея тожества и наслѣдственной связи московской и кіевской государственной власти. Въ силу ранѣе разобранной аксіомы, промежуточный періодъ русской исторіи представлялся, какъ мы видѣли, сплошной государственной ошибкой. Новая аксіома выбрасывала вовсе этотъ промежуточный періодъ изъ связи русскаго историческаго процесса. Оставалось сдѣлать послѣдній шагъ: оставалось придать кіевскому періоду характеръ московскаго, и наша до-карамзинская схема была готова.

Прежде, чѣмъ перейдемъ къ разбору этого послѣдняго момента, остановимся еще на двухъ частностяхъ разбираемой схемы. Припомнимъ, что княжескіе раздѣлы объяснили въ до-карамзинской схемѣ раздробленіе Руси; а раздробленіе Руси, въ свою очередь, употреблялось для объясненія того, какъ произошла независимость отъ Москвы литовской Руси и сѣверныхъ вѣчевыхъ республикъ. И эту подробность, -объясненіе независимости Литвы и Новгорода, мы найдемъ готовою въ московской исторической литературѣ XVI вѣка. Несомнѣнно, въ первой половинѣ XVI вѣка уже существовало сказаніе, по которому власть литовскихъ князей надъ Литвой представлялась незаконнымъ захватомъ **). По этому сказанію, Юрій Даниловичъ московскій,

*) Ibid., №№ 75, 78.

**) Древнѣйшая, мнѣ извѣстная рукопись, содержащая это сказаніе, хранится въ библіотекѣ московской духовной академіи подъ № 627; сюда она попала изъ Волоколамскаго монастыря (см. Описъ рукописей, перенесенныхъ изъ библ. Іосифова мон. и т. д., іером. Іосифа, подъ № 212, стр. 273 4). На оборотѣ послѣдняго листа рукописи читаемъ: „Книга княжь Дмитреева Ивановича Немого... Телепнева внука“. Кн. Д. И. Нѣмой-Оболенскій умеръ въ 1565 году (Вивліоѳика, XX, стр. 46), и такимъ образомъ содержаніе рукописи слѣдуетъ относить къ первой половинѣ XVI вѣка. Къ первой же половинѣ XVI в. слѣдуетъ относить сказаніе о литовскихъ князьяхъ и по тому соображенію, что въ 1556 г. это сказаніе уже вошло, повидимому, въ оффиціальный текстъ государева Родословца (Временникъ Общ. Ист. и Др. Р., X, стр. 75—76: напе-

придя изъ Орды на великое княженіе, нашелъ русскіе города запустѣвшими и безлюдными. Чтобы собрать людей, уцѣлѣвшихъ отъ плѣна, Юрій разослалъ войска по всѣмъ городамъ. Въ кіевскую и волынскую земли посланъ былъ также „гегиманикъ“ (слово понимаемое здѣсь составителемъ сказанія, повидимому, въ нарицательномъ смыслѣ „гегемона“—предводителя), чтобы и на той сторонѣ Днѣпра собрать разбредшихся людей и наполнить грады и веси. Этотъ-то „гегиманикъ, мужъ зѣло храбръ и велія разума“, „началъ собирать дани и сокровища изыскивать по тѣмъ странамъ, и зѣло обогатѣлъ и собралъ себѣ множество людей, которыхъ одарялъ не скудной рукой; и началъ онъ владѣть многими землями и назвался княземъ великимъ Гедиминомъ литовскимъ,—вслѣдствіе несогласія и междоусобной брани прежнихъ русскихъ государей великихъ князей“.

Итакъ, Гедиминъ — узурпаторъ, превратившійся въ князя изъ простого военачальника Юрія Даниловича. По существу, этотъ взглядъ ничѣмъ не отличается отъ взгляда Татищева, по которому литовскіе князья нѣкогда повиновались русскимъ, и независимость Литвы явилась слѣдствіемъ отпаденія ея отъ власти Россіи во время княжескихъ междоусобій. Точно также сходится историкъ XVIII вѣка съ повѣствователемъ XVI вѣка и въ объясненіи независимости „республиканскихъ правительствъ“ сѣвера. И Новгородъ съ Псковомъ обязаны своей самостоятельностью тѣмъ же княжескимъ раздорамъ. Вотъ какъ развивается это объясненіе въ исторической повѣсти о взятіи Казани, составленной современникомъ *): „Изначала,—говоритъ онъ,—было одно государство, одна держава и область русская: поляне, древляне, новгородцы и полочане, волыняне и подоляне,—то все едина Русь и единому великому князю служили и повиновались и дань давали: кіевскому и владимирскому. Но въ горькія Батыевы времена, видя державныхъ русскихъ нестроеніе и мятежъ, они отступили и отдѣлились отъ русскаго царства владимирскаго (рѣчь идетъ о новгородцахъ). Такимъ образомъ, они остались отъ Батыя невоеваны и неплѣнены... потому и возгордились и своихъ князей владимирскихъ ни во что вмѣнили, живя въ своей волѣ и сами собой властвуя и никому не покоряясь... (Но впослѣдствіи) Божіимъ промысломъ погибло царство и власть Орды Златыя, и тогда великая наша русская земля освободилась отъ ярма и

чатанный здѣсь первый текстъ, по нашему предположенію, представляетъ изъ себя довольно чистый текстъ государева Родословца 1556 года). По рукописи второй половины XVI в. Родословіе Литовскаго княжества издано въ Чтеніи Общ. Ист. и Др. Р. 1889 г., кн. III, библіографич. матеріалы А. Н. Попова, стр. 76 и слѣд.

*) О Казанской исторіи см. у Шпилевскаго: „Древніе города“ и т. д. Казань, 1887 г., стр. 552—567.

покоренія бесерменскаго и начала обновляться, какъ бы отъ зимы прелагаться на тихую весну, и взошла паки на древнее свое величество... какъ встарину при великомъ князѣ Владимірѣ преславномъ; и возсіялъ нынѣ стольный градъ Москва, второй Кіевъ, не поколеблюсь сказать и третій новый Римъ!"

Слова русскаго книжника XVI в. возвращаютъ насъ къ исторіи созиданія первой русской исторической схемы. Мы видѣли раньше, что московскій „господарь всея Руси" готовъ былъ считать себя наслѣдникомъ Владиміра кіевскаго; теперь мы видимъ, что то, что было достаточно въ концѣ XV вѣка,—въ срединѣ XVI вѣка уже не удовлетворяетъ. Москвѣ мало быть вторымъ Кіевомъ, ей хочется сдѣлаться третьимъ Римомъ. Другими словами, наша историческая схема осложняется новымъ элементомъ, съ которымъ намъ и остается познакомиться.

Идея присвоить себѣ наслѣдіе второго Рима впервые складывается въ Москвѣ, какъ извѣстно, въ сферѣ религіозныхъ отношеній. Завоеваніе Константинополя турками (1453) понято было у насъ какъ Божіе наказаніе, понесенное греками за отступленіе отъ православія въ латинство (флорентійская унія 1439). Послѣ паденія Византіи всемірно-историческое представительство православія само собой переходило къ единственному уцѣлѣвшему на свѣтѣ православному государю—московскому. Къ идеѣ религіознаго представительства не замедлила присоединиться и другая идея представительства политическаго. Бракъ Ивана III съ Софьей Палеологъ докончилъ въ этомъ отношеніи то, что начала флорентійская унія. Не даромъ сенатъ венеціанской республики на слѣдующій годъ послѣ брака писалъ московскому князю, что „власть надъ восточной имперіей, захваченной турками, въ случаѣ прекращенія мужского потомства Палеологовъ, принадлежитъ теперь ему по брачному праву". Правда, практическій Иванъ III, повидимому, не высоко цѣнилъ свои наслѣдственныя права на Византію; по крайней мѣрѣ, онъ не воспользовался возможностью купить первородство у брата своей супруги, и Андрей Палеологъ продалъ свои права за сходную цѣну христіаннѣйшему королю, мечтавшему объ изгнаніи турокъ изъ Европы, Карлу VIII. Но проектъ изгнанія турокъ кончился неудачнымъ походомъ въ Неаполь; затѣмъ Андрей умеръ бездѣтнымъ, еще разъ завѣщавъ свои наслѣдственныя права Фердинанду и Изабеллѣ испанскимъ; другой братъ, Мануилъ, перешелъ въ исламъ, и потомство его скоро пресѣклось *). При этихъ условіяхъ Софья могла, если хотѣла, считать себя законной наслѣдницей византійской короны.

---

*) П. Пирлингъ: „Россія и Востокъ", 1892 г., стр. 166 — 173 227—228.

Любопытно, что и въ этомъ случаѣ очевиднымъ для всѣхъ правамъ московское правительство предпочло права историческія, освященныя древностью. Съ началомъ XVI вѣка въ московскомъ историческомъ обиходѣ появилась легенда, по которой византійское наслѣдіе еще Владиміру Мономаху было непосредственно передано византійскимъ императоромъ Константиномъ Мономахомъ. Повѣсть, въ которой передается эта легенда, въ отдѣльномъ видѣ носитъ обыкновенное заглавіе: *Поставленіе великихъ князей русскихъ на великое княженіе, откуду и како начаша ставитися на великое княжество святыми бармами и царскимъ вѣнцомъ.* Разсказъ начинается съ того, что Владиміръ Мономахъ слогомъ московскихъ князей проситъ у своихъ бояръ совѣта, итти ли ему, по примѣру „прародителей", на Константинополь. Затѣмъ онъ вооружаетъ войско противъ Царяграда, гдѣ царствуетъ Константинъ Мономахъ (умершій, когда Владиміру было всего два года). Константинъ, воюющій въ это время (въ XI вѣкѣ) „съ персы и съ латынею", откупается дарами: онъ снимаетъ съ шеи животворящій крестъ, царскій вѣнецъ съ головы и посылаетъ ихъ Владиміру вмѣстѣ съ „крабицей сердоликовой, изъ нея же Августъ кесарь римскій веселяшеся", и съ ожерельемъ, „сирѣчь бармами", съ своихъ плечъ, при слѣдующихъ словахъ: „Прими отъ насъ, боголюбивый и благовѣрный княже, сіи честные дары, ... жребій твоего поколѣнія отъ начала лѣтъ на славу и честь и на вѣнчаніе твоего вольнаго и самодержавнаго царствія...; просимъ черезъ пословъ мира и любви, чтобы церкви Божіи были безъ мятежа и все православіе пребывало въ покоѣ подъ властью нашего царства и твоего вольнаго самодержавства великой Руси, да нарицаешься отселѣ боговѣнчанный царь, вѣнчанъ симъ царскимъ вѣнцомъ". И съ того времени, заключаетъ повѣсть, князь великій Владиміръ Всеволодовичъ наречеся Мономахъ царь великія Руси...; оттолѣ и доселѣ тѣмъ царскимъ вѣнцомъ вѣнчаются великіе князи владимирскіе, когда ставятся на великое княженіе русское.

Когда и какъ сложилась эта легенда, остается до сихъ поръ не вполнѣ яснымъ, несмотря даже на блестящій анализъ, которому подвергнулъ недавно нашу повѣсть проф. Ждановъ *). Г. Жданову удалось доказать, что повѣсть эта входила первоначально въ составъ цѣлаго *Сказанія о князьяхъ Владимірскихъ;* онъ же нашелъ и другой, весьма ранній, текстъ ея въ посланіи нѣкоего Спиридона Саввы. Можно согласиться съ соображеніями автора, по которымъ посланіе написано въ 1513—1523 гг. **). Но къ догадкѣ проф.

---

*) Повѣсти о Вавилонѣ и „Сказаніе о князѣхъ Владимірскихъ" въ Журн. Мин. Нар. Просв. 1891 г. № 8—10.

**) № 9, стр. 55, прим. 1. Первое указаніе на эту рукопись сдѣлано М. А. Дьяконовымъ въ его книгѣ: „Власть московскихъ государей", стр. 79. Слѣдуетъ считать доказаннымъ и то, что Посланіе Спири-

Жданова, что составителемъ *Сказанія* могъ быть извѣстный агіографъ, сербъ Пахомій, и что составлено оно въ послѣднія десятилѣтія XV вѣка, мы пока не рѣшаемся присоединиться. Въ XV вѣкѣ не встрѣчается ни малѣйшаго намека на существованіе разбираемой легенды. Для вѣнчанія внука Ивана III, Дмитрія, ею не воспользовались (1497 г.). Первая русская редакція хронографа, составленная въ 1512 г., также еще не знаетъ ея; но въ нѣкоторыхъ спискахъ этой редакціи наша повѣсть довольно неловко вставлена *). Герберштейнъ, имѣвшій важныя причины интересоваться титуломъ московскихъ государей и собравшій объ этомъ (въ 1517, 1526 гг.) хорошія оффиціальныя данныя, сообщаетъ, что „Владиміръ Мономахъ оставилъ нѣкоторыя регаліи, которыми нынѣ пользуются при вѣнчаніи", и помѣщаетъ въ своихъ *Комментаріяхъ* самый чинъ вѣнчанія внука Ивана III; но о происхожденіи бармъ и шапки Мономаха онъ передаетъ не нашу легенду, а другую, по которой эти регаліи отняты Мономахомъ „у нѣкоего генуезскаго правителя Кафы". Наконецъ, и въ княжескихъ завѣщаніяхъ, въ которыхъ нѣкоторыя изъ регалій начинаютъ упоминаться съ XIV вѣка, онѣ передаются отъ отца къ сыну безъ всякихъ историческихъ поясненій объ ихъ происхожденіи и безъ всякихъ указаній на ихъ важное значеніе вплоть до Ивана IV **). При этихъ обстоятельствахъ намъ остается повѣрить впечатлѣнію, производимому посланіемъ Спиридона, что въ 1513—1523 гг. *Сказаніе о владимірскихъ князьяхъ* было литературною новинкой, извѣстною немногимъ и возбуждавшею живѣйшее любопытство среди публики, знакомой съ нею только по слухамъ ***).

Практическое употребленіе было сдѣлано изъ легенды о регаліяхъ только въ 1547 году. Именно, въ концѣ предыдущаго года

дона сообщаетъ повѣсть въ менѣе первоначальной формѣ, чѣмъ Сказаніе о князьяхъ владимірскихъ. Проф. Жданову остался, къ сожалѣнію, неизвѣстнымъ текстъ Сказанія въ бѣлорусскомъ сборникѣ Чудова монастыря, изданный по бумагамъ А. Попова въ Чтеніяхъ Общ. Ист. и Древн. 1889 г., т. III, стр. 69—74. Нѣкоторыя мѣста этого текста стоятъ еще ближе къ первоначальному, чѣмъ всѣ извѣстные г. Жданову. Такъ, здѣсь встрѣчаемъ отсутствующее въ другихъ спискахъ имя „Киринѣи", и, притомъ, не въ качествѣ личнаго, а въ качествѣ географическаго имени, какъ и должно было быть въ первоначальномъ текстѣ. Ср. Ждановъ, 1891 г., № 9, стр. 78.

*) А. Поповъ: „Обзоръ русскихъ хронографовъ", т. II, стр. 60 и Изборникъ, стр. 20—22.

**) Судьба регалій по завѣщаніямъ прослѣжена въ статьѣ Д. И. Прозоровскаго: „Объ утваряхъ, приписываемыхъ Владиміру Мономаху", въ Запискахъ отд. русск. и слав. археологіи. Спб., 1882 г., т. III, стр. 1—64.

***) Отвѣтомъ на запросъ одного изъ такихъ любителей чтенія служитъ и самое посланіе Спиридона.

шестнадцатилѣтній Иванъ IV заявилъ митрополиту, что хочетъ „поискать прародительскихъ чиновъ“ и вѣнчаться на *царство*, какъ сродники его и великій князь Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ садились на царство. Въ январѣ 1547 г. было совершено вѣнчаніе, чинъ котораго отличался отъ чина, употребленнаго Иваномъ III при вѣнчаніи внука, именно тѣмъ, что регаліи оффиціально были признаны полученными „отъ царя греческаго Мономаха“ *). Не довольствуясь торжественнымъ актомъ вѣнчанія на царство, Иванъ IV велѣлъ сдѣлать (1552 г.) въ Успенскомъ соборѣ царское мѣсто, напоминающее и теперь этотъ моментъ принятія царскаго титула. На двѣнадцати барельефахъ здѣсь изображена вся исторія присылки царскихъ регалій изъ Византіи, а на затворахъ вычеканена извѣстная намъ повѣсть о *Поставленіи великихъ князей*. Затѣмъ новый титулъ введенъ былъ въ употребленіе при дипломатическихъ сношеніяхъ, и московское правительство принялось настойчиво хлопотать о признаніи этого титула со стороны сосѣдей. Признаніе константинопольскаго патріарха, естественно, было при этомъ всего важнѣе, и Иванъ началъ переговоры съ патріархомъ Іоасафомъ о присылкѣ благословенной грамоты на вѣнчаніе отъ него и отъ всего собора. Съ помощью русскихъ денегъ переговоры кончились къ обоюдному удовольствію; патріархъ прислалъ въ 1561 году соборную грамоту, и только въ наше время стало извѣстно, что собора для этой цѣли онъ не думалъ созывать, а соборныя подписи просто поддѣлалъ **). Но и помимо этого, грамота вызвала въ Москвѣ разочарованіе. Отъ патріарха ожидали подтвержденія тому, что регаліи присланы Константиномъ Мономахомъ Владиміру Всеволодовичу, а онъ удостовѣрялъ въ своей грамотѣ, на основаніи преданій и лѣтописей, только то, что „нынѣшній царь... ведетъ свое происхожденіе отъ крови истинно царской, отъ царицы Анны“, супруги Владиміра Святого; къ этому Владиміру грамота относила, повидимому, и посольство митрополита ефесскаго, вѣнчавшаго Владиміра на царство. По винѣ ли русскихъ пословъ, не сумѣвшихъ растолковать патріарху, что́ нужно русскому правительству, или по винѣ самихъ грековъ, не желавшихъ повторять грубаго анахронизма москвичей, или имѣвшихъ, дѣйствительно, преданіе, что Владиміръ Святой принялъ вѣнчаніе вмѣстѣ съ религіей ***),—какъ бы то ни было, полученная въ Москвѣ грамота противорѣчила уже принятой

---

*) Срав. ст. V и VII (стр. 33, 35, 49—50) въ изд. Е. В. Барсова: Древнерусскіе памятники священнаго вѣнчанія царей etc. М., 1883 г. (Чт. О. И., I).

**) Regel: „Analecta Byzantino-russica“. Petropoli, 1891, стр. LIII—LVII и фототипическій снимокъ, приложенный къ книгѣ.

***) Такъ думали Вельтманъ (Чт. О. И. и Др. 1860 г., I), Прозоровскій, Кене и Терновскій. Ср. Regel, стр. LIX—LX.

оффиціально легендѣ. Согласить грамоту съ легендой оказалось, впрочемъ, нетрудно. Одни слова греческаго текста были вырваны, другія затерты; на мѣстѣ уничтоженнаго вписано, безъ всякой грамматической связи, нѣсколько новыхъ словъ, по смыслу которыхъ митрополитъ ефесскій посланъ былъ, согласно легендѣ, *Константиномъ Мономахомъ* *).

Какъ видимъ, Иванъ IV потратилъ много усилій, чтобы закрѣпить въ общемъ сознаніи идею византійскаго происхожденія русской государственной власти. Въ русской исторической схемѣ, происхожденіе которой мы теперь разбираемъ, эта идея была послѣднимъ штрихомъ, давшимъ схемѣ полное внутреннее единство. Нѣкоторое единство въ схемѣ было уже достигнуто тѣмъ, что князья московскіе представлялись въ ней преемниками политики кіевскихъ князей. Этой связи было достаточно, пока московская политика искала въ прошломъ однихъ только традицій панруссизма. Но теперь, когда „господарь всея Руси“ принялъ царскій титулъ, и къ національно-исторической миссіи—собиранія Руси —присоединилась миссія всемірно-историческая, теперь надо было и кіевскаго великаго князя сдѣлать носителемъ этой миссіи. Наша легенда получаетъ новую прибавку, въ которой титулу царя придается провиденціальное значеніе. Владиміръ Мономахъ, умирая, созываетъ духовенство, бояръ и купцовъ и „заповѣдуетъ“ имъ послѣ своей смерти—не вѣнчать никого на царство, такъ какъ Русь раздѣлится на много удѣльныхъ княженій, и если кого поставить царемъ, удѣльные князья начнутъ съ нимъ борьбу: „завистью убьютъ царя и межъ собой побіются“. Затѣмъ Владиміръ передаетъ регаліи Юрію Долгорукому и велитъ хранить ихъ, какъ зеницу ока, „дондеже отъ рода ихъ кого воздвигнетъ Богъ въ велицѣй Россіи царя и самодержца“ **).

Такимъ образомъ, легенда о византійскомъ преемствѣ власти легла послѣднимъ слоемъ на извѣстную намъ историческую схему. Начало и конецъ этой схемы уже раньше приведены были въ связь на основаніи предполагаемаго единства политической системы Москвы и Кіева. Теперь, подъ вліяніемъ идеи о провиденціальномъ назначеніи Руси, то же начало и конецъ окончательно слились въ одно высшее цѣлое. Царь московскій имѣлъ своего предшественника въ царѣ кіевскомъ.

Въ серединѣ XVI в. наша схема была, какъ видимъ, оконча-

---

*) См. снимокъ у Регеля. Остатки затертыхъ буквъ вышли на снимкѣ гораздо менѣе отчетливо, чѣмъ въ оригиналѣ грамоты. Считаемъ нужнымъ отмѣтить это, такъ какъ реставрація текста, предложенная г. Регелемъ, кажется намъ произвольной (LXXI). Между πορφυρογεννήτου и ἐπιτα можно, наприм., довольно отчетливо разобрать буквы μάχου.

**) Жданов ъ, № 10, стр. 334—335. Дьяконовъ, стр. 76.

тельно готова. Уже съ этого времени она входитъ въ общій литературный оборотъ, а изъ литературы мало-по-малу переходитъ въ народное обращеніе. Въ древней русской письменности существовало византійское сказаніе о томъ, какъ императоръ Левъ доставалъ въ Вавилонѣ царскія утвари Навуходоносора. Въ народной передачѣ сказаніе это получило самостоятельную обработку и приведено было въ связь съ русской легендой о царскихъ регаліяхъ. Народный разсказъ начинается также посылкой въ Вавилонъ изъ Царяграда. Посланецъ Ѳедоръ Бармà, добываетъ въ Вавилонѣ регаліи, пріѣзжаетъ назадъ въ Царьградъ; но „тутъ было въ Царьградѣ великое кровопролитье; рушилась вѣра правовѣрная, не стало царя православнаго. И пошелъ Ѳедоръ Бармà изъ Царяграда въ нашу Русію подселенную и пришелъ онъ въ Казань городъ и вошелъ онъ въ палаты княженецкія, въ княженецкія палаты богатырскія... И улегла тутъ порфира и корона съ града Вавилона на голову грознаго царя правовѣрнаго, Ивана царя Васильевича, который рушилъ царство Проходима, поганаго князя казанскаго" *). Такъ событія цѣлаго вѣка, отъ флорентійской уніи до взятія Казани, соединились въ одинъ фокусъ въ народномъ сознаніи: перепутавъ хронологію, народъ твердо запомнилъ смыслъ событій, ведшихъ къ нашему національному возвеличенію.

Не такими лапидарными чертами, но не менѣе прочно, отразилось то же историческое пониманіе нашего прошлаго въ московскихъ историческихъ источникахъ. До начала научной разработки русской исторіи это пониманіе оставалось единственнымъ. Когда въ прошломъ столѣтіи русская исторіографія начала постепенно осиливать свои источники,—источники эти встрѣтили изслѣдователя съ своимъ, готовымъ взглядомъ, сложившимся вѣками. Не мудрено, что эта готовая нить, предлагавшаяся самими источниками, вела изслѣдователя по проторенньмъ путямъ и складывала для него историческіе факты въ тѣ же ряды, въ какіе эти факты уложились въ свое время въ умахъ современниковъ. Такимъ образомъ, изслѣдователь воображалъ дѣлать открытія, осмысливать исторію; а въ сущности онъ шелъ на помочахъ нашихъ философовъ XV и XVI столѣтія.

Всѣ эти соображенія и сопоставленія могутъ, какъ намъ кажется, объяснить то удивительное на первый взглядъ однообразіе, съ которымъ мы встрѣчались до сихъ поръ и у Карамзина, и у его предшественниковъ, какъ только дѣло касалось ихъ взгляда на общій ходъ русской исторіи. Карамзинъ, конечно, во многое уже не вѣритъ изъ того, во что вѣритъ Татищевъ. Его уже не могутъ ввести въ заблужденіе московскія историческія легенды. Но, крити-

*) Барсовъ, XXV, ср. Жданова, № 8.

куя и устраняя детали, онъ сохраняетъ общее построеніе. Вотъ почему онъ и въ своей исторической конструкціи *„Исторіи государства Россійскаго“* не столько начинаетъ собой новую эпоху въ русской исторіографіи, сколько заканчиваетъ старую.

Какими крѣпкими нитями соединенъ трудъ Карамзина съ предыдущею исторіографіей, мы теперь знаемъ. Скоро мы узнаемъ и то, какой рѣзкій перерывъ отдѣляетъ исторію Карамзина отъ произведеній послѣдующей исторіографіи. Въ качествѣ перехода отъ предыдущаго къ послѣдующему, намъ остается познакомиться съ отношеніемъ Карамзина къ его современникамъ.

V.

Въ то время, какъ Карамзинъ работалъ надъ своею *Исторіей государства Россійскаго*, въ положеніи русской исторической науки произошли очень крупныя перемѣны. Чѣмъ была эта наука до выступленія Карамзина? Нѣсколько знатныхъ любителей, нѣсколько иностранныхъ профессоровъ и нѣсколько учениковъ, отправленныхъ академіей за-границу,—вотъ и весь нашъ populus historicorum конца прошлаго столѣтія. Послѣ Карамзина картина какъ бы волшебствомъ измѣняется. Мы видимъ цѣлое ученое сословіе историковъ, оффиціально существующее историческое общество, спеціальный историческій журналъ и массу историческихъ статей въ неспеціальныхъ журналахъ, живую работу детальнаго изслѣдованія съ постояннымъ обмѣномъ мыслей, съ письменною и печатною полемикой. На извѣстномъ разстояніи отъ этихъ явленій впечатлѣніе получается такое, какъ будто весь этотъ быстрый расцвѣтъ учености произведенъ *Исторіей государства Россійскаго*. Немудрено, что именно такой выводъ и сдѣлали панегиристы исторіографа. За *Исторіей* Карамзина было, такимъ образомъ, надолго упрочено значеніе эры въ русской исторіографіи.

Въ наше время, однако, все болѣе выплываетъ изъ-подъ спуда дѣятельность современниковъ, потонувшая въ лучахъ славы *Исторіи государства Россійскаго*. Вмѣстѣ съ тѣмъ становится все яснѣе, что то, что казалось причинною связью, есть не болѣе, какъ простое хронологическое совпаденіе. Въ нашей исторической наукѣ, дѣйствительно, совершился переворотъ въ эти немногіе годы. Любопытство диллетанта быстро уступило въ ней мѣсто научному интересу изслѣдователя; и задачи, и пріемы изслѣдованія совершенно видоизмѣнились. Но это быстрое развитіе науки шло не *черезъ Исторію государства Россійскаго*, а *мимо* нея. Всматриваясь внимательнѣе въ составъ новаго поколѣнія изслѣдователей, мы не найдемъ между ними ни одного ученика Карамзина, хотя нѣкоторые изъ нихъ, съ появленіемъ *Исторіи государства Россійскаго*, и сдѣ-

лались, - съ большими или меньшими оговорками, — ея поклонниками. Исторіографъ держалъ этихъ своихъ поклонниковъ-спеціалистовъ въ почтительномъ отдаленіи, снисходительно пользуясь ихъ матеріалами, замѣчаніями и поправками, но не давая почти ничего взамѣнъ. Уже по этой причинѣ онъ не могъ имѣть учениковъ и долженъ былъ остаться въ сторонѣ отъ текущаго движенія ученой жизни. Припомнимъ, что къ тому же приводили и внѣшнія условія его ученой дѣятельности. Все время сочиненія своихъ первыхъ восьми томовъ онъ провелъ взаперти, въ подмосковной деревнѣ, а остальные годы до своей смерти прожилъ въ Петербургѣ, далеко отъ Московскаго университета и отъ тѣхъ сферъ, гдѣ сосредоточилась ученая работа и ученый обмѣнъ мыслей.

Такимъ образомъ, чтобы установить преемственную связь явленій нашей исторіографіи, мы должны оставить въ сторонѣ исторіографа и его исторію и обратиться къ дѣятельности его современниковъ,— болѣе скромной, конечно, но зато носившей болѣе очередной характеръ въ развитіи нашей науки. Писать *исторію*, пока не собраны, не очищены, не изданы источники, казалось большинству этихъ современниковъ сумасброднымъ предпріятіемъ; взяться за него —значило для нихъ отступить отъ строгихъ требованій критической исторіи, установившихся въ русской наукѣ со времени Шлецера. Не историческій разсказъ, а критическія изданія источниковъ были, съ этой точки зрѣнія, ближайшею задачей русской исторической науки.

Восемнадцатый вѣкъ завѣщалъ въ этомъ отношеніи девятнадцатому два начатыя, но неоконченныя предпріятія: изданіе лѣтописей и изданіе актовъ. Оба предпріятія и становятся исходными точками ученой работы нашего столѣтія.

Мы видѣли, что первую задачу, критическое изданіе лѣтописей, поставилъ Шлецеръ еще въ 60-хъ годахъ прошлаго вѣка. До конца вѣка знаменитый критикъ оставлялъ выполненіе этой задачи за собой самимъ. Издавая въ началѣ XIX вѣка своего *Нестора*, онъ самымъ ходомъ работы долженъ былъ, однако, убѣдиться, что критическое изданіе въ собственномъ смыслѣ ему не удалось; ему приходилось довольствоваться сознаніемъ, что онъ первый далъ понять русскимъ ученымъ, что̀ такое критическое изданіе. Мы знаемъ также, какъ понималъ Шлецеръ причины своей неудачи. „У меня было мало списковъ",—говорилъ онъ. Такимъ образомъ, отысканіе новыхъ списковъ и новое „очищенное" изданіе лѣтописнаго текста— таковы тѣ задачи, которыя Шлецеръ готовъ былъ завѣщать русскимъ ученымъ. Представивъ (въ 1803 году) государю черезъ гр. Н. П. Румянцева первые два тома *Нестора*, нѣмецкій ученый весьма кстати вспомнилъ о своихъ „знаніяхъ и опытности", которыя онъ можетъ передать русскимъ изслѣдователямъ въ обмѣнъ на орденъ

св. Владиміра и дворянское званіе, которыхъ онъ добивался. Въ началѣ 1804 г. министръ просвѣщенія гр. Завадовскій доложилъ государю, что „извѣстный свѣту по своимъ обширнымъ въ Россійской исторіи свѣдѣніямъ“ Шлецеръ выразилъ желаніе „соучаствовать съ россійскими учеными въ критическомъ изданіи древнихъ русскихъ лѣтописей“. Врядъ ли министръ самъ высоко ставилъ такую задачу. Въ частной корреспонденціи онъ признавался однажды, что вся древняя исторія Россіи кажется ему сказками и что „писателю просвѣщенному довольно было бы одной страницы, чтобы наши всѣ матеріалы на времена до Петра Великаго вмѣстить въ оную“. Но императоръ Александръ I повелѣлъ Завадовскому составить для выполненія цѣли, поставленной Шлецеромъ, особое общество „при одномъ изъ ученыхъ сословій“ въ Россіи; и министръ, во исполненіе воли Государя, обратился къ М. Н. Муравьеву, попечителю Московскаго университета. Самъ любитель и писатель по русской исторіи *), Муравьевъ далъ ходъ предложенію Завадовскаго, и академическій совѣтъ университета, „внемля съ благоговѣніемъ царско-патріотическому высоко-монаршему желанію“, обѣщалъ „употребить всю дѣятельную ревность въ предпріемлемомъ дѣлѣ, дабы оказаться не недостойными высокаго благорасположенія“ попечителя. Такъ появилось на свѣтъ Московское Общество исторіи и древностей россійскихъ. Первымъ предсѣдателемъ общества былъ ректоръ Чеботаревъ, присяжный ораторъ на торжественныхъ университетскихъ собраніяхъ. По русской исторіи онъ читалъ лекціи въ университетѣ, руководясь воззрѣніями Шлецера; въ Москвѣ за нимъ утвердился даже эпитетъ „руководителя Шлецера въ россійской исторіи“, любезно данный ему германскимъ ученымъ. Другими чле-

---

*) Муравьевъ не былъ, собственно, литераторъ, а человѣкъ общественный по преимуществу, и то, что вышло изъ-подъ его пера, есть плодъ урывчатыхъ досуговъ его во время воспитанія великихъ князей (Александра и Константина Павловичей)“. „Образованіе его было гораздо обширнѣе и положительнѣе, а, слѣдовательно, характернѣе, самостоятельнѣе и оригинальнѣе, нежели образованіе Карамзина, и потому Карамзинъ не могъ не подчиниться вліянію такого человѣка“. А. Старчевскій: „Русская истор. литература“, первой полов. XIX в. Карамзинскій періодъ съ 1800 до 1820 г. въ Библіотекѣ для Чтенія 1852 г., т. 111, стр. 3. Пизатель-моралистъ, Муравьевъ и на исторію смотрѣлъ преимущественно съ моралистической точки зрѣнія, но формулировалъ эту точку зрѣнія гораздо глубже и сознательнѣе Карамзина. Исторія для него „не есть безполезное знаніе маловажныхъ приключеній“... она „представляетъ народы, проходящіе постепенно различные возрасты и состоянія, которые находятся между грубости дикаго.. и между просвѣщеніемъ гражданина“; „тѣ токмо происшествія заслуживаютъ все наше вниманіе, которыя были степенями или препятствіями народнаго восхожденія отъ дикости и невѣжества къ просвѣщенію и знаменитости“. Полное собраніе сочиненій М. Н. Муравьева, ч. II, стр. 3, 110.

нами общества были нѣсколько профессоровъ университета, не имѣвшихъ почти никакого отношенія къ русской исторіи, и нѣсколько любителей и спеціалистовъ по русской исторіи, не имѣвшихъ почти никакого отношенія къ дѣятельности общества; прежде всего самъ Шлецеръ, „приглашенный въ содѣйствіе, сколько по отсутствію своему можетъ онъ опытностію своею способствовать", затѣмъ А. И. Мусинъ-Пушкинъ, счастливый и безцеремонный собиратель рукописей, мало знакомый съ своими собственными сокровищами; Н. Н. Бантышъ-Каменскій, усердно корпѣвшій надъ рукописями своего архива; другой, болѣе чиновный, чѣмъ ученый, представитель архива министерства иностранныхъ дѣлъ, А. Ѳ. Малиновскій, наконецъ, исторіографъ, державшійся того мнѣнія, что „десять обществъ не сдѣлаютъ того, что сдѣлаетъ одинъ человѣкъ, совершенно посвятившій себя историческимъ предметамъ". Впрочемъ, и по званію „почетныхъ членовъ" послѣдняя группа не обязана была принимать ближайшаго участія въ работахъ общества.

Таковы были наличныя силы, съ которыми въ 1804 году началась дѣятельность перваго въ Россіи историческаго общества. Занятія, предстоявшія обществу, носили характеръ служебнаго порученія, которое приходилось выполнять безотлагательно. Поэтому, въ первомъ же засѣданіи были установлены принципы критическаго изданія лѣтописей,—на первый разъ Нестора. Рѣшено „собрать всѣ самыя древнія и подлинныя рукописи" и, „взявъ за основаніе древнѣйшій изъ всѣхъ манускриптовъ, какъ ближайшій къ подлиннику и менѣе другихъ испорченный писцами", отпечатывать по листу для разсылки членамъ, затѣмъ черезъ двѣ недѣли послѣ разсылки собираться, прочитывать сообща „поправки и примѣчанія" членовъ, потомъ „утверждать по всѣхъ суду самый лучшій и вѣрнѣйшій текстъ" и печатать его окончательно, съ необходимыми варіантами и объясненіями. Древнѣйшимъ наличнымъ текстомъ былъ печатный (по Кенигсбергскому списку); но присутствовавшій на засѣданіи Мусинъ-Пушкинъ объявилъ, что онъ „изъ любопытства сличалъ изданіе съ рукописнымъ спискомъ и нашелъ ошибки и даже пропуски. Рѣшено было поэтому выписать подлинный списокъ изъ академіи наукъ и ходатайствовать о доставленіи другихъ древнихъ лѣтописныхъ текстовъ изъ государственныхъ и монастырскихъ хранилищъ. Наконецъ, общество выражало готовность сдѣлать выписки изъ древнихъ и сѣверныхъ писателей, „*если источники*, т.-е. древніе тѣ писатели, начиная съ Геродота, со всѣми греческими, римскими и сѣверными писателями *доставлены будутъ сему обществу*".

Какъ видимъ, научная цѣль и пріемы дѣятельности были приняты вполнѣ шлецеровскіе, но общество собиралось практиковать эти пріемы, какъ и опасался Шлецеръ, самымъ наивнымъ „канцелярскимъ порядкомъ". Однако же, при всей неподготовленности,

обнаруженной обществомъ, поднятый имъ вопросъ о древнѣйшихъ спискахъ лѣтописи вызвалъ усиленные поиски въ хранилищахъ, и важные результаты этихъ поисковъ не замедлили обнаружиться. Благодаря имъ, приведены были въ извѣстность два древнѣйшіе списка Лаврентьевской лѣтописи (Троицкой лавры и Мусина-Пушкина); на нихъ и рѣшилъ основать свое критическое изданіе предсѣдатель Чеботаревъ. Первый, кто воспользовался новымъ открытіемъ, былъ, какъ мы уже знаемъ, Карамзинъ.

При извѣстномъ намъ составѣ общества, вся работа по изданію лѣтописи должна была лечь на единственное лицо, несшее отвѣтственность за дѣятельность общества и, въ то же время, не лишенное нѣкоторыхъ историческихъ свѣдѣній: на Чеботарева, ученика и „учителя" Шлецера. Коллективное участіе членовъ въ предпринятомъ изданіи, кажется, скоро сдѣлалось фиктивнымъ; засѣданій не бывало иногда по цѣлому году. За шесть лѣтъ (1804—1810) Чеботаревъ напечаталъ всего 80 страницъ лѣтописнаго текста. „Служба", возложенная на общество, очевидно, не выполнялась, и въ 1810 г. общество понесло высшую административную кару: оно было оффиціально закрыто. Закулисную исторію этого закрытія разсказалъ недавно историкъ первыхъ годовъ общества, Н. А. Поповъ. Оказывается, что, невинные въ историческихъ упражненіяхъ, члены общества были виновны въ излишней приверженности къ Карамзину. Въ этомъ, по крайней мѣрѣ, обвинялъ ихъ новый попечитель университета, П. И. Голенищевъ-Кутузовъ, масонъ поздѣевскаго кружка, ополчившійся на Карамзина, какъ на распространителя въ Россіи „якобинскаго яда". Вмѣсто стараго, закрытаго общества, Кутузовъ подобралъ себѣ кружокъ ближайшихъ своихъ друзей, еще болѣе далекихъ отъ исторической науки, чѣмъ члены стараго общества. Правда, въ концѣ концовъ, ему пришлось принять и старыхъ (за исключеніемъ Чеботарева и трехъ „отказавшихся" профессоровъ), и въ предсѣдатели былъ выдвинутъ человѣкъ, который могъ быть пріятенъ обѣимъ партіямъ,—богачъ П. И. Бекетовъ. Но Карамзинъ послѣ того пересталъ ходить на засѣданія, а Мусинъ-Пушкинъ демонстративно потребовалъ назадъ свою Лаврентьевскую лѣтопись и заявилъ Кутузову, что отошлетъ ее въ Петербургъ. Эту угрозу онъ дѣйствительно исполнилъ. Рукопись была поднесена государю и отдана затѣмъ на храненіе въ Публичную библіотеку.

Директоръ библіотеки, А. Н. Оленинъ, предпринялъ изданіе Пушкинскаго списка по всѣмъ правиламъ палеографіи *). Петер-

---

*) Сужденія Тимковскаго по поводу проекта „буквальнаго" изданія лѣтописи см. въ запискахъ Калайдовича: Лѣтописи русской литературы, изд. Н. Тихонравовымъ, г. III (М., 1891 г.), стр. 95.

бургское предпріятіе становилось, такимъ образомъ, на дорогу московскому. Изданіе лѣтописи (правда, не „критическое"), для котораго и было создано общество исторіи, какъ бы формально передавалось правительствомъ въ руки другого ученаго учрежденія. Естественно, Кутузовъ сдѣлалъ все возможное, чтобъ удержать въ рукахъ московскаго общества изданіе Пушкинскаго списка. Старое изданіе Чеботарева, печатавшееся, кромѣ Пушкинскаго, по Троицкому и Кенигсбергскому списку, было брошено на десятомъ листѣ. Новое изданіе, спеціально по Пушкинскому списку, поручено было проф. Тимковскому, который со всевозможною поспѣшностью приготовилъ провѣренную копію съ этого списка. Оригиналъ былъ отданъ затѣмъ Мусину; печатаніе же производилось по копіи. Въ 1811—12 годахъ, до нашествія французовъ, Тимковскій успѣлъ отпечатать 13 листовъ. Въ пожарѣ Москвы копія съ Пушкинскаго списка и приготовленные для изданія варіанты погибли, и изданіе окончательно остановилось. Правда, возобновляя свою дѣятельность въ 1815 году, общество попыталось вытребовать снова изъ Петербурга Пушкинскій списокъ, но безуспѣшно. Публичная библіотека отказала выслать оригиналъ, а снятіе списка министръ считалъ безполезнымъ, „ибо въ началѣ будущаго года, вѣроятно, окончится печатаніе Лаврентьевскаго списка, производящееся при самой библіотекѣ, и тогда отъ общества будетъ зависѣть—издать списокъ по печатному экземпляру съ своими примѣчаніями, ежели оно признаетъ то нужнымъ" *). Въ виду этого отвѣта, общество постановило „напечатанные 13 листовъ издать въ свѣтъ въ такомъ видѣ, какъ они есть, съ прописаніемъ причинъ, почему оное изданіе не можетъ быть продолжаемо". Этимъ общество оффиціально слагало съ себя вину за невыполненіе первоначальной своей задачи.

Какъ бы предчувствуя эту неудачу, Кутузовъ при самомъ возстановленіи общества расширилъ рамки его дѣятельности. Мы не говоримъ о тѣхъ матеріальныхъ пріобрѣтеніяхъ реставрированнаго общества, которыя дали поводъ проф. Буле пожелать, „чтобы Кліо столько же ему благопріятствовала, сколько помогаетъ оному предсѣдательствующій его московскій Плутосъ". Но, уничтоживши старое общество за его бездѣятельность, попечитель долженъ былъ, во что бы то ни стало, показать плоды ученой дѣятельности *своего* общества. Новые члены общества, по уставу, обязывались объявить каждый тему своихъ занятій; за ходомъ этихъ занятій и за посѣщеніемъ засѣданій устанавливался строгій контроль, а неисправные могли быть исключаемы изъ списка членовъ. Помимо первоначаль-

---

*) Чтенія Общ. Ист. и Др. 1884 г., т. I. Н. А. Поповъ: „Исторія Имп. общ. ист. и др.", Записки и труды общ. ист. и др., т. II (М., 1824 г.), стр. 14, 21 и 22.

ной цѣли - критическаго сличенія лѣтописей, дѣятельность общества должна была заключаться въ разработкѣ объявленныхъ темъ, въ ежемѣсячныхъ засѣданіяхъ съ рефератами, въ собираніи вещественныхъ памятниковъ, наконецъ, въ изданіи *Актовъ* общества и особаго отъ этихъ актовъ журнала, посвященнаго преимущественно изданію историческихъ документовъ.

Чтобы заполнить эти вновь проектированныя, широкія рамки дѣятельности, нужно было запастись рабочими силами, а силъ этихъ у ближайшихъ друзей Кутузова было не больше, чѣмъ у сотоварищей Чеботарева по философскому факультету. На двухъ профессоровъ тогдашняго университета можно было разсчитывать, какъ на дѣятельныхъ сотрудниковъ: на Тимковскаго и на Каченовскаго. Усердный чиновникъ, Тимковскій готовъ былъ считать недоброжелателей попечителя „недоброжелателями общественнаго блага“ и могъ, въ угоду Кутузову, сличить и исправить въ 6 дней одиннадцать листовъ лѣтописнаго текста. Ему, какъ мы видѣли, и было поручено изданіе Пушкинскаго списка. Отъ Каченовскаго, болѣе независимаго, можно было, самое большее, ожидать рефератовъ для ежемѣсячныхъ засѣданій и статей въ *Акты* общества. Всего этого было мало. Надо было привлечь къ дѣлу молодыя, незанятыя еще силы. Вотъ почему во второе же засѣданіе преобразованнаго общества въ среду чиновныхъ и сановитыхъ членовъ его введенъ былъ ученикъ Тимковскаго, только что кончившій курсъ восемнадцатилѣтній Калайдовичъ. У молодого кандидата, вѣроятно, уже созрѣло желаніе, высказанное имъ три года спустя, „всю жизнь свою посвятить русской исторіи и особенно древностямъ и дипломатикѣ“. Тимковскій усердно поддерживалъ въ немъ эти стремленія, имѣлъ въ виду для него университетскую карьеру и совѣтовалъ готовиться къ магистерскому экзамену *). Съ молодымъ сочленомъ можно было не церемониться, и на него навалили самую тяжелую и черную часть работы: предположенное изданіе журнала. Какъ торопились съ изданіемъ первыхъ плодовъ дѣятельности общества, видно изъ того, что къ первому годичному собранію (13 марта 1812 г.) 6 листовъ перваго тома *Достопамятностей* и 15 листовъ *Актовъ* общества были уже готовы. Нашествіе французовъ остановило дѣятельность общества и въ этомъ направленіи. Отпечатанные листы пролежали до 1815 г., когда засѣданія общества возобновились. Вся тяжесть изданія легла тогда опять на Калайдовича. Въ октябрѣ 1814 г. Калайдовичъ дѣлаетъ въ своемъ дневникѣ характерную запись: „Съ мѣсяцъ назадъ присылалъ за мною г. попечитель (Кутузовъ). Я къ нему явился. Угрозы и брань

---

*) Записки важныя и мелочныя К. Ѳ. Калайдовича въ Л ѣ т. р у с с к о й л и т., т. III, стр. 86, 89, 112.

за медленность въ изданіи на меня посыпались. Я, будучи не самъ отъ себя виноватъ, ибо почти всю весну пространдалъ жестокимъ ипохондрическимъ припадкомъ, происшедшимъ отъ многихъ неудачъ, отвѣтствовалъ его превосходительству, что въ самомъ дѣлѣ виною не я, а обстоятельства; но ничто не подѣйствовало. Кураторъ причиталъ всѣ шалости, свойственныя молодому человѣку, и упрекалъ меня ими. Въ заключеніе, приказалъ, какъ можно скорѣе, кончить изданіе книгъ, порученныхъ мнѣ обществомъ историческимъ. Вотъ такъ всегда труды и усердіе, вмѣсто награды, терпятъ укоризны".

„Ипохондрическій припадокъ", помѣшавшій Калайдовичу печатать изданія общества, былъ результатомъ перерыва въ его ученой карьерѣ. Двѣнадцатый годъ перевернулъ и его собственную судьбу. Подъ вліяніемъ *Русскаго Вѣстника* Сергѣя Глинки и патріотическихъ разговоровъ съ Карамзинымъ, Калайдовичъ поступилъ въ ополченіе и провелъ годъ въ военной службѣ. Переходя съ полкомъ изъ одного уѣзднаго города въ другой, онъ узналъ изъ писемъ родныхъ о пожарѣ, истребившемъ домъ отца и его собственную, довольно уже значительную, библіотеку и собраніе рукописей. Вернувшись изъ похода, онъ пріютился „до поправки своихъ дѣлъ" на квартирѣ у Каченовскаго, стараясь опять устроиться при университетѣ. Но тутъ постигла его какая-то неудача. Начатый осенью 1813 года магистерскій экзаменъ остался почему-то незаконченнымъ, и отношенія къ университету разстроились. Между тѣмъ, въ 1814 году явился новый планъ—поступить на службу къ канцлеру Румянцеву или лично, или въ московскій архивъ иностранной коллегіи. Весь 1814 годъ Калайдовичъ колебался между смутною надеждой при помощи историческаго общества „поправить дѣла свои въ университетѣ" и желаніемъ поступить на службу въ архивъ, отъ чего отговаривалъ его Тимковскій *). Можетъ быть, уже въ это время онъ началъ страдать слабостью, о которой мы узнаемъ позже изъ переписки митр. Евгенія: подъ впечатлѣніемъ неудачъ и неопредѣленности своего положенія онъ запилъ. Надо думать, что и другія „шалости, свойственныя молодому человѣку", въ которыхъ упрекалъ его Кутузовъ, были ему не совсѣмъ чужды. По крайней мѣрѣ, въ концѣ 1814 г. и началѣ слѣдующаго безпокойное состояніе его духа разрѣшилось, наконецъ, громкимъ скандаломъ во Владимірѣ, куда Калайдовичъ на время уѣхалъ. Чтобы освободить сына отъ судебнаго преслѣдованія, отецъ Калайдовича объявилъ его сумасшедшимъ; полгода онъ просидѣлъ въ домѣ умалишенныхъ, а затѣмъ цѣлый

---

*) Біографическія данныя о Калайдовичѣ взяты изъ біографическаго очерка П. А. Безсонова (Чтенія Имп. Общ. Ист. и Др. Росс., 1862 г., т. III) и цитированныхъ выше Записокъ К. Ѳ. Калайдовича.

годъ (съ іюля 1815 по іюль 1816 г.) прожилъ, по приказанію отца, въ Пѣсношскомъ монастырѣ, нося одежду послушника.

Мы сообщаемъ всѣ эти біографическія свѣдѣнія потому, что судьба Калайдовича стоитъ въ тѣсной связи съ дѣятельностью историческаго общества. Первымъ послѣдствіемъ удаленія Калайдовича было прекращеніе издательской дѣятельности общества: выпущены были только въ свѣтъ изданія, приготовленныя Калайдовичемъ, т.-е. томъ *Записокъ* и томъ *Русскихъ достопамятностей*, а затѣмъ, на цѣлыхъ 8 лѣтъ, общество опять заснуло. Вторымъ послѣдствіемъ, важнымъ на этотъ разъ для дальнѣйшей судьбы самого Калайдовича, было то, что, когда въ 1823 году общество исторіи снова встрепенулось, рядомъ съ Калайдовичемъ выдвинулся его младшій товарищъ и конкуррентъ, болѣе покладистый въ своихъ требованіяхъ отъ жизни, менѣе способный, зато болѣе постоянный къ работѣ; менѣе пригодный для ученаго творчества, зато какъ разъ подходившій для той черной работы, которая по тогдашнему состоянію науки стояла на ближайшей очереди. Мы разумѣемъ П. М. Строева.

На протяженіи этихъ восьми лѣтъ, 1815—1823 г., между двумя припадками дѣятельности общества исторіи и древностей, успѣлъ значительно измѣниться ученый кругозоръ изслѣдователей по русской исторіи. И главный толчокъ къ этому измѣненію дала не дѣятельность общества исторіи, съ характеромъ которой мы теперь достаточно знакомы, а ученыя сношенія канцлера Н. П. Румянцева. Посредствомъ этихъ сношеній Румянцевъ успѣлъ создать тоже своего рода ученое общество, разсѣянное по всей Россіи и даже за границей. Вмѣсто ежемѣсячныхъ засѣданій, это общество поддерживало чуть не ежедневныя сношенія; письма занимали мѣсто рефератовъ, а содержаніе этихъ писемъ ручалось за то, что каждый членъ общества дѣлаетъ подъ своею личною отвѣтственностью взятое на себя дѣло и съ каждымъ днемъ подвигаетъ впередъ одно изъ многочисленныхъ изданій, затѣянныхъ канцлеромъ. Изданія эти давали практическую цѣль ученой дѣятельности, наполняли время и давали средства къ жизни сложившимся ученымъ, вызывали на свѣтъ новыя ученыя силы,—словомъ, по почину Румянцева, была создана и утилизирована такая масса ученаго труда и знанія, какую трудно было даже ожидать отъ нашей молодой еще исторической науки. Можно сказать, что ни одинъ сколько-нибудь подходящій человѣкъ не ускользалъ отъ вниманія канцлера, и ни одна минута такого человѣка,—насколько это зависѣло, конечно, отъ канцлера,—не пропадала даромъ для ученыхъ предпріятій, имъ начатыхъ или сдѣлавшихся его собственными *).

---

*) Общую характеристику дѣятельности румянцевскаго кружка и всѣ дальнѣйшія библіографическія указанія можно найти въ „Опытѣ русской

Въ 1812 году, съ котораго начинается энергическая дѣятельность Н. П. Румянцева на пользу русской исторіи, онъ былъ уже шестидесятилѣтнимъ старикомъ; ему оставалось дожить послѣдніе полтора десятка лѣтъ его жизни. Собирать книги и вчитываться въ русскую исторію онъ началъ уже довольно давно; еще въ 1790-хъ годахъ онъ хлопочетъ о пріобрѣтеніи разныхъ рѣдкихъ сочиненій и высказываетъ свой самостоятельный взглядъ на русскую исторію. Но въ этомъ еще не было ничего особеннаго. Быть диллетантомъ въ русской исторіи считалъ себя обязаннымъ всякій важный баринъ. Даже такой повѣса, какъ братъ Николая Петровича, Сергѣй Петровичъ Румянцевъ, нахватался достаточно свѣдѣній по русской исторіи, чтобы пустить пыль въ глаза молодому кандидату въ родѣ Калайдовича **). Настоящимъ ученымъ и графъ Николай Петровичъ не сдѣлался ни тогда, ни позднѣе, когда онъ серьезно погрузился, вслѣдъ за своими корреспондентами, во всѣ очередные вопросы детальнаго историческаго изслѣдованія. Но таковъ былъ и господствующій характеръ учености его времени. Отставъ отъ диллетантизма и не приставъ къ учености, Румянцевъ былъ самымъ типичнымъ выразителемъ состоянія современной ему исторической науки; на себѣ самомъ онъ очень хорошо чувствовалъ ея недостатки и ея ближайшія потребности. Примись онъ за русскую исторію полвѣка раньше, онъ, можетъ быть, посвятилъ бы свой досугъ составленію новой *Исторіи*, въ родѣ Щербатовской; четвертью вѣка раньше его серьезный историческій интересъ могъ бы выразиться въ составленіи *Примѣчаній*, въ родѣ болтинскихъ. Въ началѣ XIX вѣка становилось яснымъ, что ни полная *Исторія*, ни даже *Примѣчанія* къ ней не составляютъ очередной задачи изслѣдованія,—что, какъ выразился Шлецеръ незадолго до своей смерти (1809), десяти Карамзинымъ не написать настоящей русской исторіи, пока не будутъ приготовлены для нея матеріалы. Итакъ, настоящая, „*критическая*“ исторія стала для канцлера и его сотрудниковъ идеаломъ болѣе или менѣе отдаленнымъ, а вѣрнѣйшимъ путемъ къ достиженію этого идеала сдѣлалось, съ одной стороны, приведеніе въ извѣстность и опублико-

---

исторіографіи“ В. С. Иконникова, т. I, стр. 1, 135—243. См. также А. Старчевскаго: „О заслугахъ Румянцева, оказанныхъ отечественной исторіи“ (въ Журн. Мин. Нар. Просв., часть XLIX), А. Ивановскаго: „Госуд. канцлеръ гр. Н. П. Румянцевъ“. Спб., 1871 г. Сборникъ матеріаловъ для исторіи Румянцевскаго музея“, вып. I. М., 1882 г. и „Матеріалы для историческаго описанія Румянцевскаго музея“ соч. Кестнера, М., 1882 г. У А. А. Кочубинскаго („Начальные годы русскаго славяновѣдѣнія“. Одесса, 1887—88 г.), вторая глава посвящена изображенію „Кружка канцлера Румянцева“ (стр. 37—215 и приложенія III—XCIV).

**) См. ихъ разговоры въ Запискахъ Калайдовича, стр. 81—82 bis.

ваніе историческаго матеріала, съ другой—разработка вспомогательныхъ наукъ и составленіе справочныхъ пособій. Эти положенія сдѣлались основнымъ догматомъ канцлерской „дружины“,—тѣмъ лозунгомъ, по которому члены этой дружины отличали своихъ отъ чужихъ. И установленіе ихъ есть та основная черта, благодаря которой весь разсматриваемый періодъ можетъ быть названъ „румянцевскимъ“ съ гораздо большимъ правомъ, чѣмъ „карамзинскимъ“.

Изданіе лѣтописей было уже возложено на обязанности московскаго историческаго общества. Слѣдовательно, ближайшею задачей канцлера само собой становилось изданіе актовъ, тѣмъ болѣе, что проектъ такого изданія уже около тридцати лѣтъ лежалъ безъ движенія въ его собственномъ вѣдомствѣ иностранныхъ дѣлъ. Припомнимъ планъ Миллера—издать собраніе дипломатическихъ актовъ по образцу Дюмона. Какъ мы знаемъ, все было готово къ выполненію этого предпріятія въ 1780-хъ годахъ; только смерть Миллера помѣшала его осуществленію. Вспомнить объ этомъ проектѣ было тѣмъ естественнѣе, что, въ сущности, и по смерти перваго исторіографа онъ не былъ заброшенъ совершенно. Миллеръ оставилъ въ архивѣ своихъ помощниковъ, одинъ изъ которыхъ, наиболѣе усердный— Н. Н. Бантышъ-Каменскій, продолжалъ всю жизнь работать въ направленіи, указанномъ ему Миллеромъ. За тридцать лѣтъ Бантышъ-Каменскій исподволь успѣлъ описать и даже изложить сокращенно всѣ дипломатическіе документы своего архива, въ томъ самомъ порядкѣ (по алфавиту иностранныхъ дворовъ), въ которомъ они тамъ хранились *). Мы не знаемъ, по чьему почину снова возникъ въ декабрѣ 1810 года вопросъ о печатаніи „дипломатическаго корпуса“: по иниціативѣ ли графа Румянцева, или самого Бантышъ-Каменскаго. Но, во всякомъ случаѣ, этотъ вопросъ засталъ директора архива вполнѣ подготовленнымъ. По его плану, проектированное собраніе государственныхъ грамотъ и договоровъ должно было состоять изъ четырехъ частей. Въ первой должна была заключаться „внутренняя часть“ этихъ документовъ, „т.-е. взаимныя между великими князьями условія“. Въ остальныхъ же трехъ Бантышъ-Каменскій предполагалъ помѣстить сношенія съ иностранными дворами. Канцлеру оставалось принять готовый планъ, составленный знатокомъ архива. Онъ не согласился только на расположеніе матеріала по алфавитному порядку дворовъ, предложенное аккуратнымъ директоромъ архива, и замѣнилъ его распредѣленіемъ хронологическимъ. Затѣмъ, весь подборъ матеріала и даже выработку внѣшности изданія онъ вполнѣ предоставлялъ Бантышъ-Каменскому, прося только не щадить издержекъ для „чистоты и красоты тисненія“, такъ какъ „сіе изданіе дѣлается сколько для пользы, столько и для славы“.

---

*) Т.-е, австрійскій, англійскій и т. д.

Всѣ расходы по печатанію канцлеръ принималъ на себя; механическая работа возложена была на особо учрежденную „комиссію о печатаніи государственныхъ грамотъ и договоровъ", составленную изъ чиновниковъ архива. Себѣ канцлеръ выговорилъ только право „имѣть участіе и попеченіе объ успѣхѣ сего предпріятія" и въ томъ случаѣ, если ему придется покинуть дѣйствительную службу *).

Собраніе государственныхъ грамотъ и договоровъ было первымъ предпріятіемъ, втянувшимъ Румянцева въ издательскую дѣятельность и вызвавшимъ усиленныя сношенія съ русскими учеными. Но въ ближайшіе годы къ этому предпріятію присоединилось и другое, обѣщавшее, по словамъ Шлецера, еще больше „славы" и, можетъ быть, болѣе соотвѣтствовавшее личнымъ вкусамъ канцлера. Начало русской исторіи было съ давнихъ поръ любимымъ предметомъ занятій Румянцева; у него даже были самостоятельныя теоріи по поводу важнѣйшихъ вопросовъ русскихъ origines (напримѣръ, происхожденіе Руси, значеніе арабской торговли). Яснѣе, чѣмъ большинство современныхъ ему ученыхъ, онъ понималъ, что вопросы эти не могутъ быть разрѣшены съ помощью одной только русской лѣтописи; еще во время службы въ Германіи, въ 1790-хъ годахъ, онъ пробуетъ восполнить умолчанія лѣтописи съ помощью нѣмецкихъ анналъ и ищетъ новыхъ неизданныхъ источниковъ для древнѣйшей исторіи Россіи **). Позднѣе онъ обращается за разрѣшеніемъ своихъ сомнѣній и догадокъ къ иностранцамъ-спеціалистамъ по древнѣйшей русской исторіи: онъ знакомится съ Лербергомъ въ послѣдніе годы его жизни (1812—1813), черезъ Лерберга съ Кругомъ, потомъ съ дерптскимъ профессоромъ Эверсомъ и оріенталистомъ Френомъ. Онъ становится издателемъ сочиненій всѣхъ этихъ ученыхъ, а черезъ нихъ завязываетъ сношенія и съ заграничными византинистами и оріенталистами, Газе, Сенъ-Мартеномъ, Гаммеромъ. Всѣмъ имъ онъ даетъ порученія по собиранію и изданію въ свѣтъ иностранныхъ источниковъ, византійскихъ, арабскихъ, турецкихъ, армянскихъ и грузинскихъ, могущихъ объяснить начало нашей исторіи. При этихъ условіяхъ естественно, что обнародованіе русскихъ лѣтописей интересовало канцлера никакъ не менѣе, чѣмъ изданіе грамотъ и договоровъ. Если послѣднее онъ предпринялъ въ качествѣ руководителя русской дипломатіи, то его симпатіи, какъ диллетанта по русской исторіи, скорѣе лежали къ первому. При первой возможности Румянцевъ попытался перехватить себѣ „честь - быть первымъ издателемъ русскихъ лѣтописей" ***).

---

*) Кочубинскій, 70—75 и прил. VII—XLII (переписка Румянцева съ Бантышъ-Каменскимъ).

**) Кестнеръ, 3—8.

***) Слова Шлецера. На Шлецера Румянцевъ прямо ссылается въ своемъ проектѣ изданія лѣтописей. Переписка Румянцева, изд. Е. Барсовымъ. Чтенія О. И. 1882 г., I, 345.

Мы видѣли, что въ 1810—1811 годахъ изданіе лѣтописи Чеботаревскимъ историческимъ обществомъ было оффиціально признано неудавшимся, и Мусинъ-Пушкинъ перенесъ изданіе своего списка въ Петербургъ. Румянцевъ тотчасъ воспользовался этимъ, чтобы взять изданіе лѣтописей въ свои руки. Въ ноябрѣ 1813 года онъ пожертвовалъ въ академію наукъ 25 тысячъ на изданіе *Собранія русскихъ лѣтописей* и обратился къ Кругу съ просьбой выработать планъ такого изданія. Кругъ предложилъ издать „сводный толковый русскій лѣтописецъ". Но этотъ проектъ встрѣтилъ возраженія со стороны Оленина, находившаго, что такое изданіе нельзя было бы выполнить скоро и что лучше всего издать отдѣльно всѣ лучшіе списки, которые бы въ совокупности составили *Полное собраніе русскихъ дѣеписателей*. Столкновеніе мнѣній разрѣшилось компромиссомъ: рѣшено было въ первомъ томѣ издать, по плану Оленина, Кенигсбергскій списокъ лѣтописи, а во второмъ томѣ напечатать сводное изданіе нѣсколькихъ списковъ южной лѣтописи, открытой Карамзинымъ *). Предпріятіе, однако же, затормозилось, и канцлеръ скоро охладѣлъ къ своимъ петербургскимъ сотрудникамъ. Въ концѣ концовъ, уже послѣ смерти Румянцева, въ 1836 году, сумма, назначенная имъ на изданіе лѣтописей, была употреблена на печатаніе *Актовъ археографической экспедиціи*.

Въ Москвѣ съ изданіемъ *Грамотъ и договоровъ* дѣло шло гораздо скорѣе. Печатаніе перваго тома *Собранія* закончено было къ концу 1813 года. Въ январѣ слѣдующаго 1814 года сошелъ въ могилу старикъ Бантышъ-Каменскій, не доживъ нѣсколькихъ дней до выпуска въ свѣтъ своего труда. Мѣсто покойнаго занялъ тоже ученикъ Миллера, но гораздо болѣе чиновникъ, чѣмъ ученый, А. Ѳ.

---

*) Кестнеръ, стр. 17. Старчевскій, стр. 19. Сборникъ мат. для ист. Рум. муз. Переписка Румянцева, изд. Е. Барсовымъ, стр. 63. На Волынскую лѣтопись обратилъ вниманіе Круга Калайдовичъ (Безсоновъ въ „Чтеніяхъ" 1862 г., т. III: „Знаете ли вы, что у васъ въ академіи хранится сокровище—лѣтопись Волынская, зарытая между дефектами и не вписанная въ каталогъ, которую извлекъ изъ праха Н. М. Карамзинъ? Я желалъ бы знать, кому будетъ принадлежать честь изданія сихъ памятниковъ". Письмо отъ 15 янв. 1814 г.). Нѣсколько позже и Румянцевъ получилъ извѣстіе о другомъ спискѣ этой лѣтописи отъ самого владѣльца (Чтенія 1882 г, т. I, стр. 15, отъ 27-го ноября 1815 г.): „Меня увѣрялъ Полторацкій, что г. Карамзинъ никакой древней лѣтописи такъ не уважалъ, какъ ту, которую онъ отъ него получилъ, а ему досталась отъ г. Хлѣбникова, что за лѣтопись? И ежели въ самомъ дѣлѣ она заслужила полное вниманіе Карамзина, нельзя ли и съ нея получить списокъ?" Самъ Карамзинъ въ 1825 г. говорилъ Погодину, что онъ „лѣтъ тому назадъ шесть отдалъ Румянцеву два списка, одинъ свой, подаренный покойнымъ Полторацкимъ, другой, также почти свой, найденный „Карамзинымъ въ дефектахъ академическихъ". Барсуковъ, т. I, стр. 331. Сводъ списковъ южной лѣтописи былъ порученъ пріятелю митр. Евгенія, Анастасевичу.

Малиновскій. Быть, подобно Бантышъ-Каменскому, хозяиномъ предпріятія онъ не могъ. Приходилось позаботиться о привлеченіи къ дѣлу свѣжихъ ученыхъ силъ. При Бантышъ-Каменскомъ „комиссія печатанія грамотъ и договоровъ" не имѣла никакого значенія и состояла изъ чиновниковъ. Теперь главная тяжесть предпріятія ложилась на комиссію, и канцлеръ рѣшилъ составить ее изъ ученыхъ. Переговоры съ Шлецеромъ-сыномъ въ 1814 году кончились, однако, отказомъ послѣдняго. Въ 1815 г. канцлеръ обратился къ Малиновскому съ просьбой пригласить въ комиссію присяжныхъ тогдашнихъ спеціалистовъ, Тимковскаго или Каченовскаго. Мы не знаемъ, сочли ли оба дѣятельность въ комиссіи ниже своего ученаго достоинства, или самъ Малиновскій предпочелъ не приглашать такихъ самостоятельныхъ сослуживцевъ; какъ бы то ни было, выборъ палъ на болѣе молодыхъ. Уже Бантышъ-Каменскій, умирая, совѣтовалъ пригласить въ комиссію извѣстнаго намъ Калайдовича. Но Калайдовичъ, какъ мы видѣли, колебался между университетомъ и комиссіей, просилъ отсрочить свое поступленіе въ архивъ и, въ концѣ концовъ, попалъ въ Пѣсношскій монастырь. Тогда на мѣсто его была выдвинута кандидатура другого ученика Тимковскаго, не окончившаго еще курсъ девятнадцатилѣтняго студента Строева. Несмотря на свою молодость, Строевъ былъ уже извѣстенъ (съ 1814 года), какъ авторъ учебника „краткой россійской исторіи" и нѣсколькихъ историческихъ статей. Одна изъ этихъ статей, отрывокъ изъ историческаго генеалогическаго словаря (подъ заглавіемъ *О родословіи россійскихъ князей* въ *Сынѣ Отечества* 1814 г.), была замѣчена канцлеромъ, который даже обращался къ Строеву черезъ редактора Греча съ запросомъ, намѣренъ ли авторъ продолжать свой трудъ. Въ противоположность мнительности и безпокойному нраву Калайдовича, Строевъ отличался самоувѣренностью и умѣньемъ ладить съ начальствомъ. Ему скоро удалось пріобрѣсти полное расположеніе Малиновскаго, и съ его помощью онъ получилъ въ первой половинѣ 1816 года должность главнаго смотрителя при „коммиссіи печатанія грамотъ". Вышедшій изъ своего монастырскаго заключенія въ іюлѣ того же года, Калайдовичъ нашелъ мѣсто уже занятымъ и долженъ былъ удовлетвориться второстепенною ролью „контръ-корректора";—и въ этой должности онъ былъ утвержденъ не сразу *).

*) Безсоновъ: „Калайдовичъ" (Чтенія, стр. 55—56); Кочубинскій (прил. LXIV); Переписка Румянцева (Чтенія 1882 г., т. I, стр. 33). Отношеніе Калайдовича къ поступленію Строева въ комиссію видно изъ письма Греча къ послѣднему отъ 24 ноября 1815 г.: „Полоумный Калайдовичъ не хотѣлъ увѣдомить меня о вашемъ адресѣ, узнавъ особенно, что гр. Румянцевъ поручилъ мнѣ о васъ освѣдомиться". Барсуковъ: „Жизнь Строева", стр. 21.

Такимъ образомъ, изъ приказнаго учрежденія „комиссія печатанія грамотъ“ превратилась въ ученое. Одновременно съ этимъ происходитъ и другое важное измѣненіе въ ходѣ изданія *Грамотъ и договоровъ*. Гр. Румянцевъ начинаетъ принимать въ немъ все болѣе непосредственное участіе. Въ двѣнадцатомъ году, когда поддерживаемая канцлеромъ политика союза съ Наполеономъ,—политика Тильзита и Эрфурта,- потерпѣла окончательно неудачу, Румянцевъ оставилъ службу. Съ этихъ поръ онъ могъ вполнѣ предаться своимъ любимымъ занятіямъ по собиранію и изданію историческихъ матеріаловъ.

Собирать матеріалы нужно было, прежде всего, для того, чтобы пополнить затѣянныя уже изданія: *Собраніе грамотъ* и *Собраніе лѣтописей*. Для первой цѣли, кромѣ матеріаловъ русскаго дипломатическаго архива, канцлеръ рѣшается привлечь также и матеріалы иностранныхъ хранилищъ. Уже въ 1813 г. нѣкто Шульцъ работаетъ по его порученію въ кенигсбергскомъ архивѣ. Вскорѣ затѣмъ изъ Риги канцлеру присылаютъ важныя древнія грамоты. Позже является Штрандманъ въ Италіи съ тою же цѣлью—списыванія архивныхъ документовъ. Въ Лондонѣ черезъ нашего посла, графа С. Р. Воронцова, Румянцевъ получаетъ разрѣшеніе списать всѣ сношенія Россіи съ Англіей, хранящіяся въ посольскомъ архивѣ; списываютъ для него и въ другихъ англійскихъ хранилищахъ рукописи, относящіяся къ Россіи. Въ Варшавѣ нѣкто Буссе снимаетъ для канцлера копіи съ важнѣйшихъ актовъ Литовской метрики *).

По мѣрѣ собиранія всѣхъ этихъ матеріаловъ взглядъ Румянцева на задачи *Собранія грамотъ и договоровъ* значительно измѣняется. Прежде всего, на содержаніе 1-го тома, изданнаго Бантышъ-Каменскимъ, канцлеръ смотритъ совсѣмъ иначе, чѣмъ покойный директоръ архива. Мы видѣли, что Бантышъ-Каменскій предназначалъ первый томъ для изданія тѣхъ же дипломатическихъ сношеній, какъ и остальные тома *Собранія;* только, въ отличіе отъ „внѣшнихъ“ сношеній, въ немъ должны были помѣститься памятники „внутреннихъ“ междукняжескихъ сношеній необъединенной еще Россіи. Румянцевъ считаетъ, что первый томъ посвященъ „внутреннимъ государственнымъ постановленіямъ“, не имѣющимъ спеціально-дипломатическаго характера. Съ этой точки зрѣнія (да, впрочемъ, и съ собственной точки зрѣнія Бантышъ-Каменскаго) онъ скоро нашелъ, что первый томъ не полонъ, что многіе важные акты въ него не вошли. Уже отъ 10 іюля 1814 года Малиновскій получилъ извѣщеніе, что канцлеръ хочетъ издать прибавленіе къ первому тому, въ которомъ, кромѣ архивскихъ документовъ, будутъ помѣщены „и многіе древніе доку-

---

*) О заграничныхъ работахъ для Румянцева см. особенно Старчевскаго, стр. 26—40.

менты, полученные его сіятельствомъ изъ Риги, Кенигсберга и другихъ мѣстъ". На первыхъ порахъ Румянцева нѣсколько смущало то обстоятельство, что документы эти заимствованы не изъ архива иностранной коллегіи, но, въ концѣ концовъ, онъ вышелъ изъ затрудненія тѣмъ, что велѣлъ хранить въ архивѣ *копіи* съ издаваемыхъ документовъ. Разъ, такимъ образомъ, первоначальныя внѣшнія и внутреннія рамки изданія, дипломатическій характеръ документовъ и мѣсто ихъ храненія въ московскомъ архивѣ были оставлены въ сторонѣ, открывалось необозримое поле документовъ внутренней русской исторіи. Объ обиліи этихъ документовъ ни Румянцевъ, ни его сотрудники не имѣли никакого понятія; они твердо вѣрили въ возможность напечатать все важнѣйшее въ „прибавленіи" къ первому тому *Собранія*. Съ цѣлью разыскать это важнѣйшее, канцлеръ обращался во всѣ московскія хранилища: въ Патріаршую и Типографскую библіотеку, гдѣ его розыски встрѣчены были на первыхъ порахъ очень непріязненно, въ архивъ старыхъ дѣлъ, чиновники котораго были тогда совершенно непригодны ни для какихъ ученыхъ справокъ, и, наконецъ, въ собственный архивъ, въ неисчерпаемые портфели Миллера. Опредѣлить, что войдетъ и что не войдетъ въ *Собраніе*, было теперь довольно затруднительно. Выборъ матеріала дѣлала, въ сущности, комиссія, но всѣ заготовленныя копіи посылались канцлеру, который ихъ внимательно прочитывалъ и, обыкновенно, одобрялъ къ печатанію. Вначалѣ комиссія сомнѣвалась еще въ возможности подводить различные историческіе документы подъ понятіе „государственныхъ грамотъ", но канцлеръ разрѣшилъ эти сомнѣнія въ смыслѣ утвердительномъ. „Помѣщеніе писемъ жены обоихъ самозванцевъ Марины къ отцу своему, также присягъ, наказовъ и грамотъ кн. М. В. Скопина-Шуйскаго ни мало не нахожу излишнимъ,—пишетъ Румянцевъ Малиновскому,—а, напротивъ того, какъ нельзя болѣе приличнымъ и нужнымъ для достаточнѣйшаго объясненія сей эпохи въ исторіи нашей. Да не устрашаетъ васъ, м. г. мой, обширное поприще въ собираніи актовъ для сей второй части. Чѣмъ полнѣе и совершеннѣе выйдетъ въ свѣтъ сіе собраніе, тѣмъ болѣе принесетъ вамъ чести, а мнѣ удовольствія исполненіе сего предпріятія. Что же касается потребныхъ на печатаніе издержекъ, то я готовъ жертвовать оными, хотя бы собраніе сихъ внутреннихъ актовъ, не вмѣстясь въ предполагаемой II-й части, потребовало и III-й".

При такихъ условіяхъ масса заготовляемаго матеріала постоянно разросталась. „Прибавленіе къ I-му тому" превратилось, какъ видимъ, во II-й томъ; въ перспективѣ видѣлся и третій. Раньше, чѣмъ начали печатать третій томъ, явились новыя „дополнительныя грамоты", для которыхъ понадобился четвертый. Нѣкоторое время канцлеръ колебался, спрашивалъ Малиновскаго, не охладитъ ли пуб-

лику къ *Собранію* эта новая отсрочка *Договоровъ*, и возражалъ противъ печатанія нѣкоторыхъ документовъ, какъ „томительныхъ для публики“, но, въ концѣ концовъ, не только сдался, а и предлагалъ раздѣлить разросшійся, въ свою очередь, четвертый томъ на четвертый и пятый. На этотъ разъ возражалъ уже Малиновскій. Четвертый томъ остался послѣднимъ томомъ „грамотъ“. Ему суждено было сдѣлаться послѣднимъ томомъ и всего *Собранія*. Онъ вышелъ въ свѣтъ уже по смерти Румянцева (1828); пятаго же тома, въ которомъ начинались *Договоры*, было отпечатано всего 188 страницъ, оставшихся до послѣдняго времени въ подвалахъ архива *).

Переходимъ къ другому предпріятію Румянцева—къ изданію лѣтописей. Еще болѣе, чѣмъ изданіе грамотъ, это предпріятіе нуждалось въ розыскахъ по русскимъ хранилищамъ. Первый шагъ въ изданіи лѣтописей всѣми понимался одинаково. Это было изданіе *Нестора*. За *Нестора* и принимались всякій разъ, какъ заходила рѣчь о печатаніи лѣтописей: его печаталъ Чеботаревъ, его началъ печатать Тимковскій, за него принялся и Оленинъ съ сотрудниками. И канцлеръ, какъ мы знаемъ, предназначалъ для 1-го тома *Несторову лѣтопись по Кенигсбергскому списку*, или по другому, „если отыщется таковой лучше, вѣрнѣе и древнѣе Кенигсбергскаго“. Но что же далѣе? Здѣсь сразу начиналась область неизвѣстнаго. Московское общество исторіи, когда у него отняли въ 1815 году возможность продолжать изданіе *Нестора*, прямо ухватилось за изданіе *Хронографа*, -очевидно, по полному незнанію чего-либо промежуточнаго. Гр. Румянцеву въ томъ же положеніи, прежде всего, пришли въ голову *Степенныя книги*. Еще при жизни Бантышъ-Каменскаго онъ проситъ его „объ отысканіи въ московскихъ хранилищахъ такъ называемой *Кипріяновской Степенной книги* и о сличеніи оной съ другими *Степенными* же *книгами*, если таковыя разыщутся“. Отвѣтъ, полученный отъ Бантышъ-Каменскаго, не удовлетворилъ Румянцева. Бантышъ-Каменскій писалъ, что списки *Степенной книги* не различаются по содержанію, тогда какъ канцлеръ держался того мнѣнія, что „у насъ существуютъ, можетъ быть, *Степенныя книги* разныхъ сочинителей“. Этотъ широкій, такъ сказать, нарицательный смыслъ *Степенныхъ книгъ* долженъ былъ постепенно сузиться для канцлера, по мѣрѣ того, какъ онъ получалъ списки лѣтописей, непохожіе на *Нестора*, но и не подходившіе подъ рубрику *Степенныхъ книгъ*. На первыхъ же порахъ Малиновскій прислалъ изъ архива три такихъ лѣтописныхъ списка. По

---

*) Исторію изданія 2—4 томовъ Собранія государственныхъ грамотъ и договоровъ можно прослѣдить по перепискѣ Румянцева, изд. Барсовымъ, особенно стр. 12, 13, 28, 40, 110, 135, 137, 138, 163, 167—169, 173, 202—204, 227, 272—273, 275—276. Кочубинскій, прил. LVI.

настоятельнымъ просьбамъ Румянцева „приступить паки къ разсмотрѣнію всѣхъ въ Москвѣ находящихся лѣтописей подъ именемъ *Степенныхъ книгъ*", Малиновскій прислалъ вскорѣ канцлеру и сводный текстъ *Степенной книги*. Правда, Румянцевъ и этимъ не удовлетворился, находя, что сводъ сдѣланъ „только по тремъ рукописямъ". Но болѣе точныя свѣдѣнія о найденной Карамзинымъ Кіевско-Волынской лѣтописи должны были убѣдить канцлера, что возможны и не менѣе важны находки лѣтописей и иного характера, чѣмъ *Степенная книга*. Съ этихъ поръ главною цѣлью Румянцева *) становится отысканіе Новгородской лѣтописи.

Лучшимъ знатокомъ для поисковъ въ русскихъ архивныхъ хранилищахъ былъ въ то время, несомнѣнно, Калайдовичъ. Еще до 1812 г. онъ работалъ въ Синодальной библіотекѣ, а въ 1813 г., черезъ посредство общества исторіи, добылъ разрѣшеніе пользоваться рукописями Чудова монастыря, Архангельскаго собора, Семинарской и Лаврской библіотекъ Троицкаго посада **). Но Калайдовичъ, „какъ человѣкъ самолюбивый, держался самостоятельности"; „Малиновскій не любилъ" этого, и порученіе произвести развѣдки въ ближайшихъ монастырскихъ хранилищахъ Московской губерніи было передано, по указанію Малиновскаго, Строеву ***). Такимъ образомъ, Строевъ отправился въ эту экспедицію по „дѣлу, порученному его сіятельствомъ", а Калайдовичъ „испросилъ дозволеніе начальства" сопутствовать Строеву „изъ любопытства" ****).

Не будемъ пересказывать исторіи знаменитой экспедиціи Строева (1817—1818 г.г.) по монастырямъ Іосифову Волоколамскому, Саввину Звенигородскому и Воскресенскому,—экспедиціи, завершившейся въ 1820 г. поѣздкой его вмѣстѣ съ самимъ канцлеромъ по нѣкоторымъ монастырямъ Калужской епархіи *****). Извѣстно, что уже въ первый годъ (1817) сдѣланы были такія крупныя находки, какъ *Судебникъ* Ивана III и *Святославовъ изборникъ* 1073 года. Послѣдній найденъ былъ Калайдовичемъ, хотя Малиновскій и Строевъ тщательно старались умолчать объ этомъ въ своихъ донесеніяхъ Румянцеву. Извѣстія о находкахъ обрадовали канцлера, но это было не то, чего онъ искалъ. „Отысканныя уже бумаги очень любо-

---

*) Переписка Румянцева, изд. Е. Барсовымъ (Чтенія 1882 г., I, стр. 9, 15. Кочубинскій, прилож. L—LII, LIV.

**) Барсуковъ (въ Чтеніяхъ, стр. 13—14, 30, 35).

***) Выраженія въ кавычкахъ изъ письма Строева къ Погодину. Барсуковъ: „Жизнь Строева", стр. 43. „Вы выбрали его", - пишетъ Румянцевъ Малиновскому. Переписка Румянцева, изд. Барсовымъ, стр. 47.

****) Переписка Румянцева, стр. 42, 45. Кочубинскій, стр. 108.

*****) Подробный разсказъ о поѣздкахъ Строева см. у Барсукова: „Жизнь Строева", стр. 23—41.

пытны,—писалъ онъ Малиновскому,—но самое сильное мое желаніе состоитъ въ отысканіи древняго харатейнаго списка *Несторова* или же *Новгородскаго лѣтописца*" *). Не дождавшись отъ Строева лѣтописныхъ текстовъ, канцлеръ, наконецъ, самъ, просматривая одинъ изъ присланныхъ Строевымъ каталоговъ, обратилъ вниманіе на рукопись Воскресенскаго монастыря, содержавшую *Несторову лѣтопись и его продолжателей,* и настойчиво потребовалъ сличенія этой лѣтописи съ другими списками. Строевъ, не заинтересовавшійся прежде рукописью, теперь занялся ея сличеніемъ и открылъ въ ней „тщательнѣйшій списокъ такъ называемой Софійской новгородской лѣтописи". „Я увѣренъ,—писалъ онъ Малиновскому, что сею находкой его сіятельство немало будетъ порадованъ". Само собою разумѣется, что изданіе „Софійскаго" списка было немедленно рѣшено и поручено Строеву **).

Итакъ, поѣздки Строева прошли не безплодно и для той цѣли, которую, повидимому, преимущественно имѣлъ въ виду канцлеръ при устройствѣ этихъ поѣздокъ. Но главное ихъ значеніе было другое. Онѣ расширили сферу ученыхъ предпріятій Румянцева на совершенно новую область. Если до тѣхъ поръ интересъ канцлера сосредоточивался на вопросахъ по преимуществу историческихъ, то симпатіи и знанія его московскихъ сотрудниковъ лежали ближе къ вопросамъ историко-литературнымъ. Къ этому приводило самое свойство русскихъ монастырскихъ хранилищъ, съ которымъ Калайдовичъ былъ знакомъ давно, а Строевъ познакомился во время своихъ поѣздокъ 1817, 1818 и 1820 годовъ. У Калайдовича была даже своя готовая тема въ этой области; еще въ 1813—14 году онъ нашелъ нѣсколько произведеній, восходившихъ къ невѣдомой тогда никому эпохѣ—славянской литературы X столѣтія (Іоаннъ, экзархъ болгарскій). Описанія монастырскихъ рукописей, сдѣланныя Строевымъ, ввели и канцлера въ область вопросовъ историко-литературныхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ явился интересъ и къ собственному пріобрѣтенію рукописей и старопечатныхъ книгъ.

Калайдовичъ и въ этомъ отношеніи оказался самымъ удобнымъ посредникомъ. Еще до пожара 1812 года онъ успѣлъ составить себѣ небольшое собраніе рукописей и отлично зналъ московскихъ антикваріевъ и букинистовъ. Послѣ двѣнадцатаго года счастливыя времена, когда рукописныя сокровища собирались задаромъ и не всегда чистыми путями и лежали неизвѣстныя самому собирателю, пока не истреблялъ ихъ какой-нибудь несчастный случай,—эти времена прошли безвозвратно. Типъ собирателя, какой представлялъ

---

*) Переписка Румянцева, изд. Барсовымъ, стр. 47.

**) Переписка Румянцева, стр. 74, 76, 77, 83, 86, 87, 89, 91, 93.

только-что умершій (1817 г.) Мусинъ-Пушкинъ, уступилъ мѣсто новому типу, представителями котораго явились гр. Ѳ. А. Толстой и гр. Н. П. Румянцевъ. Конкурренція вельможныхъ покупателей подняла цѣны на рукописи до такой высоты, при которой какому-нибудь Калайдовичу только и оставалась роль посредника. Новые владѣльцы рукописей не только не таили ихъ про себя, но на перерывъ старались составлять ученыя описанія и рады были всякому изслѣдователю, который бы сдѣлалъ извѣстнымъ публикѣ какое-нибудь изъ ихъ сокровищъ *).

На этомъ поприщѣ судьба опять столкнула Калайдовича и Строева—и опять къ невыгодѣ для перваго. Изъ всѣхъ рукописныхъ собраній, которыя Калайдовичъ снабжалъ рукописями своихъ поставщиковъ, московскихъ и провинціальныхъ, едва ли не болѣе всѣхъ обязано было его услугамъ собраніе гр. Толстого. По всей справедливости, ему принадлежало право составить ученое описаніе этихъ рукописей, за которое онъ и принялся въ 1818 году, съ помощью Строева. Къ началу 1824 г. описаніе было готово, а къ началу слѣдующаго отпечатано. Въ промежуткѣ положеніе Строева измѣнилось. Въ началѣ двадцатыхъ годовъ между нимъ и канцлеромъ произошло взаимное охлажденіе: Строевъ находилъ, что канцлеръ слишкомъ дешево ему платитъ, а канцлеръ полагалъ, что работа Строева имѣетъ слишкомъ мало ученаго характера. Осенью 1822 г. Строевъ вышелъ изъ „комиссіи печатанія грамотъ", высчитавъ въ своемъ прощальномъ письмѣ къ Румянцеву, что всего на всего онъ получилъ отъ казны и отъ канцлера за семь лѣтъ службы въ комиссіи не болѣе тысячи рублей ежегодныхъ. Въ слѣдующемъ году возобновилась дѣятельность общества исторіи и древностей, и Строевъ попробовалъ здѣсь утилизировать свою опытность, пріобрѣтенную на канцлерской службѣ. Онъ предложилъ

---

*) См. отзывъ Калайдовича въ письмѣ къ одному жертвователю, подарившему въ архивъ 7 рукописей: „Вы сдѣлали благороднѣйшее дѣло и малымъ показали свое усердіе къ наукамъ, между тѣмъ какъ Гр. П. и другіе подобные, беззаконно стяжавшіе свои ученыя сокровища, предали ихъ на жертву пламени" (Безсоновъ: „Калайдовичъ", стр. 41), и печатныя выраженія въ предисловіи къ Описанію рукописей гр. Ѳ А. Толстого: гр. Толстому „неизвѣстна жалкая склонность библіотафовъ, сберегающихъ литературныя достопамятности, кажется, съ тѣмъ, чтобы первый несчастный случай могъ истребить ихъ удобнѣе". Очевидно, въ обоихъ случаяхъ разумѣется гр. Мусинъ-Пушкинъ. Ср. Барсуковъ: „Жизнь Погодина", т. I, стр. 159: Калайдовичъ въ 1822 г. разсказывалъ Погодину: „Часто бывалъ я съ Карамзинымъ у него (Мусина). Онъ показывалъ только извѣстныя рукописи; всѣ прочія валялись у него въ двухъ огромныхъ залахъ; индѣ виднѣлся пергаментъ и т. д. Онъ всегда отзывался, что, разобравъ, покажетъ ихъ". Примѣры высокихъ цѣнъ на рукописи и постоянное соперничество гр. Румянцева съ граф. Толстымъ, его счастливымъ конкуррентомъ, видны изъ Переписки Румянцева.

обществу снарядить экспедицію во внутреннія губерніи для разыскиванія документовъ на пять лѣтъ съ расходомъ не болѣе семи тысячъ ежегодно. Послѣ неудачи этого проекта онъ вспомнилъ про свою юношескую работу, заинтересовавшую канцлера, и обратился къ Румянцеву (начало 1825 г.) съ предложеніемъ составить въ пять лѣтъ три словаря: историческій, географическо-топографическій и толковый. За все онъ желалъ получить десять тысячъ,—по двѣ тысячи въ годъ. Когда канцлеръ отказался и отъ этого предложенія, Строевъ поѣхалъ (весной того же года) въ Петербургъ, къ графу Толстому. До этой поѣздки гр. Толстой далъ Калайдовичу основаніе разсчитывать, что ему будетъ поручено продолженіе *Описанія.* Поѣздка Строева измѣнила положеніе дѣла. Графъ передалъ ему „званіе и обязанности смотрителя надъ его библіотекою", съ жалованьемъ 150 рублей ежемѣсячно и съ обязанностью описать старопечатныя книги и отъ времени до времени издавать *Извлеченія* изъ важнѣйшихъ рукописей его собранія. Предусмотрительный Строевъ поспѣшилъ опубликовать о своей новой должности въ *Сѣверной Пчелѣ.* Для Калайдовича этотъ ударъ былъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ онъ былъ болѣе неожиданъ. „Письмо вашего сіятельства отъ 4 марта,—пишетъ онъ Толстому, столь несогласное съ объявленіемъ, появившимся въ *Сѣверной Пчелѣ*, поставило меня въ величайшее недоумѣніе и всѣхъ тѣхъ, которые знали пятнадцатилѣтнее знакомство мое съ в. с. и то живѣйшее участіе, которое я принималъ въ судьбѣ вашей славяно-русской библіотеки, способствуя приращенію оной покупками важнѣйшихъ рукописей и старопечатныхъ книгъ и дѣйствуя на вниманіе соотечественниковъ и частію заграничныхъ ученыхъ моими трудами въ отношеніи вашего драгоцѣннаго собранія,—словомъ, я далъ ему тотъ приличный видъ (какъ вы сами всегда соглашались), въ какомъ оное теперь существуетъ... Но в. с. допустили... завладѣть моими трудами..." *). Какое впечатлѣніе произвело на Калайдовича это событіе, видно изъ того, что все лѣто 1825 года онъ опять прохворалъ „нервическимъ разслабленіемъ", отъ котораго снова нашелъ спасеніе въ путешествіи. Существенною поддержкой Калайдовича въ этомъ положеніи было отношеніе къ нему Румянцева, во мнѣніи котораго Калайдовичъ поднимался по мѣрѣ того, какъ падалъ въ его мнѣніи

---

*) Безсоновъ: „Калайдовичъ", стр. 132—133, 187. Барсуковъ: „Жизнь Строева", стр. 47—56, 64—79, 99—103, 118—141. Гр. Толстой въ свое оправданіе писалъ Строеву: „Я хотя бы и желалъ просить его заняться тѣмъ, чѣмъ вы теперь будете заниматься, но, во-первыхъ, заочно неловко это дѣлать; во-вторыхъ, я знаю, что онъ столько обремененъ дѣлами, что едва ли успѣетъ моимъ заниматься и въ такое время кончить, какъ вы взялись". Насколько неаккуратно работалъ у Толстого Строевъ, видно изъ той же біографіи Барсукова.

Строевъ. Въ началѣ 1825 г. Калайдовичъ заключилъ съ канцлеромъ условіе,— правда, гораздо менѣе ловкое и неопредѣленное, чѣмъ то, которымъ Строевъ связалъ гр. Толстого. Калайдовичъ обязывался въ три года составить ученое описаніе славянскихъ и русскихъ рукописей московской Синодальной библіотеки. Съ осени онъ принялся за работу, но успѣлъ сдѣлать немного. 3 января 1826 г. Румянцевъ скончался, и этотъ послѣдній ударъ окончательно подломилъ Калайдовича. Уже въ концѣ 1827 года родные замѣтили въ немъ признаки душевнаго разстройства; весной 1828 года онъ былъ формально освидѣтельствованъ, объявленъ помѣшаннымъ и отставленъ отъ службы. Въ слѣдующемъ году психическая болѣзнь, правда, прошла, но здоровье не возвратилось *). Въ 1832 г. Калайдовичъ умеръ.

Малиновскій, Строевъ, Калайдовичъ эти три имени характеризуютъ три послѣдовательные момента въ развитіи дѣятельности Румянцева. Въ 1813—1817 гг. главные интересы Румянцева сосредоточиваются на „собраніи актовъ“ и „лѣтописей“. Въ 1817—20 гг. вниманіе канцлера обращается преимущественно на развѣдки въ русскихъ хранилищахъ. По инвентарнымъ каталогамъ Строева онъ знакомится съ богатствами древне-русской письменности. Въ 1820—24 гг., подъ впечатлѣніемъ этого знакомства, въ канцлерѣ особенно усиливается интересъ къ собиранію и изданію памятниковъ историко-литературныхъ. Наконецъ, въ два-три послѣдніе года жизни мы видимъ въ канцлерѣ новую перемѣну, смыслъ которой характеризуется именемъ Востокова. Если ученость Строева поблѣднѣла въ глазахъ Румянцева передъ ученостью Калайдовича, то и ученый престижъ Калайдовича не могъ удержаться, когда канцлеръ познакомился съ настоящимъ спеціалистомъ своего дѣла, съ ученымъ въ современномъ смыслѣ слова. Въ 1820 году Востоковъ напечаталъ свое знаменитое *Разсужденіе о славянскомъ языкѣ*, впервые установившее, на основаніи Остромирова евангелія, законы славянской фонетики. Разсужденіе сразу покончило съ словопроизводствами шишковской школы и съ ея фантастическимъ „словенскимъ“ языкомъ высокаго штиля. Авторъ, до тѣхъ поръ молчавшій, былъ уже не новичкомъ и не юношей: ему было 40 лѣтъ, когда вышло въ свѣтъ *Разсужденіе*. Просто и ясно, безъ всякихъ претензій, безъ всякой погони за эффектомъ, Востоковъ излагалъ свои замѣчательныя открытія и сразу завоевалъ себѣ всеобщее вниманіе и признаніе. Годъ спустя по выходѣ *Разсужденія* Востокову попался пергаментный листокъ, подаренный Кеппену митр. Евгеніемъ. Пораженный сходствомъ правописанія этого листка съ языкомъ Остромирова

---

*) Б е з с о н о в ъ, стр. 86—88. Б а р с у к о в ъ, стр. 136—137. К о ч у б и н с к і й, стр. 138—139.

евангелія, Востоковъ обратился къ Евгенію и получилъ отъ него цѣлый ворохъ пергаментныхъ обрывковъ. Въ самый короткій срокъ онъ вернулъ Евгенію эти обрывки въ сопровожденіи цѣлаго трактата по лингвистикѣ и палеографіи. Къ лингвистикѣ сотрудники Румянцева были слишкомъ мало воспріимчивы и подготовлены, но знатока палеографіи они оцѣнили сразу. Евгеній подѣлился замѣчаніями Востокова съ Румянцевымъ, и канцлеръ въ свою очередь „прельстился ими до крайности". „Давно уже я стараюсь,—писалъ онъ Евгенію,—но безъ успѣха, сблизиться короткимъ знакомствомъ съ г. Востоковымъ; онъ отъ того отказывался всегда тѣмъ, что, будучи страшный заика, очень страждетъ съ незнакомыми людьми". Но теперь канцлеръ употребилъ всѣ усилія, чтобы преодолѣть застѣнчивость Востокова. Онъ немедленно „потребовалъ изъ Вѣны все, что тамъ было напечатано на пользу разныхъ колѣнъ славянскаго племени", и послалъ все это,—цѣлую библіотеку въ 89 книгъ,—къ Востокову при письмѣ, въ которомъ просилъ его „указать иной еще способъ способствовать трудамъ" Востокова. Завязалась переписка, а затѣмъ и личное знакомство. Приведенный самымъ ходомъ своей работы къ необходимости ознакомиться съ древнѣйшими рукописями библіотеки Румянцева, Востоковъ на второй годъ знакомства самъ предложилъ канцлеру заняться описаніемъ его рукописей. Румянцевъ ухватился за этотъ проектъ и съ своей стороны предложилъ Востокову уплатить ему въ теченіе трехъ лѣтъ ту сумму, которой тотъ лишался, отказываясь отъ нѣкоторыхъ служебныхъ занятій *). Какъ видимъ, на этотъ разъ, наконецъ, ученое описаніе рукописей было для составителя не простымъ финансовымъ предпріятіемъ, а дѣломъ, которое онъ сознательно и самостоятельно дѣлалъ въ интересахъ науки.

Дѣятельность Востокова справедливо называли высшею точкой, которой достигла русская наука въ кружкѣ сотрудниковъ гр. Румянцева Какой-нибудь десятокъ лѣтъ отдѣляетъ эту дѣятельность отъ того времени, когда канцлеръ называлъ палеографію „паллиграфіей", а Бантышъ-Каменскій писалъ то же слово „поліографія". Въ этотъ десятокъ лѣтъ сотоварищи по ученой работѣ ощупью, ошибаясь и критикуя другъ друга, пользуясь черезъ посредство канцлера результатами взаимной работы, успѣли хорошо осмотрѣться въ кругѣ рукописныхъ источниковъ русской исторіи и сговориться относительно очередныхъ задачъ собственной ученой дѣятельности. Насколько эта совмѣстная напряженная работа подняла ученый уровень русской науки, лучше всего можно видѣть на томъ чело-

---

*) Переписка Востокова въ Сборникѣ статей, чит. въ отд. русск. яз. и словесности Импер. ак. наукъ. V, вып. II, стр. 1-21, 81—82, 90-91, 91. Кочубинскій, стр. 155.

вѣкѣ, который болѣе другихъ былъ обязанъ кружку, и на томъ случаѣ, когда этотъ членъ кружка предсталъ передъ ученою коллегіей, совершенно непричастной кружковому вліянію. Мы говоримъ объ упоминавшемся уже предложеніи Строева историческому обществу въ 1823 году.

Въ 1823 году общество исторіи и древностей россійскихъ при новомъ предсѣдателѣ А. А. Писаревѣ сдѣлало попытку оживить свою ученую дѣятельность. По обыкновенію, выбраны были новые члены и поднятъ вопросъ о продолженіи ученыхъ изданій общества. Только что выбранный въ члены, Строевъ выступилъ съ рѣчью, въ которой находилъ, что „цѣль общества будетъ маловажна и дѣйствія слишкомъ слабы и ограниченны, если, по двѣнадцатилѣтнемъ бездѣйствіи, оно снова займется печатаніемъ двухъ или трехъ списковъ лѣтописи, изданіемъ немногихъ достопамятностей и обнародованіемъ своихъ протоколовъ“. По мнѣнію Строева, „сихъ предпріятій было достаточно въ эпоху образованія общества, когда отечественная Кліо младенчествовала... но въ настоящее время“, -время Карамзина и Румянцева,—„предпріятія общества историческаго должны быть несравненно обширнѣйшія и цѣль гораздо важнѣйшая“. Ораторъ самъ признавалъ, что къ новому взгляду на задачи общества онъ пришелъ благодаря дѣятельности Румянцева. „До отправленія меня государственнымъ канцлеромъ въ монастырскія библіотеки (для ихъ описанія),—говорилъ онъ,—я, подобно другимъ, думалъ, что, кромѣ уже извѣстнаго, мало новаго можно отыскать въ нихъ. Но сколь перемѣнилось мое мнѣніе о письменныхъ памятникахъ литературы славяно-россійской *), когда, по описаніи (въ разныхъ

---

*) Какъ перемѣнилось, дѣйствительно, мнѣніе Строева не только о количествѣ, но и о внутреннемъ значеніи рукописныхъ памятниковъ, видно изъ сличенія двухъ его отзывовъ. Въ 1817 г., начиная свои поѣздки по монастырямъ, онъ писалъ Малиновскому: „Со времени пріѣзда нашего (въ Волоколамскій монастырь) по нынѣшній день (мы) окончили описью болѣе 130 рукописей; а какъ всѣ онѣ суть книги церковныя: евангелія, апостолы, псалтыри, минеи, часословы и т. п., то, къ сожалѣнію, ничего важнаго, ниже любопытнаго не оказалось. Сіе крайне безплодное поле на слѣдующей недѣлѣ будетъ нами пройдено, а потомъ откроется богатая нива—106 толстыхъ сборниковъ, обѣщающая богатую историческую почву". Переп. Румянцева, стр. 49. Въ 1823 г. тотъ же Строевъ пишетъ: „Не знаю, по какой причинѣ древніе и старинные списки богослужебныхъ, священныхъ и каноническихъ книгъ доселѣ мало у насъ уважаются; въ отношеніи литературномъ ихъ даже за ничто почитаютъ". И онъ указываетъ далѣе, какъ важна исторія текста священныхъ книгъ для исторіи языка, для характеристики „тѣхъ многочисленныхъ измѣненій, какимъ въ теченіе 700 лѣтъ подверглось славяно-русское наше нарѣчіе, въ перемѣнѣ значеній словъ, въ грамматическихъ формахъ и самой фразеологіи“ И въ исторіи литературы онъ замѣчаетъ теперь пробѣлъ вслѣдствіе полнаго отсутствія свѣдѣній о томъ, „когда переведена Библія, богослужебныя книги, установленія церкви и многочисленныя творенія св. отцовъ, коими преисполнены наши рукописи".

книгохранилищахъ) болѣе 2,000 рукописей, я увидѣлъ, что все извѣстное намъ, есть не иное что, какъ небольшая частица огромнаго цѣлаго, что оно будетъ незначительно передъ необъятною массой не открытаго". Естественно было заключить отсюда, что „безъ приведенія въ извѣстность всѣхъ памятниковъ нашей письменности невозможно довести до надлежащаго совершенства ни политической исторіи нашей, ни исторіи литературы славяно-россійской". Съ этой точки зрѣнія задачей ученаго общества становилось не „издавать только то, что найдется случайно или отчасти уже извѣстно", а „извлечь (изъ хранилищъ), привести въ извѣстность и если не самому обработать, то доставить другимъ средства обрабатывать письменные памятники нашей исторіи и древней словесности, разсѣянные" на всемъ пространствѣ Россіи. Для выполненія этой задачи Строевъ предлагалъ назначить экспедицію или, точнѣе, *три послѣдовательныя экспедиціи* въ сѣверную, среднюю и западную часть Россіи. Изъ составленныхъ экспедиціей каталоговъ рукописямъ библіотекъ духовнаго вѣдомства онъ предполагалъ. затѣмъ, сдѣлать „*Общую роспись*, систематически расположенную, которая представляла бы самое полное и вѣрнѣйшее описаніе всѣхъ гдѣ-либо существующихъ памятниковъ нашей исторіи и литературы отъ временъ древнѣйшихъ до XVIII вѣка". И только тогда уже „будетъ предлежать послѣдняя, самая важная часть занятій общества: наступитъ *время изданій и критики*". Тогда будетъ уже зависѣть отъ воли общества издать „не два или три, случайно попавшихся" списка лѣтописи, а „цѣлое *Собраніе лѣтописцевъ и писателей русской исторіи*, обработанное критически", предпринять не одинъ журналъ съ „древними анекдотами", а составить цѣлый рядъ томовъ „пособій для древней литературы, дипломатики, исторіи политической и церковной, законовѣдѣнія и проч.". Словомъ, тогда только явится возможность „достигнуть великой цѣли, предположенной въ уставѣ общества: привести въ ясность россійскую исторію" *).

Таковъ былъ „плодъ многолѣтнихъ трудовъ, опыта и соображеній" румянцевскаго кружка, предложенный отъ имени Строева московскому историческому обществу. Среди сочленовъ рѣчь Строева вызвала, однако же, мало сочувствія. Однимъ его предложенія, черезъ нѣсколько лѣтъ осуществленныя, представлялись химерой; другіе просто-на-просто приняли ихъ за дерзость со стороны молодого сочлена, вздумавшаго учить старшихъ. Вѣроятно, испугала и сумма денегъ, затребованная Строевымъ для осуществленія археографической экспедиціи. Въ концѣ концовъ, общество склонилось къ предложеніямъ Калайдовича, который, попрежнему, отдавалъ об-

---

*) Труды общ. Ист. и Др. Росс., т. IV, стр. 277. Барсуковъ: „Жизнь Строева", стр. 64—78.

ществу свой трудъ, не требуя денегъ. Вполнѣ признавая необходимость „привести въ извѣстность наши историческія сокровища", Калайдовичъ предлагалъ „отправить одного изъ членовъ для обозрѣнія" *нѣсколькихъ* важнѣйшихъ только библіотекъ, именно: Софійской новгородской, Антоніева Сійскаго и Соловецкаго монастырей. Помимо же этого, онъ совѣтовалъ продолжать старыя изданія общества и, прежде всего, „обнародовать" 13 листовъ Лаврентьевской лѣтописи, напечатанные его учителемъ Тимковскимъ, тогда уже покойнымъ *). Мы знаемъ, что еще въ 1815 году объ этомъ сдѣлано было постановленіе, въ виду полученнаго отъ министра извѣстія, что въ слѣдующемъ (1816) году выйдетъ петербургское изданіе Лаврентьевскаго (=Пушкинскаго) списка. Но петербургское изданіе все еще не выходило, и общество рѣшило теперь (1823)—„испросить дозволенія и содѣйствія" Румянцева „въ порученіи окончанія труда сего обществу". „Дозволенія", однако, не послѣдовало; канцлеръ сослался на начатое для него изданіе Оленина, и обществу оставалось вернуться къ первоначальному рѣшенію, на которомъ настаивалъ Калайдовичъ: опубликовать готовые 13 листовъ изданія Тимковскаго **). Изъ другихъ порученій общества Строеву досталось наиболѣе выгодное—съѣздить въ Софійскую библіотеку, а Калайдовичу—наиболѣе тяжелое—подготовить матеріалъ для второго тома *Достопамятностей*, о которомъ онъ хлопоталъ уже давно. Какъ будто нарочно для того, чтобы подчеркнуть свою отсталость отъ общаго хода исторической работы, общество возобновило въ 1823 г. проектъ изданія біографическаго словаря митр. Евгенія. Рукопись Евгенія была прислана обществу еще въ 1812 году; съ тѣхъ поръ всякій разъ, какъ оживлялась дѣятельность общества (1815, 1817 гг.), оно принималось за пересмотръ словаря, пока, наконецъ, въ 1823 г. Евгеній не увѣдомилъ общества, что словарь имъ совершенно переработанъ, частями напечатанъ, и списокъ, залежавшійся въ обществѣ, потерялъ всякую цѣну. Вслѣдъ затѣмъ общество погрузилось въ прежнюю бездѣятельность. Документы, приготовленные Калайдовичемъ для *Достопамятностей*, остались лежать въ его бумагахъ. Никакого движенія не получили и принятыя обществомъ предложенія Калайдовича—издать Псковскую лѣтопись и какой-нибудь *Хронографъ* ***).

---

*) Безсоновъ: „Калайдовичъ", стр. 14-18 Чтенія 1862 г., III).

**) Безсоновъ, 1. с. Переписка Румянцева, изд. Барсовымъ, стр. 264-65, 268. Переписка Востокова, стр. 84—89. Въ 1824 году изданіе Тимковскаго было, наконецъ, выпущено въ свѣтъ. Въ томъ же году появилось и изданіе Оленина,—очевидно, въ прямой связи съ новой попыткой историческаго общества.

***) Объ этихъ предложеніяхъ ср. Безсонова стр. 17, и Переписку Востокова, стр. 59 и 60.

Помимо бездѣятельности общества исторіи и древностей россійскихъ, у насъ есть еще и другой способъ наглядно измѣрить путь, пройденный въ немногіе годы русскою исторической наукой. Рѣчь идетъ на этотъ разъ о старѣйшемъ членѣ кружка, наиболѣе независимомъ отъ него, вѣчно-дѣятельномъ митрополитѣ Евгеніи *). Задолго до двѣнадцатаго года, когда сформировался румянцевскій кружокъ, Евгеній былъ уже спеціалистомъ по русской, особенно церковной, исторіи. Какъ позже Строевъ и Калайдовичъ, Евгеній (тогда еще Евѳимій Болховитиновъ) началъ съ того, что написалъ русскую исторію по Болтину и Татищеву (1792—1793). Но уже тогда, а еще болѣе потомъ, когда онъ сдѣлалъ попытку написать русскую церковную исторію (1812—1816), ему должно было сдѣлаться яснымъ, что для составленія „подлинной" исторіи необходима предварительная разработка „знаній, пособствующихъ исторической наукѣ". Съ этихъ поръ главный интересъ Евгенія сосредоточивается на составленіи справочныхъ пособій, какими и явились *Исторія россійской іерархіи* для церковной и *Словари* духовныхъ и свѣтскихъ писателей для литературной исторіи. По самому складу ума, трезваго и практическаго, не любившаго обобщеній и отвлеченностей, Евгеній гораздо болѣе подходилъ къ этого рода работамъ. „Сущность исторіи,—опредѣляетъ онъ уже въ 1794 г. **),—состоитъ въ томъ, чтобы представить бытіе и дѣянія сколько можно *такъ, какъ они были, и въ такомъ порядкѣ, какъ были*". Другими словами, идеалъ исторіи есть фотографическая точность историческаго изображенія. Не задаваясь цѣлью дать такое изображеніе, Евгеній накопляетъ для него какъ можно болѣе подробностей, въ увѣренности, что когда-нибудь и для чего-нибудь онѣ кому-нибудь пригодятся. „Я вѣрю,—пишетъ онъ, что и мелочныя замѣчанія часто объясняютъ цѣлую исторію; ибо въ натурѣ вещей мелочи сопровождаютъ важности". „Non sunt contemnenda quasi parva, sine quibus magna constare nequeunt" ***). Но, накопляя мелочи для будущаго историка, самъ Евгеній не спѣшитъ ими воспользоваться. Онъ испытываетъ, повидимому, величайшее затрудненіе всякій разъ, когда ему приходится сдѣлать выборъ между различными показані-

---

*) Ученой дѣятельности митр. Евгенія посвящены двѣ обширныя монографіи Е. Шмурло: „Митр. Евгеній, какъ ученый. Ранніе годы жизни" (1767—1804). Спб., 1888 г., и Н. Полетаева: „Труды митрополита кіевскаго Евгенія Болховитинова по исторіи русской церкви". Казань, 1889 г. Работа г. Шмурло выясняетъ, какъ сложилась личность ученаго изслѣдователя, а трудъ г. Полетаева даетъ обильный матеріалъ для оцѣнки роли его въ исторіографіи.

**) Въ Разсужденіи о знаніяхъ, пособствующихъ исторической наукѣ. Полетаевъ, стр. 529—530. Шмурло, стр. 152.

***) Полетаевъ, 53, 57. Ср. также 533, прим. 2.

ями источниковъ или высказать собственное мнѣніе по предмету изслѣдованія. Въ томъ случаѣ, если онъ рѣшится, все-таки, принять опредѣленный взглядъ, часто его сомнѣнія по отношенію къ принятому взгляду тотчасъ же возрастаютъ, и рано или поздно онъ присоединяется къ противоположному мнѣнію, которое раньше оспаривалъ. Въ большинствѣ же случаевъ онъ не принимаетъ никакого мнѣнія и спѣшитъ спрятаться за существующіе теоріи и взгляды, сопоставленіемъ которыхъ и ограничиваетъ свою задачу. Всего интереснѣе сравнить этотъ протоколизмъ оффиціальнаго стиля Евгенія съ умнымъ реализмомъ и злымъ остроуміемъ его частной переписки. Одно это сравненіе можетъ показать, что то „бездѣйствіе размышляющей силы", которое отмѣтилъ одинъ изъ критиковъ въ ученыхъ работахъ Евгенія, есть не только личное свойство автора, но также и особенность усвоенной имъ архаической ученой манеры. Ему случается не разъ обезличивать своими лѣтописными пріемами тѣ самыя явленія, для которыхъ въ частныхъ письмахъ онъ находитъ самыя характерныя объясненія. Не менѣе характерны также и тѣ случаи, для которыхъ Евгеній дѣлаетъ исключеніе изъ обычнаго ему правила авторской сдержанности. Это случается только тогда, когда историку приходится принимать на себя защиту церкви или духовнаго сословія. Въ роли апологета-полемиста преосвященный іерархъ забываетъ подчасъ о своемъ ученомъ безпристрастіи и является прямымъ наслѣдникомъ и продолжателемъ іерарховъ XVII и XVIII столѣтій. Но и эти случаи чаще объясняются установившимися пріемами обращенія съ деликатными сюжетами церковной исторіи, чѣмъ живымъ, непосредственнымъ отношеніемъ къ духовнымъ интересамъ церкви. Не даромъ такіе ревнители церкви, какъ кн. А. Н. Голицынъ и арх. Фотій, заподозривали Евгенія въ холодности къ вопросу о „душахъ и о спасеніи ввѣренной паствы" *).

Отмѣченныя черты Евгенія, какъ ученаго, помогутъ намъ выяснить его отношеніе къ исторической наукѣ его времени. Какъ неутомимый собиратель матеріала, онъ шелъ впереди румянцевскаго кружка и указывалъ ему путь на первыхъ шагахъ его ученой дѣятельности. Біографія Евгенія сложилась такъ, что онъ сталъ знатокомъ русскаго рукописнаго матеріала задолго до Калайдовича, Строева и Востокова. Послѣ учительства въ воронежской семинаріи (1789 -1800) Евгеній перешелъ въ петербургскую духовную академію на должность префекта (1800—1803) **); отсюда онъ пере-

*) Многочисленныя иллюстраціи къ сдѣланной характеристикѣ можно найти въ книгѣ Полетаева, къ которой и отсылаемъ читателя. См. особенно стр. 90—97, 137—138 и 146, 165, 167, 174, 183 и 185, 212, 214—234, 239—240, 243, 253. 262—264, 304—305, 341, 377, 379—380, 384, 390—393, 462, 465 и 467, 470 и 471, 485, 491, 497—498, 504.

**) Поводомъ къ этому переходу была смерть жены и послѣдовавшее затѣмъ постриженіе Евгенія.

веденъ былъ въ званіи викарія въ Новгородъ (1804—1807); потомъ получилъ самостоятельную епископію въ Вологдѣ (1808—1813); изъ Вологды назначенъ епископомъ въ Калугу (1813—начало 1816), оттуда архіепископомъ въ Псковъ (1816—начало 1822) и, наконецъ, изъ Пскова митрополитомъ въ Кіевъ, гдѣ и пробылъ до самой смерти, (1822—1837). Руководствуясь тѣмъ соображеніемъ, что „архивскіе подлинники время отъ времени погибаютъ, и потому нужно не упускать всего, что спасти можно",—Евгеній всюду, гдѣ ни появлялся, спѣшилъ привести въ извѣстность мѣстные рукописные матеріалы: знакомился съ библіотеками учебныхъ заведеній, объѣзжалъ монастыри, приказывалъ къ себѣ на архіерейскую квартиру доставлять всевозможныя архивныя бумаги *). Это была тоже своего рода археографическая экспедиція, продолжавшаяся всю жизнь и обогатившая русскую науку огромною массой архивныхъ открытій. Даже и „общую роспись" этихъ открытій, въ родѣ той, о которой мечталъ Строевъ, митр. Евгеній представилъ ученой публикѣ въ своихъ *Словаряхъ* духовныхъ и свѣтскихъ писателей **). Но, подъ вліяніемъ обширнаго мѣстнаго матеріала, проходившаго черезъ руки Евгенія, его ученыя работы принимаютъ особый характеръ. Рядомъ съ дальнѣйшею разработкой справочныхъ пособій онъ находитъ и другую форму, въ которой съ удобствомъ укладываются эти мѣстные матеріалы, не теряя при этомъ своего сырого справочнаго характера. Онъ составляетъ цѣлый рядъ пособій по областной исторіи, преимущественно церковной. Въ Воронежѣ онъ пишетъ свое *Историческое, географическое* и *экономическое описаніе Воронежской губерніи, собранное изъ исторій, архивныхъ записокъ и сказаній*. Въ Новгородѣ онъ издаетъ *Историческіе разговоры о древностяхъ великаго Новгорода;* въ Вологдѣ составляетъ описаніе 88-ми монастырей Вологодской епархіи, въ Псковѣ—свою *Исторію княжества Псковскаго, Лѣтопись Изборска*, описаніе шести мѣстныхъ монастырей и житія мѣстныхъ угодниковъ; наконецъ, въ Кіевѣ онъ печатаетъ *Описаніе Кіево-Софійскаго собора и исторію кіевской іерархіи, Описаніе Кіево-Печерской Лавры* и *Кіевскій мѣсяцесловъ, съ присовокупленіемъ разныхъ статей къ россійской исто-*

---

*) Полетаевъ, 43—44, 78, 102—104, 133—134, 170—171, 173—175, 533.

**) Ср. Полетаева, стр 351 (письмо Анастасевичу, 25-го января 1818 г.): „Я съ вами согласенъ, что полезно издавать каталоги нашихъ рукописей... Что я давно чувствую сію важную истину, въ семъ ссылаюсь на словарь мой, въ коемъ тщательно указываю, гдѣ находятся какія рукописи. Этотъ index дороже каталога печатныхъ книгъ, составленнаго Сопиковымъ. Я имѣю изъ каталоговъ московской патріаршей, новгородской, софійской, московской архивской, вологодской, архангельской и нѣкоторыхъ другихъ библіотекъ такіе индексы и опытомъ дознавъ пользу ихъ". Подробнѣе о собранныхъ Евгеніемъ каталогахъ рукописей см. тамъ же, стр. 352—364.

ріи и кіевской іерархіи относящихся. Не говоримъ ужѐ о томъ, что куда бы Евгеній ни появлялся, онъ старался направить на ученую работу мѣстныя силы, особенно учащихся въ духовныхъ заведеніяхъ. Воронежскіе семинаристы, петербургскіе и кіевскіе студенты духовныхъ академій представили на данныя Евгеніемъ темы цѣлый рядъ работъ, подчасъ превращавшихся, благодаря близкому участію преосвященнаго, въ его собственныя *).

Собиратель матеріала, организаторъ ученой работы и самъ ученый изслѣдователь, митр. Евгеній сосредоточивалъ въ одномъ своемъ лицѣ различныя спеціальности, распредѣлявшіяся между разными членами румянцевскаго кружка. Не входя въ составъ кружка въ качествѣ постояннаго сотрудника, онъ былъ однимъ изъ самыхъ усердныхъ корреспондентовъ Румянцева; черезъ канцлера онъ узнавалъ о текущей дѣятельности кружка, давалъ свою санкцію его ученымъ предпріятіямъ и постоянно обмѣнивался съ кружкомъ учеными справками. Какъ знатокъ рукописныхъ хранилищъ, онъ безусловно имѣлъ и надолго сохранилъ для кружка значеніе опытнаго и надежнаго совѣтника. Тѣмъ любопытнѣе отмѣтить, что онъ быстро потерялъ это значеніе, какъ сформировавшійся ученый изслѣдователь. Нельзя сказать, чтобы онъ не былъ знакомъ съ тѣми вліяніями, которыя поставили кружокъ на точку зрѣнія „критической исторіи". Шлецера онъ не только зналъ и имѣлъ у себя, но его *Несторъ* былъ даже переведенъ, подъ надзоромъ Евгенія, „разными учителями", прежде, чѣмъ успѣлъ выйти въ свѣтъ печатный переводъ Языкова. Онъ знаетъ очень хорошо и раздѣляетъ точку зрѣнія Шлецера на русскіе источники. Онъ знаетъ, что „около XVI вѣка богемскія, польскія и прусскія басни вошли въ русскія лѣтописи, а особливо въ *Степенныя книги*". Онъ знаетъ, что Никоновская лѣтопись „имѣетъ много недостатковъ", что *Синопсисъ* „исполненъ ошибокъ и неисправностей", что Татищеву недоставало „строгой критики" **). Но, несмотря на все это, онъ остается, въ сущности, старымъ „читателемъ лѣтописей",—любителемъ историческаго чтенія, для котораго здравый смыслъ съ успѣхомъ можетъ замѣнить правила исторической критики ***). Полнота для него остается главною цѣлью изложенія, предъ которой отступаетъ на второй планъ достовѣрность. Въ интересахъ полноты, онъ всегда готовъ воспользоваться и тѣми подробностями, которыя „сплела одна *Степенная книга*", и *Синопсисомъ*, и Татищевымъ. Повѣствованія

---

*) Полетаевъ, стр. 27—28, 43, 176—182, 188—189, 475—477, 483—484 (прим.).

**) Полетаевъ, стр. 447, 510, 512, 523.

***) Характернымъ образомъ, онъ спѣшитъ замѣнить выраженіе „строгой критики" (о Татищевѣ) словами: „здравой критики", а затѣмъ и вовсе вычеркиваетъ ихъ изъ своей характеристики. Полетаевъ, стр. 512.

Іоакимовской лѣтописи, „сомнительной“ и „мнимой“,—по его мнѣнію, „нельзя почесть всѣ сущими вымыслами, *ибо...*“ они „во многомъ дополняютъ сказанія Несторовы“. Шведскій историкъ Далинъ есть „врунъ, недостойно названный государственнымъ историкомъ“; но „и въ семъ есть многія нужныя намъ подробности, коихъ у другихъ нѣтъ“. Наконецъ, даже Шлецера онъ готовъ, кажется, иногда цѣнить не столько какъ законодателя исторической критики, сколько какъ пособіе для пріисканія греческихъ и латинскихъ источниковъ русской исторіи *).

Самый способъ составленія ученыхъ трудовъ Евгенія характеренъ, какъ образчикъ той же старинной лѣтописной манеры. Всего чаще онъ исходитъ изъ какой-нибудь готовой, иногда печатной работы, начинаетъ пополнять и исправлять ее; потомъ, по мѣрѣ разростанія поправокъ, дѣлаетъ новый исправленный списокъ, въ свою очередь подвергающійся исправленіямъ и дополненіямъ по мѣрѣ дальнѣйшаго накопленія матеріала. Иной разъ вся эта работа оставляется преосвященнымъ въ мѣстномъ книгохранилищѣ, на поправку слѣдующихъ поколѣній и на удовлетвореніе мѣстной любознательности. Мѣстный интересъ, благочестивое усердіе почитателей и благотворителей мѣстной святыни, патріотизмъ колокольни—вотъ зачастую тѣ потребности, на удовлетвореніе которыхъ направлена ученая дѣятельность историка **). Накопляемые коллективнымъ трудомъ, результаты этой дѣятельности чаще всего публикуются анонимно, и надо думать, что подчасъ самому автору было бы трудно разобрать, гдѣ кончается чужая работа и гдѣ начинается его собственная. Этотъ полудобровольный отказъ отъ авторской индивидуальности стоитъ, конечно, въ тѣснѣйшей связи съ тою формально-безличною манерой писать, какую усвоилъ себѣ Евгеній.

Мы видѣли уже, однако, что и сквозь эту манеру прорывается иногда авторская личность Евгенія. Не будемъ останавливаться на тѣхъ случаяхъ, когда сужденіе автора составляется въ угоду лицамъ или въ интересахъ церкви ***). Намъ важно отмѣтить теперь, что даже тогда, когда Евгеній остается вѣренъ себѣ въ своихъ сужденіяхъ,—эти сужденія обнаруживаютъ въ немъ представителя міровоззрѣнія, сильно устарѣвшаго ко времени Александра I. Не забудемъ, что Евгеній выросъ вмѣстѣ съ поколѣніемъ, которое, даже критикуя частные взгляды Монтескье, Вольтера и Бейля, безсознательно впитало въ себя общія основы европейскаго раціона-

---

*) Полетаевъ, стр. 507, 512. Особенно ярко выступаетъ эта неразборчивость Евгенія въ его Исторіи славяно-русской церкви (доведена до XI вѣка). См. тамъ же, стр. 127, 146, 199, 275—279, 452—513.

**) Полетаевъ, стр. 100, 108, 112—117, 119—122, 123, 124, 143, 148, 152, 155—156, 160, 236, 255, 258—262, 302—303.

***) Ibid., стр. 381—382, 471.

лизма *). Конечно, Евгеній не раздѣляетъ взгляда историковъ XVIII вѣка на религію, какъ на средство обмана, и на духовенство, какъ на сознательныхъ гасителей просвѣщенія. Но въ духѣ чистаго раціонализма онъ готовъ считать язычество порожденіемъ суевѣрія и невѣжества, а языческіе обряды русскаго народа—заимствованными отъ грековъ и римлянъ, отъ германцевъ и скандинавовъ. Онъ не сомнѣвается, конечно, подобно своему сіятельному корреспонденту, въ томъ, что „чудотворныя иконы есть удѣлъ исторіи", и вводитъ ихъ въ исторію „безъ зазрѣнія совѣсти"; но при случаѣ и онъ готовъ объяснить легковѣріемъ предковъ ихъ вѣру въ чудесныя прѣдзнаменованія природы. Точно также обнаруживается раціонализмъ Евгенія и въ склонности его объяснять историческія событія изъ личныхъ побужденій историческихъ дѣятелей **).

Всѣ эти черты ученой манеры, покинутой передовыми изслѣдователями еще въ прошломъ столѣтіи, оставались для большинства и въ началѣ нынѣшняго вѣка тѣмъ основнымъ фономъ, на которомъ совершалось развитіе русской исторической науки. Изслѣдовательская дѣятельность румянцевскаго кружка и та теоретическая работа мысли, о которой мы будемъ еще говорить, окончательно отодвинули эти пріемы и это міровоззрѣніе въ область преданій. Ученый іерархъ пережилъ самого себя. Вотъ почему значеніе его дѣятельности могло быть охарактеризовано совершенно вѣрно уже его младшими современниками. „Все было забыто или, по крайней мѣрѣ, разсѣяно,—писалъ въ 1807 г. одинъ іерархъ, желая похвалить *Разговоры о древностяхъ великаго Новгорода*,—а Евгеній *собралъ въ одну кучу* прекурьезную и любопытную". Черезъ четверть вѣка (1831 г.), по случаю выхода въ свѣтъ *Исторіи княжества Псковскаго*, та же похвала въ устахъ рецензента *Московскаго Телеграфа* превращается въ сдержанное порицаніе. „Авторъ

---

*) Шмурло, стр. 51—87, 100—101. Вскорѣ по пріѣздѣ въ Воронежъ, на мѣсто службы, Евгеній пріобрѣтаетъ для семинарской библіотеки такія книги, какъ словарь Бейля, сочиненія Вольтера, энциклопедію (ibid., 106). Подъ руководствомъ Евгенія семинаристы перевели Философскія размышленія о происхожденіи языковъ Мопертюи и Волтеровы заблужденія, обнаруженныя аббатомъ Ноннотомъ; къ послѣдней книгѣ Евгеній приложилъ скомпилированную имъ самимъ біографію Вольтера и отзывы о немъ современниковъ. Шмурло, стр. 125—134; ср. 147—148.

**) Полетаевъ, стр. 212, 279—281, 453—454, 457, Переписка Евгенія съ Румянцевымъ. Воронежъ, 1868 г. Вып. I, стр. 15 и 16. Въ исторіи славяно-русской церкви находимъ такую замѣтку (Полетаевъ, стр. 501—502): „Много суевѣрныхъ страховъ распѣваемо было отъ затменій солнечныхъ и др. метеорологическихъ явленій и отъ обращенія вспять рѣчныхъ теченій, всегда естественно бывающихъ при скоромъ разлитіи рѣкъ". Самъ Татищевъ не выразился бы характернѣе.

подъ именемъ *Исторіи Пскова* представляетъ намъ только историко-статистическіе матеріалы... Имѣя цѣлью *единственно* приведеніе въ систематическій порядокъ собранныхъ имъ матеріаловъ, почтенный авторъ *не входилъ въ критическія изслѣдованія.* Онъ означаетъ, откуда что почерпнуто: иже чтетъ, да разумѣетъ. Не можемъ не изъявить почтенному автору признательности за *множество новыхъ подробностей.* Это—богатое собраніе матеріаловъ" и т. д. Еще рѣзче отмѣтилъ критическое безразличіе Евгенія Погодинъ въ своей рецензіи на второе изданіе *Словаря писателей духовнаго чина* (*Московскій Вѣстникъ* 1827 г.): „Сочинитель,—замѣчаетъ онъ,—одинаковымъ, такъ сказать, тономъ говоритъ иногда о мнѣніи какого-нибудь Шлецера и о мнѣніи какого-нибудь Елагина" *).

Румянцевскій кружокъ, московское историческое общество и митр. Евгеній съ его случайными сотрудниками—вотъ три главные центра, около которыхъ сосредоточивалась изслѣдовательская работа въ первой четверти нашего вѣка. Для полноты мы должны были бы прибавить еще четвертый кружокъ ученыхъ нѣмцевъ (Лербергъ, Кругъ, Френъ), продолжавшихъ, по традиціи XVIII столѣтія, разрабатывать при петербургской академіи древнѣйшій періодъ русской исторіи. Но въ образцовыхъ работахъ этихъ спеціалистовъ мы найдемъ слишкомъ мало характернаго для современнаго имъ состоянія русской науки, кромѣ развѣ самого круга вопросовъ, ихъ интересовавшихъ и доступныхъ имъ по характеру ихъ учености. Намъ остается, поэтому, познакомиться со взаимнымъ отношеніемъ Карамзина къ его ученымъ современникамъ и современниковъ—къ *Исторіи государства Россійскаго.*

VI.

Какъ мы уже говорили, Карамзинъ держалъ себя далеко отъ ученыхъ изслѣдователей своего времени. Въ обширной ученой перепискѣ членовъ румянцевскаго кружка рѣчь объ „исторіографѣ" заходитъ довольно рѣдко, и еще рѣже Карамзинъ принимаетъ въ этой перепискѣ прямое участіе. Съ другой стороны, въ составѣ ближайшихъ друзей Карамзина мы почти не встрѣчаемъ людей,

*) Полетаевъ, стр. 123, 158—159, 413—414. Тѣ же замѣчанія дѣлалъ и Полевой въ Московскомъ Телеграфѣ (1828 г.). Всего характернѣе обнаружилась критическая безпочвенность Евгенія по поводу поддѣлки въ 1810 г. „Баяновой пѣсни и нѣкоторыхъ провѣщаній новгородскихъ жрецовъ, писанныхъ руническими буквами". Евгеній сперва относится съ недовѣріемъ къ новому открытію, но ждетъ приговора ученыхъ; затѣмъ вслѣдъ за петербургскими судьями начинаетъ вѣрить и пользоваться мнимыми памятниками старины, наконецъ, отказывается отъ нихъ, когда подложность ихъ была признана всѣми. Полетаевъ, 454—455, 458, 465,—469.

занимающихся русскою исторіей. До конца жизни онъ остается вѣренъ своимъ стариннымъ литературнымъ связямъ и литературнымъ симпатіямъ „Арзамаса“. Если, несмотря на это, исторіографъ постоянно находится au courant всѣхъ важнѣйшихъ ученыхъ открытій своего времени, то это (помимо личныхъ свиданій съ Румянцевымъ и отдѣльныхъ случаевъ ученаго паломничества молодыхъ изслѣдователей, какъ Строева, Калайдовича, Погодина), главнымъ образомъ, благодаря посредничеству двухъ членовъ обоихъ этихъ кружковъ,— литературнаго и ученаго. Одинъ изъ нихъ, старый землякъ и „арзамасецъ“, связываетъ кружокъ ближайшихъ друзей Карамзина съ тогдашнимъ ученымъ міромъ. Это извѣстный Александръ Ивановичъ Тургеневъ, коммиссіонеръ и разсыльный нашего просвѣщенія александровскаго времени, одинъ замѣнявшій собой для петербургскихъ интеллигентныхъ кружковъ литературную газету, библіографическій листокъ и книжный магазинъ по иностранной литературѣ. Мы видѣли раньше, какими важными матеріалами обязана ему *Исторія государства Россійскаго*. Еще важнѣе была для Карамзина помощь А. Ѳ. Малиновскаго, имѣвшаго возможность вдвойнѣ быть полезнымъ исторіографу: въ качествѣ члена румянцевскаго кружка и въ качествѣ директора архива, въ которомъ служили два дѣятельнѣйшіе члена кружка (Строевъ и Калайдовичъ), и гдѣ хранились самые необходимые матеріалы для карамзинской исторіи *).

Обращаясь съ просьбами о справкахъ къ Строеву и Калайдовичу, исторіографъ никогда почти не забываетъ написать и Малиновскому, чтобы онъ „приказалъ“ сдѣлать эти справки своимъ подчиненнымъ. Къ самому же Малиновскому онъ адресуетъ такія суммарныя требованія, какъ наприм.: „доставьте мнѣ всѣ матеріалы для описанія Ѳедорова царствованія“; „доставьте немедленно статейные списки и столбцы царствованія Годунова и Лжедимитрія“, „также и дѣла внутреннія“; „прошу немедленно доставить мнѣ... всѣ дѣла, всѣ бумаги отъ времень Годунова до Михаила Ѳеодоровича“ и т. п. Надо прибавить, что просьбы исторіографа были разсчитаны не только на исполнительность директора архива, но и на любезность добраго знакомаго **); рядомъ съ заказами о высылкѣ опредѣленныхъ номеровъ архивныхъ бумагъ постоянно встрѣчаемъ

*) До Малиновскаго, въ томъ же званіи директора архива, Н. Н. Бантышъ-Каменскій былъ, говоря словами Е. Ѳ. Корша, „неоспоримо важнѣйшимъ пособникомъ Карамзина, скажемъ прямо настоящимъ его благодѣтелемъ, уже и тѣмъ однимъ, что сообщилъ ему неизданную донынѣ опись архивскимъ дѣламъ“. Сборникъ матеріаловъ для исторіи Румянцевскаго музея, стр. 36.

**) Конечно, и „любезность“ эту разсчетливый Малиновскій оказывалъ не даромъ. Карамзинъ, по своимъ отношеніямъ ко Двору, могъ ему „пригодиться“.

настойчивыя просьбы: „не найдете ли еще чего-нибудь о царѣ Иванѣ Вас.?“; „Вы меня крайне одолжите сообщеніемъ грамотъ царя Ив. Вас., какія найдутся въ архивѣ, если онѣ могутъ быть чѣмъ-либо интересны“; „кромѣ *дѣлъ* (царствованія Өеодора), не найдете ли и другихъ бумагъ любопытныхъ? Вспомните и поройтесь: вы меня дружески одолжите“; „вы меня одолжите всѣмъ, что сообщите мнѣ о временахъ Өеодора“; „прошу поискать, не найдется ли что въ Миллеровыхъ портфеляхъ“; „нѣтъ ли у васъ еще чего-нибудь относящагося къ междуцарствію?“ „Не найдется ли у васъ еще чего-нибудь о времени Шуйскаго и междуцарствія *)?“ Такимъ образомъ, роль Малиновскаго, -- а тѣмъ болѣе, конечно, его предшественника,– не ограничивалась простою пересылкою Карамзину „ящиковъ съ архивскими бумагами“. Поиски директоровъ архива, на ряду съ поисками сотрудниковъ Румянцева въ Россіи и за границей, существеннымъ образомъ обусловили самый подборъ свѣжаго историческаго матеріала,—тотъ подборъ, въ которомъ мы находили раньше главное ученое достоинство *Исторіи государства Россійскаго*.

Отношенія Карамзина къ современнымъ ему ученымъ опредѣлили количество полученнаго имъ для исторіи новаго матеріала. Качество ученой разработки этого матеріала опредѣлило отношеніе современниковъ къ исторіографу. „Я имѣю причину думать,—писалъ по этому поводу Румянцевъ Евгенію,—что Николай Михайловичъ поверхностное бралъ только свѣдѣніе изъ важныхъ для россійской исторіи матеріаловъ“ **). Въ этихъ словахъ сказалась та разница во взглядахъ на задачи ученаго изслѣдованія, которая отдѣляла Карамзина отъ большинства современныхъ ему изслѣдователей. Карамзинъ писалъ исторію преимущественно дипломатическую и пользовался матеріалами лишь настолько, насколько они годились для историческаго разсказа, для изображенія „дѣйствій и характеровъ“. Для Румянцева разработка матеріала самого по себѣ, въ формѣ отдѣльныхъ монографій, представлялась ближайшею задачей послѣ собиранія и изданія рукописей. У него былъ даже свой любимый планъ такой разработки. „Давно питаю мысль важную, – пишетъ онъ Евгенію въ 1820 году, которая бы приготовила для *будущаго полнаго сочиненія Россійской исторіи* всѣ нужные элементы; я бы желалъ составить общество писцовъ, которымъ бы

---

*) См. Письма Карамзина къ А. Ө. Малиновскому, изд. общ. люб. росс. слов. подъ ред. М. Н. Лонгинова. М., 1860 г., passim. Малиновскій сообщаетъ даже Карамзину потихоньку отъ Румянцева найденную для послѣдняго хронику такъ называемаго Бера (Буссова) раньше, чѣмъ исторіографъ могъ успѣть получить ее отъ самого канцлера.

**) Переписка Евгенія, стр. 89. Кочубинскій, стр. 148. Исторію государства Россійскаго Румянцевъ изучалъ внимательно. См. „Матеріалы“ Кестнера, стр. 12—13.

одна особа читала постепенно всѣ печатныя русскія лѣтописи, а каждый изъ нихъ, обложенъ будучи особымъ трудомъ, взносилъ бы въ свою тетрадь выписку того только, что къ его труду принадлежитъ, напримѣръ: одинъ занимался бы извлеченіемъ изъ лѣтописцевъ всѣхъ безъ изъятія упоминаемыхъ лицъ; другой—всѣхъ географическихъ упоминаній областей, градовъ, селъ, горъ, рѣкъ и урочищъ,—дабы можно было изъ сихъ двухъ статей составить два лексикона; третій бы въ свою тетрадь единственно вписывалъ всѣ обстоятельства, касающіяся до порабощенія нашего татарамъ, съ упоминаніемъ всѣхъ татарскихъ лицъ безъ изъятія; четвертый въ свою тетрадь вносилъ бы выписку всѣхъ статистическихъ статей, т.-е. извѣстій о налогахъ, о доходахъ, о монетахъ, о разныхъ цѣнахъ хлѣба и иныхъ припасовъ, однимъ словомъ все, что принадлежитъ къ государственному и личному хозяйству и т. д.". Роль руководителя въ этой работѣ канцлеръ предлагалъ Евгенію. Преосвященный отклонилъ, правда, отъ себя „сей механическій и прескучный трудъ", хотя и призналъ мысль канцлера „весьма важной и драгоцѣнной" и даже предложилъ нѣкоторыя поправки къ его плану *). Однако же, канцлеръ продолжалъ держаться своего плана; онъ даже сдѣлалъ (раньше обращенія къ Евгенію) попытку осуществить его; именно, онъ предложилъ молодому студенту, сыну священника въ его имѣніи (Гомелѣ), воспитывавшемуся на его счетъ въ петербургской Духовной Академіи, Григоровичу, сдѣлать выборку лѣтописныхъ извѣстій „о посадникахъ новгородскихъ" **).

*) „По моему мнѣнію, это удобнѣе было бы исполнить, раздѣливъ лѣтописи по одиночкѣ многимъ для прочтенія и подчеркнувъ разноцвѣтными карандашами разныхъ матерій: а съ сихъ подчерковъ удобно можетъ все расписать по разнымъ тетрадямъ и одинъ писецъ". Переписка Евгенія съ Румянцевымъ, стр. 32—33.

**) Занявшій вскорѣ, вопреки желанію канцлера, мѣсто своего отца въ Гомелѣ, Григоровичъ сдѣлался извѣстенъ, какъ издатель актовъ Западной Россіи. Объ его ученыхъ трудахъ и сношеніяхъ съ канцлеромъ см. въ Чтеніяхъ Общ. Ист. и Др. Р. 1864 г., II: „Переписка протоіерея Іоанна Григоровича съ гр. Н. П. Румянцевымъ", Н. И. Григоровича. На связь Опыта о посадникахъ новгородскихъ съ своимъ планомъ указываетъ самъ канцлеръ въ письмѣ къ Малиновскому (1821 г.): „Вамъ, милостивый государь мой, конечно, въ память, что я давно желаю и проповѣдую, что полезно было бы дѣлать таковыя извлеченія частныя и приводить ихъ въ порядокъ изъ печатныхъ и рукописныхъ лѣтописей, гдѣ онѣ, такъ сказать, взболтаны и смѣшаны. Подобнымъ образомъ можно бы отдѣлить и въ одну раму взнесть все, что лѣтописи предали намъ о дѣлахъ Тверского великаго княжества, о дѣлахъ Рязанскаго, о всѣхъ дѣлахъ въ отношеніи татаръ, и въ особенномъ сочиненіи извлечь древнюю россійскую статистику, показавъ въ семъ начертаніи, какія въ разныя древнія эпохи на жизненные припасы существовали цѣны, какіе сохранены памятники цѣнамъ важныхъ въ торговлѣ товаровъ, какими податьми въ какое время обложенъ былъ народъ и области". Переписка Румянцева, изд. Барсовымъ, стр. 184. Ср. Переписку Евгенія, стр. 14 и 16.

Насколько мысль о несвоевременности составленія исторіи была популярна въ то время, видно изъ того, что она раздѣлялась даже хорошими студентами. Въ 1820 году вотъ какіе разговоры велись по этому поводу между Погодинымъ и его пріятелемъ Кубаревымъ: „Теперь писать россійскую исторію думать нельзя. Карамзина должна благодарить Россія не за исторію, но за обогащеніе *словесности* многими превосходными, драгоцѣнными историческими отрывками. Прежде, нежели думать о написаніи исторіи, должно: 1) напечатать ученымъ образомъ наши лѣтописи и все историческое; 2) разобрать ихъ, очистить критически; 3) выбрать изъ нихъ нужное для исторіи; 4) собрать все писанное древнѣйшими писателями о сѣверныхъ народахъ; 5) собрать всѣхъ писателей византійскихъ, описывавшихъ происшествія между IX и XI вѣкомъ, сличить между собою и выбрать относящееся до россійской исторіи; 6) сличить ихъ съ нашими лѣтописями и вывести заключеніе; 7) познакомиться съ восточною словесностью, сыскать всѣ книги, рукописи, въ коихъ говорится о монголахъ; 8) отыскать и издать все въ нашихъ и нѣмецкихъ архивахъ, относящееся до связи Россіи съ поляками, ливонскими рыцарями, Ганзою и, наконецъ, со всѣми европейскими дворами, хотя до Екатерины I, и издать съ переводомъ; 9) сдѣлать подробнѣйшее и вѣрнѣйшее землеописаніе Россійскаго государства; 10) изслѣдовать положеніе древнихъ мѣстъ и опредѣлить ихъ нынѣшними,—географію для каждаго вѣка; 11) изслѣдовать, сличить и исправить хронологію; 12) издать нумизматику; 13) отыскать и описать всѣ древности, разсѣянныя повсемѣстно; 14) собрать и издать всѣхъ писателей, писавшихъ о чемъ-нибудь касающемся до Россійской имперіи, по матеріямъ,—напримѣръ, о славянахъ мнѣніе Байера, Миллера, Шлецера, Карамзина, Добровскаго, сличить ихъ и опредѣлить достоинство каждаго, показать, чему вѣрить и въ чемъ сомнѣваться должно и проч.; 15) сочинить родословныя таблицы; 16) составить палеографію. Все это составитъ 200 книгъ. Ихъ отдать историку, и тотъ будетъ дѣлать съ ними, что хочетъ. У насъ не сдѣлано ничего въ такомъ видѣ, хотя довольно сдѣлано по частямъ. Можно ли же думать объ исторіи?“ *).

Мы знаемъ, что точка зрѣнія Карамзина была совершенно иная. Принимаясь за составленіе исторіи, онъ смотрѣлъ на нее, какъ на благодарную литературную тему, и писалъ не для ученыхъ, а для большой публики. Появленіе и быстрый ростъ этой публики совершились на его глазахъ и въ значительной степени были его

---

*) Барсуковъ: „Жизнь и труды М. П. Погодина“. Т. I, стр. 80—81. Ср. также на стр. 158 бесѣду съ Калайдовичемъ „о невозможности писать теперь настоящую исторію; о Карамзинѣ, котораго Калайдовичъ осуждалъ за самонадѣянность“.

собственнымъ дѣломъ. Авторъ *Бѣдной Лизы* былъ однимъ изъ первыхъ любимцевъ и, несомнѣнно, первымъ стипендіатомъ русской читающей публики. Лучше, чѣмъ кто-нибудь другой, онъ зналъ вкусы своей публики, зналъ, что отъ литератора, превратившагося въ историка, эта публика, подобно Державину, ожидаетъ, что „и въ прозѣ" его будетъ „гласъ слышенъ соловьинъ". Авторъ не обманулъ ожиданій публики, и публика поддержала автора. Въ 25 дней все первое изданіе *Исторіи* (3,000 экземпляровъ) было расхватано поклонниками *Повѣстей* и еще 600 подписчиковъ остались безъ экземпляровъ: „дѣло у насъ безпримѣрное". Второе изданіе пришлось выпустить „немедленно" *). Для этого обширнаго круга читателей Карамзинъ, былъ, дѣйствительно, „Колумбомъ" русской исторіи.

Въ интеллигентныхъ кружкахъ сѣверной столицы встрѣча *Исторіи государства Россійскаго* была обусловлена гораздо болѣе сложными обстоятельствами. Когда въ 1816 году Карамзинъ пріѣхалъ въ Петербургъ съ своими восемью томами, его ожидалъ тамъ,— конечно, помимо тѣснаго кружка своихъ людей, „арзамасцевъ",— довольно холодный пріемъ. Въ 1816 году руководящіе круги петербургскаго общества были еще проникнуты либерализмомъ первой половины александровскаго царствованія. Правда, это были послѣднія минуты его. Самъ Александръ былъ уже увлеченъ мистицизмомъ и религіозно-нравственными идеями; не далеко было до соединенія министерства просвѣщенія съ министерствомъ духовныхъ исповѣданій подъ управленіемъ кн. А. Н. Голицына, а въ перспективѣ уже виднѣлся Аракчеевъ. Но, съ другой стороны, недовольная гвардейская молодежь уже готова была къ основанію тайныхъ обществъ и съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдила за быстрымъ развитіемъ европейской реакціи. Карамзинъ явился изъ другого міра съ своими литературными вкусами, съ своею политикой, основанной на чувствительности. Онъ былъ чужой между этими

---

*) Погодинъ: „Карамзинъ", II, стр. 196—197. О возрастаніи количества читающей публики въ Россіи самъ Карамзинъ сообщаетъ интересныя свѣдѣнія въ своемъ Вѣстникѣ Европы (1802 г. № 9, статья о книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи): 25 лѣтъ назадъ въ Москвѣ было 2 книжныхъ лавки, теперь 200, съ выручкой до 200 тысячъ руб. въ годъ; число подписчиковъ Московскихъ Вѣдомостей возрасло въ рукахъ Новикова за 10 лѣтъ съ 600 до 4,000, а съ 1797 г. до 6,000. Съ указанной точки зрѣнія кн. В. Ѳ. Одоевскій возражалъ Погодину, что писать противъ Карамзина—значитъ дѣйствовать противъ русскаго просвѣщенія, разрушать „дѣйствіе, произведенное Карамзинымъ на читателей" и состоящее въ томъ, что Карамзинъ „пріобрѣлъ литературѣ привязанность и уваженіе публики", ввелъ русскую литературу „въ моду въ лучшихъ обществахъ, за коими обыкновенно тянутся прочія". Барсуковъ: „Жизнь и труды Погодина", II, стр. 262—263.

политиками, и они были ему чужды и непонятны. „Либералисты, чего вы хотите? Счастія людей? Но есть ли счастіе тамъ, гдѣ есть смерть, болѣзни, пороки, страсти?.. Свободы? Но свободу мы должны завоевать въ своемъ сердцѣ миромъ совѣсти и довѣренностью къ Провидѣнію". Возраженія будущихъ декабристовъ противъ этого морализирующаго міровоззрѣнія легко предугадать. „Исторія должна ли мирить насъ съ несовершенствомъ; должна ли погружать насъ въ нравственный сонъ квіетизма?... Не миръ, но брань вѣчная должна существовать между зломъ и благомъ". Такія возраженія пришлось выслушать Карамзину въ домѣ близкихъ друзей, отъ сына его бывшаго покровителя, покойнаго попечителя Московскаго университета М. Н. Муравьева. Представитель молодого поколѣнія, Никита Муравьевъ, горячо „выговаривалъ Карамзину за его похвалы самодержавію, за монархическій духъ его исторіи". „Да не буду я первый въ моемъ отечествѣ,—отвѣчалъ исторіографъ,—проповѣдывать тотъ новый духъ, который омылъ кровью всю Европу". Нечего и говорить, что благоразумная „середина", которой старался держаться Карамзинъ между „либералистами и сервилистами", декабристами и мистиками, удовлетворила немногихъ и поставила Карамзина въ сторонѣ отъ борьбы современныхъ ему общественныхъ партій столицы *).

Изъ разногласія политическихъ воззрѣній вытекала и разница во взглядѣ на весь ходъ русской исторіи. Извѣстному намъ схематизму Карамзина молодое поколѣніе противопоставило свой собственный. Подъ вліяніемъ настроенія времени, даже такой правовѣрный юноша, какъ Погодинъ, къ своимъ двумъ періодамъ („феодализмъ съ Рюрика и деспотизмъ съ Ивана III") готовъ былъ прибавить третій—періодъ „представительнаго образа правленія", которому „сѣмя положено 14 декабря" **). Петербургская молодежь находила „сѣмя" это гораздо раньше, уже въ первомъ періодѣ русской исторіи, и склонна была проедставлять себѣ прмежуточный періодъ, какъ временное отклоненіе отъ здравыхъ началъ государственной жизни ***).

---

*) Погодинъ: „Карамзинъ", II, глава VIII, особенно стр. 197—207. Барсуковъ: „Погодинъ", I, 177. Неизданныя сочиненія и переписка Карамзина. Спб., 1862 г., стр. 28, 194—195.

**) Барсуковъ: „Погодинъ", II, 18.

***) Любопытно отмѣтить, что канцлеръ Румянцевъ, принадлежавшій къ либеральнымъ оппонентамъ Карамзина, намекалъ однажды на „idées particulières, que je me suis fait sur ce qui constitue l'origine de notre histoire,—époque si distincte, qui atteint celle où nous passons sous le joug des tatares; alors notre histoire perd son premier caractère et ne le reprend plus, même après notre affranchissement". „Матеріалы" Кестнера, 8. Ср. Пыпина: „Обществ. движеніе при Ал. I, 2 изд., стр. 414—416.

Естественно, что этотъ родъ возраженій противъ *Исторіи государства Россійскаго* не нашелъ себѣ въ свое время отраженія въ печати. Зато въ журналахъ появился, отчасти уже при жизни исторіографа, цѣлый рядъ критическихъ статей, установившихъ научную оцѣнку *Исторіи государства Россійскаго.*

Основное въ этомъ отношеніи возраженіе настолько напрашивалось само собой, что его не трудно было сдѣлать и политическимъ антагонистамъ Карамзина. „Нашъ писатель говоритъ,—находимъ въ той же запискѣ Никиты Муравьева,—что въ исторіи красота повѣствованія и сила есть главное. Сомнѣваюсь...; мнѣ же кажется, что главное въ исторіи есть дѣльность оной. Смотрѣть на исторію единственно, какъ на литературное произведеніе, есть уничижать оную". Спеціальная критика указала подробнѣе, чего недостаетъ Карамзину для „дѣльности" его исторіи. Въ любопытныхъ статьяхъ Булгарина по поводу X и XI томовъ было замѣчено, что, посвящая цѣлые томы пересказу дипломатическихъ сношеній и подробнѣйшимъ образомъ описывая всѣ обряды, церемоніи и пиршества, исторіографъ недостаточно занимается внутреннею исторіей государства, не обращаетъ вниманія на устройство великой думы земской, происхожденіе патріаршества объясняетъ „мелкими разсчетами" Годунова, почти вовсе не останавливается на борьбѣ за унію и весь интересъ читателя старается сосредоточить на характеристикѣ личности государей. Въ силу этой односторонности „описаніе (внутренняго) состоянія Россіи въ концѣ XVI вѣка" выходитъ особенно неудовлетворительнымъ; „описаніе войска и военнаго искусства недостаточно"; при описаніи государственнаго хозяйства „не показаны источники" и „не изъяснены" пріемы раскладки и взиманія податей; изъ статьи о судѣ и расправѣ „читатель не получаетъ никакого понятія о судѣ и расправѣ тогдашняго времени и остается въ прежнемъ невѣдѣніи"; въ отдѣлѣ о торговлѣ „политическая экономія предлагаетъ множество вопросовъ, изъ коихъ ни одинъ не удовлетворенъ" исторіографомъ; „въ статьѣ объ образованіи вовсе не сказано о воспитаніи русскаго юношества, о тогдашнихъ учителяхъ, образѣ ученія и нравственныхъ занятіяхъ русскаго народа"; „нравы и обычаи" выписаны цѣликомъ изъ иностранцевъ, безъ критической оцѣнки ихъ показаній; въ отдѣлѣ о забавахъ „описанъ только медвѣжій бой, любимое занятіе Ѳеодора, но нѣтъ ни слова о забавахъ и увеселеніяхъ русскаго народа" *) и т. д.

---

*) Сѣверный Архивъ 1825 г., ч. XIII и XIV, особенно XIII, стр. 186, 193, 195, 271—276; ч. XIV, стр. 364—372. Въ личныхъ характеристикахъ Булгаринъ подчеркиваетъ морализирующую тенденцію и беретъ подъ свою защиту Бориса Годунова по обвиненію въ убійствѣ Дмитрія (почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, которыя позднѣе присвоиваетъ себѣ Погодинъ).

Другіе критики, не отмѣчая того, чего не было въ исторіи Карамзина, обращались къ разбору того, что въ ней было. Польскій историкъ Лелевель сдѣлалъ общую характеристику исторіи и началъ подробный разборъ древнѣйшаго періода. Онъ замѣтилъ, что Карамзинъ не чуждъ ни одной изъ четырехъ причинъ, ведущихъ, по его мнѣнію, къ *невольному* искаженію истины историческими писателями: „1) черезъ сообщеніе прошедшему времени характера настоящаго, 2) когда писатель увлекается чувствомъ народности, 3) отъ привязанности къ своей религіи и 4) отъ ослѣпленія политическими мнѣніями". „Всѣ многочисленные споры" русскихъ историковъ о древнѣйшемъ періодѣ, по мнѣнію Лелевеля, „произошли едва ли не отъ того, что нѣкоторые писатели не удостовѣрились въ той истинѣ, что, описывая вѣкъ Рюрика, должно описывать состояніе человѣчества совершенно въ другомъ видѣ, нежели въ какомъ оно нынѣ находится. Сего состоянія, въ которомъ находилось тогда человѣчество, нельзя постигнуть умствованіемъ, основаннымъ на теоріи нравственной природы; его невозможно также понять разсужденіемъ, проистекающимъ изъ современныхъ чувствованій, понятій и порядка вещей"; рискованно, поэтому, не впадая въ модернизацію, „отгадывать чувствованія и внутреннія побужденія дѣйствующихъ лицъ для объясненія происшествій", какъ это „старается" дѣлать исторіографъ. Приверженность къ народности, православію и самодержавію также вводитъ Карамзина, при всемъ его желаніи быть безпристрастнымъ, во многія ошибки, особенно въ послѣднемъ отношеніи. „Карамзинъ, излагая событія Россіи отъ первыхъ владѣтелей Рюрикова рода, полагаетъ, что, не взирая на раздробленіе власти и многія превратности судьбы, испытанныя Россіею, главное основаніе правленія, самодержавіе, всегда существовало, только измѣняясь и, такъ сказать, развиваясь подъ различными образами. Это—главная цѣль, къ которой онъ стремится съ доказательствами, и хотя явно не говоритъ о своемъ намѣреніи, но самовольно увлекаетъ читателя къ сему заключенію, представляя всѣ происшествія въ одномъ общемъ цвѣтѣ... Отъ сихъ причинъ, вѣроятно, вся исторія отъ Владиміра Великаго до нашествія монголовъ не такимъ образомъ представлена, чтобы во многихъ мѣстахъ не надлежало желать большаго совершенства" *).

Если знаменитый польскій изслѣдователь осторожно указывалъ на тѣ основныя idola theatri, которыми обусловливались принципіальныя заблужденія исторіографа, то русскій ученый, Арцыбашевъ,

---

Онъ опровергаетъ также тожество перваго самозванца съ Отрепьевымъ, часто тѣми же аргументами, которые не разъ употреблялись и впослѣдствіи.

*) Сѣверный архивъ, части: 4 (1822 г.), 8 (1823 г.), 9 и 11 (1824 г.); особенно см. ч. 8, стр. 160, 287—297, ч. 9, стр. 47—48.

безъ церемоніи перешелъ къ самому мелочному разбору того, какъ пользовался исторіографъ своими источниками въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Самъ — авторъ кропотливаго *Повѣствованія о Россіи*, въ которомъ нѣтъ ни одного слова лишняго сравнительно съ лѣтописями *), Арцыбашевъ неумолимо преслѣдуетъ всякое отступленіе Карамзина отъ источника съ цѣлью украшенія рѣчи, ловитъ его на стилистическихъ сочетаніяхъ, вмѣсто фактическихъ, и сопоставляетъ разсказъ исторіографа съ его собственными словами, что „непозволительно историку, для выгодъ его дарованія, обманывать добросовѣстныхъ читателей, мыслить и говорить за героевъ", что „нельзя прибавлять ни одной черты къ извѣстному". Въ противоположность этимъ обѣщаніямъ, онъ видитъ въ *Исторіи государства Россійскаго* „слогъ болѣе *провозглашательный*, чѣмъ историческій"; „изложеніе, — по его мнѣнію, — соотвѣтствуетъ слогу; дабы прельстить читателей, сочинитель удаляется отъ цѣли всякій разъ, когда находитъ случай высказать свое краснорѣчіе". Такимъ образомъ, Святославъ, образъ жизни котораго всего „приличнѣе" сравнить „съ тою, которую ведутъ ратники кочевыхъ народовъ", по Карамзину „равнялся съ героями пѣснопѣвца Гомера"; „Аскольдъ и Диръ подъ мечами убійцъ пали мертвые къ ногамъ Олеговымъ"; хазарскій ханъ „дремалъ и нѣжился въ пріятностяхъ восточной роскоши и нѣги"; „достойные сподвижники" Святослава, „тронутые сею рѣчью, громкими восклицаніями изъявили рѣшительность геройства"; „довѣренность Ярополкова къ чести Владиміровой изъявляетъ доброе, всегда не подозрительное сердце"; Цимисхій говорилъ „съ великодушною гордостью", а греки смотрѣли на Святослава „съ удивленіемъ" и т. д. Всѣ эти „украшенія", „догадки" и „собственныя выдумки" историка „въ слогѣ бытописательномъ вредятъ истинѣ и могутъ произвести ненужные споры" **).

---

*) Выписываемъ, для характеристики Арцыбашева, его собственныя слова о томъ, какъ онъ составлялъ свой лѣтописный сводъ: „Я сличалъ слово въ слово, а иногда буква въ букву всѣ лѣтописи, какія могъ имѣть; составлялъ ихъ, дополняя одну другою, и такимъ образомъ составлялъ изложеніе (textus); послѣ вычищалъ отъ всего лѣтописнаго или занимательнаго только для современниковъ, но совсѣмъ не нужнаго для потомства, отъ лишесловія, свойственнаго тогдашнему образу сочиненій, и, наконецъ, переводилъ оставшееся на нынѣшній русскій языкъ какъ можно буквальнѣе, соображалъ свой переводъ съ древними чужеземными и архивными памятниками, дополнялъ ими лѣтописи и помѣщалъ иногда слова тѣхъ источниковъ (смотря по разбору) въ изложеніе, подлинныя же лѣтописныя рѣчи въ примѣчаніе". Повѣствованіе о Россіи. М., 1838 г., I стр. 1. Трудъ Арцыбашева изданъ, благодаря хлопотамъ Погодина, московскимъ обществомъ исторіи. Сношенія съ Погодинымъ см. у Барсукова, указатель къ VII тому, стр. 504. Ср. также біографію, списокъ сочиненій и критическій отзывъ объ Арцыбашевѣ В. С. Иконникова въ „Критико-біографическомъ словарѣ" Венгерова, т. I, стр. 818—826.

**) Начало возраженій Арцыбашева появилось въ Казанскомъ Вѣстникѣ 1822 и 1823 гг., потомъ въ исправленномъ и дополненномъ

Рѣзкія, порой придирчивыя нападенія Арцыбашева вызвали сильное раздраженіе среди друзей исторіографа, и молодому Погодину пришлось выслушать не мало порицаній за помѣщеніе ихъ въ своемъ журналѣ. Сгоряча, онъ рѣшился защищаться и, чтобы имѣть поводъ отвѣчать печатно на словесные толки, помѣстилъ въ *Московскомъ Вѣстникѣ* сочиненное имъ самимъ письмо. „Какимъ образомъ вы осмѣлились, говорилось въ этомъ письмѣ,—дать мѣсто... брани на твореніе, которое мы привыкли почитать совершеннѣйшимъ?“ и т. д. Отвѣчая на это вымышленное обращеніе къ издателю, Погодинъ далъ волю своему гнѣву и произнесъ уже отъ своего лица такое сужденіе о Карамзинѣ, которое могло бы служить итогомъ всего, что было сказано противъ *Исторіи государства Россійскаго*. „Думать, что въ исторіи Карамзина все... уже сдѣлано,—писалъ онъ,—есть темное невѣжество“. „Карамзинъ великъ, какъ *художникъ*, живописецъ, *хотя* его картины часто похожи на картины того славнаго итальянца, который героевъ всѣхъ временъ одѣвалъ въ платье своего времени, хотя въ его Олегахъ и Святославахъ мы видимъ часто Ахиллесовъ и Агамемноновъ Расиновыхъ. Какъ *критикъ*, Карамзинъ только могъ воспользоваться тѣмъ, что до него было сдѣлано, особенно въ древней исторіи, и ничего почти не прибавилъ своего. Какъ *философъ*, онъ имѣетъ меньшее достоинство *), и ни на одинъ философскій вопросъ не отвѣтятъ мнѣ изъ его исторіи. Не угодно ли, напримѣръ, вамъ, м. г., поговорить со мной о слѣдующемъ: чѣмъ отличается россійская исторія отъ прочихъ европейскихъ и азіатскихъ исторій? Апоѳегмы Карамзина въ исторіи суть большею частью общія мѣста. Взглядъ его вообще на исторію, какъ на науку,—взглядъ невѣрный, и это ясно видно изъ предисловія **). Относительныя также великія заслуги Карамзина состоятъ въ томъ, что онъ заохотилъ русскую публику къ чтенію исторіи, открылъ новые источники, подалъ нить будущимъ изслѣдователямъ, обогатилъ языкъ ***). „Подумайте, м. г. и

видѣ они явились въ Московскомъ Вѣстникѣ Погодина, ч. XI и XII (1828 г.). См. особенно ч. XI, стр. 290 и 291; ч. XII, стр 75, 87, 268—270, 272. Не разъ также Арцыбашевъ отмѣчаетъ не понятыя Карамзинымъ мѣста лѣтописи и критикуетъ его ученыя мнѣнія по спеціальнымъ вопросамъ.

*) Впослѣдствіи Погодинъ толковалъ, что это „меньшее“ употреблено не по сравненію съ „малымъ“ значеніемъ Карамзина, какъ критика, а по сравненію съ „великимъ“ его значеніемъ, какъ художника.

**) Спеціально предисловію посвященъ былъ разборъ Каченовскаго въ Вѣстникѣ Европы (1819 г., части 103 и 104); критикъ воспользовался двумя французскими переводами предисловія, чтобы отмѣтить, какія фразы русскаго текста переводчики сочли неудобнымъ довести до свѣдѣнія европейскихъ читателей.

***) „Письмо къ издателю“ М. В. и „Отвѣтъ издателя“ въ Московскомъ Вѣстникѣ, часть XII, стр. 186—190. Ср. Барсукова, т. II, стр. 234—264.

всѣ вамъ подобные, — заканчиваетъ Погодинъ по адресу стараго „Арзамаса“, — что новое поколѣніе учится лучше прежняго, что журнальные невѣжи и крикуны... принуждены будутъ умолкнуть передъ умнымъ общимъ мнѣніемъ“.

Къ великой досадѣ Погодина, не ему привелось, однако же, сказать послѣднее слово въ полемикѣ современниковъ объ *Исторіи государства Россійскаго*. Всѣ высказанныя имъ наблюденія были вѣрны и мѣтки, но оставалось свести ихъ къ одному общему аккорду, найти общій ключъ къ сдѣланной имъ характеристикѣ. Эту благодарную роль взялъ на себя Полевой и выполнилъ ее съ свойственнымъ ему талантомъ *).

„Карамзинъ есть писатель не нашего времени“,—такова основная идея Полевого, давшая ему возможность изъ матеріала, собраннаго ожесточенною полемикой, извлечь спокойный историческій приговоръ. „Для насъ, *новаго поколѣнія,* Карамзинъ существуетъ только въ исторіи литературы и въ твореніяхъ своихъ. Мы не можемъ увлекаться ни личнымъ пристрастіемъ къ нему, ни своими страстями“. „Время летитъ быстро, дѣла и люди быстро мѣняются. Мы едва можемъ увѣрить себя, что почитаемое нами настоящимъ сдѣлалось уже *прошедшимъ*, современное—*историческимъ*. Такъ и Карамзинъ. Еще многіе причисляютъ его къ нашему поколѣнію, къ нашему времени, забывая, что онъ родился 60 слишкомъ лѣтъ тому (въ 1765 г.); что болѣе 40 лѣтъ прошло, какъ онъ выступилъ на поприще литературное; что уже совершилось 25 лѣтъ, какъ онъ занялся исторіею Россіи, и, слѣдовательно, что онъ приступилъ къ ней за четверть вѣка до настоящаго времени, будучи почти сорока лѣтъ: это такой періодъ жизни, въ который человѣкъ не можетъ уже стереть съ себя типа первоначальнаго своего образованія, можетъ только не отстать отъ своего быстро-грядущаго впередъ вѣка, только слѣдовать за нимъ, и то напрягая всѣ силы ума“. „Между тѣмъ, вѣкъ двигался съ неслыханною до того времени быстротой. Никогда не было открыто, изъяснено, обдумано столь много, сколько открыто... въ Европѣ за послѣднія 25 лѣтъ. Все измѣнилось и въ политическомъ, и въ литературномъ мірѣ. Философія, теорія словесности, поэзія, исторія, знанія политическія— все преобразовалось. Но когда начался сей новый періодъ измѣненій, Карамзинъ уже кончилъ свои подвиги вообще въ литературѣ“ и обратился спеціально къ исторіи. Естественно, что „безъ него развилась новая русская поэзія, началось изученіе философіи,

---

*) Въ своемъ дневникѣ Погодинъ замѣтилъ по поводу статьи Полевого: „Досадно! я первый сказалъ общее мнѣніе о Карамзинѣ. Полевой только что распространилъ главныя мои положенія, а его превозносятъ, между тѣмъ какъ меня ругали“. Барсуковъ: „Погодинъ“, т. II, стр. 334.

исторіи, политическихъ знаній сообразно новымъ идеямъ, новымъ понятіямъ германцевъ, англичанъ и французовъ, перекаленныхъ въ страшной бурѣ и обновленныхъ въ новую жизнь". Такимъ образомъ, „Карамзинъ уже не можетъ быть образцомъ ни поэта, ни романиста, ни даже прозаика русскаго. Періодъ его кончился, и нельзя не видѣть, „что его русскія повѣсти --не русскія, его проза далеко отстала отъ прозы другихъ новѣйшихъ образцовъ нашихъ; его стихи для насъ проза; его теорія словесности, его философія для насъ недостаточны". Точно также, и по тѣмъ же причинамъ, „и исторіи его мы не можемъ назвать твореніемъ нашего времени". Какова бы ни была исторія по формѣ изложенія, въ основѣ своей она должна быть, по требованію нашего вѣка, „философской", т.-е. составлять часть общаго философскаго міровоззрѣнія. Исторіи отдѣльныхъ странъ должны быть, въ силу этого требованія, только частью *всеобщей* исторіи, онѣ должны „показывать философу, какое мѣсто въ мірѣ вѣчнаго бытія занималъ тотъ или другой народъ, то или другое государство, тотъ или другой человѣкъ, ибо для человѣчества равно выражаетъ идею и цѣлый народъ и человѣкъ историческій: человѣчество живетъ въ народахъ, а народы въ представителяхъ, двигающихъ грубый матеріалъ и образующихъ изъ него отдѣльные нравственные міры. Такова истинная идея исторіи,— по крайней мѣрѣ, мы удовлетворяемся нынѣ только сею идеей исторіи и почитаемъ ее за истинную. Она созрѣла въ вѣкахъ и изъ новѣйшей философіи развилась въ исторіи, точно такъ же, какъ подобныя идеи развились изъ философіи въ теоріяхъ поэзіи и политическихъ знаній".

Всѣ эти „истинныя, по крайней мѣрѣ, современныя намъ идеи философіи, поэзіи и исторіи явились въ послѣднія 25-ть лѣтъ; слѣдственно, истинная идея исторіи была недоступна Карамзину. Онъ былъ уже совершенно образованъ по идеямъ и понятіямъ своего вѣка и не могъ переродиться въ то время, когда трудъ его былъ начатъ, понятіе объономъ совершенно образовано и оставалось только исполнять". Естественно, что образцами Карамзина остались историки XVIII вѣка, съ которыми онъ раздѣлялъ всѣ ихъ недостатки, не успѣвъ, однако, сравняться съ ними въ достоинствахъ. „Прочитайте всѣ 12 томовъ *И. г. Р.*, и вы совершенно убѣдитесь" въ томъ, какъ чуждо было Карамзину понятіе объ истинной исторіи. „Въ цѣломъ объемѣ одной (т.-е. *И. г. Р.*) нѣтъ одного общаго начала, изъ котораго истекали бы всѣ событія русской исторіи: вы не видите, какъ исторія Россіи примыкаетъ къ исторіи человѣчества; всѣ части оной отдѣляются одна отъ другой; всѣ несоразмѣрны, и жизнь Россіи остается для читателя неизвѣстною, хотя его утомляютъ подробностями неважными, ничтожными, занимаютъ, трогаютъ картинами великими, ужасными, выводятъ пе-

редъ нимъ толпу людей до излишества огромную. Карамзинъ нигдѣ не представляетъ вамъ духа народнаго, не изображаетъ многочисленныхъ переходовъ его, отъ варяжскаго феодализма до деспотическаго правленія Іоанна и до самобытнаго возрожденія при Мининѣ. Вы видите стройную, продолжительную галлерею портретовъ, поставленныхъ въ одинакія рамки, нарисованныхъ не съ натуры, но по волѣ художника и одѣтыхъ также по его волѣ". „Придетъ по годамъ событіе: Карамзинъ описываетъ его и думаетъ, что исполнилъ долгъ свой; не знаетъ или не хочетъ знать, что событіе важное не выростаетъ мгновенно, какъ грибъ послѣ дождя, что причины его скрываются глубоко, и взрывъ означаетъ только, что фитиль, проведенный къ подкопу, догорѣлъ, а положенъ и зажженъ былъ гораздо прежде Надобно ли изобразить подробную картину движенія народовъ въ древнія времена, Карамзинъ ведетъ черезъ сцену киммеріянъ, скиѳовъ, гунновъ, аваровъ, славянъ, какъ китайскія тѣни; надобно ли описать нашествіе татаръ, —передъ вами только картинное изображеніе Чингисъ-хана; дошло ли до паденія Шуйскаго,—поляки идутъ въ Москву, берутъ Смоленскъ; Сигизмундъ не хочетъ дать Владислава на царство и—болѣе нѣтъ ничего!" „Это лѣтопись, написанная мастерски, художникомъ таланта превосходнаго, а не исторія" *).

Мы видѣли раньше, что отдѣляло Карамзина отъ его ученыхъ современниковъ: это была Шлецеровская идея „критической исторіи". Въ замѣчаніяхъ Полевого мы встрѣчаемся съ тѣмъ, что отдѣляло исторіографа отъ „новаго поколѣнія": это новая идея „философской исторіи", только что проникнувшая къ намъ съ Запада. Съ идеей критической исторіи современные Карамзину спеціалисты приступили къ обновленію историческаго матеріала и къ его предварительной разработкѣ. Молодое поколѣніе, съ своею идеей философской исторіи, совершенно измѣнило взглядъ на самыя задачи историческаго изученія.

Если идея исторической критики дана была еще литературой XVIII столѣтія, то „философскій" взглядъ на исторію явился всецѣло результатомъ того умственнаго броженія, которое охватило Европу въ началѣ нашего вѣка. Намъ слѣдуетъ теперь, поэтому, прежде всего, ознакомиться съ новымъ настроеніемъ европейской мысли, а затѣмъ перейти къ тому воздѣйствію новыхъ европейскихъ воззрѣній на развитіе русской исторической мысли, въ результатѣ котораго для русской исторической науки начался новый періодъ существованія. Какъ относился Карамзинъ къ той и другой

---

*) Московскій Телеграфъ 1829 г., ч. XXVII, стр. 467–500 Исторія г. Р. (сочиненіе Н. М. Карамзина). Тт. I—VIII, 1816 г.; IX, 1821 г.; X, XI, 1824 г.; XII, 1829 года. Статья подписана иниціалами Н. П.

идеѣ, намъ также извѣстно. „Критическою исторіей“ онъ вовсе не интересовался, а „философской исторіи“ даже боялся и сознательно сторонился отъ нея, какъ отъ „метафизики“, которая можетъ лишь повредить „изображенію дѣйствій и характеровъ“ *). Онъ писалъ только „художественную исторію“ и писалъ ее въ такомъ стилѣ, условности котораго помѣшали достиженію художественнаго результата. При этихъ условіяхъ Карамзинъ не могъ участвовать въ работѣ исторической мысли ни старшаго, ни современнаго ему, ни младшаго поколѣнія. Одни продолжали критическую работу, другіе принялись за философское построеніе русской исторіи совершенно независимо отъ *Исторіи государства Россійскаго*.

Мы скоро увидимъ, что первые самостоятельные опыты критической разработки и философской конструкціи—тотчасъ послѣ Карамзина—положили начало новаго періода въ развитіи русской исторической науки. Но этого новаго періода Карамзинъ не создалъ и не подготовилъ. Наканунѣ его наступленія онъ въ послѣдній разъ, съ особенною яркостью и рельефностью, подчеркнулъ тѣ типичныя черты старыхъ воззрѣній, которыя предыдущимъ поколѣніемъ были осуждены, какъ ошибочныя и отжившія. Такимъ образомъ, если дѣятельность Карамзина можетъ считаться поворотнымъ пунктомъ въ русской исторіографіи, то только въ одномъ смыслѣ. Карамзинъ не началъ собою новаго періода, а закончилъ старый, и роль его въ исторіи науки была не активная, а пассивная. Вмѣсто сознательнаго творца новой эпохи мы должны представлять себѣ Карамзина невольною жертвой устарѣвшей рутины, и этого положенія историографа въ исторіи науки не могутъ измѣнить никакія заслуги его въ исторіи учености и въ исторіи просвѣщенія.

---

*) См., наприм., Письма къ Малиновскому, стр. 51.

Періодъ второй—послѣ Карамзина.

I. Первыя попытки критической разработки и философскаго построенія русской исторіи.

I.

Новый періодъ въ развитіи русской исторической мысли начинается тогда, когда исходною точкой всѣхъ историческихъ разсужденій становится идея исторической закономѣрности. Нельзя сказать, чтобы эта идея была совершенно неизвѣстна предыдущему времени. Уже въ XVI и XVII вѣкахъ мы встрѣчаемъ ее въ формѣ астрологическаго ученія о вліяніи свѣтилъ на ходъ земныхъ происшествій. XVIII вѣкъ ищетъ законовъ болѣе близкихъ къ историческимъ явленіямъ и находитъ ихъ въ ученіи о вліяніи климата на народные темпераменты. Но только въ концѣ XVIII в. и началѣ XIX мы встрѣчаемся съ попыткой приложить понятіе закона въ его чистой философской формѣ къ объясненію историческаго процесса. Попытка эта является результатомъ крупной перемѣны въ цѣломъ міровоззрѣніи европейскаго общества.

Какъ извѣстно, общій смыслъ перелома, совершившагося на рубежѣ двухъ столѣтій въ общественномъ настроеніи Европы, заключается въ протестѣ противъ односторонней разсудочности воззрѣній XVIII столѣтія. Содержаніе этого протеста видоизмѣняется, смотря по тому, въ какой сферѣ мы будемъ за нимъ слѣдить: въ области литературы или политики, философіи или общественныхъ наукъ. Но вездѣ, гдѣ бы этотъ протестъ ни обнаруживался, онъ заявляется во имя правъ чувства, попранныхъ разумомъ. Трезвый критицизмъ Канта установилъ рѣзкую грань между употребленіемъ разума въ границахъ возможнаго опыта и внѣ этихъ границъ. Признавши возможность знанія только въ границахъ опыта, Кантъ показалъ неизбѣжность внутреннихъ противорѣчій при употребленіи логическихъ способностей разума дальше сферы этого возможнаго для человѣка опыта. Для запросовъ чувства такія границы человѣческаго знанія казались черезчуръ узки, и Кантъ самъ открылъ выходъ

этимъ запросамъ, признавъ рядомъ съ достовѣрностью научной достовѣрность нравственную. Но простое признаніе возможности такого исхода не могло уже удовлетворить молодого поколѣнія. Осторожный кенигсбергскій мудрецъ былъ для молодежи просто „геніальнымъ педантомъ", а его логическія разсужденія казались „схоластикой", свидѣтельствующей о недостаткѣ истиннаго чувства. „Кто вѣритъ въ какую-либо систему, тотъ изгналъ изъ сердца всеобъемлющую любовь", разсуждалъ Вакенродеръ, одинъ изъ наиболѣе тонко организованныхъ представителей молодого поколѣнія. „Кто своимъ вопросомъ „почему" подкапывается подо все, что есть самаго изящнаго и божественнаго въ духовномъ мірѣ, тотъ въ сущности не интересуется тѣмъ, что изящно и божественно, а только заботится объ уясненіи понятій, чтобы съ ихъ помощью установить свои алгебраическія правила". Внутреннее сознаніе, съ этой точки зрѣнія, есть наиболѣе дѣйствительная изъ всѣхъ дѣйствительностей; въ себѣ самомъ оно заключаетъ всѣ доказательства собственной достовѣрности. Естественно, что моралью не исчерпывалось для молодежи содержаніе внутренняго сознанія. Самый глубокомысленный изъ этой молодежи, Шлейермахеръ, находилъ, что Кантъ ошибся и даже унизилъ религію, выведя ее изъ морали. Истинная религія имѣетъ свою „особую сферу въ человѣческой душѣ" и въ этой сферѣ,—внѣ предѣловъ разума, въ которые хотѣлъ заключить ее Кантъ,—господствуетъ неограниченно. Другіе требовали для фантазіи и эстетики тѣхъ же правъ, какія Шлейермахеръ отвоевывалъ для религіи, и скоро пустая область чистаго разума наполнилась конкретными образами, среди которыхъ трудно стало различить дѣйствительное отъ воображаемаго.

Прежде чѣмъ новое настроеніе успѣло отразиться въ созданіи новыхъ философскихъ системъ, вліяніе его уже проникло во всѣ области знанія. Общественныя науки должны были пережить такую же метаморфозу въ своемъ основномъ понятіи о народѣ, какую пережила философія въ основномъ вопросѣ о критеріи достовѣрности. Отвлеченное логическое понятіе предметъ простого ариѳметическаго счета математически-однообразныхъ единичныхъ воль у Руссо, пассивная этнографическая масса, воспринимающая механическіе толчки законодателя, у Шлецера,—народъ является теперь въ своемъ конкретномъ образѣ въ романахъ Вальтеръ-Скотта и начинаетъ жить внутреннею жизнью у Гердера и Фихте. Вмѣстѣ съ тѣмъ, интересъ къ сознательной, цѣлесообразной организаціи общественной дѣятельности все болѣе и болѣе замѣняется интересомъ къ безсознательному, стихійному процессу народной жизни. Идеалъ наилучшей формы правленія, занимавшій Руссо и Канта, отодвигается на второй планъ; не средства осчастливить человѣчество занимаютъ писателей и публику, а самый фактъ жизни въ его индивидуальности

и конкретности. Общей нормы для счастія и прогресса не можетъ и быть для всѣхъ временъ и народовъ. Человѣкъ счастливъ въ каждомъ данномъ мѣстѣ, въ каждый данный моментъ по-своему. Въ общей суммѣ этихъ моментовъ, конечно, можетъ обнаружиться ихъ внутренняя связь и единство, можетъ обрисоваться общая цѣль, къ которой идетъ человѣчество; но цѣль эту ставитъ не законодатель, а Провидѣніе. Наблюдатель, историкъ можетъ открыть эту цѣль, привести ее въ общее сознаніе; но результатомъ такого самосознанія будетъ не дѣятельность, а спокойное созерцаніе,—не общественная реформа, а пониманіе историческаго закона, руководящаго движеніемъ жизни,—и признаніе его необходимости. „Выдумать законы!"—восклицаетъ одинъ изъ типичнѣйшихъ русскихъ романтиковъ; но, вѣдь, „во всякомъ мірѣ *законы должны быть совсѣмъ готовые—стоитъ отыскать ихъ*" *).

Такимъ образомъ, не исторія законодательства или государственнаго управленія будетъ теперь занимать историка, а исторія безсознательныхъ, стихійныхъ народныхъ процессовъ. Въ нихъ нѣтъ, правда, никакой цѣлесообразности, зато тѣмъ виднѣе закономѣрность, тѣмъ легче подслушать мѣрный ходъ послѣдовательнаго развитія. Одно только препятствіе стоитъ на дорогѣ этому представленію о стихійномъ процессѣ народной жизни. Народная легенда уже въ самомъ началѣ исторіи выдвинула *личность*. Цари создаютъ исторію, законодатели и изобрѣтатели благодѣтельствуютъ человѣчеству, мудрецы и поэты его просвѣщаютъ уже на зарѣ исторической жизни. Но и это препятствіе оказалось легко устранимымъ. Италія въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, показала примѣръ Европѣ. Въ своей „Новой наукѣ" глубокомысленный неаполитанецъ Вико еще въ началѣ XVIII вѣка объяснилъ героическія фигуры народныхъ преданій просто, какъ образныя представленія, какъ олицетворенія, созданныя младенческими пріемами мысли древнихъ народовъ. По пути, указанному Вико, пошли знаменитые нѣмецкіе ученые романтической эпохи. Такимъ образомъ, Гомеръ превратился въ коллективное понятіе, а его поэмы представились безыскусственнымъ созданіемъ народнаго эпоса (Вольфъ), семь царей римскихъ тоже обратились въ нарицательныя обозначенія силы или религіозности (Нибуръ), и даже самъ Ликургъ оказался миѳомъ, въ которомъ сгустились черты дорійскаго народнаго духа и общественнаго устройства (Отфридъ Мюллеръ).

Таковы были тѣ перемѣны въ области философской и исторической мысли, которыя отодвинули, по мнѣнію Полевого **), литературную и ученую дѣятельность Карамзина въ область исторіи.

---

*) Сочиненія кн. Одоевскаго, I, стр. 145.

**) См. выше, стр. 221—223.

Надо прибавить, что до самаго послѣдняго года жизни Карамзина ничто не предвѣщало быстраго расцвѣта новыхъ идей въ Россіи. Въ высшіе слои русскаго общества начинало, правда, проникать вліяніе романтизма, но это былъ романтизмъ французскій, не обладавшій ни непосредственностью, ни цѣльностью, ни глубиной мысли и чувства, которыя давали такую силу нѣмецкому романтизму. Во всякомъ случаѣ, романтическое вліяніе оставалось личнымъ и не проникало въ литературу, если не считать романтизмомъ сантиментальнаго творчества Жуковскаго. Еще въ 1827 году Погодинъ могъ выразиться: „журналисты наши, которые, казалось бы, должны быть посредниками между нами и Европою, обираются только около себя... Такъ, напримѣръ, лѣтъ съ 20 уже нашли въ Германіи новыя точки зрѣнія на науки, а мы о нихъ по сю пору слыхомъ не слыхивали въ журналахъ“ *). Но съ этого года и въ литературѣ, и въ наукѣ сразу обнаруживается цѣлый рядъ явленій, свидѣтельствующихъ о самомъ сильномъ вліяніи новаго европейскаго направленія. Восемь лѣтъ спустя мы встрѣчаемъ уже цѣльную характеристику новаго направленія, сдѣланную притомъ ученикомъ: „XVIII-й вѣкъ кончился: аналитическое направленіе, данное имъ наукамъ, замѣнилось другимъ, противоположнымъ; слѣпое пристрастіе къ образцамъ, оставленнымъ намъ греками и римлянами въ словесности, а вслѣдствіе этого преобладаніе литературы французской, болѣе всѣхъ приближавшейся къ древнимъ по изяществу формъ, также прекратилось, и мѣсто этого пристрастія заступило внимательное изученіе словесныхъ памятниковъ всѣхъ вѣковъ и народовъ. Мыслители перестали заботиться о первобытномъ состояніи человѣка, занимавшемъ столь большое мѣсто въ философскихъ парадоксахъ прошедшаго столѣтія, а обратились къ изученію внутренней жизни человѣка, доступной сознанію, и къ изслѣдованію проявленія этой жизни въ дѣйствительности - къ исторіи. Германія упредила прочія европейскія государства въ этомъ развитіи; но, когда, послѣ разрушенія могущества Наполеонова, народы, соединенно съ нею возставшіе, встрѣтились всѣ въ побѣжденномъ Парижѣ, и цари ихъ заключили между собою священный союзъ братства и любви, тогда германское образованіе обобщилось. Во всѣхъ странахъ Европы началось совмѣстное изученіе внутренней жизни духа и развитія человѣчества въ исторіи, и плодомъ этого изученія было открытіе закона послѣдовательнаго совершенствованія человѣка, руководимаго Божественнымъ Промысломъ. Въ искусствѣ отразилось также всюду направленіе психологическое и историческое: оно или углубилось внутрь человѣка и мощною фантазіей извлекло оттуда со-

*) Московскій Вѣстникъ, № 2, въ статьѣ: Исторія географіи.

кровеннѣйшія тайны духовной жизни, или силою животворнаго вдохновенія воскресило міръ прошедшаго и освѣтило его яркими лучами творческихъ вымысловъ. Скептицизмъ и невѣріе характеризуетъ XVIII вѣкъ; въ нашъ вѣкъ, напротивъ, вѣрованіе почитается по справедливости условіемъ всякой жизни, всякой дѣятельности: искусство и наука хотятъ освятить себя имъ, хотятъ найти свое начало въ самомъ Зиждителѣ и къ нему стремятся. Вотъ что было въ Европѣ. Такое измѣненіе въ ходѣ образованія необходимо должно было отразиться въ нашемъ отечествѣ, и отразилось"; именно, подъ его вліяніемъ зарождается „цѣлостное понятіе народности" и полагается „начало новой эпохи самобытной словесности русской". Авторъ любопытной статьи, изъ которой приведены эти выписки, студентъ Московскаго университета, Николай Сазоновъ, талантливая личность, закружившаяся впослѣдствіи въ водоворотѣ русской эмиграціи и безжалостно охарактеризованная въ „Быломъ и думахъ". Журналъ, помѣстившій статью,—„Ученыя Записки Московскаго Университета" *). Такимъ образомъ, статья Сазонова приводитъ насъ къ главной лабораторіи, въ которой перерабатывались „новыя начала наукъ" и откуда они потомъ вышли въ литературу, - къ Московскому университету. Самый годъ появленія статьи знаменателенъ для исторіи университета. Въ 1835 г., одновременно съ введеніемъ новаго устава и съ назначеніемъ въ попечители гр. Строганова, происходитъ переломъ въ общемъ духѣ университетской жизни.

Профессоръ александровской эпохи еще сохранялъ многія черты, свойственныя профессорскому типу екатерининскаго времени. Ученыя занятія продолжали носить, какъ мы уже имѣли случай видѣть, характеръ службы. Между профессоромъ и людьми, занимавшими высокіе посты на государственной службѣ, существовала огромная пропасть въ соціальномъ отношеніи, далеко не затянутая пріемами цивилизованнаго обращенія. Желая оказать вниманіе профессору, высокопоставленное лицо *назначало* ему являться къ обѣду по воскресеньямъ, и во время обѣда супруга хозяина удостаивала спросить гостя, откуда онъ родомъ. Въ благодарность за такое благоволеніе профессоръ, уловивши удобный моментъ, почтительнѣйше изъявлялъ какую-нибудь ученую остроту, вызывавшую снисходительную улыбку высокопоставленной особы. Въ лучшемъ случаѣ хозяинъ удостаивалъ обнаружить передъ гостемъ, что и ему не чуждо образованіе. „Не люблю его, бестію, выражался, напримѣръ, вельможа о Вольтерѣ,—а пріятно пишетъ"; и ученый гость спѣшилъ припомнить, что гдѣ-то про Вольтера сказано: il lit un livre, puis il le fait. „Это очень вѣрно замѣчено", одобрялъ вель-

---

*) 1835 г., т. IX.

можа, и профессоръ уходилъ съ обѣда, унося съ собою благодарное воспоминаніе о соприкосновеніи съ этимъ высшимъ міромъ; разсказы о высокихъ качествахъ ума и сердца благосклоннаго вельможи, объ его палатахъ и костюмѣ долго послѣ того жили въ семействѣ обласканнаго ученаго вмѣстѣ съ подлинными остротами вельможи и его застольными анекдотами о Потемкинѣ и о самой царицѣ. Такому соціальному положенію вполнѣ соотвѣтствовалъ и соціальный составъ профессуры и студенчества. Въ университетъ и въ ученое сословіе шелъ разночинецъ, поповичъ или приказный; когда попалъ въ составъ профессоровъ первый дворянинъ, современные журналы отмѣтили это, какъ необыкновенное событіе. И дворянинъ, очутившись въ университетѣ студентомъ, не скрывалъ своего пренебреженія не только къ своему брату— студенту черной кости, но и къ профессору. „Въ моей библіотекѣ получаются всѣ послѣднія европейскія новости, до васъ, г. профессоръ, это еще не дошло", такова любезность, отпущенная Лермонтовымъ экзаменатору, когда тотъ полюбопытствовалъ узнать, откуда взялъ студентъ лишнія сравнительно съ лекціями свѣдѣнія.

Со второй половины двадцатыхъ годовъ въ университетской жизни появляются замѣтные признаки перемѣны. Интеллигентная жизнь послѣ суда и ссылки декабристовъ какъ-то сразу переходитъ изъ Петербурга въ Москву, изъ гвардіи въ университетъ. Все чаще и въ большемъ количествѣ начинаютъ появляться въ университетѣ дворянскія дѣти старинныхъ фамилій, хорошо подготовленныя дома и въ Москвѣ продолжающія брать приватные уроки у лучшихъ профессоровъ университета. Высшее образованіе болѣе не служитъ для нихъ непосредственной ступенью къ хлѣбной карьерѣ; они не ищутъ ни ученой, ни учительской, ни приказной службы, и если занимаются наукой въ университетѣ, то занимаются ею безкорыстно Такъ создается почва для отвлеченнаго идеализма тридцатыхъ годовъ; и можно заранѣе сказать, что новыя философскія идеи дадутъ на этой почвѣ обильную жатву.

Прежде чѣмъ мы перейдемъ, однако, къ судьбѣ философскихъ идей и къ оцѣнкѣ ихъ роли въ русской исторіографіи, мы должны будемъ остановиться нѣсколько на одномъ явленіи переходнаго характера. До появленія философскихъ идей въ ихъ чистомъ видѣ на очереди стояли въ развитіи исторической мысли идеи критическія. Мы уже познакомились раньше съ ролью „критической исторіи" безъ всякой примѣси новыхъ идей,—въ томъ видѣ, въ какомъ это понятіе завѣщано было историческою наукой прошлаго вѣка. Но теперь, при наплывѣ новыхъ воззрѣній, и идея исторической критики существенно измѣнилась и осложнилась. „Историческая критика" Вольфа и Нибура была уже не тѣмъ, чѣмъ была „критическая исторія" Шлецера. Въ какое же отношеніе стали послѣдова-

тели Шлецера къ новымъ критическимъ идеямъ, и какую роль сыграли эти идеи въ общемъ развитіи русской исторіографіи? Отвѣчая на этотъ вопросъ, мы по необходимости вернемся къ тому пункту, на которомъ остановились. Мы встрѣтимся съ профессоромъ старомоднаго, екатерининскаго типа; мы увидимъ, что онъ исходитъ изъ достаточно извѣстныхъ намъ критическихъ идей Шлецера; на нашихъ глазахъ эти идеи осложнятся новыми вліяніями, и мы будемъ имѣть возможность наблюдать, какую роль играетъ въ этомъ осложненіи молодая аудиторія старомоднаго профессора; мы увидимъ, наконецъ, какъ идеи исторической критики окажутся исчерпанными и перестанутъ удовлетворять молодое поколѣніе, которое покинетъ аудиторію стараго профессора такъ же быстро, какъ оно ее наполнило, и направится въ другія аудиторіи—искать болѣе общихъ основъ цѣльнаго философскаго міросозерцанія. На одномъ человѣкѣ и на одномъ моментѣ исторіографіи мы прослѣдимъ, такимъ образомъ, тотъ, повидимому, огромный скачокъ, который успѣла сдѣлать русская наука въ нѣсколько лѣтъ, прошедшихъ со смерти Карамзина до появленія первыхъ философско-историческихъ конструкцій русской исторіи.

II.

Мы только что говорили, что идея исторической критики перешла къ XIX столѣтію по наслѣдству отъ XVIII-го. Появившійся въ первыхъ годахъ нашего столѣтія *Несторъ* Шлецера далъ примѣръ приложенія на практикѣ тѣхъ пріемовъ, которымъ Шлецеръ училъ въ теоріи русскихъ изслѣдователей прошлаго вѣка. Эта книга сдѣлалась школой, черезъ которую прошли всѣ сколько-нибудь выдающіеся спеціалисты по русской исторіи. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что исторіографія XIX вѣка идетъ отъ Шлецера. Тѣ, кто насчиталъ появленіе *Исторіи государства Россійскаго* эрой въ нашей исторіографіи, конечно, должны были иначе представлять себѣ ходъ развитія русской науки. Съ ихъ точки зрѣнія Шлецеръ былъ представителемъ не только критическаго (по методу), но отрицательнаго (по содержанію) взгляда на русскую исторію; напротивъ, Карамзинъ явился выразителемъ положительнаго взгляда и сдѣлался, такимъ образомъ, сознательнымъ противникомъ Шлецера. Какъ мало, въ сущности, принципіальной разницы во взглядахъ Карамзина и Шлецера, объ этомъ мы говорили раньше. Между тѣмъ, на этой предполагаемой разницѣ строилось иногда представленіе о всемъ послѣдующемъ ходѣ русской исторіографіи. Развитіе ея представлялось въ видѣ борьбы двухъ направленій, положительнаго и отрицательнаго; первое выводилось отъ Карамзина, второе отъ Шлецера. Едва ли, однако же, такое представленіе соотвѣтствуетъ дѣйстви-

тельности. Не то, что бы вовсе не было при Карамзинѣ и послѣ него сторонниковъ націоналистическаго взгляда на исторію. Но, сами по себѣ, выраженія этого взгляда, въ родѣ патріотическихъ возгласовъ Сергѣя Глинки, или увлеченій такъ называемой „славянской школы“, превратившей въ славянъ большую часть автохтоновъ Европы, или даже въ родѣ мистическаго патріотизма Погодина, —всѣ эти уродливыя выраженія націонализма едва ли кто рѣшится зачислить въ рубрику „положительнаго направленія“. Если же оставить ихъ въ сторонѣ при изученіи „главныхъ теченій“ русской исторіографіи, тогда и представители „положительнаго“ и представители „отрицательнаго“ направленія одинаково окажутся учениками Шлецера и послѣдователями его критическихъ тенденцій. Не говоримъ уже о старшемъ поколѣніи, о Румянцевѣ и Евгеніи, Каченовскомъ и Арцыбашевѣ, но и самые молодые изъ ученыхъ александровскаго времени окончили свое историческое образованіе, независимо отъ *Исторіи государства Россійскаго*, подъ вліяніемъ Шлецера. Патріотъ и ополченецъ 12-го года, Калайдовичъ, учившійся у Глинки и Карамзина „святой любви къ отечеству“, -по его собственнымъ словамъ, „учился исторической критикѣ у великаго Шлецера“. Погодинъ былъ еще гимназистомъ, когда вышла *Исторія* Карамзина; съ благоговѣйнымъ трепетомъ онъ приступилъ къ чтенію собственнаго экземпляра, пріобрѣтеннаго немножко чичиковскимъ способомъ. Но и онъ „очутился въ новомъ мірѣ и уразумѣлъ, что такое критика“, только тогда, когда въ университетѣ товарищъ Кубаревъ натолкнулъ его на чтеніе *Нестора*. А готовясь къ магистерскому экзамену, Погодинъ вотъ уже что записывалъ въ своемъ дневникѣ: „Такую дичь написалъ Карамзинъ въ первой главѣ, что ни на что не похоже. Едва ли не одно достоинство остается за Карамзинымъ: искусство писать“ *). Повторяемъ, *школы* Карамзина не существовало въ русской исторіографіи. Существовала только школа Шлецера. Внутри *этой* школы и образовались тѣ два направленія, за которыми утвердились названія „положительнаго“ и „отрицательнаго“ (или „скептическаго“).

„Наибольшею славой, —такъ характеризуетъ это положеніе дѣла одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ 1834 году,—по справедливости

---

*) Безсоновъ: „Калайдовичъ“ (Чтенія 1862 г., т. III), 23; ср. стр. 96 о „почтеннѣйшихъ друзьяхъ (его) Болтинѣ, Миллерѣ и Шлецерѣ, къ которымъ (онъ) и въ радости, и въ печали прибѣгаетъ, и въ нуждѣ находитъ нелицепріятные совѣты и всегдашнюю помощь“. П. М. Строевъ пятнадцати лѣтъ уже изучалъ исторію Щербатова, пріобрѣтенную на толкучкѣ. Барсуковъ: „Строевъ“, 3. Барсуковъ „Жизнь и труды Погодина“, 1, 29—30, 54—56, 233. Ср. оцѣнку Карамзина Погодинымъ и его взглядъ на очередныя задачи изученія выше, стр. 214, 220.

пользуются нынѣ мнѣнія, съ такою блестящею ученостью развитыя Шлецеромъ, и такъ удачно внесенныя Карамзинымъ въ его безсмертное твореніе. Въ числѣ послѣдователей этихъ великихъ мужей находятся извѣстнѣйшіе наши ученые". Но между этими послѣдователями авторъ отмѣчаетъ разницу. Одни, „вѣруя безотчетно въ ученыя, но не всегда справедливыя розысканія Шлецера и Карамзина, списываютъ ихъ буква въ букву и труды этихъ великихъ мужей почитаютъ геркулесовыми столпами въ критикѣ русской исторіи". Другіе, „не довольствуясь изслѣдованіями предшествовавшихъ имъ критиковъ, пробиваютъ себѣ новую тропинку на неразработанномъ полѣ отечественной исторіи, хотятъ идти далѣе въ дѣлѣ исторической критики, распространить ея предѣлы и съ большею вѣрностью и большимъ безпристрастіемъ примѣнить ея законы къ лѣтописямъ нашимъ". Это говоритъ, разумѣется, представитель одной изъ борющихся партій *). Но вотъ что пишетъ въ томъ же году посторонній наблюдатель борьбы, Бѣлинскій: „Теперь у насъ двѣ историческія школы: Шлецера и Каченовскаго. Одна упирается на давности, привычкѣ, уваженіи къ авторитету ея основателя; другая, сколько я понимаю, на здравомъ смыслѣ и глубокой учености. Мнѣ кажется очень естественнымъ, что настоящее поколѣніе, чуждое воспоминаній старины и предубѣжденій авторитетовъ, горячо приняло историческія мнѣнія Каченовскаго **).

Итакъ, смыслъ раскола среди послѣдователей Шлецера заключался въ томъ, что молодое поколѣніе подъ руководствомъ своего профессора захотѣло „идти далѣе" Шлецера „въ дѣлѣ исторической критики".

Вопросъ, который разъединилъ обѣ спорившія стороны, былъ, въ сущности, вопросомъ не новымъ. Это былъ все тотъ же вопросъ о степени дикости или образованности древней Руси, на рѣшеніи котораго разошлись въ XVIII вѣкѣ Щербатовъ и Болтинъ, Шторхъ и Шлецеръ. Карамзинъ, съ своимъ стилистическимъ соединеніемъ противоположныхъ мнѣній, не подвинулъ, въ сущности, ни на шагъ

---

*) Сергѣй Скромненко (Строевъ младшій): „О недостовѣрности древней русской исторіи и ложности мнѣнія касательно древности русскихъ лѣтописей". М., 1834 г., стр. 1—3.

**) Молва 1834 г., № 52, стр. 440. Ср. отзывъ К. Аксакова (День 1862 г., № 40, стр. 3): „Въ наше время любили, и цѣнили, и боялись, притомъ, чуть ли не больше всѣхъ, Каченовскаго. Молодость охотно вѣритъ, но и сомнѣвается охотно, охотно любитъ новое, самобытное мнѣніе,—и историческій скептицизмъ Каченовскаго нашелъ сильное сочувствіе во всѣхъ насъ. Строевъ (братъ археографа), Бодянскій съ жаромъ развивали его мысли. Станкевичъ такъ же думалъ. Я тоже былъ увлеченъ. Только впослѣдствіи увидалъ я всю несостоятельность нашего историческаго скептицизма". Обѣ цитаты см. у Барсукова: „Жизнь и труды Погодина", т. IV, стр. 214.

рѣшеніе спорнаго вопроса. Нельзя отрицать, правда, что появленіе въ свѣтъ *Исторіи государства Россійскаго*, съ ея идеями о древнемъ могуществѣ и величіи Россіи, освѣжило споръ и придало больше оживленія полемикѣ. Въ жару спора скептикамъ случалось клеймить вѣрныхъ послѣдователей Шлецера эпитетомъ „карамзинистовъ“. Но, въ сущности, литературно-патріотическій взглядъ Карамзина былъ такъ же чуждъ обѣимъ спорящимъ сторонамъ, какъ такой же ломоносовскій взглядъ чуждъ былъ изслѣдователямъ конца XVIII вѣка. Настоящій интересъ спора заключался въ возстаніи противъ Шлецера, а то, что сообщало этому возстанію особую привлекательность, это—употребленіе въ дѣло тѣхъ ученыхъ рессурсовъ, которые вытекали изъ новаго пониманія въ XIX вѣкѣ идеи исторической критики. Знаменитый критикъ XVIII вѣка сдѣлалъ уже не мало шаговъ въ направленіи скептицизма. Онъ отвергалъ существованіе просвѣщенія, торговли, городовъ въ древней Руси, отвергалъ, поэтому, возможность существованія металлической монеты, письменъ, слѣдовательно, и древнѣйшихъ письменныхъ памятниковъ (договоровъ съ греками). Для критика XIX вѣка всего этого было мало, потому что онъ находилъ отрицаніе Шлецера недостаточно принципіальнымъ. Отвергая тѣ или другія свидѣтельства древняго памятника, Шлецеръ вѣрилъ въ самый памятникъ. Объявляя подложными отдѣльныя показанія лѣтописи и считая ихъ позднѣйшими вставками,—онъ тѣмъ самымъ спасалъ древнюю лѣтопись отъ всякихъ подозрѣній и нареканій. „Подлинный“ *Несторъ* по Шлецеру кратокъ, скуденъ, но вѣренъ; а то, что есть въ немъ „баснословнаго“, вставлено переписчиками. Точка зрѣнія критика XIX вѣка совершенно иная. „Баснословное“ не есть произвольная вставка переписчика, это есть настоящая стихія древняго памятника. „Мы бы тогда усомнились въ подлинности древняго временника, когда бы *не* находили въ немъ этой дѣтской, простодушной баснословности, этого миѳическаго оттѣнка, который есть несомнѣнная печать древности“ (слова Надеждина). Итакъ, причина недостовѣрности лѣтописныхъ извѣстій заключается не въ томъ, что до лѣтописца дошло мало свѣдѣній, и не въ томъ, что лѣтописный текстъ подвергся позднѣйшимъ передѣлкамъ и искаженіямъ. Лѣтописи недостовѣрны потому, что между событіемъ и писателемъ, по общему историческому закону, открытому новой критикой, необходимо предположить промежуточный періодъ народной устной передачи. Такимъ образомъ, исторія всякаго народа *должна* начинаться съ *преданій*. Нибуръ, съ своимъ превращеніемъ въ народную легенду цѣлаго періода римской исторіи, являлся нагляднымъ примѣромъ плодотворности новаго взгляда. Его открытіями измѣряли пространство, пройденное европейскою исторіографіей со временъ Шлецера, и не дожидаясь болѣе „очищенія“ *Нестора*, требовали апріорнаго призна-

нія баснословности начала всякой исторіи, слѣдовательно, и русской. Не „изгонять (искусственно) баснословный мракъ изъ перваго вѣка нашей исторіи“ долженъ историкъ, а прямо признать, что источники „сами указываютъ на вѣкъ миѳологическій, неясный и сомнительный“. „Народы отмѣнно любятъ освящать свое младенчество сверхъестественными происшествіями, божественными посредничествами, или даже и одними лишь темными воспоминаніями о доблести и славѣ, которыя какъ бы возвеличиваютъ судьбу отечества“. „Притомъ же, у младенчествующихъ народовъ преданія почти всегда облекаются въ поэтическія формы: поэзія едва ли не первое искусство народа“. „Но рано или поздно настанетъ минута, въ которую безжалостная критика, углубляясь въ прошедшее, не устрашится уже таинственнаго мрака. Эта роковая минута настала для Рима задолго до того времени, когда берлинскій ученый предпринялъ исторгнуть ту смоковницу, подъ которою волчица питала Ромула съ Ремомъ, и нисповергнуть алтарь Аія Локуція“ *). Для Россіи тоже „время такого совершеннаго переворота... не замедлило наступить... Начало этого переворота положено М. Т. Каченовскимъ“ **).

Какъ видимъ, появленіе новой точки зрѣнія на періодъ древнѣйшей русской исторіи было совершенно естественно и законно. Это была точка зрѣнія романтизма XIX вѣка, пришедшая на смѣну раціонализму XVIII столѣтія. Намъ остается познакомиться съ представителями новаго взгляда и съ тѣмъ, какое употребленіе было ими сдѣлано изъ этого взгляда въ приложеніи къ русской исторіи.

Біографія основателя школы, М. Т. Каченовскаго, мало похожа на біографію ученыхъ нашего времени. Конецъ XVIII вѣка Каченовскій (род. въ 1775 г.) прослужилъ въ полкахъ и городскихъ учрежденіяхъ. Въ 1801 году бывшему губернскому регистратору и квартирмейстеру удалось опредѣлиться у попечителя Московскаго университета, гр. А. К. Разумовскаго, библіотекаремъ и правителемъ канцеляріи. Съ этихъ поръ Каченовскій быстро пошелъ въ ходъ.

---

*) Вторая и четвертая фразы взяты изъ переводной рецензіи на исторію Нибура, напечатанной въ Вѣстникѣ Европы Каченовскаго за 1830 г., № 17 - 20, стр. 75—92. Первая изъ нихъ перешла въ его собственную статью О баснословномъ времени въ россійской исторіи, изъ которой взята и третья цитированная въ текстѣ фраза (Ученыя Записки Московскаго Университета). Наконецъ, первая фраза изъ статьи О скудости и сомнительности происшествій перваго вѣка нашей исторіи, написанной по лекціямъ Каченовскаго, читаннымъ за два года раньше, и напечатанной въ его журналѣ въ 1830 г. (Вѣстникъ Европы, № 13—16, стр. 161—166; ср. ibid., № 17—20, стр. 33). Ср. статью Надеждина: „Объ историческихъ трудахъ въ Россіи“. Библ. для чтенія, XX, Наука и искусство, стр. 94; тамъ же и характеристика пріемовъ Шлецера съ новой точки зрѣнія, см. стр. 125—133.

**) С. Скромненко: „О недостовѣрности“ и т. д., стр. 5.

Въ 1805 году онъ уже магистръ философіи въ университетѣ, въ 1806 г.—докторъ, въ 1808 г.—адъюнктъ и старшій письмоводитель при попечителѣ, въ 1810 г.—экстраординарный, а въ слѣдующемъ—ординарный профессоръ изящныхъ искусствъ и археологіи. Десять лѣтъ спустя (1821 г.) его переводятъ на каѳедру исторіи, статистики и географіи Россійскаго государства. Еще черезъ десять лѣтъ ему поручаютъ россійскую словесность, и временно—всеобщую исторію и статистику. Если прибавить къ этому, что кончилъ свою карьеру Каченовскій уже въ качествѣ преподавателя исторіи и литературы славянскихъ нарѣчій (1835—† 1842) и что большую часть времени, проведеннаго на каѳедрѣ, онъ издавалъ еще журналъ (*Вѣстникъ Европы*), то увидимъ, что бывшему квартирмейстеру, кончившему свое образованіе 13 лѣтъ въ Харьковскомъ коллегіумѣ было нелегко изучить всѣ тѣ различныя спеціальности, которыя ему приходилось преподавать въ теченіе университетской службы. Въ какой степени онъ успѣлъ, среди всѣхъ своихъ многоразличныхъ занятій, углубиться въ русскую исторію, можно судить, за недостаткомъ подробныхъ біографическихъ данныхъ *), по его печатнымъ статьямъ въ *Вѣстникѣ Европы* (начиная съ 1809 года). Статья *Объ источникахъ русской исторіи* составляетъ простое изложеніе Шлецера, въ которомъ нѣтъ ничего оригинальнаго. *Краткая выписка о первобытныхъ народахъ* есть, дѣйствительно, выписка изъ лѣтописи съ шлецеровскими поправками и шлецеровскою классификаціей на леттовъ, финновъ и славянъ. И статья *Параллельныя мѣста въ русскихъ лѣтописяхъ*, въ которой „автору удалось"—по мнѣнію пр. Иконникова,—блистательно доказать сравнительнымъ путемъ баснословность многихъ извѣстій русскихъ лѣтописей", составлена на основаніи Шлецера и Татищева и ни на шагъ не подвигаетъ вопроса о происхожденіи легендъ начальной лѣтописи. Каченовскій еще стоитъ на точкѣ зрѣнія Шлецера, что всѣ лѣтописныя преданія „умышленно выписаны изъ книгъ чужестранныхъ и вставлены для наполненія пустого промежутка"; онъ только начинаетъ подозрѣвать, не слѣдуетъ ли эти „вымыслы", „включенные въ лѣтопись", по мнѣнію „усердныхъ почитателей преп. Нестора", „уже гораздо позднѣе (въ

---

*) Біографическія данныя о Каченовскомъ см. въ Біогр. словарѣ профессоровъ Моск. унив. I, 333 (ст. Соловьева); въ статьѣ проф. Иконникова: „Скептическая школа въ русской исторіографіи и ея противники" (здѣсь и обзоръ статей Каченовскаго и его послѣдователей), Кіевскія Унив. Извѣстія 1871 г., №№ 9 и 10 (окончаніе въ № 11); въ „Справочномъ словарѣ" Геннади (Берл., 1880) II, 124 и въ Библіографическихъ Запискахъ 1892 года, №№ 4 и 5, статья В. М. Каченовскаго. О занятіяхъ славянствомъ Каченовскаго см. у Кочубинскаго: „Начальные годы русскаго славяновѣдѣнія", стр. 40—50.

XVI в.)", отнести уже ко времени составленія лѣтописи и вину за нихъ возложить на самого лѣтописца.

Въ слѣдующіе годы, до самаго выхода въ свѣтъ *Исторіи* Карамзина, всѣ болѣе значительныя статьи Каченовскаго въ *Вѣстникѣ Европы* относятся къ исторіи русской словесности *). Въ 1817 г. Каченовскій напечаталъ свои *Пробные листки изъ руководства къ познанію исторіи и древностей Россійскаго государства*. Руководство это, начатое имъ за четыре года предъ тѣмъ, было брошено авторомъ, когда появились труды Лерберга и Круга; въ *Пробныхъ листкахъ* мы находимъ простую компиляцію изъ Nordische Geschichte и *Нестора* **).

Въ слѣдующемъ (1818) году встрѣчаемъ въ *Вѣстникѣ Европы* первое нападеніе на Карамзина. Исторіографъ написалъ для императрицы,—очевидно, наскоро и безъ достаточныхъ пособій,—записку о московскихъ достопамятностяхъ: нѣчто въ родѣ путеводителя, по случаю ея поѣздки въ Москву. Записка эта, безъ вѣдома автора, была напечатана. Каченовскій напалъ на ея ошибки, притворяясь, что не вѣритъ, будто Карамзинъ могъ сдѣлать такіе промахи и будто статья дѣйствительно принадлежитъ ему ***). Вслѣдъ затѣмъ начался и разборъ *Исторіи государства Россійскаго въ Письмахъ отъ кіевскаго жителя къ другу* (1818 и 1819 гг.). Разборъ этотъ не пошелъ, однако, дальше предисловія и возраженій на общія воззрѣнія Карамзина.

Такимъ образомъ, до сихъ поръ мы не имѣемъ права быть слишкомъ высокаго мнѣнія объ учености Каченовскаго или самостоятельности и оригинальности его взглядовъ. Говоря словами Погодина, „первые опыты Каченовскаго на поприщѣ исторіи были очень не важны и не заключали въ себѣ почти ничего новаго,—выписки и извлеченія изъ Шлецера, Добровскаго, Тунмана, полезныя потому, что между русскими литераторами въ то время мало еще были извѣстны подлинники" ****). Новая, наиболѣе блестящая пора въ ученой дѣятельности Каченовскаго начинается съ тѣхъ поръ, какъ его переводятъ на каѳедру русской исторіи (1821). Чтеніе лекцій застав-

---

*) О россійскомъ витійствѣ прошлаго вѣка, о Ломоносовѣ, о славянскомъ языкѣ.

**) Въ одномъ мѣстѣ этой статьи можно предполагать намекъ на впечатлѣніе, произведенное Исторіей государства Россійскаго. „Было время,—говоритъ Каченовскій,—когда смѣлые дѣеписатели, не имѣя вѣрныхъ извѣстій, предлагали свои собственныя выдумки; такой способъ удовлетворять любопытству, при нынѣшнемъ состояніи наукъ историческихъ, по справедливости почитается недостойнымъ благомыслящихъ читателей и посрамительнымъ для историка".

***) Погодинъ: „Карамзинъ", II, стр. 230.

****) Моск. Вѣстникъ 1830 г., № 3, стр. 318—320. Цит. у Барсукова, т. III, стр. 110—111.

ляетъ профессора серьезнѣе ознакомиться если не съ источниками, то, по крайней мѣрѣ, съ литературой русской исторіи. Предметомъ его изученія, такъ же, какъ и предметомъ преподаванія съ каѳедры, становится древнѣйшій періодъ. Направленіе лекцій само собою опредѣляется старинною зависимостью Каченовскаго отъ Шлецера, а появленіе *Исторіи государства Россійскаго* даетъ возможность придать Шлецеровской критикѣ характеръ послѣдняго слова науки. „Всѣ ложныя понятія, господствовавшія въ россійской исторіи", какъ доказывала исторія Карамзина, „до нашего (1830) времени, о какой-то Рюриковой монархіи, о какихъ-то столицахъ, о какомъ-то благоустроенномъ правительствѣ и какихъ-то историческихъ видахъ и ошибкахъ первыхъ князей полудикихъ, о какихъ-то правахъ на титло великаго, о какомъ-то героизмѣ, о какой-то мудрости, о какомъ-то гражданскомъ просвѣщеніи, всѣ сказки, повторявшіяся", вслѣдъ за Карамзинымъ, „безъ малѣйшаго измѣненія" даже въ школьныхъ учебникахъ сдѣлались теперь предметомъ обличенія съ каѳедры, къ величайшему интересу аудиторіи *).

Во всемъ этомъ не было, правда, еще ничего „скептическаго". Тотъ „скептицизмъ", которымъ отличается школа Каченовскаго отъ современнаго ей критическаго направленія исторической мысли, развился у самого основателя школы мало-по-малу уже въ теченіе двадцатыхъ годовъ. Особенность этого скептицизма состояла не столько въ *цѣли*, которую ставили себѣ скептики, сколько въ выборѣ тѣхъ *средствъ*, съ помощью которыхъ они думали этой цѣли достигнуть. Цѣль у всѣхъ была одна: и скептики, и ихъ современники хотѣли разрушить традиціонныя представленія о какомъ-то небываломъ величіи и могуществѣ нашей начальной исторіи. Но большинство современниковъ винило за эти представленія позднѣйшихъ переписчиковъ лѣтописи или историковъ, начиная съ Татищева и кончая Карамзинымъ. Скептики же нашли корень всѣхъ этихъ фантастическихъ представленій въ подлинныхъ показаніяхъ источниковъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не начинается каждая исторія, по новымъ историческимъ понятіямъ, періодомъ баснословнымъ? Скептикамъ не было даже надобности изучать русскіе источники, чтобы рѣшить, что въ нихъ уже заключаются „тѣ ложныя понятія о могуществѣ, богатствѣ и славѣ" древней Руси, которыя поражали ихъ въ *Исторіи государства Россійскаго*. Поэтому, вмѣсто того, чтобы бороться съ отдѣльными литературными украшеніями исто-

*) Мы нарочно цитируемъ для характеристики исходнаго пункта лекцій Каченовскаго слова его будущаго противника Погодина, чтобы тѣмъ рѣзче подчеркнуть господствовавшее настроеніе описываемаго момента. Оппозиція Карамзину, какъ видимъ, одинаковая у сторонника Шлецера и у основателя скептической школы. Моск. Вѣстн. 1830 г., рецензія на учебникъ Кайданова, цит. у Барсукова, т. III, стр. 191.

риковъ, они предпочли заподозрить фактическія показанія источника и пресѣчь, такимъ образомъ, зло въ самомъ корнѣ. „Если въ лѣтописи и Русской Правдѣ находятъ подтвержденіе мнѣнія о могущественномъ государствѣ Олеговъ и Владиміровъ, если договоръ Олега есть доказательство того, что руссы были не варвары, если" всѣ эти источники свидѣтельствуютъ, что „Новгородъ велъ значительную торговлю", то не значитъ ли это, что и лѣтопись, и Русская Правда, и договоры—одинаково подозрительны *)? Съ этой точки зрѣнія „польза" и даже необходимость скептицизма была совершенно несомнѣнна. *Если* лѣтопись, дѣйствительно, поддерживаетъ традиціонный взглядъ на древній періодъ, то, „конечно", „принявъ мнѣніе о позднемъ составленіи" и недостовѣрности нашихъ лѣтописей, мы „освободили бы исторію отъ этого традиціоннаго взгляда": „не баснословили бы о началѣ государства; не приписывали бы предкамъ нашимъ небывалыхъ тріумфовъ и не выводили бы пустыхъ слѣдствій изъ договоровъ несбыточныхъ; не философствовали бы о политическихъ видахъ Ольги и Святослава; не составляли бы ложныхъ понятій о древнемъ могуществѣ, богатствѣ и славѣ любезнаго нашего отечества и не растягивали бы безъ нужды границъ онаго, соблюли бы историческую перспективу, соблюли бы истину" **).

Какъ видимъ, первая посылка скептическаго силлогизма была построена на основаніи новыхъ историческихъ взглядовъ: русскіе источники, *какъ и всякіе другіе*, содержатъ баснословныя представленія о древнѣйшемъ періодѣ исторіи. Тѣ же новыя воззрѣнія подсказали и вторую посылку: подобныя историческія представленія „противорѣчатъ общимъ законамъ развитія каждаго государства, каждаго народа" ***). Эта вторая посылка особенно характерна для новаго направленія: она выдвигаетъ совершенно новый критерій исторической достовѣрности. Далеко не ясно сознанный самимъ основателемъ школы, этотъ критерій совершенно сознательно формулированъ однимъ изъ его временныхъ приверженцевъ, Надеждинымъ ****). „Критика, низшая и высшая, въ тѣхъ предѣлахъ, въ какихъ заключаютъ ее нынѣ,—говоритъ Надеждинъ,—совсѣмъ недостаточна для достиженія несомнѣнной исторической достовѣрности.

---

*) Этотъ основной силлогизмъ скептиковъ формулированъ уже К. Н. Бестужевымъ-Рюминымъ въ его статьѣ Современное состояніе русской исторіи, какъ науки. Московское Обозрѣніе 1859 г., кн. I, стр. 54.

**) Слова Каченовскаго въ статьѣ О баснословномъ времени въ россійской исторіи.

***) С. Скромненко: „О недостовѣрности древней россійской исторіи", стр. 28.

****) Библіотека для Чтенія 1837 г., т. XX. „Объ исторической истинѣ", стр. 148, 153—154.

Этотъ недостатокъ состоитъ именно въ томъ, что критика до сихъ поръ ограничивалась только разборомъ свидѣтельствъ, а не содержащихся въ нихъ фактовъ, или, яснѣе, что она основывала всю достовѣрность фактовъ на достовѣрности свидѣтельствъ". Съ новой точки зрѣнія, „всякій фактъ самъ въ себѣ имѣетъ внутреннія условія достовѣрности, которыя гораздо важнѣе и выше, которыя часто не зависятъ нисколько отъ достовѣрности свидѣтельствъ, а, напротивъ, даютъ имъ достовѣрность. Эти внутреннія условія составляютъ историческую *возможность* факта,—возможность не отрицательную только, заключающуюся въ отсутствіи противорѣчія, но положительную, состоящую въ полномъ согласіи его съ *законами историческаго развитія* жизни. Никакой древній историческій манускриптъ, никакой извѣстный авторитетъ, выдержавшій всю пытку обыкновенной критики, не убѣдитъ меня въ подлинности факта, если онъ представляетъ рѣшительное противорѣчіе съ этими законами; напротивъ, полное согласіе съ ними внушаетъ довѣренность къ факту, хотя бы онъ опирался на преданіяхъ, не удовлетворяющихъ требованіямъ нынѣшней критики". Въ этихъ словахъ Надеждина какъ нельзя лучше охарактеризованъ тотъ шагъ впередъ, который сдѣлала теорія исторической критики со времени Шлецера. Не довольствуясь „формальной критикой" послѣдняго, новое направленіе требовало критики „реальной"; и въ этомъ требованіи заключается вся суть раскола между скептиками и остальными послѣдователями Шлецера. Но та же статья Надеждина лучше всего показываетъ, что до такого раскола Каченовскій не могъ дойти старыми средствами. Дѣло въ томъ, что статья направлена *противъ* самого Каченовскаго, какъ представителя „формальной" Шлецеровской критики. Надеждинъ не безъ основанія показываетъ, что формальная критика необходимо приводитъ къ отрицанію и разрушенію, къ одностороннему скептицизму, „тогда какъ произведеніе положительнаго убѣжденія, при настоящихъ ея средствахъ, почти невозможно". Дѣйствительно, поднявъ возстаніе противъ Шлецера, Каченовскій, въ сущности, продолжалъ стоять ближе къ Шлецеру, чѣмъ къ новому направленію. Вмѣстѣ съ новымъ направленіемъ онъ провозгласилъ „баснословность" лѣтописныхъ преданій; но то, что представлялось ему въ этихъ „баснословныхъ" преданіяхъ голой „выдумкой", которую слѣдуетъ просто отбросить *),—людямъ новаго направленія представлялось „миѳомъ", въ которомъ слѣдуетъ доискиваться правды, внутренней вѣроятности. Сомнѣнія Каченовскаго повели его къ доказательству недостовѣрности древнихъ

*) Разногласіе съ Шлецеромъ было тутъ только въ томъ, кто виноватъ въ этой выдумкѣ: самъ лѣтописецъ или позднѣйшіе переписчики и компиляторы.

источниковъ, тогда какъ самый талантливый изъ его учениковъ (Скромненко), даже принявъ взгляды учителя, охотно призналъ, что въ легендахъ лѣтописи мы имѣемъ дѣло не съ сознательнымъ обманомъ, а съ добросовѣстнымъ заблужденіемъ.

Промежуточное положеніе скептической школы между критическимъ и философскимъ направленіемъ исторической мысли особенно характерно подчеркивается тѣмъ фактомъ, что изъ двухъ своихъ основныхъ посылокъ первую скептики унаслѣдовали, въ сущности, отъ Шлецера, а вторую взяли изъ философскихъ аксіомъ своего времени. Русскіе источники „баснословятъ" о древнѣйшемъ періодѣ; такова, какъ мы знаемъ, первая посылка. Вторую посылку мы также приводили: баснословныя представленія о древнѣйшемъ періодѣ противорѣчатъ общимъ законамъ историческаго развитія. Необходимый выводъ былъ: русскіе источники противорѣчатъ законамъ внутренней достовѣрности. Чтобы избѣгнуть этого вывода, надо было бы только замѣтить, что онъ построенъ на логической ошибкѣ, именуемой quaternio terminorum, т.-е. на употребленіи одного термина въ двухъ разныхъ смыслахъ. „Баснословіе" источниковъ было совсѣмъ не то, что баснословіе ходячихъ историческихъ представленій. Въ первомъ можно было искать внутренней вѣроятности, а послѣднее надо было опровергать, какъ невѣрный ученый выводъ. Но для того, чтобы все это замѣтить, нужно было или лучше знать источники, или глубже проникнуть въ философскій смыслъ новыхъ историческихъ идей.

Отсутствіе того и другого условія создало скептическую школу. Указанный ходъ мысли избавлялъ ее отъ необходимости самостоятельно изслѣдовать источники и внушалъ ея послѣдователямъ апріорную увѣренность въ правотѣ ихъ дѣла. Вооруженные своими аксіомами, скептики не имѣли нужды въ какомъ-либо систематическомъ построеніи русской исторіи; имъ оставалось просто прилагать свою общую точку зрѣнія ко всѣмъ отдѣльнымъ случаямъ, въ которыхъ обнаруживалась устарѣлость воззрѣній ихъ противниковъ.

У самого основателя школы полное развитіе его мнѣній совершилось не сразу, и было бы трудно обозначить моментъ, когда изъ противника Карамзина онъ сдѣлался противникомъ Шлецера. Первое еретическое мнѣніе, съ которымъ онъ выступилъ въ печати и въ преподаваніи, мнѣніе о происхожденіи Руси, не выходило изъ рамокъ старыхъ споровъ и даже вовсе не было его личнымъ мнѣніемъ. Еще Шлецеръ, опираясь на Байера, готовъ былъ признавать существованіе какого-то исконнаго племени южныхъ руссовъ, независимаго отъ прибывшихъ на Русь варяго-руссовъ скандинавскаго происхожденія. Это мнѣніе было однимъ изъ „любимыхъ парадоксовъ" *) Румянцева, а Каченовскій, выдвигая его противъ норман-

*) Выраженіе Карамзина.

низма Карамзина, могъ выставить въ свою пользу еще мнѣнія Фатера, принимавшаго этихъ руссовъ за остатки готовъ на югѣ Россіи, и Эверса, считавшаго ихъ сперва хозарами, а потомъ вообще обитателями Черноморья. Къ доказательствамъ своихъ предшественниковъ въ этомъ вопросѣ Каченовскій ничего не прибавилъ новаго. Точно также не новы были послѣ Шлецера и его сомнѣнія въ древнерусской торговлѣ. Но въ этомъ пунктѣ по одному спеціальному вопросу Каченовскій предпринялъ и самостоятельное изслѣдованіе. Денежную систему нашихъ древнихъ памятниковъ нѣкоторые изслѣдователи считали основанной на кредитныхъ знакахъ, именно на кожаныхъ лоскуткахъ, имѣвшихъ только нарицательную стоимость. Такъ какъ кредитныя деньги предполагали бы существованіе государственнаго кредита, то Каченовскій не могъ допустить ихъ существованіе въ древности и воспользовался намеками Сарторіуса, историка Ганзы, чтобы доказать, что древняя Русь расплачивалась не кожаными лоскутками, а настоящею металлическою монетой, замѣнившею прежніе звѣриные мѣха. Но эту замѣну мѣховъ металломъ Каченовскій объяснилъ вліяніемъ Ганзы и долженъ былъ поэтому отнести къ довольно позднему времени, не ранѣе XIII вѣка. Этотъ-то выводъ, столь, повидимому, спеціальный, сдѣлался исходною точкой всѣхъ остальныхъ заключеній Каченовскаго и долженъ былъ, по его мнѣнію, „произрастить въ отечественной исторіи нашей цвѣты неувядаемые, принести плоды безсмертные для душъ, алчущихъ истины исторической“. Дѣло въ томъ, что всѣ древнѣйшіе памятники русской исторіи держались той же самой денежной системы, которая, какъ теперь увѣренъ былъ Каченовскій, заимствована была на Руси отъ нѣмцевъ не ранѣе XIII столѣтія. Выводъ ясенъ былъ самъ собой, очевидно, всѣ эти памятники составлены не раньше XIII вѣка. Имѣя въ запасѣ этотъ рѣшительный аргументъ, Каченовскій, однако, „не торопился пугать читателей повѣстью такого результата, который, при своей исторической справедливости, долженъ былъ дать другой видъ первымъ столѣтіямъ нашей исторіи“. Даже извѣстный намъ выводъ изъ изслѣдованія „о кожаныхъ деньгахъ“ обставленъ у автора всевозможными оговорками и умолчаніями и виденъ только очень внимательному читателю. Тѣмъ не менѣе, это изслѣдованіе заканчивается многообѣщающими словами, повторенными здѣсь Каченовскимъ уже во второй разъ: „Мы стоимъ на порогѣ неожиданныхъ перемѣнъ въ понятіяхъ нашихъ о ходѣ происшествій на сѣверѣ, начиная съ IX вѣка. Наступить время, когда удивляться будемъ тому, что съ упорствомъ и такъ долго оставались во мглѣ предубѣжденій, почти невѣроятныхъ... Примѣръ передъ глазами: таковы ли нынѣ первые вѣка Рима, какими представлялись они взорамъ ученыхъ до Нибура?“

Дѣйствительно, вслѣдъ затѣмъ Каченовскій попробовалъ примѣ-

нить свои критическіе пріемы на болѣе широкомъ поприщѣ: онъ предпринялъ доказать, что древнѣйшій памятникъ русскаго законодательства, Русская Правда, возникъ подъ тѣмъ же нѣмецко-балтійскимъ вліяніемъ, какъ и русская денежная система. Низшая и высшая критика Шлецера пущены были здѣсь въ ходъ: авторъ доказывалъ, что Правда не дошла до насъ въ подлинномъ видѣ, и что нѣкоторые термины и понятія ея не могли быть извѣстны въ XI в. Но центръ тяжести аргументаціи перенесенъ уже здѣсь съ „формальныхъ“ доказательствъ на „реальныя“. Русская Правда считалась законами, данными Ярославомъ Мудрымъ новгородской городской общинѣ. Каченовскій доказываетъ, что ни кодификація, ни городское самоуправленіе не были извѣстны въ Европѣ до XIII—XIV вѣка, и не могли, слѣдовательно, быть извѣстны въ „уединенномъ Новгородѣ въ началѣ одиннадцатаго столѣтія“. Такимъ образомъ, изслѣдованіе о Русской Правдѣ есть точная иллюстрація методическаго ученія школы *).

„Гораздо прямѣе и подробнѣе“, чѣмъ въ только что названныхъ печатныхъ работахъ, „говорилъ Каченовскій о тѣхъ же предметахъ на лекціяхъ“ **). Здѣсь профессоръ чувствовалъ себя менѣе связаннымъ строгими требованіями ученаго изслѣдованія и безопаснымъ отъ провѣрочной критики товарищей по спеціальности. Здѣсь-то, во время университетскаго преподаванія и *для* преподаванія, окончательно сложилась система скептическихъ взглядовъ на древнюю русскую исторію. Не рѣшаясь опубликовать ее самъ и отъ своего имени, Каченовскій, однако же, напечаталъ въ своемъ журналѣ и въ *Ученыхъ Запискахъ* университета цѣлый рядъ студенческихъ сочиненій, воспроизводившихъ по частямъ читанныя имъ лекціи ***).

---

*) Оба разсужденія: о кожаныхъ деньгахъ и о Русской Правдѣ перерабатывались Каченовскимъ нѣсколько разъ; онъ смотрѣлъ на то и другое какъ на такіе труды, „коими должно быть ознаменовано мое существованіе въ здѣшнемъ свѣтѣ, какъ профессора исторіи и статистики государства Россійскаго“ (В. Евр. 1829 г. №№ 13—16, стр. 24). Первая редакція обѣихъ статей появилась въ В. Евр. за 1827—1829 годы. Въ исправленномъ и дополненномъ видѣ онѣ перепечатаны были затѣмъ въ Ученыхъ Запискахъ Московскаго Университета за 1835 годъ (№№ 3, 4, 9, 10). Тогда же Каченовскій началъ готовить и отдѣльное изданіе, но, „не кончивъ, лѣтъ за семь до своей кончины, остановился, увидѣвъ, вѣроятно, невозможность доказать первое свое опрометчивое утвержденіе“. Погодинъ: „Изслѣдованія“, стр. 255 Напечатанные 13 листовъ были выпущены уже послѣ смерти К. въ 1849 году, подъ заглавіемъ: Два разсужденія о кожаныхъ деньгахъ и о Русской Правдѣ покойнаго засл. проф. Импер. Москов. univer. М. Т. Каченовскаго.

**) Свидѣтельство одного изъ слушателей и послѣдователей Каченовскаго, С. Строева (Скромненка), въ статьѣ О недостовѣрности и т. д., стр. 6.

***) „Плодомъ этихъ чтеній, — говоритъ С. Строевъ, — было нѣсколько историческихъ диссертацій, написанныхъ его слушателями въ томъ духѣ,

Вслѣдъ за своимъ профессоромъ авторы этихъ сочиненій рѣшили, что древняя исторія, какъ ее изображаютъ древніе памятники, „совершенно не въ духѣ IX и X столѣтій“. Памятники показываютъ, что въ IX и X столѣтіи существовало Россійское государство, превосходившее своею обширностью едва ли не всѣ тогдашнія государства европейскія; государство это находилось тогда въ самомъ цвѣтущемъ состояніи: оно имѣло богатые города и столицы, придворный штатъ, монетную систему, законы гражданскіе, флоты, правильно устроенные, постоянныя войска, обширную торговлю; знакомо было съ пышностью и роскошью, искусствами механическими, изящными, краснорѣчіемъ, зодчествомъ и пр. Эта обширная монархія основана была на сѣверѣ однимъ изъ трехъ братьевъ норманновъ, пришедшихъ изъ-за Балтійскаго моря; преемники его въ нѣсколько лѣтъ распространили свои завоеванія на югѣ нынѣшней Россіи, нападали на Константинополь, заключали съ греческими императорами мирные трактаты и т. д.“. Но сравненіе съ всеобщею исторіей показываетъ, что въ IX и X ст. предки наши не могли находиться въ такомъ состояніи, а сравненіе съ достовѣрными свидѣтельствами современныхъ этому періоду иностранныхъ источниковъ убѣждаетъ, что они и дѣйствительно не находились въ немъ; въ дѣйствительности „очевидцы и современники“ показываютъ намъ, „что въ IX и X ст. былъ грубый и дикій народъ—руссы, жившій на югѣ нынѣшней Россіи, занимавшійся разбоями и грабежами, что онъ опустошалъ берега морей Чернаго и Каспійскаго, что онъ покорилъ своей власти славянскія племена, жившія на Днѣпрѣ, имѣлъ своихъ князей, которые ежегодно ѣздили собирать дань съ подвластныхъ имъ славянскихъ племенъ (слѣдовательно, находились на низшей ступени гражданской образованности) и т. д.“ *) И такъ, русскіе источники не достовѣрны. И договоры съ греками, и Русская Правда, и самая лѣтопись составлены „въ духѣ XIII и XIV

въ какомъ писалъ профессоръ“. Самъ Каченовскій свидѣтельствуетъ объ одной изъ этихъ статей: „Плодомъ сихъ бесѣдъ (лекцій о русской исторіи) явилось сочиненіе на заданную тему: *О времени и причинахъ вѣроятнаго переселенія славянъ на берега Волхова*“. По словамъ Погодина, „студенты, имѣвшіе къ нему (Каченовскому) отношеніе, какъ къ профессору, декану и, наконецъ, ректору, должны были, benevolentiae captandae causa, писать классическія упражненія въ его духѣ и подвели разсужденія изъ общихъ мѣстъ подъ его отрицанія и знаки вопроса“. *Изслѣдованія, замѣчанія и лекціи*, т. I, стр. 331. О „любимыхъ темахъ“ Каченовскаго и о томъ, что студенты принимали въ разсчетъ его взгляды, мы знаемъ и отъ его слушателей. См. *Переписку Станкевича*, стр. 84. Нельзя не прибавить, что „общія мѣста“ часто удавались молодому поколѣнію учениковъ лучше, чѣмъ самому учителю.

*) С. *Скромненко*, о. с., 11—29. Характернымъ для школы образомъ, первая картина составлена по Карамзину, но приписана источникамъ.

столѣтій", когда, дѣйствительно, благодаря балтійскимъ нѣмцамъ и Ганзѣ, проникли на Русь и торговля, и просвѣщеніе черезъ посредство Новгорода. Здѣсь, въ Новгородѣ, и составлены заподозрѣнные документы: договоры по образцу ганзейскихъ, лѣтопись по образцу нѣмецкихъ хроникъ. Самая географія и этнографія древней лѣтописи выкрадены изъ этихъ хроникъ, изъ Гельмольда и Адама Бременскаго; всѣ эти поляне, древляне, волыняне никогда не существовали въ дѣйствительности и перенесены въ Приднѣпровье компиляторомъ XIII—XIV вѣка, который просто „присвоилъ славянамъ россійскимъ имена славянъ балтійскихъ"—полабовъ, голцатовъ (отъ Holz—дерево) и т. д. Самый Новгородъ, въ которомъ составлялась заднимъ числомъ, изъ политическихъ видовъ, кіевская лѣтопись, вовсе еще не существовалъ въ XI столѣтіи; онъ появляется не раньше XII вѣка, и есть колонія балтійскихъ славянъ, пришедшихъ изъ Вагріи. Эти „вагры" (славяне) и суть „варяги" нашей лѣтописи. Нечего и говорить, что всѣ разсказы лѣтописи объ основаніи и первыхъ временахъ государства есть чистый вымыселъ *).

Общія идеи скептической школы о закономѣрности историческаго процесса, о роли легендъ въ древнѣйшей исторіи, точно такъ же, какъ ея понятія о реальной критикѣ, представляли несомнѣнный шагъ впередъ въ развитіи русской исторической мысли. Но приложеніе этихъ взглядовъ и пріемовъ къ разработкѣ русскихъ источниковъ вышло черезчуръ неосторожнымъ. Какъ первая посылка скептиковъ, приписывавшая источникамъ взгляды Карамзина и Ломоносова, такъ и послѣдній выводъ, объявлявшій источники недостовѣрными на

---

*) Кромѣ статей, цитированныхъ въ предыдущихъ примѣчаніяхъ, мнѣнія скептиковъ изложены были въ слѣдующихъ: С. М. Строева (Скромненка): „О пользѣ изученія россійской исторіи въ связи со всеобщею" (Уч. Зап. Моск. Унив. 1833 г., №№ 4—7); „О мнѣніяхъ касательно происхожденія Руси" (Сынъ Отеч. 1835 г., часть 51); „Критическій взглядъ на статью (Сенковскаго) подъ заглавіемъ: Скандинавскія саги", помѣщенную въ I т. Библ. для Чтенія. М., 1834 г., стр. 74; Перемышлевскаго: „О времени и причинахъ вѣроятнаго переселенія славянъ на берега Волхова) „Уч. Зап. 1833 г., № 9); Станкевича: „О причинахъ постепеннаго возвышенія Москвы до смерти Іоанна III"; Стрекалова: „Объ историческихъ трудахъ и заслугахъ Болтина" (Уч. Зап. 1835 г., №№ 11 и 12); Н. Сазонова: „Объ историческихъ трудахъ и заслугахъ Миллера" (Уч. Зап. 1835 г., №№ 1 и 2); неизвѣстнаго автора: „О скудости и сомнительности происшествій перваго вѣка нашей древней исторіи отъ основанія государства до смерти Игоря" (Вѣст. Евр. 1830 г., №№ 13—16, 16—20). Ср. Буткова: „Оборона лѣтописи русской", стр. I—II; Погодина: „Изслѣдованія", т. I, стр. 333; Барсукова, стр. 217—218. Изложеніе статей см. у Погодина и Иконникова (Кіев. Изв. 1871 года, сент., стр. 28—32; окт., стр. 13—14). „Всѣ школьники,—по выраженію Погодина, оставивъ университетъ, перестали писать тогда же, кромѣ одного (Строева), который продолжалъ писать въ этомъ духѣ еще годъ" (Изслѣдован., т. I, стр. 331).

основаніи этихъ взглядовъ, одинаково свидѣтельствовали о плохомъ знакомствѣ съ источниками. При отсутствіи серьезнаго спеціальнаго изученія и вся система гипотезъ, которыми скептики стремились доказать позднее происхожденіе источниковъ, оказывалась построенной на пескѣ. Разрушить это скороспѣлое построеніе было весьма благодарною задачей, и скоро нашлись критики, не оставившіе въ немъ камня на камнѣ.

Первымъ выступилъ противъ скептической школы Погодинъ. Самъ представитель молодого поколѣнія и слушатель Каченовскаго, Погодинъ не могъ остаться чуждымъ этимъ новымъ идеямъ, совпаденіе съ которыми сдѣлало лекціи „великаго скептика" такими популярными среди молодежи. Но отношенія къ Каченовскому сложились у Погодина иначе, чѣмъ у другихъ студентовъ, его послѣдователей. Погодинъ узналъ Каченовскаго, какъ профессора, раньше того „счастливѣйшаго времени въ литературной жизни" послѣдняго, когда Каченовскій сдѣлался на нѣсколько лѣтъ любимымъ профессоромъ молодежи. Когда Погодинъ былъ студентомъ, Каченовскій читалъ эстетику, а на русскую исторію перешелъ какъ разъ въ годъ окончанія курса Погодинымъ (1821). „Если сравнить со Шлецеромъ,—писалъ въ этотъ самый годъ Погодинъ,—тѣхъ, которыхъ у насъ называютъ знатоками, напримѣръ, Каченовскаго,—какіе пигмеи!" Готовясь къ магистерскому экзамену, Погодинъ, однако же, долженъ былъ завязать личныя сношенія съ Каченовскимъ, сотрудничалъ въ его журналѣ и посѣщалъ его лекціи. Профессоръ былъ тогда еще только противникомъ Карамзина, а не Шлецера, и на лекціяхъ доказывалъ хозарство и южное происхожденіе Руси. Тема эта еще гимназистомъ интересовала Погодина, негодовавшаго изъ патріотизма на Карамзина за то, что тотъ основаніе государства приписывалъ иностранцамъ (норманнамъ). Теперь, - очевидно, подъ вліяніемъ лекцій Каченовскаго,—Погодинъ остановился окончательно на этомъ сюжетѣ для своей диссертаціи и принялся за работу. Въ результатѣ онъ очень скоро убѣдился въ норманнизмѣ Руси и началъ критиковать авторитеты Каченовскаго; сперва Фатера, а потомъ и Эверса, указаннаго ему самимъ профессоромъ. Это повело къ первымъ столкновеніямъ; критику на Фатера Каченовскій отказался помѣстить въ своемъ журналѣ (1823 г.), и диссертація *О началѣ Руси*, отрывки изъ которой печатались въ *Вѣстникѣ Европы*, прошла не безъ нѣкоторыхъ затрудненій (1825 г.) Отношенія между литературными противниками, однако, не только не разстроились послѣ диспута, а, наоборотъ, сдѣлались еще лучше. Двойною причиной этого, кажется, было то, что Погодинъ въ это время открыто присоединился къ противникамъ Карамзина (въ своемъ *Московскомъ Вѣстникѣ*) и съ возрастающимъ интересомъ сталъ слѣдить за новой стадіей скептицизма Каченовскаго. Его *Разсужденія* „подѣйствовали

и на меня,—признавался онъ позднѣе,—связь этнографическая Новгорода съ Балтійскимъ поморьемъ мнѣ нравилась, а таинственные намеки о происхожденіи Русской Правды, тогда не слишкомъ еще для меня знакомой, возбуждали мое любопытство, и я началъ ожидать съ нетерпѣніемъ обѣщанныхъ разъясненій и подтвержденій". Однако же, и тогда (1829 г.) Погодинъ находилъ, что „скептицизмъ Каченовскаго слишкомъ далеко простирается". Когда же начали появляться студенческія статьи (1833 г.), Погодинъ выступилъ противъ Каченовскаго въ университетѣ и въ печати; онъ составилъ статью *О достовѣрности древней русской исторіи*, прочелъ ее студентамъ на лекціи и затѣмъ напечаталъ въ *Библіотекѣ для Чтенія* *). Каченовскій пожаловался начальству, но министръ Уваровъ, признавая за Каченовскимъ ученость, за Погодинымъ признавалъ благонамѣренность; онъ полагалъ, что „потрясеніе нашихъ лѣтописцевъ предосудительно для нашего народнаго чувства", и хотѣлъ, чтобы въ журналѣ министерства „былъ показанъ весь вредъ безвѣрія въ наши лѣтописи **). Такимъ образомъ, положеніе, занятое Погодинымъ въ ученомъ спорѣ, не только не повредило ему въ служебномъ отношеніи, но, напротивъ, упрочило его положеніе въ университетѣ и послужило къ его реабилитаціи, въ которой онъ сильно нуждался послѣ своихъ нападеній на Карамзина. Министръ началъ оказывать ему знаки своего благоволенія, выслушивалъ его мнѣнія о положеніи университета, при случаѣ поручилъ ему передать эти мнѣнія новому попечителю, гр. Строганову. Въ результатѣ этихъ сношеній при введеніи новаго устава 1835 года каѳедра русской исторіи была отнята у сильно устарѣвшаго Каченовскаго и передана Погодину ***). „Врагъ нашей старины" ****), очевидно, не годился для „новой эры" университетскаго преподаванія въ духѣ православія, самодержавія и народности.

Съ этихъ поръ „защита историческаго православія", т.-е. лѣтописи и вообще древняго періода, отъ нападеній скептиковъ становится на нѣкоторое время спеціальностью и даже какъ бы оффиціальною обязанностью Погодина *****). Вмѣсто призывовъ къ

---

*) Барсуковъ „Жизнь Погодина", т. I, стр. 30, 61, 72, 95, 146, 154, 221—22, 228—230, 243, 253, 255, 275, 291, 293; т. II, стр. 359. Погодинъ: „Изслѣдованія", т. I, стр. 328—329.

**) 1834 г., № 10. Барсуковъ, т. IV, стр. 218—219.

***) Барсуковъ, т. IV, стр. 208—212, 309—311, 347 („Каченовскій, получившій славянскія нарѣчія, вмѣсто русской исторіи, возненавидѣлъ меня еще болѣе и приписалъ то моимъ козням",—повидимому, не безъ основанія. Ср. еще Барсуковъ, т. V, стр. 18).

****) Выраженіе Шафарика о Каченовскомъ.

*****) „Дай Богъ успѣховъ въ полезныхъ трудахъ вашихъ на защиту историческаго православія",—писалъ служившій у министра Сербиновичъ, поздравляя Погодина съ новымъ 1837 годомъ. Барсуковъ, V, стр 33.

строгой критикѣ и къ отрицанію авторитетовъ, какихъ бы то ни было, съ каѳедры русской исторіи раздались теперь другія рѣчи. Погодинъ приглашалъ студентовъ учиться любви къ отечеству и „смиренномудрію“ у Нестора, „съ нетлѣнныхъ останковъ котораго всѣ клеветы и напраслины сбѣгаютъ чужою чешуей“; водрузить „не портретъ, но освященный *образъ*“ его въ „пантеонѣ русской литературы“ и „молиться ему, чтобы онъ послалъ намъ духа русской исторіи“. Одновременно съ этимъ Погодинъ продолжалъ печатать журнальныя статьи противъ скептиковъ. За первою статьей, названною выше, послѣдовали двѣ другія: *Кто писалъ Несторову лѣтопись; Первобытный видъ и источникъ Несторовой лѣтописи.* На всѣ три статьи младшій Строевъ отвѣчалъ не безъ таланта; на нѣкоторыхъ второстепенныхъ позиціяхъ Погодину пришлось даже, вслѣдствіе этихъ возраженій, отступиться отъ строгаго „православія“. Такъ, онъ призналъ, что лѣтопись есть сводъ различныхъ источниковъ, а не цѣльное сочиненіе одного автора; согласился и съ тѣмъ, что вопросъ объ авторствѣ Нестора имѣетъ второстепенное значеніе сравнительно съ вопросомъ о достовѣрности лѣтописи *). Вѣроятно, необходимость осмотрѣться въ занятой позиціи и пересмотрѣть еще разъ всѣ свои доказательства заставила Погодина на время отказаться отъ начатой полемики. „Свои изслѣдованія о первомъ періодѣ,—рѣшаетъ онъ въ дневникѣ (1836 г.),—представлю какъ диссертацію, защищу и съ бою войду на каѳедру. Тутъ всего приличнѣе произнести судъ Каченовскому“. Въ 1838 г. докторская диссертація Погодина была готова; послѣ годичнаго перерыва, употребленнаго на заграничную поѣздку, Погодинъ выпустилъ своего *Нестора* въ свѣтъ (конецъ 1839 г.) **). Это было какъ разъ во-время, такъ какъ въ слѣдующемъ 1840 году вышла книга, задававшаяся тою же цѣлью, какъ и погодинскій *Несторъ*, и выполнявшая ее съ еще большею ученостью и съ большимъ глубокомысліемъ. Мы разумѣемъ *Оборону лѣтописи русской, Нес-*

---

*) Погодинъ: „Изслѣдованія“, I, стр. 226—229, 261, 478—484. Первый отвѣтъ Строева („О недостовѣрности“ и т. д.) мы не разъ цитировали. Въ немъ въ свою очередь сдѣланы уже нѣкоторыя уступки. Другіе отвѣты въ Сынѣ Отечества 1835 года: „Кто писалъ нынѣ намъ извѣстныя лѣтописи“ (ч. 47) и „О первобытномъ видѣ и источникахъ нынѣ намъ извѣстныхъ лѣтописей“ (ч. 48), и отдѣльно: „О мнимой древности, первобытномъ состояніи и источникахъ нашихъ лѣтописей“ (Спб., 1835 г.). Статьи Погодина въ Библіотекѣ для Чтенія 1835 г., VIII и IX. Отзывы его о статьяхъ Строева см. у Барсукова, IV, стр. 220; V, стр. 377 („показалъ свои діалектическія способности, живость ума, познаніе языка; правое дѣло нельзя почти было запутывать ловчѣе, фехтовать на словахъ искуснѣе“).

**) Барсуковъ, IV, стр. 220, 293—298, 396; V, 33—35, 46, 177 (разсужденіе „О послѣднихъ историческихъ толкахъ“, прочтенное въ засѣданіи Общ. ист. и др. росс. 23 февр. 1838 г.), стр. 399—402

торовой, отъ навѣта скептиковъ П. Буткова. Несмотря, однако, на умъ и ученость автора, книга проигрывала въ одномъ, весьма существенномъ отношеніи. Съ своими этимологіями въ стилѣ Шишкова *), съ своими поисками Кіева во времена Геродота, Новгорода въ VI вѣкѣ послѣ Р. Х. и славянъ, „съ незапамятныхъ временъ", на Кавказѣ и въ предѣлахъ древней Скиѳіи, съ безусловною вѣрой въ Нестора и въ его писательское „благоразуміе и правдивость"— Бутковъ являлся представителемъ поколѣнія, давно сошедшаго со сцены, а его изслѣдованіе, при всѣхъ своихъ серьезныхъ достоинствахъ, казалось какимъ-то анахронизмомъ. Какъ бы то ни было, *Несторъ* Погодина и *Оборона лѣтописи* Буткова сдѣлали свое дѣло: фантазіи скептиковъ были безповоротно осуждены **). Противъ этого вердикта спеціалистовъ современная критика могла выставить только одно возраженіе, но и то касалось не существа приговора, а только его формы. Каковы бы ни были мнѣнія скептиковъ, возражали Буткову, все же это ученыя мнѣнія, а не уголовные проступки. „Лѣтопись преподобнаго Нестора – не каноническая книга церкви; слѣдовательно, нисколько не предосудительно заниматься повѣркою ея бытописаній". Что сдѣлалъ, въ самомъ дѣлѣ, дурного, чѣмъ развратилъ молодежь „великій скептикъ", „который возбудилъ въ юношествѣ охоту къ русской исторіи, который своимъ скептицизмомъ не привлекъ къ себѣ множества подписчиковъ, не купилъ на него ни села, ни двора, ни скота, который живетъ въ смиренной долѣ русскаго ученаго?" Что дѣлаютъ предосудительнаго или зловреднаго его послѣдователи тѣмъ, что „терпятъ безпокойство, сомнѣнія, роются въ иностранныхъ и отечественныхъ лѣтописяхъ, архивахъ, грамотахъ, чтобы собрать улики противъ мнѣній", кажущихся имъ „несправедливыми, увѣрить самихъ себя и научить истинѣ своихъ соотечественниковъ" ***)? Пе-

---

*) Наприм., шлягъ—щель-лягъ (шкурка звѣря, лежащаго въ щеляхъ), норики – живущіе въ норахъ, самбатасъ (названіе Кіева по Константину Багрянородному)—се мати (буди градомъ русскимъ); волохи—отъ влачу и т. п.

**) Отмѣтимъ здѣсь, кстати, магистерскую диссертацію Алексѣя Ѳедотова: „О главнѣйшихъ трудахъ по части критической русской исторіи", стр. 108. М., 1839 г. Авторъ касается всѣхъ модныхъ вопросовъ его времени: вопросъ о происхожденіи Руси считаетъ нерѣшеннымъ, лѣтопись, договоры и Русскую Правду—достовѣрными и подлинными; исторія Карамзина, по его мнѣнію, въ „критическомъ отношеніи имѣетъ ощутительные недостатки"; но и Шлецеръ не представилъ послѣдняго слова исторической критики. Какъ итогъ мнѣній, вошедшихъ въ ученый обиходъ того времени, книжка Ѳедотова очень характерна. Любопытно сравнить ее съ упоминавшейся выше статьей Надеждина въ Библіотекѣ для Чтенія 1837 г. (Объ историческихъ трудахъ въ Россіи).

***) Галатея (изд. Раичемъ) 1840 г., № 16, стр. 274 277, цит. у Барсукова, т. V, стр. 404 (рецензія на книгу Буткова).

редъ лицомъ науки всѣ равны; скептики „дѣлаютъ то же и для столь же почтенной цѣли, какъ и ихъ противники“. „Жизнь науки есть борьба мнѣній“, и самъ Бутковъ съ Погодинымъ въ этой борьбѣ „увлекаются духомъ критики, толкуютъ и поправляютъ слова лѣтописца“; сами они часто не согласны другъ съ другомъ и, конечно, „не изъяты изъ заблужденій“. „Что же есть скептикъ и что не скептикъ?“ Гдѣ точный признакъ, отличающій одного отъ другого?

Какъ мы знаемъ, точные признаки были, но они сами собой отступили на задній планъ, когда критеріемъ основательности ученыхъ мнѣній сдѣлалась ихъ благонамѣренность. Послѣ того, какъ вѣрные сторонники Шлецера прикрылись знаменемъ Карамзина, ихъ противникамъ только и оставалось защищать самый принципъ свободнаго критическаго изслѣдованія, не разсуждая уже о томъ, *какъ* они этимъ принципомъ воспользовались. При такихъ условіяхъ, естественно, что молодое поколѣніе профессоровъ, обновившее Московскій университетъ въ срединѣ тридцатыхъ годовъ, отнеслось сочувственнѣе къ скептикамъ, чѣмъ къ ихъ оффиціознымъ гонителямъ. Подъ такимъ настроеніемъ сложилась та благопріятная оцѣнка скептической школы, которая отъ поколѣнія С. М. Соловьева перешла къ послѣдующимъ историкамъ. Въ наше время пора снять это ложное освѣщеніе, приданное ученому спору борьбой общественныхъ партій, и возвратить скептической школѣ ту дѣйствительную роль, которую она на самомъ дѣлѣ сыграла въ исторіи нашей науки. Характеризовать скептическое направленіе, какъ „критическое“ вообще, причислять на этомъ основаніи къ „скептикамъ“ изслѣдователей, у которыхъ съ ними не было ничего общаго, напримѣръ, Арцыбашева, считавшаго ихъ „несносными умниками, сердитыми и не сильными вралями“ *), или Полевого, къ которому всѣ университетскіе ученые, скептики и не скептики, относились съ презрѣніемъ, какъ къ самоучкѣ,—вовсе не значитъ реабилитировать скептиковъ; *настоящую* „скептическую школу“ такая характеристика можетъ только лишить и того значенія, которое ей принадлежало въ дѣйствительности **). Какъ ни неудачна была попытка критическаго изученія, сдѣланная Каченовскимъ съ его учениками, все же это была *первая* самостоятельная попытка

---

*) Барсуковъ, т. IV, стр. 295.

**) Указанными недостатками страдаетъ, по нашему мнѣнію, оцѣнка скептической школы, сдѣланная проф. Иконниковымъ. Объ изображеніи Кояловича нечего и говорить; онъ не только сближаетъ со скептиками Арцыбашева, но даже находитъ, что на нихъ, „помимо сознанія ихъ, отражалось“ вліяніе Карамзина; именно „какъ Карамзинъ въ первые годы своей дѣятельности разрабатывалъ свою исторію въ журналахъ, такъ этому пріему послѣдовали и скептики“.

въ этомъ родѣ русскихъ ученыхъ. До двадцатыхъ годовъ русскіе изслѣдователи, въ томъ числѣ и самъ Каченовскій, только повторяли Шлецера или полемизировали съ нимъ въ частныхъ вопросахъ *). Было бы черезчуръ рискованно утверждать, что въ послѣднее десятилѣтіе своего преподаванія (1825—35 г.) Каченовскій „вполнѣ усвоилъ себѣ пріемы критики Шлецеровской и Нибуровской“ (Иконниковъ). У Шлецера онъ взялъ только его результаты, а у Нибура—только представленіе о народномъ творчествѣ въ древніе періоды,—представленіе настолько общее притомъ, что его можно было бы получить даже изъ статей о Нибурѣ, переведенныхъ изъ иностранныхъ журналовъ въ *Вѣстникѣ Европы* и *Сѣверномъ Архивѣ*; мы, въ сущности, даже не знаемъ навѣрное, читалъ ли Каченовскій самого Нибура. Качествомъ ученой работы нельзя мѣрить значенія скептиковъ въ русской исторіографіи, потому что къ серьезному изученію послѣдователи Каченовскаго вовсе не успѣли приступить; съ источниками они были знакомы поверхностно и, поставивъ вопросъ, останавливались тамъ, гдѣ только нужно было начинать ученое изслѣдованіе. Оттого всѣ ихъ выводы имъ самимъ представлялись только „возможными“; оттого, развивая свою мысль въ отрицательномъ направленіи, въ полемической формѣ, они никогда не переходили къ положительному доказательству; отвергая, напримѣръ, мнѣніе, что лѣтопись составлена въ XI вѣкѣ, и не думали серьезно доказывать собственную гипотезу, что она составлена, дѣйствительно, въ XIII или XIV в.

Отчего же критическая идея оказалась такою безплодной въ ученомъ отношеніи? Отчего всѣ, и даже ея сторонники, такъ быстро отъ нея отвернулись? Отвѣчая на этотъ вопросъ, мы уяснимъ себѣ истинную причину успѣха скептицизма Каченовскаго. Новыя идеи, которыя онъ началъ пропагандировать въ 20-хъ годахъ, были дѣйствительно новы и значительны для того момента. Но самъ пятидесятилѣтній профессоръ былъ уже слишкомъ старъ для новыхъ идей, когда сложилась—можетъ быть, неожиданно для него самого—его скептическая школа. Волна, поднявшая Каченовскаго на верхъ ученой славы, пошла не отъ него, и схлынула такъ же быстро, какъ пришла, унося съ собой весь молодой entourage стараго профессора. „Разсматривая опредѣленія исторіи, оставленныя новѣйшими историками,—писалъ младшій Строевъ, самый усердный и самый талантливый изъ скептиковъ,—легко можно видѣть, что всѣ они обращаются около одной мысли, что назначеніе исторіи—найти

*) Совершенно шлецеровскими вопросами и даже цитатами наполнены работы въ первыхъ томахъ Трудовъ О. И. Др. Р., въ Вѣстникѣ Европы и другихъ журналахъ первыхъ двухъ десятилѣтій XIX вѣка. Кромѣ статей самого Каченовскаго, см., напримѣръ, статьи Зубарева, Брусилова.

общіе законы, по которымъ развивалось человѣчество. Сказать, что въ такомъ-то году такой-то полководецъ взялъ такой-то городъ, что въ такомъ-то году пало такое-то государство,—не значитъ писать исторію. Въ такомъ случаѣ исторія не была бы стройною наукой: она представляла бы въ себѣ хаосъ событій, знаніе коихъ ни къ чему бы насъ не довело. Показать истинное значеніе каждаго событія, показать причины, его произведшія, и слѣдствія, имъ произведенныя, наконецъ, показать вліяніе, которое оно имѣло на образованіе всеобщей жизни человѣчества, вотъ дѣло исторіи, возведенной на степень науки. Принимаемая въ этомъ, истинномъ ея значеніи, она должна быть „представленіемъ жизни всего человѣчества въ ея дѣйствительности" (слова Аста) *). Таково было понятіе „философической исторіи", съ которымъ молодое поколѣніе приходило на лекціи Каченовскаго. Едва ли можно сомнѣваться, что самому профессору это понятіе было совершенно чуждо, когда онъ началъ развивать свои сомнѣнія. Конечно, эти сомнѣнія, „знаки вопроса", ссылки на Западъ будили мысль, имѣли воспитательное значеніе, по свидѣтельству будущаго философа-юриста изъ тогдашнихъ слушателей Каченовскаго (Рѣдкина). Мы и видѣли, что во имя этихъ сомнѣній, во имя самостоятельной мысли молодежь льнула къ профессору. Но однѣхъ этихъ мыслей о первобытной дикости Россіи, о недостовѣрности древнихъ памятниковъ, о происхожденіи Руси съ юга было слишкомъ мало, чтобъ удержать и дисциплинировать разбуженный интересъ. Въ освѣщеніи мелочныхъ фактовъ общими мѣстами мало было похожаго на „философію исторіи" для студента, только что пришедшаго изъ аудиторіи Павлова или Надеждина, и мы понимаемъ шутку одного изъ слушателей Каченовскаго,—Станкевича. „Въ одной старинной книгѣ,—пишетъ онъ своему пріятелю,—сказано: „и идоша къ варягамъ въ голштинскую землю". Теперь все рѣшено. Я радъ. Хочу писать „*Философію русской исторіи!*" На приложенной виньеткѣ *Философія русской исторіи* олицетворена въ трехъ фигурахъ. Одинъ господинъ, очевидно, Погодинъ, тыкаетъ пальцемъ вверхъ и говоритъ: „Вотъ откуда пошла русская земля!" Рядомъ съ нимъ другой господинъ (Каченовскій) на каѳедрѣ возражаетъ: „Помилуйте! какъ имъ сюда пробраться съ юга? скажутъ: финны? Ну, да, это другое дѣло". Внизу третій, съ козацкой люлькой, Несторомъ и чешскою грамматикой (Бодянскій), провозглашаетъ: руссы--козаки!... Ге, земляче! колы хочешь знать правду, пойдемъ въ Півтаву!" Наконецъ, самъ Станкевичъ кладетъ руку на книгу съ надписью *Философія рус-*

*) Критическій взглядъ на статью: „Скандинавскія саги". С. Скромненка. М., 1834 г., стр. 14—15.

ской исторіи 1850 г. (письмо писано въ 1838 г.) и восклицаетъ: „Варяги—вагры! Ей-ей, правда!" *).

„Ей-ей, правда",—таково резюме методическихъ пріемовъ Каченовскаго и Погодина въ шутливомъ изображеніи ихъ слушателя, а толки, откуда руссы, съ сѣвера или съ юга,—таково резюме ихъ *Философіи исторіи.* Какими жалкими и скудными должны были, дѣйствительно, казаться эти критическія умствованія, когда рядомъ, въ другой аудиторіи, слушатель получалъ цѣлое философское міровоззрѣніе, въ которомъ человѣкъ тонулъ въ одухотворенной жизни природы и съ гордостью возвращался отъ созерцанія этой жизни, надѣленный космическою ролью—главнаго органа мірового самосознанія! *Философія исторіи* перетягивала у *исторической критики* ея адептовъ; не найдя философско-историческаго построенія у Каченовскаго, молодежь принялась созидать его собственными силами. Вотъ куда ушли, слѣдовательно, эти силы, отвлеченныя отъ спеціальной исторической работы. Отвлеченіе это было, однако же, только кажущимся. Скептическая конструкція русской исторіи не удалась; теперь была очередь за конструкціей философской. Мы скоро увидимъ, что вліяніе философской идеи въ нашей исторіографіи оказалось гораздо глубже и могущественнѣе, чѣмъ вліяніе идеи исторической критики,—и въ результатѣ этого вліянія получились гораздо болѣе обильные плоды.

III.

Переходя къ изученію того вліянія, которое оказали философскія идеи на развитіе русской исторической мысли, мы опять встрѣчаемся съ одною ошибкой исторической перспективы. Блестящая плеяда молодыхъ писателей, вышедшихъ изъ Московскаго университета въ тридцатыхъ годахъ, совершенно затмила поколѣніе своихъ предшественниковъ. Эта энтузіастическая молодежь, большею частью, провела время своего студенчества въ оживленномъ дружескомъ общеніи и изъ университета вынесла впечатлѣніе, что собственно университетскому преподаванію, т.-е. профессорскимъ лекціямъ, она весьма немногимъ обязана. Пойдя съ первыхъ же шаговъ дальше того, на чемъ остановились ея учителя, подвергнувъ идеи, отъ нихъ впервые услышанныя, самостоятельной переработкѣ, молодежь

*) Переписка Станкевича, стр. 245. Не забудемъ, что Станкевичъ самъ прошелъ эту школу, самъ написалъ и напечаталъ одно изъ дюжины студенческихъ сочиненій на тему не изъ „любимыхъ" у Каченовскаго, но съ его любимыми выходками по поводу ненадежности лѣтописей или „заблужденій, въ которыя вводятъ насъ пристрастіе, незнаніе, невѣжество лѣтописцевъ, часто несовременныхъ или удаленныхъ отъ мѣста описываемыхъ ими событій" (О причинахъ возвышенія Москвы).

эта весьма рано почувствовала себя на своихъ ногахъ и привыкла съ самой себя начинать эру новаго просвѣщенія. Такимъ образомъ, весь подготовительный періодъ къ эпохѣ сороковыхъ годовъ самъ собою отодвинулся на задній планъ и скоро былъ позабытъ на долгое время, со всѣми представителями этого переходнаго момента въ исторіи русской мысли. „Идеалисты тридцатыхъ годовъ“ явились въ популярномъ представленіи какъ бы непосредственными преемниками поколѣнія, сошедшаго со сцены въ 1825 г.

Дѣйствительно, учителей молодого поколѣнія тридцатыхъ годовъ мы должны искать среди дѣятелей александровской эпохи; но эти учителя не имѣютъ ничего общаго съ военною молодежью, участвовавшею въ движеніи 14 декабря. Ихъ идеи не требовали жертвъ: вмѣсто политики и общественной жизни, они сосредоточили свой интересъ на философскихъ вопросахъ. Именно поэтому среди разнообразныхъ общественныхъ теченій александровскаго времени они остались почти незамѣченными; когда же и на нихъ обратили вниманіе усердные дѣятели реакціи двадцатыхъ годовъ, ихъ стали преслѣдовать за мнимую связь ихъ идей съ мистическими или революціонными взглядами, а отнюдь не за ихъ собственное міровоззрѣніе. Это послѣднее осталось чуждо и непонятно Магницкимъ и Руничамъ, точно такъ же, какъ оно было чуждо Пестелямъ и Рылѣевымъ.

За послѣднее время довольно многое сдѣлано, чтобы познакомить русскую публику съ этими забытыми предшественниками людей тридцатыхъ годовъ *). Филіація эстетическихъ и философскихъ идей двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ можетъ считаться въ значительной степени выясненной. Но до сихъ поръ не было сдѣлано попытки показать, что и историческія идеи тридцатыхъ годовъ находятся въ тѣсной и неразрывной связи съ тѣмъ же самымъ міровоззрѣніемъ, изъ котораго вытекли новая эстетика и новая философія.

Имя новаго міровоззрѣнія, проникшаго въ Россію въ александровскую эпоху, вошедшаго въ моду со второй половины двадцатыхъ годовъ и безраздѣльно господствовавшаго надъ умами, философски настроен-

*) Назову новое изданіе Очерковъ гоголевскаго періода русской литературы, печатавшихся въ Современникѣ, и статей А. М. Скабичевскаго, напечатанныхъ впервые въ Отечественныхъ Запискахъ (Очерки умственнаго развитія нашего общества) и теперь повторенныхъ въ дополненномъ видѣ въ его сочиненіяхъ (подъ заглавіемъ: Сорокъ лѣтъ критики). Кромѣ того, см. Колюпанова: „Біографія А. И. Кошелева“, т. I. М., 1889 г. Барсукова: „Жизнь и труды М. П. Погодина“, первые три тома. М. М. Филиппова: „Судьбы русской философіи“, статьи въ Русскомъ Богатствѣ, 1894 г., кн. 1, 3, 4, 8, 9. А. Н. Пыпина: „Исторія русской этнографіи“, т. I, и его же: „Характеристики литературныхъ мнѣній 1820—1850 гг.“, изд 2-е.

ными, до второй половины тридцатыхъ годовъ, есть *шеллингизмъ*. Ученіе Шеллинга было, какъ извѣстно, отраженіемъ въ философіи воззрѣній и чувствъ нѣмецкаго романтизма: и усвоеніе этого ученія у насъ было однимъ изъ частныхъ случаевъ того общаго вліянія романтизма, о которомъ говорилось въ началѣ этого отдѣла. Мы познакомимся далѣе съ содержаніемъ новаго философскаго міровоззрѣнія въ его русской обработкѣ; но предварительно необходимо остановиться на самыхъ личностяхъ проповѣдниковъ шеллингизма и отмѣтить главные моменты въ усвоеніи этого ученія русскою интеллигенціей.

Начало направленія, такъ пышно разросшагося впослѣдствіи въ Москвѣ и принесшаго здѣсь такіе обильные плоды, было положено въ Петербургѣ, въ первые годы XIX столѣтія. Первымъ провозвѣстникомъ шеллингизма въ Россіи долженъ считаться профессоръ медико-хирургической академіи, Дан. Мих. Велланскій *).

Изъ своей заграничной командировки (1802) Велланскій привезъ въ Россію натурфилософію Шеллинга и Окена, заимствованную изъ самаго источника. Вскорѣ по возвращеніи онъ выступилъ (1805) съ двумя небольшими сочиненіями, въ которыхъ развивалъ основныя мысли новой системы: диссертаціей на латинскомъ языкѣ (De reformatione theoriae medicae et physicae, auspicio philosophiae naturalis ineunte) и русскою брошюрой *(Пролюзія къ медицинѣ, какъ основательной наукѣ)*. По признанію самого автора, оба произведенія прошли почти незамѣченными. Причину этого совершенно правильно указываетъ самъ Велланскій, когда замѣчаетъ, что „наша публика (александровской эпохи) въ образованіи своемъ слѣдуетъ преимущественно французской, и весьма трудно познакомить оную съ высокимъ духомъ натуральной философіи". Эта трудность, однако, не остановила Велланскаго, и въ 1812 году онъ издалъ уже цѣлый трактатъ, весьма обстоятельный (454 стр.), подъ характернымъ заглавіемъ: *Біологическое изслѣдованіе природы въ творящемъ и творимомъ ея качествѣ, содержащее основныя начертанія всеобщей физіологіи*. Варварскій языкъ этой книги долженъ былъ оттолкнуть обыкновеннаго читателя; но Велланскій и не предназначалъ свое произведеніе для обширнаго круга читателей. „Оно принадлежитъ одной ученой публикѣ, а простые люди не могутъ быть его читателями",—заявляетъ онъ въ *Предувѣдомленіи*. Зато тѣ немногіе любители, которые имѣли мужество осилить непривычную терминологію, могли найти въ *Біоло-*

---

*) Ср. его собственное заявленіе въ извѣстномъ письмѣ къ кн. Одоевскому (Русск. Арх. 1864 г., стр. 994): „За двадцать лѣтъ передъ симъ (1805) я первый возвѣстилъ россійской публикѣ о новыхъ познаніяхъ естественнаго міра, основанныхъ на ѳеософическомъ понятіи, которое хотя зачалось у Платона, но образовалось и созрѣло въ Шеллингѣ".

гическомъ изслѣдованіи то, что вскорѣ сдѣлало шеллингизмъ популярнымъ: основы цѣльнаго философскаго міровоззрѣнія, „абсолютную теорію, посредствомъ которой возможно было бы построить всѣ явленія природы". Послѣднія слова принадлежатъ одному изъ этихъ немногихъ читателей *Біологическаго изслѣдованія*, и, навѣрное, одному изъ самыхъ компетентныхъ, кн. Одоевскому. Вліяніе этой абсолютной теоріи на молодежь кн. Одоевскій сравниваетъ съ современнымъ вліяніемъ соціальныхъ ученій. Быть можетъ, еще лучше было бы сравнить его съ вліяніемъ эволюціонной теоріи: шеллингизмъ, въ сущности, и былъ эволюціонною теоріей въ той фантастической и антинаучной редакціи, какая была возможна при тогдашнемъ состояніи естественныхъ знаній.

Послѣ выхода въ свѣтъ *Біологическаго изслѣдованія* шеллингизмъ начинаетъ привлекать нѣкоторое вниманіе, но не совсѣмъ въ тѣхъ сферахъ, на которыя разсчитывалъ Велланскій. Новыми ученіями начинаетъ интересоваться учащаяся молодежь; съ другой стороны, на нихъ обращаетъ вниманіе правительство. Къ провозвѣстникамъ шеллингизма съ каѳедры присоединяется только что вернувшійся изъ-за границы (1813) Галичъ, на этотъ разъ уже не натуралистъ, а философъ по спеціальности. Хорошо знакомый съ исторіей философскихъ системъ, Галичъ не былъ такимъ фанатикомъ ученія Шеллинга, какимъ былъ Велланскій; чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе онъ оказывается осторожнымъ эклектикомъ и даже человѣкомъ самостоятельно мыслящимъ. Но въ первые годы своего преподаванія въ Педагогическомъ институтѣ, преобразованномъ въ 1819 году въ Петербургскій университетъ, Галичъ считался, повидимому, шеллингистомъ. Какъ бы то ни было, интересъ къ шеллингизму настолько возросъ за нѣсколько лѣтъ послѣ выхода *Біологическаго изслѣдованія*, что Галичъ, издавая въ 1819 г. второй томъ своей замѣчательной *Исторіи философскихъ системъ*, долженъ былъ, по „*требованію* *) многихъ читателей", присоединить къ ней изложеніе системы Шеллинга, хотя это вовсе не входило въ его первоначальный планъ. Въ изложеніи Галича, простомъ и общедоступномъ, русскіе читатели впервые познакомились съ системой, или, точнѣе, съ одной изъ системъ, философіи Шеллинга въ полномъ объемѣ. Здѣсь же, кажется, были названы впервые послѣдователи Шеллинга, прилагавшіе его ученіе къ объясненію историческихъ явленій, Астъ и Штутцманъ. Насколько усилилось вниманіе читателей къ философскимъ теоріямъ за эти немногіе годы, видно изъ того, что выходъ въ свѣтъ книги Галича произвелъ уже нѣкоторую сенсацію въ образованныхъ кругахъ.

Но, съ другой стороны, и правительство обратило вниманіе на

*) Подчеркнуто въ подлинникѣ.

новое философское движеніе среди молодежи. Галичъ былъ лишенъ права преподаванія послѣ извѣстной исторіи 1821 года. Въ лекціяхъ Велланскаго, при всемъ стараніи, не удалось найти ничего предосудительнаго; не даромъ, по его собственнымъ словамъ, онъ ограничивался приложеніемъ новыхъ идей „единственно къ физическимъ предметамъ, не приноравливая оныхъ ни къ какимъ происшествіямъ въ области духа человѣческаго". Однако, и Велланскій, въ виду неблагопріятныхъ обстоятельствъ, предпочелъ умолкнуть *).

Остановить движеніе этими мѣрами, однако, не удалось. Придавленное въ Петербургскомъ университетѣ, оно продолжало развиваться въ Московскомъ. Проповѣдниками его здѣсь явились молодые профессора, усвоившіе себѣ ученіе Шеллинга независимо отъ Велланскаго и Галича. Первый изъ нихъ по времени, если не по достоинству, —И. И. Давыдовъ—не былъ даже шеллингистомъ, а склонялся, наоборотъ, къ эмпирическимъ воззрѣніямъ **). Въ философіи онъ оказался такимъ же оппортюнистомъ, какимъ былъ въ житейскихъ отношеніяхъ; и уже изъ одного того, что Давыдовъ счелъ нужнымъ приспособлять свои взгляды, хотя бы наружно, къ философіи Шеллинга, мы вправѣ заключить, что шеллингизмъ входилъ въ моду. Естественно, что въ рукахъ убѣжденнаго профессора, преподававшаго тѣ же взгляды не только дѣльно и ясно, но горячо и красиво, новыя идеи получили неотразимую силу. Таковъ былъ М. Г. Павловъ, вернувшійся изъ-за границы въ 1820 году и тогда же начавшій свои лекціи по различнымъ отдѣламъ естественной исторіи, по физикѣ и сельскому хозяйству ***) Въ этихъ лекціяхъ слушатели не знали, чему отдать предпочтеніе: логичности мысли или живости изложенія; то и другое приковывало вниманіе студентовъ и возбуждало въ нихъ интересъ, если не къ спеціальной наукѣ, читавшейся Павловымъ, то къ тому міровоззрѣнію, съ помощью котораго онъ умѣлъ дѣлать эту науку интересной.

Плоды преподаванія Павлова и Давыдова не замедлили сказаться и въ университетѣ, и еще болѣе въ соединенномъ съ университетомъ благородномъ пансіонѣ. По свидѣтельству Погодина, „Давы-

*) „До мрачныхъ обстоятельствъ для просвѣщенія въ нашемъ отечествѣ,—пишетъ Велланскій кн. Одоевскому,—я не страшился пустыхъ нареканій. Но съ того времени, какъ обскурантизмъ началъ управлять колесницею русскаго Феба, ужаснулся я отъ тучъ, окружившихъ оную, и остаюсь въ бездѣйствіи".

**) Эмпирическая основа философскихъ воззрѣній Давыдова указана М. М. Филипповымъ (Русское Богатство 1894 г., № 8).

***) И. И. Давыдовъ началъ свое преподаваніе въ университетскомъ пансіонѣ въ 1815 году, тотчасъ послѣ защиты докторской диссертаціи О преобразованіи въ наукахъ, произведенномъ Бэкономъ. Въ университетѣ лекціи читались въ 1817 г.

довъ, инспекторъ пансіона, былъ проводникомъ шеллинговой философіи въ старшихъ классахъ: онъ давалъ книги воспитанникамъ, толковалъ съ ними о новой системѣ и имѣлъ сильное вліяніе на это поколѣніе" *). Разъ въ двѣ недѣли Давыдовъ устраивалъ въ пансіонѣ литературныя собранія воспитанниковъ; на этихъ собраніяхъ читались ихъ произведенія въ прозѣ и стихахъ. Съ помощью пансіонскихъ учителей изъ собраній этихъ возникло въ 1823 г. неоффиціальное литературное общество, извѣстное подъ именемъ Раичевскаго (по фамиліи одного изъ учителей, литератора и переводчика Раича). Въ составъ общества вошло много учениковъ Раича и воспитанниковъ пансіона **). Но наиболѣе увлеченныхъ новыми философскими идеями общество Раича не удовлетворяло. Скоро они выдѣлились и образовали особое „общество любомудрія", съ особымъ уставомъ и протоколами. Общество это просуществовало до 14 декабря 1825 года, когда оно было закрыто самими участниками, а бумаги его торжественно сожжены. Взаимная связь между членами, впрочемъ, не порвалась съ закрытіемъ общества и сохранилась на всю жизнь. Этотъ-то молодой кружокъ учениковъ Давыдова и Павлова занялся дальнѣйшею усердною пропагандой шеллингизма.

Каждую недѣлю по субботамъ пріятели собирались въ Газетномъ переулкѣ, въ квартирѣ князя В. Ѳ. Одоевскаго, которой хозяинъ сумѣлъ придать видъ кабинета Фауста. Въ двухъ комнаткахъ, заваленныхъ фоліантами и квартантами, ретортами и колбами,—вплоть до человѣческаго скелета въ углу съ горделивою надписью: sapere aude, велись далеко за полночь нескончаемые споры о философіи и религіи. Одоевскій предсѣдательствовалъ; главнымъ ораторомъ кружка былъ восемнадцатилѣтній Д. Веневитиновъ; А. И. Кошелевъ былъ его постояннымъ и горячимъ оппонентомъ. Оба послѣдніе не принадлежали къ числу учениковъ благороднаго пансіона. Получивъ домашнее образованіе, очень солидное, они посѣщали университетскія лекціи и сошлись съ Одоевскимъ на увлеченіи проф. Павловымъ. Окончательно сблизила ихъ совмѣстная служба въ московскомъ архивѣ министерства юстиціи, къ которому въ то время прикомандировывалась родовитая московская молодежь для избѣжанія военной службы и для начала дипломатической карьеры. Вмѣсто архивныхъ занятій, „архивные юноши" развлекались въ служебные часы литературой, а затѣмъ перешли къ философіи. Кромѣ названныхъ, къ этому кружку присоединились братья Кирѣевскіе, поступившіе въ архивъ въ 1823 г., при самомъ образованіи кружка, и

---

*) Въ память о кн. В. Ѳ. Одоевскомъ. Засѣданіе Общ. люб. рус. сл. М., 1869 г., стр. 47.

**) Біографія А. И. Кошелева, I, кн. II, стр. 61—72.

другъ Пушкина, Соболевскій, переѣхавшій изъ Петербурга на службу въ московскій архивъ. Въ кружкѣ онъ пользовался репутаціей и привилегіями остряка. Далѣе, въ томъ же 1823 году присоединился, повидимому, къ кружку будущій декабристъ Кюхельбекеръ, лицейскій товарищъ Пушкина, занявшій въ Москвѣ мѣсто учителя въ благородномъ пансіонѣ. Старый товарищъ Одоевскаго по пансіону, Шевыревъ, также съ самаго начала считался членомъ кружка московскихъ „любомудровъ", хотя никогда не былъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ другими членами, а скоро отдалился отъ нихъ и по направленію. Наконецъ, Одоевскій ввелъ въ свой кружокъ еще одного поклонника Павлова и Давыдова, малоросса Максимовича, только что окончившаго курсъ на физико-математическомъ факультетѣ (1823 г.). Въ своихъ *Основаніяхъ зоологіи* (1824 г.) и въ поданномъ Павлову разсужденіи *О системахъ растительнаго царства* Максимовичъ прилагалъ къ біологическимъ наукамъ новые натурфилософскіе взгляды и этимъ пріобрѣлъ себѣ право на вниманіе кружка. Черезъ нѣсколько лѣтъ и Максимовичъ устроился учителемъ въ благородномъ пансіонѣ.

Особою литературною продуктивностью московскіе „любомудры" не отличались. Въ большинствѣ это были люди обезпеченные, не принужденные думать ни о литературномъ заработкѣ, ни объ ученой карьерѣ. На умственную дѣятельность они смотрѣли не какъ на тяжелый трудъ, а какъ на благородное развлеченіе. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ И. Кирѣевскій, мечтали о журнальной и литературной дѣятельности, какъ о серьезномъ общественномъ подвигѣ; но почти всѣ могли бы охарактеризовать свое времяпрепровожденіе словами того же Кирѣевскаго: „Прожектовъ много, а лѣни еще больше. Не знаю, отчего мнѣ даже некогда и читать то, что хочется; а некогда, вѣроятно, отъ того, что я ничего не дѣлаю" *).

Вотъ почему въ то время, какъ друзья только философствовали о томъ, что журналъ долженъ быть проявленіемъ высшаго народнаго самопознанія, что онъ долженъ взглянуть на всевозможныя явленія жизни, науки и искусства съ точки зрѣнія единой философской системы, что онъ долженъ реформировать нравственность и вернуть уваженіе къ правдѣ, религіи и закону, — въ это самое время настоящій общественный дѣятель по призванію и чернорабочій въ литературѣ, Полевой, съ одобренія того же кружка, началъ издавать свой знаменитый *Телеграфъ*. Первыя же журнальныя перебранки оттолкнули друзей отъ Полевого. „Я и мои товарищи,—шутливо замѣчалъ впослѣдствіи по этому поводу Одоевскій—были въ совершенномъ заблужденіи: мы воображали себя на тонкихъ философскихъ диспутахъ портика или академіи, или, по крайней мѣрѣ, въ

*) Біографія А. И. Кошелева, I, кн. II, стр. 19.

гостиной, въ самомъ же дѣлѣ мы были въ райкѣ. Вокругъ пахнетъ саломъ и дегтемъ, говорятъ о цѣнахъ на севрюгу, бранятся, поглаживаютъ нечистую бороду и засучиваютъ рукава, а мы выдумываемъ вѣжливыя насмѣшки, остроумные намеки, діалектическія тонкости, ищемъ въ Гомерѣ или Виргиліи самую жестокую эпиграмму противъ враговъ, боимся расшевелить ихъ деликатность" *).

Эти слова лучше всего помогутъ намъ понять причины неудачи собственныхъ литературныхъ предпріятій московскихъ „любомудровъ". Издавать журналъ они такъ и не собрались, но въ 1824—1825 гг. Одоевскій вмѣстѣ съ Кюхельбекеромъ съ большими промедленіями издали четыре небольшихъ книжки альманаха *Мнемозина*. По заявленію самихъ издателей, „главнѣйшая цѣль изданія была— распространить нѣсколько новыхъ мыслей, блеснувшихъ изъ Германіи; обратить вниманіе русскихъ читателей на предметы, въ Россіи мало извѣстные; по крайней мѣрѣ, заставить говорить о нихъ; положить предѣлы нашему пристрастію къ французскимъ теор(ет)икамъ". Съ тѣхъ поръ, какъ Велланскій задавался тою же цѣлью, обстоятельства, какъ мы знаемъ, измѣнились въ благопріятномъ смыслѣ для успѣха новыхъ идей. *Мнемозина* могла разсчитывать на большое вниманіе публики также и потому, что выступала подъ флагомъ не исключительно философскимъ, а также и литературнымъ. Кюхельбекеръ впервые показалъ русской публикѣ въ *Мнемозинѣ*, что такое настоящій романтизмъ, и какъ онъ отличается отъ той поэзіи тоски и унынія, луны и тумана, которая слыла у насъ за романтизмъ съ легкой руки Жуковскаго**). Князь Одоевскій, помимо шеллингистскихъ идей, выступилъ также и какъ беллетристъ-романтикъ: правда, первыя его произведенія еще не обнаруживали въ немъ удачнаго подражателя Гофмана***) и блестящаго автора *Русскихъ ночей*.

Но, при всѣхъ этихъ благопріятныхъ условіяхъ, тонъ былъ взятъ въ *Мнемозинѣ* слишкомъ высоко, и интересы публики слишкомъ мало принимались во вниманіе. Издатели объяснили свою неудачу тѣмъ, что *Мнемозина*, „объявивъ войну почти всѣмъ русскимъ журналамъ, почти всѣмъ старымъ предразсудкамъ, необходимо должна была навлечь на себя негодованіе" и „испытать всю силу журнальнаго мщенія". Но справедливость требуетъ сказать, что *Мнемозина* пала жертвой не столько журнальной злобы, сколько равнодушія читателей. Достаточно сказать, что изданіе имѣло только 157 подписчиковъ, въ то время, какъ *Полярная Звѣзда* Рылѣева

---

*) Одоевскій: „Сочиненія", II, стр. 7 (слова одного изъ героевъ Одоевскаго, отнесенныя уже г. Сумцовымъ къ самому автору).

**) Мнемозина, II, 34—40.

***) Объ отношеніи Одоевскаго къ Гофману, см. Н. Ѳ. Сумцова: „Кн. В. Ѳ. Одоевскій", Харьковъ, 1884 г., стр. 24—26.

разошлась въ три недѣли въ 1,500 экземплярахъ, а *Телеграфъ* Полевого обезпечилъ себѣ прочное существованіе. Журнальная же полемика, какъ справедливо замѣтили сами издатели, была для альманаха даже своего рода литературнымъ успѣхомъ. „*Мнемозина* заставила толковать о Шеллингѣ и Окенѣ, хотя и навыворотъ, заставила журналистовъ говорить о нѣмецкихъ мыслителяхъ такъ, что иногда подумаешь, будто бы наши критики въ самомъ дѣлѣ ихъ читали" *). Если не въ большой публикѣ, то въ тѣсныхъ кружкахъ молодежи, *Мнемозина*, несомнѣнно, не только поддержала, но и продолжала распространять интересъ къ шеллингизму, возбужденный лекціями петербургскихъ и московскихъ профессоровъ.

Во всякомъ случаѣ, литературная дѣятельность кружка „любомудровъ" 1823—25 годовъ и ограничилась изданіемъ *Мнемозины*. Въ 1826 г., съ переѣздомъ Одоевскаго, Веневитинова и Кошелева въ Петербургъ, собранія кружка прекратились. На нѣсколько лѣтъ выразителемъ мнѣній кружка въ Москвѣ становится съ этихъ поръ Погодинъ.

Погодинъ былъ на нѣсколько лѣтъ старше другихъ членовъ московскаго кружка, и это обстоятельство, вмѣстѣ съ природнымъ складомъ его ума, опредѣлило его отношеніе къ новымъ идеямъ **). Раньше мы видѣли, что онъ уже не успѣлъ подвергнуться въ университетѣ вліянію критическихъ идей Каченовскаго. Точно также онъ остался внѣ вліянія университетскихъ лекцій Павлова и Давыдова. Онъ кончилъ университетъ въ 1821 г., т.-е. какъ разъ въ то время, когда возобладали тамъ оба направленія, философское и критическое; уже выпускъ слѣдующаго 1822 года кончилъ университетъ подъ двойнымъ вліяніемъ тѣхъ и другихъ воззрѣній. Во времена же Погодина всеобщая и русская исторія не производила никакого впечатлѣнія на студентовъ въ рукахъ проф. Черепанова; философіи никто не понималъ у Брянцева, мирившаго разныя метафизическія системы въ идеѣ „спасительной вѣры" и „доброй нравственности". Свѣтиломъ, хотя и заходящимъ, былъ на философскомъ факультетѣ Мерзляковъ, краснорѣчивый защитникъ отжившихъ литературныхъ теорій. Выросшій на сантиментально-патріотическихъ впечатлѣніяхъ Марьиной рощи и *Русскаго Вѣстника* Глинки, Погодинъ увлекался уже сердцемъ въ романтизмъ, но подчинился обаянію мерзляковскихъ лекцій. Нужно прочесть его разсказъ о томъ, какъ передъ биткомъ набитою аудиторіей Мерзляковъ критиковалъ *Шильонскаго узника* и громилъ Байрона за его

---

*) Мнемозина, IV, стр. 233. Сумцовъ: „Одоевскій", стр. 8.

**) Погодинъ родился въ 1800 г., Одоевскій—въ 1803 г., Максимовичъ, Надеждинъ, Хомяковъ—въ 1804 г., Д. Веневитиновъ—въ 1805 г., И. Кирѣевскій, Кошелевъ и Шевыревъ—въ 1806 г., П. Кирѣевскій—въ 1808 г.

прегрѣшенія противъ правилъ здраваго вкуса. „Всѣ дрожали, сердца бились, слухъ былъ напряженъ, и онъ началъ:

Взгляните на меня: я сѣдъ,
Но не отъ хилости и лѣтъ и т. д.

Что это за лицо разсказываетъ о своемъ положеніи? Какихъ слушателей мы должны представлять? Что за странность разсказывать безъ всякаго вступленія и предупрежденія? Что за выраженіе: тюрьма разрушила?... Вотъ эти молодые поэты! Не спрашивайте у нихъ логики! Они пренебрегаютъ языкомъ“ и т. д. Молодое поколѣніе,—прибавляетъ Погодинъ,—слушало съ почтеніемъ разборъ Мерзлякова и соглашалось съ вѣрностью многихъ его замѣчаній, но, все-таки, было въ восторгѣ отъ байроновской поэмы и даже начало украдкой отъ Мерзлякова восхищаться *Русланомъ и Людмилой* Пушкина *). На лекціяхъ словесности И. И. Давыдова молодежь могла найти и теоретическое оправданіе своихъ симпатій. Здѣсь классицизмъ и романтизмъ уже изображались, какъ двѣ различныя ступени развитія искусства и поэзіи,—какъ равноправныя выраженія двухъ различныхъ міровоззрѣній, античнаго и средневѣковаго, языческаго и христіанскаго. Это шлегелевское пониманіе романтизма, какъ поэзіи христіанскаго міра, и противоположеніе классицизму, какъ поэзіи природы и чувственности, остается съ тѣхъ поръ прочнымъ пріобрѣтеніемъ въ нашей литературѣ: ученики Давыдова, вслѣдъ за нѣмецкими романтиками, видятъ въ примиреніи обоихъ міровоззрѣній задачу будущаго.

Естественно, что младшіе товарищи Погодина, какъ, наприм., Максимовичъ, тоже сперва „плѣнявшійся обаятельнымъ краснорѣчіемъ Мерзлякова“, скоро перешли окончательно на сторону Давыдова. Мы видѣли, что Максимовичъ сдѣлался даже шеллингистомъ. Не избѣгъ этого вліянія и Погодинъ, несмотря на совершенно нефилософскій складъ своего ума. Съ своею архаическою закваской, данной воспитаніемъ и университетомъ, Погодинъ былъ застигнутъ врасплохъ новыми философскими идеями. Собственное философское образованіе его ограничивалось книгой Галича, которую онъ съ трудомъ одолѣлъ при помощи своего талантливаго пріятеля Кубарева. Но судьба, какъ нарочно, постоянно сталкивала его съ московскими шеллингистами. Окончивъ университетъ, онъ приглашенъ былъ Давыдовымъ въ учителя благороднаго пансіона (1821 г.). Черезъ два года въ обществѣ Раича онъ еще ближе сошелся съ кружкомъ пансіонскихъ друзей, а черезъ нихъ перезнакомился и съ

*) Біографическій словарь профессоровъ Московскаго университета, II, 236. Ср. нападенія Одоевскаго на Мерзлякова въ Мнемозинѣ I, 64 и столкновенія по этому поводу между пріятельскимъ кружкомъ „любомудровъ“, и Погодинымъ, какъ издателемъ Московскаго Вѣстника.

другими „архивными юношами“. Естественно, что всѣ эти знакомства должны были повліять на общіе взгляды Погодина. Правда, онъ началъ свои отношенія къ шеллингизму съ того, что со свойственною ему грубостью чувства заподозрилъ искренность увлеченія, котораго не раздѣлялъ самъ; непонятные для него философскіе споры друзей казались ему простою аффектаціей и рисовкой. Но когда эти споры стали становиться все длиннѣе и горячѣе, когда они вытѣснили, наконецъ, всѣ другіе сюжеты разговора, то и Погодину пришлось прислушаться къ нимъ внимательнѣе. Самолюбіе его жестоко страдало, когда, по своей неподготовленности, онъ принужденъ былъ смолкать и ограничиваться ролью простого слушателя въ оживленной философской бесѣдѣ друзей („о, стыдъ... я опять ни слова!“—записываетъ онъ въ дневникѣ 1824 года). И вотъ, поневолѣ Погодинъ принимается „разсуждать“. Еще въ 1822 году онъ сомнѣвался, „должно ли разсуждать и стараться объ объясненіи Св. Писанія, или, подобно младенцамъ, принимать безъ объясненія; не лучше ли послѣднее?“ На вопросъ, „можно ли положиться на разумъ“, онъ тогда отвѣчалъ безъ колебаній: „должно подчинять его вѣрѣ“. Теперь, въ 1823 году, Погодинъ дѣлаетъ нѣкоторое усиліе разрѣшить философскимъ путемъ свои религіозныя сомнѣнія. „Развернулъ Филарета, записываетъ Погодинъ въ своемъ дневникѣ,—*Богъ въ природѣ, какъ душа въ тѣлѣ.* Весьма ясное въ себѣ понятіе въ отношеніи къ настоящему моменту человѣка, но послѣ? Опять темно! Человѣкъ умираетъ: какъ же продолжить сходство? Приняться, приняться за шеллингову философію“. Изученіе Шеллинга не пошло, однако же, у Погодина дальше „переворачиванія о шеллинговой философіи у Галича“, и еще въ 1825 году Погодинъ долженъ былъ сознаться самому себѣ, что „чувствуетъ систему шеллингову, хотя и не понимаетъ ее“. Это не мѣшало фантазіи Погодина разыгрываться по поводу Шеллинга: то онъ мечталъ „объ объятіи всей шеллинговой системы“ въ эпическую поэму *Моисей* и о посвященіи этой поэмы Шеллингу, то онъ ѣхалъ за границу, просилъ Окена и Шеллинга начертать планъ воспитанія для Россіи, лично бесѣдовалъ съ Шеллингомъ и говорилъ ему: „Я добръ; люблю науку, просвѣтите меня. Возбуждается во мнѣ сильно потребность заниматься философіей“. Философіей Погодинъ такъ и не занялся; но раньше другихъ русскихъ шеллингистовъ онъ пытался приложить общія начала ученія Шеллинга къ объясненію исторіи. Первый толчокъ и въ этомъ случаѣ данъ былъ Давыдовымъ, по указанію котораго Погодинъ перевелъ *Введеніе къ исторіи* Аста, послѣдователя Шеллинга. Послѣ того Погодинъ все чаще останавливается на историческихъ примѣненіяхъ шеллингизма. „Природа есть незрѣлый разумъ,—говоритъ Шеллингъ,—всѣ творенія образуютъ цѣпь, изъ коихъ въ каждомъ слѣдующемъ повто-

ряются всѣ предыдущія и вмѣстѣ является новая степень. Человѣкъ есть вѣнецъ всего творенія: въ немъ отразилась вся природа. *Это прекрасно можно примѣнить къ исторіи.* Событія должны составлять такую же цѣпь: въ каждомъ слѣдующемъ повторяются всѣ предыдущія. Вотъ точка, съ которой надо смотрѣть на исторію. И Погодинъ замышляетъ написать *Взглядъ на исторію человѣческаго рода* и посвятить его Шеллингу. Нѣсколько лѣтъ эта идея не покидала Погодина. Въ дневникѣ 1823—26 годовъ мы постоянно встрѣчаемся съ мыслями, навѣянными „новою философіей", и желаніемъ приложить ее къ объясненію историческихъ явленій. Ничего цѣльнаго изъ этихъ мыслей не вышло, но Погодинъ утилизировалъ ихъ и въ этомъ отрывочномъ видѣ, воспользовавшись литературною формой „афоризмовъ", введенной уже въ употребленіе кн. Одоевскимъ въ *Мнемозинѣ. Историческіе афоризмы* Погодина были опубликованы даже два раза: въ *Московскомъ Вѣстникѣ* 1827 г. и вторично въ отдѣльной книжкѣ, изданной въ 1834 году. Ниже мы познакомимся съ ихъ содержаніемъ; теперь замѣтимъ только, что всѣ существенныя идеи „афоризмовъ" уже набросаны въ дневникѣ Погодина въ указанный промежутокъ 1823—26 годовъ, въ періодъ наибольшаго увлеченія шеллингизмомъ *).

Ни по характеру, ни по складу мысли Погодинъ не подходилъ къ кружку московскихъ идеалистовъ двадцатыхъ годовъ, и мы имѣемъ всѣ основанія думать, что уже въ то время личность Погодина не была загадкой для московскихъ „любомудровъ", относившихся къ нему съ оттѣнкомъ покровительства и пренебреженія Тѣмъ не менѣе, обстоятельства сложились такъ, что пріятели выбрали Погодина въ исполнители своего плана—создать въ Москвѣ литературный органъ новаго направленія. Осенью 1826 года пріѣхалъ въ Москву на коронацію Пушкинъ и быстро сблизился съ „архивными юношами". Рѣшено было издавать журналъ, которому Пушкинъ обѣщалъ свое исключительное участіе. Успѣхъ журнала при этомъ условіи былъ обезпеченъ; оставалось найти редактора. Между тѣмъ, вліятельнѣйшіе члены кружка какъ разъ въ это время переселялись въ Петербургъ и не могли лично руководить журналомъ; къ тому же, всѣ они, по вѣрному замѣчанію Пушкина, были „слишкомъ лѣнивы" для черной журнальной работы и слишкомъ непривычны къ дѣловому веденію предпріятій. Личность Погодина какъ разъ гарантировала кружку требуемыя отъ редактора каче-

---

*) Барсуковъ: „Жизнь и труды М. П. Погодина", т. I, стр. 280 283, 284, 298; т. II, стр. 16—17 (ср. съ письмомъ Рожалина, т. I, стр. 234) Ср. собственное заявленіе Погодина о вліяніи шеллингизма на содержаніе афоризмовъ, Ibid., т. II, стр. 96.

ства: трудолюбіе и практичность. Въ общемъ направленіи идей Погодинъ могъ считаться ихъ единомышленникомъ, а затѣмъ друзья предоставляли себѣ идейное руководство и полную самостоятельность въ журналѣ, такъ же какъ и довольно высокій гонораръ, который долженъ былъ выплачивать имъ Погодинъ.

На этихъ условіяхъ Погодинъ сдѣлался редакторомъ *Московскаго Вѣстника.* Осуществленіе предпріятія, однако, далеко не соотвѣтствовало замыслу, и нельзя сказать, чтобы виноватъ былъ въ этомъ исключительно одинъ Погодинъ. Друзья относились къ журналу слишкомъ по-барски и ограничивались почти номинальнымъ участіемъ въ его изданіи. Естественнымъ послѣдствіемъ этого было то, что *Московскій Вѣстникъ* принялъ характеръ личнаго органа Погодина: въ научныхъ статьяхъ онъ отражалъ интересъ спеціалиста-историка, въ философскихъ былъ теменъ и скученъ, въ отдѣлѣ критики считался со старыми литературными связями редактора, участвовавшаго въ *Вѣстникѣ Европы* Каченовскаго и въ *Сѣверномъ Архивѣ* Булгарина. Съ такимъ арсеналомъ нельзя было выступать противъ *Телеграфа* Полевого; естественно, что очень скоро *Московскій Вѣстникъ* провалился во мнѣніи читающей публики. Дружескій кружокъ не могъ, разумѣется, не замѣтить неудачи, но вину ея сваливалъ исключительно на Погодина. Чуть ли не всѣ члены кружка поочередно читали Погодину нотаціи и предъявляли ему свои требованія. Отъ него требовали „повеселѣе чего-нибудь“, „побольше разнообразія и жизни“, болѣе рѣзкой и остроумной критики, меньше сухости и болѣе „одушевленія“ въ серьезныхъ статьяхъ,—словомъ, всего того, чѣмъ въ такомъ изобиліи обладалъ Полевой, но чего совершенно не хватало Погодину. Естественно, что и Погодинъ, съ своей стороны, былъ страшно раздраженъ. Журналъ, впрочемъ, только вызвалъ наружу все, что и раньше отдѣляло Погодина отъ другихъ членовъ дружескаго кружка. Мы уже говорили, что въ средѣ „архивныхъ юношей“ Погодинъ чувствовалъ себя далеко не свободно, сознавая, что то скромное мѣсто, которое отводили ему товарищи, совсѣмъ не соотвѣтствовало его гордымъ видамъ на будущее. Въ своихъ мечтахъ онъ давно былъ великимъ писателемъ, не хуже Шиллера, а въ дѣйствительности ничто не давало ему права на признаніе его талантовъ даже со стороны ближайшихъ друзей. „Я сдѣлалъ много, много,—записываетъ онъ въ дневникѣ,—только бы кончить мнѣ изданіе журнала черезъ годъ, а тамъ примусь за дѣла важныя и покажу вамъ себя. Вы узнаете, кто съ вами кланялся и молчалъ“. „Я выше васъ всѣхъ“; „я вою съ волками“; „о, если бы написать мнѣ Маруу Посадницу. Съ какимъ торжествомъ взглянулъ бы я тогда на этихъ величавыхъ героевъ, которые смотрятъ теперь на меня съ презрѣніемъ, какъ я въ уголкѣ, въ молчаніи, слушаю ихъ

рѣшительныя выходки и долженъ бываю уступить имъ". Словомъ, вся обида плебея на „барскія милости", все, что накипѣло въ душѣ Погодина за долгіе годы учительства въ сіятельномъ домѣ князей Трубецкихъ, за долгіе вечера унизительнаго молчанія въ кругу пріятелей, обладавшихъ всѣми преимуществами хорошаго рожденія и воспитанія,—все это просилось теперь наружу при первомъ сознаніи пріобрѣтенной репутаціи и начинающейся популярности; и все это не могло не привести къ рѣшительному разрыву.

Въ январѣ 1828 года Погодинъ былъ въ Петербургѣ, и Булгаринъ угощалъ его обѣдомъ, а въ первой книжкѣ *Московскаго Вѣстника* Шевыревъ, навязанный друзьями въ соредакторы Погодину, выбранилъ Булгарина. Булгаринъ напечаталъ отвѣтъ, въ которомъ выдѣлилъ Погодина отъ его „пріятелей". Одоевскій писалъ по этому поводу Шевыреву: „Надо же когда-нибудь вывести молодца на свѣжую воду". Но Погодинъ, повидимому, оставался въ увѣренности, что это не удалось. „Написалъ очень тонкій отзывъ Булгарину,—заноситъ онъ въ свой дневникъ,—очень, очень доволенъ имъ. Шевыревъ защищенъ благородно, *я опять въ сторонѣ, безъ нарушенія приличій*" *). Однако, отвѣтъ Погодина не удовлетворилъ ни Шевырева, ни, тѣмъ болѣе, петербургскихъ членовъ кружка. Раньше, чѣмъ Шевыревъ уѣхалъ за границу (начало 1829 года), дѣло расклеилось и одинъ изъ пріятелей могъ уже въ ноябрѣ 1828 года писать Погодину: „Бывшій *Вѣстникъ* нашъ, а будущій—твой". Покинутый друзьями, Погодинъ протянулъ еще два года изданіе журнала, принесшее ему денежные барыши, но, вслѣдствіе помѣщенія критики Арцыбашева, испортившее на нѣкоторое время ученую карьеру Погодина. Въ этомъ положеніи Погодину оставалось только послѣдовать совѣту одного изъ прежнихъ друзей, Титова: „Заглохни на время, *Вѣстникомъ* истопи печку. Твоя надежда должна быть собраніе матеріаловъ, приготовленіе. Здѣсь (въ Петербургѣ и академіи, куда стремился проникнуть Погодинъ) вовсе нѣтъ тебѣ надежды, какъ я вижу... Лучше трудиться про себя и выступить черезъ два года на ученое поприще съ вѣрой, надеждой на успѣхъ". Какъ мы знаемъ, Погодинъ послѣдовалъ благоразумному совѣту, оставилъ журнальное поприще, бросилъ мечты о литературной славѣ и борьбой противъ критическихъ ересей Каченовскаго и „скептической школы" нашелъ способъ загладить впечатлѣніе дерзкой попытки затронуть лавры исторіографа. Обращеніемъ въ „историческое православіе", какъ мы видѣли, Погодинъ вполнѣ реабилитировалъ себя во мнѣніи начальства. Какъ отразилось это обращеніе на шеллингизмѣ Погодина, мы скоро узнаемъ.

---

*) Именно, Погодинъ отвѣчалъ, что „статья была бы напечатана и при мнѣ, хотя, разумѣется, я приложилъ бы къ ней свои примѣчанія".

Съ прекращеніемъ *Московскаго Вѣстника* начинается новый періодъ въ исторіи русскаго шеллингизма. На смѣну или на подкрѣпленіе идеалистамъ двадцатыхъ годовъ являются идеалисты слѣдующаго десятилѣтія, кончившіе университетскій курсъ въ промежутокъ 1832—36 годовъ. Вмѣстѣ съ ихъ вступленіемъ на литературную и общественную арену заканчивается подготовительный періодъ, начавшійся съ Велланскаго. Оставаясь пока въ предѣлахъ этого періода, мы должны упомянуть еще о нѣсколькихъ представителяхъ того движенія идей, исторіей котораго мы теперь заняты. Я говорю о Надеждинѣ, Полевомъ и Хомяковѣ. Всѣ трое, по обстоятельствамъ личной жизни, примкнули къ изложенному выше университетскому и кружковому движенію со стороны и опоздали принять ближайшее участіе въ выработкѣ основныхъ идей новаго міровоззрѣнія. Но въ дальнѣйшемъ развитіи этихъ идей, а также и въ ихъ широкомъ распространеніи всѣмъ имъ принадлежитъ слишкомъ видная роль, чтобы мы могли умолчать о нихъ въ нашемъ перечнѣ.

Степень вліянія Надеждина за послѣднее время обсуждалась съ прямо противоположныхъ точекъ зрѣнія. Мнѣнію, по которому Надеждинъ считался главнымъ предшественникомъ новыхъ взглядовъ, столь же рѣшительно противопоставлено было утвержденіе, сводившее роль Надеждина къ самымъ ничтожнымъ размѣрамъ *). Причины такого разногласія, такъ же какъ и средство найти правильное рѣшеніе между двумя крайностями, заключаются, какъ намъ кажется, въ только что сдѣланномъ наблюденіи. Семинаристъ и воспитанникъ духовной академіи, Надеждинъ пришелъ со стороны и былъ чужимъ въ университетскомъ мірѣ. Въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ была своя традиція философскаго преподаванія, болѣе давняя и менѣе зависимая отъ смѣны иностранныхъ вліяній, чѣмъ въ университетѣ **). Философскія идеи нѣмецкаго идеализма не были для Надеждина новинкой и не могли произвести на него такого „оглушающаго впечатлѣнія", какое онѣ производили на студентовъ университета. Съ другой стороны, семинарскій классицизмъ заранѣе настроилъ Надеждина въ пользу литературнаго классицизма и противъ многочисленныхъ враговъ этого классицизма въ молодомъ поколѣніи. По словамъ самого Надеждина, эта серьезная подготовка духовной школы помѣшала ему потеряться „въ высшихъ взглядахъ, въ новыхъ романтическихъ мечтаніяхъ, которыя были à l'ordre du jour". Зато она же лишила Надеждина возможности оріентироваться въ об-

---

*) С. Трубачевъ: „Н. И. Надеждинъ, предшественникъ и учитель Бѣлинскаго" въ Историческомъ Вѣстникѣ 1889 г., №№ 8 и 9. М. М. Филипповъ, Русское Богатство 1894 г., № 9.

**) См. о преподаваніи философіи въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Колюпанова: „Біографія А. И. Кошелева", т. I, стр. 410—435.

щественныхъ теченіяхъ того общества, въ которое онъ явился гостемъ въ 1826 году, выйдя изъ духовнаго званія. Прошколенный семинаристъ и академикъ принялъ сторону ученаго Каченовскаго противъ самоучки Полевого. Надеждинъ сталъ постояннымъ сотрудникомъ *Вѣстника Европы*, репутація котораго принадлежала прошлому, и громилъ здѣсь идеи, которымъ принадлежало будущее. Такимъ образомъ, Надеждинъ сдѣлался жертвой своего воспитанія, а когда его умъ и талантливость вывели его изъ лагеря, выбраннаго случайно, было уже поздно. Въ моментъ появленія Надеждина въ университетѣ (1830 г.) новыя идеи имѣли уже длинную исторію и почти не нуждались въ новомъ защитникѣ, даже такомъ, какъ Надеждинъ. Прошло еще нѣсколько лѣтъ, и учитель, опоздавшій явиться, окончательно былъ оставленъ позади молодымъ поколѣніемъ. Пока дѣйствительный генезисъ идей этого поколѣнія оставался невыясненнымъ, можно было считать Надеждина его „предшественникомъ и учителемъ"; но теперь, когда мы знаемъ настоящихъ предшественниковъ, пора признать, что идеи Надеждина уже не были новостью къ концу двадцатыхъ годовъ. Признать это можно и должно, нисколько не отрицая ни талантливости, ни ума и учености Надеждина.

Полевой представляетъ собой полную противоположность Надеждину, но, явившись тоже со стороны и тоже поздно, онъ дѣлилъ съ Надеждинымъ одинаковую участь. Надеждинъ явился въ Москву, вооруженный лучше большинства своихъ противниковъ; Полевой пріѣхалъ совершеннымъ невѣждой. Съ высоты своей школьной подготовки Надеждинъ осуждалъ вѣянія, сторонился отъ нихъ и думалъ заставить общество принять свои собственные взгляды. Полевой, напротивъ, послушно отдался теченію, воспринималъ новыя идеи, гдѣ могъ и какъ могъ, все чужое превращалъ въ свое и, созданный московскимъ обществомъ, возвращалъ ему его же идеи, подхваченныя въ воздухѣ. У Каченовскаго, у Погодина, у московскихъ философовъ Полевой бралъ уроки новыхъ идей; ему покровительствовали вначалѣ, потомъ начинали остерегаться его переимчивости, потомъ съ нимъ разрывали и показывали ему презрѣніе, когда чужія идеи онъ развивалъ печатно искуснѣе, чѣмъ это могли бы сдѣлать сами авторы. Большая публика, не знавшая личной исторіи журналиста, съ лихвой воздавала ему то, въ чемъ ему отказывало интеллигентное московское общество. Вотъ почему Полевой такъ важенъ въ исторіи просвѣщенія и такъ незначителенъ въ исторіи идей, провозвѣстникомъ которыхъ онъ явился.

Мы не упоминали также Хомякова, которому принадлежитъ такая крупная роль въ дальнѣйшемъ развитіи философскихъ идей на религіозной почвѣ. Основанія нашего умолчанія тѣ же, что относительно Надеждина и Полевого: Хомяковъ не принимаетъ непосред-

ственнаго участія въ теоретической разработкѣ идей двадцатыхъ годовъ. Но на этотъ разъ мы имѣемъ дѣло съ причиной совершенно случайной. Почти навѣрное, у Хомякова уже въ двадцатыхъ годахъ складывалось свое особенное міровоззрѣніе. Но въ началѣ двадцатыхъ годовъ онъ служилъ въ гвардіи и бѣсилъ петербургскихъ революціонеровъ непонятнымъ для нихъ образомъ мыслей; въ серединѣ двадцатыхъ годовъ онъ путешествовалъ за границей, а въ концѣ—освобождалъ славянъ и Грецію и вернулся въ Москву прямо изъ Адріанополя (1829 г.). Какъ разъ въ это время (съ января 1830 г.) отправился изъ Москвы за границу И. Кирѣевскій и пробылъ тамъ до конца года. Такимъ образомъ, не ранѣе 1831 года могло начаться болѣе близкое знакомство двухъ главнѣйшихъ основателей славянофильства.

Наконецъ, мы не можемъ закончить этого очерка внѣшней исторіи шеллингизма, не упомянувъ еще разъ о патріархѣ новаго движенія, Д. М. Велланскомъ. Торжество любимыхъ идей вызвало Велланскаго вновь изъ вынужденнаго бездѣйствія на поприще философской пропаганды. Молодежь не забыла своего духовнаго родоначальника. Его (такъ же какъ и Галича) не разъ приглашали читать публичныя лекціи. Эти лекціи побудили Велланскаго еще разъ пересмотрѣть свою систему и ознакомить съ нею публику въ новомъ, исправленномъ видѣ. Результаты этого пересмотра были опубликованы въ двухъ обширныхъ сочиненіяхъ, дополняющихъ другъ друга: *Опытная, наблюдательная и умозрительная физика, излагающая природу въ вещественныхъ видахъ* и т. д. (Спб., 1831 г., ок. 900 стр.) и *Основное начертаніе общей и частной физіологіи или физики органическаго міра* (Спб., 1836 г., 502 стр.). Міровоззрѣніе автора *Біологическаго изслѣдованія* является здѣсь значительно усовершенствованнымъ, хотя всѣ основныя идеи и остаются прежнія. Велланскій гораздо болѣе, чѣмъ прежде, считается съ конкретными фактами; отказывается отъ нѣкоторыхъ рискованныхъ объясненій; пытается связать свои взгляды съ научною классификаціей явленій; наконецъ, обработываетъ вновь обширный отдѣлъ, выпущенный имъ въ изслѣдованіи 1812 года: „антропологію" въ широкомъ смыслѣ слова.

При всемъ томъ, *Физика и Физіологія* Велланскаго явились на свѣтъ какъ будто нарочно для того, чтобы показать историку русскаго общества, что подготовительный періодъ въ исторіи русскаго шеллингизма окончился. Какъ ни мало было подготовлено общество въ 1812 г. къ чтенію *Біологическаго изслѣдованія*, несомнѣнно, что книга Велланскаго произвела свое дѣйствіе. По свидѣтельству Колюпанова, *Біологическое изслѣдованіе* до сихъ поръ можно нерѣдко встрѣтить въ старыхъ помѣщичьихъ усадьбахъ провинціальнаго захолустья; слава этой книги еще въ началѣ сороковыхъ го-

довъ заставляла ломать надъ нею голову гимназистовъ старшихъ классовъ *). *Физика* и *Физіологія* Велланскаго прошли, напротивъ, совершенно безслѣдно. Дѣло было сдѣлано и безъ ихъ помощи. Велланскій опоздалъ съ своею усовершенствованною системой, и не только публика позабыла о ея существованіи, но *Физіологія* Велланскаго осталась неизвѣстной даже для изслѣдователей, писавшихъ въ послѣднее время о Велланскомъ спеціально.

Познакомившись съ главными дѣятелями русскаго шеллингизма двадцатыхъ годовъ, перейдемъ теперь къ характеристикѣ его содержанія.

IV.

„Кантъ замѣтилъ уже и показалъ, что къ прямой и существенной наукѣ нѣтъ другого пути, кромѣ основательнаго изслѣдованія законовъ человѣческаго духа... Со времени его опытовъ вошло едва ли не въ обычай—*выводить внѣшнее изъ внутренняго*, существенное изъ мысленнаго". „Фихте простерся дальше, возвыся духовную нашу организацію не только въ первое и ближайшее, но и въ *единственное* начало". „Шеллингъ... увидѣлъ себя неудовольствованнымъ состоявшеюся философіей... Объять вселенную дѣйствіемъ умственнаго созерцанія, не тѣсниться въ кругу ограниченнаго, мелочнаго „я", а познать *все* сущее, природу и духъ въ *общемъ* ихъ началѣ, вотъ и главная цѣль его, блистательная заслуга. **).

Мы не имѣемъ въ виду излагать здѣсь подробно философію Шеллинга, но для того, чтобы дать ясное представленіе о вліяніи Шеллинга въ Россіи, кажется, будетъ всего удобнѣе напомнить общую связь его идей подлинными словами его русскихъ послѣдователей. Такой способъ изложенія всего лучше введетъ насъ въ пониманіе историческихъ идей русскаго шеллингизма.

Основной силлогизмъ той системы Шеллинга, которая получила названіе „философіи тожества", можетъ быть выраженъ слѣдующимъ образомъ. Подобное познается подобнымъ; посредствомъ сознанія можно познавать только сознаніе же. Но въ сознаніи познается міръ. Слѣдовательно, міръ есть видоизмѣненное сознаніе: бытіе есть то же, что и мысль; познаваемое тожественно съ познающимъ. Этотъ силлогизмъ точно формулированъ на вступительной лекціи И. И. Давыдова *О возможности философіи, какъ науки* (1826 г.). „Если все, въ видимости находящееся, должно быть познаваемо въ духѣ, а сіе возможно тогда токмо, когда законы

---

*) Колюпановъ: „Біографія А. И. Кошелева", т. I, стр. 445.

**) Галичъ: „Исторія философскихъ системъ". Спб., 1819 г., II, стр. 253—257.

познающаго духа согласны съ законами бытія явленій,—явствуетъ, что формы знанія согласны съ формами бытія и могутъ служить одни другимъ взаимнымъ объясненіемъ". Содержаніе философіи состоитъ въ діалектическомъ развитіи этого положенія. Философія должна „показать единство и тожество законовъ обоихъ міровъ, идеальнаго и вещественнаго", „показать тожество знанія и бытія"*). Для такого доказательства Шеллингъ указываетъ два пути. Можно исходить отъ знанія, -отъ мысли, отъ субъекта, и вывести изъ него бытіе, міръ, объектъ. Духъ создаетъ изъ самого себя міръ путемъ выдѣленія изъ себя и противопоставленія себѣ своихъ собственныхъ духовныхъ продуктовъ. Этимъ путемъ получается *система трансцендентальнаго идеализма*. Но возможенъ и обратный путь. Можно пойти отъ природы, отъ объекта, и возвести ее къ духу, къ субъекту. Этотъ путь создаетъ *философію природы*. Во всякомъ случаѣ, тѣмъ и другимъ путемъ мы приходимъ къ принятію тожества субъекта и объекта. „Субъектъ и объектъ по существу своему суть одно и то же; и въ абсолютномъ понятіи нѣтъ разницы между познаніемъ и предметомъ онаго... всѣ объекты въ мірѣ по существу своему не различествуютъ, и видимая разница оныхъ есть явленіе рефлексіи (отраженія) абсолютнаго въ самомъ себѣ... Абсолютный универсъ... представляетъ самого себя подъ различными видами" **). „Чтобы представить мысль сію въ чувственномъ видѣ, вообразимъ безпредѣльно обширное море, сильнымъ вѣтромъ непрерывно волнуемое. Первое, что поразитъ насъ, будутъ пѣнистыя волны, съ ужаснымъ шумомъ воздымающіяся; къ нимъ прикованный взоръ будетъ только видѣть многоразличныя формы пѣнистыхъ возвышеній, замѣтитъ только, какъ одна волна изъ другой рождается и поглощается послѣдующею; какъ онѣ, ежемгновенно исчезая и возникая, представляютъ постоянное явленіе волненія. Море—природа; волны—преходящія формы явленія;

---

*) Стр. 15, 23 вступительной лекціи Давыдова, изданной особою брошюрой. Что эта лекція не прошла безслѣдно для молодого поколѣнія, показываетъ письмо къ графинѣ N. N. Д. Веневитинова (Сочиненія, II, стр. 5—15. М., 1831 г.). И доказываемое здѣсь положеніе, что философія есть наука, и способы его доказательства очень близки къ мыслямъ И. И. Давыдова. См. также Опытъ изслѣдованія нѣкоторыхъ теоретическихъ вопросовъ (М., 1836 г.),—рядъ статей, написанныхъ отчасти подъ вліяніемъ Давыдова (стр. 142, 147—148). Авторъ этой любопытной книжки, бывшій воспитанникъ Ришельевскаго лицея (стр. 71, 234) и Московскаго университета (стр. 67), къ сожалѣнію, мнѣ не извѣстенъ (въ моемъ экземплярѣ нѣтъ перваго выходного листа; но и на трехъ другихъ,—сочиненіе состоитъ изъ четырехъ книжекъ,—имя нигдѣ не названо).

**) Велланскій: „Пролюзія къ медицинѣ". Спб., 1805 г., стр. 16—17. Ср. его же „Біологическое изслѣдованіе природы въ творящемъ и творимомъ ея качествѣ", Спб., 1812 г., стр. 5—6.

вода въ разныхъ формахъ—вещественное; вѣтры -идеальное; все вмѣстѣ взятое явленіе—производимость природы, а начальная причина сего общаго волненія океана вещественности—„живый въ движеньи вещества, теченьемъ времени Превѣчный" *). Эта картина не выдерживаетъ, однако, духа ученія Шеллинга въ одномъ пунктѣ. „Начальная причина" производимости природы неотдѣлима отъ самой природы, которая заключаетъ въ себѣ какъ „творимое", такъ и „творящее качество"; идеальное начало не находится внѣ вещественнаго, какъ „вѣтры" внѣ океана, а въ немъ самомъ. Если представить себѣ вещество и духъ, какъ два полюса тожественнаго міра, то на каждой точкѣ разстоянія между полюсами будутъ присутствовать оба начала и сохранится между ними та же полярность; по мѣрѣ приближенія къ противоположному полюсу каждое начало будетъ слабѣть до безконечности, но никогда не уничтожится вовсе. Такимъ образомъ, вещественное и идеальное неразрывно слиты въ вѣчномъ процессѣ міровой жизни; этотъ процессъ постояннаго противоположенія того и другого, непрерывной дѣятельности, и составляетъ самую сущность духовнаго начала, охватывающаго обѣ противоположности и лежащаго въ основѣ міра. Міръ вѣченъ, какъ эта его основа, и, слѣдовательно, не можетъ считаться созданнымъ во времени; основа міра неотдѣлима отъ него и, слѣдовательно, не можетъ быть представлена „существомъ особаго рода, еще же менѣе—существомъ оличеннымъ" **).

Итакъ, ни *раньше* міра, ни *внѣ* міра нельзя себѣ представлять существующей духовную основу міра; проникая собою міръ, она сливается съ нимъ и во времени, и въ пространствѣ. Нельзя также заключать изъ психическаго характера міровой души, чтобы процессъ мірового творчества былъ непремѣнно сознательнымъ. Самодѣятельность природы существуетъ раньше, чѣмъ въ природѣ является самосознаніе. Безсознательная самодѣятельность ведетъ только къ созданію продуктовъ особаго рода. Когда субъектъ имѣетъ сознаніе, что созданный имъ объектъ есть его собственное произведеніе, тогда объектъ этотъ будетъ тожественнымъ съ мыслью, т.-е. духовнымъ. Таковы созданія человѣческаго духа, идеи. Напротивъ, если субъектъ, выдѣляя изъ себя объектъ, не сознаетъ своего тожества съ нимъ, то онъ перестаетъ узнавать въ немъ себя. Являясь на свѣтъ безъ этого сопровождающаго сознанія--тожества, объектъ не признается духовнымъ и является фактомъ, внѣшнимъ сознанію. Таковъ для человѣка реальный міръ, не созданный *человѣческимъ* сознаніемъ; таковъ онъ и для природы, сотворившей его безсозна-

---

*) Кн. Одоевскій: „О способахъ изслѣдованія природы" въ Мнемозинѣ, IV, стр. 17—18.

**) Галичъ: „Исторія философскихъ системъ", II, стр. 267.

тельно: онъ не духовенъ, а вещественъ. Итакъ, тотъ же самый процессъ творчества, который въ самосознающемъ духѣ человѣческомъ является идеальнымъ и субъективнымъ, въ природѣ принимаетъ видъ реальнаго и объективнаго. Дѣятельность, не сознающая самое себя, сознаваемая другимъ, представляется объективно, съ точки зрѣнія этого другого, какъ *движеніе*. И безсознательное творчество природы сознается познающимъ человѣческимъ умомъ въ формѣ движеній. Дѣятельность объективирующая, выдѣляющая изъ субъекта объектъ, представляется при этомъ въ видѣ *расширяющагося* движенія. Дѣятельность, противопоставляющая выдѣленный объектъ субъекту, является въ видѣ *сжимающагося* движенія. На этихъ двухъ, противоположныхъ другъ другу, движеніяхъ основывается вся физика Шеллинга. Расширяющееся движеніе соотвѣтствуетъ въ сознаніи пространству, сжимающееся—времени; первое—*свѣту*, стремящемуся разлиться въ безконечность; второе—*тяжести*, стремящейся стянуть все къ центру, къ математической точкѣ. Ихъ взаимное противодѣйствіе или равновѣсіе составляетъ твердое, непроницаемое, *матерію* *).

Здѣсь мы вступаемъ въ область натурфилософіи Шеллинга, часть его системы, особенно охотно усвоенная русскими шеллингистами. Уже *Біологическое изслѣдованіе* Велланскаго познакомило русскую публику съ фантастическимъ схематизмомъ нѣмецкихъ натурфилософовъ. Благодаря этому схематизму, „сочиненіе сіе имѣетъ органическую цѣлость, представленную въ систематическомъ порядкѣ такъ, что всѣ части онаго находятся между собой въ непрерывной взаимной связи; и по силѣ содержанія каждой одна проистекаетъ изъ другой". Въ основѣ схематизма лежитъ *динамическій* взглядъ на явленія природы, въ противоположность механическому или атомистическому воззрѣнію, господствовавшему въ моментъ появленія натурфилософіи. Природа совершаетъ цѣлый рядъ усилій, чтобы возвыситься до самосознанія. Каждое слѣдующее

---

*) Эти воззрѣнія развиты Павловымъ въ его Основаніяхъ физики, М. 1833 г. По плану Павлова, его физика должна была состоять изъ трехъ частей, посвященныхъ „силамъ міровымъ, планетнымъ и органическимъ". Издана только первая часть, трактующая о „силахъ міровыхъ". Она, въ свою очередь, распадается на три части: „1) свѣтъ, какъ сила средобѣжная, 2) тяжесть, какъ сила средостремительная, и 3) вещество, какъ сила составная изъ двухъ первыхъ" (стр. 30). Въ концѣ книги (стр. 286) „теорія вещества" начинается съ опредѣленія: „вещество не другое что есть, какъ сила расширительная и сжимательная, ограниченныя взаимно", и далѣе (стр. 291) „сила расширительная... въ состояніи напряженности есть свѣтъ; сила сжимательная въ томъ же состояніи есть тяжесть. Посему свѣтъ и тяжесть составляютъ двѣ силы основныя, коренныя; зародышъ міра въ нихъ осуществился прежде; въ нихъ же или съ ними вмѣстѣ развивался далѣе". Теплота, также расширяющая сила, согласно Шеллингу, разсматривается, какъ видоизмѣненіе свѣта.

усиліе опирается на предыдущее; каждая новая ступень (потенція), достигаемая творчествомъ природы, включаетъ въ себѣ всѣ достигнутыя раньше ступени. Каждый новый продуктъ природы есть *микрокосмъ*, въ которомъ въ малыхъ размѣрахъ повторяется строеніе всего *макрокосма*. Основныя черты схематизма природы уже намѣчены въ схематизмѣ математическихъ понятій и геометрическихъ формъ. „Образованіе всей природы на нашей планетѣ" происходитъ по аналогіи линіи, круга и эллипса съ ихъ измѣненіями во второй и третьей степени. Въ неорганическомъ царствѣ природы преобладаетъ пассивный элементъ надъ активнымъ, „бытіе" надъ „дѣйствіемъ", объектъ надъ субъектомъ; въ органическомъ мірѣ, напротивъ, „творящее качество" природы имѣетъ перевѣсъ надъ „творимымъ". Наконецъ, „человѣкъ есть цѣлость органическаго міра на землѣ", „общій центръ животныхъ и прозябаемыхъ, гдѣ жизнь вселенной не отражается односторонне ни въ творящемъ свойствѣ дѣйствія, ни въ творимомъ качествѣ бытія, но въ существенной одинаковости духа съ матеріей". Если мы припомнимъ, что и каждая отдѣльная ступень развитія вселенной тоже есть сочетаніе творящаго съ творимымъ въ извѣстной пропорціи, и что каждая изъ нихъ, подобно всему процессу, можетъ быть разложена на тѣ же противоположности или „полярности", то мы получимъ ключъ къ проведенію того же схематизма въ подробностяхъ. Такъ, въ мірѣ неорганическомъ различными стадіями динамическаго процесса будутъ „магнетизмъ", „электрицизмъ" и „химизмъ". Магнетизмъ будетъ означать перевѣсъ пассивнаго элемента, соотвѣтственно тяжести; электрицизмъ—перевѣсъ активнаго, соотвѣтственно свѣту. Сочетаніе того и другого есть химизмъ, въ которомъ, въ свою очередь, можно опять различать „магнетическій химизмъ", болѣе пассивный, и „электрическій химизмъ" или гальванизмъ, болѣе активный. Продукты магнетической дѣятельности въ природѣ суть твердыя тѣла; продукты электрическаго творчества природы суть газы. „Средину между тѣми и другими занимаютъ жидкости, какъ произведенія химизма". Ту же постепенность динамическаго процесса Велланскій указываетъ и въ развитіи формъ органической природы. Страдательнымъ элементомъ будетъ здѣсь растительный организмъ, дѣятельнымъ—животный; первый относится ко второму, какъ магнетизмъ къ электрицизму, какъ тяжесть къ свѣту. И опять здѣсь мы можемъ совокупность растительныхъ формъ отдѣльно разсматривать, какъ цѣльный организмъ, со своими особенными ступенями динамическаго процесса. Выдѣленіе этихъ ступеней дастъ основаніе для классификаціи растительнаго царства. То же самое можно сдѣлать и съ явленіями животнаго царства. Каждый высшій классъ явленій приводится схемой въ тѣсную связь съ предыдущими: наприм., устанавливаются взаимныя отношенія между каждымъ изъ найденныхъ клас-

совъ животныхъ и растеній и магнетизмомъ, электрицизмомъ и гальванизмомъ, или твердыми, газообразными и жидкими тѣлами, или даже линіей, кругомъ и эллипсомъ. Съ каждою новою группой явленій количество этихъ параллелей увеличивается, сопоставленіе становится все запутаннѣе и произвольнѣе. Такъ, съ животнымъ міромъ присоединяется группа психическихъ явленій: Велланскій тотчасъ умѣщаетъ ихъ въ свою схему. Три чувства воспринимаютъ внѣшній міръ въ измѣреніяхъ пространства, три другія—въ измѣреніяхъ времени (въ интересахъ схемы Велланскій вводитъ шестое чувство, отдѣляя „ощущеніе" отъ „осязанія"; въ своемъ *Начертаніи физіологіи* онъ, впрочемъ, отказывается отъ этой классификаціи). Одни дѣйствуютъ магнитнымъ, другія электрическимъ, третьи химическимъ способомъ. Далѣе, разсматривая совокупность животныхъ формъ, какъ единый организмъ, Велланскій устанавливаетъ новыя связи между отдѣльными классами животныхъ и тѣми чувствами, которыя они призваны выражать. Такъ, рыбы суть глазъ животнаго организма, птицы воплощаютъ слухъ, а млекопитающія составляютъ совокупность всѣхъ шести чувствъ. Будучи завершеніемъ животнаго царства, млекопитающія заключаютъ въ себѣ представителей всѣхъ шести классовъ: можно различать среди нихъ млекопитающихъ-рыбъ, млекопитающихъ-птицъ и т. д.

Истиннымъ единствомъ органическаго міра является человѣкъ. „Все царство животныхъ можно почесть за одинъ общій организмъ, котораго частные члены суть всѣ животныя, а существенная цѣлость представлена человѣкомъ". Отсюда вытекаетъ рядъ новыхъ уподобленій между отдѣльными органами человѣка и соотвѣтственными классами животныхъ: губы соотвѣтствуютъ червямъ, пальцы — моллюскамъ и т. д. Новые ряды нитей связываютъ человѣческій организмъ съ физическими силами и геометрическими фигурами и тѣлами.

Не надо забывать, какое важное значеніе имѣли всѣ эти искусственныя аналогіи для поколѣнія двадцатыхъ годовъ. Цѣною ихъ пріобрѣтался единственно возможный тогда монистическій взглядъ на міръ; естественно, что молодежь переживала, благодаря этимъ теоріямъ, „минуты восхитительныя, минуты небесныя, которыхъ сладости не можетъ понять тотъ, кого не томила душевная жажда, кто не припадалъ горячими устами къ источнику мыслей, не упивался его магическими струями". Говоря словами одного изъ представителей этой молодежи, „для ея счастія было необходимо одно: свѣтлая, обширная аксіома, которая обняла бы все и спасла бы ее отъ мукъ сомнѣнія" *). Шеллингизмъ давалъ эту аксіому въ своей идеѣ единства мірозданія,—и, притомъ, не мертваго, механическаго

*) **Русскія ночи** въ сочин. кн. Одоевскаго. I, стр. 17—20.

единства атомистической теорiи, а живого динамическаго единства жизни, проникавшей вселенную. Естественно, что атомизмъ и матерiализмъ XVIII вѣка становятся предметомъ горячихъ нападенiй молодежи: отсюда она выводила и паденiе науки, ударившейся въ сухую спецiализацiю, заразившейся духомъ формализма и ремесленности, и паденiе искусства и религiи, замѣнившейся утилитаризмомъ Бентама, безнравственностью мальтузiанства, торгашескою разсчетливостью и сухою прозой современнаго общества *). Лицомъ къ лицу съ этимъ упадкомъ, молодежь проникается духомъ миссiонерства и пропаганды. Она напомнитъ обществу про забытую имъ „любовь"; она снова „введетъ въ уравненiе" данныя, забытыя людьми при составленiи „математической формулы" ихъ поступковъ: „вѣру, поэзiю, энтузiазмъ и высокое чувство" **). И вотъ, въ пику политической экономiи промышленнаго вѣка, юные идеалисты культивируютъ самое безполезное и самое философское изъ искусствъ—музыку; изъ противорѣчiя прошлому здравому смыслу они создаютъ апоѳеозъ сумасшествiя и помѣшательства, какъ лучшаго способа общенiя съ таинственнымъ мiромъ духовъ. Словомъ, они переносятъ на русскую почву всѣ вкусы и наклонности нѣмецкаго романтизма.

Естественно, что и изъ натурфилософiи молодое поколѣнiе беретъ, главнымъ образомъ, идею единой космической жизни, и дѣлаетъ изъ этой идеи не столько научное, сколько поэтическое употребленiе. Такое перемѣщенiе интереса сразу чувствуется, наприм., если отъ *Бiологическаго изслѣдованiя* Велланскаго мы перейдемъ къ *Размышленiямъ о природѣ* Максимовича, правда, довольно грубовато написаннымъ ***). Не входя въ безконечныя подраздѣленiя Велланскаго, Максимовичъ спѣшитъ принять (въ главѣ V: „о разнообразiи и единствѣ вещества") воду и воздухъ, другъ въ друга переходящiя и производящiя „всѣ вещества минеральныя",—за двѣ основныя стихiи, которыя могли „имѣть своимъ началомъ одну общую земную стихiю". Въ неорганическомъ мiрѣ жизнь природы сохраняется въ застывшемъ, скрытомъ видѣ; въ органическомъ—дѣятельность природы проявляется сохраненiемъ формы при непрерывномъ движенiи или измѣненiи вещества. Далѣе, та же „жизнь, которая въ минералѣ представляла мертвенное оцѣпенѣнiе, а въ растенiи была дѣятельнымъ хранителемъ своего произведенiя, въ животномъ является еще чувствующею... посему животное имѣетъ произвольное движенiе, происходящее отъ его внутренняго побуж-

*) Русскiя ночи въ соч. кн. Одоевскаго, стр. 23—31, 99—111, 114—150, 207—210, 302—356 и др.

**) Тамъ же, стр. 210, 292. Ср. выше, стр. 232, планы И. Кирѣевскаго и Д. Веневитинова (Нѣсколько мыслей въ планъ журнала. Соч., т. II, стр. 24—32).

***) Изданы отдѣльною книжкою въ 1833 году.

денія". „Наконецъ, жизнь восходитъ на высшую ступень, одухотворяется, и въ храмѣ природы воздвигается человѣкъ", природа „мыслитъ и сознаетъ себя въ человѣкѣ" *).

Съ появленіемъ человѣка безсознательное творчество природы кончается. Теперь она творитъ чрезъ посредство человѣческаго духа, и въ результатѣ являются духовные, а не матеріальные продукты. Но какъ бы для того, чтобъ открыть человѣку пріемы собственнаго безсознательнаго творчества, природа надѣлила его способностью, аналогичною съ ея собственной и составляющею переходъ отъ безсознательнаго творчества къ сознательному. Фантазія и поэтическо-художественная дѣятельность человѣка—вотъ тѣ области, которыя вводятъ его въ самые тайники зиждительнаго процесса природы. „Міръ изящный—созданіе человѣка, -говоритъ Одоевскій,—основанъ на тѣхъ же единыхъ непремѣнныхъ законахъ, по которымъ движется и міръ вещественный, созданіе Всемогущаго" **). Такимъ образомъ, „достоинство искусства состоитъ въ сообразіи онаго съ натурою, которой скрытнѣйшія происшествія обнаруживаются искусствомъ" ***). Естественно, что эстетическая способность представляется нашимъ романтикамъ, такъ же какъ и нѣмецкимъ, какимъ-то особымъ органомъ познанія, независимымъ отъ обычныхъ и не всѣмъ доступнымъ. „Эстетическая дѣятельность,—читаемъ у кн. Одоевскаго,—проникаетъ до души *не* посредствомъ искусственнаго логическаго построенія мыслей, но *непосредственно*; ея условіе есть то особое состояніе, которое называется *вдохновеніемъ*,—состояніе, понятное только тому, кто имѣетъ органъ сего состоянія, но имѣющее необъяснимую привилегію дѣйствовать и на тѣхъ, у кого этотъ органъ на низшей степени". Этотъ взглядъ объясняетъ намъ тотъ первостепенный интересъ, которымъ пользовались въ глазахъ того поколѣнія искусство и поэзія. Поэтъ въ собственномъ вдохновеніи черпалъ объясненія сокровеннѣйшихъ вопросовъ жизни и духа; въ буквальномъ смыслѣ слова, онъ жилъ міровою жизнью. „Вникните въ поэзію величайшихъ поэтовъ, каковъ Гомеръ, Дантъ, Шекспиръ... не видимъ ли во всякомъ ихъ стихѣ... что они глубоко изучили природу, что они проникли въ

---

*) Размышленія о природѣ, стр. 90—91, 63, 60, 67, 69, 71. Ср. Пролюзію Велланскаго, стр. 22—23 („въ высшемъ обозрѣніи природы нѣтъ въ ней ничего неорганическаго: она есть универсальный организмъ, въ которомъ ничего бездушнаго быть не можетъ"... „бездушіе ихъ есть видимое только"), стр. 20 (въ организмѣ человѣческомъ „абсолютный универсъ представленъ въ совершенномъ рефлексѣ").

**) Мнемозина, т. I, стр. 64.

***) Велланскій: „Основное начертаніе физіологіи", стр. 188, Ср. Пролюзію, стр. 2: „объектъ поэзіи есть представленіе универса идеальнымъ образомъ".

міръ дѣйствительный до самой сокровеннѣйшей его глубины, что они въ немъ все замѣтили, отъ Бога до червя?" *).

Такимъ образомъ, эстетическая способность наиболѣе приближаетъ человѣка къ познанію истины; самое совершенное познаніе достигается тѣмъ же процессомъ, какимъ художникъ творитъ произведенія искусства. Искусство становится высшею схемой для представленія мірового процесса. Естественно, что и наиболѣе совершенная философія превращается въ созданіе искусства; естественно и то, что такая философія перестаетъ быть доступной для всякаго, перестаетъ быть общеобязательною формой знанія. Истинное философствованіе есть дѣло генія: для него необходимъ особый талантъ „интеллектуальнаго воззрѣнія".

Не будемъ останавливаться на антропологическихъ и психологическихъ воззрѣніяхъ русскихъ шеллингистовъ и перейдемъ теперь прямо къ историческимъ приложеніямъ шеллингизма. Какъ мы видѣли, самый принципъ міровоззрѣнія Шеллинга есть историческій; первыя его произведенія носятъ явные слѣды гердеровскаго вліянія. Однако же, самъ Шеллингъ ограничился самымъ общимъ приложеніемъ своихъ идей къ объясненію хода всемірной исторіи: и даже то немногое, что сказано по этому поводу въ концѣ *Системы трансцендентальнаго идеализма*, было имъ впослѣдствіи взято назадъ. Преимущественныя наблюденія единства, тожества въ развитіи дѣлаютъ Шеллинга даже равнодушнымъ и невоспріимчивымъ ко всему измѣняющемуся въ процессѣ. Все измѣняющееся есть мнимое, кажущееся; истинная сущность остается неизмѣнной. „Все, что происходитъ по опредѣленному механизму или что можетъ быть выведено a priori,—говорится въ *Системѣ*,—совсѣмъ не составляетъ предмета исторіи. Теорія и исторія прямо противоположны другъ другу. Человѣкъ только потому имѣетъ исторію, что то, что онъ совершитъ, нельзя разсчитать ни по какой теоріи. Произволъ, въ этомъ смыслѣ, есть божество исторіи... Съ царствомъ разума и совершенной свободы исторія бы закончилась" **). Другими словами, исторія есть субъективная человѣческая иллюзія, происходящая отъ

---

*) Одоевскій: „Сочиненія", т. I, стр. 282. Велланскій: „Физіологія", стр. 262. Шевыревъ: „Исторія поэзіи", стр. 89, 93—95. Западные образцы для всѣхъ этихъ утвержденій русскаго романтизма читатель въ изобиліи найдетъ въ извѣстной книгѣ Гайма Романтическая школа.

**) Ср. Историческіе афоризмы Погодина, стр. 7, 84. („Чѣмъ больше будетъ развиваться человѣчество, тѣмъ дѣянія его будутъ яснѣе, простѣе, и, наконецъ, исторіею будетъ самое настоящее время, т.-е человѣкъ будетъ вмѣстѣ и дѣйствовать, и знать свои дѣйствія, или, лучше, уже не будетъ исторіи"... „Можетъ быть, одинъ человѣкъ во всемъ мірѣ (плодъ всего міра)... уразумѣетъ исторію въ какой-нибудь краткой формулѣ, достигнетъ самопознанія... и кругъ исторіи... заключится").

неполноты человѣческаго самосознанія. Объективно исторіи не существуетъ, какъ не существуетъ и реальнаго міра; существуетъ одно абсолютное, безконечно добивающееся полнаго сознанія самого себя. Не сознающій себя міровой духъ творитъ реальныя явленія природы; точно также и несознавшій себя вполнѣ человѣческій духъ создаетъ въ исторіи нѣчто реальное, внѣшнее себѣ, именно „правовой порядокъ". Не сознавая своего тожества съ созданною имъ общественною формой, человѣческій духъ вступаетъ въ противорѣчіе съ этою формой, какъ несовмѣстимой съ его сознаніемъ внутренней свободы. Такимъ образомъ, исторія на первой ступени является внѣшнимъ духу стѣсненіемъ его свободы, необходимостью, судьбой. Дальнѣйшее развитіе исторіи состоитъ въ постепенномъ примиреніи и сліяніи этой внѣшней необходимости съ внутренней свободой.

Отрицательное отношеніе Шеллинга къ исторіи, какъ къ чему-то ирраціональному, сказалось, какъ увидимъ ниже, и въ философско-историческихъ конструкціяхъ русскихъ шеллингистовъ. Но, несмотря на такое отношеніе къ исторіи, въ общихъ идеяхъ философіи тожества заключалось столько матеріала для историческихъ построеній, что нѣмецкіе послѣдователи Шеллинга не замедлили сдѣлать изъ него соотвѣтствующее употребленіе, а слѣдомъ за ними пошла и русская молодежь двадцатыхъ годовъ. Подъ вліяніемъ шеллингизма должны были перерѣшиться теперь самые коренные вопросы исторіи. Распространяется ли закономѣрность міроваго процесса, изображеннаго Шеллингомъ, на историческія явленія, или въ нихъ дѣйствительно господствуетъ произволъ, не подчиняющійся никакимъ законамъ? Заслуживаетъ ли, поэтому, исторія названія науки, или не заслуживаетъ? Если признать закономѣрность историческаго процесса, то какъ примирить съ этимъ идею личной свободы и нравственнаго достоинства? Далѣе, если признать историческій процессъ чѣмъ-то цѣльнымъ, подобно міровому процессу, какіе выводы вытекаютъ изъ такого признанія, и какъ должны быть конструированы важнѣйшіе моменты процесса? Мы сказали, что съ точки зрѣнія шеллингизма предстояло *перерѣшить* всѣ эти вопросы; но, для правильнаго пониманія роли шеллингизма въ развитіи русской исторической мысли, вѣрнѣе было бы сказать, что большая часть перечисленныхъ вопросовъ подъ вліяніемъ шеллингизма *впервые* были поставлены въ Россіи. Если раньше мы и могли говорить о „философіи исторіи" различныхъ русскихъ изслѣдователей,—въ смыслѣ ихъ наличнаго міровоззрѣнія,—то о сознательномъ и систематическомъ философствованіи надъ теоретическими вопросами исторіи рѣчь можетъ идти, только начиная съ двадцатыхъ годовъ XIX вѣка.

Честь перваго связнаго отвѣта на наши вопросы принадлежитъ нѣкоему *И. Среднему-Камашеву*, помѣстившему въ *Вѣстникѣ Европы* за 1827 г. рядъ статей подъ названіемъ: *Взглядъ на исторію.*

какъ на науку. Если припомнитъ читатель, съ этой статьи мы готовы были вести новый періодъ въ развитіи русской исторической мысли (стр. 5). Статья Камашева не самостоятельна, а скомпилирована по Гердеру и нѣкоторымъ шеллингистамъ; но это не уменьшаетъ ея значенія, какъ перваго печатнаго заявленія новыхъ идей.

„Науки точныя, —говорится въ статьѣ,—по словамъ нѣкоторыхъ, только однѣ могутъ имѣть систему, т.-е. быть собственно науками,—все прочее есть только знаніе. Здѣсь основываются на томъ, что только въ сихъ наукахъ открыты законы непреложные, законы, удобные къ опредѣленію... Но, съ другой стороны, намъ доказываютъ, что каждый порядокъ вещей видимыхъ, каждое дѣйствіе сокровенныхъ силъ природы или ума человѣческаго имѣетъ свое начало, безъ котораго бы существовать не могло,—и отсюда выводятъ понятіе о наукѣ каждаго рода явленій. Разсматривая съ этой точки всѣ предметы наукъ, кажется, нельзя не одобрить и раздѣленія ихъ на три главныя отрасли: богословіе, изученіе природы, т.-е. вещественныхъ силъ ея, и на анѳропологію—ученіе о человѣкѣ. И здѣсь-то, въ сей послѣдней отрасли наукъ, гдѣ предначертанія воли всемогущей являются въ образѣ совершенной свободы,—здѣсь-то всего труднѣе отыскать непрерывную цѣпь законовъ, связующихъ человѣка съ прочимъ твореніемъ. Сюда относится и самая исторія".

Отнеся, такимъ образомъ, исторію къ разряду наукъ антропологическихъ, Камашевъ разсматриваетъ затѣмъ ближайшимъ образомъ ея положеніе въ ряду этихъ наукъ. „Какая могла бы быть связь между исторіею человѣка и науками, разсматривающими силы души, ея дѣйствія, ея отношенія къ предметамъ окружающимъ?"—спрашиваетъ авторъ. Его отвѣтъ на этотъ вопросъ удовлетворилъ бы и современнаго теоретика. „Такая же (связь),—отвѣчаетъ онъ, какъ между оптикой, механикой, астрономіей и общимъ ихъ началомъ математикой. Въ послѣдней разсматриваются силы, въ первыхъ—исполненіе оныхъ въ лучахъ свѣта, въ движеніяхъ земныхъ тѣлъ и небесныхъ. Психологія, логика, иѳика говорятъ намъ о *законахъ* души; исторія о ея *дѣйствіяхъ*, которыя также суть не что иное, какъ тѣ же самые законы, только имѣющіе вещественную оболочку". Другими словами, по терминологіи нашего времени, Камашевъ опредѣляетъ исторію, какъ конкретную (или феноменологическую) науку по отношенію къ соотвѣтствующимъ ей абстрактнымъ (номологическимъ): психологіи, логикѣ и этикѣ; конечно, современные теоретики не согласились бы причислить къ послѣднимъ, на ряду съ психологіею, такія чисто-нормативныя дисциплины, какъ логика и этика.

Далѣе, Камашевъ ставитъ на очередь вопросъ, какимъ образомъ примирить идею закономѣрности съ идеей свободы. „Возраженіе,—замѣчаетъ онъ,—будетъ состоять въ томъ, что человѣкъ одаренъ свободой въ своихъ дѣйствіяхъ". Отвѣтъ автора опять чрезвычайно

любопытенъ, особенно, если примемъ во вниманіе, что вопросъ, по тогдашнему времени, былъ очень щекотливаго свойства. Свобода, - говоритъ Камашевъ,—„ни мало не отрицается! (Но) человѣкъ, при всей свободѣ въ своихъ дѣйствіяхъ, все остается орудіемъ неисповѣдимыхъ судебъ Промысла; а свободы безусловной въ мірѣ вещественномъ и существовать не можетъ,—только чистѣйшій духъ не имѣетъ законовъ!... Да и какимъ же образомъ не допускать никакихъ ограниченій души, когда существуетъ самая психологія, въ которой говорится о законахъ воли? Мысль, унижающая самое Божество: въ ней я вижу титановъ, воюющихъ противъ неба! Ею разрывается всякая связь между Творцомъ и человѣкомъ, Его твореніемъ, который является здѣсь, какъ начало независимое".

Авторъ самъ указываетъ затѣмъ рѣзкое различіе новаго взгляда на исторію отъ стараго. „Не простое измѣненіе событій, не затверживаніе годовъ и именъ, ничего не значущихъ по самимъ себѣ, можетъ возвысить исторію до степени науки. Намъ говорятъ о прагматическомъ ея преподаваніи? Полезно наблюдать каждое событіе, отыскивать цѣпь причинъ, стеченіе которыхъ послужило началомъ какого-либо переворота въ существованіи государствъ. Но таковыя наблюденія подобны трудамъ ботаника..., не постигающаго совершеннѣйшей системы царства прозябаемаго. И такъ, только съ одной точки зрѣнія, о которой было уже упомянуто, можно смотрѣть на исторію, какъ на науку,— какъ на чистѣйшее зеркало, въ которомъ отражаются судьбы, управляющія человѣкомъ".

Если исторія, какъ наука, есть объясненіе всемірныхъ судебъ человѣчества, то цѣлью научной исторіи является открытіе всемірно-историческаго плана, управляющаго этими судьбами. „Какимъ же образомъ разгадать безошибочно смыслъ огромной задачи, какова исторія вѣковъ?"- спрашиваетъ авторъ. Отвѣтъ подсказывается общимъ схематизмомъ философіи тожества. Здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, аналогія послужитъ вмѣсто объясненія: аналогія между міровымъ и человѣческимъ организмомъ. „Мысль, что лѣтописи *планеты*, нами обитаемой,—какъ изложеніе всѣхъ измѣненій ея въ теченіе различныхъ періодовъ времени,—точно въ такомъ находятся отношеніи къ повѣствованію о жизни человѣка въ особенности, какое допускается между природою вообще и *ея микрокосмомъ*,— (эта мысль) будетъ положеніемъ, развитіе и доказательство котораго необходимо нужны для раскрытія всего *плана исторіи*... Такъ можно выводить понятіе о *періодахъ* исторіи человѣчества". Проводя далѣе аналогію между исторіей человѣчества и біографіей отдѣльной личности, мы получимъ уподобленіе этихъ періодовъ всемірной исторіи возрастамъ человѣческаго организма. Затѣмъ, остается только провѣрить это сравненіе эмпирически. „Такія умствованія сами по себѣ ничтожны, когда они не подтверждаются опытомъ; послѣдній

служитъ всегда наилучшею провѣркой. Итакъ, мысль, что въ исторіи вообще долженъ раскрываться тотъ же самый ходъ, который замѣчается въ жизни каждаго человѣка въ особенности, тогда только можетъ быть признана въ полномъ размѣрѣ истиною, когда ее совершенно оправдаютъ самыя историческія событія". Сообразно этому замѣчанію, Камашевъ и переходитъ дальше къ провѣркѣ или, точнѣе, проведенію своей конструкціи на дѣйствительныхъ фактахъ. Въ напечатанныхъ статьяхъ онъ успѣлъ характеризовать исторію Востока, какъ періодъ младенчества, и классическій міръ, какъ періодъ юности человѣчества. На этомъ статьи Камашева остановились.

Дальнѣйшимъ матеріаломъ для исторіи усвоенія историческихъ идей шеллингизма послужатъ намъ *Историческіе афоризмы* Погодина, набросанные, какъ мы знаемъ, еще въ 1823—26 году, и впервые напечатанные въ 1827 году *). Въ способѣ усвоенія новыхъ взглядовъ Погодинымъ сказались его характерныя особенности, отчасти намъ уже извѣстныя. Но поскольку *Афоризмы* выражаютъ личное историческое міровоззрѣніе Погодина, мы будемъ о нихъ говорить въ своемъ мѣстѣ. Здѣсь они нужны намъ, только какъ показатель той совокупности идей, которая пущена была въ общій оборотъ шеллингизмомъ. Какъ будто нарочно для того, чтобы лучше оттѣнить эти общія мѣста шеллингистской философіи исторіи, за два года до отдѣльнаго изданія *Афоризмовъ* вышла интересная книжка одного изъ слушателей Погодина, Кастора Никифоровича Лебедева, прошедшая, кажется, и въ то время совершенно незамѣченною **). Повидимому, Лебедевъ не принадлежалъ къ поклонникамъ Погодина; по крайней мѣрѣ, онъ отлично умѣлъ подмѣтить его слабыя стороны въ своей шутливой сатирѣ *О царѣ Горохѣ* ***). Однако же, мысли, развиваемыя въ книжкѣ Лебедева, во многихъ существенныхъ чертахъ совпадаютъ съ мыслями *Историческихъ афоризмовъ*. Нѣтъ надобности объяснять это сходство заимствованіемъ, тѣмъ болѣе, что Лебедевъ, какъ увидимъ, гораздо глубже Погодина вдумался въ теоретическіе вопросы исторіи. Вѣрнѣе будетъ предположить, что къ началу тридцатыхъ годовъ историческая топика шеллингизма сдѣлалась общимъ достояніемъ интеллигентной молодежи. На общемъ фонѣ сходныхъ положеній различіе между обоими авторами обрисуется тѣмъ отчетливѣе.

---

*) Въ Московскомъ Вѣстникѣ Погодина, съ 6-й книжки. Отдѣльное изданіе вышло въ 1836 году.

**) Исторія. Первая часть введенія: идея, содержаніе и форма исторіи. Москва, 1834 г., стр. IV+94+II. Въ Русской Старинѣ 1888—89 годовъ печатались воспоминанія этого Лебедева о московской жизни начала 50-хъ годовъ.

***) Подарокъ ученымъ на 1834 годъ. О царѣ Горохѣ перепечатано въ Русской Старинѣ. 1878 г, 2, стр. 347—368.

Что исторія есть наука, такъ какъ историческія явленія подчинены законамъ,—это есть основная аксіома, изъ которой исходятъ всѣ дальнѣйшія разсужденія Погодина и Лебедева. „Необходимо должны быть законы исторической жизни,—замѣчаетъ послѣдній,—иначе частныя явленія, безъ системы, безъ цѣли, представятъ несвязное совокупленіе подробностей, изученіе которыхъ не принесетъ никакой пользы уму и, по ложному понятію, будетъ принадлежать одной памяти". „Неужели, спрашиваетъ въ свою очередь Погодинъ,—всѣ разнообразныя явленія происходятъ сами собою, то есть могутъ быть и не быть, замѣняться другими, не имѣютъ никакого единства, согласія? Разсудокъ невольно противится принять такое нелѣпое положеніе... Такъ, міръ нравственный вѣрно подчиненъ такимъ же непреложнымъ законамъ, какъ и міръ физическій" *).

„Но какъ согласить теперь существованіе сихъ высшихъ законовъ необходимости... съ человѣческою свободой" **)? „Міръ вещественный имѣетъ законы,—говорятъ новѣйшіе систематики, —*слѣдовательно* и міръ человѣческій долженъ имѣть таковые же, но какъ согласить фатализмъ съ христіанствомъ, предопредѣленіе съ свободою духа, судьбу и случай?" „Дѣйствіе природы *необходимо*... безсознательно, опредѣленно, всегда правильно. Дѣйствіе человѣка—*вольно, сознательно*". „И такъ, сознательное дѣйствіе различно по человѣку, по народу,—и такъ, нѣтъ двухъ особъ совершенно сходныхъ; и такъ, нѣтъ двухъ исторій одного содержанія; и такъ, *исторія не имѣетъ законовъ?*" „Должно ли намъ прибѣгнуть къ фатализму? Должно ли отказаться отъ обрѣтенія законовъ исторіи? Первое несообразно, второе—противуположно: тогда мы не умѣстимъ всѣхъ подробностей, откажемъ исторіи въ достоинствѣ науки". Съ другой стороны, „каково будетъ значеніе человѣка, если мы допустимъ предопредѣленіе, которому подчиняется личная воля? Раздастся ли тогда голосъ совѣсти, когда мы найдемъ оправданіе своимъ дѣйствіямъ въ путяхъ Промысла?" „И такъ, предопредѣленіе въ исторіи унизительно для разума, безотрадно для сердца и смертоносно для воли. Человѣкъ въ фаталистической исторіи является существомъ жалкимъ, ниже самаго послѣдняго животнаго: онъ сознаетъ свою судьбу противъ собственнаго желанія, онъ дѣйствуетъ и не въ силахъ направлять своего дѣйствованія: онъ служитъ и не знаетъ—кому; онъ живетъ и не смѣетъ знать—*для чего*. И такъ, трансцендентальное воззрѣніе на исторію противно религіи въ *теоріи* и гибельно для общественной жизни въ *практикѣ* ***).

---

*) Исторія, стр. 19—20. Афоризмы, стр. 116, 122 (изъ вступительной лекціи 1834 года: О всеобщей исторіи).

**) Афоризмы, стр. 123.

***) Лебедевъ: „Исторія" стр. 10—16.

Очевидно, оба автора не рѣшаются отвѣчать на поставленный вопросъ такъ рѣшительно, какъ это сдѣлалъ Камашевъ. „Нѣтъ, мы не слѣпыя орудія Высшей силы,—заявляетъ Погодинъ,—мы дѣйствуемъ, какъ хотимъ, и свободная воля есть условіе человѣческаго бытія, наше отличительное свойство. Это столь же ясно и вѣрно, какъ и первое предложеніе, нами выше сказанное, о безсмысленности случаевъ. Мы положили прежде, что существуетъ необходимость; теперь должны положить, что существуетъ свобода. Какъ же онѣ могутъ существовать вмѣстѣ? Какъ онѣ не мѣшаютъ одна другой?“ Погодинъ отказывается дать опредѣленный отвѣтъ и признаетъ совмѣщеніе необходимости и свободы—непостижимымъ для человѣческаго ума. „Соединеніе или, лучше, тожество законовъ необходимости съ законами свободы—такое же таинство, какъ соединеніе мысли съ словомъ, какъ соединеніе души съ тѣломъ“. „Каждая наука имѣетъ свои таинства: таинство исторіи—связь законовъ необходимости съ законами свободы. Признаюсь, мнѣ странно видѣть, какъ многіе мыслители могутъ до такой степени обманываться своею логикой, своею оптикой, что почитаютъ себя понимающими это таинство, или, по крайней мѣрѣ, стыдятся, какъ будто, не понимать его“. Самое большее, что допускаетъ Погодинъ, это—возможность показать параллелизмъ свободныхъ человѣческихъ дѣйствій и необходимаго теченія историческихъ событій *). Нужно, впрочемъ, сказать, что на дальнѣйшее развитіе взглядовъ Погодина это признаніе человѣческой свободы не оказываетъ замѣтнаго вліянія; признавъ свободу явленіемъ необъяснимымъ и несовмѣстимымъ съ идеей закономѣрности, онъ больше къ ней старается не возвращаться, а при случаѣ, самъ того не замѣчая, и прямо отрицаетъ свободу воли. „Разсмотрите всѣ великія происшествія,—замѣчаетъ онъ, напримѣръ,—то ли произошло отъ нихъ, чего хотѣли дѣйствующія лица? Нѣтъ, а то, о чемъ они и не думали. Люди дѣйствуютъ сами по себѣ и для себя, а человѣчество само по себѣ и для себя. Въ этомъ большомъ человѣкѣ *уравновѣшиваются по закону необходимости всѣ противуположныя силы людей, дѣйствующихъ по закону свободы***). Такимъ образомъ, практически Погодинъ приходитъ къ фатализму, и, притомъ, какъ увидимъ впослѣдствіи, къ фатализму самаго худшаго вида.

Иного рода отвѣтъ даетъ Лебедевъ. Не объявляя вопроса неразрѣшимымъ, онъ старается найти рѣшеніе въ самомъ характерѣ необходимаго хода всемірно-исторической жизни. Эмпирическія наблюденія надъ процессомъ исторіи показываютъ, по его мнѣнію, что этотъ процессъ и состоитъ въ постепенномъ развитіи свободы.

---

*) Афоризмы, 123—125, 98—99, 97.
**) Афоризмы, 96—97, 64, 48 и passim.

Мы видимъ здѣсь „постепенное стремленіе человѣка къ совершенству, неукоснительное развитіе духовнаго начала на счетъ тѣлеснаго, послѣдовательное пріобрѣтеніе человѣческаго ума въ господствѣ надъ природою". Такимъ образомъ, „законъ (исторической) жизни есть не фатализмъ, но свободное совершенствованіе" *).

Однако же, „убѣдясь въ стремленіи человѣчества къ совершенствованію, мы не избѣжимъ еще возраженія: существуютъ ли опредѣленные законы самого акта сего стремленія? Опредѣленно ли являются племена на театрѣ дѣйствованія? Опредѣленно ли время ихъ бытія, періодъ ихъ продолженія и исчезновенія? Есть ли условія сего стремленія?" **). Вопросы эти возвращаютъ насъ къ рѣшенію вопроса объ исторической закономѣрности. Предположивъ, что вопросъ о свободѣ воли такъ или иначе рѣшенъ, признавъ a priori научность исторіи и закономѣрность историческаго процесса, мы должны еще доказать существованіе этой закономѣрности на самомъ ходѣ всемірной исторіи.

Изъ разбора статьи Камашева мы уже знаемъ, что на помощь въ этомъ случаѣ является уподобленіе человѣчества одному цѣльному организму, міровому, планетному или человѣческому. Погодинъ чрезвычайно широко пользуется этими параллелями, вырывая частныя черты изъ міра физическихъ, біологическихъ, антропологическихъ явленій, и безцеремонно сопоставляя ихъ съ отдѣльными событіями исторіи. „Происшествія" онъ „дѣлитъ на роды, виды, разности, какъ дѣлятъ растенія и минералы"; народы у него „вступаютъ въ бракъ между собою, какъ лица", и онъ ищетъ, для довершенія параллели, „народовъ вдовыхъ, безбрачныхъ, народовъ мужского и женскаго рода"; „государства, для возстановленія силъ, спятъ, подобно отдѣльнымъ людямъ"; полярность силъ, центробѣжной и центростремительной, отражается на исторіи Европы; „линіи образованія" идутъ подобно „магнитнымъ линіямъ" и т. д. ***). Однако же, въ основѣ большинства уподобленій Погодина лежитъ ближайшая, сама собою напрашивающаяся параллель съ человѣческимъ организмомъ и развитіемъ отдѣльной человѣческой личности. „Исторія должна изъ всего рода человѣческаго сотворить одну единицу, одного человѣка, и представить біографію этого человѣка, черезъ всѣ степени его возраста. Многочисленные народы

---

*) Исторія, 20–23, 32—33. Мой экземпляръ книжки Лебедева принадлежалъ самому автору и испещренъ поправками. Слово „свободное" добавлено карандашомъ. Параллельное наблюденіе надъ совершенствованіемъ человѣка и эмансипаціей его отъ власти природы можно найти и въ Афоризмахъ (12–13), но безъ дальнѣйшихъ выводовъ.

**) Исторія, стр. 28.

***) Афоризмы, стр. 11, 13–14, 56, 72, 82. Эта черта, вмѣстѣ съ фатализмомъ, составляетъ особенность личныхъ взглядовъ Погодина.

жившіе и дѣйствовавшіе въ продолженіе тысячелѣтій, доставятъ въ такую біографію, можетъ быть, по одной чертѣ. Черту сію узнаютъ великіе историки". Этотъ тезисъ поставленъ Погодинымъ во главу *Афоризмовъ*. Но, при проведеніи основной идеи въ подробностяхъ, встрѣчаются затрудненія. Слѣдуетъ ли представлять себѣ біографію человѣчества въ видѣ одной непрерывной цѣпи, въ которой каждая народность играетъ роль особаго звена? Въ такомъ случаѣ, развитіе государствъ должно совершаться въ извѣстной послѣдовательности, „наблюдать извѣстную череду": поочередно каждое „выходитъ на общую сцену, играетъ роль первоклассную или второклассную, уступаетъ мѣсто одно другому, возвращается въ свои границы" и т. д. Каждое послѣдующее, въ духѣ шеллингизма, должно соединять въ себѣ успѣхи, достигнутые всѣми предыдущими: „выходить новымъ изданіемъ, исправленнымъ и дополненнымъ". „Химику нуженъ такой-то составъ; онъ дѣлаетъ двадцать опытовъ, которые ему не удаются; наконецъ, двадцать первый удовлетворяетъ его ожиданію, но этотъ двадцать первый не могъ бы быть, если бы не было двадцати прежнихъ. Разсматривая исторію народовъ, примѣчаешь подобное явленіе: они служатъ другъ другу какъ будто ступенями, корректурами, и равно важны въ исторіи рода человѣческаго. Ботаникъ въ зернѣ видитъ плодъ, а въ плодѣ зерно. Онъ не отдаетъ преимущества ни тому, ни другому, а смотритъ съ любовію на всю жизнь растенія. Въ часахъ много колесъ и пружинъ, разной важности, но часы не могутъ хорошо идти, если-бъ испортилось хотя одно изъ нихъ, самое маловажное" *). Сопоставленіе двухъ послѣднихъ иллюстрацій очень характерно, потому что подчеркиваетъ колебаніе Погодина между двумя различными представленіями о единствѣ человѣчества. Объединяются ли различные народы въ этомъ единствѣ, какъ ступени развитія одного и того же растенія, отъ зерна до плода, или же народы одновременно тянутъ каждый свою ноту, сливающуюся въ міровой аккордъ, подобно тому, какъ соединяются въ одно общее движеніе колеса часового механизма? Господствующая концепція Погодина—*хронологическая*: человѣчество въ цѣломъ проходитъ свои шесть дней творенія, минеральную, растительную, животную и человѣческую эпохи **). Но, въ такомъ случаѣ, какъ быть съ народами, не принявшими во время участія въ этомъ торжественномъ шествіи человѣчества къ самосознанію? Вѣдь, при послѣдовательномъ приложеніи шеллингистской идеи „каждый народъ, каждое государство перебываетъ на всѣхъ ступеняхъ въ свое время, такъ или иначе, раньше или позднѣе, крѣпче или слабѣе, медленнѣе или скорѣе".

---

*) Афоризмы, стр. 2, 52, 61, 106.
**) Ibid., стр. 87, 100, 106.

„Времени, которое было въ Европѣ, не было еще въ Азіи и Африкѣ: такъ солнце освѣщаетъ страны, одну за другою, и европейскій вечеръ есть американское утро". Итакъ, развитіе человѣчества представляетъ не одну непрерывную нить; напротивъ, „всѣ исторіи могутъ быть вытянуты параллельными нитями своего рода". „Какъ въ царствѣ прозябаемыхъ между высокими пальмами, такъ и въ родѣ человѣческомъ въ одно время съ нѣмцами, французами, русскими живутъ кафры, готтентоты, чуваши, и всѣ они чувствуютъ бытіе свое, имѣютъ собственныя свои наслажденія и могутъ подниматься выше въ своемъ образованіи". Какая же роль принадлежитъ имъ въ составѣ цѣльнаго человѣческаго организма? „Можетъ быть, балластъ необходимый, если ничто другое,—азотъ, нужный для бытія воздуха",—замѣчаетъ Погодинъ *).

Съ тѣми же основными идеями оперируетъ Лебедевъ, но онъ размѣщаетъ ихъ въ нѣсколько иномъ и гораздо болѣе естественномъ порядкѣ. И онъ исходитъ изъ положенія, что „человѣчество есть человѣкъ, воля его есть воля недѣлимаго"; и онъ на этомъ основаніи „допускаетъ возрасты жизни, великіе циклы въ ходѣ человѣчества" **). Но между тѣмъ какъ Погодинъ держитъ постоянно въ умѣ міровое развитіе человѣчества, усиливаясь опредѣлить его ходъ на основаніи рискованныхъ параллелей изъ самыхъ отдаленныхъ областей знанія, Лебедевъ исходитъ изъ ближайшаго даннаго, изъ сопоставленія развитія личности и *отдѣльнаго* народа. Мы видѣли, какъ отвѣчалъ Погодинъ на цитированные выше вопросы Лебедева, „опредѣленно ли являются племена на театрѣ дѣйствованія, опредѣленно ли время ихъ бытія, періоды ихъ продолженія и исчезновенія". Самъ Лебедевъ отвѣчаетъ на это иначе. „Раннее или позднее явленіе какого-либо племени на сценѣ дѣйствія зависитъ отъ болѣе или менѣе благопріятныхъ условій; преуспѣяніе жизни, скорѣйшее развитіе совершенно связано съ точностью дѣйствованія по симъ условіямъ. Но кому угодно будетъ спросить: отчего здѣсь сіе развитіе было поспѣшно, индѣ медленнѣе? Отчего одинъ народъ преуспѣваетъ, другой коснѣетъ? Отчего тотъ народъ здѣсь, а другой тамъ? Того я прошу искать рѣшенія въ баснѣ Хемницера: *Метафизикъ*. И, притомъ, къ чему бы была тогда исторія міра, если бы всѣ виды жизни слѣдовали одинаковому закону развитія? Не

---

*) Афоризмы, стр. 6—7, 3, 90. Ср. стр. 14—15: „но, можетъ быть, симъ народамъ предназначено природою не выходить изъ своего состоянія... Однако... вообще движеніе впередъ возможно со всякой точки".

**) Исторія, стр. 35; ср. стр. 14: „великій законъ исторіи есть психологическое развитіе жизни: человѣчество, народъ и человѣкъ имѣютъ свои возрасты". Разсужденіе о возрастахъ лица, народа и человѣчества см. также въ Опытѣ изслѣдованія нѣкоторыхъ теоретическихъ вопросовъ, стр. 55—61, 242—263.

сдѣлалась ли бы исторія каноническою формулой, въ которую мыслителю оставалось бы только вставлять въ раму римской исторіи событія китайской?" Исторія отдѣльныхъ народовъ вполнѣ индивидуальна и не можетъ быть сведена въ общую формулу; историческая наука конкретна, а не абстрактна: такова мысль Лебедева. „Тогда какъ во всѣхъ философскихъ и опытныхъ наукахъ непремѣнно мы находимъ двѣ части, общую и частную или чистую и прикладную, исторія, какъ міръ фактовъ, происшедшихъ не по предопредѣленію, но по предуставленію, допускающему волю человѣка, прямо начинается подробностями, самобытными и отдѣльными, зависимыми и относительными, и сохраняетъ свой характеръ отъ первой до послѣдней своей страницы: вотъ почему методологія была рѣдко и неудачно прилагаема къ исторіи, вотъ почему систематика новѣйшей философіи имѣла наименьшее вліяніе на историческое искусство" *).

Эти соображенія не заставляютъ, однако же, Лебедева отказаться отъ собственной попытки создать нѣкоторую методологію и конструкцію историческаго процесса. Они только дѣлаютъ нашего автора осторожнѣе, заставляютъ его ближе придерживаться конкретнаго даннаго и не пытаться насильственно упрощать историческихъ объясненій. Въ противоположность Погодину, онъ избираетъ, какъ мы уже замѣтили, исходною точкой своихъ объясненій не все человѣчество, а отдѣльную національность. Конечно, и Погодинъ готовъ утверждать, что періоды всемірной исторіи повторяются и въ національной; въ *Афоризмахъ* онъ говоритъ и о юности народа, и о его старости и естественной смерти. Но чаще всего онъ склоненъ смотрѣть на отдѣльный народъ, какъ на недѣлимую единицу, не подлежащую дальнѣйшему анализу: это - „сѣмя", скрывающее въ себѣ всѣ будущія свойства своего развитаго состоянія. Отдѣльный народъ фатально предопредѣленъ быть носителемъ той или другой „черты", нужной для всемірно-историческаго процесса **).

---

*) Исторія, стр. 28—29, 79—80.

**) Афоризмы, стр. 53 („вся исторія народа явствуетъ изъ первыхъ его дѣйствій"), 63, 82, 88, 103 -104; ibid., стр. 27: „всѣ сіи различія... происходятъ отчасти отъ первоначальнаго различія племенъ. Сіе различіе сѣмени отражается въ первыхъ движеніяхъ полудикой орды и послѣднихъ зрѣлыхъ предпріятіяхъ общества". Велланскій тоже полагаетъ, что „тщетно доискиваются причины различія племенъ во внѣшнихъ обстоятельствахъ"; „сила климата и образъ жизни измѣняютъ только до нѣкоторой степени внѣшнюю форму человѣка, а внутреннее измѣненіе производится смѣшеніемъ расъ, которое не показываетъ единства рода, но предполагаетъ начальное различіе онаго". Но онъ выводитъ отсюда только то, что единство человѣческаго рода не можетъ быть доказано эмпирическою антропологіей и требуетъ умозрительныхъ доказательствъ. Физіологія, стр. 371—454.

Лебедевъ рѣшительно отказывается отъ такого „трансцендентальнаго воззрѣнія“ и предпочитаетъ „психологическое“. Психологію различныхъ человѣческихъ возрастовъ онъ признаетъ твердою опорой для историческихъ объясненій; съ нея онъ и начинаетъ. Въ психологическомъ развитіи человѣка онъ различаетъ пять періодовъ. По отношенію къ познавательной сторонѣ души эти пять періодовъ характеризуются, какъ постепенное развитіе „чувства, силы представительной, разума, ума и вѣдѣнія“. Въ области чувствованій имъ будутъ соотвѣтствовать „чувствованіе, сила вообразительная, чувство, фантазія и созерцаніе“. Въ сферѣ дѣятельности это будутъ: „естественный инстинктъ, наклонность, желаніе, воля и вѣрованіе“. Наконецъ, совокупность душевной жизни будетъ характеризоваться въ первомъ періодѣ какъ „самочувствіе“, во второмъ какъ „сознаніе“, въ третьемъ какъ „самосознаніе“, въ четвертомъ какъ „самообладаніе“ и въ пятомъ какъ „богопознаніе“. Опираясь на эту схему психической эволюціи, Лебедевъ различаетъ пять соотвѣтствующихъ возрастовъ „человѣчества“, которымъ онъ даетъ точное описаніе: животный, чувственный, поэтическій, умственный и религіозный. „Я бы желалъ сдѣлать ближайшее приложеніе,—замѣчаетъ онъ въ заключеніе, – но не совершенство исторіи отказывается представить требуемыя данныя“.

Распространить только что найденную схему на развитіе всего „человѣчества“ мѣшали Лебедеву ранѣе приведенныя его мнѣнія. Подчиняясь ходячему схематизму новой школы, Лебедевъ готовъ былъ, правда, признать, что „сіи возрасты въ преемственномъ послѣдованіи составляютъ циклъ или кругъ, *говоря языкомъ восточнымъ*, одинъ день міра, одинъ часъ высшей жизни“. Но въ его собственной схемѣ анализъ психологическихъ условій исторической жизни имѣлъ совсѣмъ другое значеніе. Мы припоминаемъ, что каждую національную исторію авторъ считалъ своеобразнымъ явленіемъ, не похожимъ ни на какое другое. Какимъ же образомъ мирилось это представленіе съ теоріей пяти возрастовъ человѣчества, дававшей какъ разъ ту самую каноническую формулу“ исторіи, возможность которой авторъ такъ рѣшительно отрицалъ? Примиреніе того и другого– разнообразія и единства –Лебедевъ находилъ въ дальнѣйшемъ анализѣ „условій исторической жизни“. Одни изъ этихъ условій „*всеобщи* и безъ исключенія принадлежатъ всѣмъ народамъ“. Это именно и есть „психологическія условія“, „выведенныя изъ свойства самого духа“. Другія—суть „условія *частныя*“; они-то и составляютъ причину разнообразія въ жизни отдѣльныхъ народовъ. Это именно „условія физико-географическія“. Опять-таки, параллельное утвержденіе мы можемъ найти у Погодина. „Есть *одинъ* законъ, по которому образуется человѣчество,—говорится въ *Афоризмахъ*, —но въ каждомъ народѣ ходъ сего образованія измѣняется

вслѣдствіе разныхъ внѣшнихъ обстоятельствъ". Эта случайная для Погодина мысль у Лебедева развивается въ цѣлую систему. Физико-географическія условія жизни суть: широта мѣста, положеніе и почва страны. *Широта мѣста* опредѣляетъ климатъ, оказывающій рѣшительное вліяніе какъ на общественную, такъ и на частную жизнь. По *положенію страны* историческая жизнь можетъ быть или средиземная, или островная, или полуостровная, соединяющая оба предыдущіе типа. Наконецъ, жизнь народовъ разнообразится по свойству *почвы*, гористой или равнинной, влажной или сухой, плодородной или безплодной, богатой или бѣдной естественными произведеніями.

Взаимодѣйствіе психическихъ и физико-географическихъ условій и создаетъ разнообразіе мѣстныхъ исторій. Итогомъ этого взаимодѣйствія будетъ *національность*. „Форма націи зависитъ отъ условій мѣстности, существо націи—отъ духа народа". „Душа опредѣляетъ общее направленіе, мѣстность даетъ оному частное русло".

Авторъ не былъ бы вѣренъ своему времени, еслибъ онъ остановился на этомъ анализѣ происхожденія національности изъ сложныхъ элементовъ. Закончивъ анализъ, онъ спѣшитъ въ духѣ шеллингизма снова интегрировать понятіе національности. „Силы мои отказываются опредѣлить національность,—восклицаетъ онъ,—слово глубочайшаго значенія, *слово нашего времени*, которое всѣ знаютъ, всѣ чувствуютъ, но которое можно чувствовать, а не опредѣлить". Въ началѣ исторической жизни „всѣ народы имѣютъ одинъ умъ, одно знаніе: всѣ согласны въ абсолютномъ". Но этого начала мы уже не знаемъ; на памяти исторіи „всѣ народы имѣютъ уже свою жизнь, потому что всѣ имѣютъ память своей юности и свои условія, психологическія и мѣстныя; всѣ народы имѣютъ *свой* духъ, свой характеръ, и этотъ-то духъ народа я называю *національностью*. И такъ, что такое національность? То неизмѣнное начало жизни, въ которомъ отражаются всѣ условія жизни, то *родимое* пятно народа, которымъ запечатлѣнъ его рокъ для отличія отъ другихъ, то свойство націи, которое относится къ свойствамъ другихъ націй, какъ одно понятіе къ другому; средоточіе всѣхъ силъ народа, которое въ душѣ мы назвали сознаніемъ. Да, *національность есть сознаніе націи*, національность есть *идея націи:* сюда, какъ къ точкѣ расплавленія, сводятся всѣ лучи, всѣ радіусы; отсюда, какъ изъ центра, направляются всѣ развитія центра, запечатлѣнныя однимъ характеромъ, одушевленныя одною душой, однимъ духомъ, при всемъ разнообразіи формъ, политическихъ, религіозныхъ, умственныхъ. Умъ и чувство сливаются въ волѣ; религія и философія сливаются въ понятіяхъ народа"; и „если всѣ условія жизни совокупляются въ понятіи о національности, то самое торжественное выра-

женіе національности есть *языкъ*, слово народа"; „языкъ передаетъ мысль народа человѣчеству" *).

Такимъ образомъ, Лебедевъ возвращается къ господствующимъ идеямъ системы. Не рѣшаясь, во имя личной свободы и національнаго своеобразія, конструировать всемірно-историческій ходъ событій, онъ, тѣмъ не менѣе, допускаетъ, какъ мы знаемъ, извѣстную тенденцію всемірно-историческаго процесса, заключающуюся въ постепенномъ совершенствованіи человѣчества. Естественно ожидать при этомъ возраженія, которое и дѣлаетъ себѣ самъ авторъ. „Родъ человѣческій является намъ въ исторіи такъ разнороднымъ, что невозможно допустить постепеннаго развитія и совершенствованія". Рядомъ съ образованными и прогрессирующими племенами всегда существовали дикія, рядомъ съ успѣхами просвѣщенія и терпимости торжествовали фанатизмъ и суевѣріе; „на древнемъ образованіи возсѣло средневѣковое варварство" и т. д. Разрѣшенія этого противорѣчія Лебедевъ ищетъ въ особой „системѣ семейственности". „Представьте себѣ многочисленное семейство: мать и отецъ владѣютъ богатствомъ знаній и опытности. Дѣти, одинъ одного юнѣе, въ избранный нами моментъ, согласно съ своимъ возрастомъ,—дѣти и по тѣлу, и по духу. Вы говорите: образованное семейство, хотя въ немъ есть члены, по образованію, ниже всякаго дикаря; но сіи члены, рано или поздно, достигнутъ состоянія своихъ родителей, чего нельзя сказать о дѣтяхъ лапландца". Точно такъ же, одно и то же общество состоитъ изъ разнородныхъ слоевъ, не лишаясь единства; точно такъ и инородческія племена живутъ въ одномъ государствѣ съ племенами господствующими, и чѣмъ дальше идетъ исторія, тѣмъ „семья" народовъ становится шире и тѣмъ больше исторія принимаетъ дѣйствительно всемірный характеръ. „Въ древности исторія заключалась въ колѣнахъ (эллинское, латинское), въ средніе вѣка—въ племенахъ (германское, словенское), въ наше время—въ частяхъ свѣта (Европа, Азія). Остается... исторія по элементамъ вселенной". Такимъ образомъ, обѣ точки зрѣнія на исторію человѣчества, какъ на преемственное, и какъ на совмѣстное развитіе отдѣльныхъ національностей, могутъ быть совмѣщены, если только примѣнять ихъ къ различнымъ отдѣламъ этой исторіи. Въ древности народы развивались изолированно, въ извѣстной послѣдовательности; ихъ исторія можетъ быть, поэтому, излагаема преемственно. Напротивъ, чѣмъ ближе къ новому времени, тѣмъ тѣснѣе становится связь между различными народами, тѣмъ шире раздвигается кругъ „семейственности" и тѣмъ больше, слѣдовательно,

---

*) Теорія условій исторической жизни занимаетъ все Чтеніе второе книжки Лебедева, стр. 35–69. Ср. Афоризмы, стр. 1, 12–13, 45, 73, 85, 87.

преемственное, этнографическое теченіе и изложеніе событій должно смѣняться синхронистическимъ *).

Намъ остается замѣтить, что новый взглядъ на сущность историческаго процесса долженъ былъ вызвать совершенный переворотъ во взглядахъ на задачи историческаго изслѣдованія и изложенія. Не прагматизмъ и не художественность разсказа, не оцѣнка историческихъ фактовъ съ точки зрѣнія идеала и судъ надъ исторіей во имя того, что „могло бы быть", должны быть цѣлью историка. Между читателемъ и сообщаемымъ фактомъ ни въ какомъ случаѣ не должна стоять личность разсказчика съ его взглядами и теоріями. „Исторія наукъ, религіи, обычаевъ и пр. возможна безъ всякихъ воззрѣній". Это вовсе не значитъ, однако, что исторія должна вернуться къ старой лѣтописной манерѣ. Напротивъ, съ лѣтописною манерой новое историческое воззрѣніе покончило навсегда. Съ новой точки зрѣнія исторія не должна зависѣть отъ случайной степени сохранности своихъ матеріаловъ. „То, что не достойно памяти исторіи, что принадлежитъ простой случайности", исторія имѣетъ право отбросить, такъ какъ „*полнота* исторіи не заключается въ мелкихъ подробностяхъ", а „въ непрерывной послѣдовательности хода явленій". Съ другой стороны, „при недостаткѣ извѣстій", исторія имѣетъ право пополнить ихъ своею догадкой**). И самый предметъ историческаго изученія долженъ измѣниться вслѣдъ за измѣнившимися задачами. „До сихъ поръ занимались больше всего матеріальною, тѣлесною, внѣшнею, т.-е. политическою, частью исторіи". Это и понятно, потому что „въ другихъ явленіяхъ труднѣе находить связующую нить", которая въ политической исторіи дается сама собою, простымъ хронологическимъ сопоставленіемъ фактовъ. Но „теперь начинаютъ заниматься внутреннею" исторіей. Съ одной стороны, „это исторія ума и сердца человѣческаго", которыми создаются поступки и которые „должны составлять важнѣйшую часть исторіи". Съ другой стороны, не менѣе „нужна исторія жилищъ... пищи... мореплаванія... ремеслъ",—словомъ, исторія матеріальнаго быта. Все это должно подготовить матеріалъ, въ которомъ разберется современемъ историкъ-философъ. Задача послѣдняго труднѣе, чѣмъ была бы задача человѣка, незнакомаго съ музыкой, если-бъ ему предложили разыграть сложную музыкальную композицію по неизвѣстнымъ ему нотнымъ знакамъ на неизвѣстныхъ ему инструментахъ***). „Онъ (историкъ) самъ долженъ ловить всѣ звуки (лѣтописи, Несторы, Григоріи Турскіе), отличить фальшивые отъ вѣр-

---

*) Исторія, стр. 24—30, 82—84. Ср. въ Афоризмахъ стр. 46, 53, 59, 70, 102—3.

**) Лебедевъ: „Чтеніе третье": содержаніе исторіи; форма или историческое искусство", стр. 71—94. Ср. Афоризмы, стр. 11.

***) Афоризмы, стр. 8, 53, 76—77, 86—87.

ныхъ (историческіе критики—Шлецеры, Круги), незначительные отъ важныхъ, сложить въ одну кучу (исторіи, собранія дѣяній—Роллены), разобрать эти кучи по родамъ исторіи (частныя исторіи религіи, торговли—Геерены), провидѣть, что въ сей кучѣ и кучахъ должна быть система, какой-нибудь порядокъ, гармонія (Шлецеры, Гердеры, Шиллеры), доказать это положительно apriori (Шеллинги), дѣлать опыты, какъ найти эту систему (Асты, Штуцманы), наконецъ, найти ее и прочесть исторію такъ, какъ глухой Бетховенъ читалъ партитуры" *). Это перечисленіе показываетъ намъ, какія широкія перспективы открылись въ изученіи исторіи поколѣнію двадцатыхъ годовъ, какъ далеко отодвинутъ былъ вдаль историческій идеалъ и какое второстепенное мѣсто отведено было теперь тѣмъ историческимъ задачамъ, которыя въ глазахъ шлецеровскаго поколѣнія или даже въ глазахъ изслѣдователей румянцевской эпохи считались очередными. Историческая критика, такъ же какъ и внѣшняя систематизація матеріала должны были теперь уступить мѣсто сознательной и цѣлесообразной группировкѣ этого матеріала, идущей навстрѣчу теоретическимъ требованіямъ научной исторіи.

Таковы идеи русскаго шеллингизма въ томъ ихъ сыромъ видѣ, въ какомъ онѣ были перенесены къ намъ въ двадцатыхъ годахъ. Изъ книжекъ, большею частью позабытыхъ, которыя помогли намъ ихъ возстановить, эти идеи перешли въ умственный обиходъ слѣдующаго поколѣнія, для котораго онѣ были уже частью окружающей ихъ интеллектуальной атмосферы. Въ самыхъ этихъ идеяхъ заключались, однако же, положенія, которыя должны были встряхнуть нетронутую мысль и чувство этого новаго поколѣнія, пришедшаго на готовую пищу, и вызвать его на коренную переработку новыхъ воззрѣній. Около какихъ пунктовъ должны были сосредоточиться волненія и споры,—это мы легко можемъ угадать уже изъ сдѣланнаго выше изложенія. Наши авторы двадцатыхъ годовъ начинали обыкновенно говорить неспокойнымъ и повышеннымъ тономъ, становились многословными и краснорѣчивыми, когда рѣчь заходила объ одномъ изъ трехъ существенныхъ вопросовъ системы, религіозномъ, нравственномъ или національномъ. Мы уже видѣли, что философія тожества противорѣчила идеѣ творенія міра и идеѣ личнаго творца. Слѣдовательно, вѣрующій послѣдователь шеллингизма долженъ былъ отстаивать противъ новой системы своего *внѣ*-мірнаго и *до*-мірнаго Бога. Затѣмъ, закономѣрно развивающійся „универсъ" Шеллинга, поглотившій въ себѣ свое начало и причину, грозилъ поглотить въ томъ же „абсолютѣ" и личную человѣческую свободу. Стало быть, тотъ же послѣдователь долженъ былъ попытаться примирить съ идеей закономѣрности свою идею личнаго

---

*) Афоризмы, стр. 9—10.

безсмертія и нравственной отвѣтственности и заслуги. Наконецъ, въ міровомъ историческомъ процессѣ поглощалась также и отдѣльная національность. По новому взгляду, какъ мы видѣли, „каждый народъ выражаетъ собою преимущественно одну данную сторону человѣчества, одно изъ главныхъ его направленій, а народы, всѣ вмѣстѣ взятые, выражаютъ собою всю его жизнь". Такимъ образомъ, „вся жизнь народа" должна была „состоять въ исключительномъ развитіи одной изъ стихій человѣчества въ извѣстный періодъ жизни сего послѣдняго". „Сіе-то преимущественное, исключительное начало въ исторіи народа сообщаетъ ему особый его характеръ, недѣлимость, національность и отличаетъ его всѣмъ этимъ отъ другихъ народовъ *). Нужно было въ виду всего этого найти у русской національности такое „преимущественное, исключительное начало", которое давало бы ей законное мѣсто во всемірной исторіи, хотя бы и не предусмотрѣнное нѣмецкою наукой; или же, если такого мѣста не находилось, нужно было доказать право національности на существованіе независимо отъ всемірнаго хода развитія человѣчества. Всѣ эти спорные пункты обозначались уже, какъ читатель могъ видѣть, въ шеллингистской литературѣ двадцатыхъ и начала тридцатыхъ годовъ. Намѣчены были отчасти и ихъ возможныя рѣшенія. Пересмотрѣть ихъ вновь, со свѣжею головой, суждено было уже молодому поколѣнію тридцатыхъ годовъ.

Но, прежде чѣмъ отношеніе этого поколѣнія къ нашимъ спорнымъ вопросамъ успѣло выясниться, сдѣланъ былъ рядъ попытокъ приложить историческія идеи шеллингизма въ томъ видѣ, въ какомъ мы ихъ знаемъ, къ объясненію русской исторіи. На этихъ первыхъ попыткахъ русской философско-исторической конструкціи мы и должны теперь остановиться. Характеризуя ихъ, какъ только *предварительныя* попытки, мы этимъ самымъ указываемъ, что первые опыты приложенія новыхъ философскихъ идей къ построенію русской исторіи не были достаточно глубоко и цѣльно продуманы. На первый разъ попытались привязать новые отвѣты къ старымъ вопросамъ, а на новые вопросы отвѣчали комбинаціей старыхъ началъ съ новыми.

V.

Первыя попытки приложить новыя философско-историческія идеи къ построенію и истолкованію русской исторіи сдѣланы были По-

*) Опытъ изслѣдованія нѣкоторыхъ теоретическихъ вопросовъ, стр. 51—53, 55—56, 58—59. Выше, на стр. 271, мы замѣтили, что авторъ этой книжки намъ неизвѣстенъ. Послѣ отпечатанія предыдущаго листа, въ № 255 „Московскихъ Вѣдомостей", напечатана была библіографическая справка, изъ которой видно, что „Опытъ" принадлежитъ профессору ришельевскаго лицея, К. П Зеленецкому. Ср. Справочный словарь Геннади (Берл., 1880), II, 29, и Библ. Зап. 1859, № 20.

левымъ, Погодинымъ, Кирѣевскимъ и Чаадаевымъ. Собственно говоря, если бы мы захотѣли держаться строгой хронологической послѣдовательности, намъ пришлось бы излагать эти попытки въ порядкѣ какъ разъ обратномъ тому, въ которомъ мы перечислили названныя имена. Чаадаевъ, представитель старшаго, еще александровскаго, поколѣнія, почерпнулъ изъ перваго источника свою философію исторіи. Онъ, правда, не переставалъ приспособлять ее, какъ увидимъ, ко взглядамъ новаго поколѣнія; но и новое поколѣніе до нѣкоторой степени восприняло вліяніе его теорій. Послѣдніе, наиболѣе продуманные плоды размышленій Чаадаева слились, такимъ образомъ, съ первыми, еще несовершенными продуктами мысли И. Кирѣевскаго. Въ свою очередь Кирѣевскій, едва только начали обрисовываться первыя, неясныя очертанія его будущей теоріи, уже успѣлъ передать ее совершенно неподготовленному философски Погодину. Наконецъ, обмолвки Погодина, не любившаго дѣлиться своимъ добромъ, послужили однимъ изъ источниковъ для вовсе неподготовленнаго научно Полевого, искавшаго un peu partout своихъ авторитетовъ въ ознакомленіи съ новыми вѣяніями.

Въ этомъ порядкѣ мы и должны были бы расположить свое изложеніе, если бы нашею главною задачей было—выяснить тѣ пути, которыми всѣ перечисленные представители новаго философско-историческаго направленія дошли до своихъ основныхъ идей. Но для насъ гораздо важнѣе тѣ результаты, которыхъ они достигли послѣ самостоятельной переработки этихъ идей. Результаты же эти, по отношенію къ цѣли, поставленной новымъ міровоззрѣніемъ, оказывались тѣмъ менѣе значительными, чѣмъ дальше стоялъ каждый изъ нихъ отъ источника и чѣмъ менѣе онъ былъ способенъ къ самостоятельному философскому мышленію. Спеціальныя историческія познанія не могли въ данномъ случаѣ замѣнить философской подготовки. Такимъ образомъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ четырьмя рѣшеніями, постепенно отдаляющимися отъ поставленной цѣли, по мѣрѣ ослабленія первоначальнаго импульса. Мы предпочли перевернуть ихъ порядокъ и предоставить настоящимъ иниціаторамъ послѣднее слово. Это послѣднее слово послужитъ намъ естественнымъ переходомъ отъ подготовительнаго періода, который мы теперь изучаемъ, къ позднѣйшимъ, болѣе законченнымъ попыткамъ русской философско-исторической конструкціи.

Роль Н. А. Полевого въ исторіи русскаго просвѣщенія достаточно извѣстна. Знаменитый издатель передового и любимаго публикой журнала, потомъ забросанный грязью ренегатъ, потомъ всѣми забытый литературный поденщикъ, поочередно страдавшій отъ цензуры, какъ нигилистъ, отъ собратій по журналистикѣ, какъ отступникъ, и отъ спекулянтовъ книжнаго рынка, какъ ловкій поставщикъ ходкаго товара, Н. А. Полевой еще отъ автора *Очерковъ гоголев-*

скаго періода дождался безпристрастной оцѣнки своей общественной дѣятельности *). Гораздо менѣе выяснена роль Полевого въ исторіи русской исторической науки. Современные ему предстaвители цеховой науки никакъ не могли допустить, чтобы купеческій сынъ, на ихъ глазахъ появившійся въ Москвѣ въ 1820 году въ долгополомъ сюртукѣ, съ волосами обстриженными въ кружокъ и съ ухватками приказчика,—въ какія-нибудь десять лѣтъ могъ сравняться съ ними въ учености и получить право не только поднимать свой голосъ въ спеціальныхъ вопросахъ, но и предпринять цѣлый переворотъ въ представленіяхъ объ общемъ ходѣ русской исторіи. Одной этой претензіи въ ихъ глазахъ было достаточно, чтобъ охарактеризировать безпримѣрную „наглость, шарлатанство, невѣжество" и т. д. ихъ дерзкаго конкуррента. Такимъ образомъ, пріемъ *Исторіи русскаго народа* былъ готовъ раньше, чѣмъ она появилась. Предварительныя рекламы и самоувѣренныя обѣщанія Полевого дали тогдашней критикѣ новую пищу. Когда вышли первые томы, на Полевого посыпался цѣлый градъ насмѣшекъ и обвиненій, въ которыхъ было гораздо больше раздраженія, чѣмъ основательности. Игнорировать *Исторію* Полевого стало признакомъ хорошаго тона среди тогдашняго поколѣнія ученыхъ. Послѣдующія же поколѣнія такъ основательно забыли о ней, что когда понадобилось опредѣлить ея значеніе въ развитіи русской исторической науки, задача оказалась нелегкой. Всѣ очень хорошо помнили въ Полевомъ неумолимаго „зоила", противника Карамзина; не разъ повторялось и то старое сужденіе, по которому *Исторія русскаго народа* затѣяна была исключительно въ пику автору *Исторіи государства Россійскаго.* Однако, безпристрастное наблюденіе не могло, наконецъ, не замѣтить, что въ реакціи противъ карамзинскаго направленія нельзя видѣть исключительно-отрицательныя черты, что въ ней былъ положительный и весьма серьезный смыслъ. Тогда прежній взглядъ на Полевого былъ замѣненъ другимъ, но также далеко не вполнѣ справедливымъ. Изъ простыхъ „зоиловъ" Полевой былъ повышенъ въ рангъ „критиковъ" и причисленъ къ другимъ представителямъ направленія, требовавшаго критическаго отношенія къ исторической традиціи. Все это направленіе получило названіе „скептической школы". Мы видѣли, однако, чѣмъ была скептическая школа въ дѣйствительности. Мы видѣли, что это была не реакція противъ Карамзина, оставшагося внѣ движенія исторической мысли, а дальнѣйшее развитіе шлецеровскаго направленія подъ вліяніемъ новыхъ

*) Полевому посвящена гл. 1-я Очерковъ, см. изданіе М. Н. Чернышевскаго. Спб., 1892 г. Тяжелая житейская обстановка Полевого ярко обрисовывается въ его Дневникѣ (см. Историч. Вѣстникъ 1888 г.).

идей европейской исторической школы. Мы видѣли, какъ далеко пошла настоящая „скептическая школа" въ отрицаніи исторической традиціи, и какъ скоро была обнаружена солидными изслѣдованіями вся фантастичность ея ученыхъ выводовъ. Съ *этой* скептическою школой Полевой не имѣетъ ничего общаго. Онъ не только не идетъ такъ далеко, какъ ея представители, онъ даже не рѣшается итти такъ далеко, какъ шелъ Шлецеръ: онъ, напримѣръ, не признаетъ подложными договоры Олега и Игоря съ греками, онъ возстаетъ противъ утрировки Шлецеромъ первоначальной дикости русскихъ *). Онъ, конечно, слышалъ про новые результаты исторической критики на Западѣ: Нибуру онъ посвящаетъ свою *Исторію*,— къ немалому удовольствію рецензентовъ **). Легенды нашей начальной лѣтописи онъ готовъ признавать легендами; но это не мѣшаетъ ему считать ихъ характерными для духа времени и излагать ихъ во всей полнотѣ, безъ всякихъ попытокъ раціоналистическаго объясненія. Такимъ образомъ, его *Исторія* начинается съ призванія Рюрика, а не съ XIII вѣка, какъ слѣдовало бы по теоріи скептиковъ. Ни одной ссылки на скептиковъ нельзя найти въ *Исторіи русскаго народа*; единственный разъ, когда Полевой на нихъ намекаетъ (въ одномъ изъ позднѣйшихъ томовъ), онъ дѣлаетъ это для того, чтобы привести „доказательство противъ людей, которые видятъ въ нашихъ лѣтописяхъ нелѣпыя сказки"; въ противоположность имъ, онъ готовъ даже вернуться къ шлецеровскому объясненію всего недостовѣрнаго въ лѣтописи, — позднѣйшими вставками переписчика ***). Понятно, что и у подлинныхъ скептиковъ Полевой не находитъ пощады. Съ негодованіемъ встрѣчаютъ они „это арлекинское описаніе народа русскаго, въ коемъ всѣ басни, обвивающія первый періодъ нашей отечественной исторіи разсказываются уже не съ дѣтскою простотой (какъ въ лѣтописи), но съ буйнымъ велерѣчіемъ несомнительной увѣренности". Посвященіе Нибуру кажется имъ ничѣмъ не оправдываемымъ святотатствомъ. „Давно уже носятся *подозрѣнія* объ исторической цѣнности нашихъ лѣтописей между глубокомысленными испытателями отечественныхъ древностей ****). Подозрѣнія сіи *скоро могутъ превратиться въ достовѣрность* и, конечно, дойдутъ до Нибура!... Что скажетъ тогда онъ о писакѣ, обезпокоившемъ его вниманіе истертою ветошью, выданною за свѣжій товаръ новаго фасона и лучшей доброты?" Подчеркну-

---

*) Ист. р. нар., т. II, стр. 147.

**) Этимъ Полевой „заранѣе лишилъ себя перстня",—замѣчаютъ люди, болѣе къ нему благорасположенные.

***) Ист. р. нар, т. IV, стр. 82. Послѣдніе 3 тома изданы въ 1833 г.

****) Здѣсь Надеждинъ намекаетъ на Каченовскаго, въ журналѣ котораго напечатана его рецензія на Полевого (Вѣстн. Евр. 1830 г.).

тыя слова помогаютъ намъ окончательно опредѣлить отношеніе Полевого къ скептической школѣ. Первый томъ *Исторіи русскаго народа* появился въ печати въ 1828 году, второй—въ началѣ 1830 г., третій—въ серединѣ 1830 г. Въ это время весь размѣръ „подозрѣній" Каченовскаго былъ извѣстенъ только въ университетской аудиторіи да въ редакціи *Вѣстника Европы*; а изъ его учениковъ, тогда еще студентовъ, ни одинъ не успѣлъ еще выступить съ разсужденіями, отличавшими „скептическую школу". Такимъ образомъ, Пушкинъ былъ вполнѣ правъ, не найдя въ рецензіи Надеждина „ни одного дѣльнаго обвиненія, ни одного поучительнаго показанія, кромѣ ссылки на мнѣніе самого издателя Каченовскаго,—мнѣніе весьма любопытное, коему доказательства съ нетерпѣніемъ должны ожидать любители стечественной исторіи". Мы знаемъ, что отъ Каченовскаго такъ и не пришлось дождаться доказательства его „подозрѣній", а каковы были доказательства его учениковъ, мы видѣли выше.

Если несправедливо причислять Полевого къ скептикамъ на основаніи одной только общей имъ идеи „исторической критики", то еще несправедливѣе приписывать этой критикѣ предвзятую цѣль—перекроить русскую исторію по западно-европейскому шаблону, и считать Полевого исполнителемъ этой мнимой задачи скептической школы *). Конечно, Полевой находился подъ сильнымъ вліяніемъ современныхъ ему западно-европейскихъ образцовъ, особенно Тьерри **) и Гизо ***); несомнѣнно также и то, что онъ искалъ,—и иногда очень удачно,—аналогій между явленіями русской и западно-европейской исторіи. Но поиски эти вытекали изъ общей идеи закономѣрности историческаго процесса, свойственной новому взгляду. „Здѣсь не было подражанія,—повторяетъ онъ нѣсколько разъ, указывая на историческія сходства,—но одинакія причины производили одинакія слѣдствія, измѣняясь только отъ различныхъ мѣстностей" ****). И послѣднія слова напоминаютъ намъ, что отысканіе *различій* было такою же или даже еще болѣе важною цѣлью

---

*) Первое мнѣніе развивается проф. Иконниковымъ, второе—М. О. Кояловичемъ, считающимъ вообще м е т о д и к у западно-европейской науки неразрывно связанной съ ея положительнымъ с о д е р ж а н і е м ъ. См. И с т о р і ю р у с с к а г о с а м о с о з н а н і я (изд. 2-е. Спб., 1893 г.), гл. IX.

**) Во взглядѣ на старинные исторіографическіе пріемы (предисловіе, т. II, стр. 140) и на правильный способъ возсозданія прошедшаго, въ идеѣ о значеніи народностей (т. II, стр. 85), на исторію городскихъ общинъ.

***) Во взглядѣ на элементы средневѣковой культуры (т. III, стр. 142), на характеръ древнѣйшаго законодательства (сравненіе варварскихъ правдъ съ Русскою Правдой), на противоположность средневѣковаго и современнаго общественнаго сознанія.

****) И с т. р у с. н а р., т. II, стр. 65, 85, 190; т. III, стр. 9.

для новой философіи исторіи, чѣмъ отысканіе сходствъ. Мы сейчасъ увидимъ, какъ далеко шелъ Полевой въ этомъ направленіи.

Исторія русскаго народа не была ни выраженіемъ скептическихъ, ни выраженіемъ западническихъ идей. Ея значеніе заключается въ томъ, что она была первою попыткой приложить новый философско-историческій взглядъ къ объясненію явленій русской исторіи. Самъ Полевой указывалъ на это значеніе своей *Исторіи*; но изъ современныхъ критиковъ никто не хотѣлъ признать за ней этой заслуги, кромѣ Булгарина *). Нельзя сказать, чтобъ особенно отчетливо и глубоко, но, какъ бы то ни было, Полевой усвоилъ себѣ основныя идеи шеллингизма въ ихъ приложеніи къ философіи исторіи. „Общество есть изображеніе человѣка—такъ формулируетъ Полевой новые взгляды,—ибо общество есть собственно человѣкъ, помноженный на природу. Человѣкъ состоитъ изъ духа и тѣла; жизнь его есть борьба съ природой; цѣль борьбы скрыта за предѣлами міра; переходы борьбы составляютъ возрасты человѣка и періоды исторіи. Народы, какъ люди, родятся, растутъ, мужествуютъ, старѣютъ и умираютъ, т. е. бываютъ, какъ человѣкъ, дѣтьми, мужами и старцами. Каждое общество есть уже побѣда человѣческаго духа надъ природой. Таинственная мудрость Провидѣнія, въ судьбѣ народовъ видимая, состоитъ въ томъ, что именно въ свое время, въ своемъ мѣстѣ является народъ, для совершенія дѣла своего въ общей исторіи человѣчества" **). Изъ новыхъ, „вѣрныхъ идей объ исторіи" вытекаетъ и новый взглядъ на задачи историка. Вмѣсто національнаго самовозвеличенія онъ долженъ отыскивать мѣсто своего народа въ исторіи человѣчества; вмѣсто идеализаціи прошлаго онъ долженъ найти въ немъ причинную связь, сообщающую каждому моменту прошлаго характеръ всемірно-исторической необходимости. „Съ идеей *человѣчества* исчезъ для насъ односторонній эгоизмъ народовъ; съ идеей *земного совершенствованія* мы перенесли свой идеалъ изъ прошедшаго въ будущее и увидѣли прошедшее во всей наготѣ его... Уроки исторіи заключаются не въ частныхъ событіяхъ, которыя можемъ мы толковать и преображать по произволу, но въ общности, цѣлости исторіи, въ созерцаніи народовъ и государствъ, какъ необходимыхъ явленій каждаго періода". Такимъ образомъ, введеніе національной исторіи въ рядъ другихъ національныхъ исторій составляло первую задачу историческаго изложенія. Другою задачей становилось—представить различные моменты отдѣльной національной исторіи во взаимной

---

*) „Никто еще не предпринималъ у насъ писать исторію въ духѣ критическо-философскомъ. Честь первенства принадлежитъ г. Полевому." О рецензіяхъ на Исторію русскаго народа см. Барсуковъ „Жизнь и труды Погодина", т. III, стр. 39—46.

**) Ист. русск. нар., т. II, стр. 140—141.

связи. Обѣ задачи вытекали сами собой изъ „правильнаго взгляда на исторію"; новаго изученія фактовъ,—„частныхъ событій",—не было надобности производить, чтобы приложить этотъ правильный взглядъ. „По моему мнѣнію, донынѣ столько уже приготовлено матеріаловъ для русской исторіи собственно", что, при „знакомствѣ съ современными вѣрными идеями объ исторіи вообще",—„можемъ отважиться писать нашу исторію" *). Такимъ образомъ, приложеніе новыхъ идей къ русской исторіи представлялось Полевому задачей столь же заманчивой, какъ и легко выполнимой. Вотъ почему онъ такъ смѣло и самоувѣренно принялся за *Исторію русскаго народа*. Фактическое изслѣдованіе отступало для него на второй планъ; философское истолкованіе фактовъ, уже добытыхъ наукой, становилось главною цѣлью.

„Все должно быть рѣшаемо важностью роли, какую занимали или занимаютъ государство или народъ въ исторіи человѣчества" **). Какую же роль занимаетъ въ исторіи человѣчества Россія? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ Полевой, прежде всего, старается доказать, что роль Россіи *совершенно различна* отъ роли европейскаго Запада въ прошломъ, и что таковой же она должна остаться и въ будущемъ. „Тѣ же германскаго и скандинавскаго происхожденія народы, одинаковой степени образованія, духа и религіи пришли на Ильмень, Днѣпръ и на Луару, Тибръ и Гвадалквивиръ",—говоритъ Полевой, принимая норманнское происхожденіе русскаго государства.—„Но по разницѣ того, что было древле, прежде нихъ, изъ одинакихъ событій явились слѣдствія различныя". На Западѣ германцы нашли античную культуру; на Востокѣ они очутились въ совершенно нетронутыхъ культурой мѣстахъ.

„Собратія преобразователей Европы на берегахъ Ильменя и Днѣпра не нашли ничего древняго: міръ самобытный, новый долженъ былъ раскрываться... то, что въ Европѣ совершилось *до варваровъ*, варвары только начали на Руси". „Вотъ главное различіе исторіи русскихъ земель отъ исторіи южныхъ земель европейскихъ" ***). Это различіе повело за собой и другія различія въ самомъ содержаніи историческаго процесса. На Западѣ германцы переработали и преобразовали по-своему всѣ культурные элементы, оставленные имъ античною жизнью; общественный и духовный строй древняго міра вышелъ изъ ихъ рукъ существенно измѣненнымъ. На Востокѣ (въ Византіи) монархія и церковь, политика и религія сохранили въ полной неизмѣнности свои старыя основы, и „народность славянъ, преодолѣвшая народность варяговъ" (уже въ

*) Ист. русск. нар., т. I., стр. XIX, XL.
**) Ист. русск. нар., т. I, стр. XXVI.
***) Ист. русск. нар., т. II, стр. 16—18.

силу малочисленности послѣднихъ), подчинилась, послѣ непродолжительныхъ попытокъ борьбы съ Греціей, совершенно пассивно ея культурному вліянію. Такимъ образомъ, „единовластіе“ и православіе сдѣлались съ самаго начала культурными идеалами „системы Востока“. „Мы отвергаемъ всякое вліяніе Запада на русскія земли и—справедливо. Управляемые греческою политикой, когда получили уже самобытное существованіе, руссы даже враждебно и непріязненно смотрѣли на Западъ... До XIII вѣка самобытный міръ феодализма варяжскаго, перешедшій въ удѣльную систему (см. объ этомъ переходѣ ниже), рѣшительно принадлежалъ къ системѣ Востока, ограничивался ею и жилъ отдѣльною отъ Запада жизнью“ *). Этотъ выводъ относительно древнѣйшаго прошлаго уполномочиваетъ Полевого сдѣлать подобное же заключеніе и относительно будущаго. „Будущая судьба Русской земли должна совершаться отдѣльно отъ жребія другихъ европейскихъ государствъ, когда, начавшись одинаково съ ними, сія земля разъединилась отъ нихъ вѣрою, нравами, исторіей своей въ теченіе *четырехъ* вѣковъ“. И до самаго конца *Исторіи* Полевой продолжаетъ утверждать, что „будущее Россіи должно быть велико“, что ей суждено „внести *особую* стихію духа въ Европу“, что эта стихія будетъ „типомъ восточно-европейскаго образованія“, завѣщаннаго Россіи умирающей Византіей **). Но это—рѣчи съ чужого голоса; самому Полевому онѣ нисколько не объясняютъ всемірно-исторической роли Россіи. И задавая самому себѣ рѣшительный вопросъ: „для чего сей исполинъ воздвигнутъ рукой Промысла въ ряду другихъ царствъ“, Полевой не находитъ отвѣта. „Вотъ вопросы, для насъ неразрѣшимые! Мы, составляя собой, можетъ быть, только *введеніе* въ исторію нашего отечества, не разрѣшимъ сихъ вопросовъ“ ***).

Итакъ, всемірно-историческая миссія Россіи осталась для Полевого загадкой. Гораздо болѣе удалось ему сдѣлать для выясненія внутренней связи періодовъ русской исторіи. Вооруженный новыми взглядами, онъ шагъ за шагомъ преслѣдуетъ старую историческую схему, которой заплатили дань всѣ наши историки, до Карамзина включительно.

Представленіе о Россіи, какъ о „государствѣ“, съ самаго начала ея исторіи было, какъ мы знаемъ, основною аксіомой старой схемы. Принципіальное свое несогласіе съ этимъ взглядомъ Полевой выра-

---

*) Ист. русск. нар., т. II, стр. 23—40. Ср. т. III. стр. 16, 20—21.

**) Ист. русск. нар., т. V, стр. 10, 13; т. VI, стр. 11. Уже въ предисловіи (т. I, стр. XXX) Полевой признаетъ, что самое „измѣненіе Россіи, по идеямъ и понятіямъ Европы“, со времени Петра „ознаменовано первобытнымъ типомъ“.

***) Ист. русск. нар., т. I, XXVIII.

зилъ уже въ самомъ заглавіи своего сочиненія. „Я полагаю,—заявляетъ онъ въ предисловіи,—что въ словахъ *Русское государство* заключалась главная ошибка моихъ предшественниковъ. Государство русское начало существовать только со времени сверженія ига монгольскаго“. До конца же XV вѣка существовало въ Россіи нѣсколько государствъ. „При такомъ взглядѣ измѣняется совершенно вся древняя исторія Россіи, и можетъ быть только *Исторія русскаго народа*, а не исторія *Русскаго государства*“ *).

Но какъ же мирится съ этимъ только что приведенное выше утвержденіе Полевого, что восточный общественный строй отличается отъ западнаго принципомъ „единовластія“? Мы видѣли, что Полевой считаетъ этотъ принципъ заимствованнымъ отъ Византіи, но въ то же время онъ находитъ его сроднымъ самому характеру славянъ и выводитъ изъ „азіатскаго“ источника. „Образъ правленія патріархальный, ведущій къ единодержавію“, представляется ему даже однимъ изъ доказательствъ любимой его мысли объ „индійскомъ происхожденіи славянъ“ **). Такимъ образомъ, „единодержавіе“ въ зародышѣ существуетъ уже въ самомъ началѣ исторической жизни. И это не только не противорѣчитъ воззрѣніямъ Полевого, но даже даетъ ему возможность найти въ основѣ русской исторической эволюціи то единство идеи, которое требуется философской теоріей. Онъ постоянно помнитъ, что „только непрерывнымъ преслѣдованіемъ главной идеи въ жизни народа исторія его дѣлается понятна и ясна“ ***). Этой главной идеей и становится для Полевого развитіе единовластія. Вся разница съ защитниками старой схемы заключается только въ томъ, что тѣ считаютъ единовластіе вполнѣ развитымъ уже въ началѣ исторической жизни, тогда какъ Полевой утверждаетъ, что „единовластіе не могло *съ тѣхъ временъ* установиться на Руси“, и слѣдитъ за его постепеннымъ развитіемъ. Исходною точкой этого развитія служитъ утвержденіе на Руси норманскаго „феодализма“, т.-е. управленія посредствомъ дружинниковъ, болѣе или менѣе независимыхъ отъ князя-пришельца. Этотъ феодализмъ являлся отрицаніемъ „единовластія“, и первые шаги князей должны были заключаться въ борьбѣ съ нимъ и въ замѣнѣ его другою системой. Такою системой явилось управленіе посредствомъ родственниковъ,—„*система удѣловъ*, обладаемыхъ членами одного семейства, подъ властью старшаго въ родѣ—*феодализмъ семейный*“. Система удѣловъ явилась, такимъ образомъ, „необходимою ступенью,

---

*) Какъ видимъ, названіе сочиненія Исторіей русскаго народа означало у Полевого лишь отрицаніе государственнаго единства древней Руси, и, слѣдовательно, совсѣмъ не имѣло такого смысла, какъ часто думаютъ знакомые съ этою книгой по одному заглавію.

**) Ист. р. нар., т. I, стр. 67 (2-е изд.).

***) Ист. р. нар., т. VI, стр. 14.

составлявшей переходъ отъ феодализма къ монархіи"; она была первымъ торжествомъ единовластія, къ которому сознательно стремились и Ольга, и Владиміръ Святой, и Ярославъ Мудрый. Понятно, какъ странно и „несправедливо" обвинять Владиміра и Ярослава „въ политической ошибкѣ"—въ раздѣлѣ Руси между сыновьями. Это была, по обстоятельствамъ времени, вовсе не ошибка, а вполнѣ цѣлесообразное политическое мѣропріятіе. „Феодализмъ вездѣ переходилъ въ систему удѣловъ, гдѣ монархія могла побѣждать его" *). Такимъ образомъ, совершенно напрасно „донынѣ каждый русскій историкъ долгомъ почиталъ ужаснуться и погоревать послѣ смерти Ярослава". Думать подобно Карамзину, что „древняя Россія погребла съ Ярославомъ свое могущество и благоденствіе",—значитъ вовсе не понимать хода русской исторіи. Первый періодъ этой исторіи не былъ періодомъ „могущества"; поэтому и второй нельзя считать періодомъ упадка. „Отличіе періода удѣловъ замѣчательно не излишествомъ бѣдствій, но особеннымъ противъ перваго періода ходомъ дѣлъ". Въ общемъ ходѣ русской исторіи онъ былъ не регрессомъ, а шагомъ впередъ. „Сей періодъ былъ *необходимъ* для развитія жизненныхъ силъ по всѣмъ землямъ русскимъ,—силъ, сосредоточивавшихся до смерти Ярослава только въ Кіевѣ и Новгородѣ". Онъ „развился въ строгихъ, неизмѣняемыхъ, изъ самаго начала русскаго народа происшедшихъ условіяхъ, по коимъ Провидѣніе всегда правитъ судьбы царствъ и народовъ" **). „Пусть думали руссы XII столѣтія, что послѣ смерти Ярослава самыя небесныя знаменія возвѣщали бѣдствія и ужасы. Немного надобно вниманія, если пожелаемъ видѣть, что первобытная исторія Руси приготовила" наступленіе періода удѣловъ. „Могло ли быть все это иначе? Никакъ: безполезна и ничтожна была бы исторія, если-бъ она не показывала намъ, что каждое изъ событій иначе быть не могло. Могъ ли варягъ понимать благость другого правленія, кромѣ феодальнаго? Могъ ли великій князь русскій не дѣлить областей сыновьямъ, чтобы задушить черезъ то феодализмъ? Состояніе общественности, духъ времени, образъ мыслей и понятій, географическія подробности, современныя событія въ странахъ окружавшихъ Русь должны были произвести именно то, что было на Руси" ***).

Объяснивъ, такимъ образомъ, происхожденіе „семейнаго феодализма", Полевой продолжаетъ руководиться своей общей идеей — органическаго, постепеннаго и необходимаго развитія и въ изображеніи дальнѣйшихъ судебъ удѣльной системы. „Прошедшее всегда чревато настоящимъ, какъ настоящее будущимъ; въ природѣ нрав-

---

*) Ист. р. нар. т. II, стр. 37—38. Ср., т. I. стр. 275.
**) Ист. р. нар., II, стр. 9—11, 277; т. III, стр. 7.
***) Ист. р. нар., т. II, стр. 284—286.

ственной, такъ же какъ и въ физической, нѣтъ перерывовъ". „Ничто не уничтожается въ полномъ смыслѣ этого слова: все совершаетъ только переходы или измѣняется. Измѣненія... всегда бываютъ постепенны. Но, соображая двѣ крайнія точки переходовъ и измѣненій, мы видимъ такую разницу, что говоримъ о первой точкѣ бытія по отношенію къ послѣдней: она уничтожилась" *). Исходною точкой удѣльнаго періода была „особенная система удѣловъ, составлявшихъ вмѣстѣ *нѣчто цѣлое*". Послѣднимъ результатомъ этого періода „явилась самобытная жизнь *частей*" **). Ближайшую причину этой перемѣны Полевой видитъ въ „униженіи достоинства великаго князя", и потому сосредоточиваетъ все вниманіе на исторіи междукняжескихъ отношеній. По многимъ своимъ наблюденіямъ въ этой части своей работы онъ является непосредственнымъ предшественникомъ органическихъ взглядовъ Соловьева и Кавелина. Изучая его фактическій разсказъ, невольно приходишь къ заключенію, что въ ближайшемъ поколѣніи ученыхъ *Исторію русскаго народа* гораздо больше читали, чѣмъ цитировали.

Первоначальную власть великаго князя Полевой изображаетъ очень близко къ родовой теоріи. Великій князь „преслѣдовалъ несправедливость и помогалъ обиженному. По его велѣнію удѣльные князья должны были помогать другъ другу въ войнахъ. Онъ могъ лишить удѣла за неповиновеніе, могъ и перемѣнить удѣлы, но съ общаго согласія всѣхъ князей. Важнѣйшее условіе сего союза состояло въ томъ, что *старшій въ родѣ* долженствовалъ быть всегда великимъ княземъ. Посему *не сынъ* великаго князя наслѣдовалъ сей титулъ, но *братъ*; послѣ смерти братьевъ одного поколѣнія вступалъ на великое княженіе *старшій сынъ* старшаго изъ умершихъ братьевъ" ***). Какъ извѣстно, первымъ ударомъ, нанесеннымъ этой системѣ, было, по родовой теоріи, исключеніе изъ старшинства — потомковъ братьевъ, не достигшихъ великокняжескаго престола (такъ называемыхъ „изгоевъ"). Полевой настойчиво указываетъ на факты, обнаруживающіе это явленіе; онъ только не даетъ имъ общаго названія. Въ то время, какъ Карамзинъ толкуетъ еще о „трогательномъ единодушіи" сыновей Ярослава, Полевой уже отмѣчаетъ, какъ постепенно накопляется горючій матеріалъ для усобицъ между его внуками. Онъ указываетъ на то, что въ періодъ „счастливой тишины" (по Карамзину) „три рода княжескіе были обдѣлены дядями", что эта „явная несправедливость и преступленіе противъ порядка"

---

*) Ист. р. нар., т. II, стр. 19; т. V, стр. 14.
**) Ист. р. нар., т. II, стр. 57; т. III, стр. 12—13.
***) Ист. р. нар., т. II, стр. 84—86. Курсивъ въ подлинникѣ. „Откуда взялось право выбора старшаго въ родахъ княжескихъ на великое княженіе? спрашиваетъ Полевой въ примѣчаніи и отвѣчаетъ: кажется, это былъ одинъ изъ коренныхъ законовъ русскихъ княжествъ".

вскорѣ опять повторилась и „еще одинъ родъ княжескій“ былъ „исключенъ изъ числа князей русскихъ“. Онъ даже предвосхищаетъ извѣстное Соловьевское наблюденіе, что Тмутаракань сдѣлалась „прибѣжищемъ обдѣленныхъ князей“ *). Открывъ, такимъ образомъ, впервые истинный характеръ отношеній между сыновьями и внуками Ярослава, Полевой съ тою же проницательностью отмѣчаетъ и измѣненіе междукняжескихъ отношеній при потомкахъ Мономаха, къ которому онъ весьма не благоволитъ. Мономахъ „перенесъ систему наслѣдованія великаго княжества въ свой родъ“. Это ограниченіе старшинства Мономаховымъ родомъ было вторымъ ударомъ, нанесеннымъ „семейному феодализму“. *Мономаховичи сдѣлались причиной того, что уставъ наслѣдія разрушился* и... понятіе о *законности по старшинству* уничтожилось въ мнѣніи народномъ, только сила или удача рѣшали участь великаго княжества“. Такимъ образомъ, „усиленіе дома Мономахова было первою причиной распаденія частей: потеряно было равновѣсіе“ и „части феодальнаго государства, учрежденнаго Ярославомъ, совершенно распадались“. „Хотя еще средоточіе ихъ, великое княжество, привлекало къ себѣ и соединяло сіи разрозненныя части, но онѣ видимо начинали жить своимъ отдѣльнымъ бытіемъ“. „Система удѣловъ русскихъ совершенно потеряла свой первобытный характеръ“ **). Однако же „мысль о великомъ княжествѣ“ не могла исчезнуть сразу. и Полевой отмѣчаетъ послѣ смерти Юрія Долгорукаго борьбу старой системы съ новой. „Старая система—преобладаніе надъ другими посредствомъ великаго княжества—занимала умы князей, принадлежавшихъ къ старому поколѣнію“. Новая система „вела князей къ образованію отдѣльныхъ сильныхъ княжествъ; она сдѣлалась ясною для поколѣнія, къ коему принадлежитъ Андрей Боголюбскій“. Ко времени нашествія монголовъ эта система восторжествовала. „Связь русскихъ княжествъ расторглась совершенно“; послѣдніе полвѣка передъ татарскимъ завоеваніемъ „были годами разрушенія, совершеннаго паденія русскихъ княжествъ“; „все было раздѣлено, все было частно“ ***).

Мы помнимъ, что по старой схемѣ монгольскій періодъ самъ собой вытекалъ изъ удѣльнаго. Онъ представлялся слѣдствіемъ „политической ошибки“—раздѣленія Руси и княжескихъ междоусобій. Полевой съ обычною рѣшительностью возстаетъ и противъ этого объясненія, которое оставляетъ мѣсто сожалѣніямъ и печалованіямъ. „Если бы Россія была единодержавнымъ государствомъ“—говоритъ Карамзинъ,—то она спаслась бы, вѣроятно, отъ ига татарскаго. Главною причиной ига оказывается, такимъ образомъ, то обстоя-

---

*) Ист. р. нар., т. II, стр. 295, 309, 311, 337.
**) Ист. р. нар., т. II, стр. 418—419.
***) Ист. р. нар., т. III, стр. 24—25, 105, 113; т. IV стр. 17.

тельство, что русскіе князья не хотѣли соединиться для отраженія татаръ. „Необходимо и здѣсь начать наше повѣствованіе опроверженіемъ,—заявляетъ Полевой. „Та же необходимость событій, какая раскрылась передъ нами въ удѣльномъ періодѣ, раскроется для насъ и въ послѣдовавшемъ затѣмъ періодѣ монгольскаго владычества надъ землями русскими". Если „необходимость" удѣльнаго періода выводилась Полевымъ изъ внутренней, органической связи русскаго общественнаго развитія, то „необходимость" монгольскаго ига объясняется для него всемірно-историческимъ сцѣпленіемъ событій. „Не простирая взора за предѣлы Руси,—какимъ-то *отвратимымъ* зломъ почитали (прежніе историки) сіи бѣдствія и горевали о судьбѣ Руси, увѣренные, что безъ междоусобій удѣльные Руссы могли бы разбить полчища монголовъ и отвратить грозу власти ихъ". Такъ смотрѣли на дѣло и современники татарскаго нашествія, „но мы, потомки отстрадавшихъ праотцевъ, съ безпристрастіемъ разсматривая прошедшіе вѣка ихъ", должны смотрѣть шире и видѣть дальше. „Сіе движеніе человѣческихъ обществъ было ужасно, какъ ужасны буря, потопъ, землетрясеніе"; вся Азія всколыхнулась и „думать, что сила какого-нибудь Юрія или хитрость какого-нибудь Даніила могли отвратить сію грозу отъ земель русскихъ,—при переворотѣ всемірномъ не стараться узнавать въ прошедшемъ тайнъ человѣчества въ настоящемъ и будущемъ, скорбя только объ участи погибшихъ нашихъ праотцевъ,—было бы несообразно съ великимъ назначеніемъ исторіи". И Полевой старается разборомъ внутренней исторіи азіатскихъ переворотовъ „доказать неосновательность мнѣнія, будто нашествіе монголовъ было отвратимымъ зломъ". По его мнѣнію, даже Европа не могла бы оказать монголамъ достаточнаго сопротивленія, если бы они захотѣли завоевать ее. Напрасно, поэтому, утверждать, будто Россія спасла Европу отъ монголовъ. „Конечно, не робость, не опасеніе неуспѣха удержали на Волгѣ сына Дмитріева. Силъ у него достало бы сломить Западную Европу". Но онъ былъ удержанъ собственными интересами въ Азіи. Это же удержало татаръ и отъ окончательнаго порабощенія самой Россіи. „Что могло привлекать ихъ въ отдаленный, бѣдный сѣверъ, покрытый лѣсами и болотами, когда политическія выгоды требовали сторóжи Востока, и когда властители бѣднаго, мрачнаго сѣвера покорствовали имъ, трепетали словъ ихъ"? Итакъ, „Европа тѣмъ была спасена отъ Азіи, что... царство Чингисово образовалось по законамъ азійскихъ завоевательныхъ государствъ" *).

Помимо всемірно-исторической необходимости татарскаго завоеванія, Полевой указываетъ также и внутреннюю необходимость его

---

*) Ист. р. н. т. IV, стр. 7—15, 94—104, 157, 160—161, 164-170; т. V, стр. 10.

для самой Россіи; но на этотъ разъ его указанія имѣютъ другой характеръ, чѣмъ прежде. „Онъ былъ необходимъ, сей періодъ, необходимъ по таинственнымъ судьбамъ Провидѣнія, для того, чтобы, переживъ оный, Русь явилась *самобытнымъ* государствомъ въ ряду другихъ государствъ". Въ періодъ удѣловъ „мы видѣли какое-то распаденіе цѣлости народной, какое-то стремленіе частностей къ самобытному образованію. Въ періодъ владычества монгольскаго найдемъ совсѣмъ другой порядокъ дѣйствій...; самобытныя частности будутъ исчезать постепенно...; въ одномъ мѣстѣ дѣйствій сохранится остатокъ древней Руси; все будетъ стремиться къ сему остатку прежняго, или, такъ сказать, къ сему зародышу новаго... Провидѣніе явитъ тамъ людей сильныхъ духомъ...; всѣ прежнія частности Руси постепенно будутъ ими соединяемы, и по глаголу Бога раздѣлятся воды отъ суши, и будетъ свѣтъ—возстанетъ изъ русскихъ мелкихъ княжествъ великое Россійское государство". Почему все это такъ будетъ, мы не узнаемъ отъ автора. Вмѣсто объясненій начинаютъ все чаще встрѣчаться въ *Исторіи русскаго народа* ссылки на „Провидѣніе, умудряющее слѣпца, ведущее и слабыхъ и безсильныхъ къ величію". Правда, и въ этой части сочиненія Полевого встрѣчаются интересныя попытки отмѣтить постепенность и внутреннюю связь различныхъ моментовъ развитія государственности. Онъ указываетъ, наприм., какъ поколѣніе князей, ограничивавшихся рабскою покорностью передъ ханами, смѣнилось другимъ поколѣніемъ, начавшимъ эксплуатировать орду въ интересахъ усиленія собственной власти; какъ старая идея великаго княжества окончательно погибла и смѣнилась новымъ порядкомъ, при которомъ „выигрывали не родъ, не право, но сила и умъ"; какъ это господство сильнаго и ловкаго, при полномъ игнорированіи права и нравственности, „сдѣлалось причиной" поочереднаго усиленія „Переяславля, Твери и Москвы" *). Но рядомъ съ этимъ Полевой не устаетъ удивляться, „какъ чудно все устремлено было къ великой цѣли въ будущемъ", какъ кстати „Провидѣнію угодно было сдѣлать именно Москву" мѣстопребываніемъ Калиты, надѣлить московскихъ князей долголѣтіемъ и обдѣлить ихъ чадородіемъ**). Онъ повторяетъ, по-прежнему, при случаѣ, что „новый, опять необходимый періодъ исторіи русской долженствовалъ произойти, какъ прежде, изъ самой сущности дѣлъ"; но читателю приходится уже вѣрить ему на слово ***). Интересъ автора къ своему произведенію видимо слабѣетъ по мѣрѣ того, какъ истощаются тѣ поправки, которыя онъ

---

*) Ист. р. н. т. IV, стр. 245, 251—253.

**) Ист. р. н. т. IV, стр. 310; т. V, стр. 23, 405; т. VI, стр. 14—18, 22—23.

***) Ист. р. н. т. VI, стр. 24.

можетъ сдѣлать къ старой схемѣ съ помощью новыхъ философскихъ воззрѣній. По мѣрѣ того, какъ усиливается и торжествуетъ единодержавіе, взгляды Полевого все ближе и ближе подходятъ къ опровергаемой ихъ схемѣ и, наконецъ, становятся вполнѣ съ ней тожественными. *Исторія русскаго народа* естественно кончается тамъ, гдѣ начинается исторія Русскаго *государства*. Эти внутренніе мотивы, какъ намъ кажется, еще лучше объясняютъ прекращеніе *Исторіи*, чѣмъ враждебный пріемъ первыхъ трехъ томовъ ея со стороны журнальной критики *).

Подводя итоги нашего разбора *Исторіи русскаго народа*, мы должны признать, что поправки Полевого, дѣйствительно, дѣлаютъ старую схему несравненно болѣе соотвѣтствующей новымъ понятіямъ о задачахъ исторической науки, чѣмъ она была прежде. Мы видѣли, какъ все личное, случайное устраняется Полевымъ, изъ объясненія русской исторіи. Вмѣсто ряда ошибокъ, поведшихъ къ ряду бѣдствій и исправленныхъ возстановленіемъ исконнаго на Руси единодержавія, мы начинаемъ видѣть въ нашей исторіи рядъ періодовъ, необходимо слѣдующихъ одинъ за другимъ и неизбѣжно вытекающихъ изъ даннаго состоянія общества и изъ всемірно-историческихъ событій. Но этой подстановкой стихійныхъ мотивовъ вмѣсто личныхъ и ограничивается значеніе взгляда Полевого. Если и признать, что Полевому удалось въ значительной степени объяснить появленіе очередного княжескаго владѣнія и переходъ его въ отдѣльную княжескую собственность,—то и въ этомъ случаѣ основною идеей, руководившею его объясненіями, остается развитіе единовластія, т.-е. основа схемы, при всей значительности передѣлки, остается прежняя: исторія общества характеризуется исторіей власти. Но и исторія власти, какъ мы замѣтили, становится у него чѣмъ дальше, тѣмъ менѣе удовлетворительной, пока, наконецъ, онъ не впадаетъ въ тотъ самый тонъ, за который такъ основательно порицалъ Карамзина.

Таковы результаты, полученные Полевымъ съ цѣлью *закономѣрнаго* объясненія русскаго историческаго процесса. Но современниковъ, раздѣлявшихъ теоретическіе взгляды Полевого, гораздо болѣе интересовали его выводы съ точки зрѣнія *всемірно-исторической*. Въ этомъ отношеніи попытка, сдѣланная *Исторіей русскаго народа*, кончилась полнѣйшею неудачей. Развитіе единовластія, если и сообщало нѣкоторое единство и цѣльность общему ходу русской исторіи, то во всякомъ случаѣ не годилось въ качествѣ основного начала, внутренней идеи, которая бы дала русской исторіи искомый все-

*) Исторія русскаго народа остановилась на 6-мъ томѣ, кончающемся переломомъ въ царствованіи Грознаго. Описаніе послѣдующаго царствованія Грознаго издано за-границей.

мірно-историческій смыслъ. На главный вопросъ, поставленный новою теоріей,—въ чемъ заключается всемірно-историческая роль русскаго народа, — Полевой былъ безсиленъ отвѣтить. Его широкіе планы—поставить русскую исторію въ связь съ всемірной—разрѣшились, въ концѣ-концовъ, простыми синхронистическими сопоставленіями, разъяснявшими, въ лучшемъ случаѣ, только то, „какъ дѣйствія на Руси, повидимому отдѣльныя, были слѣдствіями или причинами событій, въ другихъ странахъ совершившихся“ *). Но историческая роль Россіи въ „человѣчествѣ“ оставалась, какъ мы видѣли и послѣ *Исторіи русскаго народа*—загадкой.

Гораздо настойчивѣе Полевого стремится къ разрѣшенію этой загадки Погодинъ. Только въ этомъ смыслѣ онъ и можетъ считаться пошедшимъ дальше Полевого въ приложеніи новыхъ воззрѣній къ русской исторіи. Что же касается попытокъ закономѣрнаго объясненія,—въ этомъ отношеніи онъ стоитъ, какъ сейчасъ увидимъ, несравненно ниже Полевого.

Послѣ всего сказаннаго ранѣе нѣтъ надобности объяснять, почему въ нашемъ изложеніи оба непримиримые врага, литературные и ученые, оказались стоящими рядомъ. Оба исходятъ изъ одинаковыхъ философско-историческихъ взглядовъ: оба во имя этихъ взглядовъ начинаютъ рѣзкимъ протестомъ противъ карамзинской схемы, и оба, принявшись строить свою собственную схему, останавливаются на полдорогѣ. Въ шеллингистскомъ кружкѣ, къ которому принадлежалъ Погодинъ, философскія познанія Полевого цѣнились, правда, очень низко. Послѣдователи цѣльной нѣмецкой метафизики съ пренебреженіемъ отзывались о самоучкѣ, познакомившемся съ съ нею изъ французскихъ переложеній и увлекшемся, вслѣдствіе этого, эклектизмомъ Кузена. Но къ подлиннымъ источникамъ не было надобности и прибѣгать, чтобъ узнать новыя философско-историческія идеи *не хуже* Погодина и чтобы воспользоваться ими *лучше* его. Мы знаемъ, что философія исторіи шеллингизма успѣла уже сдѣлаться общимъ мѣстомъ къ тому времени, когда начали писать объ этомъ Полевой и Погодинъ. Немудрено, что эти понятія у обоихъ оказались тожественными. Не ново было въ то время и отрицательное отношеніе къ карамзинской исторической схемѣ, особенно къ изображенію въ ней древнѣйшаго періода русской исторіи. Такая близость исходныхъ точекъ зрѣнія сдѣлала Погодина особенно ревнивымъ къ ученому соперничеству Полевого. Онъ заботливо оберегалъ отъ него тѣ мысли, которыя считалъ „своими“, и, узнавъ объ изданіи *Исторіи русскаго народа*, не могъ воздержаться, чтобы не выразить своей досады. „Мои мысли у него о первомъ

*) Ист. р. н. т. 1, стр. XLV.

періодѣ. Что дѣлать съ разбойникомъ! Я издалъ бы прежде,—помѣшали мнѣ" *).

Прошло сорокъ лѣтъ со времени выхода первыхъ томовъ *Исторіи* Полевого. Погодинъ издалъ, наконецъ, и свою, давно ожидаемую, *Русскую Исторію*. И что же? На послѣднихъ страницахъ этого послѣдняго своего труда по древнѣйшему періоду онъ вернулся къ Карамзину **), тогда какъ *Исторія русскаго народа* приготовляла путь Соловьеву. Оба историка остановились на распутьи отъ стараго къ новому; но въ то время какъ Полевой почти доходилъ до органическаго взгляда историко-юридической школы, Погодинъ кончилъ свои размышленія неудачными попытками приспособиться, если не ко взглядамъ, то, по крайней мѣрѣ, къ терминологіи славянофильства.

Какъ могъ выйти такой конецъ изъ такого начала? Одинъ изъ предшествующихъ критиковъ Погодина объяснялъ это быстрымъ движеніемъ науки, оставившей устарѣлаго ученаго далеко позади. „Всему виной время. Оно шло такъ быстро..., что Погодинъ не узналъ въ своихъ послѣдователяхъ продолжателей его же дѣла и испугался крайнихъ послѣдствій, выведенныхъ изъ критики карамзинскаго воззрѣнія". Вотъ почему онъ, „который еще такъ недавно былъ во главѣ новаго поколѣнія и велъ его противъ старой школы, теперь (1846 г.) уже является защитникомъ стараго противъ новаго и стоитъ на сторонѣ Карамзина, котораго недостатки онъ открывалъ и обличалъ такъ основательно и дѣльно" ***). Матеріалы, опубликованные современнымъ біографомъ Погодина, даютъ намъ возможность отчетливѣе представить себѣ эту перемѣну. Дѣло въ томъ, что она далеко не была такъ значительна, какъ могло представляться

---

*) Барсуковъ, т. II, стр. 336. Когда Полевой читалъ въ Обществѣ исторіи и древностей свой рефератъ о собственныхъ именахъ въ договорахъ, Погодинъ безцеремонно остановилъ его, заявивъ свой пріоритетъ и на выводы и даже на самую тему. Ibid. т. I, стр. 313 Послѣ одного разговора въ частномъ обществѣ онъ записываетъ: „Жалѣю, что Полевому сказалъ много дѣльнаго, которымъ сей воспользуется". Т. II. стр. 181.

**) Древняя русская исторія домонгольскаго ига, т. II. М. 1871 г., стр. 783: „*между тѣмъ какъ духовная жизнь возвышалась и процвѣтала, пшеница Божія множилась на угобзенной нивѣ, впродолженіе двухъ сотъ лѣтъ по принятіи христіанства,—государственное устройство, утвержденное и возвеличенное единодержавіемъ, впродолженіе норманскаго періода, ослабѣвало постепенно, вслѣдствіе умноженія князей и раздробленія княжествъ, и, наконецъ, очутилось на краю гибели*". Справедливость требуетъ прибавить, что въ Русской исторіи мирно уживаются обрывки самыхъ различныхъ точекъ зрѣнія, такъ что цитированная фраза не столько свидѣтельствуетъ о карамзинскихъ взглядахъ Погодина, сколько объ отсутствіи всякаго опредѣленнаго и выдержаннаго взгляда.

***) Кавелинъ, „Сочиненія", т. II, стр. 113.

Кавелину: тѣ архаическія черты, появленіе которыхъ критикъ отмѣчаетъ съ середины ученой карьеры Погодина, существовали уже въ самомъ ея началѣ *).

Мы говорили раньше, что уже въ свои философско-историческія размышленія двадцатыхъ годовъ Погодинъ внесъ своеобразныя черты, навсегда оставшіяся особенностью его „высшихъ взглядовъ". Источникъ этой своеобразности заключается, какъ намъ кажется, въ грубомъ злоупотребленіи сравненіями и уподобленіями, — сравненіями между разными народами и эпохами, уподобленіями между явленіями самыхъ различныхъ областей науки. Если шеллингистская натурфилософія злоупотребляла подобными сопоставленіями, то она имѣла, по крайней мѣрѣ, нѣкоторое оправданіе въ своей основной аксіомѣ — объ однообразіи внутренней структуры всѣхъ вещей, о безконечномъ и все болѣе совершенствующемся воспро-

---

*) Кавелинъ основывается, въ своемъ изображеніи смѣны погодинскихъ взглядовъ, на хронологіи статей Погодина, какъ онѣ датированы въ I томѣ Историко-критическихъ отрывковъ. Онъ не могъ знать исторіи этихъ статей, какъ она выясняется изъ дневника Погодина, и принужденъ былъ положиться на „выставленные подъ разсужденіями" Погодинымъ „годы перваго ихъ напечатанія" и на его утвержденіе, что всѣ статьи „напечатаны въ томъ видѣ, какъ онѣ первоначально были напечатаны". Насколько новыя свѣдѣнія измѣняютъ дѣло, видно изъ слѣдующихъ примѣровъ. Статья О характерѣ Ивана Грознаго, датированная 1825 г. послужила Кавелину матеріаломъ для характеристики первоначальнаго свѣжаго направленія Погодина. Статья Параллель русской исторіи съ исторіей западно-европейскихъ государствъ относительно начала, помѣченная 1845 г., послужила основаніемъ для изображенія отсталости Погодина въ это время. Между тѣмъ, въ дѣйствительности, первая статья, задуманная, правда, еще въ 1821 г. (Барсуковъ, т. I, стр. 113), осуществлена въ первой редакціи лишь въ 1829 г., а въ позднѣйшей (съ прибавкой всей первой большой половины) въ 1833 г., и въ послѣднемъ видѣ напечатана въ Отрывкахъ. (Характеристика Полевого появилась въ этомъ же году). Напротивъ, Параллель задумана въ 1828 г. подъ вліяніемъ Кирѣевскаго (Барс. т. II, стр. 189; „К. разсказывалъ мнѣ планъ большого сочиненія своего о формѣ философіи для Россіи. Съ большимъ удовольствіемъ слушалъ его. Во мнѣ зажглось желаніе написать отличительныя черты россійской исторіи, которыя должны примѣняться къ его сочиненію". Ср., ibid. 104); Погодинъ „писалъ на лоскуткахъ и складывалъ въ одно мѣсто и не замѣчалъ, какъ они копились"; а въ 1845 г. „какъ сталъ ихъ собирать и низать на нитки, такъ самъ удивился", „былъ въ восторгѣ" и нашелъ свои замѣчанія „драгоцѣнными", а статью рѣшилъ „разослать къ членамъ государственнаго совѣта, умѣющимъ грамотѣ" (Барс. т. VIII, стр. 114). Замѣтимъ, что Погодинъ вообще не легко разставался съ разъ придуманными фразами и любилъ ихъ повторять по нѣскольку разъ въ своихъ печатныхъ сочиненіяхъ. Въ Русской исторіи 1871 г. можно найти статьи 30-хъ годовъ, перепечатанныя въ неизмѣнномъ видѣ, а отдѣльные „афоризмы" восходятъ даже за полвѣка ранѣе — къ двадцатымъ годамъ. Потому-то такъ много разнохарактернаго и противорѣчиваго скопилось въ этой книгѣ.

изведеніи основныхъ элементовъ и типовъ мірозданія (стр. 244). Но, по мѣрѣ осложненія этихъ основныхъ типовъ, и тамъ сравненія дѣлались чѣмъ дальше, тѣмъ рискованнѣе и произвольнѣе. Понятно, что въ шеллингистской *философіи исторіи* произвольность эта достигла высшей степени; а въ рукахъ такого сомнительнаго энциклопедиста, какъ Погодинъ, сопоставленія прямо приняли характеръ какой-то смѣхотворной пародіи. *Исторіи государствъ идутъ параллельными линіями*; изъ этого положенія топорность мысли Погодина немедленно выведетъ вопросы: „нельзя ли для каждаго государства отыскать человѣка или учрежденіе, предназначенное для одной и той же цѣли? Въ Римѣ языческомъ были консулы, а въ Римѣ христіанскомъ что имъ будетъ соотвѣтствовать? Рыцари духовныхъ орденовъ!“ Въ древней исторіи многобожіе соотвѣтствовало многовластію (республикѣ),—не соотвѣтствуетъ ли въ новой единобожіе—единовластію? Въ Азіи есть Китай, въ Африкѣ ему соотвѣтствуетъ Египетъ,—а что должно соотвѣтствовать тому и другому въ Европѣ? „Христіанство введено вездѣ черезъ женщинъ. Но это, скажутъ, случай! Да, случай, одинакій. А одинакій случай есть законъ“. Міръ сотворенъ въ шесть дней; но нравственный міръ управляется законами параллельными физическимъ; итакъ, „для нравственнаго міра (исторіи) есть свои шесть дней творенія: какой нынѣ день у насъ, въ мірѣ, въ томъ или другомъ государствѣ?“ Событія, подобно животнымъ и растеніямъ, выростаютъ изъ своего сѣмени и даютъ плодъ. „Вотъ два зерна,—они очень похожи между собою, но изъ одного выростетъ дубъ, а изъ другого—пальма: такъ въ сходныхъ началахъ государствъ заключаются зародыши ихъ будущихъ видоизмѣненій“. Гдѣ же искать зародышей государства? во Франціи—Парижъ, въ Пруссіи Бранденбургъ, въ Россіи—Москва (скоро Погодинъ скажетъ: Рюрикъ и его династія). Такова почва, на которой создавались представленія Погодина объ общемъ ходѣ русской исторіи. Понятно, что нѣтъ ничего болѣе противоположнаго идеѣ закономѣрности, какъ это вырываніе отдѣльныхъ частностей изъ самыхъ разнородныхъ контекстовъ для цѣлей параллелизма. „Всякое событіе можно вырвать изъ общей цѣпи...; можно расковать всю цѣпь и отдѣлить кольца ея одно отъ другого“, и разложить ихъ параллельно другимъ событіямъ изъ исторіи, изъ ботаники или зоологіи. Цѣль, слѣдовательно, достигнута, когда уподобленій найдено какъ можно больше. Итакъ, —приступаемъ къ русской исторіи. „Европу можно раздѣлить исторически на двѣ главныя половины: западную и восточную. Первою возобладали племена нѣмецкія, во второй остались словенскія. Первая завоевана, вторая—занята. Въ первой пришлецы и туземцы; во второй — только туземцы. Въ первой феодализмъ, во второй — удѣлы. Первая получила христіанскую вѣру изъ Рима, вторая—изъ Константино-

поля. По раздѣленіи церквей, первая осталась за папой, вторая— за патріархомъ. Государства западныя основаны на развалинахъ западной Римской имперіи, восточныя составились изъ областей восточной, и странъ, прилежавшихъ къ ней. Въ государствахъ западныхъ исторія начинается преимуществомъ духовной власти надъ свѣтскою, въ славянскихъ искони духовная власть подчинялась государямъ, какъ и въ Константинополѣ". Далѣе, на Западѣ крестовые походы, а въ Россіи монгольское иго; на Западѣ реформація, въ Россіи Петръ Великій, и т. д. Многія изъ этихъ сравненій мы встрѣтимъ и у Полевого; но Полевой изъ каждаго сравненія старается сдѣлать выводъ. А что слѣдуетъ изъ сравненій Погодина? Позднѣе онъ отвѣтитъ, какъ сумѣетъ, на этотъ вопросъ, приведя въ нѣкоторый порядокъ свою „параллель" съ помощью славянофиловъ; но теперь онъ умѣетъ сказать только одно: изъ этого слѣдуетъ,—или лучше, это слѣдуетъ изъ того,—что разныя исторіи, такъ же, какъ и произведенія природы, дѣлятся на роды и виды, по родовому сходству и по видовымъ различіямъ, Но гдѣ же причинная связь этихъ сходствъ и различій? Связь открывается именно въ параллелизмѣ и черезъ посредство параллелизма: чѣмъ больше параллельныхъ точекъ, тѣмъ несомнѣннѣе единство внутренней структуры; причины же этого единства скрыты отъ насъ: полное понятіе „связи и хода происшествій" есть понятіе объ „управленіи Божіемъ" и едва ли доступно человѣку *).

Здѣсь мы подходимъ къ другой коренной чертѣ погодинской философіи исторіи. Закономѣрность и не нужна ему, въ сущности, потому что она замѣняется у Погодина цѣлесообразностью. Все происшедшее, съ этой точки зрѣнія, должно было быть такъ, какъ было; а такъ какъ Погодинъ уже раздѣлилъ всю цѣпь событій на отдѣльныя частности, то и всѣ эти частности долженствовали случиться, и въ своевременномъ появленіи ихъ – Погодинъ видитъ воздѣйствіе свыше. Такимъ образомъ, теорія закономѣрности превращается въ полную противоположность себѣ: появленіе каждаго новаго кольца въ цѣпи есть новое чудо. И этого мало. Въ первомъ толчкѣ уже предусмотрѣнъ, какъ въ зародышѣ, послѣдній результатъ; поэтому всѣ эти чудеса нужны исключительно для сохраненія зародыша при его развитіи въ заранѣе предусмотрѣнный плодъ. Если русское государство приняло то, а не другое направленіе, то причина должна, стало быть, заключаться въ качествахъ „сѣмени", „зародыша" русскаго государства. Поэтому, чтобъ объяснить раз-

---

*) Всѣ примѣры и цитаты изъ „Историческихъ афоризмовъ", восходящихъ, какъ мы знаемъ, къ двадцатымъ годамъ. Послѣднее замѣчаніе сдѣлано въ 1821 г. (Барсуковъ, т. 1, стр. 145).

витіе русской исторіи, Погодину нужно рѣшить только одно: какъ началось Русское государство.

Во всѣхъ этихъ „афоризмахъ“ двадцатыхъ годовъ еще нѣтъ и намека на какую-нибудь установившуюся систему. Если въ нихъ и есть извѣстное единство, то это— единство источника, изъ котораго они заимствованы, и единство умственнаго склада, въ которомъ они преломились. Система начинаетъ складываться изъ того же, заранѣе припасеннаго, матеріала—не ранѣе тридцатыхъ годовъ. Поводомъ къ ея созданію была та перемѣна въ положеніи Погодина, о которой мы говорили раньше. Погодинъ сдѣлался оффиціальнымъ „защитникомъ историческаго православія“ и посвятилъ свою спеціальную научную, а съ 1835 г. и профессорскую дѣятельность—реабилитаціи древнѣйшаго періода русской исторіи отъ „навѣтовъ скептиковъ“, какъ тогда выражались. Въ это время (1835—1844), въ тѣсной связи съ профессорскими лекціями, было подготовлено Погодинымъ лучшее, что онъ сдѣлалъ для русской исторіи, его 7 томовъ *Изслѣдованій, замѣчаній и лекцій*, остающихся до сихъ поръ незамѣнимымъ справочнымъ пособіемъ для занимающихся древнѣйшимъ періодомъ. Но это значеніе было пріобрѣтено *Изслѣдованіями* не благодаря присутствію теоретизирующей мысли, а, наоборотъ, благодаря ея полному отсутствію. Молодое поколѣніе ученыхъ совершенно основательно окрестило *Изслѣдованія* названіемъ „черновыхъ тетрадей“ *). Какъ видно изъ *Русской Исторіи* 1871 года, Погодинъ до конца жизни остался вѣренъ тому взгляду на задачи ученаго изслѣдованія, какой мы встрѣчали въ десятыхъ и двадцатыхъ годахъ у Румянцева, у митрополита Евгенія и у самого Погодина въ эпоху студенчества. Простой пересказъ лѣтописи или внѣшняя, совершенно механическая систематизація лѣтописнаго содержанія по рубрикамъ—дальше этого Погодинъ не идетъ. Когда ему приходится резюмировать свое изложеніе, онъ или просто повторяетъ частности, или суммируетъ ихъ, называя это „математическимъ методомъ“, или, наконецъ, какъ къ послѣднему рессурсу, прибѣгаетъ къ уподобленію, излюбленному пріему своихъ „афоризмовъ“ **). Такимъ образомъ, и по складу ума и по характеру разъ усвоенныхъ воззрѣній на задачи науки, Погодину предстояло сдѣлаться очень полезнымъ чернорабочимъ и сосредоточить всѣ свои силы на предварительной разработкѣ сырого матеріала. Онъ такъ и сдѣлалъ. Но для того, чтобы съ достоинствомъ поддерживать за-

---

*) См. Бестужева-Рюмина: „Біографіи и характеристики“, стр. 256. Ср. также мою біографію Погодина въ Исторической запискѣ о дѣятельности Импер. москов. археол. общества за первыя 25 лѣтъ существованія. М., 1890 г.

**) Ср., наприм., сравненіе русской исторіи съ „рѣкой“ въ Общемъ обозрѣніи, II т. Русской Исторіи (стр. 773—774).

нятое имъ положенiе, ему нельзя было вовсе обойтись безъ „высшихъ взглядовъ". И онъ нашелъ эти взгляды въ арсеналѣ своихъ „афоризмовъ" и развивалъ ихъ все рѣшительнѣе, по мѣрѣ того, какъ выяснялась для него самого и для другихъ его оффицiальная роль. Въ концѣ 1830 г., по поводу польскаго возстанiя, у Погодина явилась мысль „написать о правахъ Россiи на Литву и послать къ Бенкендорфу". Весной 1831 г. эта мысль была осуществлена въ статьѣ *Историческiя размышленiя объ отношенiяхъ Польши къ Россiи*. Скоро Погодинъ получилъ отъ Бенкендорфа запросъ: „чего онъ желаетъ за статью о Польшѣ, которая читана и понравилась?" Первымъ движенiемъ Погодина было—оскорбиться. ‚Какъ, не считаютъ ли они меня продажнымъ? У меня опустятся руки теперь на статью объ отношенiяхъ Россiи къ Европѣ *). Я говорилъ по внутреннему убѣжденiю, а не изъ награды. Развѣ они не могли наградить меня безъ этого вопроса?" Но затѣмъ, онъ нашелъ утѣшенiе въ томъ, что, значитъ, на него „не косо смотрятъ или, по крайней мѣрѣ, прямѣе". Наконецъ, онъ пришелъ къ заключенiю: „но, вѣдь, предложенiе Бенкендорфа не такъ щекотливо, какъ кажется" **). Черезъ десять лѣтъ, въ 1841 г., министръ народнаго просвѣщенiя гр. Уваровъ предложилъ Погодину сдѣлаться директоромъ канцелярiи министра. Принявъ предложенiе, Погодинъ вызвался уже самъ—присоединить къ своимъ будущимъ служебнымъ обязанностямъ и слѣдующую: „приготовить нѣсколько молодыхъ людей на каѳедру русской исторiи, дать имъ одно направленiе, согласное съ намѣренiями правительства, и, такимъ образомъ, надолго застраховать, сколько возможно, образъ мыслей и, слѣдовательно, дѣйствiй будущихъ поколѣнiй" ***). Въ промежуткѣ Погодинъ былъ призванъ правительствомъ на каѳедру русской исторiи въ Московскомъ университетѣ съ прямою цѣлью „начать новую эру" —„въ духѣ православiя, самодержавiя и народности" ****).

При такихъ условiяхъ Погодину, по необходимости, пришлось высказывать „высшiе взгляды" на ходъ русской исторiи. Всѣ почти статьи съ такими взглядами написаны „къ случаю". Такъ, „взглядъ на русскую исторiю" (1832), поразившiй Кавелина своимъ сходствомъ съ лекцiями покойнаго Чеботарева,—читанъ, въ видѣ вступительной лекцiи, въ присутствiи министра Уварова, который и остался очень доволенъ лекцiей *****). По желанiю наслѣдника, Пого-

---

*) Это—упоминавшаяся ранѣе Параллель.

**) Барсуковъ, т. III, стр. 271—273.

***) Барсуковъ, т. VI, стр. 30.

****) Слова самого Погодина въ письмѣ къ попечителю гр. Строганову, и въ обращенiи къ посѣтившему его квартиру министру гр. Уварову. Барсуковъ, т. VIII, стр. 98, т. VI, стр. 159.

*****) Барсуковъ, т. IV, стр. 72—78. Кавелинъ, соч. т. I', стр. 422—424.

динъ долженъ былъ написать ему затѣмъ „о важнѣйшихъ эпохахъ русской исторіи“. Для этой цѣли онъ составилъ вступительное письмо, задержанное, впрочемъ, Строгановымъ по излишеству лирическихъ изліяній. По тому же поводу составлена была и статья о „формаціи государства“, прочитанная въ томъ же году въ университетѣ въ присутствіи попечителя. Къ пріѣзду государя въ 1841 г. напечатана была статья *Приращеніе Москвы* *).

Во всѣхъ этихъ „случайныхъ“ статьяхъ русская исторія перестаетъ быть для Погодина предметомъ спеціальнаго изученія или простой научной популяризаціи: она становится предметомъ благоговѣйнаго удивленія или восторженнаго сердечнаго сочувствія. Исторіей всякаго народа руководитъ Провидѣніе, но русской исторіей въ особенности. Какъ велики, въ самомъ дѣлѣ, отличающія ее „достоинства“. „Ни одна исторія не заключаетъ въ себѣ столько чудеснаго“. Сколько случайныхъ событій „долженствовали въ ней быть непремѣнно, чтобы россійская исторія получила тотъ видъ и характеръ, какой она имѣетъ“. А какъ велика Россія! Сколько въ ней населенія! Какъ она разноплеменна! Сколько въ ней природныхъ богатствъ! Наконецъ, „что есть невозможнаго для русскаго государства?“ „Одно слово, и цѣлая имперія не существуетъ, одно слово—стерта съ лица земли другая, слово—и вмѣсто нихъ возникаетъ третья отъ Восточнаго океана до Адріатическаго моря!“ „Будущая судьба міра зависитъ отъ Россіи“ и, говоря словами Коляра, „не можетъ быть, чтобы такой великій народъ, на такомъ пространствѣ... не долженъ былъ сдѣлать ничего на пользу общую. Провидѣніе себѣ не противорѣчитъ. Все великое у него для великихъ цѣлей“. Правда, „до сихъ поръ свѣтъ не видалъ словенъ на славной чредѣ“, на которую исторія, „какъ будто на часы“, высылаетъ народы, одинъ за другимъ, „служить свою службу человѣчеству“. Но это-то и доказываетъ, что очередь теперь за ними, что „они должны выступить теперь на поприще, начать высшую работу для человѣчества и проявить благороднѣйшія его силы“. Но кто же изъ славянъ выступитъ „представителемъ всего славянскаго міра“. „Сердце трепещетъ отъ радости... о, Россія! Не тебѣ ли?... о, если бы тебѣ! Тебѣ, тебѣ суждено довершить, увѣнчать развитіе человѣчества, представить всѣ фазы его жизни, блиставшія доселѣ порознь, въ славной совокупности“. Но гдѣ же ручательство за это „будущее величіе“ въ прошломъ? Въ отвѣтъ на это Погодинъ обращается къ своей „любимой мысли“. „Исторія всякаго го-

---

*) Барсуковъ, т. V, стр. 6—8, 165—176, 429; т. VI, стр. 4. Изъ статей, на которыя намъ не придется сослаться, отмѣтимъ еще статью о Петрѣ, цензурованную Уваровымъ и представленную государю. Барсуковъ, т. VI, стр. 5, 12.

сударства есть не что иное, какъ развитіе его начала; настоящая и будущая его исторія такъ происходитъ изъ начала, какъ изъ крошечнаго сѣмени вырастаетъ то или другое огромное дерево, какъ въ человѣческихъ поколѣніяхъ правнуки сохраняютъ тончайшіе оттѣнки голоса или легчайшія черты тѣлодвиженія своихъ предковъ. Начало государства есть самая важная, самая существенная часть, краеугольный камень его *Исторіи*, и рѣшаетъ судьбу его на вѣки вѣковъ" *). Начало европейскихъ государствъ есть завоеваніе; начало русскаго—добровольное призваніе. Отсюда Погодинъ старается вывести всѣ основныя различія послѣдующей исторіи Россіи и Европы. Съ помощью славянофиловъ онъ сводитъ, затѣмъ, всѣ эти различія къ одной общей формулѣ: въ Россіи—любовь и единеніе, въ Европѣ—вражда и рознь. Разъ установлена такимъ образомъ важность *начала*, сама собой ясна и важность его сохраненія. Но начало для Погодина есть Рюрикъ; вопросъ объ его сохраненіи становится вопросомъ о личной судьбѣ представителей династіи. По смерти Рюрика младенецъ Игорь остается единственной „тонкой нитью", связывающей начало исторіи „съ послѣдующими происшествіями", и Погодинъ трепещетъ за судьбу Игоря. Олегъ бросилъ Новгородъ, и Погодинъ снова трепещетъ: „минута неизвѣстности! Сѣмя предано произволу вѣтровъ!" Но Провидѣніе несетъ его въ Кіевъ, гдѣ *должна* начаться русская исторія, чтобы не зависѣть отъ западной, какъ это могло бы случиться въ Новгородѣ. „Новая опасность": Игорь убитъ древлянами; что, если „какой-нибудь смѣльчакъ сядетъ на престолъ!" „Успокоимся": Ольга имѣетъ характеръ мужескій. Нужно, чтобъ у нея былъ одинъ сынъ Святославъ, такъ какъ „рано начинаться удѣльнымъ княжествамъ". Но Святославъ напалъ на Болгарію: „зародышъ выкинутъ", „сѣмя перенесено на другую почву"; что, если оно тамъ пуститъ ростки? „Болгаріи выпадалъ жребій сдѣлаться Русью". „Какъ все зыбко!" Но успокоимся опять: Провидѣніе, какъ нарочно, посадило на византійскій престолъ воинственнаго Цимисхія, который отбросилъ назадъ, въ Россію, предназначенное ей „сѣмя". Такимъ образомъ, чудесно охранялась династія отъ прекращенія. Но и прекратилась она не менѣе цѣлесообразно, чѣмъ охранялась. „Не пресѣкись родъ московскихъ князей, не было бы Романовыхъ, не было бы Петра". „Какова связь между смертью въ Угличѣ семилѣтняго царевича Димитрія, игравшаго въ тычку ножомъ, и реформаціей Петра! Послѣдняя не могла бы произойти такъ безъ перваго происшествія". Словомъ, и въ нашемъ прошломъ, „воображая событія, составляющія русскую исторію, сравнивая ихъ непримѣтныя начала съ дале-

---

*) Письмо Хомякову въ Москвитянинѣ 1848 г., т. VI. Цит. у Барсукова, т. IX, стр. 484—490.

кими, огромными слѣдствіями, удивительную связь ихъ между собою, невольно думаешь, что перстъ Божій ведетъ насъ, какъ будто древле іудеевъ, къ какой-то высокой цѣли" *).

„И ни одного раза не пришло автору на мысль взглянуть на всѣ эти факты съ другой стороны, наоборотъ", замѣчаетъ Кавелинъ по поводу этого „историческаго мистицизма" **). Въ этомъ замѣчаніи чрезвычайно мѣтко схваченъ основной недостатокъ пріемовъ Погодина. Весь секретъ его философіи исторіи заключается въ томъ, что ему связь причины со слѣдствіемъ представляется навыворотъ, какъ связь цѣли со средствомъ. Естественный порядокъ явленій, такимъ образомъ, переворачивается: послѣдній моментъ представляется цѣлью, поставленной Провидѣніемъ, а все предыдущее становится необходимымъ средствомъ для осуществленія именно *этой* цѣли. Въ результатѣ, вмѣсто признанія *необходимости* русскаго историческаго процесса, является апоѳеозъ *случайности* его, не удовлетворившій, уже во время Погодина, ни своихъ, ни чужихъ. Западникъ и славянофилъ, Кавелинъ и П. Кирѣевскій, одинаково возражали ему, что всякое различіе между призваніемъ и завоеваніемъ уничтожается, если не признавать за мѣстнымъ населеніемъ никакого участія въ созданіи государства. Если же признать, что мѣстныя условія сами по себѣ вызвали появленіе государства, тогда вопросъ о судьбѣ Рюрикова рода придется признать совершенно второстепеннымъ. На этомъ и настаивали: Кавелинъ—во имя идеи органичности историческаго развитія, а Кирѣевскій—во имя уваженія къ самодѣятельности народной стихіи. Возраженія послѣдняго намъ здѣсь особенно интересны, потому что они показываютъ, какъ, въ сущности, далекъ былъ Погодинъ отъ настоящаго славянофильства, несмотря на все желаніе къ нему приблизиться. „Народъ, который подчиняется спокойно первому пришедшему, который принимаетъ чуждыхъ господъ безъ всякаго сопротивленія, котораго отличительный характеръ составляетъ безусловная покорность и равнодушіе, и который даже отрекается отъ своей вѣры по одному приказанію чуждыхъ господъ,—не можетъ внушить большой симпатіи. Это былъ бы народъ, лишенный всякой духовной силы, всякаго человѣческаго достоинства, отверженный Богомъ; изъ его среды не могло бы никогда выйти ничего великаго". Такимъ образомъ, отъ подлинныхъ славянофиловъ Погодину пришлось услышать, что его представленія объ исторической роли Россіи не только не возвеличиваютъ, но даже оскорбляютъ русскій народъ. Пиша приведенныя строки, П. Кирѣевскій какъ будто видѣлъ предъ

---

*) Перечисленныя выше статьи въ Историко-критическихъ отрывкахъ, т. I, passim.

*) Кавелинъ, соч. т. II, стр. 124.

собой эти, болѣе откровенныя, выраженія Погодинскаго дневника (1826): „удивителенъ русскій народъ, но удивителенъ только еще въ возможности. Въ дѣйствительности онъ низокъ, ужасенъ и скотенъ“ *). *Этого* Погодинъ не могъ сказать Кирѣевскому. Онъ не могъ бы, съ другой стороны, принять и мнѣнія Кавелина, что мирное подчиненіе князьямъ,—поскольку оно было мирнымъ,—явилось слѣдствіемъ не „любовности“, а просто равнодушія населенія къ юридическимъ формамъ. Такимъ образомъ, онъ ограничился двумя отвѣтами, не совсѣмъ соотвѣтствующими другъ другу; и предыдущая выписка изъ дневника показываетъ намъ, который изъ нихъ былъ искреннимъ. Какъ представитель оффиціозныхъ „высшихъ взглядовъ“, онъ отвѣчалъ П. Кирѣевскому: „отнимая у насъ *смиреніе* и *терпѣніе*, двѣ высочайшія христіанскія добродѣтели, коими украшается наша исторія, вы служите Западу“. Въ качествѣ же спеціалиста ученаго онъ возразилъ: „Вы ищете у исторіи подкрѣпленій для вашей гипотезы, а я учусь у исторіи...; вы *даете* исторіи систему, а я *беру* у нея“ и, слѣдовательно, не могу отрицать фактовъ. Въ этомъ противорѣчивомъ самооправданіи заключается самая лучшая характеристика положенія, занятаго Погодинымъ въ исторіи нашей науки. Теорія у него всегда плохо клеилась съ изученіемъ фактовъ, и изъ изученія фактовъ онъ не умѣлъ и не считалъ нужнымъ вывести никакой „системы“. Единственная система, которую онъ считалъ нужнымъ защищать, вытекала не изъ историческаго изученія, а, съ одной стороны, изъ философскихъ мечтаній юности, съ другой—изъ сознательнаго желанія *„сдѣлать россійскую исторію охранительницею и блюстительницею общественнаго спокойствія“* **).

При этихъ условіяхъ, Погодину, очевидно, оставалось уступить рѣшеніе вопроса о всемірно-исторической роли Россіи— другимъ, болѣе способнымъ къ философскому мышленію и менѣе связаннымъ необходимостью—подгонять объясненіе прошлаго къ реабилитаціи настоящаго. Оба слѣдующіе мыслителя, которыми мы теперь займемся, не ищутъ болѣе доказательствъ всемірно-историческаго предназначенія Россіи въ ея прошломъ. Напротивъ, они исходятъ изъ мысли, что русская исторія не представляетъ никакихъ задатковъ для всемірно-историческаго будущаго. Они спрашиваютъ, поэтому, уже не о томъ, какое всемірно-историческое начало развивалось въ нашей исторіи, а о томъ, почему никакого подобнаго начала въ ней не существовало. Ихъ главною заботой становится открыть, чего

---

*) Барсуковъ, т. II, стр. 17. Къ статьѣ Петра Кирѣевскаго (Москвитянинъ, 1845 г.), мы еще вернемся впослѣдствіи.

**) Истор.-крит. отрывки, т. I, стр. 16 (курсивъ въ подлинникѣ).

намъ недоставало для того, чтобы играть роль во всемірной исторіи, и какимъ способомъ можно пополнить недостающее.

Чего намъ недоставало, это Иванъ Кирѣевскій рѣшалъ, такъ же какъ и Полевой, съ помощью Гизо. Западно-европейская культура сложилась изъ трехъ элементовъ: христіанства, варваровъ и наслѣдія античнаго міра. „Еще прежде X вѣка имѣли мы христіанскую религію; были у насъ и варвары... но *классическаго древняго міра недоставало* нашему развитію“ *).

Отсутствіе культурной подготовки, какую давалъ классическій міръ, парализовало у насъ и вліяніе религіи. „Недостатокъ классическаго міра былъ причиной тому, что вліяніе нашей церкви, во времена необразованныя, не было ни такъ рѣшительно, ни такъ всемогуще, какъ вліяніе церкви римской“. Прямымъ послѣдствіемъ этого было наше политическое порабощеніе. Римская церковь представляла объединяющій центръ, который спасъ западный христіанскій міръ отъ невѣрныхъ. „У насъ сила эта была не столь ощутительна..., вся Россія, раздробленная на удѣлы, не связанные духовно, на нѣсколько вѣковъ подпала владычеству татаръ, на долгое время остановившихъ ее на пути къ просвѣщенію“. Какъ видимъ, татарское иго у Кирѣевскаго объясняется очень своеобразно: мы скоро встрѣтимъ эту мысль въ болѣе полномъ видѣ и увидимъ, что она взята совсѣмъ изъ другого круга идей, нежели московскій шеллингизмъ 20-хъ и 30-хъ годовъ. Дальнѣйшія слѣдствія вытекаютъ для Кирѣевскаго изъ только что приведеннаго. „Не имѣя довольно просвѣщенія для того, чтобы соединиться противъ (татаръ) *духовно*, мы могли избавиться отъ нихъ единственно *физическимъ*, матеріальнымъ соединеніемъ“,— государственнымъ единствомъ. Итакъ, и политическое порабощеніе, и политическое объединеніе представляются Кирѣевскому результатомъ недостаточнаго духовнаго развитія древней Руси. Вызванная недостаткомъ просвѣщенія, потребность государственнаго сосредоточенія силъ, въ свою очередь, опять задержала развитіе образованности; Россія продолжала, по этой причинѣ, пребывать „въ томъ оцѣпенѣніи духовной дѣятельности, которое происходило отъ слишкомъ большого перевѣса силы матеріальной надъ силою нравственной образованности“. Теперь, стало быть, слабость духовнаго развитія явилась уже послѣдствіемъ усиленнаго государственнаго роста. Между тѣмъ, для Запада наступила пора воспріятія античныхъ идей, эпоха возрожденія. „Такимъ образомъ, для новой Европы довершился кругъ полнаго наслѣдованія прежняго

---

*) Статья Девятнадцатый вѣкъ, первая часть которой впервые напечатана была въ журналѣ Кирѣевскаго Европеецъ, 1832 г. Всѣ дальнѣйшія ссылки сдѣланы на нее по Сочиненіямъ И. В. Кирѣевскаго. См. т. I, стр. 75.

просвѣщенія человѣчества. Такимъ образомъ, новѣйшее просвѣщеніе не есть отрывокъ, но продолженіе умственной жизни человѣческаго рода“ *).

Какимъ же образомъ намъ примкнуть къ этому непрерывному процессу духовной жизни человѣчества? Опереться для этого на зачатки духовнаго развитія старой Руси мы не можемъ: „это развитіе не могло имѣть успѣха *общечеловѣческаго*, ибо ему недоставало одного изъ необходимыхъ элементовъ всемірной прогрессіи ума (т.-е. античной культуры)“. Усвоить *старое* просвѣщеніе Европы мы тоже не можемъ, потому что „старое просвѣщеніе связано неразрывно съ цѣлою системой своего постепеннаго развитія, и *чтобы быть ему причастнымъ, надобно пережить* всю прежнюю жизнь Европы“. Остается одинъ исходъ—усвоить себѣ *новое* просвѣщеніе Европы. Дѣло въ томъ, что „европейская образованность является намъ въ двухъ видахъ: какъ просвѣщеніе Европы прежде“ половины XVIII вѣка—и послѣ нея. „Новое просвѣщеніе противоположно старому и существуетъ самобытно“. Сущность его состоитъ „въ требованіи большаго сближенія религіи съ жизнью людей и народовъ“. Такъ какъ это просвѣщеніе ничего не имѣетъ общаго со старымъ, то „народъ, начинающій образовываться, можетъ заимствовать его прямо и водворить у себя безъ предыдущаго, непосредственно примѣняя его къ своему настоящему быту“. Такимъ образомъ, практически дѣло рѣшалось вполнѣ благополучно: Россія могла воспитать себя къ всемірно-исторической дѣятельности путемъ непосредственнаго заимствованія романтическо-религіознаго настроенія, возобладавшаго, по мнѣнію Кирѣевскаго, въ Европѣ.

Въ статьѣ Кирѣевскаго многое было не досказано, что только впослѣдствіи выяснилось изъ его позднѣйшихъ статей. Нельзя было понять, почему именно *это* романтическо-религіозное настроеніе болѣе всего подходитъ для Россіи, и что въ немъ заключается всемірно-историческаго. Но и то, что было въ ней высказано, не могло не представляться подозрительнымъ съ точки зрѣнія шеллингизма. Кирѣевскому понадобилось по—своему формулировать самые основные тезисы шеллингистской философіи исторіи, чтобы приспособить ее къ своему практическому рѣшенію. Мы указывали раньше, что роль отдѣльныхъ народовъ въ цѣломъ составѣ человѣчества понималась различными послѣдователями шеллингизма различно. Одни, заинтересовавшіеся преимущественно идеей закономѣрности въ исторіи, распространяли эту закономѣрность на всѣ существующіе и существовавшіе народы, какъ бы они ни были ничтожны. Другіе, съ точки зрѣнія цѣлесообразности, допускали, что только избранные народы участвуютъ въ общемъ ходѣ всемірно-историческаго разви-

*) Сочиненія, т. I, стр. 80.

тія. Но для тѣхъ и другихъ было аксіомой, что каждый народъ развивается по присущему ему закону, изъ своего „сѣмени", и что развитіе его, на всемъ своемъ протяженіи, представляетъ недѣлимое, органическое цѣлое. При такомъ взглядѣ немыслимо было отдѣлять прошлое народа отъ его настоящаго и будущаго: „духъ" народа, если онъ въ немъ былъ, долженъ былъ сказаться уже въ его зародышѣ. Поэтому Кирѣевскому, который допустилъ для своей цѣли, что народъ безъ всемірно-историческаго прошлаго можетъ имѣть всемірно-историческое будущее,—нужно было и въ теорію внести соотвѣтственную поправку.

Изъ слѣдующей цитаты видно, какъ дѣлаетъ Кирѣевскій эту поправку къ извѣстному намъ философско-историческому взгляду. „Просвѣщеніе человѣчества развивается постепенно, послѣдовательно. Каждая эпоха человѣческаго бытія имѣетъ своихъ представителей въ тѣхъ народахъ, гдѣ образованность процвѣтаетъ полнѣе другихъ. *Но* эти народы до тѣхъ поръ служатъ представителями своей эпохи, покуда ея господствующій характеръ совпадаетъ съ господствующимъ характеромъ ихъ просвѣщенія. Когда же просвѣщеніе человѣчества, довершивъ извѣстный періодъ своего развитія, идетъ далѣе, и, слѣдовательно, измѣняетъ характеръ свой, тогда и народы, выражавшіе сей характеръ своею образованностью, перестаютъ быть представителями всемірной исторіи. Ихъ мѣсто заступаютъ другіе, коихъ особенность всего болѣе согласуется съ наступающею эпохой. Эти новые представители человѣчества продолжаютъ начатое ихъ предшественниками, наслѣдуютъ всѣ плоды ихъ образованности и извлекаютъ изъ нихъ сѣмена новаго развитія. Такимъ образомъ", (т.-е. посредствомъ послѣдовательныхъ передачъ „плодовъ", добытыхъ одними и *заимствуемыхъ* у нихъ другими народами) поддерживается „неразрывная связь и постепенный, послѣдовательный ходъ въ жизни человѣческаго ума... Просвѣщеніе одинокое, китайски-отдѣленное, должно быть и китайски-ограниченное: въ немъ нѣтъ жизни, нѣтъ блага, ибо нѣтъ прогрессіи, нѣтъ того успѣха, который добывается только *совокупными* усиліями человѣчества" *). Итакъ, Кирѣевскій толкуетъ теорію *преемства* всемірно-исторической миссіи въ томъ смыслѣ, что передача этой миссіи совершается, такъ сказать, на ходу, при жизни народовъ, путемъ усвоенія однимъ изъ нихъ результатовъ жизни другого.

Но самая возможность такого усвоенія съ точки зрѣнія новой теоріи была болѣе, чѣмъ сомнительна. Припомнимъ, что для тогдашней философіи исторіи вся жизнь народа резюмировалась „идеею". Пересадить „идею" значило—заставитъ пережить всю эту народную жизнь. Такую связь „идеи" съ исторической жизнью призналъ и

---

*) Сочиненія, т. I, стр. 81—82.

самъ Кирѣевскій относительно „стараго просвѣщенія" Европы (до средины XVIII в. *). Но если „старое просвѣщеніе", по собственному утвержденію Кирѣевскаго, находилось въ неразрывной связи со „всей прежней жизнью" Европы и не могло быть заимствовано безъ повторенія всей этой жизни сызнова, то какъ же можно было утверждать относительно „новаго просвѣщенія" совершенно противоположное, т.-е. что оно ни въ какой связи со старымъ не стоитъ и можетъ быть заимствовано безъ всякаго затрудненія? Не ясно ли было, что это открытое нарушеніе принциповъ системы сдѣлано съ исключительною цѣлью связать европейское настоящее непосредственно съ русскимъ настоящимъ, и что единственнымъ связующимъ звеномъ между обоими послужила мысль Кирѣевскаго о господствѣ тамъ и здѣсь религіозной идеи? Чтобы вполнѣ удовлетворить требованіямъ теоріи, надо было бы найти „сѣмена" этой религіозной идеи въ русскомъ прошломъ и вывести русскую религіозную идею изъ русской исторіи, какъ ея органическій результатъ. Позднѣе это и было сдѣлано. Но, въ такомъ случаѣ, заимствованіе отъ Европы становилось совершенно излишнимъ: Россія могла своими силами завоевать себѣ всемірно-историческую роль. Если заимствованіе въ началѣ тридцатыхъ годовъ считалось необходимымъ, то это потому, что и прошлое русской религіозной идеи, и ея содержаніе очень еще неясно представлялось будущему основателю славянофильства. Но, въ такомъ случаѣ, чтобы быть послѣдовательнымъ, нельзя было останавливаться на мысли о простомъ заимствованіи; чтобъ усвоить европейскую идею, Россія, дѣйствительно, должна была „пережить всю прежнюю жизнь" Европы. Будущій защитникъ самобытной русской идеи не могъ, конечно, рѣшиться на такое самоотреченіе и, въ ожиданіи дальнѣйшаго выясненія собственныхъ мыслей, остановился на полдорогѣ. Другой, не менѣе выдающійся представитель философско-исторической мысли того времени, Чаадаевъ, смѣло пошелъ до конца; рѣшительное и безусловное отрицаніе всего русскаго прошлаго во имя русскаго будущаго было для него легко, потому что въ прошломъ онъ видѣлъ только „бѣлый листъ бумаги".

П. Я. Чаадаевъ снова возвращаетъ насъ къ александровской эпохѣ. Для поколѣнія тридцатыхъ годовъ его взгляды были уже, по выраженію Герцена, „голосомъ изъ гроба"; его умственный обликъ сложился въ десятыхъ и двадцатыхъ годахъ подъ впечатлѣніемъ грандіозныхъ событій, потрясавшихъ тогда Европу. Надо прибавить, что

*) Ср. признаніе Кирѣевскаго въ той же статьѣ, что „отъ самаго паденія Римской имперіи до нашихъ временъ просвѣщеніе Европы представляется намъ... въ безпрерывной послѣдовательности; каждая эпоха условливается предыдущей, и всегда прежняя заключаетъ въ себѣ сѣмена будущей, такъ что въ каждой изъ нихъ являются тѣ же стихіи, но въ полнѣйшемъ развитіи".

впечатлѣніе это было не одинаково въ разныхъ общественныхъ кругахъ, и что впечатлѣніе, вынесенное Чаадаевымъ, соотвѣтствовало тому кругу, которому онъ принадлежалъ по своему происхожденію и воспитанію. Племянникъ князей Щербатовыхъ (и внукъ русскаго историка по матери), прекрасно подготовленный дома, располагавшій большими связями и чрезвычайно удачно начавшій, на виду у двора, свою служебную карьеру, Чаадаевъ стоялъ близко къ тѣмъ сферамъ, которыя дѣлаютъ политику, и въ которыхъ непосредственнѣе всего ощущаются ея результаты. Можно думать, что эта особенность положенія отразилась уже на характерѣ впечатлѣній, вынесенныхъ Чаадаевымъ изъ перваго знакомства съ Европой во время заграничныхъ походовъ 1813—1816 гг. Настроеніе немногочисленнаго и немногимъ доступнаго круга, въ которомъ вращался Чаадаевъ, не совсѣмъ соотвѣтствовало тому, которое вынесли изъ тѣхъ же заграничныхъ походовъ будущіе декабристы. Въ этомъ кругѣ не раздѣляли энтузіазма, вызваннаго въ большой публикѣ мнимымъ „союзомъ государей съ народами“, потому что лучше могли судить о качествѣ этого союза; здѣсь лучше помнили и связь только что пережитыхъ событій, и въ низложеніи Наполеона торжествовали не побѣду народной свободы надъ деспотизмомъ, а пораженіе демократическаго цезаризма, созданнаго революціей. Разочарованія прошлаго были здѣсь гораздо сильнѣе надеждъ на будущее. Относясь скептически или враждебно къ мечтамъ о какой-то новой эрѣ политической свободы, люди этого круга не могли помириться съ крушеніемъ старой доброй традиціи и ждали всего не отъ писанныхъ конституцій, а отъ возстановленія старинной дисциплины, общественной и нравственной. Надо думать, что уже тогда, во время освободительныхъ войнъ, это настроеніе вліятельныхъ сферъ и избранныхъ умовъ не осталось незамѣченнымъ Чаадаевымъ и произвело на него извѣстное впечатлѣніе. Вернувшись въ 1817 г. въ Петербургъ, онъ и здѣсь долженъ былъ застать въ высокопоставленныхъ сферахъ модное увлеченіе идеями католической реакціи, успѣвшее уже вызвать противъ себя въ это время репрессивныя мѣры со стороны правительства. Самый видный и самый блестящій изъ теоретиковъ реакціи, Жозефъ де-Местръ, уже 14 лѣтъ какъ жилъ въ Петербургѣ, въ качествѣ посланника низложеннаго Наполеономъ сардинскаго короля. Здѣсь онъ обдумывалъ свои, наиболѣе прославившія его потомъ произведенія (Du Pape и Soirées de St.-Pétersbourg); въ высшемъ обществѣ Петербурга онъ имѣлъ горячихъ поклонниковъ и особенно поклонницъ, изъ нихъ нѣкоторыя обратились даже въ католичество; силой и оригинальностью своего ума, остроуміемъ и блескомъ своей бесѣды, благородствомъ своего личнаго характера онъ снискалъ себѣ всеобщее уваженіе и одно время имѣлъ сильное вліяніе на самого императора Александра,

настойчиво перезывавшаго пьемонтскаго патріота на русскую службу. Чаадаевъ не успѣлъ подчиниться личному вліянію де-Местра, такъ какъ въ томъ же 1817 году послѣдній выѣхалъ изъ Россіи; но онъ долженъ былъ встрѣтиться со свѣжими слѣдами его вліянія, могъ познакомиться и съ идеями, пущенными де-Местромъ въ обращеніе, раньше чѣмъ были обнародованы вышеупомянутыя его сочиненія, подготовленныя въ Петербургѣ (1819, 1837 гг.). Кромѣ частныхъ писемъ къ петербургскимъ друзьямъ, де-Местръ развивалъ свои мысли, въ приложеніи къ Россіи, въ нѣсколькихъ сочиненіяхъ, составленныхъ по просьбѣ графа Разумовскаго и напечатанныхъ много времени спустя послѣ смерти автора. Эти сочиненія могли быть извѣстны въ рукописи высшему обществу столицы (Quatre chapitres sur la Russie, изд. въ 1859 году, и упоминаемыя ниже письма о народномъ образованіи).

Какъ бы то ни было, Чаадаевъ уже въ это время замѣтно отклоняется отъ общаго настроенія столичнаго офицерства. Можетъ быть, это различіе взглядовъ и подготовило тотъ кризисъ, который, немного лѣтъ спустя, перевернулъ всю дальнѣйшую судьбу Чаадаева. Какъ извѣстно, Чаадаевъ взялъ на себя порученіе свезти имп. Александру I въ Троппау донесеніе о бунтѣ солдатъ Семеновскаго полка, въ которомъ прежде самъ служилъ офицеромъ. Порученіе было очень щекотливое, такъ какъ Чаадаевъ не могъ обойти вопроса о роли бывшихъ товарищей, обвинявшихся въ подстрекательствѣ солдатъ противъ полкового командира. Исполненіе порученія, естественно, вызвало неблагопріятные для Чаадаева толки о его личныхъ мотивахъ, и онъ счелъ долгомъ чести подать въ отставку *). Рѣшеніе это, закрывавшее для Чаадаева самыя блестящія перспективы, далось ему, повидимому, не легко; на всю жизнь у него осталось потомъ чувство неудовлетвореннаго самолюбія. Съ этихъ поръ Чаадаевъ предается исключительно удовлетворенію умственныхъ интересовъ и, прежде всего, выброшенный изъ служебной колеи, отправляется въ продолжительное путешествіе за границу (1821—1825 гг.) Эта поѣздка довершаетъ то, что, по нашему предположенію, начато было и раньше: Чаадаевъ рѣшительно и сознательно примыкаетъ къ доктринѣ католической реакціи. Къ сожалѣнію, Чаадаевъ вообще не любилъ указывать источниковъ своихъ мнѣній, а объ этомъ наиболѣе тяжеломъ времени своей жизни вспоминалъ впослѣдствіи съ особенною неохотой. Поэтому мы не имѣемъ никакихъ его собственныхъ указаній на то, какъ, сложились его взгляды. Но объ этомъ зато краснорѣчиво свидѣ-

---

*) Такъ, по крайней мѣрѣ, изображаетъ дѣло Жихаревъ, близкій къ Чаадаеву человѣкъ, въ своей біографіи Чаадаева. Вѣст. Евр. 1871 г., іюль и сентябрь.

тельствуютъ самыя его сочиненія. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что только что напечатанное тогда сочиненіе де-Местра („Du pape“, 1819) произвело на Чаадаева сильное впечатлѣніе *). Но здѣсь его должны были поразить тѣ же общія очертанія католической философіи исторіи, которыя онъ могъ почерпнуть, наприм., и изъ Боссюэта. Что же касается спеціальнаго приложенія этихъ основныхъ идей къ пониманію средневѣковаго и новаго развитія Европы,—въ этомъ отношеніи Чаадаевъ всего болѣе, какъ намъ кажется, обязанъ Бональду,—и преимущественно его главному сочиненію: Législation primitive, considérée par la Raison **). Правда, на основную теорію Бональда о мистическомъ происхожденіи „слова“ и языка можно найти въ сочиненіяхъ Чаадаева скорѣе намеки, чѣмъ прямыя указанія***). Но тѣмъ ярче слѣды заимствованій изъ Бональда въ области философско-историческихъ толкованій. Сюда относится, наприм., основная посылка Чаадаева о христіанскомъ прогрессѣ, какъ о единственно-возможномъ, о католичествѣ, какъ дѣятельно-нравственной формѣ христіанства, объ отношеніи свободной человѣческой воли къ всемірно-историческому плану, предустановленному Провидѣніемъ, объ отклоненіи древняго міра (особенно грековъ) отъ прямого хода всемірно-историческаго прогресса, о важной роли еврейства и магометанства, о новомъ отклоненіи Европы со времени реформаціи и возрожденія классицизма и, наконецъ, о религіозномъ возрожденіи XIX вѣка вслѣдствіе разочарованій революціонной эпохи ****). На Бональда мы не найдемъ, однако, ни одной ссылки въ сочиненіяхъ и письмахъ Чаадаева. Въ одномъ письмѣ къ Тургеневу (1835) встрѣчается намекъ на сношенія съ Балланшемъ, мечтателемъ реакціонной эпохи, старавшимся примирить философію католицизма съ требованіями новаго времени. Но сношенія эти, завязавшіяся благодаря Тургеневу, относятся, повидимому, къ болѣе позднему времени. Въ „Essai sur les institutions sociales“ (1818) Балланша можно найти мысли, сходныя съ Чаадаевскими; но всѣ эти мысли высказаны были раньше уже Бональдомъ, отъ котораго Чаадаевъ могъ заимствовать ихъ непосредственно.

Тяжелое душевное настроеніе продолжалось, повидимому, у Чаадаева и въ первые годы по возвращеніи въ Россію. Онъ переходитъ въ это время отъ плана къ плану и ни на одномъ не останавливается; онъ дѣлаетъ попытки поступить на службу, потомъ

---

*) О де-Местрѣ упоминается только разъ въ частномъ письмѣ, гдѣ Чаадаевъ проситъ достать ему сочиненіе де-Местра о Бэконѣ. Oeuvres, стр. 190.

**) 2-е изданіе (въ Oeuvres) вышло въ 1817.

***) См. Oeuvres, 45, 60.

****) Развитіе всѣхъ этихъ положеній см. ниже, тамъ же и параллельныя цитаты изъ Бональда.

пробуетъ поселиться въ деревнѣ, наконецъ, окончательно и на всю жизнь поселяется въ Москвѣ, свободнымъ человѣкомъ, и начинаетъ писать. Въ 1829 г. возникаютъ знаменитыя *Письма о философіи исторіи*, доставившія автору столько терній и славы и навсегда обезпечившія ему мѣсто въ исторіи русской не только исторической, но и общественной мысли.

Въ *Письмахъ* Чаадаева—и современниковъ, и позднѣйшихъ изслѣдователей интересовала, главнымъ образомъ, прикладная сторона. Для насъ они преимущественно интересны, какъ первая теоретическая попытка, поставившая вопросъ о національной и всемірно-исторической роли Россіи на ту почву, на которой этотъ вопросъ рѣшался затѣмъ теоретиками славянофильства. При всей своей смѣлости, попытка Чаадаева вовсе не такъ оригинальна, какъ кажется съ перваго взгляда; но и по продуманности мысли, и по блеску изложенія она далеко оставляетъ за собою всѣ тѣ, о которыхъ мы говорили раньше.

Основная концепція Чаадаева традиціонно-христіанская. Въ этомъ смыслѣ она не нова не только у Чаадаева, но и у де-Местра; и если въ наше время, воспроизведенная вновь однимъ современнымъ писателемъ, она могла показаться оригинальной, то лишь по незнакомству большой публики съ этого рода вопросами, а также въ силу того наблюденія, приложеннаго Чаадаевымъ къ самому себѣ, что „часто старая истина, повторенная съ убѣжденіемъ, кажется новой". Единство вѣры, всемірная церковь, какъ средство, и возможно полное осуществленіе на землѣ христіанскаго идеала, какъ послѣдняя цѣль историческаго процесса,—обо всемъ этомъ мечтали, и не только мечтали, но ко всему этому стремились уже въ средніе вѣка. Но,—прибавимъ словами новѣйшаго біографа де-Местра—„сила идей не только въ нихъ самихъ, а также и въ томъ, какъ онѣ изображены и какимъ способомъ пущены въ умственный оборотъ"*). Всѣ эти условія самымъ благопріятнымъ образомъ соединились, чтобы дать силу идеямъ Чаадаева.

Имѣя въ виду свои основныя идеи, Чаадаевъ, прежде всего, самымъ рѣшительнымъ образомъ отстраняетъ всякія другія попытки философско-историческаго объясненія исторіи. Больше всего достается отъ него тому направленію, которое надѣется найти объясненіе въ простомъ накопленіи фактовъ. По его мнѣнію, что-нибудь одно: или мы уже теперь имѣемъ достаточно фактовъ, или мы никогда не получимъ ихъ столько, сколько нужно, потому что память людская не можетъ же удержать *всѣхъ* фактовъ. „Чтобы все предчувствовать, фактовъ было больше, чѣмъ нужно, уже во времена Моисея и Геродота; чтобы все доказать,—ихъ всегда будетъ мало".

---

*) George Cohordan. „Joseph de Maistre", Paris, 1894, p. 188.

„Такъ какъ предметъ исторіи и средства узнать ее всегда остаются тѣ же,—ясно, что кругъ историческаго опыта долженъ когда-нибудь замкнуться: приложенія не кончатся никогда, но къ правилу, разъ найденному, больше нечего будетъ прибавить". Такимъ образомъ, дѣло не въ собираніи фактовъ, а въ ихъ правильномъ истолкованіи *). Но ходячія истолкованія также не удовлетворяютъ Чаадаева. Нѣсколькими пренебрежительными строками онъ поканчиваетъ съ направленіемъ, которое хочетъ извлекать изъ исторіи уроки нравственности. Направленіе, связывающее историческіе факты съ помощью идеи прогресса, болѣе останавливаетъ на себѣ его вниманіе, но и къ этому истолкованію онъ относится вполнѣ отрицательно. Факты не только не доказываютъ существованіе *непрерывнаго* и постояннаго прогресса, но, напротивъ, доказываютъ совершенно обратное. Цѣлыя цивилизаціи погибали безслѣдно; продукты культуры, добытые вѣками, обращались въ прахъ, и человѣкъ поднимался высоко на лѣстницѣ развитія какъ будто для того только, чтобы затѣмъ пасть еще ниже. Теорія постепеннаго совершенствованія исходитъ изъ мысли, что духъ человѣческій развивается самъ собой, въ силу присущаго ему динамическаго начала; это какъ бы „комъ снѣга, который растетъ по мѣрѣ того, какъ катится". Но, въ дѣйствительности, „обычный ходъ человѣческихъ происшествій не можетъ не быть случайнымъ и произвольнымъ". Такимъ образомъ, „если въ потокѣ временъ мы, подобно другимъ, не усмотримъ ничего иного, кромѣ человѣческаго разума и воли, вполнѣ свободной, то, сколько бы мы ни накопляли фактовъ въ памяти и какъ бы хитро ни выводили ихъ одинъ изъ другаго,—мы не найдемъ того, чего ищемъ въ исторіи. Этимъ путемъ мы будемъ въ ней видѣть все ту же человѣческую игру, которую въ ней видѣли прежде. Это будетъ все та же психологическая и динамическая исторія, о которой я только что говорилъ,—исторія, которая хочетъ все объяснить личностью или воображаемымъ сцѣпленіемъ причинъ и слѣдствій". Такимъ образомъ и получится или „движеніе безъ цѣли и смысла", или гипотеза „естественнаго совершенствованія, присущаго человѣческой натурѣ" **).

„Итакъ, очевидно, что современная точка зрѣнія на исторію не можетъ удовлетворить мыслящаго ума. Несмотря на полезныя работы критики, несмотря на помощь, которую постарались оказать ей въ послѣднее время естественныя науки, исторія не смогла добиться ни того единства, ни того высокаго нравственнаго значенія, которыя

*) Oeuvres choisies de Pierre Tchaadaief, publiées pour la première fois par le P. Gagarin, de la compagnie de Jesus. Paris-Leipzig 1872, p. 51, 53, 88—89, 94.

**) Oeuvres, pp. 50, 32, 61—63, 52, 70, 74, 91—92.

вытекали бы изъ яснаго понятія о всеобщемъ законѣ, управляющемъ смѣной эпохъ".

Это единство, этотъ нравственный смыслъ даетъ исторіи *христіанство*—„историческое явленіе, совершенно не вытекающее ни изъ чего предыдущаго, совершенно независимое отъ естественнаго порядка возникновенія человѣческихъ идей въ обществѣ и не подчиненное какой бы то ни было причинной связи вещей (enchaînement nécessaire des choses)". Всеобщій законъ, связывающій и осмысливающій всѣ моменты историческаго процесса—это „идея *провидѣнія*, управляющаго вѣками и ведущаго родъ человѣческій къ его окончательному предназначенію". Внѣ христіанства нѣтъ цѣльной и осмысленной исторіи. Предоставленный самому себѣ, человѣкъ можетъ подняться лишь до извѣстнаго уровня, и вслѣдъ затѣмъ ему угрожаетъ одичаніе. И этотъ слабый подъемъ, и этотъ неизбѣжный упадокъ вытекаютъ изъ одной и той же причины—изъ того, что внѣ христіанства только одинъ *матеріальный интересъ* можетъ быть движущей причиной развитія. Вотъ почему погибли—и должны были необходимо погибнуть—древнія цивилизаціи; вотъ почему и современныя языческія націи съ незапамятныхъ временъ стоятъ на одной и той же неподвижной точкѣ". „Разъ матеріальный интересъ удовлетворенъ,—человѣкъ перестаетъ идти впередъ; хорошо, если онъ не идетъ назадъ. Не можетъ быть никакого сомнѣнія, что въ Греціи такъ же, какъ въ Индіи, въ Римѣ—какъ въ Японіи, вся работа мысли, какъ бы она ни была громадна, постоянно стремилась и стремится только къ одной цѣли; и поэзія, и философія, и искусство—все это предназначалось и предназначается для удовлетворенія физической стороны человѣка". „Только христіанское общество можетъ быть одушевлено настоящимъ *интересомъ мысли*", и въ этомъ заключается вся тайна христіанской цивилизаціи. Христіанская мысль направлена на нравственное совершенствованіе, на постепенную работу „уничтоженія въ себѣ личнаго существованія и замѣны его существованіемъ, вполнѣ общественнымъ и безличнымъ". Такимъ образомъ, непрерывный прогрессъ, недоступный человѣческому обществу самому по себѣ, становится отличительною чертой общества христіанскаго. Это прогрессированіе можетъ кончиться только съ водвореніемъ на землѣ царства Божія: вотъ почему христіанскій прогрессъ не только непрерывенъ, но и безконеченъ. Въ пришествіе этого царства мы вѣримъ: вотъ почему мы можемъ быть увѣрены и въ томъ, что христіанская цивилизація не погибнетъ до скончанія вѣковъ, несмотря на какіе бы то ни было всемірно-историческіе перевороты. Наконецъ, согласно пророчеству, христіанство будетъ проповѣдано во всемъ мірѣ, всѣ національныя перегородки сокрушатся, и всѣ народности сольются въ единой вѣрѣ:

вотъ почему полнота вѣры и единство церкви составляютъ послѣднюю цѣль всемірно-историческаго прогресса *).

Только съ этой высшей точки зрѣнія и можно дать вѣрную оцѣнку различныхъ періодовъ и явленій всемірной исторіи. Истинный всемірно-историческій характеръ имѣютъ лишь тѣ изъ нихъ, которые двигаютъ человѣчество впередъ; а двигаютъ его впередъ лишь тѣ, которые приближаютъ его къ достиженію вселенскаго идеала. Естественно, что при такомъ критеріи результаты оцѣнки получатся совсѣмъ не похожіе на обычныя сужденія о всемірно-историческихъ эпохахъ и лицахъ. Идеалы Сократа и Марка Аврелія совершенно стушуются передъ дѣятельностью Моисея и Давида; языческая цивилизація античнаго міра не пойдетъ ни въ какое сравненіе съ христіанской цивилизаціей среднихъ вѣковъ. Чаадаевъ не находитъ достаточно словъ, чтобы заклеймить самодовольный матеріализмъ классической древности; какъ символъ изящнаго обмірщенія вѣры, мысли и чувства, онъ выбираетъ Гомера и на его тлетворное вліяніе обрушивается съ раздраженіемъ неофита первыхъ вѣковъ христіанства. Напротивъ, средніе вѣка для него—это почти осуществленіе христіанскаго идеала. Вся Европа, несмотря на политическія перегородки и этнографическія различія, была тогда однимъ цѣлымъ и представляла единый христіанскій народъ, организованный единою церковью для достиженія соціальнаго идеала, поставленнаго христіанствомъ. Только реформація разорвала это единство и вернула общество къ эпохѣ языческаго разъединенія; она возстановила снова антагонизмъ національныхъ самосознаній, она пыталась лишить христіанское общество внѣшнихъ символовъ его духовнаго единства и думала замѣнить превосходную соціальную организацію католичества — идеей невидимой церкви: дѣйствительно, невидимой и существующей только въ воображеніи. Изъ этого бѣдствія, въ которое ввергла христіанскій міръ реформація и одновременная съ нею реставрація языческой старины (Возрожденіе),—можетъ вывести человѣчество только новое оживленіе религіозныхъ вѣрованій, признаки котораго Чаадаевъ замѣчаетъ въ современной ему Европѣ **).

Какое же положеніе занимаетъ Россія въ ряду явленій всемірной исторіи? Конечно, положеніе это должно опредѣляться тою долей участія, какую она принимала въ общей работѣ человѣчества надъ осуществленіемъ христіанскаго идеала. Но она не играла въ этой работѣ никакой роли. „До сихъ поръ слабость ли нашихъ вѣ-

---

*) Oeuvres, 50, 62, 48, 64, 74--76, 90. Ср. de-Bonald, Oeuvres, I, 96, II, 161, 279, 307 303--4, 421—422, 386; XI, 219.

**) Oeuvres, 54—56, 64—65, 71, 79, 82—85, 93—116. Ср. de-Bonald, Oeuvres, II, 27, 105, 110—12, 377; III, 5, 49, 52, 66 (ср. упрекъ Гиббону съ словами Чаадаева, Oeuvres, 93), IV, 284—9.

рованій, или несовершенство нашей догмы—держали насъ въ сторонѣ отъ этого общаго движенія, въ результатѣ котораго развилась и формулировалась соціальная идея христіанства; эта причина отбросила насъ въ категорію народовъ, которые только косвенно и очень поздно воспользуются полнымъ развитіемъ христіанства". „Мнѣ скажутъ: да развѣ мы не христіане и развѣ необходимо цивилизоваться именно такъ, какъ цивилизовалась Европа? Конечно, мы христіане, но вѣдь и абиссинцы—христіане. Конечно, можно цивилизоваться не по-европейски: вѣдь цивилизовалась же Японія, да еще лучше чѣмъ Россія, если вѣрить одному изъ нашихъ соотечественниковъ. Но полагаете ли вы, что тотъ порядокъ вещей, о которомъ я только что говорилъ (въ которомъ состоитъ высшее предназначеніе человѣчества), осуществится именно благодаря абиссинскому христіанству и японской цивилизаціи? Думаете ли вы, что нелѣпыя искаженія божескихъ и человѣческихъ истинъ помогутъ намъ низвести небо на землю"? *).

„Въ самомъ дѣлѣ, что дѣлали мы въ то время, какъ на Западѣ, въ результатѣ борьбы между дикой энергіей сѣверныхъ народовъ и высокой религіозной идеей, созидалось зданіе современной цивилизаціи? Направляемые злымъ рокомъ, мы искали нравственныхъ правилъ для своего воспитанія у жалкой, всѣми презираемой Византіи. Только что передъ тѣмъ честолюбивый умъ Фотія оторвалъ ее отъ всемірнаго братства: намъ досталась, такимъ образомъ, идея, искаженная человѣческой страстью". „Хотя мы и назывались христіанами, но не двигались съ мѣста въ то время, какъ христіанство совершало свое величественное шествіе по стезѣ, указанной ему божественнымъ Основателемъ... Словомъ, новыя судьбы человѣчества совершались не для насъ. Не для насъ, христіанъ, зрѣли плоды христіанства". „Разобщенные", такимъ образомъ, „прихотью судьбы отъ всемірнаго движенія человѣчества, мы ничего не унаслѣдовали изъ идей, ставшихъ традиціей въ человѣческомъ родѣ" **). Но, въ то же время, мы ничего не вынесли и изъ собственной своей исторіи. Эта исторія не вылилась въ формы, характеризующія народную личность рѣзкими, неизгладимыми чертами; у насъ это было скорѣе какое-то „хаотическое броженіе элементовъ нравственнаго міра, подобное тѣмъ міровымъ переворотамъ, которые предшествовали современному состоянію нашей планеты". Мы не дожили до историческаго сознанія и не сохранили историческихъ воспоминаній;

---

*) Oeuvres, 35—36, 32.

**) Oeuvres, стр. 28—29, 30, 19. Ср. сужденія о Россіи Бональда, Oeuvres, IV, 183—189, 196 и де-Местра, du Pape, Livre III, chap. VI и Livre IV, chap. II, IV, X. Многія мысли и даже выраженія перешли въ сочиненіе „о папѣ" изъ Quatre chapitres sur la Russie и изъ писемъ къ Разумовскому.

все прошлое осталось для насъ въ туманѣ, въ какомъ остаются раннія воспоминанія дѣтства; и изъ этого прошлаго наша жизнь вышла какой-то безформенной, расплывающейся, лишенной всякой индивидуальной физіономіи. Да и что другого можно было вынести изъ нашего прошлаго? „Сперва дикое варварство, потомъ грубое суевѣріе, потомъ жестокое, унизительное иноземное иго, черты котораго унаслѣдовала потомъ и туземная власть—вотъ грустная исторія нашей юности". Съ такимъ прошлымъ мы, въ сущности, были такъ же чужды Востоку, какъ и Западу; Провидѣніе какъ будто забросило насъ и предоставило самимъ себѣ, нисколько не интересуясь нашей судьбой. „Одинокіе въ мірѣ, мы ничего ему не дали, ничему у него не научились; не бросили ни одной мысли въ сокровищницу человѣческихъ идей, ничѣмъ не содѣйствовали прогрессу человѣческаго ума и исказили все то, что намъ отъ него досталось". Словомъ, „въ духовномъ строѣ"—которымъ только и живетъ христіанская цивилизація -„мы составляемъ пробѣлъ" *).

Итакъ, наше прошлое безотрадно, слѣдуетъ ли изъ этого, что и наше будущее безнадежно? Чаадаевъ этого вовсе не утверждаетъ; онъ только указываетъ на то необходимое условіе, безъ соблюденія котораго Россія не можетъ примкнуть къ всемірно-историческому развитію христіанской цивилизаціи. „Не нелѣпо ли предполагать, какъ это обыкновенно дѣлается у насъ, что этотъ прогрессъ европейскихъ народовъ, совершавшійся столь медленно и подъ непосредственнымъ и очевиднымъ вліяніемъ единой нравственной силы (католичества), мы можемъ усвоить себѣ сразу, даже не дѣлая себѣ труда узнать, какъ онъ совершился?" Нѣтъ, „если мы хотимъ добиться одинаковаго положенія съ другими цивилизованными народами, то намъ слѣдуетъ, такъ сказать, повторить у себя все воспитаніе человѣческаго рода". Въ чемъ должно заключаться это воспитаніе, видно изъ предыдущаго. „Такъ какъ та сфера, въ которой живутъ европейцы, сложилась подъ вліяніемъ религіи, и такъ какъ только оставаясь въ этой сферѣ человѣчество можетъ достигнуть своего высшаго предназначенія, то ясно... что нужно всѣми мѣрами стараться оживить нашу вѣру, *дать намъ импульсъ истинно христіанскій*,—потому что тамъ все совершено христіанствомъ. Вотъ что я хотѣлъ сказать своимъ выраженіемъ, что намъ нужно съизнова начать воспитаніе человѣческаго рода" **). Несмотря на это поясненіе, мысль Чаадаева и тутъ остается недосказанной. Но несомнѣнно, что это—та же самая мысль, которую мы находимъ по

*) См. все начало перваго письма, стр. 9—29. Ср. наблюденіе де-Местра надъ складомъ русскаго общества въ Lettres et opuscules inédites, т. I, 367—368.

**) Oeuvres, стр. 31, 19, 34—35.

отношенію къ Россіи и у его учителя де-Местра. Въ первомъ изъ своихъ писемъ къ Разумовскому о народномъ образованіи (1810) де-Местръ устанавливаетъ то же основное положеніе. „Вся современная цивилизація вышла изъ Рима; взгляните на карту: вездѣ, гдѣ останавливается римское вліяніе,—тамъ останавливается и цивилизація; это—міровой законъ". Въ Россіи нравственное развитіе было задержано двумя великими событіями: раздѣленіемъ церкви въ X вѣкѣ и татарскимъ нашествіемъ Стало быть, Россіи нужно наверстать потерянное время"—regagner le temps perdu. „Искра, перенесенная во время изъ другого мѣста (т.-е. изъ Рима) зажжетъ пламя наукъ *).

„Письма о философіи исторіи" носятъ на себѣ яркій отпечатокъ того момента біографіи Чаадаева, когда они были написаны. Единство настроенія, ихъ проникающее, напоминаетъ намъ, что во время ихъ составленія авторъ, какъ онъ самъ призналъ впослѣдствіи, переживалъ самые тяжелые годы своей жизни; а единство мысли показываетъ, что, дѣйствительно, эти письма,—какъ опять-таки призналъ авторъ **), написаны были имъ „впродолженіе долгаго уединенія, наложеннаго на себя по возвращеніи изъ заграницы",—когда всѣ его мысли были сосредоточены на впечатлѣніяхъ, вывезенныхъ изъ путешествія. Прошло нѣсколько лѣтъ, и пессимистическое настроеніе, водившее перомъ Чаадаева и диктовавшее ему „слишкомъ абсолютныя мысли, слишкомъ рѣзкія мнѣнія", въ значительной степени смягчилось; съ другой стороны, изъ своего уединенія онъ скоро вышелъ въ люди и встрѣтился съ тѣмъ теченіемъ русской мысли, которое мы теперь изучаемъ. То и другое обстоятельство въ короткое время значительно измѣнило его теоріи. Въ шеллингистской философіи исторіи были стороны, которыя онъ легко могъ воспринять, и были другія стороны, съ которыми онъ никогда не могъ согласиться. Зная взгляды Чаадаева, мы легко поймемъ, что его не могли не привлекать всемірно-историческія перспективы новой теоріи и не могли не отталкивать ея національныя увлеченія. Теорія католической реакціи во многихъ пунктахъ совпадала съ исторической философіей шеллингизма. Народы, цѣльные, какъ организмы, и представляющіе каждый свою особую идею, смѣна избранныхъ Про-

---

*) Lettres et opuscules inédites du comte Joseph de Maistre, т. II, стр. 286—287. Это самое выраженіе (regagner le temps perdu) попадается однажды подъ перо Чаадаева. См. Oeuvres, стр. 159. Въ своихъ письмахъ Чаадаевъ еще яснѣе договариваетъ то, чего не могъ договорить въ статьяхъ, предназначавшихся для русской публики. Его симпатіи къ католицизму и стремленіе къ соединенію церквей—выступаютъ здѣсь совершенно открыто

**) Вѣстникъ Европы, 1873, ноябрь, неизданныя рукописи Чаадаева, письмо къ (Строганову?), стр. 86, 88.

видѣніемъ народовъ, соотвѣтствующая смѣнѣ представляемыхъ ими идей—все это были мысли, вовсе не чуждыя и Чаадаеву, и самому де-Местру *). Де-Местръ и Бональдъ видѣли во Франціи избранный народъ будущаго, призванный оживить уснувшую вѣру и начать новую всемірно-историческую эпоху; Чаадаевъ, при извѣстныхъ условіяхъ, могъ ожидать той же услуги человѣчеству и отъ своей родины. Но въ то же самое время онъ не могъ не негодовать на національное самолюбіе, приписывавшее себѣ достоинства избраннаго народа и считавшее осуществленнымъ въ прошломъ то, чего Чаадаевъ только еще надѣялся отъ будущаго. Такъ какъ, однако же, національное самомнѣніе и вѣра во всемірно-историческую миссію легко переходили одно въ другое и совмѣщались въ одних и тѣхъ же лицахъ, большею частью хорошихъ знакомыхъ Чаадаева, то ему было довольно трудно установить свое отношеніе къ новымъ московскимъ взглядамъ. То онъ опасался національнаго шовинизма, какъ естественнаго врага своей любимой идеи— о религіозномъ единеніи народовъ, то возлагалъ надежды на результаты національнаго самоанализа, какъ лучшаго средства узнать самихъ себя и радикально излечиться отъ своей національной гордыни. Это двойственное отношеніе къ модному увлеченію національностью мы встрѣчаемъ уже въ письмѣ къ А. И. Тургеневу, 1834 или 1835 г., слѣдовательно, раньше напечатанія перваго изъ *Писемъ* Чаадаева въ *Телескопѣ* (1836). „Въ настоящее время—пишетъ онъ—у насъ происходитъ своеобразное движеніе умовъ. Стараются сфабриковать національность; а такъ какъ никакихъ матеріаловъ для этого не имѣется, то получится, конечно, совершенно искусственный продуктъ... Трудно предвидѣть пока, къ чему это приведетъ; можетъ быть тутъ въ основѣ кроется нѣчто доброе, что и обнаружится въ свое время; возможно, что предпринятый анализъ покажетъ, что намъ слѣдуетъ основывать наше будущее не на прошедшемъ, котораго у насъ нѣтъ, а на обдуманной оцѣнкѣ нашего положенія въ настоящемъ. Какъ бы то ни было, пока не выяснятся цѣли провидѣнія, эта тенденція кажется мнѣ истиннымъ бѣдствіемъ. Не грустно ли, скажите, видѣть, что въ тотъ моментъ, когда всѣ народы сближаются, всѣ мѣстныя и географическія особенности стушевываются, мы погружаемся въ себя и обращаемся къ узкому патріотизму (à l'amour du clocher). Вы знаете, что, по моему мнѣнію, Россіи суждена великая духовная будущность: она должна разрѣшить нѣкогда всѣ вопросы, о которыхъ споритъ Европа. Поставленная внѣ быстраго потока, который такъ увлекаетъ умы, имѣющая возможность совершенно спокойно и безпристрастно взглянуть на все то, что такъ волнуетъ и тревожитъ сердца, она когда-

*) Ср. также Ballanche, Oeuvres, II, 49—51.

нибудь найдетъ рѣшеніе человѣческой загадки. Но если эти тенденціи не прекратятся, мнѣ придется проститься съ моими надеждами: судите, какъ это мнѣ пріятно! Что мнѣ тогда останется дѣлать,— мнѣ, который любилъ свою родину только за ея будущее?" *).

Окончательнымъ толчкомъ къ пересмотру старыхъ взглядовъ послужила для Чаадаева гроза, разразившаяся надъ нимъ по поводу напечатанія его *Философическаго письма* **). Оффиціально объявленный сумасшедшимъ за мнѣнія, которыя онъ самъ уже не вполнѣ раздѣлялъ, онъ долженъ былъ отдать себѣ и другимъ отчетъ въ перемѣнѣ, совершившейся въ промежуткѣ шести лѣтъ, подъ вліяніемъ собственнаго душевнаго успокоенія и московскихъ теорій. Таково происхожденіе *Апологіи сумасшедшаго*,—произведенія, оставшагося, какъ и *Письма о философіи исторіи*, неоконченнымъ, но тѣмъ не менѣе весьма характернаго для новыхъ воззрѣній Чаадаева. Вліяніе московскаго шеллингизма сказалось уже въ самой терминологіи Чаадаева. Вотъ какъ формулируются теперь его старыя основныя положенія въ терминахъ новой философіи исторіи: „Исторія народа не есть простой рядъ фактовъ, смѣняющихъ другъ друга, а цѣпь идей, находящихся во взаимной связи. Фактъ долженъ объясняться идеей; въ событіяхъ должна проявляться и стремиться къ осуществленію какая-нибудь мысль, какое-нибудь начало". Подъ этимъ опредѣленіемъ подписался бы любой шеллингистъ, если бы въ устахъ Чаадаева оно имѣло значеніе общаго историческаго правила; но для него, по-прежнему, это только привилегированное исключеніе, примѣнимое лишь къ однимъ *христіанскимъ* народамъ, да и то не ко всѣмъ. Такимъ характеромъ внутренней необходимости и логичности отличается, по Чаадаеву, одна только исторія христіанской—и притомъ средневѣковой Европы. „Посмотрите на средневѣковую Европу,—говоритъ онъ, -тамъ нѣтъ событія, которое бы не было, такъ сказать, абсолютно необходимо... а почему? Потому что за каждымъ событіемъ вы найдете идею". „Я очень хорошо знаю, что не всякая исторія имѣетъ строгій, логическій ходъ этой дивной эпохи, въ теченіе которой развилось, подъ главенствомъ верховнаго принципа, христіанское общество; но такъ же вѣрно и то, что таковъ долженъ быть истинный характеръ историческаго развитія какъ отдѣльнаго народа, такъ и семьи народовъ,— и что національности, лишенныя подобнаго прошлаго, должны примириться съ мыслью, что *не въ исторіи*, не въ воспоминаніяхъ прош-

---

*) Oeuvres, стр. 172—173.

**) О запрещеніи Телескопа за статью Чаадаева и объ административныхъ карахъ по этому поводу см. у Жихарева, Вѣстникъ Европы 1871, № IX, и у Барсукова: „Жизнь Погодина", т. IV, стр. 381—390.

лаго слѣдуетъ имъ искать элементовъ дальнѣйшаго прогресса" *). Таково именно положеніе Россіи, „не имѣвшей подобной исторіи". „Положимъ, извѣстный народъ по стеченію обстоятельствъ, отъ него не зависѣвшихъ, вслѣдствіе географическаго положенія, вовсе не выбраннаго имъ добровольно, распространится на огромномъ пространствѣ, не сознавая, что дѣлаетъ; положимъ, что въ одинъ прекрасный день онъ окажется могущественнымъ народомъ: это, конечно, будетъ необыкновенное явленіе, и можно удивляться ему, сколько угодно; но что прикажете сказать о немъ исторіи? Вѣдь, въ сущности, это одинъ матеріальный, такъ сказать, географическій фактъ,—въ огромныхъ размѣрахъ, конечно, но и только. Исторія его возьметъ, запишетъ въ свои лѣтописи, потомъ захлопнется за нимъ,—вотъ и все. Настоящая исторія начнется для этого народа только съ того дня, когда онъ будетъ охваченъ идеей, которая ему ввѣрена, которую онъ призванъ осуществить, и когда онъ примется за ея осуществленіе съ тѣмъ инстинктивнымъ упорствомъ, которое помогаетъ народамъ выполнить свое предназначеніе" **).

Какъ видимъ, Чаадаевъ остался вѣренъ своимъ основнымъ принципамъ, переодѣвъ ихъ только въ новый философскій костюмъ. Но это нисколько не помѣшало ему сдѣлать значительныя уступки въ оцѣнкѣ русскаго прошлаго и еще бо̀льшія уступки во взглядахъ на русское будущее. Въ русскомъ прошломъ онъ не переставъ видѣть „бѣлую бумагу": но онъ готовъ былъ теперь признать смягчающія обстоятельства. „Конечно, было преувеличеніе въ этомъ обвинительномъ актѣ противъ великаго народа, вся вина котораго, въ концѣ концовъ, сводится къ тому, что судьба забросила его далеко отъ всѣхъ цивилизацій міра; было преувеличеніемъ не признать, что мы произошли на свѣтъ на почвѣ не вспаханной и не засѣянной трудами предыдущихъ поколѣній; было преувеличеніемъ—не отдать справедливости этой смиренной, а иногда и героической церкви, которая одна утѣшаетъ насъ въ пустотѣ нашихъ лѣтописей". Итакъ, Чаадаевъ не хотѣлъ „удивляться" русской исторіи, вслѣдъ за Погодинымъ, но соглашался признать ея своеобразный характеръ и на причины этого своеобразія началъ отчасти смотрѣть глазами Кирѣевскаго. Уступая ему, онъ призналъ роль античнаго элемента въ европейской культурѣ, которому прежде приписывалъ только отрицательное значеніе. Поставивъ рядомъ съ христіанскимъ элементомъ западной цивилизаціи—языческій, онъ этимъ самымъ ослабилъ значеніе католицизма въ образованіи современной Европы. Съ другой стороны, и русская отсталость могла объясняться теперь не недостаткомъ вѣры, а недостаткомъ культуры; а въ русской вѣрѣ Чаадаевъ соглашался признать, - правда, единственную—свѣтлую черту

*) Oeuvres, стр. 134—137.
**) Oeuvres, стр. 149—150.

нашего прошлаго. Всѣ эти поправки не измѣнили его мнѣнія о tabula rasa русской исторіи и о безформенности, неопредѣленности русской національной физіономіи. Но теперь въ этой неопредѣленности онъ видѣлъ лучшій залогъ свободнаго развитія въ будущемъ. Онъ призналъ, что „было преувеличеніемъ опечалиться, хотя бы на минуту, за судьбу націи, создавшей могучую натуру Петра, универсальный умъ Ломоносова, граціозный геній Пушкина". И теперь онъ смѣло предрекалъ этой націи великую будущность, основанную на свободномъ и разумномъ выборѣ, не связанномъ никакими воспоминаніями прошлаго. „Я думаю,—заявлялъ онъ теперь,—что если мы пришли послѣ другихъ, то должны сдѣлать лучше другихъ, избѣгнуть ихъ ошибокъ, ихъ суевѣрій. Сводить наше назначеніе къ тому, что мы должны повторить цѣлый рядъ глупостей народовъ, менѣе насъ счастливыхъ, перетерпѣть съизнова весь рядъ ихъ несчастій, значитъ имѣть странное представленіе о предназначаемой намъ роли... Я твердо убѣжденъ, что мы призваны разрѣшить большую часть проблемъ соціальнаго строя, завершить большую часть идей, возникшихъ въ старомъ обществѣ, и произнести приговоръ въ самыхъ важныхъ вопросахъ, занимающихъ человѣчество". Пустота нашего прошлаго не только не мѣшаетъ роли безпристрастныхъ судей и вершителей европейскихъ тяжебъ, а, напротивъ, именно она-то и дѣлаетъ возможнымъ исполненіе этой роли. „Большая часть вселенной подавлена своими преданіями, своими воспоминаніями: не будемъ завидовать ея узкому кругозору: въ сердцѣ большинства націй засѣло глубоко сознаніе прожитой жизни и тяготѣетъ надъ настоящимъ. Пусть ихъ борятся съ своимъ неумолимымъ прошедшимъ. Мы никогда не жили подъ роковымъ давленіемъ исторической логики; воспользуемся же огромнымъ преимуществомъ—повиноваться только голосу просвѣщеннаго разума, зрѣлой воли: будемъ помнить, что для насъ нѣтъ безвозвратной необходимости; что мы, благодаря Богу, не стоимъ на крутомъ склонѣ, увлекающемъ столько другихъ націй къ невѣдомымъ судьбамъ; что намъ дана возможность измѣрять каждый шагъ, который мы проходимъ, обдумывать каждую идею, входящую въ наше сознаніе". Такимъ образомъ, „осуществленіе этого великаго будущаго, выполненіе этихъ блестящихъ судебъ—будутъ именно результатомъ того особаго свойства русскаго народа, которое впервые было указано въ роковой статьѣ".

Эта послѣдняя черта продолжаетъ отдѣлять Чаадаева отъ московскихъ націоналистовъ, несмотря на все его сближеніе съ ними. Вмѣстѣ съ ними и даже предвосхищая ихъ взгляды, онъ надѣется на „великое будущее" Россіи; но въ противоположность имъ, онъ выводитъ это великое будущее изъ ничтожнаго прошлаго. Въ той же „апологіи", которая такими блестящими красками рисуетъ все-

міpно-историческое призваніе Россіи, мы найдемъ самыя рѣзкія нападки на „новую школу". „Къ чему намъ,—говорятъ (сторонники новой школы), искать свѣта у западныхъ народовъ? Развѣ у насъ самихъ нѣтъ зародышей несравненно лучшаго общественнаго строя, чѣмъ западный? Къ чему было торопиться (заимствованіемъ)? Предоставленные самимъ себѣ, своему ясному уму, творческой силѣ, сокрытой въ нѣдрахъ нашей могучей натуры и особенно нашей святой вѣрѣ, мы скоро обогнали бы всѣ эти народы, обреченные лжи и заблужденію. И въ чемъ намъ завидовать Западу? Въ его религіозной борьбѣ, папствѣ, рыцарствѣ, инквизиціи? Есть чему завидовать! Развѣ Западъ—родина наукъ и всяческой мудрости? Извѣстно, что все это идетъ съ Востока. Вернемся же къ Востоку, съ которымъ мы повсюду соприкасаемся, откуда мы получили нѣкогда свою вѣру, законы, свои хорошія свойства,—словомъ, все, что сдѣлало насъ могущественнѣйшимъ народомъ въ мірѣ. Старый Востокъ погибаетъ: не мы ли его законные преемники? Въ нашей средѣ сохранятся теперь его дивныя преданія и осуществятся великія и сокровенныя истины, завѣщанныя ему отъ начала вѣковъ". „Вы понимаете теперь,—заключаетъ Чаадаевъ эту характеристику,—откуда возникла разразившаяся надо мной буря; вы видите, что въ нашемъ національномъ мышленіи совершается настоящій переворотъ, состоящій въ страстной реакціи противъ просвѣщенія, противъ западныхъ идей,—того просвѣщенія и идей, которыя сдѣлали насъ тѣмъ, что мы есть, и плодомъ которыхъ является даже самая эта возстающая противъ нихъ реакція. Куда приведетъ насъ это первое дѣяніе эманципированной національной мысли? Богъ знаетъ! Но тотъ, кто любитъ свою родину, не можетъ не огорчиться глубоко этимъ отреченіемъ нашихъ наиболѣе передовыхъ умовъ отъ того, что составляло наше величіе и нашу славу" *).

Современному читателю эта полемика должна показаться удивительно знакомой. Еще такъ недавно на нашихъ глазахъ повторился тотъ же споръ между приверженцами нашего національнаго прошлаго и пророками нашего всеміpно-историческаго будущаго. Разложеніе славянофильства завершилось тою же борьбой между его составными элементами, съ которой началась его исторія. Но само славянофильство этого противорѣчія не знало. Національное было въ немъ такъ тѣсно связано съ всеміpно-историческимъ, какъ того требовала шеллингистская философія исторіи. Въ неразрывномъ соединеніи того и другого и состояло отличіе славянофильской теоріи отъ только что разсмотрѣнныхъ философско-историческихъ построеній. Ни одно изъ этихъ построеній не удовлетворяло требованіямъ новой теоріи; и причиной неудачи было во всѣхъ нихъ

*) Oeuvres, 139—140.

именно отсутствіе связи между прошедшимъ и будущимъ Россіи, между національной исторіей и всемірно-исторической миссіей русскаго народа. Полевой и до нѣкоторой степени Погодинъ подмѣтили нѣкоторыя своеобразныя особенности русской исторіи и старались найти для нихъ закономѣрное объясненіе; но всѣ попытки вывести изъ этихъ русскихъ особенностей свойства нашей всемірно-исторической роли кончались у нихъ одними громкими фразами и реторическими фигурами. Напротивъ, Кирѣевскій и Чаадаевъ открыто признали невозможность найти въ русскомъ прошломъ задатки всемірно-историческаго будущаго; исходя изъ этого признанія, первый требовалъ заимствованія всемірно-историческихъ элементовъ изъ европейскаго настоящаго, второй—изъ европейскаго прошлаго. Но требованіе Кирѣевскаго явно противорѣчило теоріи; требованіе Чаадаева, хотя и удовлетворяло ей формально, но, въ сущности, исходило совсѣмъ изъ другихъ точекъ зрѣнія. Заговоривъ о необходимости пережить чужую жизнь съ начала, а не съ середины, и объ особенной легкости этого для русскихъ, въ виду того, что у нихъ, собственно, вовсе нѣтъ прошлаго,—Чаадаевъ очень искусно обратилъ въ свою пользу тѣ самыя затрудненія, которыя останавливали Кирѣевскаго. Но это было, все-таки, не окончательное рѣшеніе вопроса, а только остроумный обходъ его. Чтобы вполнѣ удовлетворить теоріи, надо было, во что бы то ни стало, найти внутреннюю связь между прошедшимъ и настоящимъ, доказать, что одно необходимо вытекаетъ изъ другого, и изъ этой необходимой связи частей одного и того же историческаго явленія вывести затѣмъ характеристику русскаго всемірно-историческаго идеала. Для Чаадаева, признававшаго необходимость только тамъ, гдѣ онъ предполагалъ непосредственное водительство Провидѣнія, это было особенно трудно. Нѣсколько лѣтъ спустя (1842 г.) онъ жаловался Шеллингу на московскую философію именно за то, что „ея фаталистическая логика, почти совершенно уничтожающая свободную волю и во всемъ отыскивающая неумолимую необходимость, обращается на наше прошлое и готова превратить всю нашу исторію въ ретроспективную утопію, въ заносчивый апоѳеозъ русскаго народа" и т. д. *). Заодно съ народною спѣсью осуждены здѣсь Чаадаевымъ и новыя методическія требованія, въ силу которыхъ историческіе факты *всѣхъ* временъ и народовъ совершенно уравнивались передъ законами неумолимой исторической логики. Такимъ образомъ, самая суть новой философіи исторіи такъ и осталась для него непонятна. Это, однако, не мѣшаетъ намъ думать, что въ подготовкѣ славянофильской теоріи мысли Чаадаева сыграли очень значительную роль. Значеніе это становится очевиднымъ при внима-

*) Oeuvres, 204—205.

тельномъ разборѣ его отношеній къ И. Кирѣевскому. *Письма о философіи исторіи*, ходившія до напечатанія по рукамъ знакомыхъ Чаадаева *), конечно, были извѣстны Кирѣевскому и приняты имъ во вниманіе, когда онъ писалъ свою статью о *Девятнадцатомъ вѣкѣ*. Взаимное пониманіе, установившееся между обоими серьезными мыслителями, было настолько полно, что послѣ запрещенія *Европейца* за статью Кирѣевскаго авторъ не усомнился ввѣрить свою защиту передъ начальствомъ Чаадаеву, а послѣдній не поколебался принять на себя эту щекотливую обязанность. Мемуаръ, написанный Чаадаевымъ для Кирѣевскаго и предназначавшійся для подачи Бенкендорфу, чрезвычайно любопытенъ въ томъ отношеніи, что хорошо оттѣняетъ сходныя черты взглядовъ того и другого и показываетъ, въ какихъ мнѣніяхъ оба могли сдѣлать уступки другъ другу. Мемуаръ исходитъ изъ мысли, что Россія и Европа совершенно различны по историческому развитію и, слѣдовательно, европейская культура (наприм., политическія учрежденія и т. п.) не можетъ быть *пересажена* на русскую почву. Эта исходная точка зрѣнія, дѣйствительно, обща какъ Кирѣевскому, такъ и Чаадаеву. Далѣе указываются средства *самостоятельнаго* развитія Россіи. Это, во-первыхъ, по Кирѣевскому, серьезное классическое образованіе, какъ способъ воспринять античную культуру, унаслѣдованную Западомъ и не дошедшую до Россіи. Чаадаевъ, согласившійся, что онъ „недостаточно оцѣнилъ стоимость“ этого элемента въ своихъ *Письмахъ*, теперь отводитъ ему, отъ имени Кирѣевскаго, первое мѣсто: мы видѣли, что онъ призналъ значеніе классицизма и въ своей *Апологіи*. На послѣднемъ мѣстѣ поставлено то условіе самостоятельности русскаго развитія, которое для самого Чаадаева было первымъ, и это видно изъ того жара, съ которымъ онъ его защищаетъ. „Я желаю,—говоритъ онъ отъ лица Кирѣевскаго,—чтобы религіозное чувство пробудилось въ странѣ, чтобы религія вышла изъ летаргіи, въ которую теперь погружена. Я думаю, что просвѣщеніе, которому мы завидуемъ у другихъ народовъ, было тамъ послѣдствіемъ вліянія религіозныхъ идей... Я не понимаю иной цивилизаціи, кромѣ христіанской“. Это, наоборотъ, чисто Чаадаевскія идеи, но Кирѣевскій, въ свою очередь, былъ предрасположенъ въ ихъ пользу. Такимъ образомъ, изъ двухъ разныхъ точекъ ихъ мысли захватываютъ одно и то же содержаніе, и мы имѣемъ полное основаніе предположить, что эта взаимная близость есть плодъ взаимнаго соглашенія. И въ это соглашеніе Чаадаевъ внесъ во всякомъ случаѣ не меньше, чѣмъ отъ него получилъ. Уже самая рѣзкость отношенія Чаадаева къ русскому прошлому должна была послужить

*) См. воспоминанія Д. Свербеева о Чаадаевѣ въ Русскомъ Архивѣ 1868 г., стр. 985.

толчкомъ для столь же рѣшительной реабилитаціи нашего прошлаго будущими славянофилами. Но этимъ отрицательнымъ вліяніемъ не ограничилось значеніе для нихъ теоріи Чаадаева. Мы видимъ, что сами по себѣ они уже были склонны приписывать религіозной идеѣ первенствующую роль въ развитіи культуры. Но Чаадаевъ едва ли не первый открылъ имъ глаза на общую связь идей христіанской исторической философіи, а только въ этой связи православная религіозная идея получала всемірно-историческое значеніе. Оставаясь вѣрнымъ своей старой системѣ, Чаадаевъ не могъ сдѣлать самъ этого послѣдняго вывода *), такъ какъ онъ не могъ согласиться

---

*) Когда этотъ выводъ былъ сдѣланъ, Чаадаевъ отнесся къ нему иронически. См. его письмо къ графу Сиркуру, замѣчательное по своей превосходно выдержанной ироніи (Неизданныя рукописи Чаадаева въ В. Е. 1873 г., ноябрь): „Всѣ предводители литературнаго движенія, которое въ настоящую минуту у насъ происходитъ, при всемъ своемъ разногласіи въ другихъ вопросахъ, одинаково сходятся въ томъ, что мы—настоящій народъ Господень новыхъ временъ: точка зрѣнія, въ которой, если хотите, нѣтъ недостатка въ нѣкоторомъароматѣ мозаизма, но въ которомъ, однако, вы найдете удивительную глубину, если обратите вниманіе на великолѣпную роль, которую церковь играла въ нашей исторіи, и толпу нашихъ предковъ, увѣнчанныхъ его священнымъ нимбомъ. Мало того, одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ умовъ нашихъ, котораго вы легко узнаете по этой чертѣ, недавно доказалъ со свойственной ему могущественною логикой, что христіанство, по своему принципу, возможно было только въ нашей соціальной средѣ, что оно могло въ совершенствѣ расцвѣсти только тутъ, потому что мы были единственнымъ народомъ въ мірѣ, прилично организованнымъ для воспринятія его въ самой чистой его формѣ. Изъ этого слѣдуетъ, какъ вы видите, что, строго говоря, I. X. могъ бы не разсылать своихъ апостоловъ по всей землѣ, и что одного апостола Андрея достало бы совершенно на выполненіе всей задачи, распредѣленной между ними. Конечно, само собою разумѣется, что откровенное ученіе, разъ достигнувшее полнаго своего развитія въ этой приготовленной для него средѣ, все-таки можетъ продолжать свой ходъ для окончанія всемірной палингенезіи: стало быть, и вы можете до нѣкоторой степени питать надежду, что нѣкогда оно дойдетъ и до васъ. Иные найдутъ, можетъ быть, что было бы довольно трудно согласить все это съ вселенскою идеей христіанства, столь настойчиво исповѣдуемой въ другомъ полушаріи христіанскаго міра: но эта-то коренная разница между обоими ученіями и даетъ намъ преимущество передъ вами. Мы не осуждены, какъ вы, на вѣчную неподвижность, мы не окаменѣли въ догматѣ, какъ вы; напротивъ, наши вѣрованія допускаютъ самыя счастливыя и самыя разнообразныя приложенія христіанскаго принципа,—и особенно приложеніе его къ принципу національному: преимущество неизмѣримое, въ которомъ вы не можете намъ довольно завидовать. Нашъ любезный профессоръ (Шевыревъ) сказывалъ намъ намедни съ высоты своей каѳедры, съ выраженіемъ глубокаго убѣжденія и самымъ звучнымъ своимъ голосомъ, что мы—избранный сосудъ, предназначенный сохранить въ чистотѣ евангельскій догматъ для передачи его въ данное время народамъ, созданнымъ менѣе счастливо, чѣмъ мы. Этотъ новый путь христіанства,—любопытное открытіе нашего туземнаго разумѣнія,—будетъ, безъ всякаго сомнѣнія, принятъ всѣми христіанскими исповѣданіями, какъ только они про него узнаютъ“.

приписать *всѣмъ* историческимъ процессамъ одинаковую закономѣрность. То и другое сдѣлали уже представители слѣдующаго поколѣнія. Развить и привести во взаимную связь оба положенія—о всемірно-исторической роли православной идеи и о закономѣрномъ развитіи этой идеи въ исторіи русскаго народа—такова была основная задача, поставленная шеллингистской философіей исторіи на рѣшеніе славянофиловъ. Намъ предстоитъ разсмотрѣть теперь, какъ и при какихъ обстоятельствахъ они ее разрѣшили.

Цѣна 1 руб. 60 коп.



Складъ изданія:

С.-Петербугъ. Книжный складъ М. В, Аверьянова.
Фонтанка, 38, телеф. 128—55.

Въ Москвѣ. Кн. Скл. К. Ф. Некрасова, Тверская, 29, кв. 46.
Кн. Скл. „Ступени Знанія" Мясницкая, 5.
Кн. Скл. Книг-ва Писателей Никитскій бульв., 6.


2007088095